Н.И.ПИРОГОВ

ВОПРОСЫ ЖИЗНИ

Дневник старого врача

Иваново, 2008

УДК
ББК
П

Пирогов Н.И.
ВОПРОСЫ ЖИЗНИ. Дневник старого врача / [Сост. А. Д. Тюриков]
— Иваново, 2008. — 427 с.

ISBN

Книга Н.И.Пирогова «Вопросы жизни. Дневник старого врача» являет собой блестящий образец философской мысли. На ее страницах отображено духовное развитие гениального ученого, беззаветно преданного научной истине, выдающегося государственного деятеля, талантливого педагога, патриота, страстно любившего Родину, самоотверженно служившего своему народу.

Пирогов космично воспринимал Мироздание и размышлял в «Дневнике» об универсальной роли Космоса в жизни человека, о его единстве с Космосом, о влиянии на него Высших миров и необходимости сотрудничества человека с этими мирами. Писал Пирогов и о необходимости синтеза научных и метанаучных способов познания. Этот синтез и собственное расширенное сознание сделали «отца русской хирургии» одним из предтеч нового космического мироощущения. На смену Н.И.Пирогову пришла целая плеяда ученых, мыслителей, художников, таких как К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, Н.К. и Е.И.Рерихи, П.А.Флоренский, которые несли в себе различные способы познания, необходимые для формирования нового космического мышления.

Многие страницы «Дневника» посвящены описанию жизненного пути Пирогова, начиная с детских лет, его учебе в Московском и Дерптском университетах, пребыванию за границей. Подробно ученым представлены этапы развития своего религиозного мировоззрения, которых в его жизни было несколько. Являясь лучшим педагогом своего времени, Пирогов излагает свои мысли относительно воспитания детей. Немало места в «Дневнике» уделяется серьезному анализу итогов реформ Александра II и причинам его гибели.

«Вопросы жизни. Дневник старого врача» печатается по наиболее полному изданию 1916 года.

Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Составитель А. Д. Тюриков

УДК
ББК

ISBN

Дневник старого врача

Все разъясняется, все делается понятно — умей только хорошо обращаться с фактом, умей зорко наблюдать, изощрять чувства, научись правильно наблюдать, тогда исчезнут перед тобой чудеса и мистерии природы, и устройство вселенной сделается таким же обыденным фактом, каким сделалось теперь для нас все то, что прежде считалось недоступным и сокровенным.

Такое убеждение с каждым днем все более проникает в сознание не только передовых людей, жрецов науки, но и целых масс.

Н.И.Пирогов

После работы он обычно возвращался в свое имение. По мере удаления от города становилось все тише и тише, на землю спускались ранние сумерки, затем наступала темнота; где-то там, в стороне от дороги, где стояла деревня, зажигались неяркие огоньки и доносился собачий лай. Коляска въезжала в ворота усадьбы, и старый слуга, помогая ему сойти, говорил свое привычное: «Пожалуйте, барин, домой», — и открывал перед ним тяжелую дверь дома. Он входил в переднюю, полную знакомых запахов и каких-то неприметных шорохов, которых, если к ним не прислушаться, как бы и не было. Домашний скрип половиц сразу начинал действовать на него успокаивающе. Там, в беспокойном шумном городе, остались все его заботы, стоны больных, кровавые бинты оперируемых, хирургические инструменты, которые он ощущал каждый день своими пальцами как привычную часть своих рук, смешанный запах лекарств, которого он, хирург, вдыхал так много, что временами даже не замечал его. Все это он не впускал в свою уютную деревенскую усадьбу, стараясь здесь оградиться от всего того, что мешало ему думать и размышлять. Эти размышления с некоторых пор все больше и больше увлекали его. Они приносили ему радость неожиданных открытий и тайных мыслей, которыми он не мог, а скорее, не хотел делиться с остальными, даже самыми близкими. Эти мысли обычно настигали его во время вечерних прогулок, удивляя своей стройностью и скрытым в них смыслом. Они противоречили всему образу его жизни, его главному делу, в котором он достиг многого. Его имя в медицинских кругах было весомым и непоколебимым. Его авторитет хирурга и ученого — непревзойденным и прочным. Но ни то ни другое не имело никакого отношения к его размышлениям во время тихих вечерних прогулок. Он всегда занимался серьезным делом спасения жизни людей и облегчения их страданий. И это дело он считал самым главным не только для себя, но и вообще. Философия или подобные ей так называемые

науки его никогда не привлекали. И вот в самом конце жизни надо же было такому случиться...

После прогулок он записывал свои размышления в толстую тетрадь, которую тщательно скрывал от посторонних взглядов. Особенно интересные мысли у него появлялись, когда погода была ясной, а над дальним лесом и его домом зажигались бесчисленные и таинственные звезды. Он делал записи каждый день, пропуская лишь те дни, когда по каким-то причинам не мог отправиться на прогулку. Потом он озаглавит свои записи – «Вопросы жизни. Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтет и кто другой. 5 ноября 1879 – 22 октября 1881». Сам же автор дневника после своей последней записи прожил совсем немного – не более месяца и умер в том же 1881 году. Сведения о нем можно найти в энциклопедических словарях: «Советском энциклопедическом словаре» (1988) и «Малом словаре Брокгауза и Ефрона» (1994, репринтное переиздание). Если объединить информацию того и другого источника, получится небольшая справка, в которой окажется все существенное. Справка выглядит так: Пирогов Николай Иванович (1810–1881), русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии и анатомо-экспериментального направления в хирургии, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1847). Участник Севастопольской обороны (1854–1855), франко-прусской (1870–1871) и русско-турецкой (1877–1878) войн. Впервые произвел операцию под наркозом на поле боя. Кроме этого ввел неподвижную гипсовую повязку и разработал методику ряда важных хирургических операций. Применил новые методы анатомических исследований. Основал в Петербурге анатомический институт, а при нем музей. Им написаны многие тома научных работ в области медицины, среди которых и «Топографическая анатомия», получившая мировое признание. Пирогова называли «отцом русской хирургии». Он был также выдающимся общественным деятелем. Вел последовательную борьбу с сословными предрассудками в области образования, выступал за автономию университетов и всеобщее начальное образование. Кроме всего этого, он был человеком великого мужества, не менее великого самопожертвования и высочайшей скромности. По причине последнего качества и его дневник, «писанный исключительно для самого себя», так долго не находил своего читателя...

Во время прогулок-размышлений он испытывал нечто такое, что было для него новым, неожиданным и неповторимым. Он как бы отрывался от земли, от этого чернеющего вдали леса, от тропы, идущей по берегу прозрачной реки и, наконец, от своего дома, стоявшего где-то за еле видневшейся оградой. И в этом состоянии он пытался заглянуть внутрь себя, но не туда, где находились его кровеносные сосуды, органы, клетки тканей и все остальное, с чем он был знаком давно как врач и исследователь плотно-материальной оболочки человека. Он чувствовал и хорошо понимал, что внутри него, кроме всего этого, есть пространство совсем другого свойства, которое нельзя ни увидеть, ни прикоснуться к нему скальпелем. В этом пространстве жила тайна, Высшая тайна его

бытия. Он ощутил это пространство в самом конце своей жизни и стремился понять его предназначение и свое место в нем. Он представлял себе достаточно четко, что нечто, существовавшее в его невидимом внутреннем мире, было, как ни странно, связано с чем-то высоким, охватывающим все Мироздание и эту сверкавшую над ним звездную Вселенную. Поначалу он никак не мог поверить в соотносимость того и другого. Но постепенно в нем возникло убеждение в такой соизмеримости, и тогда его мысли потекли легко и свободно, наполняясь иным, чем раньше, содержанием, неся еще неведомую ему информацию.

«Я представляю себе, – записывал он, – нет, это не представление, а греза – и вот мне грезится беспредельный, беспрерывно зыблющийся и текущий океан жизни, бесформенный, вмещающий в себя всю Вселенную, проникающий все ее атомы, беспрерывно группирующий их, снова разлагающий их сочетания и агрегаты и приспособляющий их к различным целям бытия.

К какому бы разряду моих ограниченных представлений я ни отнес этот источник ощущения и ощущающего себя бытия – к разряду ли сил или бесконечно утонченного вещества, – он для меня все-таки представляет нечто независимое и отличное от той материи, которая известна нам по своим чувственным (подлежащим чувственному исследованию) свойствам»[1].

Он всю жизнь резал и спасал эту материю, не подозревая ни о чем, существующем кроме нее. Он не был религиозным человеком, рационализм всегда возобладал в его мыслях и действиях. И вот теперь ему открылось нечто, чего как ученый и врач объяснить он не мог. Открылась умопостигаемая в глубинах Космоса материя иного, более высокого состояния, и он назвал ее «бесконечно утонченное вещество».

Тогда, в конце XIX века, экспериментальная наука ни о чем подобном не знала. Он не мог ни объяснить, ни сформулировать тот метод, которым он постиг неведомую для него тайну иного состояния материи. Обо всем этом будет сказано и написано уже в другом веке, до которого он не доживет. Но это «бесконечно утонченное вещество» станет главным сюжетом его размышлений на вечерних прогулках. Привыкший чувственно ощущать плотную земную материю, он тем не менее не сомневался в существовании другого ее вида, хотя и не называл ее материей. Для этого у него не хватало подлинно научной информации. Будучи ортодоксальным последователем экспериментальной науки, он не мог отнести то, что интуитивно чувствовал в себе, к ее пространству. Это было что-то иное, как бы вне пределов этой науки, не поддававшееся эксперименту, которым он привык проверять истинность того или иного явления. От этого в нем возникал разлад, который и заставлял его тщательно скрывать эти тревожащие, но теперь уже неизбежные мысли. А они разрастались и уже начинали жить своей, независимой от него жизнью. Они как бы постепенно, порой даже незаметно, подводили его к идее одушевленного Космоса. И однажды он записал в дневнике: «Если

---

[1] Пирогов Н.И. Собрание сочинений. В 8 т. М., 1962. Т. 8. С. 86.

же ум наш не может не найти целесообразности в проявлениях жизни и творчества различных типов по определенным формам, то этот же ум не может не видеть самого себя, т.е. видеть разумное; и вот наш ум по необходимости должен принять беспредельный и вечный разум, управляющий океаном жизни»[1]. И он уже не отрицал мысль о том, что его индивидуальный разум может быть тесным образом связан с этим вселенским, непостижимым разумом. Он шел как бы от ступени к ступени какой-то гигантской и невидимой лестницы и начинал чем-то нематериальным в нем самом понимать, что мысли, пришедшие ему в голову, столь же истинны, как и результаты чистого эксперимента. Он столкнулся с каким-то иным, неведомым ему методом исследования, где он сам, врач Пирогов, играл странную и неожиданную для него роль своеобразного инструмента этого исследования. И это было так ощутимо и убедительно, что спустя некоторое время он перестал сомневаться в этом инструменте и только жалел о том, что подобные мысли не пришли к нему раньше, в расцвете его научной работы.

«...Ум мой не мог не усмотреть, что главные его проявления – мышление и творчество, согласны с законами целесообразности и причинности, ясно обнаруживаются и во всей мировой жизни без участия мозговой мякоти». И далее: «Вот это-то открытие собственным своим мозговым мышлением мышления мирового, общего и согласного с его законами причинности и целесообразности творчества Вселенной, и есть то, почему ум мой не мог остановиться на атомах, ощущающих, сознающих себя, мыслящих и действующих только посредством себя же, без участия другого, высшего начала сознания и мысли»[2].

Таким образом, старый врач, как он себя называл, пришел к идее существования в Космосе или Вселенной «высшего начала сознания и мысли», к идее, которая потом станет одной из основных в новом космическом мышлении России.

Он понимал теперь, что есть мысль Высшая и мысль его, врача Пирогова, которая казалась принадлежащей ему самому. Как они взаимодействуют между собой? Он уже знал, что существует мысль в пространстве «без мозговой мякоти», но как она влияет на материю, которую нельзя сбросить со счетов? И откуда-то из глубины его же существа на вопросы, им поставленные, приходили ответы. Этот странный механизм увлекал его, затягивал и теперь составлял самое главное в его вечерних размышлениях. Ему оставалось проверить их доступной ему логикой и записать.

«Цель и мысль, пойманные, так сказать, в сети материала, на полотно в красках живописца, в мрамор зодчего, на бумагу в условные знаки и слова поэта, живут потом целые века своей жизнью, заставляя и полотно, и мрамор, и бумагу сообщать из рода в род содержащееся в них творчество. Мысль, проникая в грубый материал, делает его своим органом, способным рождать и развивать новые мысли в зрителях и читателях. Если это неоспоримый факт, то для меня не менее неос-

[1] Пирогов Н.И. Собрание сочинений. В 8 т. М., 1962. Т. 8. С. 86.
[2] Там же. С. 87.

поримо и то, что высшая мировая мысль, избравшая своим органом Вселенную, проникая и группируя атомы в известную форму, сделала и мой мозг органом мышления. Действительно, его ни с чем нельзя лучше сравнить, как с музыкальным органом, струны и клавиши которого приводятся в постоянное колебание извне, а кто-то, ощущая их, присматриваясь, прислушиваясь к ним, сам приводя и клавиши и струны в движение, составляет из этих колебаний гармоническое целое. Этот кто-то, приводя мой орган в унисон с мировой гармонией, делается моим "я"; тогда законы целесообразности и причинности действий мировой идеи делаются и законами моего "я", и я обретаю их в самом себе, перенося их проявления извне в себя и из себя в природу»[1].

Этот удивительный фрагмент как бы представляет собой целую концепцию того, как проявляет себя мировая мысль в материи и как она творит в ней, закладывая в материальную субстанцию свои идеи, которые, развиваясь, дают определенный эволюционный импульс тому материальному пространству, в котором действует эта высшая мысль. Проблема мышления и природы самой мысли потом, в XX веке, будет занимать умы философов, ученых и художников, но так четко сформулировать творческий процесс Высокой мысли им удастся не сразу.

«И в меня, – записывал Пирогов в своем дневнике, – невольно вселяется убеждение, что мозг мой и весь я сам есть только орган мысли мировой жизни, как картины, статуи, здания суть органы и хранилища мысли художника»[2]. Это ощущение не покидало его до самой смерти. Он как бы постиг своим сознанием главную суть космического мыслетворчества и почти физически осязал ту гармонию, которая каждый раз возникала между его мыслями и пространственной Высшей мыслью, когда он начинал во время прогулки задавать кому-то неведомому и невидимому свои вопросы.

«Для вещественного проявления мировой мысли и понадобился прибор, составленный по определенному плану из группированных известным образом атомов, – это мой организм, а мировое сознание сделалось моим индивидуальным посредством особенного механизма, заключающегося в нервных центрах. Как это сделалось – конечно, ни я, ни кто другой не знаем. Но то для меня несомненно, что сознание мое, моя мысль и присущее моему уму стремление к отыскиванию целей и причин не могут быть чем-то отрывочным, единичным, не имеющим связи с мировой жизнью и чем-то законченным и заканчивающим Мироздание, т.е. не имеющим ничего выше себя»[3].

В тот вечер, когда он записал эти слова, он еще раз остро почувствовал свою связь и даже, можно сказать, единство с тем высоким, непостижимым, что таилось и действовало там, в звездной беспредельности Вселенной. В грядущем веке это назовут космическим мироощущением, но старый врач тогда еще не знал этих слов.

---

[1] Пирогов Н.И. Собрание сочинений. В 8 т. М., 1962. Т. 8. С. 87-88.
[2] Там же. С. 88.
[3] Там же. С. 88–89.

«Где орган мышления для мировой мысли? Где ее проявления без мозговой мысли? – спрашивал он себя. – В том-то и дело, – отвечу на это, – что то же самое чувство, которое убеждает нас в нашем бытии, неразлучно с этим убеждением и вселяет в нас и другое – о существовании мира, т.е. о проявлениях мировой мысли. И тот же самый ум, который убеждается в целесообразности наших жизненных функций, видит и целесообразность в бытии других мировых функций; другими словами, наш же собственный ум, как бы он настроен (эмпиризмом или идеализмом) ни был, не может не заметить присутствия мысли вне себя, точно так же, как не может не убедиться в присутствии вещества в нашем организме и вне его»[1]. И далее: «Мозговой ум наш и находит себя, т.е. свойственное ему стремление к целесообразности и творчеству, вне себя только потому, что он сам есть не что иное, как проявление высшего мирового ума»[2].

Он пришел к выводу, что Мирозданием правит его основная творческая сила – Мировой разум, и его главное проявление – Мировая мысль. Убеждение человека в том, что его мозг рождает его собственные мысли, он считал, после долгих своих размышлений, иллюзией и заблуждением. Он как бы единым умственным взглядом окинул всю Вселенную и процессы, идущие в ней, и проник в ее главную тайну – связь индивидуальных функций человека со всем, что происходит в этой Вселенной, – чтобы понять источник и Мировой мысли, и источник его собственных мыслей. К счастью, он обладал тем мужеством мышления, которое позволило ему не дрогнуть и не отступить перед сделанными выводами, как, возможно, это случалось не однажды с профессиональными философами его века.

«Не потому ли ум наш, – записывал он, – и находит себя, т.е. мысль и целесообразное творчество, вне себя, что он сам есть проявление того же самого высшего, мирового, жизненного начала, которое присутствует и проявляется во всей Вселенной. Мировая мысль, присущая этому началу, совпадает, так сказать, с нашей мозговой мыслью, служащей ее проявлением, и потому те же стремления и сходные атрибуты находим мы в той и другой. Совпадение свидетельствует об одном и том же источнике, но различие неизмеримо велико, несравненно более велико, чем мы, например, полагаем между особью и родом или племенем. Наша мысль есть действительно только индивидуальная, и именно потому, что она – мозговая, органическая. Другая же мысль, проявляющаяся в жизненном начале всей Вселенной, именно потому, что она мировая, и не может быть органической. А наш, хотя бы и общечеловеческий, но, в сущности, все-таки индивидуальный ум, – и именно по причине своей индивидуальности, а следовательно, органичности и ограниченности, и не может возвыситься до понимания тех высших целей творчества, которые присущи только уму неорганическому и неограниченному – мировому»[3].

---

[1] Пирогов Н.И. Собрание сочинений. В 8 т. М., 1962. Т. 8. С. 90.
[2] Там же. С. 92.
[3] Там же. С. 97.

Тем не менее, ум старого врача дошел до понимания того, что он изложил выше. Ибо этот ум и сознание были много выше ординарных умов не только страны, но и планеты, и были призваны выполнить свою определенную миссию – заложить в фундамент нового космического мышления те краеугольные камни, на которых воздвигнется потом прекрасное здание космического мироощущения. Пирогов был среди тех немногих, которые почувствовали неизбежность подобного мышления и смело пошли ему навстречу. Мысль о единстве Мироздания, прозвучавшая в его дневнике, была одной из важнейших, если не самой главной, для наступающего нового мышления. Она совместилась в дневнике с другой, не менее важной – об определенной ограниченности плотной материи физического мира, которая, с одной стороны, могла взаимодействовать с высшими структурами Космоса, а с другой, в силу своей ограниченности, не достигала еще того уровня, который ей предлагали Мировой разум и Мировая мысль, материя которых была совсем другой, резко отличной от плотной. Он не мог определить эту неведомую ему материю, ибо всю свою жизнь имел дело с плотной, органической материей. Он смог только почувствовать разницу между той и другой и, таким образом, открыть дорогу к последующим изысканиям.

В этих своих размышлениях он пришел к понятию Беспредельности, в таинственных процессах которой были задействованы такие явления, как жизнь, сила, время, пространство, вещество. Иными словами, все то, что потом, в следующем веке, привлечет пристальное внимание крупнейших ученых, которые почувствуют неизбежность космического мироощущения. Они пойдут в изучении этих явлений от Земли, от плотной материи, которая долгое время была главным объектом научных исследований, – от низа к верху. Он же в своих озарениях предложил иной путь, более отвечавший реальности, – от верха к низу. Ибо интуитивно ощущал, что причина всех перечисленных выше явлений существует именно наверху, в том таинственном пространстве, материю которого он никак не мог определить. Именно там, в Беспредельности, находились все «начала» – жизни, вещества, силы, времени, пространства. Интуиция его так высоко поднялась, а сознание, расширившись, перешло на ту ступень, когда знания его возникали уже как озарения, так напоминавшие зарницы на темном вечернем небе. И озарения и зарницы были светом. Свет зарниц ему был понятен. В озарениях же содержался свет иной, несший другие особенности и постижения.

Жизнь... Кто, как не он, врач, хирург, видевший смерть на поле брани и на операционном столе, мог рассказать о ней. Тогда ему казалось, что начало и конец жизни находятся в его руках, и он не задумывался над тем, что такое жизнь другая, не органическая, появившаяся природным, естественным путем и таким же путем уходившая.

«И вот мне кажется, – записал он в дневнике, – что в моем понятии жизненное начало ни с чем не может быть так сравнено, как со светом. <...> Колебания светового эфира, чего-то непохожего на вещество, способного проникать через вещества, непроницаемые для всякой другой материи, и вместе с тем сообщающего им новые свой-

ства, мне кажутся подходящими для сравнения с действием жизненного начала»[1].

Это была гениальная догадка, как могли бы сказать век спустя. Жизненное начало, подобно свету пронизывающее все вещество. Особый свет, непохожий на земной. И он вспомнил Библию, к которой относился скептически, считая ее мифом. Он читал ее только в детстве. Полученное в детстве запоминается на всю жизнь. «В начале было Слово, и Слово было Бог... И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». Тот свет, в котором и содержалось жизненное начало, с чего зародился мир. Или, вернее, – проявление мира, или космическое его сотворение. Тогда он понял, что жизнь есть космическое явление. Органическая жизнь земли лишь следствие этого явления. В какой-то момент его размышлений врач и материалист взяли верх над его мыслями. А если его дневник кто-то прочтет, что он о нем, знаменитом Пирогове, подумает или скажет? Но это был лишь краткий момент колебаний. На смену ему пришла твердость убеждения, не требовавшая даже подтверждения экспериментом. Он понимал, что там, откуда приходили к нему мысли, эксперименты были не нужны. Но оттуда шло знание, как и в случае с экспериментом. Он, старый врач, не экспериментом, а убеждением своим подтверждал это знание. «Бессмысленным называется то, что противоречит нашим убеждениям, – именно убеждениям, а не знаниям, ибо убеждения влияют на нас сильнее знания»[2]. Но основа этих убеждений – разная. Есть в ней преходящее и непреходящее. Он столкнулся с непреходящей, вечной основой. «Если смысл наш, – писал он, – зависим от наших современных убеждений, а они, в свою очередь, преходящи и не всегда по своей силе и упорству соответствуют нашим знаниям, то ни одна господствующая доктрина, ни одно умственное направление не должны смотреть свысока на другие, им противоречащие доктрины и направления, а умы беспристрастные, не увлекающиеся и не доверчивые, не должны пугаться насмешек, разных кличек и обвинений в отсталости, нерациональности и бессмыслии»[3]. К последним он относил себя. «Так ли, иначе ли, – выводил он твердой рукой хирурга, – развилась животная жизнь на земле, принцип целесообразности в творчестве от этого ничего не теряет и присутствие мировой мысли и жизненного начала во вселенной не сделается сомнительным»[4]. И еще: «Если нам суждено в наших мировоззрениях подвергаться постоянно иллюзиям, то моя иллюзия, по крайней мере, утешительна. Она мне представляет вселенную разумной и деятельность действующих в ней сил целесообразной и осмысленной, а мое “я” – не продуктом химических и гистологических элементов, а олицетворением общего, вселенского разума, который я представляю себе свободно действующим по тем же законам, которые начертаны им и для моего разума, но не стесненным нашей человечески сознательной индивидуальностью»[5]. Итак, у великого

[1] Пирогов Н.И. Собрание сочинений. В 8 т. М., 1962. Т. 8. С. 99.
[2] Там же. С. 100.
[3] Там же. С. 101.
[4] Там же. С. 121.
[5] Там же.

К.Э.Циолковского, ученого и философа, был предшественник, который так же космично воспринимал Мироздание, как и его более поздний единомышленник. Может быть, была какая-то связь между тем и другим, или Циолковский каким-то невероятным способом прочел дневник Пирогова, «писанный исключительно для самого себя»? Вряд ли. Ибо подобные мысли Циолковский изложил почти 50 лет спустя после того, как врач Пирогов писал свой дневник. Скорее, речь может пойти об общем источнике знаний, которым воспользовался и тот и другой. И, конечно, Николай Иванович Пирогов никогда не мог и подумать, что опередил на несколько десятков лет одного из основателей нового, космического мышления XX века.

Пирогов в своей деревенской глуши написал еще немало интересного. Он указал на необходимость расширенного сознания, не имея представления о Великом космическом законе причинно-следственных связей, сформулировал его основной смысл.

«Видя на каждом шагу связь между действиями и причинами, отыскивая по бессознательному (невольному) требованию рассудка везде причину, где есть действие, мы неминуемо, роковым образом, приходим к заключению, что и между всеми действиями и всеми причинами существует неразрывная, вечная связь.

При таком взгляде случай будет не более как действие, причина или причины которого нам еще неизвестны, а для многих событий, можно утверждать a priori, и никогда не будут известны. Это почему? А потому, что стечение обстоятельств в одну бьющую точку – случай, бывает до того сложно, что для определения его понадобилось бы невозможное знание всего прошлого и настоящего»[1]. И в завершение: «Я – за предопределение. По-моему, все, что случается, должно было случиться и не быть не могло»[2]. На этом можно было бы и остановиться. Ведь все, что записал «отец хирургии» в своем дневнике, потом найдет свое отражение в XX и в XXI веках в новом космическом мышлении, ибо этот дневник старого врача был тесно связан с теми эволюционными процессами, которые происходили в преддверии нового века, а затем и нового тысячелетия. Эволюция предопределила те процессы и энергетические тенденции, которые были необходимы для этого времени. Николай Иванович Пирогов, если можно так сказать, попал в этот эволюционный поток, и через него пошла волна в следующий век, формируя новое мышление. Естественно, может возникнуть вопрос: почему именно через него, а не кого-то другого, третьего и т.д.? Космическая эволюция в своих действиях крайне избирательна и делает свой точный выбор, связанный с ее целями и качествами ее избранника. Мужество и самопожертвование, любовь к людям, ясный ум и талант исследователя, высокая нравственность интеллигента, равнодушие к земным благам и почету – уже одного этого хватило бы, чтобы такой выбор пал на этого человека. Но вместе с этим он прошел такую школу в своей профессиональной жизни, ко-

[1] Пирогов Н.И. Собрание сочинений. В 8 т. М., 1962. Т. 8. С. 167-168.
[2] Там же. С. 170.

торая и не снилась многим его коллегам. Непосредственное участие в трех войнах, операции под огнем противника, сотни раненых, тысячи убитых. В нем счастливо сочетался искусный врач-практик с талантом большого ученого. Подтверждением этому служат многие спасенные им жизни и многотомное собрание его научных трудов. Именно такая жизнь, как ни странно, подготовила его к восприятию высокой мысли об универсальной роли Космоса в жизни человека, о его единстве с этим Космосом, о влиянии на него Высших миров и необходимости сотрудничества человека с этими мирами. Обычный средний хирург, занимаясь своим делом, не имел никакого отношения к высокой мысли Космоса. И надо было быть таким талантливым, широко мыслящим ученым, каким являлся Николай Иванович Пирогов, чтобы интуитивно ощутить за знакомой ему во всех тонкостях плотной материей человеческого тела что-то невидимое и значительное, связанное с Высшим и в то же время имеющее прямое отношение к этой плотной материи. И не только отношение, но и определяющее закономерности ее развития и ее судьбу.

Да, он был ученым по своему призванию и занятиям, являясь авторитетом для многих в научных кругах. Его экспериментальная база всегда была безупречной. Возможно, именно поэтому он крайне удивился тому, что знание может приходить из какого-то другого, вненаучного источника, но быть таким же истинным, как и полученное экспериментальным путем. Когда удивление прошло, он обнаружил одну важную закономерность этого знания, полученного вненаучным путем. Оно, по еще неизвестным Пирогову таинственным причинам, опережало знание, подкрепленное экспериментом. К сожалению, его дневник есть единственный памятник его философской мысли, и поэтому сейчас крайне трудно решить, дошел ли он до мысли, что опережающее вненаучное знание вело за собой эмпирическую науку и влияло на ее развитие много больше, чем могли предполагать ученые, носители такой науки. Мысли, шедшие из пространства миров иного состояния материи, несли идеи, которые в определенной степени направляли развитие эмпирической науки и составляли как бы первичную материю этой самой науки.

Будучи человеком мужественным и непредвзятым, он размышлял о необходимости синтеза научных и вненаучных способов познания, который даст несомненно плодотворный результат. Знание есть знание, откуда бы оно ни пришло, каким бы путем ни появилось. Он был убежден, что «отвергать одно потому, что мы убеждены в несомненности противоположного ему другого, – дело опасное»[1]. В нем самом, подчиняясь законам космической эволюции, уже жил тот неведомый синтез, в котором в каком-то новом качестве сопрягались в гармонии научный и так называемый вненаучный способы познания. Этот синтез и собственное расширенное сознание сделали «отца русской хирургии» одним из предтеч нового космического мироощущения. Но эволюция всегда обеспечивает продвижение своих идей и целей через целые группы воспринимающих эти идеи. XX век был особенно богат такими ин-

[1] Пирогов Н.И. Собрание сочинений. В 8 т. М., 1962. Т. 8. С. 182.

дивидуальностями, главной опоры нового мышления в самых разных областях культуры и науки. На смену Николаю Ивановичу Пирогову уже шла целая плеяда ученых, мыслителей, художников, которые несли в себе различные способы познания, необходимые для формирования нового синтетического мышления. Когда он умер, Павлу Александровичу Флоренскому был 1 год, Елене Ивановне Рерих – 2 года, Николаю Константиновичу Рериху – 7 лет, Владимиру Ивановичу Вернадскому – 18 лет, Константину Эдуардовичу Циолковскому – 24 года, Александр Леонидович Чижевский родится 16 лет спустя после смерти Пирогова. Все они пришли в этот мир в XIX веке, и Николай Иванович был самым старшим среди них. Он опередил их и по возрасту, и по знаниям. Но ему не удалось передать эти знания им напрямую. Но это уже неважно, ибо знания пришедших позже явились из того же Источника, которым пользовался и старый врач.

Я хочу закончить этот очерк цитатой из того же дневника, которая свидетельствует о том, что загробный мир понимался Пироговым по-другому, нежели в христианской религии. Он сделал первую попытку объяснить его научно, вложив в это объяснение все свои знания, обретенные им во время вечерних прогулок. «Истину узнаем только за гробом; там узнаем, соответствовала ли наша жизнь ее истинной цели. Органические страсти с их увлечениями и чувственность вещественного бытия, перестав существовать, дадут возможность нам стать к истине лицом к лицу; это не то, что стоять лицом к лицу с нашей совестью здесь, живя вещественно: там придется иметь дело с самой истиной, которой мы так добиваемся здесь и вместе с тем стараемся ее избегнуть»[1]. Николай Иванович, размышляя таким образом, сделал попытку понять, чем отличаются друг от друга восприятие в мире плотной материи от восприятия в мире тонком. Это один из важнейших и трудных вопросов в пространстве космического мироощущения. Он сумел интуитивно почувствовать эту разницу и понять главное – в мире плотном нет возможности установить непреходящую Истину. Это можно сделать лишь в тонком мире, где эманации плотной материи, обычно затрудняющие познание, отсутствуют. А если это так, то совершенное постижение Истины, как таковой, без знаний, идущих из миров иных, более высоких состояний материи, не может состояться. Оно не может состояться и в том случае, если мы не примем к сведению опережающего характера знаний, идущих к нам из глубин космической Беспредельности. Иметь мужество посмотреть Истине в лицо дано не каждому. Великому русскому хирургу Николаю Ивановичу Пирогову это удалось, о чем свидетельствует его уникальный дневник, «писанный исключительно для самого себя».

Л.В.Шапошникова,
академик РАЕН,
заслуженный деятель искусств РФ,
директор музея им. Н.К.Рериха

[1] Пирогов Н.И. Собрание сочинений. В 8 т. М., 1962. Т. 8. С. 183.

ВОПРОСЫ ЖИЗНИ

Дневник старого врача,

писанный исключительно для самого себя,
но не без задней мысли,
что может быть когда-нибудь
прочтет и кто другой.

5 ноября 1879 – 22 октября 1881.

5 ноября 1879.

Отчего так мало автобиографий? Отчего к ним недоверие? Верно, все согласятся со мною, что для мыслящего, любознательного человека нет предмета более достойного внимания, как знакомство с внутренним миром, бытом каждого мыслящего человека, даже и ничем не отличавшегося на общественном поприще.

Какой глубокий интерес заключается для каждого из нас в сравнении собственного мировоззрения с взглядами, руководившими другого, нам подобного, на пути жизни. Этого, конечно, никто и не отвергает; но издавна принято узнавать о других чрез других. Верится более тому, что говорят о какой-либо личности другие или ее собственные действия. И это юридически верно. Для обнаружения юридической, т.е. внешней, правды – и нет иного средства. И современный врач при диагнозе руководствуется не рассказами больного, а объективными признаками, тем, что сам видит, слышит и осязает.

Да кроме недоверия к автобиографиям, есть, я думаю, и другие причины, почему они так мало в ходу. Мало охотников писать свои автобиографии. Одним целую жизнь некогда; другим вовсе не интересно, а иногда и зазорно оглядеться на свою жизнь, не хочется вспомнить прошлого; иные – и из самых мыслящих – полагают, что после изданных ими творений, им писать о себе более не нужно; есть и такие, которым действительно писать о себе нечего: все будет передано другими; наконец, многих удерживают страх и разного рода соображения. Разумеется, в наше скептическое время доверие к открытой исповеди еще более утратилось, чем во времена Ж.Ж.Руссо. С недоверчивою улыбкою читаются теперь его смелые слова (которыми я некогда восхищался): «Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai ce livre à la main, me présenter devant le souverain-juge. Je dirai hautement: voilà-ce que j'ai fait, ce que j'ai pense, ce que je fus»[1]. Но автобиографии в наше время и нет надобности быть исповедью перед Верховным Судиею; а Ему, Всеведущему, нет надобности в нашей исповеди. Современная автобиография не должна быть, однако же, чем-то вроде юридического акта, писанного в защиту или обвинение самого себя перед судом общественным. Не одна внешняя правда, а раскрытие правды внутренней пред самим собою – и вовсе не с целью оправдать или осудить себя – должно быть назначением автобиографии мыслящего человека. Он не постороннего читателя, а прежде всего – собственное сознание должен ознакомить с самим собою; это значит – автобиограф должен уяснить себе критическим разбором своих действий их мотивы и цели, иногда глубоко скрываемые в тайнике души и долго непонятные не только для других, но и для самого себя.

---

[1] Н.И.Пирогов переводит эту фразу так: «Пусть звучит труба страшного суда, я предстану с этой исповедью пред Верховным судьею и громко воскликну: вот каков я был здесь, вот что я делал, вот как я мыслю!!!» (франц.).

Но вот вопрос: может ли автобиограф говорить правду о своих, для него прошлых, мотивах? Может ли он справедливо оценить, что руководило некогда его действиями? Может ли он наверное сказать, что его мировоззрение было именно такое, как он пишет, а не другое в данную минуту его бытия?

Я полагаю, что эти вопросы решаются различно, смотря по характеру, способностям и вообще смотря по индивидуальности писателя. Для уверенного в себе без тщеславия существует и непоколебимая уверенность, что именно такое, как он пишет, а не иное было его воззрение, когда он совершал то или другое дело. Если же я сам уверен, что он говорит правду без притворства, то больше от человека нельзя и требовать. Неужели же тот, кто хочет знать мотивы моих действий и мое мировоззрение того времени, когда я действовал, поверит более другим или самому себе, нежели мне? Он, или кто другой, может судить о внутреннем механизме моих дел только по этим же самым делам или по свидетельствам посторонних мне лиц; а суждения по нашим делам и посторонним свидетельствам о скрытом внутреннем механизме дел требуют известной соответственности и не признают противоречий, хотя всякий из нас знает по опыту, что наши действия зачастую противоречат нашим собственным мировоззрениям, верованиям и убеждениям. Весьма часто также случается, что наши грандиозные дела вызываются на свет весьма слабыми мотивами, и наоборот; поэтому и требование соответственности не может еще быть порукою за внутреннюю правду.

Критический анализ собственных действий и их мотивов, столь трудный для нас самих, неужели доступнее для других, вовсе незнакомых с нашим внутренним бытом?

Правда, иногда посторонний нам сердцевед вернее нас самих может угадать, почему мы в данном случае поступили так или иначе; правда, что мы не судьи самим себе; но открыть неведомый для нас самих мотив нашего действия можно только в двух случаях: во-первых, когда мы сами скрытничаем или притворяемся пред нашим собственным «я»; во-вторых, когда мы сделали что-либо в минуту забвения или увлечения, не справившись, что делалось в эту минуту внутри нас, не заглянув в себя. Если же принцип: никто не может быть собственным судьею — и верен, то он относится только до правды внешней — юридической; судебный следователь и прокурор, конечно, могут изобличить притворщика и лгуна легче, чем это сделал бы он сам. Но для *внутренней правды* нет других более верных и компетентных судей, чем мы сами, когда мы не притворщики и не лгуны. Все, следовательно, сводится на то, кто такой тот, кто обнаруживает свой внутренний быт; суждение об этом, по малой мере, так же трудно, как и суждение о посторонних лицах, взявших на себя обязанность обнаружить внутреннюю сторону какого-либо деятеля. Даже и тогда, если он заведомо был иногда лгуном и притворщиком, еще не доказано, что он был всегда таким. Есть случаи в нашей богатой противоречиями жизни, что именно лгун и притворщик в известные моменты бытия делается более способным сказать о себе слово правды, чем другие, знавшие его только извне. В этом не более

противоречия, как и в том, что подлец иногда способен бывает на честнейшее дело, а честнейший человек делает иногда крупную подлость.

Для кого и для чего пишу я все это?

По совести – в эту минуту только для самого себя, из какой-то внутренней потребности, хотя и без намерения скрывать то, что пишу, от других. Пришед на мысль писать о себе для себя и решившись не издавать в свет о себе ничего при моей жизни, я не прочь, чтобы мои записки обо мне читались, когда меня не будет на свете, и другими. Это – говорю положа руку на сердце – вовсе не потому, чтобы я боялся при жизни быть критикованным, осмеянным или вовсе нечитанным. Хотя я и не мало самолюбив и небезразлично отношусь к похвале, но самое самолюбие все-таки более внутреннее, чем внешнее. Притом я – эгоистический самоед, и потому опасаюсь самого себя, чтобы описание моего внутреннего быта во всеуслышание не было принято мною самим за тщеславие, желание рисоваться и оригинальничать, а все это, в свою очередь, не повредило бы внутренней правде, которую я желал бы сохранить в наичистейшем виде в моих записках. Я, как самоед, знаю, однако же, что нельзя быть совершенно откровенным с самим собою, даже когда живешь в себе, так сказать, нараспашку. Иногда, ни с того, ни с сего, приходят мысли до того низкие и подлые, что при первом своем появлении из тайника души невольно бросают в краску, – иногда даже чувствуешь, как будто эти мысли не твои, а другого – самого низкого существа, живущего в тебе. Апостол Павел уже давно заметил, что не хочешь делать зло, а делаешь его нехотя[1]. Великая правда! И еще чаще замечаем это на мысли: не хочешь мыслить мерзко, а мыслишь, – и беда, если вначале же не убережешься, не подметишь самого себя и впору не остановишься.

Итак, я, как и другие, не могу при всем желании, выворотить свой внутренний быт наружу пред собою, сделать это начисто, ни в прошедшем, ни в настоящем. В прошедшем я, конечно, не могу пред собою поручиться, что мое мировоззрение в такое-то время было именно то самое, каким оно мне кажется теперь. В настоящем – не могу ручаться, чтобы мне удалось схватить главную черту, главную суть моего настоящего мировоззрения. Это дело не легкое. Надо проследить красную нить чрез путаницу переплетенных между собою сомнений и противоречий, возникающих всякий раз, как только захочешь сделать для себя руководящую нить более ясною.

И вот я, для самого себя и с самим собою, хочу рассмотреть мою жизнь, подвести итоги моим стремлениям и мировоззрениям (во множественном, – их было несколько) и разобрать мотивы моих действий. Стой, однако же! На первых же порах! Не притворничаю ли с самим собою? Точно ли хочу писать только *для себя*? Если я и решил, чтобы писанное о себе осталось при моей жизни необнародованным, то разве я не желал бы, чтобы оно прочиталось когда-нибудь и другими, хотя бы, например, моими детьми и знакомыми? Жена же, верно, уже про-

---

[1] Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю (Рим. 7, 19).

чтет. Если же я этого не хочу, то значит все-таки даю себе повод, хотя перед самыми близкими людьми, да все-таки порисоваться и что-нибудь скрыть или подрумянить. Самоеду это сейчас же приходит на мысль. И это хорошо, что приходит на мысль. Как только это имеется в виду, то есть надежда и на достаточное противодействие. Ведь *самоедство* не допустит меня, чтобы я не следил за собою во время моей работы с самим собою; следя же, подмечу; а, подметив, остановлюсь и не дам простору притворству и скрытности. Впрочем, я заранее знаю, что цинически откровенным я и пред самим собою не хочу быть. Чистоплотность нужна не на показ только. Цинические поступки в жизни лучше оставить, не трогая и не подвергая анализу, — это лучше для самого себя; иначе попадешь в ретирады души и оттуда напустишь вони и в то, что искренно хотелось бы оставить чистым, как оно есть на самом деле. У нас у всех на дне души довольно грязи; если, опустившись на это дно, ее взбаламутишь, то потом сам не отличишь чистого от грязного. Но, разумеется, если цинизм и душевная нечисть были мотивами какого-либо действия, повлиявшего на всю жизнь, то поневоле не минуешь заглянуть и в ретирады.

Но способен ли я писать о себе для себя?

Опять вопрос: что нужно для этого?

Главное — откровенность с самим собою.

Наверное я могу про себя сказать только то, что я не скрытен с собою; ведь есть люди, скрытничающие более с собою, чем с другими; я не принадлежу к ним, хотя и со мною случалось, что я открывался себе только после того, как был откровенен с другими; случалось, что, сообщая откровенно другим что-либо вслух, начинаешь, как будто лучше понимать, что делается внутри тебя самого. Иногда только тогда узнаешь хорошенько, что делается у тебя, когда разговоришься о себе с другим. Иногда стыдишься себе признаться в том, что на душе, пока случайно как будто (хотя и вовсе не случайно) не расскажешь другому вдруг с какой-то циническою откровенностью вслух, что скрывал от себя.

Записки, которые веду теперь о себе, заменяют в таком случае неоткровенности с самим собою, сообщение или разговор с другим; бумага заменяет другое лицо; к записке, хотя и собственной, относишься объективнее, чем к мысленной беседе с собою. Пиша, делаешься смелее с собою и притом не даешь мысли распускаться в разные стороны и бродить; мысль при записывании превращается в нитку и ловчее тянется из мозга, чем при размышлении, без письма.

Итак, я надеюсь, ведя мои записки, быть не менее, а гораздо более откровенным с собою, чем в задушевных излияниях с другими, хотя бы и с самыми близкими к сердцу людьми.

Второе условие, чтобы быть (правдивым) истинным автобиографом для самого себя, — это хорошая память. Для беспамятного, хотя бы остроумного и здравомыслящего человека, его прошедшее почти не существует. Такая личность может быть весьма глубокомысленная и даже гениальная, но едва ли она может быть неодносторонняя, и уже, во всяком случае, ясные и живые ощущения прошлых впечатлений без памя-

ти невозможны. Но память, как я думаю, есть двух родов: одна – общая, более идеальная и мировая, другая – частная и более техническая, как память музыкальная, память цветов, чисел и т.п. Первая (общая) хотя и отвергалась иными, но она-то именно и удерживает различного рода впечатления, получаемые в течение всей жизни, и события, пережитые каждым из нас. Глубокомысленный и гениальный человек может иметь очень развитую память, не обладая почти вовсе общею памятью.

Моя память общая и в прежние годы была острая. Теперь же, в старости, как и у других, яснее представляется мне многое прошлое, не только как событие, но и как ощущение, совершавшееся во мне самом, и я почти уверен, что не ошибаюсь, описывая, что и как я чувствовал и мыслил в разные периоды моей жизни. Но память для прошлых ощущений и составившихся из них убеждений, мыслей и взглядов, может быть, и не есть та, которую я называю *общею памятью*. Она, может быть, так же, как и память звуков, цветов и т.п., специальная, так сказать *техническая*, и не всякий одарен ею; память собственных ощущений требует сверх того еще и культуры. Такая культура именно и рождает в нас *самоедство*. К этому, т.е. к развитию самоедства, необходимо еще и внимание, сосредоточенное на собственные ощущения и их дальнейшее развитие. Вообще, запоминается хорошо только то, на что обращено внимание. Внимательность – необходимый атрибут памяти. Но и внимание, и память не всегда сознательны; первое, впрочем, редко не сознательно, тогда как память, именно специальная (техническая), нередко, и даже зачастую, действует для нас бессознательно. Мы многое запоминаем и многому внимаем невольно и незаметно для нас самих. Нередко, вспомнив что-нибудь, удивляешься, когда успел это припомнить.

Как остаются в мозгу почти целую жизнь некоторые ощущения и воспоминания не только о прошлых событиях, но и еще и воспоминания об ощущениях, испытанных нами при давно прошедших событиях, – трудно себе представить. Мозг, как и все органы, подвержен постоянной смене вещества; атомы его тканей постоянно заменяются новыми, и нужно предположить, что атомы его, заменяясь при смене вещества другими, новыми, передают им те самые колебания, которым они подвергались при ощущении различных впечатлений. И вот, мягкая мозговая мякоть ребенка, оплотневаясь и изменяясь в ее физических свойствах, продолжает задерживать отпечатки самых ранних ощущений и впечатлений и передает эти ощущения нашему сознанию в старости еще живее и яснее, чем прежде, в зрелом возрасте. Не говорит ли это в пользу моего взгляда (несколько мистического), что атомистические колебания (которые необходимо предположить при ощущениях) совершаются не в одних видимых и подверженных изменениям клеточках мозговой ткани, а в чем-то еще другом, более тонком, эфирном элементе, проникающем чрез все атомы и не подверженном органическим изменениям.

Замечательны также и бессознательные ощущения, остающиеся и не остающиеся в памяти. Наш внутренний быт составлен весь из постоянных, сознательно и бессознательно для нас беспрестанно колеб-

лющих и волнующих нас ощущений, приносимых к нам извне и изнутри нас. С самого начала нашего бытия и до конца жизни все органы и ткани приносят к нам и удерживают в нас целую массу ощущений, получая впечатления то извне, то из собственного своего существа. Мы не ощущаем наших органов; мы, смотря на предмет, не думаем о глазе; никто в нормальном состоянии ничего не знает о своей печени и даже о беспрестанно движущемся сердце; но ни один орган не может не приносить от себя ощущений в общий организм, составленный из этих органов. Ни один орган, как часть целого, не может не напоминать беспрестанно о своем присутствии этому целому. И вот эта вереница ощущений, извне и изнутри, без сомнения известным образом регулированных, и потому скажу лучше – свод (ensemble) ощущений и есть наше «я», в течение всего нашего земного бытия. Что такое наше «я» без этих ощущений – этого мы не можем себе представить; но и не можем не допустить возможности существования ощущающего начала без ощущений. Одно «я» основано на опыте, другое – на логике; есть и третье, основанное на веровании. Декартово: cogito, ergo sum[1] может быть без ошибки заменено: sentio, ergo sum[2]; ибо слово: «*ощущаю* наше “я”» можно сказать и не мысля. «Я есмь» не есть продукт мышления, а ощущения, т.е. чувства, – не мысли, – что существую. Правда, младенец, делающий первый вздох, вышед на свет, не говорит еще: *я существую*, хотя, без сомнения, ощущает, вбирая в себя впервые воздух, нечто для него новое; но более сознательное чувство существования, приходящее к ребенку постепенно, без сомнения, не есть продукт мышления, а более регулированное и окрепшее ощущение, приносимое извне и изнутри его органами.

Декартово «я» мышления есть нечто другое; но гораздо прежде, чем произнесется нами это осмысленное и продуманное *«я есмь»*, мы уже успеваем добраться посредством одних ощущений и представлений (но не мышления) до нашего самоощущения и выразить его. Дело в том, что сознание нашего «я» приходит к нам бессознательно; мы до этого сознания вовсе не додумываемся. Сознание бытия собственной личности не есть достояние одной человеческой натуры; оно обще нам со всеми животными; как бы животное могло защищать себя, отыскивать пищу, вести борьбу за существование, если бы в нем не было сознания своей личности? Но полное уяснение себе своего «я» словом: sum, есмь, – конечно, может проявиться только в таком существе, как человек, т.е. одаренном словом и способностью производить в уме членораздельные звуки и комбинировать их в уме же в слова. Эти две способности и мысль – одно и то же; без слова нет мысли, без мысли нет слова. Ощущение и представление превращаются в мозгу в мысль только посредством членораздельных звуков слова. Нет надобности, чтобы способность комбинировать из ощущений слова была непременно соединена с способностью говорить, т.е. произносить слова. Глухонемой мыслит

[1] Я мыслю, следовательно, я существую (лат.).
[2] Я ощущаю, следовательно, я существую (лат.).

по-своему и может понимать других, не имея способности произносить слова; он заменяет их в голове непременно подобными же членораздельным звукам знаками; а ощущение, необходимое для возбуждения этой способности к действию, доставляется ему, конечно, не органом слуха, а зрения и другими. Но, кроме органов чувств, и у нас, и у животных сознание не только личного бытия, но и ощущение всего приятного и неприятного, аффекты и страсти — возбуждаются всеми другими органами. Ансамбль (ensemble) ощущений, доставляемых всеми нашими органами (сообщающимися и не сообщающимися с внешним миром, с нашим «не я»), и есть наше бытие, сущность которого, как и всего другого на свете, нам неизвестна.

В книгах старинных анатомов находим это высказанным чрезвычайно пластически:

Cor ardet, loquitur pulmo, fel promovet ira,
Splen rudere facit, cogit amare jecur[1].

В наше время, когда наблюдения доказывают, что действия органов чувств и особливо глаза нельзя иначе объяснить, как приняв бессознательное (инстинктивное) мышление, нельзя более сомневаться и в том, что мы доходим до вполне сознательного грамматического *«я есмь»* не иначе, как путем еще задолго ему предшествующего бессознательного мышления. Но и это вполне сознательное мышление имеет свою бессознательную логику, требующую непременно, роковым образом, чтобы мы мыслили так, а не иначе, и притом, к нашему счастью, с полным внутренним убеждением, что мысль наша свободна. Она действительно свободна только у лишенных ума, да и у них эта свобода — другими словами, ерунда мышления — вероятно в зависимости от разных ненормальных ощущений собственного бытия, приносимых болезнью органов.

Но стараться убедить себя и других, что наши мысль и воля действительно несвободны, есть также своего рода безумие.

Против действительности ощущений ничего не поделаешь; если мы все галлюцинируем, то галлюцинации для нас уже не существует; кто будет тогда разуверять нас, что мы обманываемся? Да еще есть возможность разубедиться, когда у всех нас галлюцинирует только один орган чувств: другие нормальные органы могут поправить ошибку. Но что поделаешь, когда у всех и все ощущения приводят к убеждению, что их мысли и воля свободны, когда на этом уже успели образоваться все основы жизни? Упорствовать в убеждении себя и всех в противном поведет в этом случае убеждающего мудреца к тому, что собственные его мысль и воля сделаются действительно до того свободными, что он будет готов к поступлению в дом умалишенных. Только с ненормальными ощущениями мы еще можем кое-как, да и то с трудом, бороться; с нормальными же, как бы они нам ни казались бессмысленными, борьба — пагубна.

[1] Сердце согревает, легкое говорит, желчь вызывает гнев, селезенка заставляет смеяться, печень учит любить (лат.).

Между молодежью в последнее время встречались и такие личности, которые никак не хотели и настолько закабалить мысль, чтобы остановиться на дважды два – четыре. «Мысль моя свободна, – утверждали они, – и я хочу – приму, хочу – нет, какую ни на есть математическую аксиому». Этим лицам и в голову никогда не приходило, что распущенность мысли и воли есть страшный недуг, от развития которого в себе должен беречься каждый из нас, кто не хочет покончить с собою самоубийством или домом умалишенных. Каждый настолько должен быть свободен, чтобы избрать для себя то или другое мировоззрение, но, избрав, должен на нем остановиться по крайней мере до той поры, пока заменит его другим, новым.

Установление известного modus vivendi[1] необходимо не только для согласия семейств, обществ и народов, но и для согласия с самим собою; а этого можно достигнуть только известным и более или менее определенным мировоззрением.

Не думаю, что кому-нибудь из мыслящих людей удалось в течение целой жизни руководствоваться одним и тем же мировоззрением; но полагаю, что вся умственная наша жизнь, в конце концов, сводится на выработку, хотя бы для домашнего обихода, какого-либо воззрения на мир, жизнь и себя самого. Эта постоянная работа, правда, мешает установлению status quo[2], но все-таки, не прерываясь, тянется красною нитью чрез целую жизнь и не перестает руководить, как и управлять, более или менее нашими действиями. Колебания и сомнения при этой разработке, конечно, неизбежны, но они далеко не те, которые обременяют человека, считающего для себя остановку на чем-нибудь определенном нарушением свободы мысли и воли.

Рассматривая мою жизнь, я опишу несколько мировоззрений, которым я следовал, останавливаясь на них более или менее продолжительное время; полагаю, что мне удастся также выяснить для себя и то, почему я принимал их и следовал им; теперь же постараюсь уяснить себе то мировоззрение, на котором я, как кажется, уже окончательно остановился; приведу покуда только часть моего настоящего мировоззрения, относящегося до моего взгляда на основы нашего бытия.

Остановиться мыслию на вечно движущихся и вечно существовавших атомах я не могу теперь, хотя и мог прежде. Мой ум впадает в безысходное положение в обоих случаях, то есть когда он хочет себе представить эти атомы бесконечно делимыми и бесформенными, или же ограниченными и имеющими известный вид. Бесконечно делимое, движущееся и бесформенное *само по себе как-то случайно* делается ограниченным, оформленным и спокойным: это так несовместимо в моем уме, что я не могу на нем остановиться. Мне невозможно также остановиться на атомах, размельченных в какие-то крупинки, шарики, математические точки и т.п. Если вся вселенная переполнена этими непроницаемыми, т.е. сохраняющими главное свойство вещества, атомами, – и

[1] Жизненного правила (лат.).
[2] Исходного положения (лат.).

между тем они должны находиться в беспрестанном движении, то где же, в чем и как совершается их движение? Мой слабый ум, производя свой анализ вещества, деля и разлагая его атомы, никак не может на них остановиться и незаметно, невольно переходит от них, в конце концов, к чему-то другому, имеющему все отрицательные свойства материи; мой умственный анализ роковым образом приходит к необходимости принять вне атомов нечто проницаемое и все и всюду проникающее, неделимое, бесформенное, вечно движущееся и именно этими своими свойствами сообщающее, движущее, скопляющее, рассеивающее атомы, образующее тем формы вещества и, само проникая в них и чрез них, принимающее (так сказать, укладываясь в них) на себя, хотя бы и временно, тот или другой вид, смотря по тому, в какую и чрез какую форму материи оно проникает.

Перенося мой анализ на органические вещества и на самого себя, я невольно спрашиваю себя: откуда могла взяться способность органического мира ощущать и сознавать свое бытие? Основные его атомы, как бы я их себе ни представлял, останутся для меня все-таки бесконечно делимыми, непроницаемыми и т.п., то есть имеющими такие свойства, которые не объясняют мне их способности ощущать и сознавать себя; необходимо будет допустить, что от века веков существуют и атомы, одаренные этими свойствами, и своим скоплением в одно целое образующие, чувствующие и сознающие свое существование организмы. Мой ум не допускает, чтобы одна группировка атомов в известные формы (как, например, мозговые клеточки) могла их сделать, eo ipso[1], способными ощущать, хотеть и сознавать, если бы в них не была вложена способность к ощущению и сознанию.

Вот это основное начало, — этот-то элемент чувства, воли и сознания, самый основной бытия, — начало, без которого мир не существовал бы для нас, — мой умственный анализ и отыскивает за пределами атомов, — в том, что он по необходимости признает существующим вне их и имеющим отрицательные, т.е. противоположные атомистическим, свойства, без которых и положительные свойства материи для нас были бы несуществующими.

Это отвлеченное, как и самые атомы, произведение умственного анализа, основанное на природной способности ума переносить свои функции вне себя, должно содержать в себе и самое главное отрицательное свойство вещественных атомов — самостоятельное жизненное начало с его главным атрибутом: способностью к ощущению и самосознанию, не таким, конечно, которым одарены мы.

Я представляю себе, — нет, это не представление, а греза, — и вот мне грезится беспредельный, беспрерывно зыблющийся и текущий океан жизни, бесформенный, вмещающий в себе всю вселенную, проникающий все ее атомы, беспрерывно группирующий их, снова разлагающий их сочетания и агрегаты и приспособляющий их к различным целям бытия.

---

[1] Этим самым (лат.).

К какому бы разряду моих ограниченных представлений я ни отнес этот источник ощущения и ощущающего себя бытия – к разряду ли сил, или бесконечно утонченного вещества, – он для меня все-таки представляет нечто независимое и отличное от той материи, которая известна нам по своим чувственным (подлежащим чувственному исследованию) свойствам. У меня нет других средств к исследованию этого источника ощущения и моего сознательного бытия, как полученная мною из этого же источника способность ощущения. А расследовать и познать что-либо вполне мы можем только тогда, когда станем выше познаваемого. Но свойство нашего ума искать цели и целесообразности не может не видеть целесообразности в проявлениях жизни. Нет ничего целесообразного, придуманного нашим умом, что не обреталось бы готовым, так сказать, в окружающем нас мире. Напрасно говорят, что организм наш есть машина; наоборот, каждая придуманная нами машина есть не что другое, как сколок с существующих уже в природе и в нашем организме приборов и снарядов.

Все органическое в природе тем и поразительно для нас, что в нем начало или сила жизни приспособила все механические и химические процессы к известным целям бытия. Если же ум наш не может не найти целесообразности в проявлениях жизни и творчества различных типов по определенным формам, то этот же ум не может в этом не видеть самого себя, – то есть видеть разумное; и вот наш ум по необходимости должен принять беспредельный и вечный разум, управляющий океаном жизни.

[21 ноября 1879.]

Я начал писать мои записки 5-го ноября 1879 года, и сегодня, 21-го ноября, опять принимаюсь, после промежутка в несколько дней.

Пишу для себя и не прочитываю, до поры до времени, писанного. Поэтому найдется немало повторений, недомолвок; найдутся и противоречия, и непоследовательности. Если я начну исправлять все это, то это было бы знаком, что я пишу для других.

Я признаюсь сам себе, что вовсе не желаю сохранять навсегда мои записки под спудом; те, однако же, лица, которым когда-нибудь будет интересно познакомиться с моим внутренним бытом, не побрезгают и моими повторениями: они, верно, захотят узнать меня таким, каков я есть, с моими противоречиями и непоследовательностями.

И вот, я сегодня повторяю себе мое теперешнее мировоззрение. Повторяя, может быть, удастся уяснить его себе как можно более.

Спрашиваю себя: что собственно заставляет меня не остановиться с моим мировоззрением на атомах вещества, как на чем-то законченном, вечном, беспредельном, самостоятельном, следовательно, абсолютном и не допускающем существования ничего другого?

Атомы вещества – это такое же отвлеченное начало, как и предполагаемое мною жизненное мировое начало. Для чего допускать два от-

влечения, когда можно остановиться на одном? Почему не принять, что атомы вещества всегда существовали и всегда, вместе с другими свойствами материи, были способны ощущать и сознавать себя? Где и кем найдено в мире ощущение и сознание без присутствия вещества? Кто из нас сознавал себя и мыслил без мозга? Почему материя при других свойствах не могла бы ощущать, сознавать себя и мыслить? Не потому ли только мы не можем допустить это, что мы, по нашему неведению, неопытности и близорукости суждения, слишком, и притом произвольно, ограничили наши понятия о свойствах вещества – и, сделав это, принудили себя допустить существование какого-то, нами же выдуманного, духовного (психического) начала?

Да, так спрашивал я себя некогда и отвечал положительно на все эти вопросы.

Неоспоримый факт: нет сознания и мысли без мозга и умозаключения по известному и общепринятому шаблону; cum hoc, ergo propter hoc[1] – казались мне до того естественными и непреложными, что не допускали во мне и тени сомнения.

Но тот же самый ум, признававший прежде, без всякого сомнения, мыслящие и сознающие себя мозговые атомы, впоследствии начал усматривать себя самого не только в себе, но и во всей мировой жизни. Тогда ум мой не мог не усмотреть, что главные его проявления – мышление и творчество, согласные с законами целесообразности и причинности, ясно обнаруживаются и во всей мировой жизни без участия мозговой мякоти. Не странно ли, что мысль, выходящая из мозга, находит себя там, где ни один индивидуальный мозг не открыт нашими чувствами?

Вот это-то открытие собственным своим мозговым мышлением мышления мирового, общего и согласного с его законами причинности и целесообразности творчества вселенной – и есть то, почему ум мой не мог остановиться на атомах, одаренных чувством, ощущающих, сознающих себя, мыслящих и действующих только посредством себя же, без участия другого, высшего начала сознания и мысли. Способность творчества нашего ума и свойственное ей стремление сообразоваться в своих творениях с предначертанными планами и целями не могут не различать в каждом из своих дел мысль и цель от средства и материала, служащих для исполнения мысли и цели.

Цель и мысль, пойманные, так сказать, в сеть материала, на полотно в красках живописца, в мрамор зодчего, на бумагу в условные знаки и слова поэта, живут потом целые века своею жизнию, заставляя и полотно, и мрамор, и бумагу сообщать из рода в род содержимое в них творчество. Мысль, проникая чрез кисть, резец в грубый материал, делает его своим органом, способным рождать и развивать новые мысли в зрителях и читателях.

Если это неоспоримый факт, то для меня не менее неоспоримо и то, что высшая мировая мысль, избравшая своим органом вселенную, проникая и группируя атомы в известную форму, сделала и мой мозг орга-

[1] С этим, следовательно, по этой причине (лат.).

ном мышления. Действительно, его ни с чем нельзя лучше сравнить, как с музыкальным органом, струны и клавиши которого приводятся в постоянное колебание извне; а кто-то, ощущая их, присматриваясь, прислушиваясь к ним, сам приводя и клавиши, и струны в движение, составляет из этих колебаний гармоническое целое. Этот кто-то, приводя мой орган в унисон с мировою гармониею, делается моим «я»: тогда законы целесообразности и причинности действий мировой идеи делаются и законами моего «я», и я обретаю их в самом себе, перенося их проявления извне в себя и из себя в окружающую природу.

Ощущение, сознание, мысль – процессы, не мыслимые без колебаний атомов, составляющих наше общее чувствилище, не могут состоять из одних только колебаний и движений, не достигающих до чего-нибудь, что к ним относилось бы так же, как глаз к световым и ухо к звуковым колебаниям, то есть воспринимало бы эти колебания и превращало бы их в нечто другое и сообщало бы их, действуя от себя, внешнему миру. Не самые ли эти колебания атомов органа – и суть нашего «я»? Принять это, значило бы для меня принять в веществе такое невещественное и отвлеченное свойство, которое не имеет никаких чувственных отношений к материи, обладающей этим свойством. Теплота, свет, электричество как эффекты колебания частиц, все имеют прямые и непосредственные отношения к нашим чувствам и способность действовать своими колебаниями непосредственно на сцепление и сродство атомов; а самое чувство и мысль, отыскивающие в природе и свет, и теплоту, и электричество, чисто субъективные по своей натуре, делаются объектом не прямо, а посредством других сил, действуя на вещества.

Жизнь, сила, движение и мысль – для меня понятия, так неразрывно связанные между собою, что я ни одного из них не могу себе представить без другого. В жизни есть движение, сила и мысль; в мысли – движение и сила, а в силе – движение и мысль. Этому ассоциированному представлению о жизни недостает почвы, которую мы привыкли иметь под ногами; в нем нет ничего конкретного и объективного. Но представление об общей мировой жизни и не может у нас быть конкретным или чисто фактическим; это фикция, но неизбежная, неотвратимая для нас, потому что эта жизнь существует, и мы существуем, мыслим и действуем в ее непостижимом для нас, по своей громадности, круговороте. Но ведь и наши объективные расследования, нам кажущиеся имеющими самую твердую почву, в сущности не что другое, как расследование нашей субъективной мысли; иначе они были бы бессмысленны и не заслуживали бы названия расследований. Правда, в них (в этих исследованиях) мысль наша находит себе постоянно материальную подкладку или канву, на которой она выделывает для себя узоры из располагаемого ею вещественного материала.

При исследовании отвлеченного понятия о мировой жизни мы не в силах сладить с громоздким веществом, которым она располагает для своих проявлений, а исследование частных ее проявлений делает наше представление о мировой жизни отрывочным, односторонним и часто ложным. Одно только неоспоримо для каждого беспристрастного и не-

близорукого наблюдателя — это целесообразность, причинность, план и мысль во всяком проявлении мировой жизни. Это значит не что другое, как совпадение нашей мысли, наших стремлений к отысканию целей и причин с тем, что мы находим в мировой жизни.

И в меня невольно вселяется убеждение, что мозг мой и весь я сам есть только орган мысли мировой жизни, как картины, статуи, здания суть органы и хранилища мысли художника.

Для вещественного проявления мировой мысли и понадобился прибор, составленный по определенному плану из группированных известным образом атомов, — это мой организм; а мировое сознание сделалось моим индивидуальным посредством особенного механизма, заключающегося в моих нервных центрах. Как это сделалось — конечно, ни я, никто другой не знаем. Но то для меня несомненно, что сознание мое, моя мысль и присущее моему уму стремление к отысканию целей и причин не может быть чем-то отрывочным, единичным, не имеющим связи с мировою жизнию и чем-то законченным и заканчивающим мироздание, то есть не имеющим ничего выше себя.

Наконец, самый отчаянный эмпиризм, не признающий, не желающий знать ничего, кроме фактов и чувственных впечатлений, в конце концов, все-таки руководится отвлечением, то есть мыслью; кроме того, что без нее не обходится ни одно чувственное впечатление (основанное на бессознательной логике); одни чувственные впечатления без сознательной руководящей мысли пригодны разве для одного эмпирика-эпикурейца, но никак не эмпирика-наблюдателя и исследователя.

Все в мыслящем мире сводится к отвлечению; все наши представления и понятия, как бы они ни основывались на фактах и чувственном опыте, делаются чистыми отвлечениями, как скоро мы подвергнем их умственному анализу; а не подвергать — не в нашей воле. Этот-то разъедающий анализ и превращает вещество в силу. Все, что считается свойством вещества, умственным анализом превращается в нечто существующее вне подверженного нашим чувствам вещества, то есть опять-таки в силу или вещество, противоположное веществу.

Атомы, принимаемые умственным анализом за основу материи, превращаются им или в математические, то есть невещественные, точки, или центры, притягивающие к себе другие атомы, или же в бесконечно малые, то есть бесконечно делимые, величины.

И в том, и в другом случае вещество перестает быть тем, чем оно нам кажется; теряет свое чувственное (подверженное нашим чувствам) существование; другими словами, делается силою, и потому именно силою, что, разложив его на атомы, нам нельзя уже представить его спокойным и бездействующим; допустив же действие, мы этим и придадим ему самый главный атрибут силы (действие). А чтобы оставить за веществом его самые характерные свойства, нам нужно положить предел разлагающему его умственному анализу: так, если бы мы, продлив наш анализ беспредельно, допустили бесконечную делимость материи, то превратили бы ее, как я сказал, в силу или в нечто неуловимое, не подверженное нашим чувствам, и тем лишили бы ее других ее главных

свойств – непроницаемости и тяжести. Ограничить же умственный анализ, не доведя его до конца, значит принять за вещество не последний продукт анализа – атомы, а только скопление или скучение их, и в таком случае нужно будет допустить возможность образования вещества из скопления силы. И я не вижу логической невозможности принять этот конечный результат моего умственного анализа материи. Правда, я не знаю, что такое сила без проявления ее в веществе; но в веществе, подвергнутом умственному анализу, я ничего не вижу, кроме проявления силы, и все свойства вещества в моих глазах – проявления силы, а не что-либо присущее самому веществу; так, вещество сделалось бы таким же проницаемым, если бы частицы его (то есть скучение атомов) не удерживались притягательною, атомистическою силою; без этой первобытной силы не было бы ни малейших вещественных частиц, и беспредельно разделенная материя исчезла бы из нашего чувственного мира. Но сила, обнаруживавшаяся моим чувством в свойствах и движениях материи, могла бы существовать и не скопленная в виде атомистических частиц. Насколько бы она осталась после рассеяния материи, вещественною, – разумеется под этим словом не то, насколько бы она осталась чувственною (подверженною чувствам), а то лишь, насколько она осталась бы уловимою нашею мозговою мыслию, – этого я не знаю; но убежденный, что сверх моей мозговой мысли существует еще другая, высшая мировая, я верю, что сила продолжала бы существовать и действовать в этой мировой мысли. Мысль же эта и действующая чрез нее сила – это мировая жизнь.

Да, жизнь – это для меня понятие коллективное. Это я уже сказал; жизнь – это осмысленная, безгранично действующая сила, управляющая всеми свойствами вещества (то есть его силами), стремясь притом непрерывно к достижению известной цели: осуществлению и поддержке бытия.

Простое описательное эмпирическое определение жизни, данное Биша[1] и другими, также довольно верно: по этому определению жизнь сводится на собрание отправлений, – ensemble des fonctions, – противодействующих смерти, – qui resistent á la mort.

Действительно, в живом организме, как и во всем живом мире, все отправления, все функции направлены к тому, чтобы сохранить бытие и противодействовать разрушению; ошибка, или лучше, недомолвка этого определения, только в том, что не отправления организма сами по себе стремятся и более или менее достигают этой цели, а другое, руководящее их начало, эмпирическое, осмысленное, то есть стремящееся к цели и делающее все функции организма целесообразными, – сила жизни.

Все механические действия органических снарядов и приборов, все химические процессы, весь процесс развития в организме – все целесообразно, везде мысль, план и стремление осуществить, сохранить и

[1] М.-Ф.Биша (1771–1802) – французский анатом и физиолог, автор учения о тканях человеческого тела.

поддержать бытие. Механизм устройства органов, химизм различных функций и т.п., – все это чем более расследуется и чем более подвергается чувственному анализу, тем яснее обнаруживаются в замысловатости устройства целесообразность и причинность; но то, что направляет механические и химические процессы организма к цели, то остается и останется для нас сущим и первобытным, хотя и сокровенным для чувственного представления.

2 декабря.

Прошло опять несколько дней, в которые я не беседовал с собою. Найду ли опять нить, не прочитав записанного прежде, – нужды нет; я не претендую на звание философа и пишу для себя.

Что для моего склада ума, наклонного к эмпиризму и в нем окрепшего, казалось прежде абсурдом, – это мысль без органа мышления.

Да, мозговая мысль немыслима без мозга.

Но ведь и мировая – не есть ли один только продукт мозговой? Где орган мышления для мировой мысли? Где ее проявления без мозговой мысли? В том-то и дело, – отвечу на это, – что то же самое чувство, которое убеждает нас в нашем бытии, неразлучно с этим убеждением и вселяет в нас и другое – о существовании мира, то есть, о проявлениях мировой мысли. И тот же самый ум, который убеждается в целесообразности наших жизненных функций, в то же время видит и целесообразность в бытии других мировых функций; другими словами, наш же собственный ум, как бы он настроен (эмпиризмом или идеализмом) ни был, не может не заметить присутствия мысли вне себя, точно так же, как не может не убедиться в присутствии вещества в нашем организме и вне его. Одно из двух: он (наш ум) должен принять – или все существующее вне его одна иллюзия, или существование мира, нашего «не я», так же непреложно, как и собственное бытие. Чтобы не помешаться и не угодить в дом умалишенных, необходимо принять последнее, как непреложную истину, то есть такую же, как наше собственное ощущение бытия. Приняв же это, неминуемо нужно признать и существование кроме нашей мозговой мысли другой, высшей, мировой. Постоянное ее проявление в окружающей нас вселенной тем непреложнее для нас, что все проявляющееся в нашем уме, все изобретаемое им, все, наконец, до чего мы только можем додуматься, – уже есть существующее, есть готовое в проявлениях мировой мысли...

2 декабря.

Устал немного после 2-х часовой прогулки по снегу при 9° Реомюра; но, отдыхая, продолжаю разбор моего мировоззрения. Мне самому любопытно знать, насколько я смогу сделать его себе ясным и законченным.

Да, уму, воспитавшему себя на эмпиризме, гораздо легче себя представить простою функциею мозга.

В практической жизни эмпирический ум может, нисколько не затрудняясь, остановиться на таком взгляде, по-видимому безупречном и основанном на бесспорных фактах. Неминуемым следствием этого взгляда должно быть то, что мировая целесообразность и творчество по определенному плану суть произведения нашего ума, функции нашего же мозга. А приняв это, нужно будет допустить и другое следствие, — то именно, что сам мозг, находящий посредством своей функции (ума) план и целесообразность в мировом устройстве, делает это только потому, что он уже так устроен, что атомы, составляющие мозг, под влиянием внешних условий и случайно, так, а не иначе сложились. Нужно будет допустить, что могло бы быть и иначе. Выйдет что-то странное: если целесообразность и план навязаны вселенной моим мозгом, а он сам, как и все в мире, продукт случайного сочетания атомов, от известной формы группировки и состава которых произошло то, что воздействие на них внешнего мира производит и чувство, и мышление; если, говорю, допустить все это как ultimum refugium[1] ума, то все, что я отношу к творчеству мировой мысли и жизни, должно быть делом случая. Случайно, ибо нет начала, действовавшего самостоятельно, целесообразно и разумно, — случайно, говорю, при бесчисленном множестве разных форм и составов, в которые группировались посредством собственных своих свойств атомы вещества, состоялась и группировка атомов мозга; сначала, конечно, в ином первобытном виде, а потом, изменяясь и осложняясь под влиянием внешних условий, образовался и ныне действующий орган ощущения и мышления.

Итак, случай — вот творческое начало; от сочетания его действий с воздействием внешних, также происшедших когда-то от случая, сил, произошел тот бастард[2], который мы называем миром.

В таком мировоззрении необходимо, прежде всего, остановиться на случае как самой мощной силе; но о случае я скажу мой взгляд при случае, потом, полагая, что он мне столько же знаком и незнаком, сколько и другим особам, приписывающим ему такое первостепенное значение.

Есть, однако же, в этом крайнем взгляде доля правды.

Исследуя природу хотя бы самым эмпирическим способом, то есть доверяя только одним чрез внешнее чувство добытым фактам, мы все-таки, собственно, ничего другого не делаем, как только переносим наше мышление и вообще все наши умственные способности на внешний мир; и, наоборот, мы не можем иначе исследовать наше собственное «я», как сделав его внешним объектом, то есть перенося его вне нас. Но, принимая это как неоспоримый факт, я при моем воззрении, не могу не принять в то же время, что открываемая моим мышлением целесообразность мирового устройства была бы чем-то ему произвольно

---

[1] Крайнее средство (лат.).

[2] Бастард (нем. Bastard) — биологический гибрид от межвидовых и межродовых скрещиваний животных.

или непроизвольно мною навязанным, чем-то не вполне действительным, то есть столько же непреложным, как и мое собственное бытие.

Но всего более и яснее обнаруживается различие моего мировоззрения от эмпирического в том, что уму, принимающему себя за одну органическую функцию мозга, кажется каким-то нелепым абсурдом другое, противоположное убеждение в существовании другого, первобытного, разумного, жизненного начала, – не функционного и не органического, которое, не завися от группировки атомов и действия атомистических сил, само организует и приводит в действие атомистические силы; орудием же или органом его проявлений служит вселенная. Мозговой ум наш и находит себя, то есть свойственное ему стремление к целесообразности и творчеству, вне себя только потому, что он сам есть не что иное, как проявление высшего мирового ума.

3 декабря.

Также после долгой прогулки в прекрасный зимний день на чистейшем и, вероятно, озонированном воздухе.

Такому органическому (мозговому) уму, как наш, конечно, трудно себе вообразить другой, да еще высший ум без органической почвы; а для современного склада нашего ума такое воззрение неминуемо должно казаться нелепым. В наше время не одни дипломаты мирятся всего скорее с совершившимся, существующим уже фактом; и действительно, в житейской практике всего удобнее остановиться на том, что видимо и осязаемо, а при расследовании причин и следствий – держаться известного всем по опыту cum et post hoc, ergo propter hoc[1]; как ни обветшал этот лозунг, как он ни преследуется логикою, но в сущности он неизбежен в эмпиризме. Испытывая что-либо и опровергая или подтверждая один опыт другим, мы все-таки ничего другого не делаем с нашими эмпирическими или индуктивными умозаключениями, как заменяем одно cum et propter hoc другим.

Да, в практической жизни и в эмпиризме нельзя уходить слишком далеко; но где остановиться?

Вот вопрос, решаемый не иначе, как индивидуально различным складом ума у каждого из нас. Но как бы мы ни старались ограничиться одними фактами и чисто индуктивными умозаключениями, все-таки приходится почти на каждом шагу считаться с отвлеченными представлениями и понятиями. Без отвлечения не существует и ни одно умозаключение, как бы оно индуктивно ни было. Пространство – факт, время – факт, движение – факт, жизнь – факт, и в то же время и пространство, и время, и движение, и жизнь – самые крупные и первостепеннейшие отвлечения.

Каждый ребенок меряет пространство и может довольно легко и правильно судить о нем, пока оно подвергается трем измерениям; но о

[1] С этим и после этого, следовательно, по этой причине (лат.).

пространстве вообще, безмерном и безграничном, и весьма дельные умы еще не совсем уверены, сколькими измерениями оно способно мериться, и математики толкуют о возможности четвертого, – найдут, может быть, необходимым или возможным и пятое.

Вероятно, наш мозговой ум доходит до всех этих отвлеченных понятий о пространстве, времени и т.п. путем эмпирическим, чрез ощущение наружными чувствами. Но то не эмпиризм, когда мы, всегда и везде видящие и ощущающие границы пространства, начинаем помышлять и о безграничном. Кантовы ли это какие-то категории, или ящики в конторке нашего мозгового ума, или другой какой-то скрытый его механизм; но присутствие отвлечения в таких фактических истинах, каковы пространство и время, – такой же факт. Мы роковым образом, неминуемо, не видя и не ощущая неизмеримого и безграничного, признаем фактическое его существование; вот не факт существует также фактически, как и факт; и в существовании безграничного и безмерного мы гораздо более убеждены, чем был убежден Колумб в существовании Америки до ее открытия. Разница только в том, что мы нашу Америку никогда не откроем так, как он свою.

4 декабря.

(Вместо вчерашних 15° сегодня 3°, с сильным западным ветром, так что гулял не более одного часу).

Нужно заметить, что наши понятия о пространстве, времени и жизни совершенно отличны от обыкновенных обобщений, как, например, понятий о человеке. В обобщении «человек» мы понимаем не более как свойства, несомненно характеризующие человеческие особи.

Но в понятии о пространстве исчезают все свойства отдельных пространств, как-то: их измерение, форма, содержимое и проч.; нам (по крайней мере мне) при размышлении о пространстве, сдается, что все известные нам по чувственным представлениям пространства и предметы заключаются в чем-то ином – неизмеримом, бесформенном, безграничном.

То же самое находим и в понятии о времени: фактически мы судим о нем только по движению в пространстве; но сверх этого фактического определения времени мы сознаем еще, что и без движения, то есть без средства к измерению времени в пространстве, существует наше «я» в настоящем, подобно тому, как оно существовало в прошедшем, и что это же самое настоящее и прошедшее существуют не для нашего одного «я», а должны существовать и без него.

Понятие о мере пространства и времени, невольно сопровождающее мысль о самом пространстве и самом времени, нам служит не к уяснению нашего понятия, а к убеждению нас в том, что измеряемое в пространстве и времени не есть еще самое пространство и самое время.

Понятие о жизни также не есть одно обобщение.

Оно относится, по-моему, к той же категории, как и понятие о пространстве и времени.

Первый толчок к образованию в нашем уме понятий об этих трех (отвлечениях) иксах дает нам ощущение нашего бытия. Это ощущение, конечно, факт, но какой? Можно ли его причислить к категории фактов обыкновенных, добываемых нашими внешними чувствами и основанных именно на этом главнейшем факте — на ощущении бытия, без которого для нас все другое немыслимо? Это факт sui generis[1] выходящий из ряду вон.

Как проявляется чувство бытия в животных — это тайна, так же не разрешимая, как и проявление наших понятий о пространстве и времени. Первым толчком служат, конечно, действия внешнего мира на наши чувства, но только толчком, а самая суть и ощущения бытия, и понятий о времени и пространстве скрываются глубоко в существе самого жизненного начала.

Возьмем для примера момент рождения на свет теплокровного животного. Что заставляет его ощутить свое бытие первым вдыханием воздуха, издать первый звук жизни?

Рефлекс от прикосновения воздуха к его периферическим нервам или от внезапного изменения в кровообращении новорожденного.

Значит, машина так устроена, что прикосновение внешнего мира к периферическим нервам неминуемо должно отразиться на ту пружину, находящуюся в продолговатом мозгу, которая приводит в движение дыхательный прибор, заставляя его потянуть в себя наружный воздух; а это первое вдыхание, в свою очередь, должно отразиться на чем-то ощущающем самого себя и отличающем себя от внешнего мира. Но связь-то именно этого чего-то с механизмом животной машины и есть икс, потому неразрешимый, что для фактического его разрешения необходимо бы было не только подметить на себе или другом животном, но и прочувствовать эту связь первого вдыхания с ощущением бытия. Да и такое невозможное наблюдение было бы еще недостаточно. Ощущая, нельзя следить за ощущением, не изменяя и не нарушая его. Мы всякий день видим, как родятся люди и животные, как выводятся цыплята из яиц, и мы так привыкли к жизни, что можем думать, будто мы сами даем жизнь другим существам (так думают, пожалуй, и многие); не мудрено поэтому, что жизнь нам кажется вовсе не тайною, а простым, обыденным делом.

Жизнь и бытие едва ли не кажутся многим из нас одним и тем же.

И нельзя не согласиться, что различие между живым и неживым неуловимо на окраинах жизни. Наше понятие о жизни, как о целом, прежде всего, основано на нашем собственном ощущении бытия и присущем этому ощущению чувстве мощи или силы жизни; мы, прежде чем опыт научает нас разузнавать жизнь по ее резким проявлениям, невольно склонны принимать эти же ощущения жизни (более или менее) во всем нас окружающем и, конечно, всего более в том, что обнаруживает движение, то есть силу и мощь. Я полагаю, что ребенок, прежде чем он дойдет опытом отличать свое «я» от окружающего его «не я», принимает все его окружающее в такой же степени живым, как и он сам.

---

[1] Своего рода, своеобразный (лат.).

Живя, наблюдая и учась, мы, наконец, научаемся отличать более или менее рационально проявление жизни от простого бытия; но и тогда мы узнаем не более и не менее, как механизм организмов, управляемый теми же силами, которыми управляется и бытие: тяготением, сцеплением и сродством атомов, электричеством, теплотою и т.п., а начало, целесообразно направляющее эти силы и механизм к сохранению организма, индивидуальности и их определенных по предначертанному плану отношений к внешнему миру, остается для нас неведомым и, говоря языком юристов, не подлежащим обсуждению (расследованию) по существу, а только по форме.

Один наш мозговой ум неминуемо убеждается в существовании этого начала жизни, находя в нем самого себя, то есть разумное стремление к цели, самобытности, творчеству по определенному плану. Наш ум, находя в самых разнообразнейших проявлениях жизни свои собственные существеннейшие стремления в неизмеримо высшем размере, не может не признать первобытного и самостоятельного бытия высшего начала, действующего по тем же, как и он сам, законам целесообразности и творчества. Бытие этого начала, поэтому же самому, должно быть для нашего ума независимым от управляемой им материи, и так же точно первобытно и независимо от частных его вещественных проявлений (проявлений в веществе), как пространство и время независимы от частных пространств и частей времени.

Как пространство и время, так и жизненное начало, в них существующее, должны быть, по требованию нашего же ума, первобытны, беспредельны, бесформенны. И самобытное, бесформенное начало жизни творит в безграничных и также первобытных пространстве и времени все возможные формы вещества, направляя все другие силы к борьбе за существование в оформленном и оживленном веществе.

Но как бы ни соответствовало требованиям нашего ума убеждение в необходимости существования вне вещества первобытного и самобытного жизненного начала, управляющего атомами и присущими им силами, мы, конечно, никогда не будем в состоянии составить себе о нем ясное понятие. Всегда и неизбежно сомнение найдет место в нашем уме, и чем более опыт и наблюдение знакомят нас с устройством и механизмом функций органов, необходимых для жизни, тем более правдоподобным будет казаться нам самая жизнь не чем иным, как отправлением (функциею) этих органов; а наши понятия о самобытности и целесообразности действий жизненного начала будут казаться нам одними воображательными отвлечениями нашего же ума, не существующими фактически.

Действительно, наша умственная деятельность, получив однажды известное направление, не легко отклоняется от него, и тем труднее, чем более она удовлетворится результатами своих исследований в принятом ею направлении. Не мудрено, что именно те результаты, в достижении которых участвовали по преимуществу наши внешние чувства, и наиболее должны казаться нам ясными и удовлетворительными. Но, к сожалению, именно при индуктивном или фактическом способе рас-

следования мы обыкновенно упускаем из виду, что наши чувственные расследования имеют значение не сами по себе, а по тем заключениям, которые мы выводим – сознательно и бессознательно – из виденного, слышанного и вообще прочувствованного нами. Заключения же эти, так же как и другие логические выводы, все-таки не что иное, как отвлечения, и также сознательные и бессознательные.

Ум наш по необходимости во всяком факте и во всей вселенной усматривает только самого себя, вне себя; это он делает и при индукции, и при дедукции: и там, где он судит по данным, приобретенными чувствами, и там, где он судит по представлениям фантазии.

Не перенося себя вне себя, мы не имеем другого способа умствования. Мы, не перенося нашего «я» вне нас, не можем убедиться умственно и в существовании мира, ибо ощущения чувственные существующего вне свойственны всем животным и, может быть, и всем органическим телам, – ощущения бессознательные или сознаваемые, так сказать, per contactum[1], конечно, не то, что мы называем убеждением.

Ум наш, перенося себя вне себя и усматривая здесь самого себя, то есть свойственные ему одному стремления, как творчество, целесообразность, соответственность причин и следствий, не может, однако же, не придти к заключению, что все это, им усматриваемое для себя, действительно существует, так же как и он сам, то есть все стремления, находимые им в себе, и все узнаваемое и творимое им существуют уже вне его. Он ничего не изобрел такого, что бы ни было предварительно им открыто вне себя, – в окружающем его мире и в себе самом как частице этого внешнего мира[2].

16 декабря.

15° R; отличный воздух; немного NE[3]; солнечный день; снегу выпало вчера и третьего дня порядочно с метелью. Предшествовавшие два-три листа писал между 7 и 16 декабря урывками при погоде, переходившей почти в оттепель, между 0+2–3° R. Занят был в это время больными, операциями и продажею пшеницы (по 1 руб[лю] 50 коп[еек] за пуд). Хотя снег выпал в начале ноября (8–13) на талую землю, но, по исследованиям на этих днях, она замерзла на 3–4″ и только в низменностях, под глубоким снегом, еще стоит талая; всходы, однако же, и тут еще зелены и не подмокли.

Да, наш мозговой ум, исследующий свой genesis[4] дедуктивным способом, скоро и легко, – слишком скоро и слишком легко, я полагаю, – убеждается, что он есть не что другое, как функция мозга. Рассматривая свой главный атрибут – мышление, наш ум убеждается при этом, что

[1] Путем контакта (лат.).

[2] Здесь в подлиннике на поле несколько строк, неизвестно куда относящихся: «Но цели выше в жизни. Ноги ходят. Что за функции, убивающие свой орган произвольно».

[3] Норд-ост (направление ветра).

[4] Развитие (лат.).

оно есть коллективная способность, и потому должно быть функциею различных частей и различных гистологических[1] элементов мозга.

В процессе мышления принимают участие: 1) способность сознательная и несознательная – ощущать и воспринимать впечатления (perceptio); 2) сознание этих впечатлений, хотя и не всегда, так как и при бессознательных ощущениях можно еще и мыслить бессознательно; 3) способность удерживать впечатления (память), также не всегда сознательная; 4) способность (которую я бы назвал понятливостью) сочетать, ассоциировать, группировать в известном порядке задержанные памятью ощущения и составлять из них понятия; а для этого в свою очередь необходимо еще и 5) conditio sine qua non[2] мышления – способность означать знаками или перемещать в фонетические и мимические знаки (членораздельные звуки и слова) ощущаемые впечатления, передающие их в этом новом виде и памяти. Комбинации, группировка и ассоциация впечатлений, без превращения их в фонетические и мимические знаки, хотя и возможны, но отношения тогда этой способности к сознанию для нас непостижимы, и мы называем такую группировку и ассоциацию бессознательными или инстинктивными. Мы должны признаться, однако же, что названием нисколько не объясняем себе отношений и роли сознания в этом случае. 6) Напоследок венец в процессе нашего мышления составляют стремление и способность его различать причину и следствия, цель и средства (законы причинности и целесообразности), находить связь между ними, предполагать в каждом действии цель и стремление к ее достижению, словом – стремление и способность к творчеству. И все это в процессе нашего мышления соединено с чувством свободы, воли и произвола.

Всем нам кажется, что мы свободны мыслить так или иначе и как хотим; но с другой стороны всякий из нас чувствует и знает, что этой кажущейся свободе положен предел, вышед из которого, мышление делается безумием. Это потому, что мышление наше подлежит законам высшего мирового мышления. Между тем мозговой ум наш, не знающий иного мышления, кроме своего, и убежденный опытом в зависимости его от мозга, при рассматривании внешнего мира может дойти до такой иллюзии, что в нем нет никакой иной мысли, кроме нашей собственной. Эта иллюзия может дойти и до того, что нам кажется мировая мысль попросту вовсе несуществующею сама по себе, а только как произведение нашего собственного ума. Да если бы мы не были уверены в бытии внешнего мира так же твердо, как и в своем собственном, то все, что наше расследование открывает в нем целесообразным и как бы намеренно и независимо от нас устроенным, мы могли бы, пожалуй, принять за произведение одного нашего ума и нашей фантазии.

И вот мы находим себя запертыми в волшебный круг; с одной стороны мы фактически не знаем другого ума, кроме своего органического, с другой стороны этот же самый ум указывает нам на внешние про-

[1] Тканевых.
[2] Непременное условие (лат.).

изведения творчества, несомненно свидетельствующие о существовании другого ума с атрибутами не только сходными, но и несравненно более превышающими творчество нашего. И вот рождается невольно вопрос: действительно ли мы не могли бы иначе ходить, как с помощью ног, или же мы только ходим, потому что у нас есть ноги? Действительно ли только при посредстве мозга мы могли бы мыслить, или же мыслим только потому, что есть мозг? Видя неисчерпаемое множество средств, с которыми в окружающей нас вселенной достигаются известные цели, можем ли мы утверждать, что ум мог и должен был быть единственно только функциею мозга? Разве пчела, муравей и т.п. животные и без помощи мозга позвоночных животных не представляют нам примеров удивительной сообразительности, стремления к цели и даже творчества? И что это за странная функция, держащая в зависимости от себя существование своего органа? Выстрел из револьвера, направленный этою функциею, – и ее орган разрушен. Что за беспримерная функция, способная рассматривать и анализировать себя и свой орган как объект, как нечто внешнее? Не потому ли ум наш и находит себя, т.е. мысль и целесообразное творчество, вне себя, что он сам есть проявление того же самого высшего, мирового, жизненного начала, которое присутствует и проявляется во всей вселенной. Мировая мысль, присущая этому началу, совпадает, так сказать, с нашею мозговою мыслию, служащею ее проявлением, и потому те же стремления и сходные атрибуты находим мы в той и в другой. Совпадение свидетельствует об одном и том же источнике, но различие неизмеримо велико, несравненно более велико, чем мы, например, полагаем между особью и родом или племенем. Наша мысль есть, действительно, только индивидуальная, и именно потому, что она – мозговая, органическая. Другая же мысль, проявляющаяся в жизненном начале всей вселенной, именно потому, что она мировая, и не может быть органическою. А наш, хотя бы и общечеловеческий, но все-таки индивидуальный ум, и именно по причине своей индивидуальности, а, следовательно, органичности и ограниченности, и не может возвыситься до понимания тех высших целей творчества, которые присущи только уму неорганическому и неограниченному – мировому. А потому и жизненное начало как одно из проявлений этого ума для нас останется навсегда тайною. Ignorabimus[1].

17 декабря.

Мороз 25° R; но тихо, ясно и превосходно на воздухе. В персичной [оранжерее] под стеклами и ставнями, прикрытыми навозом, 12° R.

Вселенная, жизнь, сила, пространство и время, – все это – как бы их назвать? – назову: *отвлеченные факты*. Название, пожалуй, абсурдное, но оно вмещает в себе именно два противоречия, и потому, мне кажется, выражает то, что я хочу сказать. Наше понятие о жизни, силе, простран-

[1] Непознаваемое (лат.).

стве, времени и о вселенной основано, по-моему, прежде всего на ощущении, следовательно, на факте. Ощущая сознательно (а бессознательное ощущение жизни хотя и существует несомненно, но я его не знаю и судить о нем не могу), мы вместе с тем ощущаем и силу (мощь), и пространство, и время, и мир, т.е. наше «не я». Ощущая все это, мы сначала не анализируем нашего ощущения и принимаем все d'emblée[1], за один и тот же факт; несмотря, однако же, на отсутствие анализа, мы все-таки сознаем (не знаю как: сознательно или бессознательно?!) и приходим даже к твердому убеждению, что, кроме того ограниченного пространства, которое мы сами занимаем, и даже, кроме видимой нами границы горизонта, существует еще пространство, а за ним еще и еще. Так и для времени, и для силы, и для жизни мы в нашем ощущении не находим определенных границ. Мы не помним начала этого ощущения, не знаем его и конца. Только фантазия и долговременный опыт, показывающий начало и конец различных предметов и различных действий, приводят нас к иллюзорным убеждениям, заставляющим нас думать, что есть конец света, конец жизни и т.п. Ощущение же, как факт, переживаемый нами, убеждает нас в противном, т.е. в существовании беспредельного и безграничного. В ощущении, выражаемом нами звуком или словом: «я есмь», заключаются и «я был», и «я буду». Мы живо чувствуем, что настоящее – иллюзия, что мы живем только в прошедшем, беспрерывно переходящем в будущее. И когда мы хотим несколько ориентироваться в наших ощущениях жизни, силы, пространства, времени и вещества, т.е. довести эти ощущения до степени понятия, то мы не поступаем так, как при других наших обобщениях. Понятие, складывающееся у нас об ощущениях жизни, силы, времени, пространства и вещества, не есть квинтэссенция свойств отдельных предметов или особей, как наши другие отвлеченные обобщения. Нет, это отвлеченный факт, выведенный из ощущения чего-то беспредельного и безграничного, противоречащий тому, что мы называем действительным фактом, т.е. такому, который по своей ограниченности подлежит поверке внешних чувств или вообще какой-либо внешней (документальной, как, например, исторические факты) поверке.

Что бы мы ни говорили о неизбежности смерти, но жизнь, даже наша собственная, представляется нам как бы бесконечною; по крайней мере, конца ее – пока мы не приблизились к смерти старостью или болезнью – мы себе ясно представить не можем.

Как бы мы ни были знакомы по опыту с свойствами материи, мы убеждаемся, что все наши знания этих свойств недостаточны для определенного понятия о веществе или, другими словами, для его ограничения. Как бы ни казалась нам сила нераздельною от вещества, мы все-таки не можем ее понять как свойство материи, а принуждены допустить ее самостоятельное беспредельное бытие, как и самого вещества, в безграничном пространстве и времени. Да если бы и удалось нам, как удалось астрономам, определить, хотя бы приблизительно, границы и меры того, что нам кажется или нами ощущается беспре-

[1] Вместе, целиком (франц.).

дельным и безграничным, то и тогда бы, как и в астрономии, вышли бы такие цифры и числа, представить себе которые наглядно и фактически мы будем не в состоянии; что толку, если бы получились миллиарды миллиардов? – представления наши о наших числах будут так же неопределенны, как и о безграничном и беспредельном.

25 декабря.

Рождество Христово. Не писал дневника несколько дней, но зато на моих утренних прогулках по имению старался привести в порядок и ясность для себя мои понятия о начале жизни.

Я должен привести себе в ясность, насколько я материалист; эта кличка мне не по нутру, как *Гессен-Кассельскому* герцогу, который никак не мог терпеть, чтобы его гессенского профессора *Либиха*[1] считали материалистом. «Sein Vater war Materialist (т.е. аптекарь), nicht er»[2], – говорил герцог обвинителям Либиха в материализме.

Но что за дело до клички? Главное – сделать для себя ясным свое мировоззрение. Если я только не слукавлю пред Богом и моей собственной совестью, излагая мое мировоззрение, то дела нет – буду ли я материалист или глупец в отношении к другим.

Я изменил себе и прочитал написанное несколько дней назад. Прочитав, вижу, что к понятиям о беспредельном, к которым я отношу пространство, время, силу и жизнь, я отнес и понятие о веществе. Откровенно сознаюсь, что вещество мне кажется таким же беспредельным, как пространство, время, сила и жизнь. Мне кажется, то есть моему воображению не представляется невозможным, что вещество могло бы перейти в силу и сила – в вещество. Сила должна быть бесформенна, но и материя в крайних ее пределах едва ли мыслима с сохранением формы. И жизненное начало, как сила, как нечто беспредельное и бесформенное в моем представлении, должно иметь свойства силы, переходить в материальные атомы, подобно тому, как допускается возможность перехода туманных пятен мирового эфира в небесные тела. Сравнение, правда, самое грубое. Тут переход вещества в вещество, следовательно, одно видоизменение. А переход силы в вещество! Это что? Ахинея? Но ведь сила не ничто, и, рассматриваемая мышлением отдельно от вещества, она есть нечто отличное от материи, хотя бы только и отрицательными свойствами. Только одно понятие о Боге, или – у атеистов – понятие о мире (их Боге), может быть понятием без отрицания; все другое на свете, понимаемое или представляемое нами, должно иметь и собственное свое отрицание в нашем уме.

Понятие о беспредельном пространстве имеет свое отрицание в измеряемых и оформленных предметах; понятие о бесконечности време-

[1] Ю.Либих (1803–1873) – немецкий химик, явился реформатором в области органической, физиологической и сельскохозяйственной химии.

[2] Не он, а его отец был материалистом (нем.).

ни отрицается часами и минутами; для жизни служит отрицанием смерть; даже для уяснения одного из свойств Божеской натуры – добра – сделался необходимым дьявол. Потому и понятие о веществе вызвало в уме представление о противоположном начале – силе; без нее, без ее антагонистических веществу атрибутов, самое вещество с его инерциею и другими свойствами было бы немыслимо. Но отрицательное (то есть, не материальное) свойство силы можно и для более ясного представления нужно перевести в положительное, приняв за исходную точку главный атрибут силы – действие и движение. И действительно, с моим представлением безграничного пространства и времени соединяется и представление о движении; время – это отвлеченное движение в пространстве, то есть сила, действующая в пространстве и своим действием приводящая себя в вещество. Могу ли я требовать, чтобы представления мои о таких отвлеченных предметах были ясны и отчетливы, как чувственные факты? – ведь и о самых наглядных вещах нередко имеешь одно смутное представление. Следует ли из того, что мне представляется неясным, заключить, что это темное представление ложно и бессмысленно? Не бывают ли, напротив, именно галлюцинации, то есть призраки, весьма ясны и неоспоримы для галлюцинирующих? Известно, что при неясности представлений, мы прибегаем к сравнениям.

И вот мне кажется, что в моем понятии жизненное начало ни с чем не может быть так сравнено, как с светом. Источник света хотя и известен нам фактически, но расстояние его от нас так далеко и действия его на нас и все окружающее нас так многочисленны и разнообразны, что мы в обыкновенной жизни называем, без дальнейшего размышления, свойствами тел – свойства света. Мы говорим и думаем, что тот или другой цвет принадлежит не солнечным лучам, а тому или другому телу, хотя это тело потому только цветное, что атомы его задерживают, отражают или преломляют лучи света. Лучи же света могут достигать до нас и быть видимыми нами, может быть, целые века после того, как источник их света уже давно погас. Колебания светового эфира, чего-то непохожего на вещество, способного проникать чрез вещества, непроницаемые для всякой другой материи, и вместе с тем сообщающего им новые свойства, мне кажутся подходящими для сравнения с действиями жизненного начала.

26 декабря.

Беседа с самим собою заманчива. Как я ни убежден, что мне не удастся уяснить себе вполне мое мировоззрение, но самая попытка уяснения заключает уже в себе какую-то прелесть.

Погода все время изменяется: NW и NNW, иногда переходящие SO. Температура между −5–6° и +2° R.

Да, мозг представляется мне подобным стеклянной призме, имеющей свойство разлагать луч света и преломлять его. Если бы я не боялся насмешки над самим собою за фантазерство, я бы назвал мозг призмою

мирового ума; воспринимать и пропускать чрез себя колебания или действия этой мировой силы было бы функциею мозга, если бы сравнение мое было верно. Но, ставя себя на точку зрения материалиста-эмпирика, я вижу непроходимую пропасть между моим сравнением и тем воззрением, к которому неминуемо приводит, — на первых порах и, так сказать, сгоряча, — скептицизм эмпирии. Не говоря уже о том, что comparaison n'est pas raison[1], есть ли, спрашивается, для эмпирика хотя малейший смысл в употребленных мною выражениях, как: колебания силы, мировой ум без мирового мозга, сила без вещества, жизненное начало вне организма? Что это, с точки зрения эмпирика, как не идеологический набор слов?

Да, согласен, помирить чистый эмпиризм с существованием силы вне материи, мысли вне мозга, жизненного начала вне органических тел немыслимо. Это contradictio in adjecto[2]. И те чистые эмпирики, которые, останавливаясь на фактах, не идут далее своих непосредственных (прямых или ближайших) умозаключений из этих фактов, совершенно правы в моих глазах, — я сам был и даже есмь такой; но как скоро переступается ими эта граница волшебного круга, как скоро они берутся за разрешение таинственного икса, то тут выводы эмпиризма оказываются нисколько не осмысленнее идеологических предположений. Не забудем, однако же, что то, что мы называем смыслом, не есть непоколебимое и безусловно верное мерило истины. Хотя законы мышления всегда были и будут одни и те же, дважды два всегда будет четыре, но осмысленными и бессмысленными нам кажутся не всегда и не всем одни и те же предметы. То, что считалось бесспорным и очевидным лет сто тому назад, то может быть бессмысленным для живущих в конце XIX века. Смысл меняется не от одного процентного содержания знания в нашем уме, а часто и от психических поветрий и других внешних условий, к которым надо отнести и моду. Мода же является также и в виде поветрия. Вообще наш смысл, а вместе с ним все наши мировоззрения подчиняются закону периодичности, играющей в нашей, как и во всей мировой, жизни важную роль. Старое и забытое является в известные периоды снова на свет, но, конечно, всегда в ином виде; новые скопившиеся приобретения опыта вызывают на свет забытое и придают ему свежесть и новую силу. Ново то только, что хорошо забыто, — это изречение скептика имеет свою долю правды. Периодическое и вековое господство различных противоположных одна другой доктрин в науках и в мировоззрениях различных наций доказывает нам наглядно, насколько мы можем доверять нашему смыслу. Современный эмпиризм есть также своего рода доктрина, хотя последователи ее и желали бы не быть доктринерами. Всякая же доктрина, хотя бы и претендующая на одни чисто фактические основы, как это делает эмпиризм, — всегда одностороння; иначе она не господствовала бы, не следовала бы одному и тому же направлению, считая его непогрешимым, и признала

[1] Сравнение это не доказательство (франц.).
[2] Внутреннее противоречие (лат.).

бы достоинство и других убеждений, основанных не на одних только чисто чувственных фактах. Бессмысленным называется то, что противоречит нашим убеждениям, – именно убеждениям, а не знаниям, ибо убеждения влияют на нас сильнее знания.

28 декабря.

Метель и вьюга при сильном NW целую ночь и продолжается теперь при +1° R; все вокруг занесено снегом, нельзя высунуть носа, и я принужден остаться без моей утренней прогулки. Попробую писать – что-то выйдет.

Если смысл наш зависим от наших современных убеждений, а они, в свою очередь, преходящи и не всегда, по своей силе и упорству, соответствуют нашим знаниям, то ни одна господствующая доктрина, ни одно умственное направление не должно смотреть свысока на другие, им противоречащие, доктрины и направления; а умы беспристрастные, не увлекающиеся и не доверчивые, не должны пугаться насмешек, разных кличек и обвинений в отсталости, нерациональности и бессмыслии. Кто пережил уже кое-что на своем веку, тот вспомнит, с каким пренебрежением относились в двадцатых-тридцатых годах нашего столетия гегельянцы и натурфилософы к скромным и приниженным (в то время) эмпирикам, платящим теперь, в свою очередь, прежним мудрецам тою же монетою. Всего вернее и надежнее, конечно, было бы остановиться на позитивизме, оставить в покое неизъяснимое, приняв за аксиому, что существуют предметы, не подлежащие нашему знанию. Но это воззрение на практике делается, подобно другим, доктриною, как скоро оно будет проводиться последовательно и обязательно для его последователей. Доктринерство же, я сказал, – всегда односторонне и узко. Можно ли требовать от каждого ума, чтобы он обязался не затрагивать тот или другой предмет размышления; чтобы он остановился именно там, где ему назначает остановиться другой ум! Действительно, как, кажется, утверждает позитивизм, в жизни человечества замечается известная последовательность в направлении мышления и мировоззрениях, соответствующая степени знаний, приобретаемых жизнью человечества. Но эта последовательность не уничтожает возможности периодичных возвратов того или другого из предшествовавших направлений, так как уму нашему не суждено окончательно убеждаться в непреложности истины принятого им направления. Временные наши убеждения хотя и всегда сильнее наших знаний, но еще менее прочны, чем самые знания, приобретенные одним опытом. Поэтому, как бы ни было позитивно направление современных умов, нельзя отвергать наклонность к возврату другого противопозитивного (позитивному) направления, хотя бы в отличном от прежнего виде. И вот я, не оспаривая достоинств позитивизма и его пригодности для многих высоких умов, считаю его, однако же, для моего собственного ума непригодным, и, чтобы я мог сделаться позитивистом, я должен бы изнасиловать себя.

Как бы размышление и опыт ни убеждали меня, что я не в состоянии выйти из очерченного вокруг меня волшебного круга, что я не могу разрешить ни одной из занимающих меня проблем, — я не могу осилить мои влечения и не заниматься тем, что я считаю вопросами моей жизни. Но я с тем вместе не доктринер. Стараться осмыслить произведение фантазии в разрешении этих вопросов для меня не значит отказаться вовсе от эмпирии или пренебрегать ею, считать ее выработанные уже наукою и опытом методы ложными или малозначащими и не признавать ее заслуг. Нет, я один из тех, которые еще в конце двадцатых годов нашего столетия, едва сошед с студенческой скамьи, уже почуяли веяние времени и с жаром предавались эмпирическому направлению науки, несмотря на то, что вокруг их еще простирались дебри натуральной и гегелевской философии. Прослужив верою и правдою этому (тогда еще новому) направлению моей науки слишком пятьдесят лет, я убедился, однако же, что для человека с моим складом ума невозможно оставаться по всем занимающим меня вопросам жизни в этом одном направлении, или, другими словами, сделаться позитивистом и сказать себе: «Стой! Ни шагу далее!»

Вот я при таком убеждении и дозволяю моей фантазии, при помощи моих, каких ни на есть, знаний, доказывать, — конечно, мне же самому, — что raison d'être[1] всего подвластного чувствам, опыту и наблюдению скрыто за кулисами эмпирической сцены и потому и подвластно лишь ей одной (фантазии) да размышлению, да и то в самых ограниченных размерах. Не быв отъявленным позитивистом, я не могу искоренить в себе желания заглянуть за кулисы, и не только из одного любопытства, но и с (утилитарною) целью ограничения слишком назойливых претензий опыта на самовластие и вмешательство в решение вопросов, касающихся того закулисного резондэтра[2].

Итак, начну с того, на чем остановился, и что должно казаться с первого взгляда бессмысленным.

29 декабря.

Метель утихла, небольшой NO, −5° R. После утренней прогулки.

«In's Innere der Natur dringt kein geschaffener Geist»[3]. Это великая, глубоко продуманная мысль великого естествоиспытателя. Да, как бы глубоко ни проникали внутрь организма опыт и наблюдение, внутрь

---

[1] Смысл, основание существования (франц.).

[2] От франц. raison d'être

[3] В природе нет созданного духа (нем.).

Стихи принадлежат известному швейцарскому ученому и поэту Альбрехту Галлеру (1706–1777) из его произведения «Лживость человеческих побуждений». Полностью они звучат так:

Внутрь природы не проникнет
созданный дух.
Тот счастлив, кому она
показывает только внешнюю оболочку.

самой натуры им вход запрещен. Научный прогресс делает опыт и наблюдение более утонченными, изощряет чувства наблюдателя, помогает заменять как можно лучше одно чувство другим, как, например, зрением — осязание; раскрывает механизм и химизм органической фабрики[1]; но то, что заправляет ею, что направляет действующие в ней силы к охране и поддержанию бытия в известном, определенном заранее (типичном) виде, как en gros[2], во всей органической массе, так и в частностях, — в каждой особи, в каждом органе, в каждой ткани, — это неподсудно изысканиям и неизъяснимо; хотя игнорировать это начало или силу, назовите как угодно, мы не можем, если бы и хотели. Наша мысль и фантазия не могут не стремиться привести в какую-либо связь проявление этого мирового начала с нашим собственным «я». Мы и мыслим потому, что находим мысль во всем окружающем нас. Без участия мысли и фантазии не состоялся бы ни один опыт, и всякий факт был бы бессмысленным. Наши мысль и фантазия, как причина, производящая и опыт, и наблюдение, не могут, однако же, по особенности своей натуры ограничиться этими двумя способами знания. Ум, употребив опыт и наблюдение, то есть направив и заставив действовать известным образом наши чувства, потом рассматривает с разных сторон, связывает и дает новое направление собранным чувствами впечатлениям, и всегда не иначе, как с участием фантазии.

30 декабря.

Снегу навалило в эти два дня (третьего дня и вчера) местами с человеческий рост. −10° R.

Мне хочется доказать себе, что умственный мой процесс в настоящее время, когда я стараюсь уяснить себе мое мировоззрение, действует в сущности тем же способом, как и в то время, когда я ничего другого не хотел знать, кроме фактов. Мне кажется, что резкое различие, делаемое между суждениями a priori и a posteriori, или между дедуктивным и индуктивным способами, есть чисто доктринерское и справедливо разве в крайностях, похожих на безумие. В сущности, априорист, так же как и эмпирик, берут за исходную точку своих суждений факт — factum, нечто для них обоих неопровержимое и приобретенное первоначально чувствами и опытом; различие только в том, что априорист дает впоследствии другое значение факту и опыту, и в приобретении своих знаний (которые без опыта невозможны) не ограничивается одними впечатлениями, доставляемыми ему внешними чувствами. У него играют более важную роль не столько непосредственные чувственные впечатления, сколько заключения, сложившиеся в уме и фантазии из этих впечатлений. Но так называемый рациональный эмпиризм, к пос-

[1] Здесь в подлиннике на поле неизвестно куда относящиеся слова: «Что живет? Поддержание цели бытия. Зерно и ферменты».

[2] В целом (нем.).

ледователям которого я отношу и себя, также не довольствуется одним собиранием приносимых чувствами впечатлений. Изобретая различные способы наблюдения и опыта, контролируя один опыт другим, рациональный эмпирик неминуемо пускает в ход фантазию, и умозаключения его почти никогда не могут удержаться в непосредственной (прямой) связи с чувственными впечатлениями, доставляемыми прямо опытом и наблюдениями. Всегда есть пробел между умозаключением и чувственным фактом, и, чтобы уменьшить, сколько можно, этот пробел, у нас нет другого средства, как повторение или скопление однородных фактов; а это средство подвергает нас заблуждениям, которые нередко вреднее увлечений фантазии, потому что обманывают нас своею кажущеюся точностью.

Вообще, мне кажется слишком школьным и тот анализ нашего мышления, которым мы обыкновенно руководствуемся. Мы принимаем ощущения, внимательность (perceptio), память, ассоциацию идей, свойство означать ощущения членораздельными звуками, суждение, фантазию за совершенно отдельно и как бы независимо друг от друга действующие способности. Это, конечно, необходимо для уяснения себе умственного процесса. Но вполне независимые одна от другой функции этих способностей я считаю невозможными в нормальном состоянии. Правда, одна из них может быть сильнее развита, чем другая, и потому функция одной из этих способностей может быть для нас заметнее другой; но без ощущения немыслимо мышление; без внимательности и памяти ощущаемое было бы одним эфемерным и бесследным возбуждением; а без фантазии не может обойтись и самый точный математический прием мышления. Правда, в пользу сепаратизма и локализации наших психических способностей говорит тот неоспоримый факт, что при полном почти недостатке одной из них другие продолжают еще действовать. Самая способность ощущения, некоторыми физиологами посаженная в зрительные бугры мозга, еще подразделяется и локализируется на несколько других категорий; так, зрительное ощущение должно иметь отдельное место в мозгу от ощущения слухового и т.п., и весьма вероятно, что различные ощущения, приносимые внешними чувствами, сосредоточиваются в различных порциях мозга. Но то, что в нас ощущает, то ощущающее начало есть нечто нераздельное, целое и едва ли когда в течение жизни изменяемое; его нельзя локализировать в той или другой порции мозга и вряд ли можно назвать и самый мозг единственным его местопребыванием. Нам, конечно, кажется, что, сосредоточивая наше внимание на какой-либо предмет, смотря, например, на него в микроскоп или телескоп, мы только смотрим и превращаемся, так сказать, всецело в одно зрение. Но, вникнув глубже в этот процесс сосредоточенного зрения, мы убедимся, во-первых, что обращать внимание на что-либо, значит внимать самого себя, то есть направлять то ощущаемое начало, называемое «я», на впечатление, приносимое тем или другим органом чувства, смотреть этим «я» в глаз, слушать им же в ухо и, воспринимая в себя эти впечатления, в то же время судить о них, представлять их себе в том или другом виде, сравнивать с прежними ощуще-

ниями, принимаемыми некогда теми же чувствами; а все это необходимо требует, чтобы наше «я» беспрестанно приводило в действие то ту, то другую умственную способность и в одно и то же время.

Хотя в чувственных ощущениях, как, например, между зрением и слухом, можно определить краткие промежутки времени, отделяющие эти ощущения, если мы смотрим и слушаем (как астрономы) в одно и то же время; но едва ли мы найдем средство уловить промежутки, отделяющие ощущение, приносимое глазом, от того процесса, который совершается в то же самое время нашим «я» и который (процесс) называется теперь бессознательным мышлением, — название, по-моему, нелепое, хотя и означающее действительно особый психический процесс; мне кажется, что его лучше признать безымянным или неудобоназываемым, чем давать ему бессмысленное прозвище.

Вот это quasi-бессознательное мышление, сопровождающее все наши чувственные ощущения в самый момент их проявления, и есть самое характеристическое свойство нераздельности и цельности нашего «я».

Как бы ни были отдельно локализированы наши чувства зрения, слуха, осязания, наша память, воображение, способность говорить, мыслить, хотеть, наше «я» есть в одно и то же время и нечто отдельное от них, и вместе с тем вмещающее все эти чувства и способности в себе. Наше «я» играет как будто на клавишах тех органов, функциям которых эмпиризм приписывает зрение, слух, память, слово и пр.; и, выражая своею игрою эти функции, наше «я» само участвует в них как нераздельное целое, связывая их и проявляя ими свое бытие.

Писано 5 января.

С нового 1880 года по 5-е января морозы −10—16° R. Бури утихли. Ясно и безветренно. Вчера и сегодня иней на деревьях.

6 января.[1]

Ясный зимний день с густым инеем на деревьях. Утром 11°. После хорошей утренней прогулки.

Прогуливаясь, я вспомнил, что слишком односторонне в моем дневнике отнесся к знаменитому cogito, ergo sum, утверждая, что его нужно бы было заменить sentio, ergo sum. Обращая себя всего на какой-либо предмет, превращаясь, как говорится, в зрение или слух, наше «я», устремленное таким образом во внешний мир, — в свое «не я», — продолжает, незаметно, может быть (при сильном сосредоточении внимания на внешний предмет), ощущать свое бытие; и это ощущение сопровождает его с колыбели, с того момента, когда оно начало отличать от себя свое «не я», вплоть до могилы; и даже при потере сознания, в бреду, во

[1] Здесь на полях: «Эмпиризм в практике, а для мировоззрения игра и фантазия».

сне, это ощущение не может не продолжаться, хотя бы и в измененном виде. Но, кроме этого, не всегда для нас заметного, ощущения нашего бытия, незаметным оно может сделаться, как и все другие наши ощущения, чрез привычку к бытию; наше «я» возводится из простого ощущения на степень мысли в том случае, когда оно, воспринимая внешние (мировые) и органические (приносимые органами) впечатления, приводит их в связь с ощущением в себе присутствия своих умственных способностей: внимания, памяти, воображения, слова и мысли.

Тогда наше «я» делается вполне сознательным, осмысленным и прочувствованным. Кондильяк[1] утверждал, что человек без внешних чувств – статуя: это неправда; дыхание и без содействия внешних чувств должно ему сообщить ощущение бытия, поддерживая связь с внешним миром. Ощущение бытия непременно существовало бы и тогда, но было ли бы оно без содействия внешних чувств сознательным и осмысленным, – это вопрос. Сознание в себе памяти, мысли, воображения, без сомнения, возбуждается и поддерживается внешними и органическими чувствами; но нет причины, мне кажется, отвергать возможность этого сознания и при отсутствии внешних и органических чувств.

Я отвлекся и зашел слишком далеко, желая себе доказать, что хотя я до моего мировоззрения дошел не настоящим рационально-эмпирическим (индукционным) способом, но тем не менее, я считаю мое мировоззрение для меня равносильным факту.

10 января.

Продолжаются холода в 16–12° R. Сегодня 7° и снег. Привезли елки и посадили. Мельница (новая) на Людвиговке в ходу.

Да, равносильным факту – фактическим – по силе убеждения я считаю мое воззрение. Что такое *факт*? Если держаться буквального смысла, то это то, что сделано, – factum, что совершено (поэтому fait accompli[2] – плеоназм[3]). В этом смысле факт должен быть чувственным. И действительно, если самое наше бытие есть ощущение, то в нас нет ничего, что бы не зависело первоначально от впечатлений, приносимых ощущениями.

Все, обнаруживаемое в нас бытием, обнаруживается посредством ощущений, т.е. посредством связи с внешним миром. Тем не менее, следствия и продукты впечатлений различны до крайности. Одни из них способны возбуждать в нас одно чувство бытия, другие возбуждают бессознательное мышление и разного рода рефлексы; но есть и такой род впечатлений, может быть вернее – представлений, которые, несмотря на первоначальное их происхождение от чувственных ощущений, при-

[1] Э.Б.Кондильяк (1715–1780) – французский философ, стремился вывести все знания и духовные способности человека из ощущений.

[2] Совершившийся факт (франц.).

[3] Плеоназм (гр. pleonasmos излишество) – речевое излишество, вкрапление в речь слов, ненужных со смысловой точки зрения.

водят в действие исключительно сознательные наши умственные способности: память, мышление и фантазию (воображение, способность сочетать и творить новые представления). Хотя мы помним, мыслим и воображаем при каждом действии наших органов чувств, но этот чувственный и обыкновенно бессознательный процесс воспоминания, мышления и представления (воображения) прекращается, как скоро то или другое чувство перестает действовать; другой же, резко отличающийся от этого, процесс воспоминания, мышления и воображения, всегда сознательный, совершается и без непосредственной помощи чувств.

Итак, всякий факт должен быть произведением внешних, на нас действующих впечатлений и наших чувственных ощущений, между тем как наши внутренние ощущения, присутствующие в нас и без прямого содействия внешних впечатлений, могут не только представлять нам факты с различных точек зрения, но и открывать нам истины. Факт хотя и считается как бы за истину, но никто не называет математические аксиомы фактами. Почему? Казалось бы, такой факт, как солнце на небе, так же точно истинен и неопровержим, как и всякая математическая аксиома. Да, есть действительно истинные факты и фактические истины, но факт все-таки не истина, и истина не факт. Солнце на небе потому истинный факт, что всякий может его проверить чувствами, но такая математическая (астрономическая) истина, что солнце и сегодня, и завтра, и целые годы взойдет и зайдет в известном определенном месте на горизонте, не требует вовсе чувственной проверки; это основано и не на одной теории вероятности, а на знании и соображении, при участии и всех других умственных способностей (памяти, фантазии); основа этого знания, правда, также фактическая; не видав никогда солнца и звезд, нам не пришло бы на ум и все устройство нашей планетной системы; но математические вычисления до того различны от чувственных наблюдений, что могут определить a priori место для планет, еще не открытых наблюдениями. Математическая аксиома, что две величины, равные порознь третьей, равны между собою, хотя и наглядна, т.е. может быть объяснена чувственным опытом, но, в сущности, она основана на соображении, а не на опыте; чтобы понять ее, нет надобности иметь пред глазами известные величины. Факт уже и тем отличается от истины, что свойства его различны, а неизвестная нам сущность истины всегда одна и та же. Только тот факт, который есть, был и будет, был бы истиною. Но такого мы не знаем; если же убеждаемся в необходимости или возможности и нефактического существования того, что всегда было и будет, то это убеждение и есть для нас истина, хотя, очевидно, нефактическая. Очевидно также, что для убеждения в такой истине нам недостаточно одного рассудка, – необходимо еще мощное содействие фантазии.

Все высокое и прекрасное в нашей жизни, науке и искусстве создано умом с помощью фантазии, и многое – фантазией при помощи ума. Можно смело утверждать, что ни Коперник, ни Ньютон, без помощи фантазии, не приобрели бы того значения в науке, которым они пользуются. Между тем нередко и в жизни, и в науке, и даже в искусстве слы-

шатся возгласы против фантазии, и не только против ее увлечений, но и против самой нормальной ее функции. Для современного реалиста и естествоиспытателя нет большего упрека, как то, что он фантазирует. Но, в действительности, только тот из реалистов и эмпириков заслуживает упрека в непоследовательности, кто хотя на один шаг отступает от указаний чувственного опыта, направляемого и руководимого умом и фантазиею. Вообще доктрина, отделяющая искусственными перегородками функции наших умственных способностей одну от другой, приводит к тому, что мы и во всех наших произведениях стремимся так же резко отличать проявления каждой из них, как будто бы можно было умствовать, не воображая, и воображать без размышления. Стоит только вспомнить, что самую простую выкладку чисел нам нельзя сделать, не приводя в действие и нашу память, и воображение, и рассудок, хотя нам и кажется, что все наше «я» как бы погрузилось в числа при выкладке.

14 января.

Все эти дни мороз в 10–13° R; только вчера сильная метель при NW и –4° R; сегодня все еще ветрено (NW) при 8–9° R, но ясно и много навеяло снегу.

Все еще хочу себе доказать, что я не должен считать мое мировоззрение одним продуктом досужей фантазии потому только, что оно не основано на прямом и непосредственном опыте. Не мне, посвятившему всю жизнь, и именно самую лучшую часть жизни, рациональному эмпиризму, – не мне, говорю, отвергать значение опыта; но и не мне сомневаться в значении слов первого Гиппократова афоризма: «experientia fallax, judicium difficile»[1].

Когда лета не располагают уже к увлечению, то начинаешь понимать, как легко можно увлечься не одними мечтами, но и тем, что так трезво, точно и положительно, как опыт и факт. Есть вещи на свете, к которым и такое надежное средство, как опыт, неприменимо, а между тем эти вещи – это вопросы жизни, без разрешения которых для себя, хотя бы приблизительно, умирать не хочется; а к жизни обращаешься невольно с упреком, так хорошо прочувствованным поэтом:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, на что ты мне дана?

Да, оргия, грубейшие средства самозабвения и, наконец, самоубийство, неминуемо сгубят желающего опытом разрешить загадку жизни. Правда, крепкие, здоровые, положительные умы могут жить и прекрасно действовать, отбросив в сторону всякую попытку к разрешению томительного вопроса жизни. Но горе той личности, которая возмечтает о

[1] Опыт обманчив, суждение затруднительно (лат.).

себе, что она-то и есть именно esprit fort[1], не нуждающийся в разрешении подобных вопросов. Аскет *Филарет*[2] прекрасно с своей точки зрения возражал *Пушкину* на его упрек жизни, и именно потому прекрасно, что он (Филарет) уяснил себе не опытом жизненную проблему; и как бы это уяснение ни было односторонне, оно мощнее, а главное, человечнее бессильного ропота на жизнь, что не раскрывает пред нами своей тайны так, как бы мы этого хотели. А мы хотели бы, чтобы это было так же наглядно и осязательно, как ее чувственные и индивидуальные проявления.

Я полагаю, что все мы, последователи Веруламского Бэкона, придаем слишком большое значение предложенному им (индуктивному) способу исследования. Этот способ вовсе не какое-нибудь новое открытие особой деятельности нашего ума. В обыкновенной жизни все всегда и до Бэкона изыскивали и исследовали индуктивным способом; но никто, я полагаю, и ни сам Бэкон не считал этого способа единственно возможным для открытия истины. Главная заслуга Бэкона это: noli jurare in verba magistri[3]. Теперь же и это перестало быть заслугою, так как в наше время не найдется ни одного ученика в школе, которому бы понадобилось повторить это правило. Средневековая вера в авторитеты заменена теперь изверием; мы все изверились в себя самих; дети наши, сидя на школьных скамьях, глядя на учителей, уже успевают извериться. Это нельзя не признать следствием одностороннего упражнения ума по индуктивному способу; но избави нас Бог от такого дедуктивного, которым учились jurare in verba magistri.

Так вот, я опять хочу толковать о том, что если мы желаем сделать наше мировоззрение влиятельным в нашем нравственном быте, а это именно для меня сделалось необходимостью, то мы не должны основывать его на одних положительных, чисто фактических и чувственных данных. Мы не должны ослеплять себя кажущеюся основательностью там, где идет дело об одном представлении или, вернее, только о возможности представления и о его уяснении для себя; тут нельзя требовать ничего другого, как только того, чтобы в этом представлении не было явных противоречий и чтобы оно было как можно менее несообразно, то есть сообразовалось бы, сколько можно, с нашими фактическими знаниями и не заключало бы в себе более противоречий, чем самые эти знания.

15 января.

Вчера вечером я ехал с полевого тока. Было морозно и ясно. Я сидел в санях спиною к заходящему солнцу. Поля, покрытые гладкою, как скатерть, снежною пеленою, освещались нежно-розовым, переходящим

[1] Сильная духом (лат.).
[2] Филарет (1783–1867) – митрополит Московский.
[3] Ничего не принимать на веру; буквально: не верить в слова учителя (лат.).

в светло-фиолетовый, светом; полная, еще бледно-серебристая, луна поднималась из-за леса на зеленовато-голубом фоне. Игра и переливы цветов из зеленоватого в палевый и светло-голубой на горизонте и из розового в бледно-фиолетовый, с множеством блесток на снегу, так обворожили меня, мне дышалось студеным воздухом так легко и привольно, что я невольно начал пародировать упрек жизни Пушкина и про себя шептать с навернувшимися на глазах слезами:

Не случайный, не напрасный,
Дар чудесный и прекрасный,
С тайной целью дан ты мне!

Потом я переменил этот экспромт так:

Не случайный, не напрасный,
Дар таинственный, прекрасный,
Жизнь, ты с целью мне дана!

И оттого, что никто не мог разгадать тебя, чудный дар жизни, неужели мы должны упрекать тебя в нелепой случайности, должны опошлять тебя, играть и не дорожить тобою! Нас берет зло, что не хватает силы раскрыть тайну дара, и мы со зла готовы хоть сейчас утверждать, что ни секрета, ни цели тут вовсе нет, что ларчик жизни открывается просто per vaginam[1], закрывается также легко – землею.

Мы привыкли с самой колыбели к жизни, и смотрим потому на жизнь и на свет как на обыкновенные, вседневные вещи; это, конечно, наше счастье, хотя легкомысленное и пошленькое счастье. Но что было бы со всеми нами, если бы ум наш постоянно вникал и вдумывался в самую суть нас самих и всего окружающего нас?! На каждом шагу мы встречались бы лицом к лицу с непроницаемою, тяготеющею над нами тайною; на каждом шагу недоумение и сомнение отягчали бы наше раздумье. Что это за странное плавание и кружение в беспредельном пространстве тяготеющих друг к другу шаровидных масс? Что это за непонятное существование бесчисленных миров, составленных из одних и тех же вещественных атомов и отделенных на веки один от другого едва вообразимыми по своей громадности пространствами? Что значит эта бесконечная разновидность форм? А сцепление, тяготение, сродство, постоянная вибрация атомов – разве все эти обыденные для нас явления не тайны, скрытые под научными именами? А эти так называемые простые тела, эти неразлагающиеся элементы, скопленные в огромных планетных массах, разве они действительно первобытные элементы? Откуда взялись бы они, откуда взялась бы планетная жизнь, если бы другие, нам неведомые, первобытные элементы не содержались в общем, для нас недостигаемом источнике – эфирном хаосе? Что он такое, этот источник и вместилище неведомых начал?

[1] Через влагалище (лат.).

Что удивительного, если в каждом из нас, окруженных со всех сторон и с колыбели до могилы мировыми тайнами, существует склонность к мистицизму; если одни из нас при известном настроении делаются легко мистиками и начинают видеть и находить сокровенные тайны там, где другие, кружась без оглядки и устали в водовороте жизни, все находят простым и ясным? И можно ли требовать от обитателей земли, одаренных способностью живо представлять себе неосязаемое, чтобы они оставались всегда в будничном настроении духа и мирились с злобою дня, когда судьба, дав им стремление к предвидению и силу воображения, не дозволила отдалиться от земного жилища далее окружающей его воздушной оболочки, да и для пытавшихся подняться – превращает небесную лазурь в черную ночь?! Но из всех мировых тайн самая заветная и самая беспокойная для нас это – «я». Есть, правда, и еще другая, еще более заветная, это – истина. Но если каждый листок, каждое семечко, каждый кристаллик напоминают нам о существовании вне нас и в нас самих таинственной лаборатории, в которой все неустанно само работает для себя и для окружающего, с целью и мыслью, то наше собственное сознание составляет для нас еще более сокровенную и вместе с тем самую беспокойную тайну. Есть, однако же, и еще более заветная, но уже происходящая из нашего же сознания: это – истина. Не без насмешки сделал свой назойливый вопрос римский проконсул[1]. Может быть, именно за это и не последовало ответа свыше. Да, истины не узнаешь, любопытствуя, что она за штука.

Разумеется, я не говорю о так называемых научных истинах. Эти все – и исторические, и естественноисторические, и математические, и юридические – не более, как или истинные факты, или правильные умозаключения, добытые логическим анализом и синтезом, или же формулы, диктуемые жизнью, нравами и потребностями общества. Таких истин много. Но есть истина одна, цельная, высшая, служащая основанием всего нашего нравственного быта. Напрасно утверждают такие историки, как Бокль[2] и с ним большая часть нового поколения, что человечество обязано преимущественно развитию научных истин в обществе, а нравственные нисколько будто бы не содействовали его преуспеянию, то есть прогрессу, счастью, благосостоянию. Я полагаю, напротив, что единство и цельность настоящей истины выступают все более и более с прогрессом человечества, хотя и трудно решить, насколько оно в общем итоге сделалось лучше. Действительно, истина должна

[1] В Евангелии от Иоанна (18, 38) Понтий Пилат, прокуратор римской провинции Иудеи, задал вопрос: «Что есть истина?», приведенному к нему на суд Иисусу в ответ на его слова: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего».

[2] Г.Т.Бокль (1821–1862) – английский историк, в своем труде «История цивилизации в Англии» выступил против традиционных идеалистических объяснений истории предопределением, божественным вмешательством или случайным стечением обстоятельств. Преувеличивал влияние географических условий как стимула общественного развития. Усматривал решающий фактор поступательного движения истории в интеллектуальном развитии человечества и накоплении практических знаний, тогда как нравственный уровень общества считал неизменным.

быть только одна: она – вне нас и вместе в нас самих, в нашем сознании; конечно, не так ясная для нас, как солнце, но, как световая волна далекого солнца, освещает наш нравственный быт. Что было бы этическое наше, или нравственное, начало, если бы вечная и цельная истина не служила ему основою? Без нее, без этой основы, не существовали бы для нас и научные истины, ибо не существовало бы в нас нравственного стремления к открытию истины. Каждый из нас, самый закоснелый в преступлениях, невольно стремится найти в себе истину и ищет пред собою и пред другими оправдания своих поступков. Правда, мы при этих оправданиях запутываемся во лжи, стремясь не быть, а казаться; но это не доказательство противного, не доказательство тому, что в нас нет произвольного стремления к правде. Все это: и казаться, а не быть, и здание лжи, сооружаемое нами для оправдания наших действий, – есть только искаженное стремление к правде, следуя которому, мы все более и более удаляемся от правды, и это потому только, что попали на ложный путь. Наконец, доходит до того, что для нас делается и совсем невозможным отличить правду от лжи. Тогда-то и рождается насмешливый вопрос римского проконсула: что такое истина, как ее узнать, как отличить, где она? И как, в самом деле, понять идеальнейший из идеалов! Истина! Ведь это абсолют, это Бог! Мы и не должны сметь когда-нибудь ее постигнуть.

Но невозможность достижения не есть отрицание стремления к ней. Это стремление, данное нам свыше, есть наше драгоценнейшее достояние. Глубоко затаено в нас, если не убеждение, то чувство, напоминающее нам, что без стремления к правде нет полного счастия. Посмотрите, как это влечение, заглушенное страстями, бедствиями, тем, что называется судьбою и случаем, и ложным направлением, проявляется в другом виде, не имеющем, по-видимому, ничего общего с влечением к основе нашего нравственного бытия. Увлечение в преследовании целей, основанных на неправде, не уничтожает еще в нас стремления к открытию истинных фактов или научных истин, и вот, удовлетворяя с этой одной стороны наше стремление к правде, мы именно поэтому и не заботимся иногда удовлетворить вполне другой, высшей его стороны. Точно так же великие, но безнравственные гении, завоеватели и государи, попирая ногами правду, легко убеждают себя в правоте своих действий, потому что у них стремление к истине находит удовлетворение в достигаемых ими грандиозных результатах; а результаты эти, действительно, содействуют к открытию и распространению различных фактических истин. Все это *иллюзии*, неразлучные с нашим существованием. *Истина* так светла, что без иллюзий одно только стремление к ней ослепило бы уже нас; поэтому ложь сделалась неизбежною для нас при непреодолимом влечении к истине. Не зная, что она такое, но неудержимо стремясь к ней по присущему нам всем влечению, мы, к счастью и несчастью нашему, должны жить постоянно в иллюзии и смене галлюцинаций. Эта неизбежность служит нам смягчающим обстоятельством пред судом совести; но она не уничтожает еще в нас окончательно способности приходить в себя и разузнавать наши иллюзии и галлю-

цинации. Галлюцинируя до чертиков, было бы отвратительно, нелепо полагать, что вовсе нет этой единой, общей и цельной истины; что только приобретенные чувствами факты и выведенные из них умозаключения суть истины; всякая же другая правда есть понятие относительное и временное, обязательное pro domo suo[1]. Думая так, мы превратили бы наши иллюзии из ширм, охраняющих от нестерпимого для нас света истины, в темную, непроглядную ночь.

Все это писано до 29-го января. В эти дни разгулялся мой кишечный катар не на шутку. Все полнолуние стояла ровная, тихая, ясная погода с −10–12° R утром и ночью и до 0+1° – среди дня. Солнце уже порядочно греет. Это самая опасная вещь для меня и, я думаю, для всех, страдающих кишечным катаром: на прогулках на солнце легко приходишь в испарину, а в тени остужаешься также скоро. Впрочем, с 25–26 января барометр опустился, стоит иней, туман и от −5 до +2° R.

28 января.

Катар мой несколько улегся. После моего любимого раствора солянокислого хинина в мятной воде (приняв его до 10 гран[2]) чувствую себя не худо и после прогулки по комнате пришел в легкую испарину.

Сегодня небо безоблачно, до 10° R мороза, тихо.

Какое-то dolce far niente[3]. В ушах шум, но не от одного хинина, а только им усиленный обычный мой шум, вовсе не докучливый, – как будто слышишь отдаленный вечерний гул с улиц большого города. В голове калейдоскоп мыслей, in statu nascendi[4]; одна быстро сменяет другую; прошедшее меняется настоящим без остановки. Вниманию не удается поймать и фиксировать ни одной мысли, а между тем действуют и внимание, и мышление, и фантазия, и память – все в одно и то же время. Значит, у меня, как и у всех, я думаю, и в здоровом, и в ненормальном состоянии, ни одна из этих способностей не действует порознь; мое «я» теперь играет, как по клавишам, слегка дотрагиваясь то до памяти, то до воображения, то до рассудка. Только в настоящую минуту мое «я», дотрагиваясь до каждой из этих своих клавишей, слабо извлекает из них неясные, хотя и не вовсе несвязные тоны. Такое состояние имеет свою прелесть; это именно и есть dolce far niente нашего «я».

Пробегая записанное в последние дни, вижу, что заговорил об иллюзиях. Да, эти ширмы, как я их назвал, – наши талисманы. Человек, следящий за собою, легко поймет, какую услугу они ему оказывают, и, зорко наблюдая за собою, не дозволит им слишком затемнять путь, указываемый присущим ему и, потому непреодолимым, влечением к истине.

[1] Для себя (лат.).
[2] Гран (лат. granum зерно) – единица аптекарского веса, около 0,0622 грамма.
[3] Сладостное безделье (ит.).
[4] Возникающие моментально (лат.).

30 января.

На дворе idem[1]. Светло, тихо; температура утром −12° R; на солнце в середине дня – до 0° и выше.

Все разъясняется, все делается понятно – умей только хорошо обращаться с фактом, умей зорко наблюдать, изощряй чувства, научись правильно наблюдать; тогда исчезнут пред тобою чудеса и мистерии природы, и устройство вселенной сделается таким же обыденным фактом, каким сделалось теперь для нас все то, что прежде считалось недоступным и сокровенным. Такое убеждение с каждым днем все более и более проникает в сознание не только передовых людей, жрецов науки, но и целых масс. И это есть одна из главных современных, наиболее благодетельных и полезнейших иллюзий. Эта иллюзия полезна уже и тем, что направляет все наши умственные силы на предметы, подлежащие самому точному чувственному анализу и исследованию, не давая увлекаться тем, что навсегда для нас должно остаться заповедною тайною. Чем специальнее, чем ограниченнее предмет нашего исследования, тем более надежды на точный и ясный результат, тем сильнее иллюзия и тем спокойнее и отраднее чувствует себя посвятивший все свое внимание и время исследованию.

Углубившись и посвятив целую жизнь занятиям по этому способу расследования, мы, наконец, приходим и к тому убеждению, что на сцене наших действий нет ничего закулисного, и кажущееся скрытым за кулисами существует только для того, кто не хочет или не умеет зорко взглянуть. А между тем, если подумаешь и разберешь, не увлекаясь ни поразительным величием разных открытий, ни громадностью добытых эмпирическим расследованием результатов, в чем состоит вся суть приобретенных нами этим способом знаний, то нетрудно убедиться, что мы узнаем исключительно одну внешнюю сторону окружающего нас мира и нас самих.

Одних из нас исключительно занимает механизм явлений, устройство, состав и действие различных приборов и снарядов жизни и ее формы; другие занимаются прикладною, и потому также только внешнею, стороною жизни. Этим способом наши знания и понятия о мировой жизни несомненно обогащаются; внешняя ее сторона подвергается рассмотрению с разных сторон; но остается так же, как и прежде, как и всегда, несомненным, что in's Innere der Natur dringt kein geschaffener Geist[2]. Вот это-то тяжелое для нашего сотворенного духа сознание мы и притупляем благодетельною иллюзиею, приковывающею все наше внимание к внешней стороне мировой жизни.

Кому из людей, занятых исследованием фактических истин и практическою жизнию, придет в голову размышлять о сущности вещей? Кто

[1] Тот же (лат.).
[2] В природе нет созданного духа (нем.).

из людей, занятых практическим делом, поверит, что эта сущность вовсе не то, что передается нам чувствами? Все кажется простым тому, кто привык просто смотреть на все. Да научного исследователя и интересует всего более вопрос: как, а не *почему*? Мы видим, что лист растет, наблюдаем, как он растет, узнаем устройство и состав клеток, следим шаг за шагом за разделением и размножением клеток; весь *механизм* растительного процесса открывается нам как на ладони. Но что заставляет расти именно так, а не иначе? Что заставляет растение и животное принимать тот или другой характерный вид? Отчего семя и яйцо заключают в себе зародыш именно того же типа и вида, от которого они произошли? Что привлекает и роднит щелочь с кислотою? Что сцепляет атомы? Что заставляет притягиваться одно тело к другому? Отчего мышечное движение переходит в теплоту, а теплота – в движение? Отчего сотрясение атомов возбуждает в нас ощущение теплоты? Все эти и тысячи других вопросов, не разрешаемых по нашему незнанию сущности вещей, показывают, что мы окружены тайнами; и если все эти тайны не считаются нами за чудеса, то потому только, что мы с ними встречаемся на каждом шагу. Мы называем их не чудесами, а явлениями, основанными на естественных законах, не зная, откуда взялись они. Встречая же что-нибудь, хотя и гораздо менее чудесное, но не ежедневное и не обычное, мы не задумываемся тотчас же сомневаться и не верить, или же слишком верить и считать его за чудо. Таковы наши иллюзии – и слава Богу! Без них нестерпимо было бы жить в этом таинственном мире, окруженном заколдованным кругом, из которого нет выхода.

8 февраля.

Все эти дни, при новолунии, после двухдневной небольшой оттепели (при 0+2°) начались так называемые сретенские морозы в 25–30° и продолжаются теперь. Солнце на лето, зима на мороз. Ездил к больному в Кишинев: в одном вагоне было натоплено до +18° R, а когда ехал назад, то в курьерском поезде доходило до −2–3°.

Но так ли все это? Не иллюзия ли, в свою очередь то, что будто есть еще какая-то неведомая и не подлежащая расследованию сущность вещей? Не есть ли эта сущность именно то только, что нам делается известным посредством опыта и наблюдения? Не устроены ли и не приноровлены ли наши чувства от природы именно к тому, чтобы мы узнавали вещи такими, какими они в сущности должны быть? Sensus nos fallunt[1] – не есть ли только одно asylum ignorantiae[2]? Нужно только уметь действовать чувствами, приучить и изощрить их; нужно уметь правильно истолковывать и уяснять себе доставляемые чувствами ощущения, и чувства нас никогда не обманут.

В этих возражениях есть доля правды; но только доля.

[1] Чувство нас обманывает (лат.).
[2] Приют невежества (лат.).

Во-первых, мы судим о наших чувствах и доставляемых ими результатах не иначе, как субъективно и индивидуально. Поверка основана только на круговой поруке. Судьями чувственной правды и неправды остаются все те же чувства. Что сегодня казалось всем неоспоримым по чувственному опыту, то завтра этим же опытом может быть опровергнуто. Есть граница изощрения чувств, и чем более изощряется одно чувство, тем легче ошибка, тем невозможнее поверка его другим чувством. Наконец, как бы чувства мои ни были изощрены и приноровлены, все-таки для меня останется неразрешенным вопрос: что такое наблюдаемый мною предмет без меня? Я узнаю каждый предмет только по производимому им на меня впечатлению и ощущению. А ощущение без моего «я» для меня немыслимо. Между тем для меня остается несомненным, что каждый исследованный мною предмет может и будет существовать и без меня. Что же он тогда такое? Но сверх этого, очевидно, неразрешимого вопроса сущность вещей, — das Ding an und für sich selbst[1], — должна быть для нас чем-то другим, а не тем, что передают нам наши чувства, еще и потому, что все наши чувственные и умственные представления о вещах, как бы эти представления ни были отчетливы и ясны, никогда не дадут нам всестороннего понятия даже о самой внешней стороне исследуемого нами предмета. Да, если бы мы могли проникнуть в сущность предметов, хотя бы с одной их чувственной стороны, мы знали бы, что такое сила и что такое материя; а если бы мы могли себе представить вещи, как они есть сами по себе, без помощи наших чувств, т.е. не только такими, какими они нам кажутся, то мы поняли бы и тайну творения, и мистерии творчества. Для нас же не только это недостижимо, но и то невозможно, чтобы каждый предмет подвергнуть анализу всех наших чувств; мириады вещей еще нам неизвестны; мириады останутся навсегда и вовсе неизвестными; а представления наши о тех предметах, которые можно еще открыть и исследовать искусственным изощрением чувств, как бы они ни казались нам ясными, все-таки не более, как призраки, туманные картины и отголоски, нередко увлекающие ум в непроходимый лабиринт предположений и иллюзий.

Вторая благодетельная для нас иллюзия есть наше непоколебимое убеждение в свободе нашей воли, мысли и совести. Без этого дорогого для нас убеждения нравственная жизнь была бы невозможною, да и проявления физической жизни встречали бы беспрестанно препятствия в нас же самих. Нелегко разубедить себя в том, что я не могу не хотеть, чего желаю, не могу не желать того, что свойственно желать моим душевным и умственным способностям. Мысль моя не может проявляться вне известных и определенных законов мышления, не рискуя превратиться в бессмыслие. Моя совесть требует от меня только того, что я считаю совестным (нравственным); а если поступаю вопреки исповедуемых мною законов совести, то потому, что она сделалась у меня не свободною. Впрочем, можно утверждать только то, что ни воля, ни мысль, ни совесть человека не *произвольны*, но свободны в границах, определен-

[1] Вещь в себе и для себя (нем.).

ных известными органическими и психическими законами. Произвол и свобода – конечно, не равнозначащие слова. Так точно не равнозначащи – воля и желание. *Я хочу* и *я желаю* – два разных понятия. Но ни желания, ни хотения наши не могут быть произвольными, хотя и кажутся нам такими. Я желаю в эту минуту чего-нибудь, потому что внутренние мои или органические (доставляемые органами) ощущения и все предшествовавшие обстоятельства и условия заставляют меня желать именно этого, а не чего-нибудь другого; я могу переменить мое желание или заставить его молчать, но только когда моя воля еще не ослабела под игом разных желаний и других ненормальных условий. Воля должна быть в нормальном состоянии всегда сильнее желаний. Воля всегда деятельна и управляет действиями. Поэтому-то я могу желать что-либо доброе и в то же время хотеть делать что-либо худое. Только чисто физические препятствия могут воспрепятствовать действиям сильной или нормальной воли. В ней действительно есть склонность к произволу; но все-таки и воля не может быть непропорциональна по своей силе с органическою энергией нашего «я». Я могу желать поднять мою руку, но моя воля и следующее за ней действие ограничены способностью передавать мою волю руке, и если она парализована, то при всем моем желании ее поднять деятельного хотения не будет. Мне, может быть, еще не раз придется в моем дневнике затрагивать этот жгучий вопрос.

Третья иллюзия нашей психической жизни, не менее благотворная двух первых, зависит от непоследовательности нашего ума и фантазии.

Чистый разум, т.е. взятый в отдельности от других психических способностей, конечно, не может быть непоследовательным. Но мы не можем умствовать так, чтобы действовал один чистый разум; умствуя, мы в то же время внимаем, помним, воображаем, желаем и нередко еще (в практической жизни) волнуемся и увлекаемся тою или другою страстью. Поэтому ум наш, последовательный по принципу, на практике почти всегда непоследователен. И это наше счастье и наше несчастье.

И вот, ум наш в силу присущей ему последовательности при каждом мировоззрении непременно должен прийти к принятию бесконечного и безграничного, что бы он ни рассматривал: пространство ли, время ли, движение ли, силу, вещество, – всегда он должен, наконец, дойти до бесконечности, неограниченности, вечности, хотя и никогда не может составить себе об этих атрибутах какого-либо определенного и ясного понятия. И никакая сила умствующей фантазии не может представить нам какого-либо облика той бесконечности, до пределов которой ум наш доходит роковым образом с присущею ему последовательностью. Это неоспоримое существование бесконечного, беспредельного и вечного начала, до которого наш ум и фантазия роковым образом достигают, рассматривая конечное, ограниченное и временное, не есть один чувству подлежащий факт, но стоит выше всякого факта, ибо оно есть непременный постулат чистого разума, переносимый им же и в область фантазии. Между тем, и разум, и умствующая фантазия в практической жизни беспрестанно заняты созерцанием различных видоизменений всего окружающего нас, и эти-то беспрестанные изменения в

пространстве, времени, движении, силе и веществе постоянно и противоречат последовательным заключениям чистого разума и заставляют нас везде и во всем нас окружающем находить одно лишь временное, ограниченное и определенное. Вот это и есть иллюзия, приносящая нам счастье и несчастье, но вообще более благотворная потому, что она заставляет нас сосредоточивать все наши умственные силы на расследовании изменений, совершающихся вне нас в безграничном пространстве и времени. Без этой вынужденной непоследовательности ума и без этой вносимой ею иллюзии деятельность нашего ума и фантазии терялась бы для нас, погруженная в бесплодное созерцание недоступной бесконечности.

С 9-го по 12-е февраля после 3-хдневной оттепели (с +4° R и более) снова мороз в 7° R (12 ф[евраля]), а 13 и 14 февраля после 27—30° морозов наступила ясная, прелестная погода с −4°, при совершенном безветрии.

Дышится легко, и дышалось бы еще легче, если бы не событие 5-го февраля[1], дошедшее до нас с своими ужасающими подробностями только 9—10-го февраля.

Я не верю, чтобы русская наша доморощенная молодежь, насколько я ее знаю, в состоянии была без опытных руководителей действовать с такою дьявольски-энергическою выдержкою. Это ни прежде, ни теперь не в нашем духе. На это мастера романские народы, а из славянского племени разве одни поляки, искусившиеся в заговорах.

События последнего времени доказывают существование плотно организованной и притом действующей последовательно подпольной организации, располагающей средствами и преследующей известный план. Где точка опоры? Вот вопрос; едва ли в одном нашем обществе, т.е. в некоторых его слоях; едва ли главные руководители с их подпольными пружинами не находятся вне нашего общества; для него это что-то уже слишком забористое и слишком злодемонски устроенное. Наш домашний демон не так зол и в своем зле не так энергичен и последователен. Тут кроется организация вроде той, которая учреждена была у итальянских карбонариев[2] и в польском жонде[3]. Это не наше, или же наше новое поколение чертовски изменилось в последние периоды нашего развития.

Между тем я заметил, что это ужасное событие, заставившее меня и жену долго призадуматься и как-то внутренне взгрустнуть, по-видимому, не произвело в окружающих нас людях того потрясающего впечатления, которого нужно было бы ожидать. Евреи, правда, болтали разные нелепости; но в народе, крестьянах, не слышно было толков и не

[1] 5 февраля 1880 г. в Зимнем дворце в Петербурге был произведен взрыв с целью убийства Александра II.

[2] Карбонарий (ит. carbonaro – буквально: угольщик) – члены тайной революционной организации существовавшей в Италии в первой трети XIX века, во Франции в 20–30-х годах XIX века.

[3] Польский Жонд – правительство («Жонд народовы»), созданное в ходе польского освободительного движения 1830–1831 гг.

заметно было живого участия. Вот это-то безучастие, близкое к равнодушию, и досадно, и печально. Но кого винить? Общество сверху донизу приучено веками к индифферентизму, и вот при начавшемся его развитии, к которому его толкнула высшая власть, эта паскудная наша безразличность начала исчезать прежде всего в поколении недозрелом и притом, еще на беду, заменилась какою-то злою мономаниею. Надо же было случиться, чтобы царствование доброго государя, успевшего уже в 25 лет сделать свое имя бессмертным в истории развития России, открыло широкое поприще для гибельного зла и неслыханных преступлений и исступлений мысли!

Но не значит ли это, что в течение многих лет скоплялся в тайниках общества материал, способный при первом же дуновении свободы воспламеняться и причинять разрушение?

Почему при первой заре новой жизни народа не появились на Божий свет равные этому злу по силе, но противоположные по стремлению общественные элементы? Вот вопрос.

Едва ли он не решается тем, что не было достаточно приложено усилия к трезвому анализу разных стремлений и поддержке тех, на внутренний антагонизм которых в борьбе со злом можно бы было твердо опереться. Стричь под один гребень – это известная замашка неразвитых, неопытных и грубых лиц и обществ. Искусство анализировать, уменье отыскать в каждой особи хорошую сторону и воспользоваться ею не только при случае (а потом швырнуть в сторону или заковать в цепи), – все это, я знаю, не легко; но без этого нельзя и ожидать ничего путного, и лучше не вливать вина нового в мехи старые.

Есть периоды в истории народов, когда неминуемо, роковым образом они призываются логикою фактов к новой жизни, и правительства волею и неволею должны бывают отступать от консерватизма. Если правители не подстерегли, так сказать, благоприятного момента для реформ и нововведений и вынуждены были обстоятельствами дать их не в пору, пропустив время, то все вредные, перезревшие и недозревшие элементы общества приходят легко в брожение; и результат от нововведений, как бы они благотворны ни были, получается неожиданно плохой. В здоровом народном и государственном организме эти худые следствия не могут быть долговременны. Брожение уляжется, и все снова заживет уже обновленною жизнию.

Все реформы нынешнего царствования, по моему мнению, к сожалению, опоздали. Эманципация должна бы была совершиться задолго до 1848 года, когда в Европе все было тихо, и социализм не поднимал еще головы, а финансы наши были в хорошем состоянии; у нас царствовала тишь и гладь, да Божья благодать; все сословия покорствовали одной твердой воле, первенствовавшей и на всем континенте. Вместо того – освобождение крепостных, а потом и другие, необходимо следовавшие за этим актом, реформы пришлись в самую неблагоприятную пору: с одной стороны, несчастная война[1], обнаружившая страшную

[1] Имеется в виду Крымская война 1853–1856 гг.

неурядицу и злоупотребления администрации (военной и гражданской); позорный мир; с другой стороны, общее внутреннее глухое и затаенное недовольство во всех почти слоях общества от тяжелых и стеснительных мер, следовавших после революций в Европе 1848 года; сильно расстроенные войною финансы; польское восстание; усиленная агитация эмигрантов, возбуждавшая сочувствие во всей молодежи и даже в правительственных лицах. Можно ли найти более опасное время для одной из радикальнейших реформ государства? И между тем ее нельзя уже было откладывать, она уже и то была запоздавшая. И вот, по необходимости, сорвана Соломонова печать с склянки с закупоренными духами; они вылетели не во время и не влезают по приказанию волшебника опять в склянку. Мало того, эти духи – и между ними, конечно, много было и злых – временно оказались нужными. При их помощи некоторые из сделавшихся почему-то (не почему-то, а по успеху) знаменитыми, эманципировали крестьян в западных губерниях, в смутное время польского восстания; да эти духи, несомненно, и теперь еще бродят в этих провинциях в виде разных субалтернов[1] премудрой администрации. Теория высшей администрации, конечно, была остроумна: воспользоваться свободными силами, хотя и неблагонадежными, а потом уволить их в бессрочный отпуск. Ведь святые и на черте верхом ездили. Но на практике оказалось, что новейшие духи упорнее и несговорчивее черта старых времен; лишь только их пустили в ход, они и сами пустили корни. Обо всем этом я хотел было (и буду) говорить впоследствии, при случае; но не удержался и теперь; отвратительное гнусное событие 5-го февраля вывело меня из колеи, и я поневоле заговорил не у места. Возвращусь поскорее к моему светлому и утешительному мировоззрению.

Действительно ли, однако, все так, как я думаю?

Не иллюзия ли именно то, что непостижимо для нас: беспредельность, бесконечность и вечность? Начало и конец, рождение и смерть мы встречаем и сознаем на каждом шагу. Все наше существование на земле в беспрерывной зависимости от вещей определенных, конечных и временных. Наши главные средства к познанию вещей – чувства – устроены исключительно для определения и измерения границ пространства, времени и движения. Где же тут иллюзия? Да, самое лучшее для нас не сознавать тут иллюзии и, не сознавая ее, действовать; это практично, и убеждать себя, что мы действуем, живя в мире иллюзий, ни к чему не ведет, или же ведет скорее к худу, чем к добру. Все это так; но мне стоит только поднять глаза кверху, посмотреть на небо, и беспредельность делается неопровержимым фактом; стоит только подумать о мироздании и содержимом в нем веществе и силе, и мысль о вечном, неизменном начале невольно является и поражает своею бездонною глубиною. Если же безграничное и вечное есть не только постулат разума, но и самый громадный факт, то как согласить существование ограниченного и временного с этим фактом? Тут-то и кроется иллюзия; ограниченными, определенными и временными кажутся нам одни лишь

[1] Субалтерн (лат. sub. – под, alter – другой) – подчиненный, несамостоятельный.

проявления безграничного и вечного начала, да и в них ограничены и временны одни только видоизменения. Проявления эти, по причине вечного движения и беспрерывного перехода сил и вещества одних в другие, не могут быть постоянно одними и теми же. Вселенная — это громадный, вечно вращающийся калейдоскоп; фигуры беспрерывно изменяются, но движущая его мысль и сила вечны и неизменны.

Итак, мой ум и фантазия, по-моему, никогда не разлучные, убеждают меня в существовании бесконечного и вечного начала. Без фантазии и ум Коперника и Ньютона не дал бы нам мировоззрения, сделавшегося достоянием всего образованного мира. Ничто великое в мире не обходилось без содействия фантазии. К ней же, к умствующей фантазии, нужно обратиться и за решением неразрешимого вопроса об отношении вещества к этому безгранично вечному вселенскому началу.

И я утверждаю, что в умственном анализе, вспомоществуемом фантазиею, вещество улетучивается, так сказать, и вместо его атомов в воображении остается сила. Что она такое — мы также не знаем, как не знаем и что такое основные атомы вещества. Одно только для меня неоспоримо, что и эта воображаемая основная сила, и эти воображаемые основные атомы не имеют и не могут иметь тех же чувственных свойств, которые опыт, наблюдение и наука открывают в окружающей нас вселенной. Эта основная сила и основное вещество — такое же отвлечение, как и мировая мысль и начало жизни; но отвлечение, проявляющееся в уме, непроизвольно и неминуемо при размышлении и воображении; ум непроизвольно, скажу, пожалуй, бессознательно (хотя это, по-видимому, нелепость), находит самого себя и свойственное ему стремление к цели и плану вне себя. Это его свойство. Но он обладает этим свойством именно потому, что оно существует и вне его, в целой вселенной; поэтому, другими словами, что он сам есть только одно проявление другого, высшего, мирового ума.

Февраля 16.

Уже четыре дня стоит утрами мороз в 4—2° R, в середине дня до 0° R, ясно; вчера был утром снег. Под снежным покровом земля под посевами оказалась при пробе (на днях) замерзшею на несколько дюймов, несмотря на глубокий (местами в один аршин) снежный слой и, несмотря на то, что снег выпал осенью на талую землю; он не сходил, однако же, ни разу зимой до сих пор. Погода стоит, по-видимому, отличная для ходьбы, но вероломная. Дует так называемый здесь марец, пронзительный с юго-запада и северо-запада ветер (SW, NW) при начинающейся весне; он проникает до костей, несмотря на то, что S и W, а солнце между тем уже сильно греет.

Я в 1860 году схватил сильную болезнь в эту пору (в конце февраля) с перемежающимся тифом. Поэтому я страшно боюсь февральского вероломства; не знаешь, как одеться, выходя пешком из дому; в шубе на солнце как раз вспотеешь, а тут где-нибудь на повороте прохватит

марец. Недаром его боятся и посевы; беда, если они откроются из-под снега в то время, когда дует марец; в прошлом году на посевы, подвергшиеся в феврале ветрам, страшно было смотреть; зелень вся пропала и поля почернели вскоре после того, как вышли из-под снега; потом только поправились немного от выпавшего мокрого снега.

Я все толкую в моем мировоззрении о мировом уме, о мировой мысли. Да где же мировой мозг? Мысль без мозга и без слов! Разве это не абсурд в устах врача? Но пчела, муравей думают же без мозга, и все животное царство разве не мыслит без слов? Вольно нам называть мыслию только одну человеческую, мозговую, словесную и *человечески сознательную* мысль! А она для меня есть только проявление общей мысли, распространенной всюду, творящей и управляющей всем. Сам мозг и само слово, считаемое нами за орган и условие мысли, суть произведения этой мировой мысли и, конечно, не случайные. Если для неизвестной нам цели было необходимо устройство организмов, то, конечно, творческая мысль должна же была найти для выражения себя сознанием и словом какой-либо субстрат, наиболее приспособленный к цели, и этим субстратом для человека и высших животных оказался мозг. Почему для человеческого мышления понадобились именно не другие, а мозговые извилины, клетки, узлы и волокна, мы не знаем, точно так же как не знаем, почему нужно было творение существующих, а не иных каких животных типов; мы не можем этого знать именно потому, что и устройство нашего органа мышления, и творение типов суть произведения высшей, мировой, для нас по одним только ее проявлениям доступной, мысли. Открывая на каждом шагу вне нас мысль несознательную, в нашем смысле, мы невольно привыкаем считать ее за свою собственную, человечески сознательную.

Между тем мы достоверно теперь знаем, что в наших действиях, и преимущественно в деятельности органа зрения, значительно участвует бессознательное мышление; без него мы не могли бы ощущать и представлять себе видимые нами предметы такими именно, как они нам кажутся. Мы рассуждаем, считаем, воображаем, помним и хотим, во многих случаях, бессознательно; без сомнения, можно и чувствовать бессознательно, как это показывают рефлексы, или же тотчас забывать момент ощущения при самом его начале. Мне кажется, наступила пора, когда мы должны уже различать сознание нашего «я» от других психических актов, каковы ощущение, мышление, воля и воображение, не говоря уже о том, что степени самого сознания могут быть весьма различны. Я полагаю, что мозг есть исключительный орган индивидуального сознания; мышление же наше зависит от мозга настолько, насколько он есть орган слова и ощущений, приносимых различными органами. Но ни мозг, ни другие органы себя самих не ощущают сознательно. Откуда же берется в нем сознание нашего «я»? Что за странное превращение разных внешних и внутренних ощущений, приносимых к не чувствующему самого себя мозгу, в чувства нашей личности! Не приносится ли и оно к нам извне, – я хочу сказать: не сообщается ли это сознание организму извне вместе с элементами – носителями жизненного начала?

Начало жизни, жизненная сила, дух бытия, назовем как угодно, конечно, не имеет своего «я»; оно не может иметь индивидуально-человеческого сознания; оно – общее; но, направляя силы и элементы к формированию организмов, это организующее начало жизни делается самоощущающим, сознающим, племенным или личным. И в каждой животной особи, кроме сознания (более или менее ясного) личности, существует еще сознание племенное, а в людях, кроме племенного «я», есть еще и общечеловеческое. Эти различные виды сознания, органом которых служат преимущественно нервные центры, в моих глазах, не что другое, как олицетворение мировой мысли, совершаемое жизненною силою. Это, по моему мнению, не пустая фраза. Я вправе так думать потому, во-первых, что другого объяснения происхождению нашего «я», я не знаю; во-вторых, в существовании жизненного начала (силы) нельзя сомневаться: ибо нужно же принять икс, управляющий веществом в организме и физическими силами, направляющий их к известной определенной цели, к поддержанию существования и самосохранению организма; в-третьих, наконец, вещество, управляемое и направляемое жизненным началом, организуется по общему определенному плану в известные типы; а это не значит ли, что организование типов и форм представляет собою выражение и олицетворение творческой мировой мысли? Но так как эта мысль не есть и, по существу своему, не может быть индивидуальная, то она, конечно, не нуждается в особом органе, каков наш мозг, предназначенном исключительно для индивидуальности. Вместе с этим для выражения мировой мысли не было надобности ни в ощущениях, ни в словах, необходимых для нашего индивидуального мышления.

Вообще мы не в праве утверждать, что такой-то или такой-то орган устроен именно с тою целью и для той функции, которые ему приписывают наши опыты, наблюдения и наука. Мы не можем утверждать, что наши ноги даны нам, чтобы ходить, мозг – чтобы мыслить. Нет, мы ходим, потому что у нас есть ноги, и мыслим, потому что имеем голову. Утверждать же, что мы имеем голову, чтобы мыслить, значит полагать, что творческая сила жизни не имела никакого другого средства, кроме избранного ею к достижению своей цели. Мы должны помнить, что мы не знаем, почему творческая мысль олицетворилась сознательно в типе и форме человека, а не ином, и вместе с тем мы не вправе утверждать, что человеком и закончилось это олицетворение, доведенное в нем до самосознания; у нас нет никакой причины отвергать возможность существования организмов, снабженных такими свойствами, которые олицетворению мировой мысли придали бы недостижимое для нашего самосознания совершенство.

17–18 февраля.

Оба дня тепло – до 4–6° R при S и SW, вчера (17) более пронзительном, сегодня слабом. Ясно. На солнце тает, но общей оттепели нет, хотя снег уже и проваливается под ногами.

Я знаю, что мое мировоззрение не имеет той фактической подкладки, которая в наше время требуется от всякого серьезного размышления. Но в том-то и беда, что нужно или вовсе отказаться от всякого мировоззрения, или же принять в основание одни слишком общие и потому слишком близкие к отвлечению факты. Мне не суждено быть позитивистом; я не в силах приказать моей мысли: не ходи туда, где можно заблудиться. И я поневоле основываюсь в моем мировоззрении на том, что мне кажется вне всякого сомнения, хотя бы это было более отвлечение, чем факт. Мне кажутся такого рода отвлечения так же несомненными, как мое собственное существование; к ним я отношу: мировую целесообразность; общий план творения; мировую мысль; силу, независимую от вещества; вещество, при умственном анализе превращающееся в нечто неуловимое чувствами, то есть также силу; начало (силу) жизни, проникающее вещество, но не зависимое ни от него, ни от физических сил, а целесообразно направляющее эти силы к самосохранению вещества, возведенного этим же началом на степень организмов и особей. Принимая все это за неоспоримые истины, мог ли я принять иное мировоззрение? Будет ли наукою когда-нибудь несомненно доказано, что высшие животные типы, формы и мы сами развились под влиянием внешних условий и сил из низших форм, а эти, в свою очередь, из первобытной органической протоплазмы, — мое воззрение от этого не изменится; так ли, иначе ли развилась животная жизнь на земле, принцип целесообразности в творчестве от этого ничего не теряет и присутствие мировой мысли и жизненного начала во вселенной не сделается сомнительным.

Я не могу убедиться, — хотя мое собственное убеждение и не могу подтвердить фактами, — чтобы во всей вселенной наш мозг был единственным органом мышления; чтобы все в мире, кроме нашей мысли, было безумно и бессмысленно, и чтобы она одна придавала мирозданию смысл и разумную целесообразность. При таком одностороннем воззрении мне чрезвычайно странным кажется значение нашего мозга; выходит так, что в целой вселенной он один, ощущая внешние впечатления и не ощущая самого себя, служит местом проявления какого-то «я», вовсе не признающего своей солидарности с местом своего происхождения и как будто ему постороннего. Поэтому мне сдается не более и не менее правдоподобным другое предположение, что это пресмутное и странное наше «я» заносится в мозг и развивается там вместе с ощущениями от приносимых в него внешних впечатлений; другими словами ставится вопрос: не приносится ли наше «я» извне, и не есть ли оно именно мировая мысль, встречающая в мозге аппарат, искусно сработанный ad hoc[1] силою жизни и назначенный ею для олицетворения и обособления мирового ума? В таком случае, мозг был бы искусно сплетенною сетью для удержания и проявления в личном виде этого вселенского разума.

Во всяком случае, это, по-видимому, фантастическое предположение мне кажется все-таки более вероятным, чем то, вышедшее из шко-

[1] Для этой [цели] (лат.).

лы чистокровных материалистов[1], по которому наша мысль приводится в зависимость от мозгового фосфора. Сколько бы я ни ел рыбы и гороху (по совету Молешотта), никогда я не соглашусь отдать мое «я» в крепостную зависимость от продукта, случайно полученного алхимиею из мочи. Если нам суждено в наших мировоззрениях подвергаться постоянно иллюзиям, то моя иллюзия, по крайней мере, утешительна. Она мне представляет вселенную разумною и деятельность действующих в ней сил целесообразною и осмысленною, а мое «я» – не продуктом химических и гистологических элементов, а олицетворением общего, вселенского разума, который я представляю себе свободно действующим по тем же законам, которые начертаны им и для моего разума, но не стесненным нашею человечески-сознательною индивидуальностью.

19 февраля.

Отличная погода при −1° R (утром ясно и тихо для дня двадцатипятилетия).

25 лет тому назад я встречал этот день в Севастополе. Тогдашние занятия на перевязочном пункте и моя болезнь (тифоид) не позволили ясно сохраниться произведенному на нас впечатлению известием о новом вступлении на престол. Я помню только о каком-то безгласном изумлении при получении известия о кончине императора Николая. Мы почти ничего не знали о его болезни. Пред неожиданным отъездом великих князей (*Николая* и *Михаила*) из Севастополя разнесся слух о болезни императрицы, и никому из нас и в голову не приходило, что нас ожидало такое важное событие. О каких-либо предстоящих переменах с восшествием на престол нового государя тогда некогда было помышлять. У всех одно было на уме – настоящее, весьма неприглядное. Неприятель приближался своими осадными работами; предстояли новые битвы и кровопролития; все были уверены, что, несмотря на перемену правления, до мира еще далеко. Газет мы тогда почти не читали; они приходили Бог знает когда, да и читать было некогда.

25 лет прошло с тех пор. Многое великое совершилось, много хорошего. Многое переменилось к лучшему; но юбилей омрачен новым Севастополем, также доморощенным и также не без внешнего влияния, тревожащим Россию. Уже давно появившаяся в цивилизованном мире болезнь, именуемая *мирскою печалью* или болью, «Weltschmerz», развилась и у нас. Но наши мирские печальники еще решительнее западных, не задумались прибегнуть тотчас же к самым печальным мерам для излечения своей болезни; но об этом поговорю после.

На другой или на третий день после призыва к присяге новому государю, я пошел зачем-то к нашему госпитальному аптекарю в Севас-

[1] Вульгарный материализм (Пирогов называет его чистокровным материализмом) – философское течение, возникшее в Германии в 50-х годах XIX века. Наиболее известные представители этого течения Бюхнер, Фохт, Молешотт. Они утверждали, что содержание сознания определяется главным образом химическим составом продуктов.

тополе и встретил его на дороге возвращающимся с почты с каким-то ящиком. Я полюбопытствовал узнать и зашел в аптеку; при раскрытии посылки оказалось, что это была атомистическая аптечка лейб-медика *Мандта*[1], предназначавшаяся для всех военных госпиталей и по высочайшему повелению разосланная по всей России; этою аптекою, а, следовательно, и атомистическим способом лечения д-ра Мандта, должны были по воле покойного государя (Николая I) замениться прежние аптеки и прежние способы лечения в военных госпиталях.

Как только ящик был открыт, наш аптекарь, тертый немец, посмотрев на содержимое, прехладнокровно помотал головою и, закрыв ящик, сказал: «Опоздал». Только потом я понял, в чем дело. Приказ от военно-медицинского ведомства об этом нововведении был, вероятно, уже известен аптекарю, и он, получив эту курьезную посылку прежнего режима уже при новом, тотчас же сообразил, какая предстоит ей будущность.

Февраля 20–21.

Продолжается ясная погода с небольшим марецом SW; на солнце 0+5° R; ночью морозцы в 2–4° R.

Да где же моя автобиография? Но ведь я ее пишу для себя, и потому мне всего важнее уяснить себе самому, что такое «я», и потом уже проследить, насколько и каким образом фактическая жизнь способствовала сделать из меня то, что я теперь, то есть какими путями пришел я к моему теперешнему мировоззрению и к моим теперешним религиозным и нравственным убеждениям. Поэтому мне необходимо сначала уяснить самому себе, как я смотрю на окружающий меня мир, каким я кажусь себе, за кого я сам себя считаю, во что я верю, в чем сомневаюсь, что люблю и что ненавижу. Все мое прошедшее, все пережитое мною для меня интересно, однако же, настолько, сколько оно может разъяснить мне весь процесс развития моего мировоззрения, моих религиозных убеждений и всего моего нравственного быта. Но, чтобы добиться этого результата в истории моей жизни, я должен не только припомнить себе все давно прошедшее время, а еще и стараться быть на каждом шагу откровенным с собою. И то, и другое не так легко.

Я вел когда-то, 18-летним юношею, некоторое время (около года) дневник. У жены сохранилось из него несколько листков. Но из него я немногое мог бы извлечь для моей цели. Я узнал бы, например, что в ту пору я не думал прожить долее 30 лет, а потом, – говорил я тогда в дневнике, – в 18 лет (и притом вовсе не рисуясь!) – «пора костям и на место». Из этого я могу заключить только, это, впрочем, я и без дневника ясно помню, что нередко в те поры я бывал в мрачном настроении духа. Память давно прошедшего, как известно, у стариков хороша, а у меня

[1] М.Мандт (1800–1858) – лейб-медик Николая I, создатель крайне невежественной медицинской системы под названием «атомистическая система».

она хорошо сохранилась и о недавно прошедшем. Поэтому в моей истории прошедшего я не найду большого препятствия к раскрытию процесса брожения и переворотов, совершившихся в течение жизни в моем нравственном и умственном быте. Но труднее будет для меня решить, насколько я могу быть вполне откровенным с собою. Это не так легко, как кажется. Есть случаи в жизни, главные и скрытые мотивы которых невозможно иначе объяснить, как при полной откровенности с самим собою; а между тем именно в таких случаях никак не решишь, действительно ли ты откровенен с собою, или нет. Есть мотивы, до того глубоко сидящие в тайниках нашего «я», что их никак не вытащишь на поверхность души, сколько бы этого ни желал; вместо них появляются другие, на вид более приглядные; но, хватаясь и выставляя их, чувствуешь, что там где-то, в глубине, сидит, упершись и притаившись, другой мотив, неясный и, главное, нимало не похожий на всплывший. И это делается совсем не в тех случаях, где благоразумие и осторожность не дозволяют быть откровенным с другими. Нет, я утверждаю, что несравненно труднее откровенность с самим собою, может быть, потому, что она обыкновенно требуется не ежедневно, не в дюжинных обстоятельствах, а в более или менее критических и серьезных. Случается и то, что действительно не можешь решить, что было причиною того или другого совершенного тобою поступка, и еще труднее – почему ты тогда, при этом поступке, так, а не иначе думал. Самый анализ и разбирательство действий своего собственного «я» требуют много опытности и упражнения. Едва ли тот, кто много упражнялся в анализе поступков, чувств и мыслей другого, приобретает этим же самым упражнением и способность анализировать безупречно себя самого.

Вообще для меня остается еще открытым вопрос – нормально ли анализировать себя? Человек, что называется, цельный, кажется, живет, мыслит, действует без разбирательства своего «я». Он так устроен и сам так устроился, что его мысли и действия, по его собственному убеждению, должны быть именно теми, какими они есть, а не иными. Психический процесс в таком человеке можно сравнить с заведенным, однажды на все время его существования, часовым механизмом. Маятник ходит ровно, мерно и правильно. Раскрывать и рассматривать этот механизм нет никакой надобности. Самоедство же – другого свойства. Это продукт едва ли не патологический, хотя на нем и основано глубокомысленное правило мудрецов о познании (конечно, посредством наблюдения и изучения) самого себя, – известное «гнофи сеавтон»[1].

Руководясь этим правилом, нужно проститься с дорогою цельностью души; расщепление и двойственность делаются неизбежны; борьба наблюдаемого и наблюдающего начал неизбежна, когда наше «я» делается в одно и то же время субъектом и объектом. Вот и я упрекаю себя в этой двойственности, хотя она играла, может быть, немаловажную роль в моем самовоспитании и самообладании; без этой двойственности, то есть без наблюдения и анализа самого себя, я был бы, может быть, го-

[1] Познай самого себя (гр. gnothi seauton).

раздо хуже, чем каким я считаю себя в настоящее время. Но большею помехою была она иногда для моей практической деятельности и способствовала к развитию духа противоречия и оппозиции. Этот оппозиционный дух проявлялся так же сильно в анализе мнений и действий моих собственных, как и посторонних.

Я с давних пор не могу ни на что смотреть и ни в чем убеждаться с одной стороны; непроизвольно при каждом новом для меня предмете я тотчас же заглядываю на него со стороны, противоположной той, с которой смотрю. Недаром я косил одним глазом (левым) с рождения. Эта разносторонность во взгляде на предмет, приносящая свою долю пользы, вредна действию, лишая его меткости, быстроты и сосредоточенности. Я это испытал, к сожалению, не раз в жизни; зато она предохраняла меня от вредных увлечений, выставляя мне тотчас же на вид худую сторону того, что меня манило к увлечению. Несомненную пользу доставила мне разносторонность в хронических случаях, когда было довольно времени до начала действия взвесить и оценить обсуждаемый предмет с противоположных точек зрения.

Странно и непонятно свойство нашего «я» делиться. Впрочем, не знаю наверное, действительно ли наше личное «я», или что другое в нас имеет это странное свойство. Знаю только по опыту, что различное настроение (веселое, тоскливое) у меня весьма редко овладевало вполне мною; почти всегда было так, что как будто одно мое «я» веселится, а другое в то же время тоскует и разбирает (анализирует) причину веселья первого. В порывах же страсти и увлечения все зависело от их степени; увлекающееся «я» быстро представляло свои мотивы; другое, удерживающее, так же быстро приводило свои, и увлечение одолевало и приводило в действие только, когда его мотивы представлялись какому-то еще третьему «я» более основательными и более сильными. Для психолога все это, конечно, вздор. «Я» у каждой особы одно – цельное и нераздельное. Ощущение, как будто во мне действуют два или несколько противоположных «я», есть какая-то иллюзия. С той поры, когда мы начинаем себя помнить, и до конца дней все мы отчетливо сознаем свое цельное и идентичное «я», как бы мы в течение жизни ни изменялись в характере, привычках, образе жизни и проч. Мы чувствуем перемены с собою, но в то же время сознаем, что эти перемены не сделали нас не нами.

С 22–27 февраля.

Температура менялась эти дни от −5 до +6° R. 22-го – 25-го мороза почти не было; раз пошел снег с метелью, но скоро перестал. 25-го – 26-го – сильный марец NNW и температура понизилась от 0 до −5° R. Было ясно и солнечно. Сегодня ветер NW тише и днем +2–3° R. Ночью было 0°. Ясно. Все время возим навоз; десять слишком моргов[1] уже унавожено. Пшеницу, проданную по 1½ рубля за пуд, увозят, но помалу...

[1] Морг – земельная мера в Польше, равна приблизительно 0,56 га.

Да, наше «я» цельно, нераздельно и тождественно в течение всей нашей жизни. Только умалишенные, и то не все, вероятно, не сознают тождества настоящего своего «я» с прежним. Откуда же иллюзия, представляющая нам, что мы можем в одно и то же время чувствовать и мыслить не только различно, но и противоположно, противодействуя одним чувством другому и изгоняя одну мысль другою?

Во-первых, мы обманываемся во времени; между одним ощущением и другим, одною мыслью и другою всегда есть промежуток времени между этими актами, как бы короток ни был и как бы ничтожным нам ни казался.

Во-вторых, иллюзия зависит от того, что наше «я» способно в одно и тоже время прикасаться, так сказать, к нескольким органам, имеющим различные функции, да и само оно, наше «я», как бы соткано из различных ощущений.

Что же оно такое, это пресловутое «я»? Личное местоимение? Или также одна иллюзия? Я полагаю нужно сделать различие между двумя видами «я». Один его вид есть не более, как ощущение личного бытия, свойственное каждой животной особи. В другом виде вместе с этим ощущением существует еще и более или менее ясное понятие о нем, т.е. о своей личности. Вот это-то сознательное понимание присущего нам ощущения бытия, т.е. своей личности, и есть наше человеческое «я», выражаемое словом – местоимением личным: у взрослых – в первом, у детей – в третьем лице. И животные выражают звуками ощущение своего бытия; но у них оно выражается всегда вместе с каким-либо позывом, чувством удовольствия или боли.

Наше «я» в его отношениях к разным психическим способностям можно сравнить с музыкантом, играющим в одно и то же время на нескольких разных инструментах; прикасаясь к ним посредством разных телодвижений, он умеет разыгрывать мелодические концерты. Так и наше «я», сотканное из различнейших ощущений, обладает способностью легко прикасаться в одно и то же время к элементам разных частей мозга и возбуждать психические функции, приводя деятельность этих органов в унисон, а иногда и причиняя нестерпимую для самого себя и для других какофонию. Как бы ни были локализированы различные психические функции по разным частям мозга, ощущение и понимание бытия, т.е. наше «я», не может быть локализированным. Чтобы разыграть, не нарушая законов гармонии, какую-либо мысленную тему, оно должно коснуться в одно и то же время и органических элементов, сохраняющих на себе отпечатки внешних впечатлений (т.е. памяти), и мозговых извилин, служащих органом слова, и не найденных еще локализаторами органов фантазии и рассудка. Это необходимо потому, что мы не можем мыслить и рассуждать, не приводя в то же время в действие нашу память, наше соображение и воображение. Этою способностию нашего «я» приводить одновременно или попеременно, с самыми краткими промежутками, не нарушая своей целости (не разделяясь), разные органы ощущений и различные психические способности, объясняю я себе и кажущуюся нам его двойственность, так хорошо вы-

раженную в одном послании апостола Павла. Не только между желанием (волею) и действием, как замечает апостол, но и между первоначальными зародышами наших мыслей, чувств, желаний, нетрудно подметить у себя противоречие и двойственность.

Еще недавно, на днях, я был в худом настроении духа (после сильного припадка кишечного катара) и, злясь, не переставал, однако же, наблюдать, что в то же время, как злоба и неудовольствие на некоторых особ подступали у меня к сердцу, в зародыше мысли уже заключалось их извинение; я был готов одновременно и ругать, и извинять их, с упреком себе в несправедливости. Не значило ли это, что мое «я» проникало в омут грязных ощущений, приносимых расстроенным органом (кишечным каналом) в мое воображение, но не так глубоко, чтобы потонуть в нем, оставив память (с некоторыми приятными воспоминаниями) и рассудок в полном бездействии.

Что такое наше «я» без ощущений (оно, как я сказал, из них соткано) – ignoro et ignorabo[1]. Мы, врачи и натуралисты, посвятившие себя с ранних лет фактическим исследованиям живых и мертвых организмов и органов, так привыкаем к находящейся беспрестанно пред нами и в наших руках связанной с органическими элементами жизни, что невольно смотрим на нее как на следствие, а не как на причину. Уколом одного пункта в продолговатом мозгу мы мгновенно прекращаем самую полную сил и здоровья жизнь. Можно ли же осуждать нас, если мы заключаем, что жизнь, подобно часовому механизму, останавливается с повреждением пружины? Не естественно ли заключение, что наша жизнь есть не более, как регулированное органическим механизмом движение? Ключ к этому механизму в том пункте продолговатого мозга, который потому и должен называться жизненным узлом – noeud vital. С выходом нашим на свет, он заводит машину; первое проявление механизма есть дыхательное движение. Если мы не желаем назвать внешним миром для человеческого зародыша заключавшую его девять месяцев матку, то первое сообщение его с внешним миром состоит в движении грудного ящика. Что же может быть после этого для нас наше «я» без ощущений и без связи с приносящими и принимающими ощущения органами? Разве посвятившим себя изучению органической природы не доказывают тщательные исследования, что в органическом мире действуют те же самые силы и законы, как и в неорганическом, и не в праве ли мы заключить из этого, что все, что мы наблюдаем в животном организме, относится так же, как и в неорганических телах, к свойствам и функциям вещественных элементов, составляющих его части и органы?

29 февраля – 1 марта.

После оттепели, менявшейся с ночными небольшими морозами, вдруг при новолунии (28-го февраля) начинается студеный NW, и вчера

[1] Не знаю и не буду знать (лат.).

(29-го) температура понижается до −7° R с ужасною метелью (это был ураган, шедший, по газетным известиям, с востока и свирепствовавший в степных восточных губерниях), а сегодня хотя и ясно, но мороз утром в 10° R при сильном холодном NW. Слава Богу, что поля наши с посевами еще покрыты снегом; но куда девается этот снег? Настоящих оттепелей еще не было; ни разу не текли с гор потоки, температура не возвышалась ни разу более +6° R, и то только днем, а снег, что называется, изнывает видимо; уже местами на дорогах и на зябле (вспаханная с осени стерня) его вовсе нет; земля под ним отмерзает только по временам, и то не более, как на 2″; следовательно, глубоко проникать в землю тающий снег не может; больших луж и ручьев не видно; испаряться снег при ясной солнечной, но прохладной погоде едва ли мог сильно; он был рыхл и при малейшей оттепели проваливался; вероятно, он теперь сплюснулся и слой его оплотнел.

Интересно и для любопытства, и для кармана, что будет нынешнею весною со всходами озими? Соки в деревьях, еще незаметно, чтобы тронулись, и потому еще можно надеяться, что поздний мороз не повредит им много.

Да, научному эмпирику, при индуктивном методе исследования, трудно избегнуть иллюзии, представляющей ему невозможным существование сознательной мыслящей жизни вне организма и без возбуждающих ощущения органов. А между тем эта иллюзия основана, хотя на привлекательном и, по-видимому, бесспорном, но поверхностном и одностороннем взгляде на индивидуальные проявления жизни. Живущее в нас, ощущающее и понимающее ощущение, начало не может быть само органом, то есть объектом; оно, по существу своему, не может быть субъектом, то есть существом, отдельным от органа, конечно, не в смысле грубо вещественном и, конечно, не имеет известных нам и подверженных нашим чувствам свойств существ органических. Оно, тесно связанное с органическими элементами, без чего чувственные его проявления были бы для нас невозможны, с разрушением этой связи перестает быть объектом, то есть предметом чувственного исследования. Но удастся ли кому-либо представить себе возможность ощущения: понимать ясно ощущаемое (т.е. мыслить), не сознавая в то же время себя самого, то есть не быв субъектом (для себя). Нарушая или прекращая связь этого субъективного, ощущающего и сознающего себя начала с органическими элементами, мы уничтожаем только объективно-индивидуальное проявление его, а, следовательно, и жизни, но не самое жизненное начало. Насколько же это начало и после разрыва органической связи может еще сохранять свой индивидуализм, — свой индивидуальный, так сказать, облик, — это другой, не менее по своему содержанию глубокий вопрос. О нем потом приведу мое личное воззрение.

В современной науке установилось, однако же, воззрение, противоречащее, по-видимому, тому, что ощущение и мышление должны быть всегда сознательны. Действительно, нельзя не принять, судя по многим фактам, в известных случаях бессознательных ощущений и размышлений. Уловить существенное различие между этими видами ощуще-

ний и мыслей и сознательными не всегда возможно. Вот факты. Верно, организм зародыша ощущает бессознательно: большая часть рефлексов основаны на бессознательном ощущении, переносимом на двигательные нервы. Внутренние органы, без сомнения, передают от себя разного рода ощущения; но они бессознательны и обнаруживаются обыкновенно одними рефлексами. Впечатления, приносимые нам чувствами, и особливо зрением из внешнего мира, производят в нас правильные представления о предметах не иначе, как с помощью бессознательного мышления, приобретаемого опытом. Многие движения тела совершаются также бессознательно. Но во всех этих явлениях под именем бессознательного ощущения и мышления нужно понимать, во-первых, одну лишь органическую восприимчивость или способность тканей к возбуждению; ее, может быть, приличнее было бы назвать ощутительностью, без которой ткань не могла бы ни возбуждаться стимулом, ни передавать его центрам для возбуждения рефлекса; во-вторых, целый ряд органических ощущений (идущих от внутренних органов) хотя и не сознается нами ясно и отчетливо, как сознаются внешние впечатления, приносимые чувствами, но все-таки действуют на сознание косвенно, возбуждая то фантазию, то позывы, то проявления страстей и другие неопределенные напоминания о себе; поэтому вполне бессознательными нельзя назвать эти ощущения; в-третьих, наконец, многие и вполне сознательные ощущения иногда так кратковременны, что тотчас же исчезают из круга нашей сознательной деятельности и не удерживаются памятью; а иногда, при внимании одностороннем и сосредоточенном на одном предмете, или вовсе не замечаются, или только по временам доходят до нашего сознания; например, позыв на мочу и на низ, при усиленных умственных и других занятиях долго не сознается или же сознается только временно, несмотря на растяжение пузыря и прямой кишки.

Что же касается до бессознательного мышления, без которого нельзя бы было объяснить многие явления в функциях наших чувств, например, оценку расстояний глазом, правильное представление о предмете, видимом с разных сторон двумя глазами, перспективу и т.п., то и тут, во многих случаях, кажущаяся нам бессознательность есть только следствие привычки и опыта; что было в начале жизни узнано нами постепенно сознательным опытом, то впоследствии, сделавшись нам известным и привычным, кажется бессознательным, и мы пользуемся потом плодами этого знания, не сознавая, что обладаем им посредством долгого опыта. Нет ничего мудреного, если при этом суждение, сделавшееся для нас обычным и вседневным, потом не принимается нами вовсе за суждение и кажется чем-то очевидным, наглядным, не требующим ни малейшего проявления мысли. Дважды два — четыре нами не считается уже, обыкновенно, за суждение; это кажется нам так же очевидным, как стоящий перед нами стол или стул, правильное представление о котором требовало от нас некогда также изучения, как и дважды два — четыре. Сверх этого, надо знать, что мысли, как и ощущения, вполне сознательные остаются иногда такими весьма недолго; иногда проблески

мыслей в нашем сознании до того кратки, что их, без преувеличения, можно сравнить с блеском молнии; но, несмотря на свою быстротечность, многие из них, хотя и незамеченные, остаются в памяти, побуждая нас к действиям; в таком случае и действия, и мотивирующие их мысли могут казаться нам бессознательными. Иногда же внимание, погруженное в занятие каким-либо предметом, вовсе не замечает ни совершающихся действий, ни руководящих ими мыслей, хотя бы и те, и другие и не были вовсе бессознательными. Вообще, для точного решения вопроса о сознательности и бессознательности наших ощущений, мыслей и суждений необходимо умение превращать свое субъективное «я» в объект постоянного и непрерывного наблюдения этого же самого субъекта им же самим.

Но такая напряженная и односторонняя деятельность нашего внимания над тем, что есть сознательного и бессознательного в нас, очевидно, ненормальна, так что и результаты такого наблюдения не могут считаться ни достоверными, ни удобными для контроля. Рассказывают, что Иог[анн] *Мюллер*[1] едва не сошел с ума от усиленного наблюдения над собою: он хотел уловить у себя момент перехода от бдения ко сну, то есть поймать у себя переход сознания в бессознательность. Мы не можем выйти из заколдованного круга, при всех наших усилиях определить точнее наше субъективное индивидуальное бытие. В общих чертах оно тождественно для всего человечества, имеет многие общие черты и с субъективизмом других животных. Но это сходство проявляется объективно только тремя путями: голосом (звуком), словом (членораздельными звуками) и движением (прямым и рефлективным). Все наши опыты и наблюдения над проявлением субъективного индивидуального бытия человека и животных не имеют других критериев. Но если все они, несмотря на приобретенные посредством их, веские знания, ненадежны, сомнительны, двуречивы, то еще менее прочны те наши сведения, которые мы приобрели чисто субъективными наблюдениями.

1–4 марта.

Все время холодный NW; мороз в 4–5°, а ночью 10–12°. Сегодня (3 марта) теплее и тише (–1°).

Сегодня случайно услыхал об одной человеческой низости, свойственной исключительно холуйству. Максим, с детства почти оставленный отцом-солдатом в дворовых, обязанный нам своим, относительно порядочным, состоянием (тысячи в две), купивший на деньги, приобретенные у нас, дом и землю, оказался таким злым и коварным, что, лаская в моем присутствии моего кота Мошку и зная, что я его люблю, бьет его напропалую за глазами только за то, что ему, коту, а не ему, Максиму, достаются кости от жаркого за обедом.

---

[1] Й.Мюллер (1801–1858) – известный немецкий физиолог, у которого Пирогов учился в 1833-1835 гг. в Берлине.

Притворство с жестокостью и зависть к животному, – вот до чего низводит человека холуйство, и без всякого глубокого мотива! Притворство без нужды! Я не терплю ласкательств – это он, Максим, знает; жестокость страсти – холодная, насмешливая и бесцельная. Зависть без причины: он сыт и от своего, и от нашего стола; да и к кому же зависть – к кошке! Низко до тошноты и тем тошнее, что в таких проявлениях видишь унижение общего всем нам человеческого достоинства, о котором так много говорится и для поддержания которого так мало делается.

Не вправе ли же я был заключать из сказанного, что в отношении нашей субъективной индивидуальности мы, действительно, стоим в заколдованном кругу. С одной стороны, объективные критерии для ее расследования (голос, слово, движение) ненадежны, неясны и двусмысленны; а с другой стороны, субъективные ненормальны до того, что, употребляя наше сознание и мысль для исследования сознания же и мысли, мы рискуем потерять и то, и другое. В самом деле, кто поручится за ясность и нормальность мышления у наблюдателя, направляющего беспрерывно все внимание и мышление на то, например, чтобы проследить начало и прохождение мысли в сознании; кто поручится, что подмеченное совершилось в наблюдаемом, а не в наблюдающем? А кто поручится также за правильное понимание нами субъективных явлений, обнаруживающихся такими объективными признаками, как звуки, издаваемые животным при ощущении боли, движения, называемые рефлексами, и объяснения разного рода ощущений словами?

Если и при таком наблюдении самого себя в нормальном состоянии трудно и иногда невозможно отличить бессознательное ощущение от сознательного, то при объективных исследованиях (как, например, при вивисекциях и опытах над анестезированными хлороформом) еще гораздо труднее различить сознательное от бессознательного. При вивисекциях и при наблюдениях над человеком больным или приведенным различными агенциями в ненормальное состояние, субъективный элемент жизни подвергается от расстройства его нормальной связи с органическими элементами таким колебаниям и сотрясениям, которые не могут не влиять ненормально и на его объективные проявления. Поэтому суждения о натуре и особенностях субъективно-индивидуального бытия, основанные на опытах и наблюдениях над животными и больными людьми, должно делать крайне осмотрительно и не с тою легкостью, которая так удивляет меня в результатах, получаемых современными вивисекторами и наблюдателями. Еще гораздо труднее, ненормальнее и сомнительнее дело, когда мы беремся судить о нашем «я», другими словами – о нашем лично сознательном ощущении бытия, мысли и вообще о присутствии в нас субъективного начала со всеми его (психическими) свойствами. В этом случае, если правильно мое сравнение нашего «я» с музыкантом, играющим одновременно на нескольких инструментах, оно, наше «я», начинает играть, не быв виртуозом, на одном из них исключительно и делает, конечно, fiasco. Наше субъективное существо, по натуре своей, не может и не должно быть односторонним и чрезмерно сосредоточенным; ни одна из наших субъективных

способностей не должна быть излишне культивирована на счет другой, и особливо в том случае, когда от природы развита у нас одна способность на счет другой; тут-то именно всего более должно избегать односторонней культуры. В противном случае нам предстоит одно из двух: или мы изумим свет нашим глубокомыслием и гениальностью, или превратимся в односторонних, узких и близоруких мономанов. Первое встречается весьма редко; второе – весьма часто и гораздо чаще, чем это признают психиатры. Есть, впрочем, еще один исход – специализм, в наше время завоевывающий себе все более и более почвы во всех областях знания. Но те из специалистов, которые отличились своими истинными заслугами, вовсе не были односторонними культиваторами одной какой-либо из своих умственных способностей, прежде чем избрали свою специальность. Только этому разностороннему предварительному развитию своих способностей они и обязаны успехом в культуре избранного ими предмета; только этим способом они, расширив свой кругозор, сумели найти новые пути и посмотреть на дело новым взглядом.

4-го марта.

Мороз 7° ночью, днем 1°. Марец WN.

Сегодня отправил письмо к Николаю Христиановичу Бунге[1] в ответ на его письмо, в котором он писал, что идет в отставку, так как по новому университетскому уставу, ожидаемому вскоре, ректорам нечего будет делать, кроме получения прибавки жалованья.

Мой ответ – не буквальный. Я читал где-то и когда-то, что новое на свете есть не что иное, как хорошо забытое старое. Я читал также в каком-то киевском календаре, что у нас ежегодно бывают возвраты зимы весною и летом, а возвраты болезней мне известны давно по опыту. Нет ничего мудреного, что и в университетской жизни встречаются возвраты к старому, забытому и прожитому. Но нынче, видно, считается за новое и вовсе еще незабытое старое, а возвраты зим и болезней встречаются не только в природе, но и в университетском мире. Старики, как известно, всегда хвалят старину и предпочитают ее новизне. Только все наши университетские старожилы, за исключением гг. Каткова, Любимова и Георгиевского[2], верно, не вспоминают добром незабыто-

[1] Н.Х.Бунге (1823–1895) – с 1850 г. занимал в Киевском университете кафедру политической экономии и статистики. Пирогов сблизился с ним в бытность свою попечителем Киевского учебного округа (1858–1861), когда Бунге был ректором университета. Был деятельным участником комиссии по освобождению крестьян от крепостной зависимости. С 1880 г. был товарищем министра, а затем министром финансов (1881–1887), с 1890 г. – действительный член Академии наук. Комментируемое место относится к оставлению Бунге должности ректора Киевского университета, которую он занимал три раза (1859–1862, 1871–1875, 1878–1880); «новый университетский устав» – подготовлявшийся тогда устав 1884 г., отменивший автономию, которою высшая школа пользовалась по уставу 1863 г., выработанному при ближайшем участии Пирогова.

[2] М.Н.Катков (1818–1887) – известный публицист, издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости».

го еще старого. Это обстоятельство, казалось бы, должно было обратить на себя внимание новаторов, стремящихся возобновить старое. Почему это не сделано – объясняется именно тем влиянием этих исключительных личностей, успевших победить в себе предрассудок против отжившего. Это не должно удивлять нас, замечательно для меня одно только – это смелость ума наших новаторов, не боящихся ответственности перед будущим.

Возвраты зимы весною и летом наносят вред земледельцам; возвраты болезней опасны для больных; с стихийными, однако же, силами ничего не поделаешь; зато ум, данный нам Богом для целесообразных действий, казалось бы, должен был не на шутку и не раз призадуматься, придавая возврату худого и худо забытого старого значение благодетельной новизны. В таком случае вам, конечно, ничего не остается, как уступить свое место (ректорство) другим и предоставить им вливать это новое вино в такого же рода новые мехи.

5–6 марта.

Метель и метель. Вчера (5-го) до +2° R, а сегодня ночью (на 6-е) мороз в 20°. Ясно, солнечно, тихо.

Вчера (5-го) фельдшер *Урим*[1] делал при мне судебное вскрытие кота Мошки. Мой любимец прекратил в муках свое кратковременное существование. Подозрение в побоях как причине смерти падало, по словам девочки Терезы, на коварного Максима. Он вошел в амбицию и уже по своей ограниченности сейчас же заговорил об отставке, без сомнения, для него вовсе нежелательной. Надо было убедиться, нет ли вещественных признаков Максимова травматизма на трупе. Вскрытие не обнаружило ни малейших следов не только травматизма, но и вообще какого ни на есть органического изменения, за исключением небольших розовых пятен на слизистой (оболочке) желудка. К микроскопу, впрочем, для более точных доказательств мы не прибегали.

Итак, мой Мошка, как подобает каждому верноподданному, «Божьей волею помре», сиречь, неизвестно почему, для чего и от чего.

Бедное мое животное, ты в нашем домашнем уединении доставляло нам нередко удовольствие то своими прыжками и кувырканьем, то степенным своим и задумчивым видом, сидя возле нас на столе, то, разлегшись во всю длину и погрузясь в самый спокойный сон праведных. А как была хороша твоя поза, когда ты с сосредоточенным вниманием сидел на пороге двери у подпольной щелки и караулил мышонка! Как

Н.А.Любимов (1830–1897) – физик, профессор Московского университета, ближайший друг и сотрудник Каткова.

А.И.Георгиевский (1830–1911) – профессор всеобщей истории и статистики в Ришельевском лицее (в Одессе), ближайший помощник Пирогова по ведению преобразованной в 1858 г. газеты «Одесский вестник», редактировал «Журнал Министерства народного просвещения» (1866–1881).

[1] Уриель Окопник – фельдшер Пирогова.

нежна, шелковиста, тепла и приятна на ощупь гладившей руки была твоя тигристая шкурка! Дай же запишу от скуки на память за доставленные нам твоим существованием забаву и рассеяние историю твоей жизни, болезни и смерти, мой бедный Мошка!

История рождения, жизни, страданий и смерти моего верноподданного кота Мошки.

Однажды на садовом балконе к нашему завтраку явилась невзрачная, малорослая и худощавая серая с черными полосками кошка и, к моему удивлению, тотчас же начала брать пищу из рук; вскоре осмелилась она и вскочить на мои колени. Визиты ее продолжались ежедневно в обеденное время, и затем она исчезала, по всем вероятиям, на близлежащем току. Чрез несколько времени она начала являться уже в сопровождении целых шести котят, всех почти одной масти. Сначала она оставляла их в отдалении от балкона, а потом, мало-помалу, все шестеро, не без страха и трепета, однако же, начали вскакивать и на балкон; брали куски мяса, положенные вдали от стола, потом стали с каждым днем подходить ближе и смелее; но только одному или, вернее, одной из шести достало, наконец, смелости приблизиться к нам настолько, чтобы брать птицу прямо из рук; а еще один из котят, хотя и приближался так же, как эта, но никогда не решался брать кусок ртом, а вырывал его из рук с артистическою ловкостью своею маленькою лапою; все остальные не могли преодолеть своей боязни, а может быть и своего отвращения к нашему человеческому достоинству; вероятно, в наказание за это судьба лишила их чести быть нам сподручными, развлекать нас и беречь нашу провизию от мышей. Поэтому дальнейшая судьба этих пятерых существ мне осталась неизвестною, – одного из них, кажется, нашли загрызенным собаками.

И вот, в течение каких-нибудь 5–6 месяцев, статистика смертности кошек обогатилась новыми пятью смертями; из этого, правда, весьма недостаточного, статистического материала я заключаю, что цифра смертности малолетних кошек разве немногим чем ниже смертности крестьянских детей, даже и в те периоды времени, когда они свободны от дифтерита. Как бы то ни было, но достоверно то, что к концу зимы 1878 и к началу 1879 г. осталась в живых из 7 кошачьих личностей (одной матери и шести детенышей) только одна, именно та ласковая, заблаговременно преодолевшая свое отвращение к осязанию нашей руки, а затем и научившаяся с похвальною ловкостью прыгать на колени, приятно мурлыкать, выгибать спину и довольно непринужденно ласкаться.

Следствием этой заслуживающей уважения деятельности было торжественное наименование ее *Машкою*, так как эта личность оказалась женского рода; а вместе с этим наименованием и материальная поддержка ласкового ее организма питательною пищею, теплым помещением

в сутерене[1] и некоторые другие льготы и дусеры[2]. Эта-то особа и была родительницею моего любимца.

История его рождения не безынтересна в следующих двух отношениях: во-первых, родительница его, несмотря на данные ей нами великодушно все права и преимущества домашнего животного, не вполне, как видно, покинула обычаи своей покойной матери (бабушки моего любимца, также называвшейся Машкою, хотя и не вполне сочувствовавшей этому названию), и потому, почувствовав себя на сносях, в конце февраля 1879 г., начала удаляться от дома, искать уединения, не соответствовавшего ее общительной натуре, и затем произвела на свет, где-то под клунею в саду, несколько существ, число которых я статистически определить не в состоянии, так как, за исключением одного, они все сделались, в самом нежном возрасте жертвою сильного ливня и бури, свирепствовавшей у нас в мае 1879 г.; одного же, оставшегося едва в живых, злополучная мать перенесла в зубах из сада в наш сутерен.

Малютка этот возбуждал общее сочувствие драматизмом своей судьбы; когда же я услышал, что легкомысленная мать перестала его кормить вскоре после его переселения в сутерен, то сочувствие мое перешло в глубокое сострадание к участи несчастного, и я задумал сделать его наследником злополучного Васьки, нашего прежнего любимца, преждевременно погибшего, два года тому назад, в бурную ночь, зимою, от зубов ненавистных ему собак.

Когда крошечное животное, предоставленное ветреною матерью, обретавшеюся с новым избранником любви где-то в бегах, было принесено ко мне, то оно, нисколько не стесняясь и не пугаясь, как это делали его покойные дяди и тетки, тотчас же залезло ко мне в широкий рукав пальто и пробралось почти до самого плеча; затем, несмотря на свой ранний возраст, начало с аппетитом и без разбора кушать все, что ему предлагалось, с видимым наслаждением греться на солнце, заигрывать лапочками, словом, вести себя так наивно и непринужденно, как будто бы оно уже давно было домашним членом нашего общества. Видя это и считая мать его без вести пропавшею, мы порешили сделать малютку законною ее наследницею и передать ей то же самое высокое женское имя, так компрометированное и незаслуженно носившееся ее заблудшеюся матерью. Таким образом и росло это милое животное под именем Машки, сделавшись вскоре нашею общею любимицею; оно было необычайно живого и подвижного характера; с раннего утра целые часы проводило в беганиии, прыгании и кувыркании с пробкою, бумажкою, веревочкою, кисточкою, со всем, что только ему попадалось в лапки; аппетит имело превосходный и, несмотря на преждевременную отвычку от материнского молока, вырастало на мясной пище не по дням, а по часам. Летом, поутру ежедневно я забавлялся с моей Машкою; сидя на балконе у меня в руке лежал конец шнурка, привязанного к комку бумаги и продетого чрез ручку дверного ключа; бумага от дергания шнурка

[1] Подвал (франц. souterrain).
[2] Нежности (франц. douceur).

поднималась и опускалась, а Машка скакала, прыгала, ловила бумажный комок, и когда удавалось ей поймать, то с каким-то неистовством и остервенением теребила его зубами и лапами, катаясь по полу и царапаясь изо всех сил об захваченную бумагу задними лапами.

Надо признаться, что Машка не получила никакого воспитания и росла у нас как дитя природы. Не знаю, был ли для нас всех пол этой милой крошки совершенно безразличен, или же все мы были не довольно любознательны, но то факт, что только чрез два месяца мы, к нашему удивлению и, не скрою, даже радости, узнали от нашего женского персонала, почему-то интересовавшегося этим предметом, истину относительно настоящего пола нашего любимца. Он оказался не кошкою, а котом. Что было делать? Не оставлять же коту женское прозвище? А между тем он уже привык к нему и тотчас же являлся на зов, когда кликали: Машка, Машка. Вот я и придумал, – прости, Господи, мое согрешение, – переменить имя Машка на созвучное ему – *Мошку*, тем более что наш подраставший котик своею юркостью и сметливостью имел некоторое, хотя и отдаленное, сходство со знакомыми мне жидками, носящими от рождения это же самое великое имя пророка Мойше, беседовавшего с Иеговою, но, к стыду нашему, искаженное и превращенное старинными польскими помещиками в презрительную кличку – *Мошка*.

Итак, судьба моего Мошки, действительно, драматична, если возьмем в соображение, что он, чудесно спасенный от пагубного ливня, в самом раннем младенчестве был перенесен в среду людей, был оставлен жестокою матерью на произвол судьбы и, наконец, быв от роду котом, ошибочно признавался долгое время за кошку и носил незаслуженно женское имя. Наверное, на роду ему было написано не наслаждаться цельною и нормальною кошачьею жизнью.

Едва мой Мошка был всеми признан бесспорно за кота и начал этим возбуждать к себе еще более мое сочувствие, как, откуда ни возьмись, явилась внезапно его заблудшая мать в сопровождении своего временного супруга, бывшего прежде ее родным братом, и начала сближаться с брошенным ею предательски сыном. Мошка с первого же появления своей матери начал как-то странно на нее посматривать, не дичился, однако же, и не ссорился, а чрез несколько времени, к нашему удивленно, принялся сосать ее с такою ревностью, как будто бы он никогда не переставал кормиться материнским молоком. Между тем аппетит его и к мясной прежней пище нисколько не ослабевал; таким образом, он питался за двух, быстро рос, толстел, играл теперь уже не один, а вдвоем с Машкою, делая изумительные и самые забавные телодвижения, выгибая горбом спину донельзя, обхватывая крепко во время игры передними лапами шею матери, а задними отталкивая ее от себя с неистовою яростью. Несмотря, однако же, на казавшееся цветущим здоровье и силу, несмотря и на веселое расположение духа, у моего несчастного Мошки незаметно развилась какая-то странная болезнь, наблюдавшаяся мною и у щенят. Это – спазмодическое удушье, появлявшееся периодически, внезапно, без всякой видимой причины, во время спокойствия и сна. Животное, после веселой игры, спокойно спавшее

на коленях или кровати, вдруг принималось с хрипом втягивать в себя воздух, поднимая голову кверху и неподвижно устремив взор. Пароксизм этой астмы продолжался несколько секунд, но был нередко жесток, что грозил внезапным задушением. По окончании, животное опять укладывалось спокойно, как будто ни в чем не бывало. Наружных признаков никаких не замечалось; иногда, однако же, подчелюстные железы казались нам несколько припухшими. В промежутке пароксизмов ничто не указывало на расстроенное здоровье.

Наступил и февраль 1880 года. Как известно, это месяц любви для кошек, и мой Мошка, по необыкновенному стечению обстоятельств, еще так недавно сосавший грудь Машки, начал оказывать ей некоторые знаки привязанности, вовсе не детской. Он заигрывал с нею вовсе не попрежнему, и вскоре начал в отсутствие ее грустить, меланхолически мяукать и проситься вниз в сутеренные подвалы, обитаемые Машкой и другими кошками. Иногда исчезал мой Мошка уже и по целым дням, являлся к нам на верх усталый и голодный, и, с жадностью поев, ложился спать, проводя время во сне до самого вечера, т.е. до времени самого удобного как для людских, так и для кошачьих rendezvous[1]. Но подвальные кошки, по свидетельству нашей почтенной Лорхен, ежедневно посещавшей сутерены, почему-то не любили его; наружность его, немало представительная и чрезвычайно красивая на наш взгляд, казалось бы, не могла не нравиться и прекрасному полу кошачьего племени; с большей вероятностью можно предположить, что спазмодическая астма была причиною его неудач в любовных поисках; нетрудно, в самом деле, себе представить ужас и негодование ветреных кокоток кошачьей расы, когда кокодес, ухаживающий за ними внезапно и в самом разгаре волокитства, терял дух, вытягивал шею, странно хрипел и еле-еле жил: как ни коротки были эти пароксизмы удушья, но они не могли не дать повода к бегству устрашенных ветрениц, не отличающихся особенным присутствием духа. Несмотря на все описанные перемены в образе жизни и в нравственном быте моего Мошки, я, основываясь на опыте, зная, как молодость, в особенности кошачья, легко увлекается, как первое появление половых отправлений переворачивает все в организме вверх дном, не очень заботился о последствиях. Весна, располагающая всех к любви, а кошачью шкуру еще и к линянию, по справедливости может считаться самым критическим и вероломным временем года, и я с нетерпением ожидал ее окончания. Но в книге судеб верно значилось, что Мошка не переживет и первой половины весны. Он опасно захворал, но не прежнею своею болезнью – спазмодическим удушьем, а, по-видимому, новою – рвотою – и чрез двое суток его не стало на свете.

И вот, во время его опасной болезни, распространились между моими домашними зловещие слухи о нанесенных будто бы ему побоях на заднем крыльце Максимом, якобы завидовавшим, что не ему, Максиму, достаются от обеда кости жареного рябчика и некоторые другие объеденные деликатесы. Мы поверили этим слухам, зная по многим наблю-

[1] Свиданий (франц.).

дениям вероломство Максима и его жестокое обращение с животными в наше отсутствие. Поэтому вскрытие трупа Мошки было для меня интересно не только в научном, но и в нравственно-судебном отношениях. Несмотря, однако же, на все желание открыть истинную причину быстротечной болезни и смерти моего любимца, наука не обогатилась после его вскрытия никаким новым приобретением; только один Максим приобрел снова доверие, нравственно выиграл; сильные побои, стучание Мошкиною головою оземь, как утверждала доносчица, оказались, во всяком случае, клеветою; ни малейших признаков травматического повреждения, и – увы! также точно и ни малейших макроскопических признаков болезненного состояния. Остается все сложить на нервную систему и обвинить верхний гортанный нерв и весь блуждающий нерв Мошки в причинении ему насилия, гораздо более пагубного, чем травматизм, переносимый кошками, как известно, весьма хорошо. А почему же именно эти нервы? Потому что, по наблюдению некоторых современных физиологов, раздражения верхнего гортанного нерва могут останавливать или задерживать дыхательный акт, а главный ствол этой гортанной ветви – блуждающий нерв – влияет и на отправление желудка.

Итак, мой милый Мошка погиб, вероятно, вследствие ненормального питания мясною вареною пищею вместе с материнским молоком, от расстройства нервной системы, усиленного еще abusu in Venere[1] и нравственным унижением, причиненным его кошачьему достоинству легкомысленными насмешками прекрасного пола.

Но какая бы ни была причина смерти этого невинного существа, и родившегося, и умершего, по-видимому, – но только по-видимому, – бесцельно и беспричинно, потеря была для меня с женою не безразлична. Жена плакала; мне же только взгрустнулось, и даже менее чем когда я, три года тому назад, лишился моей собачонки Ляды; про нее, про ее выразительные, как-то человечески глядевшие на меня глазки (с незакрытыми белками), я и теперь еще вспоминаю со вздохом, и признаться ли самому себе, с грустью, более щемящею, чем когда вспоминаю о некоторых знакомых, близких мне, умерших людях. Это святотатство, это уродство чувств, это постыдное чувство для человеческого достоинства! Пусть так; но что же делать, если в привязанности Лядки ко мне я не находил ни малейшего лицемерства, ни вероломства, а и то, и другое встречал в отношениях ко мне самых близких людей.

Надо обдумать несколько: отчего мы так привязываемся к животным?

Но прежде, чем найду время к этому обдумыванию, замечу, что между 6-м и 13-м марта (1880 г.) произошло несколько неожиданных событий.

Во-первых, неожиданно то, что температура, и погода idem per idem[2] до ужаса однообразна. Морозы по ночам до 10°; в течение дня до –7 и –

---

[1] Злоупотреблением любовью (лат.).
[2] То же самое через то же самое (лат.).

5°; раза два шел снег с метелью; ветер тот же холодный, пронзительный NW; но солнце греет днем так, что меховой воротник нагревается как будто на печи. Такой дружной, суровой и продолжительной зимы здесь я еще не встречал. Однажды, в 1868 г., лежал снег также долго (до 20-го марта), но не было такого холода и ветра. Вода от морозов в пруде сбыла, и на мельнице в Людвиговке действует одно колесо. Снег между тем понемногу и нечувствительно продолжает исчезать, несмотря на снежные метели. Что-то будет с всходами озими, с деревьями в саду? Да кто знает – чего не знает! Живи, не зная, терпи и все-таки поневоле думай и гадай о будущем!

Во-вторых, 9-го марта я получил 16 поздравительных телеграмм. С чего-то взяли в Москве (исключительно), Казани, Киеве, Воронеже и Вюрцбурге, что 9-го марта – день моего 50-летнего юбилея. Я, благодаря нижайше, заметил в ответной телеграмме в Москву, что, вероятно, поводом к этим неожиданным приветствиям послужило то, что я в 1828 г. получил в Москве степень лекаря (но в таком случае желающие должны были бы поздравлять два года тому назад). Служба же моя считается с 1831 года, а докторский диплом мне дан в Дерпте 30-го ноября 1832 г.

Итак, охотники до юбилеев могли бы меня поздравлять 3 раза, а если из трех случаев желали бы избрать самый удобный, то, разумеется, это был бы 1882 г., т.е. 50-летие докторского диплома.

В-третьих, 14–18 был у больного в Елисаветграде, у помещика, человека лет уже 50 с хвостиком, прежде военного, страдавшего, уже женатым, 4 года тому назад сифилисом; я знаю больного уже года три; болезнь – страшная невралгия сначала надбровного нерва, потом межреберных, теперь плечевых нервов. Но о сифилисе я ничего не знал, и когда больной мне рассказывал, что причину страдания он приписывает лечению декоктом[1], то я сдуру не догадался, для чего ему понадобился декокт, полагая, что врачи его происхождение надбровной невралгии приписали ревматизму. Затем, этот господин во время его пребывания у меня, 2 года тому назад, получил сильную рожу лица и головы с острогнойным отеком, и когда она прошла, то исчезла и невралгия; около 2 лет он был здоров, в прошлом году купался в лимане, простудился, по его словам, и получил сначала межреберную невралгию, а теперь сильнейшую плечевого сплетения: тянет всю руку, особливо по направлению локтевого нерва, как клещами; притом хронический катар легких с эмфиземой. Collodium cantharidatum и морфий эндерматически, подкожные впрыскивания морфия и атропина. А syphilis? При чем он тут? Videbimus[2].

Между тем вчера и сегодня, марта 20-го – 21-го, NW прекратился. Небольшой, но прохладный ветер с SW; днем +2 до 3° R, а ночью от 0 до –3°.

Да откуда же привязанность и даже чуть ли не любовь к животным? К каким животным привязывается человек исключительно? К собаке, кошке, лошади и певчим птицам. Из них – к лошади привязанность не чистосердечная, а связанная с пользою, приносимою этим животным,

[1] Декокт (лат. decoctum) – отвар из лекарственных трав.
[2] Увидим (лат.).

и его значительною ценностью; говорят, что араб любит коня как друга, но и эта дружба, верно, не бескорыстная: конь необходим для существования кочевника и делается его alter ego[1]. Пожалуй, про некоторые собачьи расы (сибирская, легавые, овчарки, гончие) можно сказать то же: их держат и к ним привязываются люди из расчета, да и привязанность к кошке началась, вероятно, с того же: как было не воспользоваться их специальностью — искусством ловить мышей? Но ведь люди и женятся большею частью по расчету, например, из двадцати миллионов наших крестьян верно 19999000 женятся для того, чтобы иметь в доме бабу для печи, хлева, ребят; этот способ женитьбы не препятствует, однако же, а прямо способствует, в большинстве случаев, развитию привязанности и даже любви. И так же, как между людьми существует и привязанность чистосердечная, так и в привязанности к животным, всего чаще к собакам, кошкам и певчим птицам, особливо воспитанным и вскормленным с самого рождения дома, замечается искренняя сердечность, похожая на ту, которую человек оказывает детям. Без сомнения, она зависит, как и привязанность к детям, отчасти от чувства своего собственного превосходства, снисходительности и жалости к существам слабейшим и менее развитым; но, конечно, это не одно.

В чувстве нашей привязанности к животным, я полагаю, играет важную роль представление, которое мы имеем о животном. В этом представлении есть нечто странное. Я где-то читал, что Гегель признавал в безмолвии животных нечто мистическое. Я вполне разделяю этот взгляд философа. Всякий из нас не может не видеть в животном сходства с собою, и вместе с тем не может ясно понять причину огромного различия, лежащего пропастью между нами и животными. Организации животных, так же как и нашей, предписано высшим начальством чувствовать, а следовательно наслаждаться и страдать; суждено также и бороться с стихийными силами, а по учению Дарвина даже и совершенствоваться, изменяясь и переходя из низших форм и типов в высшие. И, несмотря на это тождество основных и самых существенных свойств животной и нашей организации, — все-таки пропасть. Ни животное меня не понимает, ни я животного, то есть его субъективную сторону не могу вполне понять, и поневоле сужу о ней только по себе (то есть по своей субъективности). Гегель прав: существо, действующее во многих отношениях совершенно сходно со мною, обнаруживающее ясно чувства, страсти и даже мысль, немо; оно смотрит на меня, ласкает, зовет, ищет меня, просит у меня пищи, и все молча; невольно представляется — незнакомым с функциею Рейлевого островка и даже с его присутствием или отсутствием в мозге животных, — невольно, говорю, думается таким особам, что тут что-то неладно, что животное верно скрытничает, содержит от нас в тайне свои мысли, короче, поступает как немой карлик в волшебных сказках...

Вот и Благовещение, 25-е марта, а весны нет, как нет; туман, ветер не очень сильный, но перескакивающий с юга то на восток, то на запад, а тепла не приносит. Ночью все 0° и −3°. Днем от +5 до +6°.

---

[1] Вторым я (лат.).

1880 г. декабря 22-го.

Я убедился, что не могу вести дневника; вот прошло полгода и более, как я ничего не мог или не хотел вписывать в мой дневник. Теперь начну писать не по дням, а когда попало; остается еще много, много невысказанного, и успею ли еще, доживу ли, чтобы это многое записать? Читать, что записано не стану, а на чем остановился при наступлении весны, – хорошо не помню. Кажется, на жизнеописании моих кошек и собак и рассуждении о том, почему привязываемся к животным.

Вот и теперь я было решился не заводить снова возле себя ни кошки, ни собаки, а между тем какой-то жидок принес весною щенка, не то легавого, не то левретку, и мы, я и жена, снова привязались; это, вероятно, оттого, что нет в доме маленьких внучат и вместо внучки – Мимишка, сучка, и спит, и ест, и гуляет с нами, – и странно, что у меня пропала боязнь; я прежде страшно восставал против этой привязанности к маленьким собачонкам, зная из практики о многих случаях водобоязни от укушения именно маленькими собачками. Теперь еще живо помню, как однажды, лет 30 тому назад, при посещении Обуховской больницы в С.-Петербурге д-р *Майер* мне показал больного, одержимого, по его мнению, так называемою произвольною водобоязнью (hydrophobia spontanea); подошед к этому больному, сидевшему спокойно на кровати, я как-то инстинктивно указал пальцем на едва заметный у него значок на лбу и вдруг вижу, что бедняк страшно побледнел, скорчился, зарыдал и тут же признался, что несколько недель тому назад его оцарапала на лбу маленькая собачка, с которою он играл. Вскоре припадки водобоязни усилились и он умер.

Странно, говорю, что теперь у меня прошла эта боязнь маленьких собак. А основанием привязанности к домашним животным, я думаю, служит, по крайней мере отчасти, замеченная Гегелем мистичность животного. Когда видишь перед собою живое существо, действующее во многих отношениях подобно нам, обнаруживающее не только чувства наслаждения, но и досады и боли, а между тем бессловесное как будто потому только, что скрывает свои чувства и мысль, то невольно подозреваешь в нем присутствие нашего «я», как-то мистифицированного; но особливо глаза: глаза домашних и плотоядных, и травоядных мистичны; они говорят без слов; у моей Лядки виднелись даже белки между век и придавали глазам какое-то человеческое выражение, – это, я полагаю, редкость, – и скрытые веками белки обыкновенно считаются характерным признаком животных глаз, отличающих их от человеческих.

Я читал в одном альманахе сравнение с утилитарной, эстетической и нравственной сторон между лошадью и собакою: и ту, и другую считают лучшими и, можно, пожалуй, сказать, единственными друзьями человека; но автор статьи, немец, отдавал преимущество лошади и укорял собаку в низости и лакействе; она слишком ласкова, ползает, унижается пред сильным. В этом есть доля правды; когда маленькая собач-

ка встретится с большою, злою, она тотчас же пасует, ложится на спину и складывает лапки, а перед домашнею маленькою собачонкою, пользующеюся фавором господ, я видел не раз, как увивались и ползали большие собаки, принадлежавшие тем же господам. Но все-таки лошадь может быть разве в аравийских степях таким верным другом своего господина, как собака; и ласки, и привязанность собачьи не у всех собак унизительны; глаза выражают ясно, чего желает собака: зовет ли гулять, чует ли чужака, – все, все в ней намекает на что-то, как будто взятое у человека.

Лет 30 тому назад, я все, что говорю теперь, счел бы пустою фразеологиею; и я считал всякую жалость к страданиям собаки при вивисекциях, и еще более привязанность к животному, одною нелепою сентиментальностью. Но время все изменяет, и я, некогда без всякого сострадания к мукам (хлороформа тогда еще не знали) делавший ежедневно десятки вивисекций, теперь не решился бы и с хлороформом резать собаку из научного любопытства; теперь мне сделалось очень вероятным, чему я прежде не хотел верить, что Галлер в старости хандрил и приписывал свою хандру множеству сделанных им вивисекций; если не ошибаюсь, это рассказывает Циммерман в своей книге «Ueber die Einsamkeit»[1].

Особливо тяжело мне вспоминать о тех вивисекциях и операциях, в которых я, по незнанию, неопытности, легкомыслию или Бог знает почему, заставлял животных мучиться понапрасну. Да, самая едкая хандра есть та, которая наводит воспоминания о насилиях, нанесенных некогда чужому или собственному чувству. Как бы равнодушно мы ни насиловали чувство другого, никогда не можем быть уверены, чтобы это насилие не отразилось рано или поздно на нашем собственном чувстве. Когда моя Лядка околевала в страданиях, устремив на меня свои глазенки, стоная, и, несмотря на муки, выражала мне привет легкими движениями хвоста, во мне с жалостью к любимой собачонке пробудились воспоминания о мучениях, причиненных мною лет 30 и 40 тому назад целым сотням подобных Лядке животных, и мне стало невыносимо тяжело на душе.

Еще тяжелее бывает мне, когда находит на меня воспоминание об оперированном, также лет 40 тому назад, старике; только однажды в моей практике я так грубо ошибся при исследовании больного, что, сделав литотомию[2], не нашел камня. Это случилось именно у робкого, богобоязненного старика; раздосадованный на свою оплошность я был так неделикатен, что измученного больного несколько раз послал к черту.

«Как это вы Бога не боитесь, – произнес он томным, умоляющим голосом, – и призываете нечистого, злого духа, когда только имя Господне могло бы облегчить мои страдания!»

Какой урок в этих словах страдальца! – я их как будто и теперь еще слышу. Как бы много пришлось переделывать себя, если бы можно было спустить с плеч полвека.

---

[1] Об одиночестве (нем.).
[2] Рассечение мочевого пузыря для извлечения камней.

Да, и мне приходится, вспоминая прошедшее, нередко относиться охая к жизни и повторять слышанное однажды восклицание старого капитана, страдавшего непроходимою стриктурою[1] и свищами мочевого канала; измученный тщетными позывами на мочу, трясясь и всхлипывая, он с расстановкою выкрикивал: «Ох, ох, ты жизнь-матушка!»

(3 января 1881).

Но, наконец, пора уяснить себе и другие стороны моего мировоззрения. Прошло уже полгода с тех пор, как я выяснил себе только одно из них. Это было прошлою зимою, а летом я не могу писать. Лето старику приносит такое наслаждение, что и не думаешь вникать в себя; зеленые поля, цветущие розы, листва – все в свободное от практических и мелочных занятий время тянет к себе, наружу, и не пускает сосредоточиваться в себе. Ребенком я слыхал, что мой дедушка Иван Михеич зимою тосковал и жаловался детям: «От, детки, верно, Михеичу уж зеленой травы не топтать», но как только наступала весна, 100-летний старик снова оживлялся и целые дни топтал зеленую траву.

Но я хочу не только уяснить себе со всех сторон мое мировоззрение, мне хочется из архива моей памяти вытащить все документы для истории развития моих убеждений: как они после разных метаморфоз сложились и сделались настоящими. Мне кажется, что теперь, в настоящее время, разные стороны моего мировоззрения сделались гораздо отчетливее и яснее для меня, чем это было прежде. Может быть, это иллюзия, мираж, но почему же прежде, как ни казался я себе убежденным в том или другом воззрении, я все-таки не был уверен, что останусь навсегда при нем? Теперь же, напротив, я вполне уверен, что воззрения мои на жизнь и мир останутся такими, как есть, до последнего вздоха. Я думаю, что, пережив разные фазисы моего мировоззрения, я, наконец, убедился, что не доживу ни до какого нового их метаморфоза. И эта уверенность чрезвычайно успокоительна; чувствуешь что-то прочное в себе: изменяйся, сколько хочешь, окружающее меня, я не изменюсь! А что если и это мираж? То есть, если и самая твердая уверенность – иллюзия? Если окружающее сильнее ее?

Не может ли быть, чтобы иллюзия, возбудившая такую твердую уверенность, как мою, не была сильнее окружающего? Это противоречило бы историческим фактам, доказывающим противное. Мало ли что мы считаем теперь в истории целых поколений за галлюцинацию, фанатизм и т.п., а между тем под влиянием этих иллюзий народы жили целые века, проливали за них потоки крови и умирали с ними. Так пусть будет и с моею иллюзиею, если она для других кажется такою, а для меня останется твердым и неизменным убеждением до конца жизни.

Начну ab ovo[2].

---

[1] Стриктура (лат. stricture сжимание, сдавливание) – резкое сужение трубчатого органа (например, желчного протока, мочеточника) вследствие воспалительного процесса.

[2] С самого начала (лат.).

Мне сказали, что я родился 13-го ноября 1810 г. Жаль, что сам не помню. Не помню и того, когда начал себя помнить; но помню, что долго еще вспоминал или грезил какую-то огромную звезду, чрезвычайно светлую. Что это такое было? Детская ли галлюцинация, следствие слышанных в ребячестве длинных рассказов о комете 1812 года, или оставшееся в мозгу впечатление действительно виденной мною в то время, двухлетним ребенком, кометы 1812 года, во время нашего бегства из Москвы во Владимир, – не знаю.

Помню и еще какую-то странную грезу нити, сначала очень тонкой, потом все более и более толстевшей и очень светлой; она представлялась не то во сне, не то в просонках и была чем-то тревожным, заставлявшим бояться и плакать: что-то подобное я слыхал потом и о грезах других детей. Но воспоминания моего 6-ти – 8-милетнего детства уже гораздо живее.

Мой родительский дом, сгоревший во время нашествия французов в Москву, потом снова выстроенный, стоял в приходе Троицы в Сыромятниках. О времени моих воспоминаний, то есть о возрасте, к которому относятся первые мои воспоминания, я сужу из того, что живо помню еще и теперь беличье одеяльце моей кровати, любимую мою кошку Машку, без которой я не мог заснуть, белые розы, приносившиеся моей нянькою из соседнего сада Ярцевой и при моем пробуждении стоявшие уже в стакане воды возле моей кроватки; мне было тогда, наверное, не более 7-ми лет; по крайней мере, года 4 отделяют эти воспоминания от других, уже совершенно ясных, относящихся к моему десятилетнему возрасту.

О смерти Наполеона[1] я помню уже весьма отчетливо тогдашние рассказы.

Карикатуры на французов, выходившие в 1815–1817 годах, расходившиеся тогда по всем домам, я как теперь вижу.

Я знаю от моих родителей – я научился русской грамоте почти самоучкою, когда мне было 6 лет, и я хорошо помню, что учился именно по карикатурам, изданным в виде карт в алфавитном порядке. Первая буква «А» представляла глухого мужика и бегущих от него в крайнем беспорядке французских солдат с подписью:

Ась, право глух, Мусье, что мучит старика,
Коль надобно чего, спросите казака.

Буква «Б». Наполеон, скачущий в санях с Даву и Понятовским на запятках, с надписью:

Беда, гони скорей с грабителем московским,
Чтоб в сети не попасть с Даву и Понятовским.

[1] Наполеон умер 5 мая 1821 года.

«В». Французские солдаты раздирают на части пойманную ворону, и один из них, изнуренный голодом, держит лапку, а другой, валяясь на земле, лижет из пустого котла. Надпись:

Ворона как вкусна, нельзя ли ножку дать.
А мне из котлика хоть жижи полизать.

Может быть, я живо помню эти карты и потому, что их видел потом, когда мне было более 6-ти лет; но то, что помню почти исключительно три первые «А», «Б», «В», показывает, что на память мою они подействовали всего сильнее, когда я учился грамоте, то есть когда мне было 6 лет. Правда, я помню и еще одну из этих карт с буквою «Щ» и подписью:

Щастье за Галлом, устав бресть пешком,
Решилось в стан русский скакать с казаком.

Но это потому, что долго, долго задумывался на ней, не умея себе объяснить, почему какой-то француз в мундире, увозимый в карете казаком и притом желающий выпрыгнуть из кареты, именуется «щастьем»? Какое же это счастье для нас? – думалось мне.

Это ученье грамоте по карикатурным картинкам вряд ли одобрится педагогами. И в самом деле, эти первые карикатурные впечатления развили во мне склонность к насмешке и свойство подмечать в людях скорее смешную и худую сторону, чем хорошую. Зато эти карикатуры над кичливым, грозным и побежденным Наполеоном вместе с другими изображениями его бегства и наших побед развили во мне рано любовь к славе моего отечества. В детях, как я вижу, это первый и самый удобный путь к развитию настоящей любви к отечеству.

Так было, по крайней мере, у меня, и я от 17-ти до 30-ти лет, окруженный чуждою мне народностью[1], среди которой жил, учился и учил, не потерял, однако же, нисколько привязанности и любви к отчизне, а потерять в ту пору было легко: жилось в отчизне не очень весело и не так привольно, как хотелось жить в 20 лет. Не родись я в эпоху русской славы и искреннего народного патриотизма, какою были годы моего детства, едва ли бы из меня не вышел космополит; я так думаю потому, что у меня очень рано развилась вместе с глубоким сочувствием к родине какая-то непреодолимая брезгливость к национальному хвастовству, ухарству и шовинизму.

Начиная с десяти лет моей жизни, я уже помню отчетливо. И детство мое до 13-ти – 14-ти лет оставило по себе самые приятные воспоминания.

Отец[2] мой служил казначеем в московском провиантском депо; я, как теперь, вижу его одетым в торжественные дни в мундир с золотыми пет-

[1] В рукописи это слово зачеркнуто; по-видимому, Пирогов хотел заменить его другим, но забыл это сделать.

[2] После этого в рукописи: «еще не старый, от 40 до 50 лет» (зачеркнуто). Отец Пирогова, Иван Иванович, родился, приблизительно, в 1772 г.

лицами на воротнике и обшлагах, в белых штанах, больших ботфортах с длинными шпорами; он имел уже майорский чин, был, как я слыхал, отличный счетовод, ездил в собственном экипаже и любил, как все москвичи, гостеприимство. У отца было нас *четырнадцать* человек детей, — шутка сказать! — и из четырнадцати во время моего детства осталось налицо шесть: трое сыновей и столько же дочерей. «Мал бех в братии моей и юнейший в доме отца моего»[1]. И из нас шестерых умер еще один, не достигнув пятнадцатилетнего возраста, — мой старший брат Амос[2].

Кто хочет заняться историею развития своего мировоззрения, тот должен воспоминаниями из своего детства разрешить несколько весьма трудных для разрешения вопросов.

Во-первых, как ему вообще жилось в то время? Потом какие преимущественно впечатления оставили глубокие следы в его памяти? Какие занятия и какие забавы нравились ему всего более? Каким наказаниям он подвергался, часто ли, и какие наказания всего сильнее на него действовали? Какие рассказы, книги, поступки старших и происшествия его интересовали и волновали? Что более завлекало его внимание: окружающая его природа или общество людей?

В старости все эти воспоминания делаются яснее; старик вспоминает давно прошедшее как-то отчетливее, чем взрослый и юноша. Но, конечно, трудно старику решить с верностью вопрос, точно ли давно прошедшее делало и на него такое впечатление, каким он его представляет себе теперь?

Роясь в архиве своей памяти на старости лет, нас поражает, прежде всего, необъяснимое тождество и цельность нашего «я». Мы ясно ощущаем, что мы уже не те, чем мы были в детстве, и в то же время мы не менее ясно ощущаем, что наше «я» осталось в нас или при нас с того самого момента, как мы начали себя помнить, до сегодня, и знаем наверное, что оно же останется и до последнего вздоха, если только не умрем в беспамятстве или в доме умалишенных.

Странно, удивительно странно это ощущение тождества нашего «я» в разных, едва похожих один на другой, портретах, с разными противоположными чувствами, убеждениями и взглядами на себя, на жизнь, на все окружающее. Да ведь «я» — это одно личное местоимение, откуда же ему взяться у ребенка, например, не знающего грамматики, или у безграмотного взрослого? Смешно, не правда ли, нонсенс, абсурд? Самоощущение бытия, и как такое оно должно неминуемо в нас быть от колыбели до могилы, а, как и чем оно о себе дает знать себе же самому и другим — личным ли местоимением, или другим каким условным знаком, это ни на йоту не переменяет сущности дела. Ребячье «я» дает о себе знать и другим в третьем лице личного местоимения, поставляя себя, вероятно, вне себя, а глухонемой от рождения, вероятно, имеет для себя другой какой условный знак или ноту.

---

[1] Псал. 151.

[2] У И.И.Пирогова в 1815 г. было четыре сына: Петр — 21 года, Александр — 18 лет, Амос — 9 лет, Николай — 5 лет, и 2 дочери: Пелагея — 17 лет, Анна — 16 лет.

Детство, как я сказал, оставило у меня до тринадцатилетнего возраста одни приятные впечатления. Уже, конечно, не может быть, чтобы я до тринадцати лет ничего другого не чувствовал, кроме приятностей жизни, – не плакал, не болел; но отчего же неприятное исчезло из памяти, осталось одно только общее приятное воспоминание? Положим, старикам всегда прошедшее кажется лучшим, чем настоящее. Но не все же вспоминают отрадно о своем детстве, как бы жизнь в этом возрасте ни была для них плохою. Нет, вспоминая обстановку и другие условия, при которых проходила жизнь в моем детстве, я полагаю, что действительно ее наслаждения затмили в моей памяти все другие мимолетные неприятности.

Родители любили нас горячо; отец был отличный семьянин; я страстно любил мою мать[1], и теперь еще помню, как я, любуясь ее темно-красным, цвета массака[2], платьем, ее чепцом и двумя локонами, висевшими из-под чепца, считал ее красавицею, с жаром целовал ее тонкие руки, вязавшие для меня чулки; сестры были гораздо старше меня и относились ко мне также с большою любовью; старший брат был на службе, средний, тремя-четырьмя годами старше меня, жил со мною дружно.

Средства к жизни были более чем достаточны; отец сверх порядочного по тому времени жалованья занимался еще ведением частных дел, быв, как кажется, хорошим законоведом. Вновь выстроенный дом наш у Троицы, в Сыромятниках, был просторный и веселый, с небольшим, но хорошеньким садом, цветниками, дорожками. Отец, любитель живописи и сада, разукрашал стены комнат и даже печи фресками какого-то доморощенного живописца *Арсения Алексеевича*, а сад – беседочками и разными садовыми играми. Помню еще живо изображение лета и осени на печках в виде двух дам с разными атрибутами этих двух времен года; помню изображения разноцветных птиц, летавших по потолкам комнат, и турецких палаток на стенах спальни сестер.

Помню и игры в саду в кегли, в крючки и кольца, цветы с капельками утренней росы на лепестках... живо, живо, как будто вижу их теперь. Итак, жизнь моя ребенком до тринадцати лет была весела и привольна, а потому и не могла не оставить одни приятные воспоминания.

Ученье и школа до этого возраста также не была мне в тягость. Я уже сказал, как я легко и почти играючи научился читать; после того чтение детских книг было для меня истинным наслаждением; я помню, с каким восторгом я ждал подарка от отца книги: «Зрелище вселенной», «Золотое зеркало для детей», «Детский вертоград», «Детский магнит», «Пильпаевы и Эзоповы басни»[3], и все с картинками, читались и прочитывались по несколько раз, и все с аппетитом, как лакомства.

---

[1] Мать Пирогова, Елизавета Ивановна, родилась, приблизительно, в 1776 г.; происходила из старинной московской купеческой семьи Новиковых.

[2] Массака (фин. mansikka земляника) – темно-красный с синим отливом или иссиня-малиновый (о цвете).

[3] Книги, читанные Пироговым в детстве:

Зрелище вселенной, на латинском, российском и немецком языках. Издание для народных училищ Российской империи. СПб., 1788, 1822.

Но всего более занимало меня «Детское чтение»[1] *Карамзина* в 10 или 12 частях; славная книга – чего в ней не было! и диалоги, и драмы, и сказки – прелесть! Потому прелесть, что это чтение меня, семи-восьмилетнего ребенка, прельстило знакомством с Альфонсом и Далиндою или чудесами природы, с почтенною г-жой Добролюбовою, с стариком Яковом и его черным петухом, обнаружившим воришку и лгунишку Подшивалова; да так прельстило, что 60 с лишком лет эти фиктивные личности не изгладились из памяти. Я не помню подробностей рассказов, но что-то общее чрезвычайно приятное и занимательное осталось от них до сих пор в моем воспоминании.

Несколько лет позже я прочел «Донкихота» в сокращенном переводе с французского; помню еще, что и отец читывал его нам; читал потом и неизбежного «Робинзона», и волшебные сказки, но эффект чтения всех этих книг не может сравниться с тем, которое произвело на меня «Детское чтение», и подарок его нам отцом в новый год я считаю самым лучшим в моей жизни.

Так некоторые впечатления почему-то делаются неизгладимыми и выделяются ярко на фоне памяти. Сколько раз атомы моего мозга заменялись, чрез обмен веществ, новыми, и всякий раз передавали этим новым прежние впечатления, то есть прежние свои сотрясения.

Из рисунков читанных книг остались у меня в памяти, кроме карикатурных фигур, по которым я учился азбуке, всего более изображения животных, растений и разных национальных типов из «Зрелища вселенной», «Детского музея» и Палласова «Путешествия по России»[2], бережно сохранявшегося у отца в двух больших томах в кожаном переплете; из него всего отчетливее помню лопаря, самоеда и нагую чукотскую бабу. Очень рано попались мне также в руки отцовский же *Курганова* «Письмовник»[3], из коего на всю жизнь остались в памяти разные

Детский магнит, содержащий 101 сказочку с нравоучениями на каждую. М., 1800.

Политические и нравоучительные басни Пильпая, философа Индийского. Перевод с французского. СПб., 1762.

[1] «Детское чтение для ума и сердца» – первый детский журнал, выходивший в 1785–1789 гг. в 20 выпусках. Первые четыре редактировал А.А.Прокопович-Антонский, остальные – А.А.Петров и Н.М.Карамзин.

[2] Имеется в виду Петр-Симон Паллас (1741–1811) – путешественник, зоолог, ботаник, минеролог, геолог, топограф, врач, этнолог, археолог, филолог. Его «Путешествие» и «Путешествие по разным провинциям Российского государства» (2 тома, СПб., 1773 и 1788 гг.; 1-я часть издана вторично в 1809 г.). Описанное здесь путешествие Паллас совершил в 1768–1773 гг. В книге отражены глубокие, энциклопедические познания автора.

[3] Книга профессора математики и кавалера Н.Г.Курганова (1725–1796) – знаменитый в летописях русской литературы 2-й половины XVIII и начала XIX в. «Письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезно-забавного вещесловия». 1-е издание вышло в 1769 г. под названием, характеризующим комментируемые слова Пирогова: «Российская универсальная грамматика или вообще письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русскому языку, с седьмью присовокуплениями разных учебных и полезнозабавных вещей». В числе «присовокуплений» были: «русские пословицы», «краткие замысловатые повести», «различные шутки», «загадки», «всеобщий чертеж наук и художеств» и т.п. Всех изданий было 18; каждое новое выходило в переработанном виде, с дополнениями. Содержание «Письмовника» переписывалось в тетрадки, распростра-

смешные анекдоты, остроты и прибаутки; помню и еще одну книгу: «Повести Коцебу»[1], и особливо одну из них «Плащ и парик». Басни *Крылова* во время моего первого детства не были еще в ходу; к нам приходил какой-то знакомый господин, читавший их очень хорошо. Детей не заставляли еще заучивать их ex officio[2], и я proprio motu[3] выучил наизусть «Квартет», мне очень нравившийся, и особливо с басом Мишенька, «Демьянову уху», «Тришкин кафтан»; как видно, нравились мне наиболее юмористические.

Из других стихотворений я довольно рано, когда был еще лет девяти, познакомился с «Людмилою и Светланою» *Жуковского*, декламировал к большому удовольствию домашних слушателей с некоторого рода пафосом и разными жестами; несколько позже узнал и старика с щетинистой брадой, блестящими глазами, но страшно боялся встречи с ним в темной комнате, и бегом, зажмуря глаза, проходил чрез нее.

Первый роман, попавшийся мне в руки на 12-м году моей жизни, был «Фанфан и Лолотта» Дюкре-Дюмениля[4], и я помню, что не одна фабула романа завлекла меня, а образ Лолотты. Должно быть, заговорили рано развившиеся половые инстинкты.

Первый учитель дан был мне на девятом году жизни; до того времени я был самоучка при помощи матери и сестер, весьма ограниченной, впрочем, по собственному их признанию.

Странно, что я помню довольно ясно занятия грамотою и чтением, но совсем не помню, когда и как научился писать.

К чести нашей домашней педагогии я должен сказать, что занятия с первым моим учителем начались с отечественного языка; звуков иностранного языка я почти не слыхал до восьми лет; как впросонках, вспоминаю только напев какой-то немецкой песни, и мне сказывали сестры, что один, вхожий в наш дом, немец иногда брал меня на руки и нянчил, припевая что-то по-своему.

Появление в доме первого учителя совпадает у меня с воспоминанием о рождении в Москве нашего нынешнего государя (Александра Николаевича)[5], а это воспоминание совпадает в свою очередь с другим, а именно – с путешествием всей семьи к Троице (т.е. в Троицко-Сергиевскую лавру), во время которого при ночлеге в селе Больших Мытищах что-то говорилось о кормилице новорожденного.

Судя по этому, нужно думать, что мои первые занятия с учителем начались в 1818 году. Я помню довольно живо молодого, красивого

нялось в устной передаче, служило научному развитию читателей, воспитывало в них патриотизм, возбуждало интерес к народной поэзии.

[1] А.Ф.Коцебу (1761–1819) – немецкий писатель.

[2] Обязательно (лат.).

[3] По собственному побуждению (лат.).

[4] «Лолотта и Фанфан, или приключения двух младенцев, оставленных на необитаемом острове. Английское сочинение Г.Д.М. Части I–IV. Изд. 4-е. Перевод с французского. Москва. В губ. типографии у А.Решетникова. 1804 г.» (1886 стр.) – сильно распространенный в конце XVIII и начале XIX в. роман популярного французского писателя Ф.-Ж.Дюкрэ-Дюмениля (1761–1819), автора многих нравоучительных сочинений.

[5] Александр II родился в 1818 г.

человека, как мне сказывали потом – студента (Московского университета), и помню не столько весь его облик, сколько одни румяные щеки и улыбку на лице. Вероятно, этот господин, назначенный мне в учителя, был не семинарист. Это я заключаю из того, что он очень любил накрахмаленное белье, а об этой склонности я узнал от моей старой няни, нередко сетовавшей на большой расход крахмала, и действительно его румяные щеки представляются мне и до сих пор не иначе, как в связи с туго накрахмаленными, стоячими воротничками рубашки. Но есть основание думать, что семинарское образование не было чуждо моему наставнику: это его склонность к сочинению поздравительных рацей; одну из них он заставил меня выучить для поздравления отца с днем Рождества Христова; первое четверостишие я еще и теперь помню:

Зарею утренней, румяной,
Лишь только показался

(это, кажется, моя позднейшая поправка; в тексте было: «разливался»).

В одежде солнечной, багряной
Направил ангел свой полет.

Кроме воспоминаний о щеках, улыбке, воротничках и этих стихах моего первого учителя, мне остались почему-то памятны и его белые, с тоненькими синенькими полосками панталоны. Все эти атрибуты у меня как-то слились в памяти с понятием о частях речи, полученным мною в первый раз от обладателя щек, улыбки, воротничков, панталон и сочинителя первой же и едва ли не единственной произнесенной мною рацеи. От него же я научился и латинской грамоте.

Помню и второго моего учителя, также студента, но не университетского, а Московской медико-хирургической академии[1], низенького и невзрачного; при нем я уже читал и переводил что-то из латинской хрестоматии Кошанского[2]; от этих переводов уцелело в памяти только одно: Universum (или universus mundus – хорошо не помню) distributur in duas partes: coelum et terram[3].

На уроках, мне кажется, он занимался со мною более разговорами и словесными, а не письменными, переводами, тогда как первый учитель заставлял меня делать тетрадки и писать разборы частей речи. Почему, спрашивается, я помню по прошествии 62-х лет еще довольно ясно читанное и слышанное, и забыл, когда выучился писать, и почти все, что писал; забыл также, когда и как выучился ходить и бегать? Не

[1] Московская медико-хирургическая академия основана в 1798 г. в одно и то же время с Петербургской за счет Московского медико-хирургического училища. В 1804 г. закрыта, в 1808 г. вновь открыта как отделение Петербургской медико-хирургической академии. В 1837 г. получила самостоятельность, в 1844 г. была окончательно расформирована.

[2] Н.Ф.Кошанский (1785–1831) – преподаватель в Царскосельском лицее, автор широко распространенных руководств к российской и латинской словесности.

[3] Вселенная делится на две части: небо и землю (лат.).

значит ли это – приобретенное в детстве слухом и зрением гораздо прочнее напечатлелось в памяти, чем доставленное ей осязанием? Осязание служит только поверочным чувством для впечатлений, прежде всего вступающих в мозг чрез два его главные и настежь открытые окна: глаз и ухо.

Причины, почему от впечатлений детства остается тот или другой отрывок, часто ничем не замечательный и вовсе не характерный, так разнообразны, что никто не возьмется определить их. Но сила впечатления, без сомнения, зависит от того, в какой степени было напряжено внимание в самый момент впечатления: как бы сильным ни казалось впечатление извне, оно пройдет бесследно для того, кто не обратил на него внимания. Это – такая банальная истина, что не стоило бы о ней распространяться; к сожалению, однако же, немногие родители и педагоги применяют ее так, как она этого заслуживает, и заботятся более о свойствах и степени внешних впечатлений: это легче и проще; усиливать стимул, думают, достаточно, чтобы усилить внимание ребенка.

Между тем мы видим, что нередко самые ничтожные впечатления остаются в памяти на целую жизнь, тогда как, по-видимому, очень сильные исчезают из памяти бесследно, и это потому, что мы не умели или не могли сосредоточить на них внимание того, для кого необходимо было это сделать. По-моему, не тот хороший наставник, кто, обладая знаниями, излагает отчетливо и добросовестно свой предмет ученику, а тот, кто умеет хорошо обращаться с внимательностью своих учеников. Упражнение внимания – вот настоящая задача школы и воспитания. Преподавание наше не только не всегда сосредоточивает, но, напротив, еще отвлекает и развлекает внимательность; так же действует и глупое воспитание.

По мере того, как крепнет мягкий, студенистый детский мозг, он делается более способным к удержанию внешних впечатлений; развитие внимательности, вероятно, соответствует в известной степени развитию способности в мозговой ткани к удержанию впечатлений: но, несмотря на это, способность внимать остается все-таки чем-то отдельным от способности удерживать впечатления. Память и внимательность не идут рука об руку. Несмотря на все усилия мнемонистики, мы не многим можем содействовать к развитию памяти, тогда как в руках умного воспитателя есть много средств к развитию внимательности ребенка.

Правда, эти средства все-таки не более, как внешние; но, распорядившись искусно, мы можем с ними проникнуть и внутрь. Наглядность в соединении с словом – вот эти средства, разумея под именем *наглядности* все, действующее на внешние чувства. Других средств нет и быть не может. Искусство состоит в гармоническом сочетании обоих и правильном взгляде на индивидуальность дитяти. Вещь не легкая; и так как это не легко, и для большинства невозможно, то главную роль в нашем воспитании и играет жизнь, а не воспитатели и не школа. Горе нам от глупых и неумелых воспитателей, но еще горшее горе от односторонних, вбивших себе в голову, что на одной только наглядности или только на слове можно основать все школьное воспитание.

Наглядность, имея главною целью воздействие на внешние чувства, может оставить внимательность ребенка к своим более глубоким внутренним ощущениям и движениям нетронутою или малоразвитою. Слово, проникая также извне, действует своими членораздельными звуками на самую главную, самую существенную способность человека – петь по этим врожденным нотам, то есть мыслить. Конечно, молча никто не будет учить и *наглядностью*; но внимательность ребенка при одном наглядном учении обратится исключительно на внешние предметы, смысл и значение которых для него легче постигнуть, чем смысл слова; мышление его делается более, так сказать, объективным, связанным с представлениями формы предметов, а не с внутренним их значением и смыслом.

Внешние чувства наши очеловечиваются при помощи опыта и мышления. Но логика чувств своеобразна; она основана на каком-то механизме, действующем при сознании нами бытия, но не дающем о себе знать этому сознанию. Поэтому логика наших чувств не нуждается в словесном и основанном на членораздельных знаках мышлении; тем не менее, развитие ее совпадает с развитием этого мышления.

В то время как ребенок делается словесным животным и деятельность его внешних чувств делается отчетливее для него и для других, с этим вместе усиливается и внимательность. Итак, самовоспитание ребенка основано на наглядности, то есть на упражнении внешних чувств. Воспитателям же приходится только продолжать и направлять это самовоспитание, и главное – не упускать ничего, на первых же порах, для развития внимательности ребенка, не давая ей ни рассеиваться слишком скоро, ни сосредоточиваться односторонне. Но как только сознательное и словесное мышление ребенка даст о себе знать воспитателю, он обязан как можно скорее воспользоваться этим даром и употребить его в дело; да, в дело, а не на безделье.

Должно помнить, что дар слова есть единственное и неоцененное средство проникать внутрь, гораздо глубже, чем посредством одних внешних чувств. Но для достижения этой цели необходимо воспитателю орудовать даром слова так, чтобы он употреблялся им не для одного только осмысления, приобретаемого наглядностью материала, а также и для воздействия на другие, более глубокие влечения души, скрывающиеся под наплывом внешних ощущений. И с этой стороны необходимо развитие внимательности, но, конечно, более осторожное и постепенное. Что развитие дара слова, чрез обучение грамоте, может начаться без всякого вреда для ребенка очень рано и в уровень с наглядным учением, доказательством тому служат многие примеры. Я научился грамоте, играючи, когда мне было шесть лет; мой младший сын выучился по складным буквам, без всякой другой помощи, шестилетним ребенком. Быстро и легко достигнутый успех объясняется, я думаю, тем, что внимательность наша была случайно обращена на предметы, сразу заинтересовавшие нашу детскую индивидуальность, а к этим предметам очень кстати были приноровлены азбучные знаки.

Меня, то есть мой индивидуальный склад, и мою только что развивавшуюся индивидуального склада душу заинтересовали карикатурные

изображения прогнанных из Москвы французов, о которых рассказы я беспрестанно слышал. Эти занятные для меня рассказы, в связи с детскою склонностью к юмору, обратили мою внимательность и на загадочные знаки азбуки, стоявшие во главе карикатур. Звуки слов, начинавшихся этими знаками, были знакомые уху: «А» – «Ась», «Б» – «Беда», «В» – «Ворона», и дело пошло скоро на лад.

Шестилетнего моего сына, более склонного к отвлечению, вероятно, заинтересовали мистические (для него) фигуры больших литер складной азбуки и их таинственная (для него) связь с представляемыми ими звуками. Верно, бессознательно интересна была для внимательности ребенка фигура, скрывавшая в себе звук.

Без сомнения, индивидуальность играет тут главную роль. Всегда найдется средство задеть ту ее струнку, сотрясение которой могло бы разбудить внимательность, а, заняв ее, можно будет приноровить и обучение грамоте, и действие слова к обратившему на себя внимательность предмету.

Не одна наглядность, – и слово интересует детей; как *слово*, так и *раннее обучение грамоте* я считаю необходимым делом для культурного общества. Евреи как древний, много испытавший народ знают это по опыту; пятилетних детей они сажают за грамоту, да еще за какую, – не чета нашей, усваиваемой теперь по звуковому и другим новейшим способам. Еврей употребляет грамоту именно для воздействия на затаенные, еще неразвитые (религиозные) стремления души к высшему началу. Этим держится еврейство, и его способ обучения детей, несмотря на его отсталость и грубость приемов, имеет важное значение в жизни.

Наблюдав развитие детей в еврейских школах, я не заметил, чтобы их способ обучения много препятствовал действию *наглядности*; за исключением некоторых индивидуальностей, склонных чрез меру к отвлечениям и религиозному фанатизму, большая часть еврейских детей легко приобретает все то, что дается наглядным обучением; но религиозное настроение, сообщенное ранним воздействием слова, их не оставляет на целую жизнь, и несмотря на их семитические инстинкты и внешний, тяготеющий на них, гнет.

Но если еврейский меламед[1], с его незатейливыми средствами, так умеет сосредоточивать внимательность пяти-шестилетних ребят на изучении мертвого для нас языка, то, значит, искусство это нетрудное.

Почему же оно у нас не процветает, а если и прогрессирует, то черепашьим ходом?

Не говоря уже о том давнем времени, когда я сам учился, не более как двадцать лет назад, я, быв попечителем двух учебных округов, ужасался, видев, как мало знакомы были учителя и весь официальный персонал наших школ с этою главною отраслью в педагогии. В это замечательное время наши педагоги вспомнили о *Песталоцци*[2] и *Дистервеге*[3] и

---

[1] Меламед (на идиш) – учитель начальной еврейской религиозной школы.
[2] И.Г.Песталоцци (1746–1827) – швейцарский педагог.
[3] Ф.-А.Дистервег (1743–1816) – немецкий педагог, популяризировал идеи Песталоцци.

возлагали большие надежды на *наглядное* обучение, думая найти в наглядности талисман для культуры детской внимательности. И я сам не был свободен от этого увлечения. Но опыт не оправдал розовых надежд.

Теперь я убедился, что *ни наглядность, ни слово*, сами по себе, без умения с ними обращаться как надо и без других условий, ничего путного не сделают. Я убедился еще в том, и это главное, что односторонность в культуре внимательности у народа, как наш, еще недавно выступившего на поприще образования, никуда не годится.

Одностороннему меламеду это дело удается, несмотря на грубейшие приемы, потому что у евреев, как у народа древнего, есть традиция образования, да к тому же еще грамота и религия в понятии еврея неразлучны. Западные народы могут также быть односторонними в образовании, и опять потому же, что имеют предания и традиции. У нас же их нет, и мы живем и начинаем учиться во время, вовсе не благоприятное для действия и силы традиций.

Вся жизнь моя сложилась бы другим образом, если бы при моем воспитании сумели развить и хорошо направить мою внимательность. Недостатка в этой способности у меня не было; была, и не в малой степени, и разносторонность ума, но и то, и другое были так мало культивированы, что я легко делался односторонником, не умея обращаться с моею внимательностью и направлять ее как следует.

Вообще, мне кажется, на эту замечательную психическую способность мало обращают внимания. Можно обладать прекрасно устроенными от природы органами чувств; эти органы могут быть очень чуткими к принятию впечатлений, могут отлично удерживать впечатления, а потому и отлично содействовать внимательности; но если она сама будет неразвита и заглушена беспорядочным и, выражаясь по-немецки, тумультуарным[1] наплывом впечатлений, в детском возрасте, то ничего путного не выйдет, – разве сам Бог поможет, наконец, человеку, уже более или менее взрослому, углубиться в себя и понять, чего ему недостает для *самовоспитания*.

С материальной точки зрения, *внимательность* есть особое состояние напряжения тех элементов мозга, которыми воспринимаются приносимые органами чувств впечатления. В самый момент действия это напряжение не может не быть односторонним; но культурою (упражнением) его можно сделать *менее* односторонним.

Так, астроном, во время наблюдения за прохождением звезд, может сосредоточить свою внимательность на впечатления зрительные и слуховые в одно и то же время, смотря в телескоп и прислушиваясь к колебаниям маятника. Но, сверх этой чувственной внимательности, есть еще и другая, как кажется, отличная от первой: внимательность к более глубоким психическим процессам; внимательность к собственному своему «я», то есть к своей мысли, воле, влечениям и т.п. Культура этой способности ведет к тому, что наше «я», следя за самим собою, делает из себя и для себя же нечто внешнее, объективное.

---

[1] Шумным (нем.).

Кто хочет помочь ребенку сделаться человеком, тот не должен упускать из виду эти два направления внимательности; но в этом деле представляется воспитателю необыкновенная трудность; при культуре внимательности необходимо уменье индивидуализировать. Слишком скорое и неосторожное развитие, например, внутренней (так назову ее) внимательности у некоторых от природы и без того склонных к отвлечению (т.е. к внутренней, психической жизни) детей сделает из них легко непрактичных самоедов. Непомерное развитие *чувственной внимательности*, при хорошем природном устройстве чувств, сделает их легко грубыми сенсуалистами и поклонниками чувственной красоты.

Чем ранее начнет развиваться внимательность, тем лучше для культурного человека. На первое время достаточно, если мы останемся благоразумными наблюдателями этого развития и не будем надоедать натуре нашими выдумками.

Довольно раннее обучение грамоте при пособии *наглядности* я считаю самым надежным средством к правильному развитию внимательности. При этом способе нельзя опасаться одностороннего развития; при нем участвуют к возбуждению внимательности и глаз, и ухо, и осязание, и самое слово. Только впечатления, приобретенные этим путем в раннем детстве, и остаются в нас цельными и связными; красною нитью тянутся они чрез всю жизнь.

Что, в самом деле, связного осталось в архиве моей памяти от шести-восьмилетнего возраста? Грамота, которой я учился по картинкам, и самые картинки (карикатуры); читая теперь какую-нибудь книгу, мне стоит только хоть немножко отвлечься в прошедшее, и «А – Ась, право глух Мусье», сейчас вынырнет откуда-то, как из омута. Все прочие воспоминания моего детства в этом возрасте (6–8 лет) или туманны и призрачны, или же отрывочны и сомнительны.

Я различаю, однако же, довольно отчетливо мои самые ранние воспоминания от других позднейших (например, из 13-летнего возраста). Я не сомневаюсь, например, что удержавшееся весьма ясно представление моей матери еще моложавою женщиною в красном массака цвета платье, в чепце с двумя темно-русыми буклями на лбу, осталось у меня в памяти от восьмилетнего возраста.

Моя мать, как я слышал от нее, вышла замуж 15 лет, имела 14 детей; я был предпоследним (последний ребенок умер вскоре после рождения); следовательно, ей не могло быть более 36 лет, когда мне было 8; потом же, когда я ходил в школу 12-летним мальчиком, я уже ее помню не такою; утрата двух взрослых детей и невзгоды жизни, стрясшиеся над нею в течение этого времени, сильно изменили ее наружность; она постарела, и образ ее сливается уже в моей памяти с другим, позднейшим, так что теперь мать моя представляется мне в двух, совершенно различных один от другого видах; то как моложавая, смотрящая на меня с любовью женщина, в темно-красном капоте, чепце и буклях; то как старушка с сморщенным лицом, согнутым туловищем и туманным взглядом, почти такая же, какою она была в последнее время своей

жизни, тридцать лет тому назад[1], хотя я наверное знаю, что между этими двумя видами остался у меня в памяти еще и третий, не сходный ни с одним из них, но так туманный и бледный, что я не могу его облечь в ясное представление.

Образы других близких мне лиц сохранились в памяти только по одним позднейшим представлениям. Образ отца остался в памяти таким, как я его помню, быв уже студентом (14-ти лет), незадолго до его смерти. Мою старую няньку и старую служанку я помню также только в том виде, в каком они мне представлялись, когда я был уже взрослый (от 25 до 30 лет).

Отрывочных и очень ранних воспоминаний (из шести-восьмилетнего возраста), весьма отчетливо еще сохранившихся в архиве 70-летней моей памяти, я насчитываю не более семи или восьми. Предметы их ничего не имеют общего между собою: только белые розы в стакане воды, беличье одеяло и серая кошка Машка связаны в моем представлении, и это, без сомнения, потому, что я их всегда видал вместе, возле меня, открыв глаза при пробуждении от сна.

По всем соображениям, ни розы, ни одеяло, ни серая Машка не были при мне, когда мне, еще маленькому (не более десяти лет) мальчику, нянька напоминала о них, как о чем-то давно прошедшем: «А помнишь ли (и эти слова я также живо помню) твою Машку, которую ты так бережно закутывал твоим беличьим одеялом, когда ложился спать?»

Помню еще отцовскую саблю в медных ножнах, дедушкин рыжеватый парик, длинный колодезный насос, упавший при вставливании в садовый колодезь и разбивший окно в комнате, где я сидел, и, наконец, белые стоячие воротнички и панталоны моего первого учителя. Есть и еще одно воспоминание, относящееся приблизительно к тому же времени; это появление в доме крепостной семьи, состоявшей из мужа, жены и грудного ребенка. Памятна именно новость появления, то есть памятно сознание, что прежде их не было, а тут они откуда-то явились, и явился откуда-то кривой Иван, смотревший одним только блестящим глазом, а другой был белый, как мел.

Все другие, не менее ясные, воспоминания остались, верно, от позднейшего времени.

Я оставался вместе с семьею в том доме, размалеванные стены которого, фасад и садик помню еще так живо до 14-летнего возраста, и потому самые ранние воспоминания о нем сливаются с поздними. Но сабля, парик, воротнички и панталоны – одни уже не были на виду и спрятаны в старый хлам, другие выбыли вместе с их обладателем, жившим у нас, как я слышал, не более одного года.

Что же заставило именно эти отрывочные, но ясные представления остаться так долго в памяти? Почему они не стушевались в хламе других впечатлений, беспрестанно действовавших на мой детский мозг? Вопрос, конечно, неразрешимый. Придется перенестись в себя чрез пропасть времени. За такой сальто-мортале можно, пожалуй, считать

[1] Мать Пирогова умерла в Петербурге в 1851 г.

старика выжившим из ума. Но что за беда, если и провалишься в бездне самого себя!

Некоторые впечатления раннего детства остаются на целую жизнь, очевидно, от сильных сотрясений всего детского организма, а также чрез частые рассказы о выдающихся случаях в обыденной жизни.

Вломившаяся в окно комнаты, в которой я сидел, огромная бадья колодезного насоса не могла не навести на меня страх и ужас – и вот, в памяти осталось навсегда представление торчащей чрез разломанное окно балки, потрясшей своим появлением в комнате с треском и стуком не только внешние чувства, но и все мое тело.

Так и во многих других воспоминаниях давнопрошедшего повторенные о них рассказы, без сомнения, много содействуют к удержанию его в памяти, чем оно само по себе. Впечатления, повторявшиеся неоднократно и в известные моменты жизни, как, например, впечатления, произведенные на меня белыми розами при пробуждении от сна, и белыми воротничками с розовыми щеками учителя во время первых моих уроков, также не могли не остаться в памяти долее других. Рассказы, волнующие детские страсти, наводящие ужас и т.п., так сильно действуют на воображение ребенка, что слышанное впоследствии представляется ему виденным; это понятно, потому что подтверждается примерами и из жизни взрослого человека; но гораздо интереснее и поучительнее наблюдение, доказывающее, что и одно возбуждение рассказом детской внимательности приводит к тому же результату.

Это делает мощь слова наглядным и убеждает, что слово может еще заменить наглядность, но одна наглядность никогда не заменит слова. Наглядное, одно, само по себе, без помощи слова, хотя и может глубоко врезаться в память ребенка, но всегда останется чем-то отрывочным и несвязным, тогда как впечатление, произведенное словом, будет более цельное и связное.

Я говорил уже об отцовской сабле и дедушкином парике. Оба эти предмета оставались у меня в памяти с лишком шестьдесят лет потому только, что с ними связаны два рассказа.

Рассматривая медные ножны, я внимательно слушал трогательное для меня повествование моей няньки о том, как отец во время нашего бегства из Москвы в 1812-м году, спас этою саблею крестьянку, везшую молоко; на нее напал какой-то буйный ратник (ополченный) и грабил уже ее, когда отец мой, заметив это, выскочил из повозки, пригрозил саблею и прогнал грабителя; в знак благодарности за спасение он получил кружку молока. Сабля была тяжела, и я только смотрел на нее, а не надевал. Но рыжеватый дедушкин парик я надевал на себя, слушая рассказы о том, как дедушка, Иван Михеевич, входя в церковь, всегда снимал свой парик и, обнажая свою плешивую, как кулак, голову, приводил в соблазн «предстоящих (по выражению местного священника, упрекавшего дедушку за это) людей в храме Божием». Ни слышь я этих рассказов, верно, и сабля, и парик давно исчезли бы из памяти. И кривой, белый как мел, глаз крепостного Ивана также изгладился бы непременно из моей памяти, мало ли таких кривых я видел на свете, если

бы не явился к нам в дом однажды какой-то шарлатан из Сибири, наговоривший Ивану о чудесах своего искусства; он начал приставать с мольбами к матушке о дозволении возвратить ему глаз; шарлатан, любопытные рассказы которого об езде на собаках в Якутске я также припоминаю, начал впускать в белый глаз какие-то белые порошки; глаз раскраснелся, шарлатана прогнали, а Иван остался по-прежнему кривым, да вдобавок еще и осмеянным. Я был зрителем, но гораздо более слушателем этой драмы.

Слышанное в раннем детстве, то есть слово, так сильно действует, что впечатления, производимые им на воображение и память ребенка, легко превращаются в наглядные образы. Из одних рассказов о моем дедушке, умершем, когда мне было не более 4-х лет, составился в моем воображении весьма определенный образ высокого, сухощавого старика в парике; парик был тут только, так сказать, прибавочным наглядным представлением, дополнявшим слышанное и препятствовавшим мне воображать дедушку плешивым, каким он был по рассказам; черт лица в воображаемом образе не было видно, но представление высокого старика в парике было так ясно, что еще и до сих пор осталось во мне смутное убеждение, как будто бы некогда я видал его живым.

Сильное действие на нас часто слышанных устных рассказов всем так знакомо, что мы легко объясняем себе образование призрачных фантомов, составляющихся в нашем воображении из слышанного нами неоднократно, и потому только одному или же по другой причине, обратившего на себя наше внимание; но труднее гораздо объяснить, почему однажды только слышанное или виденное нами может залечь надолго и даже навсегда в нашей памяти.

Так, я до сих пор живо помню виденное мною только один раз в ризнице Троицкой лавры самородное изображение креста со стоящею пред ним на коленях фигурою; я был тогда восьмилетним ребенком, и как теперь вижу белый, прозрачный, выпуклый камень с этим изображением; предо мною, как будто наяву, стоит монах и поднятою рукою держит камень против света. Я положительно знаю, что никогда в другой раз не был в ризнице лавры.

Помню также живо до сих пор однажды слышанное от какого-то мальчика, – правда, то были знакомые мне слова псалма: «Всякое дыхание да хвалит Господа»[1]; я их слыхал и читал в псалтыре не раз; но почему же я помню всю обстановку, при которой они были слышаны мною?

Мне было тоже не более (скорее менее) восьми лет, когда я, гуляя с нянькою на берегу Яузы, услышал визг собаки; приблизившись, мы увидели двух мальчишек; из них один топил собаку, другой его удерживал, громко заявляя: «Всякое дыхание да хвалит Господа!» Нянька моя похвалила его за это, и мы пошли далее.

Без сомнения, очень рано являются в нас, конечно при известной внешней обстановке, психические настроения, делающие нас чрезвы-

---

[1] Псал. 150, 6.

чайно восприимчивыми к некоторым впечатлениям; подействовавшее на нас в момент такого настроения, по-видимому, и незначительное, и даже не раз уже испытанное нами, впечатление остается навсегда в памяти и всегда при удобном случае напоминает нам о своем существовании. До сих пор я припоминаю и восклицание мальчика, и прогулку за Яузою, как скоро слышу слова псалма: «Всякое дыхание да хвалит Господа». Смотря на крест, припоминаю нередко и виденное мною изображение в лавре. Мораль: педагогу необходимо знакомство с этим замечательным психическим процессом, но применение его на практике невозможно: не педагог управляет жизнью, а жизнь им.

Кому из культурных людей не приходилось мыслить о людском воспитании? Кто из моралистов не желал бы перевоспитать человеческое общество? Все мыслители, я думаю, пришли к тому заключению, что воспитание нужно начать с колыбели, если желаем коренного переворота нравов, влечений и убеждений общества.

Про самого себя, конечно, никто не может решить, с какой поры проявились в нем разные склонности и влечения; но кто следил за развитием хотя нескольких особей от первого их появления на свет до возмужалости, тот верно убедился, что будущая нравственная сторона человека рано, чрезвычайно рано, едва ли не с пеленок, обнаруживается в ребенке; к сожалению, поздно, слишком поздно, узнаем мы будущее значение того, что мы давно замечали.

И на моих собственных детях, и на некоторых других лицах, знакомых мне с детства, я рано видел немало намеков о будущих их нравах и склонностях; но теперь только, когда, вместо трех-четырехлетних детей, я вижу пред собою тридцатилетних мужчин и женщин, только теперь я уверяюсь из опыта, как верны и ясны были эти намеки. Поумнев задним умом, я вижу теперь, что не только о нравах, но и о будущих мировоззрениях всех этих лиц я мог бы уже иметь довольно ясное понятие еще за двадцать пять лет, если бы умел прочесть *«мани, факел, фарес»*[1] в их детских поступках.

Что и сколько мы приносим с собою на свет и что и сколько потом получаем от него, этого мы никогда не узнаем, а потому и уверенность воспитанием нашим дать ребенку все то, что мы желаем дать, я считаю одним самообольщением.

Я не отвергаю, что *Песталоцци, Фребель*[2] и другие передовые педагоги и фанатики своего дела дали хорошее воспитание своим питомцам; но не верю, чтобы искусственные способы и систематическое их применение, предложенные этими педагогами, произвели благотворное действие на массы людей и на все общество.

Главная сила искусственного, строго-систематического воспитания, есть более *отрицательная*; как бы рано оно ни начиналось, действуя однообразно и односторонне на различнейшие индивидуальности, оно

[1] Пророческое знамение в виде трех таинственных слов, которое появилось во время пира царя Валтасара, и истолкованное пророком Даниилом (Дан. 5).

[2] Ф.-В.Фребель (1782–1852) – немецкий педагог.

может многое, конечно, и худое уничтожить; но развить что-либо в нравственном отношении может оно только извне. Конечно, и это одно можно назвать положительным результатом, но таким, который годен только для какой-либо односторонней, то есть отрицательной для других сторон, цели.

А разных сторон нашего нравственного бытия немало; заставить, например, 4–5-летних детей, по Фребелю, играть в определенный час так, в другой час иначе, осмыслять каждую его игру и забаву, – не значит ли действовать отрицательно, и систематически отрицательно, на свободу таких его действий, которые, по существу и цели, требуют наибольшей свободы? Я, по крайней мере, не жалею, что жил ребенком в то время, когда еще неизвестны были Фребелевы сады. Но, конечно, общества, приготовляющие себя к социальному перерождению, не могут не увлекаться воспитанием, обещающим сделать из людей манекенов свободы.

Главная немощь духа есть, именно, односторонность его стремлений на пути прогресса.

Везде, начиная от *моды* и доходя до *фанатизма*, мы испытываем влияние этой немощи.

Но если нам не суждено узнать всестороннюю истину и всестороннее добро, то мы должны, по крайней мере, не слишком доверять нашему всегда одностороннему прогрессу. Особливо же осторожно надо относиться к практическим применениям добытых им истин.

Надо помнить, что излюбленное передовыми умами, а за ними и целым обществом, направление истины всегда временно и, отжив свой срок, уступает место другому, нередко совершенно противоположному.

Реакция и в политике, и в науке, и в искусстве – везде необходимое зло и неизбежное следствие немощи духа.

Я прожил только семьдесят лет, – в истории человеческого прогресса это один миг, – а, сколько я уже пережил систем в медицине и деле воспитания! Каждое из этих проявлений односторонности ума и фантазии, каждое применялось по нескольку лет на деле, волновало умы современников и сходило потом с своего пьедестала, уступая его другому, не менее одностороннему. Теперь, при появлении новой системы, я мог бы сказать то же, что ответил один старый чиновник Подольской губернии на вопрос нового губернатора:

– Сколько лет служите?

– Честь имел пережить уже двадцать начальников губернии, ваше превосходительство!

О медицине скажу после; а в деле воспитания я застал еще крупные остатки средневековой школы, видал в прусских регулятивах и временный ее рецидив; был знаком и с остатками ланкастерской[1] (еще суще-

---

[1] Ланкастерская система воспитания – система взаимного обучения, возникла в начале XIX века в Англии для детей неимущих родителей. Школы были названы по имени их основателя, лондонского учителя Джозефа Ланкастеро (1771–1838). При этой системе учитель обучает только лучших учеников, а эти последние занимаются с более слабыми. Ланкастерские школы были распространены и в России в первой половине

ствовавшей при мне в Одесском округе); присутствовал при возобновлении наглядного учения Песталоцци; был современником «Ясной Поляны»[1], псевдоклассицизма и псевдореализма (настоящими я их не называю потому, что они вступали в школы с заднею мыслью).

Все было и сплыло.

Но не везде и не всегда старые чиновники переживают двадцать губернаторов; но не везде и не всегда обстоятельства благоприятствуют частым сменам принципов, систем и лиц, а главное – не везде и не всегда одностороннее влечение ума и фантазии скоро сменяется другим; оно, как мы видим, может длиться целые века, пока на смену его явится другое. Мы, русские, по крайней мере, счастливы тем, что односторонности нашего и чужого ума у нас, как губернаторы в Подольской губернии, недолго (относительно) начальствуют. Мы – не евреи и не западные народы: у нас нет традиций воспитания. Мы все учились «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь».

Подожду, однако же, говорить о школе, – я еще не в школе и, прежде чем попаду туда, посмотрю, что дало мне домашнее воспитание в возрасте от восьми до двенадцати лет, воспоминания о которых остались в моей памяти уже более отчетливыми и связными.

Судя по ним, я был живой и разбитной мальчик, но, должно быть, не очень большой шалун; не помню, по крайней мере, за собой никакой крупной шалости и никакого крупного наказания за шалости. Вообще, я ни дома, ни в школе не был ни разу сечен; помню только три наказания от матери: пощечину (однажды) за пощечину; я ударил в щеку какого-то мальчика, а матушка, бывшая свидетельницею самоуправства, расправилась точно так же сама со мною. Я нахожу это весьма логичным и педагогичным; хотя эта расправа и не излечила меня от самоуправства радикально, но нередко удерживала поднятую уже руку, припоминая мне вовремя, что и на меня может подняться более сильная рука.

Два других наказания делались, сколько помню, не за шалости, а за каприз; помню, как однажды горько и безутешно рыдал, выведенный в переднюю с запретом входить в другие комнаты; но самое неприятное впечатление осталось у меня от удара рукою матери, попавшего мне нечаянно прямо под ложечку; с разбегу я вскочил неожиданно в комнату, где матушка была чем-то занята с сестрами; сгоряча она вскочила, и я прямо животом ударился об ее размахнутую руку. Я, как теперь, помню, что мне захватило дух, и я повалился на пол. Скверно было то, что у меня после этого нечаянного удара оставалась долго на душе какая-то злоба на мать.

Игры, забавы и занятия в этом возрасте должны быть уже весьма внушительны для зоркого наблюдателя; на них можно основать немаловероятную прогностику.

XIX века. С течением времени школы прекратили свое существование, так как на них начались гонения в связи с тем, что они стали рассадниками свободомыслия.

[1] «Ясная Поляна» – педагогический журнал, который издавал Л.Н.Толстой в 1862 г.

Из моих домашних занятий (до школы), мне кажется, я не отдавал преимущества ни одному, кроме чтения; считать не особенно любил, но четырем правилам арифметики научился еще до школы; любил также собирать и сушить цветы, рассматривать изображения животных и растений и картинки исторического содержания, особливо из войны 1812-го года, бывшие тогда в большом ходу. Латинская и французская грамматики не возбуждали моего сочувствия; но разбор частей речи из русской грамматики был для меня очень занимателен, и я помню, что просиживал над ним охотно целые часы. Личность учителей играла тут главную роль; учителя русского языка я и до сих пор еще вспоминаю, хотя только по воротничкам, панталонам и рацее; но из двух других, занимавшихся со мною латынью и французскою грамотою, одного совсем забыл, а другой мелькает в памяти, как тень какого-то маленького человечка.

Вообще, в домашнем воспитании до двенадцати лет, я занимался только тем, что само по себе было для меня занимательно, а культурою моей внимательности никто и не думал заниматься, и это я считаю главным пробелом моего первоначального воспитания, тем более что и потом, в школе и университете, никто, не исключая и меня самого, на развитие этой способности не обращал ни малейшего внимания. Следствием этого пробела было, как я испытал впоследствии, то, что я, от природы любознательный и склонный к труду, во многом остался невеждою и не приобрел, когда мог, тех знаний, которые мне впоследствии были крайне необходимы.

От недостатка в культуре внимательности, она потом слишком сосредоточилась, и я едва не сделался односторонним по принципу.

Но об этом после, когда буду говорить о моей юности.

Замечательно, однако же, что я очень долго не замечал следствий этого пробела, пока, наконец, додумался до сути. Знай я это прежде, то и при воспитании моих детей постарался бы более о развитии этой основной способности человеческого знания, более, чем все другие, поддающейся нашей культуре.

Из моих детских игр и забав памятны мне очень две главные; одна из них была моею любимою в школе, с моими сверстниками, без участия которых она не могла бы и быть, – это игра в *войну*; как видно, я был храбр, потому что помню рукоплескания и похвалы старших учеников за мою удаль.

Но другая игра весьма замечательна для меня тем, что она как будто приподнимала мне завесу будущего. Это была странная для ребенка забава и называлась домашними игрою в лекаря. Происхождение ее и история ее развития такие.

Старший брат мой лежал больной ревматизмом; болезнь долго не уступала лечению, и уже несколько докторов поступали на смену один другому, когда призван был на помощь *Ефрем Осипович Мухин*[1], в то время едва ли не лучший практик в Москве.

[1] Е.О.Мухин (1766–1850) – один из главных учителей Пирогова. Доктор медицины и хирургии, анатомии, физиологии, судебной медицины и медицинской полиции, заслу-

Я помню еще, с каким благоговением приготовлялись все домашние к его приему; конечно, я, как юркий мальчик, бегал в ожидании взад и вперед; наконец, подъехала к крыльцу карета четвернею, ливрейный лакей открыл дверцы, и, как теперь, вижу высокого, седовласого господина, с сильно выдавшимся подбородком, выходящего из кареты.

Вероятно, вся эта внешняя обстановка, приготовление, ожидание, карета четвернею, ливрея лакея, величественный вид знаменитой личности сильно импонировали воображению ребенка; но не настолько, чтобы тотчас же возбудить во мне подражание, как обыкновенно это бывает с детьми: я стал играть в *лекаря* потом, когда присмотрелся к действиям доктора при постели больного и когда результат лечения был блестящий.

Так, по крайней мере, я объясняю себе начало игры, после глубокого, еще памятного и теперь, впечатления, произведенного на все семейство быстрым успехом лечения. После того как, несмотря на все усилия пяти-шести врачей, болезнь все более и более ожесточалась, и я ежедневно слышал стоны и вопли из комнаты больного, не прошло и нескольких дней мухинского лечения, а больной уже начал поправляться. Верно, тогда все мои домашние, пораженные как будто волшебством, много толковали о чудодействии Мухина; я заключаю это из того, что до сих пор сохранились у меня в памяти рассказы о подробностях лечения. Говорили: «Как только посмотрел Ефрем Осипович больного, сейчас обратился к матушке: „Пошлите сейчас же, сударыня, — сказал он, — в москательную лавку за сассапарельным[1] корнем, да велите выбрать такой, чтобы давал пыль при разломе: сварить его надо также умеючи в закрытом и наглухо замазанном тестом горшке; парить его надо долго; велите также тотчас приготовить серную ванну"», — и так далее.

Конечно, такой рассказ, с вариациями, я должен был слышать неоднократно, а потому должен был и хорошо его запомнить.

Словом, впечатление, неоднократно повторенное и доставленное мне и глазами, и ушами, было так глубоко, что я после счастливого излечения брата попросил однажды кого-то из домашних лечь в кровать, а сам, приняв вид и осанку доктора, важно подошел к мнимоболь-

---

женный профессор. Учился (с 1786 г.) в Харьковском коллегиуме, работал в военных госпиталях на полях сражений; степень подлекаря получил в 1789 г., лекаря — в 1791 г. До университета Мухин преподавал в разных школах: адъюнкт-профессор патологии и терапии в хирургической школе при московском военном госпитале (с 1795 г.). С 1800 г. — «первенствующий доктор» Голицынской больницы. Тогда же защитил диссертацию на степень доктора. Преподавал медико-хирургические науки в Московской славяно-греко-латинской академии (1802—1807), был профессором анатомии и физиологии в московском отделении Медико-хирургической академии (1808—1818). 3 сентября 1813 г. назначен ординарным профессором в Московский университет, где в разное время преподавал: анатомию, физиологию, токсикологию, судебную медицину и медицинскую полицию. При Пирогове-студенте Мухин был деканом отделения врачебных наук (1821—1826) и бессменным заседателем университетского правления (1826—1830).

[1] Сассапарельный корень применялся при лечении застарелого ревматизма; растение семейства лилейных, произрастает в Центральной и Южной Америке.

ному, пощупал пульс, посмотрел на язык, дал какой-то совет, вероятно также о приготовлении декокта, распрощался и вышел преважно из комнаты.

Это я отчасти сам помню, отчасти же знаю по рассказам, но весьма отчетливо уже припоминаю весьма часто повторявшуюся впоследствии игру в лекаря; к повторению побуждали меня, вероятно, внимательность и удовольствие зрителей; под влиянием такого стимула я усовершенствовался и начал уже разыгрывать роль доктора, посадив и положив несколько особ, между прочими и кошку, переодетую в даму; переходя от одного мнимобольного к другому, я садился за стол, писал рецепты и толковал, как принимать лекарства. Не знаю, получил ли бы я такую охоту играть в лекаря, если бы, вместо весьма быстрого выздоровления, брат мой умер. Но счастливый успех, сопровождаемый эффектною обстановкою, возбудил в ребенке глубокое уважение к искусству, и я, с этим уважением именно к искусству, начал впоследствии уважать и науку.

Игра моя в лекаря не была детским паясничаньем и шутовством. В ней выражалось подражание уважаемому, и только как подражание она была забавна, да и то для других, а для меня более занимательна.

Не знаю, почему бы, в самом деле, уважение и возбуждаемый им интерес, привязанность и любовь к уважаемому предмету не могли быть мотивом детских игр, когда на нем основаны игры взрослых. Чему, как не этому мотиву, обязаны своим происхождением представления в лицах из жизни Спасителя у католиков, сцены из библейской истории на театре прошедших веков, и теперь еще разыгрываемые евреями в праздник Аммана?

Как бы то ни было, но игра в лекаря так полюбилась мне, что я не мог с нею расстаться и вступив (правда, еще ребенком) в университет.

Увидев случайно, в первый же год моего пребывания в университете, камнесечение в клинике, я на святках у одних знакомых вздумал потешить присутствующих молодых людей демонстрациею на одном из них виденной мною недавно операции; я достал где-то бычачий пузырь, положил в него кусок мела, привязал пузырь между ног, в промежности одного смиренника между гостями, пригласил его лечь на стол, раздвинув бедра, и, вооруженный ножом и каким-то еще, не помню, домашним инструментом, вырезал к общему удовольствию кусок мела с соблюдением Цельзова: tuto, cito et jucunde[1].

Я вступил в школу одиннадцати-двенадцати лет, зная хорошо только читать, писать, считать по 4-м первым правилам арифметики и кое-что переводить из латинской и французской хрестоматий; но я был бойкий, нeленивый и любивший ученье мальчик.

Родители, и именно мать моя, имели, судя по-нынешнему, более чем странное понятие о целях образования. Мать считала его необходимым в высшей степени для сыновей и вредным для дочерей. Мальчики, по

[1] Девиз Авла Цельза, римского ученого, врача и практического хирурга времен Тиберия и Нерона (I в. н. эры) делать операции: безопасно, быстро и приятно (лат.).

ее мнению, должны бы быть образованнее своих родителей, а девочки не должны были, по образованию, стоять выше своей матери; впоследствии она горько раскаивалась в своем заблуждении. Отдавая такое предпочтение мальчикам, родители не пожалели своих, в то время уже довольно ограниченных, средств для обучения нас двоих (меня и брата Амоса) в частных школах.

Меня отдали в частный пансион *Кряжева*[1], помещавшийся недалеко от нас, в том же приходе, в знакомом мне уже давно по наружности, большом деревянном доме с садом.

Как странна выдержка детских впечатлений! В эту минуту, когда я вспоминаю о пансионе Кряжева, неудержимо приходит на память и соседний домик дьякона, и алебастровая урна с воткнутым в нее цветком на окне мезонина, и дьякон Александр Алекс[еевич] *Величкин*, за обеднею, на амвоне, в башмаках и черных шелковых чулках. Он идет мимо меня с кадилом и щиплет меня мимоходом за щеку, а его племянник, студент-медик *Божанов*, выставляет на окне, к великому соблазну молельщиков, возле урны череп и кивает им, заставляя браниться и креститься проходящих в церковь и из церкви людей; вслед за этим тотчас же припоминается и старый, страдавший пляскою св. Витта, священник Троицы в Сыромятниках; он едва стоит, беспрестанно вздрагивает, что-то мычит про себя, а все служит и служит.

Почему и для чего уцелели все эти впечатления, да так, что воспоминание об одном неминуемо влечет за собою и целый ряд других? Отчего многое другое, несравненно более значительное по содержанию и следствиям, безвозвратно исчезло из хлама никому ненужных, пошлых впечатлений детства?

Но вот я представляюсь Василию Степановичу *Кряжеву*; предо мною стоит, как теперь вижу, небольшой, но плотный господин с красным, как пион, лицом; волоса с проседью; на большом, усаженном угрями, носе серебряные очки; из-под них смотрят на меня блестящие, умные, добрые, прекрасные глаза, и я люблю вместе с ними и это багровое, как пион, лицо, и белые руки, задававшие не раз пали моим рукам; слышу симпатичный, но пронзительный и сотрясающий детские сердца голос; и, слыша этот грозный некогда голос, вижу себя, как наяву, прыгающим по классному столу, под аплодисменты сидящих по обеим сторонам стола зрителей: это ученики, соскучившиеся ждать учителя; вижу — дверь разверзается, очки, красное лицо; несутся по классу приводя-

[1] В.С.Кряжев (1771—?) — занимал в ряду тогдашних московских педагогов видное место. Он хорошо знал английский, французский и немецкий языки; 20-летним юношей принял участие в журнале В.С.Подшивалова «Чтение для вкуса, разума и чувствования» (1791—1793); составил и издал несколько учебников по иностранным языкам, по коммерческим наукам; переводил книги по естествознанию. С 1803 г. был преподавателем, а затем директором Московского коммерческого училища. В июне 1811 г. Кряжев открыл в Москве «своекоштное отечественное училище», чтобы «доставить родителям средства воспитать детей их так, чтобы они могли быть способными для государственной службы». В этот пансион Пирогов вступил 5 февраля 1822 г. и пробыл в нем свыше двух лет.

щие в ужас звуки; я проваливаюсь чрез стол, и затем уже ничего не помню: пали линейкою и стояние на коленях без обеда сливаются в памяти с подобными же наказаниями за другие проступки.

Да, *В.С.Кряжев*, как я теперь понимаю, был замечательный педагог в свое время; энергический, но гуманный; он сек, и то только два раза в год, не более двух, уже известных нам, другим ученикам, своею склонностью к этого рода наказаниям; когда эти два искателя сильных ощущений вызывались из класса наверх к Василию Степановичу, мы знали уже, в чем дело, и, ухмыляясь или же скорчив серьезную мину, посматривали друг на друга.

Пали линейкою по ладоням, впрочем, в умеренных приемах, стояние на коленях, оставление без одного кушанья, редко без всего обеда, и, наконец, арест в классной комнате во время прогулок и игр в саду, – вот все наказания, которым мы подвергались, и я не помню ни разу, чтобы мы роптали на несправедливость или жестокость.

В.С.Кряжеву было уже за пятьдесят; женат был на немке таких же лет и бездетен. Жена его Анна Ивановна, с важною физиономиею, так же в серебряных очках, как и сам Кряжев, памятна мне по двум впечатлениям, сделанным на меня: во-первых, ее дебелыми и выставленными для лобызания руками; к ним прикладывались все мы ежедневно после обеда; а во-вторых, добродушною лаской, расточавшеюся этою почтенною дамою всем оставленным без прогулки или без обеда ученикам.

Анна Ивановна *Кряжева* считала себя неразлучною с пансионом особою. Шли ли мы на обед, или в церковь, Анна Ивановна была всегда тут как тут, вместе с мужем или одна.

Я был полупансионером и обедал в пансионе. Училище наше, верно, пользовалось порядочною репутациею в Москве; в нем учились дети значительных дворянских фамилий и богатых купцов. Я застал *Мельниковых* (братьев бывшего министра путей сообщения), *Ключарева*, князя *Волконского*. Облик всех их сохранился ясно в моей памяти, может быть, потому, что *Мельниковы* (из них один уже не учился, а только жил в пансионе) отличались от меня летами, – они уже были юноши лет шестнадцати-семнадцати, – занятиями и искусством танцевать матлот[1]; *Ключарев* – близорукостью и искусством рисовать головки; а *Волконский* – пажеским мундиром, в который он облекался в торжественные дни, и весьма интимным знакомством с незнакомыми мне вовсе розгами; не проходило месяца, в который бы он не призывался Васильем Степановичем наверх для экзекуции.

Наши учителя, сколько я могу судить теперь, были все очень порядочные люди, и за исключением священника и учителя рисования, какого-то Евграфа Степановича, – и порядочные педагоги. Сам Кряжев умел так учить, что некоторые его уроки мне и теперь еще памятны. Как будто слышу еще его декламацию из Лафонтена: «Triomphez, belle rose, vous montez seule les caresses de Zéphyr»[2].

---

[1] Матлот (франц. matelot матрос) – голландский матросский танец.
[2] Торжествуй, прекрасная роза; ты одна несешь ласки зефира (франц.).

Знания новых языков Василья Степановича были для нас предметом удивления; он издал учебники французского, немецкого, английского и едва ли еще не итальянского языков; сам преподавал нам эти языки, и я в течение года благодаря его урокам мог уже довольно свободно читать, то есть читать и понимать, неизбежного «Телемака»[1] и другие детские книги. Ученье немецкому языку шло как-то вяло; но все-таки я узнал его настолько, что кое-как, с грехом пополам и с помощью лексикона, мог добраться иногда до смысла и в немецкой книжке. И вдруг, при таком слабейшем знакомстве с языком, Бог знает, как и почему, заучилась и осталась с тех пор в памяти одна строфа из Шиллера: «So willst du treulos von mir scheiden», etc[2].

Странное дело! Я Шиллера читал в первый раз в Дерпте в 1830-х годах; в Московском университете я не читал ни одной немецкой книги, и когда поехал в Дерпт, то с трудом мог прочесть безошибочно несколько строк, а между тем, наверное знаю и помню, что, приехав в Дерпт, я знал наизусть семь, восемь этих стихов из Шиллера. Откуда взялась такая выскочка в памяти?

Учителя истории, географии и математики, братья *Терехины*, были, верно, не худые педагоги, если и то немногое, что я узнал от них в два года, не совсем еще вышло из памяти, несмотря на то, что целый десяток лет после выхода из училища я не брал в руки ни одной исторической и математической книги; а то, что я потом узнал самоучкою, резко могу еще и теперь отличить в моей памяти от моего школьного запаса; помню еще рассказы Терехина об Аннибале, Сципионе, о причинах второй пунической войны; до императоров я в пансионе не дошел, и познакомился с ними гораздо позже.

Из уроков математики *Терехина* сталось, правда, еще менее в моем запасе; но это потому, что в школе я был лучшим учеником истории и русской словесности, а не математики. Между тем едва ли у меня нет математической жилки; но она, мне кажется, развивалась медленно, с летами, и когда мне захотелось, и даже очень, знать математику, – было уже поздно.

Основываясь на собственном опыте и на многих других примерах, я считаю математику такою наукою, склонность и способность к которой не всегда, как полагают многие, развивается в ранних летах; ее изучение требует особого рода *внимательности*, слишком рассеянной у способных детей, и чем живее способный ребенок, чем более предметов, препятствующих сосредоточению его внимательности, тем легче можно ошибиться в диагнозе, не узнав вовремя и его способности к математике. Между тем, развить вовремя у способного ребенка математическую жилку важное дело, сильно влияющее на будущность.

Сколько я помню, мне особливо не нравился урок алгебры. И можно ли возбудить внимательность ребенка отвлеченным предметом, не

[1] «Приключения Телемака» – роман французского писателя и философа Ф.Фенелона (1651–1715).

[2] Ты хочешь изменнически расстаться со мною, и т.д. (нем.). Из стихотворения Ф.Шиллера «Идеал».

объяснив его значения и наглядного применения, да еще в науке, не допускающей воздействия на внимательность словом? Если бы меня не учили в одно и то же время и извлечению кубических корней, и алгебре, и геометрии, а заняли бы мое внимание постепенно одним предметом за другим, то я убежден, что из меня вышел бы неплохой математик, каков я есмь.

Геометрию я любил, но, усталый от непонятной алгебры, пропускал многое без внимания и на уроке геометрии; а то, что слушал со вниманием, удержал в памяти и до сих пор, и на вступительном экзамене в Московский университет получил даже от *Чумакова*[1], профессора математики, похвалу за то, что без доски, чертя рукою по воздуху, объяснил свойства параллельных линий и пифагоровых штанов.

В ученьи географии был в то время огромный пробел, сильно тормозивший распространение знаний о земле в учащемся поколении. Тормоз этот существовал еще и чрез тридцать лет после того, как я вышел из школы[2].

Физическая география, самая инструктивная и основная, как знание, была в полном пренебрежении со стороны учебного ведомства. В то время, когда еще читались и были в ходу такие книги, как «Разрушение Коперниковой системы» (изданное в Москве священником *Сокольским*), в школе мы получали какие-то отрывочные понятия о земном шаре, и никто из воспитателей не обращал нашего внимания на свод неба.

Я ни разу не помню, чтобы кто-нибудь в лунную и звездную ночь указал нам на небесный свод; самый земной шар, хотя и изображенный на классном глобусе, был для нас скорее чем-то отвлеченным, нежели наглядным. О немых картах, планетах и т.п. не было и помину.

Нельзя себе представить, с каким живым любопытством я чрез двадцать пять лет после моего выхода из школы в первый раз в жизни рассмотрел немые карты частей света и как новы показались мне представления земли от взгляда, брошенного на эти карты.

И долго еще и после того пригоднейшая для развития детского соображения и внимательности наука была еще в непонятном пренебрежении и забытьи.

Что, казалось бы, всего проще, естественнее и дельнее, как не обращение первого же внимания ребенка на обитаемую им местность, на кругозор, небесный свод, на то именно, что под ним, вокруг его и над ним; на настоящее, а не на прошедшее; между тем именно география позже всех других наук сделалась воспитательною. Это не даром – есть причина. Какая?

Начать с того, что география, в современном ее виде, наука относительно новая, а способы ее изучения почти новорожденные, тогда как

---

[1] Ф.И.Чумаков (1782–1837) – доктор математических наук с 1812 года, занимал кафедру прикладной математики Московского университета (1813–1832).

[2] Когда Пирогов был попечителем Одесского учебного округа (1856–1858), он представил в министерство просвещения записку о необходимости открыть при университетах кафедру географии. Эта наука должна, считал он, «связывать отдельные отрасли естествознания и служить основанием для изучения всеобщей истории и статистики».

другие предметы детского и школьного образования стары, и, за исключением немногих, ровесники европейской цивилизации.

Сверх того, математическая сторона географии требует некоторого уменья ориентироваться и представлять себе отношения различных величин и расстояний; а в раннем детстве, если и можно у ребенка развить эти способности, то не иначе, как, чересчур сосредоточивая его внимательность туда именно, куда она всего менее влечется.

Чувственная внимательность в раннем возрасте, сама по себе, вся обращена на ближайшие, окружающие ребенка, или кажущиеся ему близкими, предметы; а в то же время, развивающееся воображение привлекает ее в отдаленное пространство и время, то есть в недействительность; происходит нечто в роде антагонизма между двумя влечениями или токами внимательности. С одной стороны, глаз ребенка занят рассматриванием новых или привлекательных для него форм, цветов, движений, окружающих предметов; а с другой стороны, слово увлекает его в далекие страны и в давно прошедшие времена, вон из окружающей действительности. Слишком напрячь в одну сторону или сосредоточить внимательность в этом периоде развития значило бы насиловать ее и мешать нормальному ходу ее развития.

Слово с самых ранних лет оказывало на меня, как и на большую часть детей, сильное влияние; я уверен даже, что сохранившимися во мне до сих пор впечатлениями я гораздо более обязан слову, чем чувствам. Поэтому не мудрено, что я сохраняю почти в целости воспоминания об уроках русского языка нашего школьного учителя Войцеховича; у него я, ребенок двенадцати лет, занимался разбором од Державина, басен Крылова, Дмитриева, Хемницера, разных стихотворений Жуковского, Гнедича и Мерзлякова. О Пушкине в школах того времени, как видно, говорить не позволялось.

Войцехович умел отлично занимать нас рассказами из древней и русской истории, заставляя нас к следующему уроку написать, что слышали, и изложить свое мнение о герое рассказа, его действиях, характере и т.п. Ни на один урок я не шел так охотно, как в класс Войцеховича; в нем все было для меня привлекательно. Серьезный, задумчивый, высокий и несколько сутуловатый, с добрыми, голубыми глазами, Войцехович (кандидат Московского университета) одушевлялся на уроке так, что одушевлял и нас. Я был, судя по отличным отметкам, которые он мне всегда ставил в классном журнале на уроке, лучшим из его учеников и, должно быть, этим держал на карауле мою внимательность.

На уроках же Войцеховича я познакомился с «Письмами русского путешественника» и русскою историею *Карамзина* (тогда еще новинкою), «Пантеоном русской словесности»[1], и читал потом, во внеклассное время, с увлечением эти книги. Я могу сказать, что и русскую историю узнал почти впервые из уроков русского языка; особого преподавателя русской истории, сколько помню, не было в пансионе Кряжева.

[1] «Пантеон российских авторов» (биографии составил Н.М.Карамзин) издан впервые в 1801–1802 гг.

Наш славный, добрый *Войцехович*, должно быть, не уцелел; я его видел потом в университетской клинике с костоедою (вероятно, туберкулезною) тазобедренного сустава; посещением моим он был и тронут, и удивлен, услышав, что я пошел по медицинскому, а не по словесному факультету.

Но если я не могу равнодушно вспомнить о педагогических достоинствах Войцеховича и всегда с благодарностью произношу его имя, то так же неравнодушно, только с другой стороны, вспоминаю учителя латинского языка, попа, – имени не помню; за доброту и чрезмерную мягкость души, пожалуй, приличнее бы было его величать священником, но за ученье он не стоит названия и попа, а разве только попика. Это было какое-то вялое, безжизненное, хотя и добрейшее существо, средних лет и довольно благообразное в своей темно-лиловой шелковой рясе. Боже мой! Что это были за уроки! Если бы я сам, любя – почему? и сам не знаю – латинский язык, не занимался дома, не зубрил грамматики Кошанского, многого вовсе не понимал, и не переводил кое-чего из Корнелия Непота и латинской хрестоматии с помощью лексикона Фомы Розанова, то, верно, не знал бы и того немногого из латыни, с которым я поступил в Московский университет.

Между тем, к моему горю, я убежден, что мог бы быть порядочным латинистом; впоследствии, познакомившись несколько с римскими классиками, я один, без руководителя, с наслаждением читал их; не прощу, однако же, никогда ни попу-учителю, ни Горацию за труд, истраченный мною безуспешно в приисках сокровенного смысла его стихов.

Впрочем, к утешению моему, я убедился, что не меня одного ничему не научили попы; в Московском университете я встречал потом и старых семинаристов, не больше моего успевших в понимании Горация. Как пред собою вижу старого студента из семинаристов, медика *Тихомирова*, памятного для меня, тогда безусого мальчика, и по темно-синему цвету выбритых щек и подбородка; я, шестнадцатилетний мальчишка, вздумал составлять по каким-то старым книгам руководство к химии для студентов и, написав предисловие, показал его другому товарищу-студенту; тот, как видно, быв гораздо умнее меня, написал на заглавном листе моей рукописи: «Nonum prematur in annum. Horat.»[1]; только промахнулся на орфографии и вместо annum хватил anum[2]. Прочитав это, я погрузился в размышление: что сей сон значит, и приглашаю на совет старого *Тихомирова*; он, читая, также погружается в раздумье.

«Знаете, – говорит мне, – ведь это неловко, сально выходит: prematur, знаете, прижимается как бы или втискивается что ли, а потом in anum; это, это – сально; не обращайтесь с этим господином; он должен быть свинья».

Так мы и не разобрали Горация, и только чрез несколько дней после этого происшествия я раскусил в чем дело и поблагодарил благоразум-

---

[1] И пусть хранится до девятого года. Гораций (лат.).

[2] Анальное отверстие (лат.).

ного, хотя и незнакомого с римскою орфографиею, товарища за добрый совет.

Казалось бы, каждый учитель, прошедший сам школу, должен и по себе знать, как долго, на целую жизнь нередко, остаются в памяти добрые и худые дела наставников; а между тем большей части наставников от этого ни тепло, ни холодно, и такие попы, как мой школьный учитель латыни, и теперь еще не редкость.

Про Закон Божий я и не говорю; уже, конечно, не катехизисом и не священною историею, в ее школьном наряде, мог он привлечь мое внимание, когда не умел этого сделать классицизмом.

Из этого обзора моих школьных занятий я заключаю, что первоначальное мое учение не основывалось ни на каком принципе; оно не было ни классическим, ни реальным. Всего более знания я вынес по двум языкам: русскому и французскому; на обоих мог я читать и понимать читанное, мог и писать. К нашему позору, нас учили также и говорить по-французски, давая марки, оставляя без одного кушанья и без гулянья за несоблюдение правила говорить вне классов между собою по-французски.

Да, я считаю позором для нас, русских, что наши родители, воспитатели и само правительство поощряли эту паскудную, пошлую и вредную меру. Говорить детям и недетям одной народности между собою на иностранном языке без всякой необходимости, для какого-то бесцельного упражнения для упражнения, – это, по-моему, верх нелепости и, главное, нелепости вредной, мешающей развитию и мысли, и отечественного языка. Много я думал об этом при воспитании моих детей; я имел средства воспитать их в упражнениях на французском диалекте, и, вероятно, этим повлиял бы благотворно на их будущую карьеру в нашем обществе; но я не мог преодолеть в себе отвращения от этого нелепого способа образования детей. Мыслить на двух и трех языках, и даже мыслить на винегрете из трех языков, каждому из нас возможно; но, чтобы мыслить всесторонне, ясно и отчетливо на чужом языке, нужно знать его с пеленок, точно так же, как свой родной, и, пожалуй, лучше своего, или же изучить этот чужой язык глубоко, как изучит его тот, кто видит в нем единственное средство к приобретению какого-нибудь знания или к достижению какой-либо цели жизни.

Так, два и три языка делаются родными для жителей пограничных провинций, для детей смешанных браков; а из обитателей окраин современные евреи мыслят и говорят на какой-то смеси семитического и двух или трех арийских наречий.

Так, в прошлых веках, все почти ученые и передовые люди разных наций, изучившие глубоко латинский язык, и мыслили на нем, и писали, и говорили между собою.

Русские дети не подходят ни под одно из таких условий; все почти учатся разговорному чужому языку в пяти-восьмилетнем возрасте у бонн, гувернанток и гувернеров. Между тем еще задолго до этого возраста, как только ребенок начинает лепетать, родное слово вступает в неразрывную связь с племенною мыслью (о наследстве в юности кото-

рой едва ли можно сомневаться). Возможно ли же чужому слову нарушать это право родного языка без вреда для процесса мышления и не нарушая его нормального развития?

Вред состоит в том, что внимательность ребенка вместо того, чтобы постепенно углубляться и сосредоточиваться на содержании предметов и тем служить к развитию процесса мышления, остается на поверхности, занимаясь новыми именами знакомых уже предметов.

Таким образом, стараясь сделать для детей язык своим или почти родным, мы в большей части случаев достигаем одного из двух результатов. Или ребенок, излагая что-либо на чужом языке, будет только приискивать слышанные и затверженные им иностранные слова и фразы для замены ими слов и выражений родного языка; в этом случае внимательность ребенка привыкает останавливаться на одном внешнем, на форме слова, и оставляет содержание в стороне, нетронутым; впоследствии это направление внимательности может сделаться привычным, а мышление – поверхностным и односторонним. Или же ребенок действительно начнет думать не на одном своем, а на разных языках, но на каждом из них в большей части случаев кругозор мышления едва ли может быть всесторонним и неограниченным.

Только гениальные люди, и то в исключительных случаях, могли мыслить и излагать свои мысли о различных предметах знания на чужом языке так же полно, так же глубокомысленно и ясно, как и на своем родном.

Но и даровитые люди, изучавшие с малолетства практически и научно французский язык, думали и писали на нем, как на родном, только в известном ограниченном круге мышления. *Пушкин*, например, писавший и говоривший по-французски не хуже природного француза, был бы, верно, плохим французским поэтом.

Бисмарк при мне говорил, что ему так же легко написать дипломатическую ноту по-французски, как и по-немецки, хотя ему легче говорить и писать на родном языке. И про себя я знаю, что во время моей профессуры в Дерпте мне легче было читать и писать о научных (медицинских) предметах по-немецки, чем по-русски; читая и пиша, и я думал по-немецки; немцам, читавшим писанные мною лекции, приходилось исправлять весьма немного, только некоторые падежи и незначительные слова, – между тем говорить и писать по-немецки о других предметах я мог не иначе, как переводя с русского на немецкий язык.

Я полагаю, что такой степени знания иностранного языка совершенно достаточно для каждого, видящего в языкознании лишь одно научное средство к обладанию знанием самого предмета. Достигнуть же этой степени знания языка можно и не рискуя нарушить у ребенка нормальный ход развития внимательности и мышления. Я вынес из школы только одну немецкую грамоту, да и то произношение мое было чересчур неправильно, и, несмотря на это, начав учиться по-немецки, уже быв лекарем в семнадцать лет, я в течение пяти лет мог уже читать, говорить и писать по-немецки весьма порядочно.

И я остаюсь убежденным в том, что наш обычный способ обучения малолеток, едва не грудных младенцев, французскому и английскому языкам, нелеп; он позорит национальное чувство, нисколько не содействуя к распространению научных знаний и к расширению мыслительного кругозора в нашем отечестве. Этот способ можно бы было предоставить только одним, готовящимся с пеленок вступать в ряды известного рода специалистов (дипломатов, драгоманов[1], посланников и царедворцев).

Можно ли ждать быстрого прогресса в развитии родного языка, племенной мысли, науки и искусства в стране, где около трона, в высших кругах, в салонах, детских, будуарах[2], слышится говор туземцев на чуждом им языке, и где знание его сделалось не средством, а целью образования?

Это превращение временного средства в конечную цель лишило нас научной и классической литературы, послужив вместе с тем препятствием распространению охоты к чтению на русском языке. Научались европейским языкам с малолетства только в верхних слоях общества и только для себя, для своего круга, для салона, для карьеры, так как знание иностранного языка было вывескою образования; а кто из этого класса хотел читать, тому, конечно, не нужны были книги на русском языке. А когда к образованию начали стремиться и низшие общественные слои, не имевшие возможности познакомиться с европейскими языками в детстве, то нечего было читать; научная и классическая литература не существовала на русском языке; в ней не было надобности высшим классам, людям породы белой кости.

И вот культурная часть нашего общества распалась на два слоя: верхний, обладавший всеми средствами к прочному образованию, но по своему рождению, положению, предрассудкам и т.п. не призванный к серьезному научному труду, не нуждающийся ни в отечественно-научной литературе, ни в переводе на русский классических произведений других народов; другой слой, нижний, почти целиком составился из пролетариата; без знания европейских языков, без всяких средств, после нелепой школьной подготовки вступала молодежь этого слоя в высшие учебные заведения, и, желая научиться, для изучения какого бы то ни было предмета, не находила ни одного порядочного руководства на русском языке. Но на эту тему мне придется еще говорить потом немало.

Впрочем, и то сказать, – виновато в нелепостях наших систем образования не столько общество, сколько внешние обстоятельства при высших соображениях, а чаще, кажется, при недостатке и даже полном отсутствии здравого смысла.

Сверх многих незнаний я вынес из школы и еще одно, благодаря Бога, не повредившее мне в жизни; это было незнание танцевального искусства. В мое оправдание я скажу, что если бы наш танцмейстер

---

[1] Драгоман (франц. dragoman) – переводчик при дипломатических представительствах и консульствах стран Востока.

[2] Здесь в рукописи еще: «говорят на чуждых языках или на смеси разных наречий и, довольствуясь знанием чужих языков, не заботятся» (зачеркнуто).

Лилеев и наш учитель-поп переменились своими ролями, то я, верно бы, умел и танцевать, и переводить Горация, вступая в Московский университет. Хотя для обучения латинскому языку и не требовались толстые ляжки и икры Лилеева, а для танцев лиловая ряса попа не только не была нужна, но даже препятствовала бы движению ног в антраша и матлоте, я убежден, однако же, что строгая выдержка, систематическая, чисто научная, последовательность и энергия, которые наш танцмейстер прилагал к обучению нас в искусстве делать разные па, произвели бы на меня совершенно другое действие, если бы были применены к урокам латинского языка. И, наоборот, если бы в танцевальном классе, где свирепствовал *Лилеев*, предо мною явился наш тихий и мягкосердечный попик, я не бегал бы и не скрывался от танцевальных уроков, как от грозы небесной.

Таким я остался и до сих пор [1881 г.], что не могу смотреть на предметы забавы и рассеяния как на серьезные дела. Поэтому, верно, я не учился играть в шахматы и в карты. Карт, исключая игры в мельники и дурачки (в мельники я играл некогда, именно в студенческие годы, в Дерпте, в семействе *Мойера*[1]), с энтузиазмом и мастерски, я избегал и по другой причине.

Когда за гробом отца я шел с старшим братом[2], то он, со слезами на глазах, глубоко взволнованный, схватил меня за руку и сказал: «Слушай, Николай, клянись мне на гробе отца, что не будешь никогда играть в карты! Они погубили меня».

Я поклялся, и всю жизнь мою ни разу не садился играть ни в какую денежную или азартную игру, и ни одной из них не знаю; в дураки же и мельники я умел играть еще в детстве.

Во время моего двухлетнего школьного учения на нашем семействе стряслась не одна беда.

Сначала умерла после родов старшая замужняя сестра, потом через год умер в кори мой брат Амос; другой старший брат, Петр, что-то накуролесил по службе, проигравшись в карты, женился на какой-то невзрачной особе без позволения отца. Наконец, пришла беда, вконец разорившая нас.

Отец мой, несмотря на свою службу в комиссариатском военном ведомстве, наверное не брал взяток. Он получал хороший доход от частных дел, которые он умел, как я слыхал потом, вести хорошо.

Существование наше до стрясшихся над нами бед было вполне обеспеченное, но кутежи, мотовство и растрата казенных денег братом стоили отцу немало денег и забот, а тут вдруг, нежданно-негаданно, падает, как снег, на его озабоченную голову воровство комиссионера *Иванова*, отправленного куда-то на Кавказ с поручением отвезти туда 30000 рублей. Иванов исчезает с деньгами, и не знаю на каком основании, присуждается казначей, мой отец, к взносу значительной части этой сум-

[1] И.Ф.Мойер (1786–1856) – возглавлял кафедру хирургии Дерптского университета с 1815 по 1836 г., наставник Пирогова.

[2] Старший брат Пирогова – Петр Иванович (1794–1849).

мы. Было ли тут со стороны отца какое упущение или несоблюдение формальностей – до меня не дошло, но помню, что отец горько жаловался на несправедливость. В конце концов пришлось уплатить, а для этого пришли описывать все имение и все наличное в казну; описали дом, мебель, платье; помню, как матушка и сестры плакали, укладывая в сундуки разный хлам.

После этой катастрофы отец вышел в отставку, занялся исключительно частными делами по имениям; но прежняя энергия уже не возвращалась; пришлось войти в долги, и в перспективе открывалась бедность; только с трудом хватало средств на мое образование, и мне приходилось скоро оставить школу.

Нравственность моя много потерпела во время этих бед.

Как ни любила меня семья, но, расстроенная и горемычная, она не могла уследить за поведением живого, резвого и нервного мальчика; к тому же это была пора рановременного развития моих половых отправлений; меня начали интересовать портреты женщин, описываемые в повестях и романах, картинки с изображением женских прелестей; а тут подвернулся еще молодой писарь отца, как видно обожатель женского пола, для обольщения которого он пускал в ход гитару с припевом: «Взвейся, выше понесися, сизокрылый голубок». Имя этой твари – *Огарков* – сохранилось в моей памяти до сегодня; оно пережило и те скверные впечатления, которыми он развращал меня; рассказы его интересовали меня новизною содержания, и я искал случая поговорить с ним наедине. Каких сальностей ни наслышался я от этого пошляка! Чего не показывал он мне: и табакерки с сальными изображениями в середине, под крышкою, и различные изображения половых частей и свои собственные половые органы.

В школе, которую я в то же время посещал, шли нередко во внеклассные часы разговоры такого же рода; мы, мальчишки, толковали о прелестях девушек, виденных нами в церкви, в гостях, пересказывали о занятиях и свойствах своих сестер; сообщались и более глубокие сведения о различии полов; оказывалось, что каждый из нас, учеников, успел уже приобрести дома порядочный запас сальных сведений, которые и сообщал охотно и, сколько можно, наглядно своим товарищам.

Казалось бы, что, воспитанный в доме весьма набожной семьи, я должен был найти в религии сильный внутренний оплот против напора внешних развращающих меня побуждений. Но, во-первых, я сказал уже, что эти внешние побуждения совпали с ранним развитием половых инстинктов. Что же касается до религиозного влияния, то оно было sui generis. Это важнейшая статья в моей жизни.

Последователи *Галловой* краниоскопии[1], верно, нашли бы у меня немало развитым орган теософии.

[1] Галлова краниоскопия – учение Ф.И.Галля (1758–1828) о соотношении между наружной поверхностью черепа и психическими свойствами человека. Краниоскопия (гр. kranion череп + гр. skopeō смотрю, рассматриваю, наблюдаю) – визуальное наблюдение черепа.

Мои религиозные убеждения имели несколько фазисов, и каждый из них совпадал с известным возрастом и с нравственными и житейскими переворотами. Но не буду забегать вперед и остановлюсь сначала на моей религии при вступлении в юношеский возраст (от двенадцати до четырнадцати лет), еще живо сохранившейся в моей памяти.

Я сказал, что вся наша семья была набожна, и все ее члены, за исключением меня (а может быть, и старшего брата, умершего пятидесяти лет от холеры, в 1849 г.), – отец, мать и сестры – такими же набожными остались и до самой смерти.

Покойница-матушка, умирая в 1851 году на моих руках, соборовалась перед смертью, и последние ее слова были: «Верно, я страшная грешница, что так долго мучаюсь пред смертию»; сказав это, она издала последний вздох и скончалась.

И отец, и мать проводили целые часы за молитвою, читая по Требнику, Псалтырю, Часовнику и т.п. положенные молитвы, псалмы, акафисты и каноны; не пропускалась ни одна заутреня, всенощная и обедня в праздничные дни. Я должен был строго исполнять то же.

Я помню, какого труда мне стоило осилить акафист Иисусу Сладчайшему; помню, как непонятным, но неизбежно необходимым представлялось мне чтение: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и, живый в помощи Вышняго, в крове (я читал: в крови) Бога небеснаго водворится».

Помню, как меня, полусонного, заспанного, одевали и водили к заутреням; не раз от усталости и ладанного чада в церкви у меня кружилась голова, и меня выводили на свежий воздух.

О соблюдении постов и постных недельных дней и говорить нечего. Чистый понедельник, сочельники, Великий Пяток считались такими днями, в которые не только есть, но и подумать о чем-нибудь не очень постном считалось уже грехом. Мяса в Великий пост не получала даже и моя любимица кошка Машка.

Евангелие в зеленом бархатном переплете с изображениями на эмали четырех евангелистов, закрытое серебряными застежками, стояло пред кивотом с образами. Мне его не читали ни дома, ни в школе. Иногда только я видал отца, читавшим из Евангелия во время молитвы, но потом оно закрывалось, целовалось и ставилось снова под образа.

Упражняясь ежедневно в чтении Часовника за молитвою, я знал наизусть много молитв и псалмов, нимало не заботясь о содержании заученного. Значение славянских слов мне иногда объяснялось; но и в школе от самого законоучителя я не узнал настолько, чтобы понять вполне смысл литургии, молитв и т.п. Заповеди, символ веры, «Отче наш», катехизис, – все это заучивалось наизусть, а комментарии законоучителя хотя и выслушивались, но считались чем-то не идущим прямо к делу и несущественным. С раннего детства внушено было убеждение другого рода.

Слова молитв, так же как и слова Евангелия, слышавшиеся в церкви, считались сами по себе, как слова, святыми и исполненными благодати Святого Духа; большим грехом считалось переложить их и заменить другими; дух старообрядчества, только уже никоновского старообрядчества, был господствующим. Самые слухи о переложении святых книг или молитв на общепонятный русский язык многими принимались за греховное наваждение.

И вот, воспитанный в таком религиозном направлении, я до четырнадцати лет не слыхал положительно ничего вольнодумного; только однажды, помню, *В.С.Кряжев* сказал нам в классе, что Апокалипсис есть произведение поэта и не может считаться священною книгою.

Несмотря, однако же, на мое, вселенное во мне с колыбели, благочестие, несмотря на набожность родителей и примерно хорошие отношения ко мне всей семьи, я все-таки успел научиться в последние два года (от двенадцати до четырнадцати) таким вещам, которые, казалось бы, должны были возбудить во мне отвращение, а не любопытство. Ведь не притворялся же я, совершая ежедневно умиленные молитвы, не смея и подумать о чем противном нашей обрядной вере и церкви! Нет, это было, я помню наверное, самое искреннее и глубокое уважение ко всем таинствам веры и непритворное внешнее богопочитание. И в те же самые дни, когда я утром и вечером горячо молился пред иконами, клал земные поклоны и просил избавления от лукавого, этот бесшабашный господин увлекал меня слушать мерзкие повествования писаря *Огаркова* и похабные песни кучера Семена, не вытирающиеся, как глубоко въевшаяся грязь, еще до сих пор из моей памяти.

Какое же заключение можно сделать из таких психических странностей?

Ум простой, практический, народный, ищущий причину вблизи действия и факта, объяснит легко этого рода странности. Он найдет их причину во зле, залезающем в нас откуда-то извне или же родящемся вместе с нами; а самое это зло тотчас же олицетворит, сделает летучим или ползучим существом, сидящим, например, сроду на левом плече ребенка и нашептывающим ему разные пакости. Ум поповский объяснит это, ссылаясь на непреложный для него авторитет, допотопным происшествием, случившимся у древа познания добра и зла, что, в сущности, выйдет одно и то же, только в другом виде, на прирожденное нам и извне, когда-то, взошедшее в нас зло.

Я полагаю, что основанием всех этих объяснений служит всеми нами и каждым из нас испытанное и постоянно испытываемое *ощущение*.

Как скоро я моим действием и даже мыслью выхожу из обыкновенной колеи, удовлетворяя какому-либо минутному влечению или всецело поддаваясь ему, это влечение производит на меня ощущение чего-то внешнего, не моего, и меня более или менее, хотя бы и не без наслаждения, насилующего. Немудрено, что на первых порах каждому, не отдавшемуся всецело этим влечениям, они кажутся посторонними, извне действующими силами и существами; нетрудно потом фантазии придать им и страшный, хотя бы и все-таки человеческий вид или хотя

какое-нибудь человеческое свойство, и это, вероятно, потому, что мы, и обманутые ощущением внешности, не перестаем все-таки чувствовать его и внутри себя. «Я не хочу делать зло и делаю его», — сказал бывший талмудист, а потом вдохновенный апостол; а кучер Николай, убивший корчмаря-еврея в Виннице, на вопрос аптекаря *Якубовского* (знавшего этого Николая давно за человека доброго и смирного) как это могло случиться? отвечал: «Черт попутал; больше ничего, как один черт; ничего другого не знаю».

И действительно, все уверяли, что кучер Николай никогда не был ни пьяницею, ни вором, служил у одного хозяина долго и честно, в деньгах не нуждался, и вдруг, ни с того, ни с сего, ночью пошел на край города в корчму, убил, взял несколько рублей из корчмы и ушел.

Эта тяга, влекущая нас к выходу из обыкновенной, проложенной нами самими или другими для нас колеи, есть, по-моему, чисто органическая, и когда результатом этой тяги бывает зло, то и зло такое проявится также на почве органической. В таком случае воспитанию приходится вести борьбу с организмом. До поры и до времени борьба эта может вестись весьма удачно; нередко воспитатель поздравляет уже себя с благополучным окончанием своей задачи, как вдруг, неожиданно, случается катастрофа.

Органические влечения, дремавшие в полуразвитых органах, пробуждаясь, заявляют о себе как будто случайно, при самых незначительных обстоятельствах...

Но, может быть, именно то религиозное направление, в котором я воспитывался, не в состоянии было предотвратить зло, нанесенное моей нравственности извне; может быть, другое религиозное направление, менее обрядное и более задушевное, отстранило бы от меня искушение и одержало бы верх над развившеюся чувственностью?

Не думаю.

Религия, и именно религия христианская, влияет на нравственность детей только двумя путями: вселяя в ребенка искреннюю любовь к Богу, страх Божий. Я не помню, как и в какой степени вселяли в меня любовь к Богу, и уверен, что развитие этого благодатного чувства в душе ребенка не зависит от догматов и исповедания той или другой религии.

Но если несомненно, что начало премудрости есть страх Господень, то, несомненно, и то, что это начало мне было сообщено.

Я почитал и боялся.

Но, конечно, в моем понятии Бог, церковь, таинства, служители церкви и обряды составляли нераздельное целое. Полагаю, что понятие о Боге и у детей других исповеданий не яснее моих бывших.

Я помню еще до сих пор, с каким страхом и трепетом я, рыдая, просил однажды прощения у Бога за то, что, по уверению старшей моей сестры, оскорбил Его, отозвавшись ей, не помню в каких выражениях, о замеченном мною вкусе причастия Св. Тайн после приобщения. Как ни внешне было мое богопочитание, но оно, несомненно, наполняло мою ребяческую душонку священным трепетом, шедшим из глубины ее самой.

Из биографий итальянских разбойников довольно известно, как глубокое и, конечно, своеобразное богопочитание уживается в душе с самым жестоким зверством и гнуснейшими пороками. Не странно после этого, что и у ребенка, каким я был лет почти шестьдесят тому назад, религиозное, весьма развитое, чувство не помешало разной нечисти пробраться в душу и загрязнить ее прежде, чем она окрепла.

Решителями судеб в нашем воспитании являются, как я убедился из опыта, индивидуальность и жизнь.

Только то воспитание сулит наиболее шансов на успех, в котором воспитатели сумеют приспособиться к индивидуальности своих воспитанников и ее приспособить к жизни.

Но жизнь не осилишь, а от воспитателя нельзя требовать, чтобы каждый из них, по призванию и поневоле, опытный и неопытный, умный и глупый, вникал и досконально разузнавал все особенности каждой воспитываемой им особи.

Поэтому и остается только одно наиболее надежное средство к достижению цели воспитания – это приспособление его не к личной, а к племенной, расовой или народной особенности (племенной индивидуальности).

Кто сумеет это сделать, тому и книга в руки. И это дело нелегкое, но все же гораздо возможнее приспособления воспитания каждой особи.

Такой взгляд нисколько не противоречит, как я покажу, моему высшему, общечеловеческому идеалу воспитания. На эту тему придется мне говорить потом; теперь же я ее покуда оставляю и займусь предметом, гораздо глубже касающимся меня.

Я сказал уже, кажется, что мои религиозные убеждения не оставались в течение моей жизни одними и теми же. И вот, для уяснения себе всего процесса развития этих убеждений я должен себе ясно представить его крайние фазисы; я припомнил уже, кажется, все, что знаю о первоначальном периоде моих верований; теперь исповедуюсь у самого себя и уясню себе, во что и как я верую в настоящую минуту моего бытия.

После этого изложения, надеюсь, мне разъяснится, какими путями дошел я до настоящего моего верования и каким колебаниям и переворотам подвергались мои религиозные убеждения в разные времена моей жизни.

После смерти знаменитого Иоганна *Мюллера* (берлинского физиолога) носились слухи, что он лишил себя жизни, приняв яд, и причину самоубийства приписывали какому-то сделанному открытию в области низших организмов, поколебавшему будто бы его религиозные убеждения.

Иоганн *Мюллер* был ревностный католик (как это я узнал от моего старого приятеля, Карла *Липгардта*, беседовавшего нередко с Мюллером). Биограф его, *Дюбуа-Реймон*, опровергает верность слуха о самоубийстве. Но верен ли был или неверен этот слух, он доказывает, какое огромное значение придает все культурное общество верованиям и таких ученых, специальность которых не имеет ничего общего с церковными догматами.

И действительно, каким бы предметом ни занимался человек науки, все знают, что он никак не отделается от назойливого вопроса: во что он верит, а этот вопрос самый главный: согласны ли его верования с убеждениями, добытыми им путем науки?

В отношении религиозных убеждений можно разделить всех людей науки на три категории: к одной принадлежат люди, как покойный Рудольф *Вагнер*[1] (физиолог, споривший с Карлом Фохтом[2]), в науке скептики, в деле веры искренно верующие прихожане приходских церквей; такие встречаются и между католиками, и между протестантами, и православными. Были знаменитые математики из иезуитов и таких искренне верующих католиков, которые вполне были убеждены, что Пресвятая Дева помогала им в разрешении трудных задач и к изобретению новых гениальных формул.

К другой категории принадлежат ученые, старающиеся примирить свои научные убеждения с религиозными; когда же они не достигают такого примирения, то переходят в третий лагерь – ни во что не верующих, охотно открывающий к себе доступ и только что сошедшим со школьной скамьи.

И вот, я полагаю, что каждый человек науки, и тем более, конечно, и автобиограф, обязан прежде всего решить чистосердечно главный вопрос жизни: к которой из трех категорий он причисляет себя, во что он *верует* и что *признает*? Но, задавая себе этот вопрос, не надо робеть пред собою, вилять хвостом и пятиться назад и отвечать самому себе двусмысленно.

Вилянье, нерешительность и неоткровенность непременно приведут к пагубному разладу с самим собою, к несогласию действий с убеждениями, упрекам совести и к самоубийству, нравственному и физическому. И, прежде всего этот вопрос требует, чтобы его всякий для себя решил ab ovo; уяснил бы себе предварительно самую суть дела, а это значит – ответил бы себе прямо и откровенно: верует ли он в Бога и признает ли Его существование?

С церковной точки зрения этот вопрос, конечно, дерзновенный; но в переживаемое нами время и церковь, и государство, и общество должны мириться в собственных интересах, как с дерзостью вопроса, так и с откровенностью ответа.

Было время, когда вопрос о существовании Бога решался в Гостином Дворе при встрече двух знакомых:

– Слышали ли, Петр Иванович, что Бога нет?

– Что вы! Как это можно?

– Говорю вам, что нет: мне Иван Иванович сказывал вчера.

Это было, кажется, в фонвизинские времена, а то и не так давно (в 1850-х годах) задавали такого рода вопросы ученикам (я сам это слы-

[1] Р.Вагнер (1805–1864) – знаменитый немецкий физиолог и естественник. К спору Вагнера с Фохтом дали повод некоторые работы Вагнера с сильно выраженной спиритуалистической тенденцией.

[2] К.Фохт (1817–1875) – немецкий естествоиспытатель и философ, представитель вульгарного материализма.

шал в фельдшерской школе Второго сухопутного госпиталя в Петербурге): «А почем ты знаешь, что Бог есть?» – и получали не менее умный ответ: «Так стоит, написано в катехизисе».

Во времена, когда возможны бывают такие проявления грубого кощунства в разных слоях общества, конечно, находят, пожалуй, еще оправдание и запретительные меры против соблазна. Культурное общество не может допускать бесцеремонного обращения ни с кем и в особенности с Богом.

Другое дело – область современной науки; тут не может быть речи о грубости нравов, неуважения к святыне, а потому в этой области никакие церковные и государственные запрещения не должны, да и не могут, нарушать свободу совести, мысли и научного расследования. Церковь – паству, а государство – современное общество могут оберегать от излишков и злоупотреблений свободомыслия только нравственными мерами. Это указывают знамения времени. Свободомыслие никогда не следует одному направлению, и свободомыслящие люди науки всегда будут разделены на несколько разных лагерей, а потому они не столько опасны, как насилие и произвол мер, могущие только соединить разномыслящих и сделать пропаганду мнений более влиятельною.

Итак, с Богом – о Боге.

Хотя это был великий язычник, der grosse Heide (как называли Гете), сказавший, что он говорит о Боге только с Богом, но я, и христианин, следую его мудрому правилу и избегаю распространяться о моих задушевных верованиях и убеждениях даже и с близкими ко мне людьми: святое – святым.

Из моего мировоззрения, откровенно изложенного в этом дневнике, я заключаю, что существование Верховного Разума, а, следовательно, и Верховной Творческой Воли, я считаю необходимым и неминуемым (роковым) требованием (постулатом) моего собственного разума, так что если бы я и хотел теперь не признавать существования Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума.

К такому твердому убеждению пришел мой семидесятилетний ум после разных блужданий, доходивших до полного отрицания.

Другой старческий ум, но иного полета и высшего разряда, сильно волновавший мою раннюю юность, утверждал, что нужно было бы выдумать или изобрести Бога, если бы Он не существовал[1].

Несмотря на мое прежнее пристрастие и уважение к талантам этого старца, мне все-таки было бы жаль согласиться с ним и признать какое-либо сходство наших убеждений и верований.

Он принимал свой взгляд обязательным для всего образованного света; его *«выдумать, изобрести»* и его *«если бы»* предполагают не только возможность, но даже некоторую вероятность несуществования Бога. Я не навязываю никому моего убеждения, выработанного не без труда в ограниченном складе моего ума. Я говорю также: *если бы*, но мое *«если бы»* предполагает не возможность несуществования Бога, а только возможность моего сумасбродства.

---

[1] Имеется в виду Вольтер.

Воля и хотение нередко бывают безумны. Но как могло придти мне на мысль выражение ставить себя, свой образ мыслей и выражений, в параллель с изречениями властителя дум прошлого столетия? Это я делаю потому, что понятие о Боге не признаю специальностью мудрецов века, а считаю неотъемлемою и самой дорогою собственностью каждого мыслящего человека.

То, что называется свободою ума и мысли, не есть какой-то бесшабашный и беззаконный произвол. Ум всегда должен на чем-нибудь останавливаться и находить точку опоры; его станции, может быть (не знаю наверное), и беспредельны, то есть могут переноситься в безграничных пределах, но все-таки будут для ума современного (существующего в известное определенное время) предельными.

Но эта конституция ума не в силах уничтожить в нем стремление в безвыходную беспредельность, и вот он сам, управляемый своим habeas corpus[1], должен сам же следить за его исполнением, обуздывая свое стремление к беспредельной свободе; оно так сильно, что в переживаемое нами время я слыхал от молодых людей даже вопросы в роде следующего: «А почему мне необходимо принимать, что дважды два – четыре? Почему я не свободен думать иначе?» И это не в шутку.

Опыт жизни и примеры большинства обуздывают в единичных случаях разгул мнимо-беззаконной свободы ума; но периодически эта тяга к безвыходному положению с непреодолимою силою увлекает умы целого общества.

Действие конституции нашего ума и его стремления находить новые исходные или опорные точки, то есть стремиться все далее и далее в беспредельность, всего яснее проявляются в решении главных вопросов жизни. Смотря по тому, которое из двух направлений берет перевес, и главный вопрос жизни, вопрос о Боге, решается умом (умом – не верою. – Nota bene!) различно.

Ум конституционный, ищущий постоянно исходных точек и несклонный блуждать в беспредельности, приходит скоро к решению; для этого он находит исходную точку в самом себе, переносит ее вне себя, в самую беспредельность, но, не оставляя своей опоры, останавливается nec plus ultra[2]. Где приходится остановиться, ближе или дальше от себя, это будет зависеть от склада конституционного ума, насколько этот склад допустит развиться стремлению ума в беспредельность.

Ум конституционный и положительный может быть только деистом и пантеистом. И тот, и другой свою исходную точку находят в творческой силе, но один переносит ее вне мира, а другой – в самый мир.

Ум, *по-видимому*, не менее положительный, может останавливаться и ближе, приняв самую вселенную за Бога; в сущности это было бы колебание между пантеизмом и атеизмом, между желаниями остано-

---

[1] Предъявить личность [для судебного разбирательства] (лат.). Начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого парламентом Великобритании в XVII веке.

[2] У крайней черты (франц.).

виться и блуждать в безвыходном хаосе. Между тем такое мировоззрение весьма заманчиво для юного ума.

Я расскажу впоследствии, как некогда я сам был поборником этого воззрения; современная *философия бессознательного* (которой я, признаюсь, не читал), вероятно, бессознательный творческий мировой ум (или мировую жизнь) полагает также в самую вселенную. Для чего, — думалось мне во времена оны, — служит предположение о существовании Бога? Что объясняется Им в мироздании? Разве материя не может и не должна быть вечной? К чему же лишний ипотез[1], ничего не объясняющий?

Мне было 25 лет, когда эти назойливые вопросы волновали меня и, скажу в мое оправдание, навязались ко мне malgré moi[2], а я в то время был отчаянным специалистом моей науки.

Но лета, а с ними и другой образ жизни, и другие, как я уверен, более прочные думы убедили меня в полной неосновательности этого мировоззрения и наносимом им (рефлективном) вреде самому уму. Если и всякое размышление требует исходных точек, то при размышлении о предметах отвлеченных, ум, не находящий нигде самой крайней и, так сказать, неприступной опоры, не может сделать ни шагу вперед, не подвергаясь опасности потерять ее и заблудиться.

Основать же точку опоры на *вселенной* — значит строить здание на песке. Главная суть вселенной, несмотря на всю ее беспредельность и вечность, есть проявление творческой мысли и творческого плана в веществе (материи); а вещество подвержено изменению (в составе и виде) и чувственному (научному) расследованию.

Все же изменяющееся (как и в чем бы то ни было) должно иметь ни одни положительные, но и отрицательные свойства; а все подлежащее чувственному анализу и расследованию не может считаться за нечто законченное, абсолютно верное и определенное.

Но молодой ум, так же как и желудок молодых людей, все переваривающий, легко усваивает себе, как я узнал из опыта, и пантеистическое мировоззрение, не ощущая, до поры и до времени, несносных колебаний, ни сотрясений от шаткости основы.

Верховный Разум и Верховная Воля Творца, проявляемые целесообразно, посредством мирового ума и мировой жизни, в веществе, — вот nec plus ultra[3] человеческого ума, вот то прочное и неизменное, абсолютное начало, далее которого нельзя идти положительному уму, не сбившись с толку и с пути.

Таким представляется оно моему складу ума, блуждавшего немало в непроходимых дебрях и топях.

К чести моего ума я должен упомянуть, однако же, что он, и блуждая, никогда не грязнул в полнейшем отрицании недоступного для него и святого.

Мой бедный ум, и останавливаясь на вселенной (вместо Бога), благоговел пред нею, как пред беспредельным и вечным началом.

[1] Гипотеза (франц. hypothese).
[2] Вопреки желанию (франц.).
[3] Крайний предел (лат.).

Никогда он, то есть мой ум, не доходил до обожания случая, и только теперь, уже состарившись, он с удивлением и отвращением узнает, что такой апофеоз и осуществим на деле.

Юные и зрелые современники моей старости, живя и действуя в эпоху лотерей, ажиотажа, рулетки и биржевой игры, приучили себя видеть в *случае* один из главных рычагов жизни. Не мудрено, что и основу всего мироздания и исходную точку своих мировоззрений современное поколение может легко перенести на *случай*.

При случайном стечении благоприятных условий из первобытной клетки (яйца) развивается первобытный организм; он, при новом случайном стечении других внешних обстоятельств, принимает тот или другой вид; этот вид, в свою очередь, случайно встретивши в окружающей его среде или удобство, или препятствие, принимает то высшую организацию, то, лишаясь того или другого органа, переходит в другой вид или же и исчезает. Уродилось ли случайно в каком-нибудь органическом виде более крепких и здоровых особей, подбор вышел удачным и победа в борьбе за существование за этим видом.

Так случай за случаем доводит переходами из одного вида в другой до вида млекопитающего, а отсюда рукой подать и до человека, ум которого открывает ему, наконец, что клетка, произведшая его (то есть человека, а потому, пожалуй, и ум), ничем существенным не отличаясь от другой животной клетки, только благодаря окружающей среде, случаю и времени вывела на свет его или ему сродственную обезьяну.

Не мне быть критиком, противником или защитником и приверженцем современного учения[1]; в нем очевидна гениальность наблюдателя, умевшего придать глубокое научное значение добытым им фактам и расследованиям явлений.

Доктрина, обязанная своим происхождением такому гениальному наблюдателю, не могла не дать повода к новым взглядам на органический мир и к новым его исследованиям.

Все это, однако же, не сделает меня легковерным. О перерождении и переходах животных видов и родов говорилось не со вчерашнего дня. Известно, как Гете изумил всех своим восклицанием, когда начался об этом деле знаменитый спор во французской академии между *Кювье*[2] *и Жоффруа Сент-Илером*[3]; подумали, что восклицание это относилось к какому-либо мировому политическому событию.

Ламарк[4], если не ошибаюсь, говорил или, лучше, намекал и о происхождении человека от обезьяны; по крайней мере, этот взгляд был в

---

[1] Имеется в виду дарвинизм.

[2] Г.-Л.Кювье (1769–1832) – французский ученый зоолог, палеонтолог; его теория катастроф подвергалась критике Ламарка, Дарвина, Сент-Илера; отстаивал учение о постоянстве и неизменности видов.

[3] Э.-Ж.Сент-Илер (1772–1844) – известный французский зоолог, представитель эволюционизма, трансформизма в биологии, выдвинувший положение о единстве организации животных; отрицал господствовавшую тогда в науке теорию катаклизмов, по которой население Земли не раз погибало и создавалось вновь; противник Кювье.

[4] Ж.-Б.-А.-П.Ламарк (1744–1829) – французский натуралист и биолог.

ходу и в 1830-х годах; я помню, как однажды мой дерптский учитель, профессор хирургии *Мойер* (в 1832 году), ехав со мною за городом, удивил меня вопросом: «А как вы думаете, Пирогов: не происходим ли мы все от обезьян?»

Так, зная, что доктрина, занимающая современные умы, не была terra incognita и для предшественников, как-то держишь себя осторожнее от увлечений. Впрочем, я нисколько не скандализируюсь происхождением человека от обезьяны; тем более чести уму, какого бы то ни было существа, если оно сумело выйти, хотя бы и случайно, в люди. Для меня, однако же, не менее вероятен и обратный переход человека в обезьяну, совершающийся почти на наших глазах.

И почему, в самом деле, в те доисторические времена, когда наша планета производила ихтиозавров, мамонтов и других великанов, она не могла произвести и допотопного человека-гиганта с огромным мозгом? А так как ум наш мозговой, то почему бы и он не мог быть огромным? В таком случае это был бы совершеннейший из людей: велик и умен. Ихтиозавры и мамонты перевелись и переродились, и человек-гигант мог также перевестись и переродиться в шимпанзеев, орангутангов, буммасов, обитателей Новой Гвинеи и т.п.

Принимая весьма хладнокровно взгляд на происхождение мое от обезьяны, я не могу слышать без отвращения и перенести ни малейшего намека об отсутствии творческого плана и творческой целесообразности в мироздании; а потому никогда не допущу, чтобы первобытная клетка и даже первобытная протоплазма не заключала в себе творческой мысли о ее конечном назначении и творческого (целесообразного) предопределения всех форм, прототип которых должен был из нее развиваться.

Не странно ли, однако, что прежде вовсе нетрудным казалось верить в происхождение людей и всего животного царства от нескольких пар и даже от одной; а теперь также без труда верят в переходы и перерождения самых отдаленных типов животных?

Причину легковерия в обоих случаях я нахожу в задней мысли, всем подсказывающей, что самая суть дела ни в том, ни в другом взгляде не выясняется.

Пара ли готовых уже животных или одна бесформенная протоплазма вышли впервые на свет, — в обоих случаях остается икс: что заставило атомы вещества складываться в общеформенное существо, способное к самостоятельному бытию, к борьбе за существование, наследственности и произведению новых себе подобных или несходных с собою (Generationswechsel)[1] существ.

Могу ли же я легко убедиться в непогрешимости доктрины, увлекающиеся приверженцы которой готовы, пожалуй, поставить на пьедестал случай, заменив им Бога и отвергнув, как лишний хлам, и план, и целесообразность в мироздании? По-моему, это значило бы признать себя какими-то бастардами от случки случая с случайною же природою.

---

[1] Изменения видов (нем.).

Но современное мировоззрение имеет для естественника ту привлекательную сторону, что в нем предполагаемое прошлое соглашено с настоящим и соответствует ему пока, т.е. до поры и до времени, более чем в других мировоззрениях.

Все рождено, не сотворено. Не определенная, по предначертанному творческой мыслью плану, типичность органических форм, не творческая целесообразность в устройстве типических организмов и переходных форм занимают первое место в современном мировоззрении, а внешние физические условия и случайная индивидуальность, и так как искусство перерождения и размножения животных и растительных организмов с практическою целью улучшения разных продуктов не достигало еще такого совершенства, как в переживаемое нами время, то понятно, что добытые практическим путем весьма наглядные результаты не могли не повлиять и на умственные отвлечения.

Отвлеченное творчество, творческие план и мысль, предначертанная целесообразность типов в мироздании – все это ушло на задний план, и что достигается искусством современных культиваторов органических рас, пород и видов, то в натуре поручилось делать случайному подбору особей и случайному стечению разных физических условий.

И вот уже слышится и мораль переживаемого: «а ларчик просто открывался».

Но что же такое это *случай*? Какой это простой deus ex machina[1], играющий такую видную роль в наших делах и мыслях?

Едва ли не придется мне ответить на это: не знаю.

Одно из двух мне кажется несомненным: или нет вовсе случая, или между случаем и тем, с кем он случился, есть какое-нибудь отношение; впрочем, оба предположения в конечном результате сводятся на одно и то же.

Видя на каждом шагу связь между действиями и причинами, отыскивая по бессознательному (невольному) требованию рассудка везде причину, где есть действие, мы неминуемо, роковым образом, приходим к заключению, что и между всеми действиями, и всеми причинами существует неразрывная, вечная связь.

При таком взгляде случай будет не более, как действие, причина или причины которого нам еще неизвестны, а для многих событий, можно утверждать a priori, и никогда не будут известны. Это почему? А потому, что стечение обстоятельств в одну бьющую точку, – случай, – бывает до того сложно, что для определения его понадобилось бы невозможное знание всего прошлого и настоящего.

Мы так привыкли к случайностям, что случай кажется нам самым обыкновенным, естественным, делом, и это, слава Богу; не живя в мираже обыкновенного и не заслуживающего внимания, мы бы нажили себе галлюцинацию висящего над нами дамоклова меча.

Но как только мы остановимся, почему бы то ни было, хотя на одном самом обыкновенном событии, касающемся нас лично, то не из-

[1] Бог из машины (лат.).

бегнем невольного вопроса: причем я тут? Зачем оно коснулось именно меня?

По большей части причины нашей прикосновенности к какому-нибудь событию для нас ясны и просты, то есть кажутся для нас таки-ми; но нередко причины отношений моих к событию для меня скрыты, а не быть им нельзя.

Молния ударила в мой дом; почему именно в мой? Я нахожу причину в стоявшем возле дереве; у меня на крыше не было отвода, а на соседнем доме был. Я довольствуюсь таким объяснением; еще более буду им доволен, если молния, град, саранча и тому подобные прелести повредили не только мои, но и соседние поля; тут ясно кажется, что существовали, хотя и неизвестные, физические условия, притянувшие сюда грозовые облака.

Но я выиграл в лотерее билет; почему? Тут уже стой! Стоп машина! Что мой №20 подвернулся, а не другой, это, положим, еще можно будет когда-нибудь объяснить, распутав узел разных физических обстоятельств; но почему именно мне попался в руки №20? А между тем не может быть, чтобы он не имел какого-либо отношения ко мне, прежде чем он сделал меня владетелем 100000 руб[лей], которые, выиграв, я прокутил, проиграл и, в конце концов, застрелился. И меня после этого, то есть не после, а прежде, будут уверять, что я и мой №20 не имели между собою ничего общего; я мог купить и 10, и 100-ый, мог выиграть и 25, и 30-ый; да, возможное только, – случилось так, – могло и не случиться; но если раз случилось, так как же без причины, само по себе? Это был бы нонсенс, нелепость, абсурд.

Значит, случай – asylum ignorantiae[1]; но незнание наше с душком; оно не хочет прямо сказать: не знаю, а, заменяя свое «не знаю» словом «случай», оно хочет этим сказать: что я-де покуда не знаю, или не хочу знать, почему; или же: это ясно для всех, почему? Потому что, видите ли, случай...

Так что же после этого ты – казуист или фаталист что ли? – задаю себе вопрос.

Я – независимый, то есть независимый от предвзятых мнений и доктрин. В суждениях об отвлеченных предметах, в применении их в практической жизни не нужно добиваться, во что бы то ни стало, последовательности.

Сказать, что случай все решает в жизни, нелепо, но считать нелепым прежнее убеждение, что и маловажные, по-видимому, события могут иметь роковые последствия, еще более нелепо.

Какое дело, что маловажному событию предшествовал целый ряд других, скрытых, но более существенных обстоятельств? Решающим, и именно в данный момент времени, было все-таки то, что называется невидною случайностью.

Скалу подтачивала целые века вода; здание гнило и подтачивалось под землею; вдруг от небольшого сотрясения в один прекрас-

---

[1] Приют невежд (лат.).

ный день они падают. Что тут решающее обстоятельство? Все ли равно, упади скала и здание днем ранее или днем позже? Все правы, признавая самым главным, решающим моментом тот, когда случается роковое событие.

У *Наполеона* спотыкается конь о маленький камушек; Наполеон падает и, встав, говорит, что этот камушек мог сделаться решителем судеб Европы. Наполеон был совершенно прав, делая решителем судеб в этот момент не себя, а камень.

Случай, часто и однообразно повторяющийся, перестает в наших глазах быть случаем по двум причинам: мы получаем более времени и средств для исследования и узнаем причину, или же мы просто привыкаем, и прежде случайное, редкое и необыкновенное делается обыкновенным и насущным.

Узнав, что большая часть браков совершается осенью, нетрудно было догадаться, почему; но, узнав, по статистическим данным, что ежегодно встречается почти одна и та же цифра ошибочных адресов на письмах, мы перестаем этому удивляться, хотя и не знаем причины, почему люди всегда в известной мере рассеяны при отправке своих писем на почту.

Еще необъяснимее для нас случающееся весьма нередко счастье в азартных играх, лотереях, рулетке и, наконец, вообще счастье в жизни; но мы только завидуем этому, но не удивляемся. Необыденность, разнообразность и беспричинность – вот признаки случайного события.

Чем чаще повторяется одно и то же случайное, то есть беспричинное событие, тем невероятнее кажется нам, что оно опять повторится; о том, кто всякий раз попадает в цель или выигрывает, мы не без злорадства думаем: авось (в авосе всегда заключается известная степень вероятности) промахнется или проиграет; если дождь льет целые недели, то с каждым днем мы все более надеемся и уверяемся, что он перестанет.

Но все наши предположения тотчас же принимают другой характер, как скоро мы открываем или только подозреваем причину события.

Тогда, при суждении мы уже не на то смотрим – часто или редко оно случается; все внимание наше перемещается с события *на его причину*.

Но причинность целого легиона мировых событий и явлений может быть расследована только по двум направлениям: мы можем перемещать наше предположение об этой причинности то в самый субстрат, т.е. в вещество, служащее субстратом явления, то вне его; это перемещение зависит от степени точности наших знаний; чем они точнее, тем более перемещаем мы и причину вне явления; всему, однако же, есть предел; чем более делаем мы, например, причину какого-либо явления в органическом мире внешнею, тем более сообщаем ей случайный характер. Поэтому-то я в современном мировоззрении на органический мир и нахожу, что в нем случаю предоставлена слишком главная роль.

Уже давно отважные пловцы в полярных странах мышления заставляли случай приводить в порядок рассеянные или скученные в хаосе атомы вещества; *Цицерон*, сколько я помню, занимался уже опроверже-

нием этой знаменитой доктрины. Мне кажется, в наше время мы недалеки от подобного же учения, только с большими притязаниями на точность и фактичность.

Но как бы ни были прогрессивны и точны наши сведения, лишь только мы отвергнем присутствие в атомах первобытной органической образовательной силы, влекущей их к известного рода группировкам, нам придется все дело передать в руки случая.

Если бы в самые первые моменты творения, при самом первом зарождении органического вещества, атомы его не имели этого влечения к группировке в определенные типические формы, то кто же, как не стихийные силы, случайно производили тот или другой тип, случайно же способствуя переходам и превращениям одного в другой? Откуда бы взяться различию особей одного и того же типа, если бы случайное стечение разных условий не благоприятствовало развитию одной особи и не задерживало развития другой? Чему-нибудь да нужно дать предпочтение — предопределению или случаю.

Я — за *предопределение*.

По-моему, все, что *случается, должно было случиться и не быть не могло*.

Все случающееся связано неразрывно цепью причин с случившимся. Эта навсегда от нас скрытая цепь соединяет причины случая с тем, что случается. Значит — фатализм. Да, как умозрение, наиболее уживающееся в моем уме и потому кажущееся мне наиболее логичным и последовательным.

Из этого не следует, однако же, что и в жизни, на деле, надо проявлять это умозрение и быть фаталистом. Во-первых, не накурившись опия и не наевшись гашиша, нельзя быть последовательным фаталистом; во-вторых, случай, несмотря на предопределение, все-таки будет существовать для нас на практике, так как причинная связь событий и явлений нам навсегда останется неведомою; мы всегда будем жить в мираже; всегда будет нам казаться, что все происходящее могло быть и не быть. Без этого миража, без нашего незнания причинной связи всех событий, мы были бы самые несчастные существа — фаталисты не по убеждению, а поневоле.

Магометанин, фаталист по убеждению, не считает, например, вовсе противным своему убеждению воевать и завоевывать, следовательно, действовать; а последовательно строгое применение в жизни учения о предопределении должно вести к полному бездействию. Это лежит в натуре всех отвлеченных понятий: что, проведенные последовательно до самой крайности умозрением, они делаются неприменимыми в жизни и оканчиваются тем, что французы называют aveuglement logique[1].

Для жизни необходимы миражи и галлюцинации, и мы галлюцинируем, не замечая этого, бессознательно; только галлюцинации внешних чувств (зрения, слуха и пр.) нам заметны, а галлюцинации воображения, памяти, самого ума замечаются нами только в домах умалишен-

[1] Логическое ослепление (франц.).

ных; между тем именно эти постоянные, бессознательные, родившиеся с нами на свет миражи и составляют одну из главных пружин нашего общественного и нравственного быта; живя в этих миражах с колыбели до могилы и потому не имея возможности отличить кажущееся от действительного, мы поневоле, не имея возможности поступать иначе, осуждены считать кажущееся действительным; уверенность в действительное миража, к нашему счастью, так сильна в нас, что мы готовы за него и жертвовать самою жизнью.

По временам, и то при известном складе ума, мы, отвлекаясь от практической жизни, желаем составить себе о ней стройное и последовательное понятие, и оно-то выходит всегда противоречащим тому, что мы считаем действительным; так, умозрение приводит нас к одному из двух выводов: или нет случая, и все, что есть, должно быть; или что есть могло быть и не быть; соединить эти два вывода между собою и принять и то, и другое логически – абсурд; а в жизни этот абсурд встречается на каждом шагу, и встреча с ним нас нисколько не смущает и не коробит; мы спокойно продолжаем шествовать и жить припеваючи. И разве это не мираж: рассудок приводит к умозаключению, противоречащему или наполовину, или вовсе действительному?

Выходит одно из двух: или наш ум, с его способностью отвлечения и умозрения, не приспособлен к действительности и потому ненормален, и отвлечения его ненормальны; или же кажущееся нам действительным не таково. Я соглашаюсь жить скорее в мираже, чем считать способность и потребность ума к отвлечению чем-то ненормальным, хотя я и не прочь подозревать в излишках этой способности удаление от нормы со всеми его последствиями.

Стоп машина! Я начал за здравие – свел за упокой.

Но, беседуя с самим собою, почему не дать простора ходу мыслей?

И не прочитывая задов, я помню, что остановился на переходе из дома и школы в жизнь, и, прежде всего в университетскую жизнь. И вот теперь семидесятилетний старик, требуя отчета о верованиях и убеждениях четырнадцатилетнего студента, считает нужным сначала раскрыть свои старческие, и это для того, чтобы, сравнив их с своими же юношескими, представить себе наглядно, каким переворотам и перипетиям суждено было им подвергнуться в течение шестидесятипятилетнего срока.

Но все, что я высказал до сих пор о моих теперешних взглядах на жизнь и мироздание, относится к разряду убеждений, основанных на *умозрении и знании*. А это не верование. Нужно уяснить себе главное в практической жизни: во что я верую?

Начну с того, что веру я считаю такою психическою способностью человека, которая более всех других отличает его от животных. Чувственные и приобретаемые опытом знания, а, следовательно, и задатки ума, существуют и у животных, память и воображение – также; соображение и рассудочность приспособлены у животных к их жизненным потребностям и инстинктам; о воле и говорить нечего: без нее животное приближается к переходу в растение. Чувства любви, надежды, радос-

ти, печали – все они проявляются, хотя in statu nascendi[1], и у животного. Но веры нет и следа – почему?

Причина лежит, по-моему, как в свойствах сознательности животного, так и в свойствах нашей способности веровать. Животное, без сомнения, обладает сознанием; оно ощущает свое бытие и свою индивидуальность (личность); но животное не сознает, как мы, своего чувственного сознания, и потому представление и понятие его о своей индивидуальности не так ясны и отчетливы, как у нас. Личность животного сливается в его представлении более чем у нас с окружающим его миром; это потому, что нам об ощущении нашего личного бытия напоминает беспрестанно сознание этого более или менее сознательного ощущения; эту-то нашу способность сознавать, что мы сознаем себя, и нужно назвать *самосознанием*; его нет у животного, только в *смысле ощущения* сознающего свое бытие; а между этим чувственным сознанием личного бытия и тем, которое сознает свое чувственное сознание бытия (самосознание), не мало расстояния.

Вера без *самосознания* немыслима. Свойства же нашей способности веровать таковы, что она проявляется для нас как бы отрешившеюся от всех других чувственных представлений; конечно, это мираж. Чувства, необходимые для нашего бытия и самосознания, безусловно необходимы и для осуществления в нас способности веровать; но как скоро, при развитии этой способности, самосознание наше, отвлекаясь от чувственного сознания, перестает следить за ним и сосредоточивает свою деятельность в другой области представлений, отвлеченное (более или менее) от чувственного самоощущения и как бы сосредоточенное в самом себе, наше самосознание творит внечувственные идеалы. К ним, к этим сверхчувственным идеалам, приводит неминуемо наша способность веровать в высшем ее развитии; на низших же степенях развития она еще напоминает, как и все человеческое, о безусловной зависимости от чувственного.

Поэтому-то я и утверждаю в моем мировоззрении, что cogito, ergo sum Декарта справедливее заменить: sentio, ergo sum. Наше sum, или «я есмь», – только рефлекс ощущения бытия: с ним сходны звуки, издаваемые животными, свидетельствующие об ощущении ими также личного бытия. А наше *cogito* есть уже *самосознание*, то есть сознание ощущения бытия, которое может быть и не вполне сознательное (как у животных и у нас при ненормальном состоянии тела или психических способностей).

Если Верховный Разум Творца заблагорассудил произвести человеческий род от обезьяны, то, несомненно, вера в человеке развилась постепенно, в течение веков, из грубых чувственных представлений, взятых им из окружающей природы.

Но родословная наша еще не скреплена и не в руках точной науки; поэтому возможно еще и невероятное. В таком случае возможна и маловероятная для современной науки гипотеза о происхождении первобыт-

[1] В состоянии зарождения (лат.).

ного человеческого типа, теперь уже выродившегося, принесшего с собою на свет все задатки высших способностей души, в том числе и веры.

Как бы то ни было, но божеством каждого культурного общества в исторические времена всегда были и будут или идеал, или абсурд. Этим и отличается также вера от знания; если вера и не есть непременный антагонист знания, а положительная (догматическая) даже требует его, – основные их начала несходны между собою и никогда не сойдутся. Сомнение – вот основа знания.

Безусловное доверие к избранному идеалу – вот начало веры. Нет нужды, если он будет абсурдом. Credo quia absurdum est[1]. В этом изречении *Тертуллиана*[2], одного из столпов церкви, – глубокая правда. Истинно верующему нет дела до результатов положительного знания. Эта черта проводится нами заметно и в простых житейских делах. Если я получаю почему-либо полное доверие к какой-нибудь личности, то я не разбираю более – знающая она, образованная, интеллигентная или нет; я верю ей на слово, верю и без слов, одним, так сказать, взмахом души. Так знание и глубокомысленность уживаются в одной душе вместе с верою, не нуждающейся в знании. Способность познавать, основанная на сомнении, не допускает веры; но вера не стесняется знанием и идет своим путем. Идеал, служащий основанием веры, даже абсурдный, не допуская и тени сомнения, становится выше всякого знания и, помимо его, стремится к достижению истины. Чем глубже и многостороннее знание, тем труднее идеалу развиться и окрепнуть.

Карл *Фохт* смеялся над возможностью соединить веру и знание, противоречащее в своих результатах догматам веры; он называл это двойною бухгалтериею души. Правда, глубина и многосторонность знания, по принципу, препятствуют не только полету, но и развитию (религиозных) идеалов, если они не требуют точно научного знания. Но и то правда, что наша рассудочная последовательность ограничена.

Строго последовательными могут быть, и то относительно, только два сорта людей: крепкие духом и ограниченные, односторонние специалисты. Когда я считал специализм главною целью жизни, я подписал под моим портретом[3], литографированным в Дерпте, что быть последовательным для меня – главное, и я был тогда действительно последовательным до чертиков; но по мере того, как я знакомился с жизнью и наукою, и мировоззрение мое делалось менее ограниченным; я прозрел и убедился, что, не принадлежав к разряду esprits forts[4], нельзя быть вполне последовательным. Что я говорю? Можно. Но как? Сделавшись подлецом перед Богом и перед собою.

---

[1] Верю потому, что абсурдно (лат.).

[2] Тертуллиан (ок. 160 – после 220) – христианский богослов и писатель.

[3] Под своим портретом работы Ф.Шлатера Пирогов сделал следующую надпись по-немецки: «Мое искреннейшее желание, чтобы мои ученики относились ко мне с критикой; моя цель будет достигнута только тогда, когда они убедятся в том, что я действую *последовательно*; действую ли я правильно? – это другое дело; это смогут показать лишь время и опыт».

[4] Сильных духом (франц.).

Да, не иначе: esprit fort – и верующий, и неверующий, он может быть и тем, и другим, в сущности, всегда во что-нибудь да верующий, по малой мере, убежденный в чем-нибудь до nec plus ultra[1]; веруя же, он может быть и по-евангельски нищим духом, и нищий бывает и крепким, и сильным.

Самая характерная черта крепкого духом та, что он, счастливый и несчастный, больной и здоровый, живя и умирая, продолжает бестрепетно, спокойно без всякого разлада с самим собою, верить или не верить; а не верить для esprit fort значит, по-моему, верить в ничто, то есть в абсурд, credit quia absurdum est[2]. Поэтому истинный, непритворный и неподдельный отрицатель не может не быть esprit fort.

Если все это так, то крепкий духом не может не быть и односторонним; и потому он сходится с разрядом односторонних и ограниченных специалистов, которые, в свою очередь, не есть еще евангельский нищий духом.

Другое дело с людьми, не принадлежащими к этим двум разрядам; между ними есть также и верующие, и неверующие, приобревшие глубокие научные знания, и невежды, и неучи. Для таких людей, а имя им легион, неуступчивая, неупругая и несокрушимая последовательность немыслима, и как не различен склад ума большинства людей из этого разряда, все они имеют то общее им свойство, что могут вести у себя и с собою двойную бухгалтерию, как это названо К.Фохтом. Это значит, что личность, принадлежащая к этой категории, может быть в одно и то же время и человеком науки, и человеком веры, – и в вере, и в науке вполне искренним; идеал веры, – собственный или сообщенный, – мирится в такой личности с результатами полученными путем науки; спокойствие, поселяемое в душе верою в идеал хотя бы абсурдный, с научной точки зрения не нарушается несовпадением итогов двойной бухгалтерии. Как не благодарить Бога тому, кто своевременно разузнает в себе эту чудную, примиряющуюся способность души; но нечего роптать, сетовать, сомневаться и насмехаться и тому, кто не понимает или не хочет понять возможности существования этого психического свойства.

И едва ли крайняя последовательность принадлежит к нормальным свойствам человеческого духа. Беда, если ее захочет себе навязать человек не сильный духом или неограниченный: он неминуемо сподличает. Подлец, в моих глазах, пред Богом и пред собою тот, кто, отвергнув все идеалы веры и став в ряды атеизма, в беде изменяет на время свои убеждения, и всего хуже, если делает еще это тайком, а убеждения свои разглашает открыто. А таких господ немало. К ним принадлежал некогда и я сам, пока не познакомился с собою хорошенько. Да, трудно простить себе такую подлость хотя бы и временную, и невольную; в продолжение моей автобиографии и я не утаю от себя ничего, что заслуживает самобичевания, и постараюсь напомнить себе, когда и как я был подлецом пред Богом и пред собою.

---

[1] До высшей степени (лат.).

[2] Он верит потому, что это абсурд (лат.).

Теперь, когда я убедился, что люди моего склада ума не могут и не должны стремиться к достижению крайних пределов последовательности, я сделался искренно верующим, не утратив нисколько моих научных, мыслью и опытом приобретенных убеждений.

Какой же идеал моей веры?

То, что называется верить в Бога, может быть названо только в том случае, когда ум не дошел еще до необходимости признавать Бога исходною точкою, своим nec plus ultra. Мой бедный, не раз блуждающий ум остановился на этом признании; для меня существование Верховного Разума и Верховной Воли сделалось такою же необходимостью, как мое собственное умственное и нравственное существование. Но остановиться на этом требовании ума еще не значило бы для меня быть верующим, – это значило быть деистом; а деизм, по-моему, еще не вера, а доктрина.

Для нравственного моего быта необходим был идеал более человеческий, более близкий ко мне. Входя все глубже и глубже в себя во время разных испытаний жизни, я понял, наконец, почему культурные племена, дошед до известной степени человечности, так нуждаются в идеале Богочеловека. Слабость тела и духа, болезнь, нужда, горе и беды считаются главными рассадниками веры.

Мой знакомый доктор *Груби* в Париже утверждал даже, что основу всякой религии нужно отыскивать в патологии человека. Гораздо вернее этого известное: wer nicht sein Brod mit Thränen ass[1] и проч.

Но как ни сильны эти мотивы, не один, однако же, плач и скрежет зубов приводит нас к утешительному идеалу Богочеловека; и радость, в двух ее видах, увлекает нас невольно к этому же самому идеалу. Когда на душе тишь да гладь, да Божья благодать, или когда душа восторженна и торжествует, она всегда находит в этих двух видах радости причину сближения с другим, и непременно высшим, как будто ей сочувствующим существом, началом, – не знаю с чем-то.

Это сочувствующее всему человеческому и более чем знакомое со всеми нашими слабостями, нуждами, печалями и радостями начало так свойственно нам, что олицетворение его делается неминуемо потребностью нашего духа; олицетворенное делается звеном, соединяющим нас с тем, пред чем останавливается наш ум, как пред непостижимым для него абсолютом.

Верховный Вселенский Разум и Верховная Воля делаются доступнее для нас в лице Богочеловека. Идеал веры в Богочеловека до того кажется мне теперь свойственным человеческой душе, что и применение к нему известного изречения Вольтера я не считал бы таким кощунством, каким оно мне представляется в отношении к Богу. Недаром высшие культурные племена все свое богопочитание основывали на идеале олицетворения не только божества, но и каждого из его свойств.

Олицетворение неминуемо входило в идеалы вер, как политеизма, так и монотеизма. Иегова евреев, боровшийся под видом человека с

[1] Кто не ел своего хлеба со слезами (нем.).

Иаковом, был не только Богом, принимавшим участие в делах человеческих вообще, но еще и Богом национальным еврейского народа.

Да и как возможно бы было человеку, раз принявшему существование Бога необходимым, остановиться неподвижно на одном деизме? Это, как я сам испытал на себе, значило бы насиловать себя, оставаться холодным и равнодушным к Тому, Кого наш же ум признал за начало начал; а чтобы не быть к Нему безразличным, чтобы любить или ненавидеть Его, необходимо делается признать в Нем какие-либо нравственные или материальные отношения к себе. И в самых тайниках человеческой души рано или поздно, но неминуемо должен был развиться и, наконец, придти осуществленный идеал Богочеловека.

Воплощение же этого, задолго пред тем уже предчувствованного идеала, высшего и утешительнейшего из идеалов, не могло не внести в сердца людей новые (и едва ли до того испытанные) чувства мирного блаженства и торжественного восторга, так поражающие нас в жизни неофитов и мучеников за веру. Веровать, что среди нас жил человеческою же жизнию наш Спаситель, испытав на Себе муки и радости этой жизни, было таким, еще никогда неиспытанным счастьем, что все проникнутые этою верою не могли не ставить ее выше всех других чувств и способностей души.

Что ум с его разъедающим анализом и сомнением? Разве он успокаивал, подавал надежду, утешал и водворял мир и упование в душе? А вот осуществленный идеал веры – он проник всю душу, не оставив в ней места для сомнений, анализов и, разом овладев ею, вселяет блаженство и восторг.

Вот и я, грешный, хотя и поздно, но убедился, наконец, что мне при складе и емкости моего ума не следовало попадать в колеи крепких духом и односторонних специалистов. Жизнь-матушка привела, наконец, к тихому пристанищу. Я сделался, но не вдруг, как многие неофиты, и не без борьбы, верующим. К сожалению, однако же, еще и до сих пор, на старости, ум разъедает по временам оплоты веры. Но я благодарю Бога за то, что, по крайней мере, успел понять себя и увидал, что мой ум может ужиться с искреннею верою. И, я, исповедуя себя весьма часто, не могу не верить себе, что искренне верую в учение Христа Спасителя.

Прежде меня слишком занимала историческая сторона христианства. Теперь я убедился, что это – дело науки, следовательно, требующее и научных приемов; но в науке я всегда был и буду за полную свободу исследования, самого чистого и свободного от всякой задней мысли. Для того же, кто, как я, ищет в учении Христа мира и утешения, вся суть не в истории.

Сам Спаситель ничего не оставил нам документального в научно-историческом смысле. Мы узнаем о Его жизни и учении из книг, писанных Его последователями. Эти письмена дошли до нас чрез тьму веков, и каких еще веков – язычества, сектантства, варварства, фанатизма! Кто по современно-научным понятиям решит теперь – что апокриф, что нет; без строгой исторической критики теперь немыслима стала никакая история, даже и священная. А к каким результатам можно придти, иссле-

дуя строго и свободно научно-исторические документы христианского учения, можно узнать от тюбингенской школы, от Штрауса[1] и Ренана[2], и если бы пришлось выбирать между двумя последними, то я все-таки предпочел бы из двух зол выбрать меньшее, по моему мнению, — это Штрауса (т.е. его книгу «Жизнь Иисуса Христа», а не смерть самого Штрауса, кажется рехнувшегося совсем при конце жизни).

Для меня главное в христианстве — это недостижимая высота и освещающая душу чистота идеала веры; на нем целые века тьмы, страстей и неистовств не оставили ни единого пятна; кровь и грязь, которыми мир не раз старался осквернить идеальную святость и чистоту христианского учения, стекали потоками назад, на осквернителей.

Смело, и несмотря ни на какие исторические исследования, всякий христианин должен утверждать, что никому из смертных невозможно было додуматься и еще менее дойти до той высоты и чистоты нравственного чувства и жизни, которые содержатся в учении Христа; нельзя не прочувствовать, что они не от мира сего. Это не мораль, как желают представить идеал учения отвергающие божественную натуру Учителя. Мораль (от mos — нрав, обычай) зависима от нравов, а нравы меняются со временем. Положительного, неизменного нравственного кодекса всего человечества нет, и он проявится разве, когда будет едино стадо и един пастырь. Но это возможно только в том случае, если пастырем явится Богочеловек, а тогда люди обойдутся, пожалуй, и без кодекса.

Хотя тюбингенская школа и бросила тень исторического сомнения на Евангелие Иоанна, но слова или смысл слов: «Закон (то есть нравственный) Моисеем, благодать же и истина Иисусом Христом даны» — для каждого христианина должны быть словами истинного благовестителя. И для меня непонятно, почему протестантские ультрарационалисты, причисляя себя к пастырям христианской церкви, становятся на точку зрения Ренана и древнейших ересиархов, вышедших из паганизма[3] и талмудизма; им мог следовать в своем неверии такой протестантский государь, как *Фридрих* Второй, считавший Евангелие только моралью, но не пастыри какого бы то ни было христианского исповедания. Для современного, именно для современного, христианина признание божественной натуры Спасителя должно быть краеугольным камнем его веры. Этим признается непреложность, непогрешимость, благодатная внутренняя истина идеала, служащего основою христианского учения. Этим же оно и отличается от изменчивой, внешней, хотя и вполне законной мирской морали. Благодатная, не подлежащая ни сомнению, ни расследованию истина может сделаться моею собственною внутреннею истиною только тогда, когда я извлекаю ее из высшего источника и верую, что она сообщается мне путем благодати. Только при такой вере я и в состоянии отличить внешнюю и научную правду, требующую умственного анализа и свободного расследования, от той

---

[1] Д.Ф.Штраус (1808—1874) — немецкий философ, историк, теолог и публицист.

[2] Ж.-Э.Ренан (1797—1877) — французский физиолог и историк.

[3] Паганизм — язычество, идолопоклонство, от лат. pagani — жители сельских округов.

высшей, вечной, исполненной благодати правды, которая служит идеалом моей веры, — веры, а не одного убеждения.

Я убедился на себе, что, не отличая истины, добываемой путем анализа и расследования, от другой, доставляемой нам верою, нельзя быть настоящим верующим. И, прежде всего, нужно уверовать в высшую благодать. Недосягаемая высь и чистота идеала христианской веры делают его истинно благодатным; это обнаруживается необыкновенным спокойствием, миром и упованием, проникающими все существо верующего в краткие молитвы и беседы с самим собою, с Богом.

Обуреваемый сомнением и неверием, мой ум еще нередко заставляет меня думать и во время этих бесед: не мираж ли все это? Мы живем в каком-то заколдованном кругу, из которого нам нет выхода; как тут отличишь, что действительность, что мираж, да и зачем стараться различать неразличимое? Это то, что один отец церкви назвал curiositas inutilis[1]. А если, наконец, и удалось бы постигнуть, где кончается наша иллюзия и где начинается действительность, то не будем ли мы самыми несчастными существами, сделавшись чрез такое открытие из мнимоздоровых мнимобольными? Представим себе каждого из нас лично и наглядно убедившимся, что его «я» — мираж, его ощущение свободной воли — тоже мираж; свобода мысли — иллюзия; представления о беспредельности времени и пространства — галлюцинации фантазии; идеалы веры, любви, красоты — такие же галлюцинации, иллюзии и миражи; что вышло бы из личности, наглядно узнавшей и окончательно убедившейся, что она живет постоянным обманом чувств, ощущений и представлений? Не привело ли бы такое знание к другому, еще более сумбурному убеждению, что самый способ, которым мы дошли до нашей истины, основан на таких же иллюзиях и миражах?

Мне кажется, что в предметах психологии, для исследования которых необходимо субъективные ощущения делать в то же время и объектами суждения, сомнительная догадка вернее и, во всяком случае, практичнее мнимо твердого убеждения.

Итак, если Творцу угодно было, произведя нас от обезьян, скрыть наше происхождение иллюзиями, увлекающими нас к Нему в беспредельность и вечность, то не нам накладывать руки на себя и не нам найти ту истину, которая не назначена быть истиной для нас. Все это я привожу в припадке сомнения против моего неверия, от которого не легко было отделаться и самому Петру.

Всеобъемлющая любовь и благодать Святого Духа — это два самые существенные элементы идеала веры Христовой, отличающей ее от морали, как небо от земли. Недаром у всех сектаторов христианства благодать служит более или менее основою толков и раскола. Настоящая, искренняя вера не может быть не идеальною; а идеал не может быть достижимым, как недостижима для нас и всеобъемлющая истина. А недостижимою высотою и святостью идеала христианская вера, очевидно, превосходит все другие; сущность же этого высокого идеала такова, что

[1] Бесполезный курьез (лат.).

приближение к нему невозможно. И вот желающие приблизиться к нему и ищущие в вере примирения с собою, прежде всего не должны полагаться на собственные силы и нравственные (моральные) достоинства, а должны уверовать, что вера есть дар неба, благодати и всеобъемлющей любви. Это для меня самая характерная черта христианской веры, превосходно выраженная в моей умилительной для меня молитве: «Чертог Твой вижу, Спасе мой, и одежды не имам, да вниду в онь».

Разбойник на кресте, блудный сын, фарисей и мытарь, слова, сказанные Марфе, Марии и юноше, исполнившему, по его мнению, все заповеди закона, доказывают, какое значение придавал Спаситель прямому, чистосердечному и полному раскаяния и веры обращению к Нему. Два великих учителя церкви – апостол Павел и Блаженный Августин – видели также в благодати одно из главных средств к спасению.

Но существует в моих глазах еще и другая характерная черта христианского учения – это многосторонность, отличающая его от ограниченных или односторонних стремлений религий, основанных на одной морали. И аскет, бегущий от прелестей мира, и мирянин, подвергающий себя испытаниям, и человек, ставящий свои действия в зависимость от предопределения, и тот, кто основывает их на свободе воли, ищущий усердною молитвою и постом удостоиться благодати, равно как и тот, кто и все свое время посвящает делам добра, – все, все могут найти в христианском учении основу своих убеждений, стремлений и действий.

Одно мне кажется несовместным с духом учения Христа, это – догматизм и доктринерство. Конечно, церковь как собрание верующих должна была возникнуть на первых же порах христианства, а согласие и единство взглядов должны были соединять собрание верующих; но это еще далеко от обязательной догмы. Обязательная, а потом и принудительная догма должна была явиться с появлением на свет государственной, или попросту, казенной церкви. И вот опять доказательство той многосторонности учения Христа, о которой я говорил.

Как скоро христианство выступило на государственную и политическую арену, в нем находили опору и императоры, и демагоги. Мало этого: церковь во времена паганизма, не переставая быть в сущности христианскою, могла делать уступки язычеству, следы которого сохранились в некоторых церквах еще и до сих пор. Это и не могло быть иначе, когда неземной – «не от мира сего» – идеал должен был осуществляться, вернее, приближаться к осуществлению в мире, пропитанном насквозь чувственностью. Разве мог кто из смертных, хотя бы и власть имеющих, велеть любить врага и ненавистника, платить за обиду кротостью и смирением, всем жертвовать из любви?! Место запрещения и отрицания, служащих основою закона, обязательного для всего общества, и место: не делай того или другого, не убей, не воруй, не пожелай, заменяет верховный и неземной призыв к сокровенным и самым глубоким чувствам души – любви и вере, делая их главными мотивами наших дел и действий. Очевидно, ни еврейский монотеизм, ни политеизм древнего мира не могли сразу понять и прочувствовать глубокий смысл и значение недосягаемого идеала Нового Завета.

И первая государственная церковь Христа едва ли была образцовая. Императоры, принявшие христианство, спешили воспользоваться ею для своих политических целей, старались сделать ее торжественною в глазах народа, привыкшего к великолепию языческих храмов и торжественным процессиям жрецов, которых должна была заменять для народа иерархия священнослужителей, епископов, патриархов и т.п. И вот, верование, в основе которого лежит полная свобода совести, то есть сознание истины в идеале самоотвержения из любви и веры в всеобъемлющую любовь Бога, делается постепенно обязательным, казенным, внешним. Обязательность, связь церкви с властью, государственные перевороты, наплыв новых племен на развалины древних государств, все эти обстоятельства не могли не способствовать к искажению чистоты идеала новой веры и к порождению самых уродливых толков, ересей, подлогов преданий, письменных документов и т.п.

Тогда оказался необходимым для государственной церкви и обязательный догматизм веры, и целый ряд вселенских соборов установляет догмы и формулы догм, предписывает, как и чему верить, чтобы быть христианином. Свобода совести отходит на задний план. Место глубоко прочувствованного идеала веры и свободного полета души, желающей сближения с ним, заступают символические обряды, мистерии, игравшие такую видную роль в политеизме и т.п.

Дошло, наконец, до того, что вместо недостижимо высокого идеала, нареченного быть мотивом всех наших дел и нравственных стремлений, выступили на первый план все эти церковные обряды и требы. Вместо исполненных благодати и любви смиренных учителей, явились непогрешимые папы-государи и надменные патриархи, заводившие споры о первенстве.

Иногда, смотря на наших владык, я думал: как бы мне было совестно перед собою и перед Христом, если бы я сделался архиереем; мне невозможно бы было не помнить, что именно архиереи синедриона были судьями не на живот, а на смерть Обещавшего Царство Божие своим избранным. А эти книжники, против которых Он так восставал, — разве это были не догматики и разве между ними не было приписывавших себе власть и авторитет только потому, что они получили их по преданию в наследство, и разве самые близкие к Христу не должны были для авторитета производить Его родословную от царя Давида? Не то ли же самое повторяется с иерархами, папами и даже попами, приписывающими себе духовную власть по преемству или наследству?

Я знаю, однако же, и хорошо понимаю, что я увлекаюсь, говоря так о церкви и ее служителях. Но я говорю теперь о христианстве с моей индивидуальной и ограниченной точки зрения. После погрома моей обрядной религии, которую исповедовал с детства, и после того, как убедился, что не могу быть ни атеистом, ни деистом, я искал успокоения и мира души, и, конечно, пережитое уже мною, чисто внешнее влияние таинств церковных богослужений и обрядов, не могло успокоить взволнованную душу. Вся внешняя сторона веры оказывала на меня вместо успокаивающего и примиряющего действия — другое, противо-

положное. Мне нужен был отвлеченный, недостижимо высокий идеал веры. И, принявшись за Евангелие, которого я никогда еще сам не читывал, а мне было уже 38 лет от роду, я нашел для себя этот идеал.

В нашей обрядной церкви, по крайней мере, во время моего детства, а в деревнях, как вижу, и теперь еще, Евангелие считается попами и прихожанами священным не по содержанию, не по мыслям и изложенному в нем учению, а священным как предмет, формально; так и слова молитв считаются священными как слова: слышанные, прочитанные должны оказывать благодатное и спасительное действие на слушателя и читателя.

С этой стороны только я и знал Евангелие, а, следовательно, и учение Христа, пока был подростком. Потом все это забылось и, как старый хлам, сдано было мною в архив памяти, пока мне не стукнуло 38 лет и внутренняя тревога не овладела мною. После этого я не удивляюсь, что сужу так резко о современной (да и прежней) христианской церкви.

Между тем я должен сказать, что как ни слабою, с историко-критической точки зрения, кажется мне историческая сторона начала христианства, я, как человек, верящий в предопределение и не допускающий ничего случайного по принципу, вижу в истории развития церкви событие роковое, повлиявшее существенно на развитие культурного общества. И именно то обстоятельство, что христианство вместо не нуждавшегося ни в какой внешней обстановке исповедания, делается государственною религиею, утвержденною на догматах, и обеспечивает дальнейшее его развитие, его судьбы и влияние на народные массы.

Весьма странным кажется мне мнение Бокля, что культурное общество обязано своим прогрессом исключительно распространению научных знаний, а со стороны нравственного его быта не последовало никакого улучшения. И другое мнение, что будто бы не христианство, а выступление на поприще цивилизации германских племен было главною причиною прогресса, мне кажется не менее односторонним, и я не понимаю, как можно отрицать в идеале Христовой веры глубокие задатки к улучшению нравственного быта общества, а потому отвергать и влияние христианства на нравы и стремления людей.

Веруя, что основной идеал учения Христа по своей недосягаемости останется вечным и вечно будет влиять на души, ищущие мира чрез внутреннюю связь с Божеством, мы ни минуты не можем сомневаться и в том, что этому учению суждено быть неугасаемым маяком на извилистом пути нашего прогресса.

Но если идеал вечен и не от мира сего, а путь прогресса не прям, а извилист, то возможно ли было человечеству в переходные эпохи его жизни усвоить себе и глубоко прочувствовать всю суть христианской веры? Чего не встречало оно на своем земном поприще?

Христос, как человек, был еврей: очевидно, любил свое земное племя, не опровергал закона Моисеева, соблюдал и требовал соблюдения заповедей, совершал еврейские обряды, но преследовал фарисейство и саддукейство, то есть преследовал доктринерство, внешнюю обрядность,

внутреннюю ложь и грубую чувственность саддукейства и, вероятно, отдавал предпочтение секте ессеев (аскетов).

Но государственному строю евреев суждено было существовать уже недолго, и предопределение – не случай – вывело христианство после падения Иерусалима, но вместе с рассеянием еврейства, на всемирное поприще, и предопределено было вывести его на это поприще при наступившем наплыве в древний мир свежих варварских племен. Если первобытные христиане-евреи, а с ними и римляне, как видно из Тацита, смотрели на учение Христа более с своей, еврейской, точки зрения, то немудрено, что язычники – греки и римляне, делаясь христианами, вносили с собою в новое учение свои прежние языческие понятия и обряды. Политеизму и жречеству не легко было оставаться без олицетворений и жертв. Толкования веры Христа сделались одно превратнее и темнее другого, а восточные народы ввели и дуализм, не чуждый, впрочем, и монотеизму.

Наконец, христианской церкви, обратившей варваров в христиан, суждено было самой сделаться государством в государствах, стать во главе правлений и спуститься с высоты своего идеала низко, низко, на землю.

Можно ли же полагать, что первые века христианства должны служить образцом чистоты учения Христа? Можно ли утверждать, что учение это, вышед из уст Спасителя, тотчас же было принято, усвоено и прочувствовано народами во всей его идеальной чистоте? Не противоречит ли этому то, что самые близкие ученики не всегда понимали Учителя, и обещаемое Им Царство Божие переносили в Иудею? Не был ли сам Спаситель в глазах многих из своих современников сыном плотника из Назареи, от которого нельзя было ожидать ничего особенного? Не говоря уже о римлянах, незнакомых с религиею евреев, не придававших, очевидно, никакой важности учению Христа, могло ли и большинство самих евреев признать в своем соотечественнике Иешу-Мессию, когда Он допустил Себя, как преступника опозорить, осмеять и распять?

Обыкновенно принимают, что чем старее вера, тем лучше. И это правда; для веры необходим консерватизм более всего, чтобы действовать ею на массы. Вера отцов для них магическое слово. Поэтому для государства важное дело поддерживать старую веру как сильнодействующее средство консерватизма. В интересах жрецов государственной веры и церкви также лежит держаться, сколько можно крепче, прежних взглядов на веру, установленных веками догматов, обрядов и обычаев.

Но, несмотря на все это, мне кажется, христианину нельзя сомневаться. Вечный, неземной и никогда недостижимый идеал его веры должен постепенно освобождаться от наростов времени и делаться более и более ясным для людей всеми его благодатными следствиями. И я полагаю, как ни извилист путь человеческого прогресса, христианство, несмотря на препятствия, встреченные им на этом пути, и на временные реакции неверия, грубой чувственности и зверства, много, чрезвычайно много очистило нравственность и прояснило наши мировоззрения, взаимные отношения народов и государств.

Свобода совести, свобода расследования истины, уничтожение рабства и невольничества, возвышение личности, снисхождение и милосердие к побежденному врагу, дела общественной благотворительности – все это делалось и делается в течение 18-ти с лишком веков под эгидою христианства. Поэтому, как бы догматизм и обязательности государственной церкви, иерархизм, обрядность мне лично ни казались противными духу учения Христа, я не должен увлекаться моими личными склонностями и не вправе не признать все эти явления на почве христианства необходимыми. Поневоле приходится убеждаться, что все существующее разумно, т.е. причинно.

Правила и кодексы нравственности, к которым приравнивают иногда учение Христа, так отличны от него по своим целям и тенденциям, что не знаешь, чему более удивляться: близорукости ли взгляда, или желанию во что бы то ни стало унизить и профанировать высочайшие из идеалов.

Все нравственные правила, древние и новые, основаны на одной внешней правде; за отклонением от них следует наказание или непосредственно, или когда проступок обнаружится для других. Не воруй, а украдешь, то штраф; не убей, а убьешь, то самого повесят; главное правило – не делай другому, чего не хочешь, чтобы сделано было тебе самому. Если же отклонение твое от главного правила нравственности и не будет никем открыто, то и тайное оно повлечет наказание для тебя в виде недовольства, угрызения совести. Если же, – прибавляет кодекс, – причинив зло ближнему, ты обошелся без наказания и без угрызения совести, то не забудь – есть Немезис[1] и правосудие на земле. Рано или поздно зло будет наказано, добро награждено. За Богом молитва, за царем служба не пропадает.

По-видимому, и в нравственных кодексах дело идет не об одной внешней правде: говорится и о внутреннем недовольстве, о совести, даже о божественном правосудии. В сущности, идеал нравственности остается внешним, прикованным к земле, и потому всегда более или менее достижимым. Спаситель и не отвергал его. Тому богатому юноше, который для своего спасения спрашивал, что ему делать, Христос прежде всего советовал исполнить нравственный закон Моисея, и только когда последовал высокомерный ответ: «Я все это исполнил», сказано было: «Раздай все и ступай во след Меня». Это и значит: исполнив внешние требования нравственности и закона, ступай далее и возносись выше, если можешь; а не можешь, то и тогда еще не теряй упования. От Бога все возможно, сказано ученикам, сомневавшимся в возможности спастись богатому человеку.

И вот, выше законов нравственности, непостоянных, нетвердых, подлежащих толкованиям, обходам, уступкам и разного рода лазейкам, поставлен был совершенно в другой сфере идеал неземной и вечный, – будущая жизнь и бессмертие. Признание идеала веры верующим долж-

[1] Немезида (гр. Nemesis) – в древнегреческой мифологии – богиня возмездия, карающая за преступления; возмездие, неизбежная кара.

но быть полное и безусловное. А для врача, ищущего веры, самое трудное уверовать в бессмертие и загробную жизнь. Это потому, во-первых, что главный объект врачебной науки и всех занятий врача есть тело, так скоро приходящее в разрушение; во-вторых, врач ежедневно убеждается наглядно, что все психические способности находятся не только в связи с телом, но и в полной от него зависимости; в-третьих, принимая существование в нас бессмертного духа, мы должны принять и в высших классах животных присутствие подобного же элемента, так как присутствие многих душевных способностей у животных неоспоримо, и это предположение будет тем необходимее для нас, чем более мы будем убеждаться в происхождении нашем от животного. Вольтер грубо, но метко выразил это, свойственное всем врачам сомнение: «Находили ли вы когда-нибудь, доктор, при ваших исследованиях бессмертную душу между мочевым пузырем и прямою кишкою?» Вопрос нелеп и смешон; но он непременно в том или другом виде представляется анатомам, физиологам и практикам.

Да, врачу, да, пожалуй, и большинству культурного общества, привыкшим основываться на индукции и наглядности, не легко поверить в загробную жизнь, тем более что по исследованиям нервной системы оказывается, что и жить-то там некому; существование особенного духовного начала в организме есть только гипотеза, принимаемая еще наукою как «x», покуда ничем не замененный.

Но, в сущности, еще ни одно из этих сомнений не убедительно, пока мы не узнаем точного различия между жизнью и смертью, или не узнаем, что такое жизнь. Об атомах вещества мы уже знаем, что они бессмертны, хотя и не знаем, что они такое. А когда пред нашим всеразъедающим анализом вещественные атомы делаются, наконец, отвлечением (абстрактом), то кто решит: где границы между вещественным и духовным элементом.

Врачу, я сужу, впрочем, по себе, знающему по опыту, как легко остановить механизм животной машины на полном его ходу, всего скорее может придти мысль о зависимости этого механизма от присутствия какого-то неведомого, чего-то вроде электрического тока или светового эфира, колебаниями атомов которого поддерживалось и действие всего механизма. У одних особей эти колебания невесомого элемента в животном механизме совершаются как будто скорее, у других — медленнее; у одних колеблющиеся атомы невесомого проникают как будто все ткани глубже и, соединяясь как будто теснее с ними, делают всю машину прочнее и способнее противостоять разрушению и смерти; у других же особей связь невесомого с организмом до того слаба и, так сказать, поверхностна, что малейшее насилие легко ее прерывает и губит жизнь. Эта гипотеза не может казаться странною уже и потому, что она соответствует и понятию (по крайней мере моему) о сущности самого вещества. Умственный анализ, разлагая материю до крайних ее пределов, превращает ее атомы в какие-то математические точки или центры, до того отличные от подлежащего нашим чувствам вещества, что различие между ним и тем, что мы называем силою, духом, исчезает.

Я знаю, что такой взгляд не соответствует философскому и религиозному взглядам на дух, под именем которого разумеют отвлеченное и совершенно противоположное материи начало. Косность, инерция, изменяемость, делимость и т.п. свойства вещества несообразны с свободою, неизменностью, беспредельностью и т.п. духа. И для меня невозможно сделалось остановиться на анализе одной материи и отвергнуть необходимость существования высшего духовного начала как источника разума, воли, чувства и жизни. Но об этом, принимаемом по необходимости умом, абстракте мы не можем уже иметь никакого представления. Принять же, что это требование нашего ума, это чисто отвлеченное начало, названное духом только по обманчивому и ложно воображаемому сходству с чем-то летучим, похожим на воздух, газ, дыхание, пар и т.п., приходит прямо и непосредственно в тесную связь с грубым веществом, мне кажется абсурдом.

Ум моего склада гораздо легче допускает, что связь, не подлежащая сомнению, вещественного организма с отвлеченным началом, ускользающим от нашего представления, происходит посредством особого, так сказать, переходного начала, более близкого по своим свойствам, к веществу, и потому легче представляемому нами, но ускользающего от точного научного расследования.

Я иду еще далее и представляю себе не невозможным, что атомы невесомого элемента (икса), оставляя органическую машину без действия, сами могут удержать на себе ее облик и некоторые ее психические свойства, изображая собою как бы отпечаток того организма, который они оживляли своими колебаниями. Как ни фантастично это представление, но нельзя же не иметь никакого представления о предмете, так близко и глубоко касающемся нас. Правда, мое: «ни Богу свечка, ни черту радость», прежде всего оно более или менее напоминает о мистицизме. Что за дело – слов пугаться нечего. Что такое мистицизм? Такое же свойство человеческой души, как и вера вообще. Верить и можно только в неразгаданное, как не разгадано и самое свойство веры. Мы знаем только наверное, фактически, что есть в человеке современном (про будущего человека мы ничего еще не знаем) потребность верить, любить, надеяться; а откуда она берется, ее источник, мы ищем поневоле там, где-то выше нас, потому что в нас самих, в наших нервных центрах или других органах, служащих только к проявлению этой потребности, мы источника ее не обретем. Еще, к нашему счастью, нам дана способность привыкать к часто повторяющимся впечатлениям и не заниматься ими, и поддаваться постоянным иллюзиям и миражам. Не будь этого, мы все бы сделались такими же мистиками, как современные ультраспириты или как *Эккартсгаузен*[1] и мадам *Крюднер*[2].

---

[1] К.Эккартсгаузен (1752–1803) – немецкий писатель, автор теософских и алхимических сочинений.

[2] В.-Ю.Крюденер (1760–1824) – писательница, автор многочисленных религиозно-философских текстов, проповедница, духовная вдохновительница «Священного Союза» в 1815 г., имевшая большое влияние на Александра I, организатор религиозных собраний в его царствование в Петербурге.

В самом деле, разве все окружающее нас нам действительно понятно и ясно? Мы только привыкли к нему, и постоянная иллюзия, с которою мы наслаждаемся жизнью, не думая о ее непроницаемой таинственности, предохраняет нас от увлечений веры в чудесное, ведущих к душевной тревоге и сумасшествию.

Да, слава Богу, что большая часть того, что мы ощущаем и сознаем, кажется нам простым, ясным и естественным. А сверхъестественного при таком убеждении и существовать не должно; таким было бы, по тепершним нашим понятиям, не только то, что противоречит известным уже нам законам естества, а и впредь имеющимся сделаться известными.

Но нет такой эпохи в истории развития культурного общества, в которую не проявлялось бы периодически, в виде душевной эпидемии, влечения к чудесному. Весьма характерно при этом то, что степень верования в чудесное в эти периоды вовсе не соответствует степени приобретенных уже наукою или передовыми ее людьми знаний. Кто мог бы, например, поверить, что в конце XIX-го века люди науки вполне верят в то, чему никто не поверил бы в начале этого века? Так, знания наши о предметах, сильно затрагивающих наше «я», непрочны и поколебимы.

Отвергать одно, потому что мы убеждены в несомненности противоположного ему другого, – дело опасное. Как бы то ни было и как бы недоверчиво мы ни относились к спиритизму, с одной стороны, и к учению церкви о загробной жизни – с другой, я, не отвергая ни того, ни другого, считаю невозможным признать нечто вещественное (в моем смысле) в нашей загробной жизни, и вместе с тем верую, по крайней мере, стараюсь верить и прошу Бога даровать мне эту веру, в духовную загробную жизнь, и как отвлечение для нас непостижимую.

Так верить я обязан как христианин; она – венец учения Христа; идеал веры в загробную жизнь поставлен Им; не умирая, мы достигаем конечной цели нашей жизни. Вот суть учения. Мы не судьи наших действий. Истину узнаем только за гробом; там и узнаем, соответствовала ли наша жизнь ее истинной цели. Органические страсти с их увлечениями и чувственность вещественного бытия, перестав существовать, дадут возможность нам стать к истине лицом к лицу; это не то, что стоять лицом к лицу с нашею совестью здесь, живя вещественно: там придется иметь дело с самою истиною, которой мы так добиваемся здесь и вместе с тем стараемся ее избегнуть.

Учение Христа в применении его отвлеченного и загробного идеала к нашей жизни, на каждом шагу встречается с громадными и непреодолимыми препятствиями для верующего. Это и не могло быть иначе; это зависело и от свойств идеала. Он должен остаться недостижимым и вечным. Идти дальше и выше его нельзя уже, некуда. Понятна от этого чрезвычайная трудность применения к практической жизни. Блудный сын, блудница и разбойник на кресте показывают, однако же, как сам Учитель относился к неисполнимости Его учения на деле.

Странно, когда я сомневался и не верил, я более делал добра, вернее, делал его бескорыстнее, без всякого мотива или только из любви к науке. Так, бесплатная практика была у меня в то время делом научного

интереса. Самопожертвование для общей пользы я решился делать также бескорыстно. Но любви к людям и жалости или милосердия в сердце тогда у меня не было. Все это пришло, как опишу в моей биографии (в 1830–1850 годах), постепенно, вместе с развитием потребности веровать; но именно с того же времени опыт жизни развил во мне при всем желании делать добро какой-то страх быть обманутым.

В этом страхе и недоверии, невольно проникающих в душу, я вижу слабую сторону применения учения Христа к практической жизни. Стремясь всеми силами души творить добро ненавидящим нас, жертвовать собою из любви к другим, немногие не сознают внутренне опасности принести себя в жертву не добру, а злу. Только искренние аскеты, равнодушно смотрящие на практическую жизнь с ее добрыми и злыми влечениями, могут без всякой задней мысли, без страха и опасности, из чистой, отвлеченной любви, творить добро и жертвовать для других собою. Между тем, при мировоззрении нехристианском, самопожертвование и другие подвиги добродетели совершаются с меньшим насилием над собою; например, отомстить за другого или за целое общество, восстановить права народа, принеся себя в жертву, фанатику нехристианину будет стоить меньшего труда и насилия над собою, чем христианину.

Слова Спасителя: «Вы злы» – живым упреком ложатся на моей совести, когда страх быть обманутым удерживает меня сделать добро. И этот заслуженный упрек вместе с недоверием к делаемому добру раздирают душу, так что практическому христианину едва ли можно быть недвоедушным, конечно, не в крайне худом значении этого слова.

Между тем учение Христа, помимо его недостижимого идеала, имеет, очевидно, и практическое значение. И вот тут-то, на жизненном его поприще, мы встречаемся с самыми разноречивыми, доходящими до нелепости, воззрениями и применениями на практике всех этих воззрений. Каждое из них ищет и находит себе основание в тексте самого Евангелия. Самые туманные и угрожающие полным разрушением существовавших испокон века основ общества доктрины созидались на учении Христа. Если не ошибаюсь, в первых веках христианства была распространена знаменитая доктрина: «все мое – твое»; нечто подобное, но на более научном фундаменте, созидается и в наше время; причем, смотря по надобности, зодчие нового специального здания могут также указать, подобно их предшественникам, на учение Христа.

Как на контраст этой социальной нивелировки всех благ земных, можно указать на разъяснение словами Спасителя: «Отдайте кесарю кесарево и Божие Богу» – отношений церкви к государству и подданных к разноверным властям.

Богачи, разживающиеся на счет бедняков, могут утешиться изречением: «Имущему дастся, от неимущего отнимется». Даже враги и ненавистники могут сослаться на пророческие слова из Евангелия: «Вношу не мир, а вражду брата против брата, сына против отца».

Мало этого: грубейшие уродования здравого смысла и тела, как самооскопление, и те ищут себе оправдания в словах Евангелия. Неда-

ром же папство и наш Синод так неохотно допускали распространение Евангелия и Библии на народном языке; хотя замена религиозного фанатизма идиотизмом повела еще к большему оглуплению народной фантазии.

Все эти нелепые стремления к поискам в учении Христа основ для нелепых и безобразных произведений фантазии теряют свой raison d'être для того христианина, который, уверовав в божественную натуру Учителя, тем самым признает за Ним и Высший (Верховный) Разум. Хотя некоторые и толкуют слова Спасителя *о нищих духом* так, как будто бы они (т.е. слова) относились исключительно к французскому esprit. Но, по-нашему, нищий духом еще не нищ умом. И умный может быть смирен, кроток и простодушен. Поэтому я и никогда не соглашусь из богопочитания думать, что Верховный Разум обещал блаженство только дуракам.

Почитая источником нашего ума мировой, вселенский и Верховный Разум, веруя, что он же самый в виде Богочеловека, просветил и нас, христиан, своим учением, я не могу признать основанным на этом учении ничего такого, что простой, но здравый наш ум находит глупым, пошлым, нелепым, уродливым, отвратительным и безобразным. Правда, можно верить и в абсурд. Но абсурд в смысле Тертуллиана не есть еще пошлая нелепость и уродливая безобразность невежественной фантазии. Абсурдом может быть и самое высокое, если оно противоречит нашим современным и, как история убеждает, изменчивым мировоззрениям. Абсурд, например, дьявол, как противник и антагонист Верховного Разума, Добра и Верховной Воли Творца; но верить в этот абсурд, и не признавая его умом, можно. Сам Христос, как равви евреев, не мог не верить в дьявола и, сообразуясь с понятиями своевременного и соплеменного ему народа, должен был и изгонять бесов из беснующихся (а по нашим понятиям – душевнобольных). Следует ли из этого, что и современный нам христианин должен также верить в беснование, заклинания бесов и т.п.?

Но уже не абсурдом, а нелепостью было бы полагать, что Спаситель, обещавший верным последователям Его учения Свое Царство «не от мира сего», вместе с тем предлагал и коренной социальный переворот, заставив богатых раздать свое имущество нищим и сделаться всем нищими. Это предлагалось, очевидно, одним избранным для Царства не от мира сего, сверх исполнения закона стремящимся всею силою души достигнуть неземного идеала учения. Еще бессмысленнее было бы полагать, что Верховный Разум, сотворивший природу, одобрял бы грубое нарушение законов природы.

Мне кажется большою ошибкою, что наши христианские учители оставляют как-то в стороне, по моему мнению, главное, – это различие между божественно-идеальными основами учения Богочеловека, вечными, непоколебимыми и недостижимыми в этой земной жизни Христа, как человека и еврея. Не надо забывать, что жизнеописания Его, составленные также евреями большею частию по преданиям и рассказам, не могли дойти до нас в их первобытном виде. Несмотря на это,

божественный идеал учения ясно продолжает светить через тьму веков. Эта-то самая светлая и прикосновенная сторона божественного учения и должна служить светочем верующего.

Блажен, кто верует, – тепло ему на свете. Эти, хотя не совсем кстати и в насмешливом тоне сказанные слова потрафили в самую суть. Да, именно тепло верующему на свете.

Ему нет надобности в искусственном топливе для согревания души. Кто хотя раз прочувствовал эту благодатную теплоту, тот не перестанет веровать, хотя бы пришлось ему выдерживать, ежедневно и по нескольку раз в день, напор сомнений и мучительную качку между небом и землею. Сомнения и качка эти сопровождают и дела, и молитвы, и являются и днем, и ночью. Испытав их, можно себе составить некоторое понятие о происхождении дьявола.

Я думаю, всякий испытал на себе, как внезапно и безотчетно, подобно сновидениям, злые, паскудные и подлейшие мысли выплывают из какого-то омута в тот самый момент, когда думаешь о чем-нибудь другом, нисколько не подходящем к категории этих фантомов мышления. Иногда они исчезают так же быстро, как появились; но иногда остаются на поверхности настолько долго, что невольно обращают на себя наше внимание. Неужели же, – спрашиваешь тогда себя, – я такой подлец и злодей, что во мне могут скрываться такие позорные мысли? Начинаешь раздумывать на эту тему; очевидно, ложь, клевета на себя; оказывается, что не подавал никогда ни малейшего повода себе так думать о себе; что-то постороннее, как будто извне пришлое, явилось, черт знает зачем, пошевелилось минуточку и исчезло.

Не то ли же самое нам сообщается с ранних лет об искушениях дьявола? При простом уме и фантазии, низшей степени образования и других условиях кажущаяся внешность и посторонность таких внезапных, ничем не объясняемых мыслей, может достигнуть того, что олицетворение (то есть полное отчуждение от себя) делается неизбежным.

Что касается до меня лично, то появляются ли эти призрачные мысли во время занятий, или во время молитв, – я первым делом стараюсь не обращать на них ни малейшего внимания, – тогда они исчезают недосказанными на полуслове; тут много значит также знакомство с собою; зная себя, можно своевременно не дать вниманию поймать себя в подставленную воображением ловушку. Богомольцы и дьячки поступают вовсе не так глупо, как это кажется, повторяя по сорока раз: «Господи, помилуй»; они механическим способом не дают своему вниманию сосредоточиться на какой-либо мысли, и для них одни слова оказываются спасительнее мысли.

Человек, рассматривающий себя как двурукое животное, может легко успокоиться насчет злых мыслей, невольно и неизвестно откуда к нему приходящих. Для животного, как и для Верховного, Вселенского Разума, – lex extrémités se touchent[1], – нет добра и зла; различие добра от зла исчезает даже и для менее разумных властителей, государственных

---

[1] Крайности сходятся (франц.).

людей и завоевателей. Откуда же взялась такая надобность различать доброе от злого для людей средней руки? Не видят ли несчастные мученики своих идей, что следствия того, что им кажется злом, совершенно различны, и что после громадного зла они могут быть и очень благие.

Рассматривая так это кажущееся зло с разных сторон, можно, пожалуй, прийти и к философии доктора Панглосса[1]. Но можно и, наоборот, таким же способом, сделаться и отъявленным пессимистом. Значит, произвол, как хочешь, – можно и так, и этак. Не лучше ли бросить все эти ни к чему не ведущие попытки, сделаться позитивистом и философствовать только о том, то подлежит точному расследованию и знанию, то есть всю жизнь основать на положительном знании и оставить неразрешимое в покое, как ему и быть надлежит, неразрешенным?

Прекрасно, но что же делать тому, чей склад ума не укладывается в эту рамку? Господа, господа реформаторы и властители наших дум! Позаботьтесь сначала, для культуры ваших учений, уничтожить эту прискорбную индивидуальность, столь препятствующую обожаемому и ожидаемому вами прогрессу! И пока вы еще не придумали способа производить на свет людей одинаковыми, до тех пор не удастся их и стричь под один гребень. Пока стадные свойства и стихийные силы, не знающие никакой индивидуальности и стригущие все под один гребень, не осилили еще человеческой личности, до тех пор все индивидуальные свойства будут искать себе простора и права на жизнь. Так и с желанием узнать, что добро, что зло, знакомом, как полагают евреи, еще прародительнице Еве. Народы поняли необходимость этого неугомонного желания прежде мудрецов.

В этом отношении весь мир распадается на два противоположных лагеря; один, все нивелирующий, не делает и не знает никакого различия; другой поневоле стремится различить добро от зла, не зная и чувствуя, что никогда не узнает искомого. И вот борьба. С одной стороны, стихийные силы, стадные и животные инстинкты, с другой – разумное человеческое понятие, стремящееся проникнуть в сущность каждого явления, найти его законы и raison d'être.

Я сказал, что для животного нет добра и зла, разумного понятия о добре и зле, служащего основою нашей нравственности. Но это самое понятие, названное в Книге Бытия познанием, основано на чувстве, свойственном и животному; я думаю, не обинуясь, можно сказать, как только органическое вещество получает способность ощущать, оно с тем вместе уже содержит в себе in statu nascendi чувства добра и зла.

Понятию, конечно, должно предшествовать чувство, и снабженное чувством вещество (органическое) делается для самого же себя пробным камнем, на котором оно испытывает содержание добра и зла в стихийных началах. Первые следы чувства добра и зла являются под видом приятных и неприятных ощущений, свойственных, как видно, самым низшим организмам. Бессознательно и невольно стремится,

[1] Панглосс – персонаж романа Вольтера «Кандид, или оптимист» (1759), считавший, что мир, созданный Богом, совершенен, и люди живут в лучшем из миров.

следуя приятному или неприятному ощущению, организм животного, и эти инстинктивные его стремления принимают чисто стихийный характер, под видом стадных свойств и борьбы за существование. Стремясь к ощущению приятного, сопровождающему удовлетворение органических потребностей стада, и стада животных идут, плывут, бегут, летят напролом, не разбирая уже и не отличая, стихийно. Поэтому стадноинстинктивные свойства животного организма, хотя основанные на том же начале, как и наше понятие о добре и зле, я отношу к одному лагерю с стихийными.

Существование зла уже ясно ощущается организмом, получившим печальную способность страдать. Наконец, ощущение это усваивается нами уже как понятие, когда мы научаемся страдать душевно. И сколько я ни думал бы, мне кажется, не придумаю лучшего определения злу с нравственной точки зрения, как назвав его душевным горем, душевным страданием и душевною мукою (смотря по степени). Все то, значит, вне и в нас зло, что причиняет нам страдание, и, судя по себе, мы должны признать то же самое и для других, нам подобных; мы, как внешние для них, можем сделаться сами для них носителями зла.

В конце концов, зло есть, прежде всего, органическое, а потому и душевное свойство. Но, признавая необходимость существования духа, как начала, не имеющего ничего общего с свойствами вещества, мы должны тем самым признать, что для духа нет зла, и разум, отличающий его от добра, делает это потому только, что он наш, и не может судить, не ощущая и не завися от вещества. Что же после этого заключения могу я думать о том значении, которое придает учение Христа различию добра от зла; не служит ли оно основным камнем учения в применении его к жизни?

И самая загробная жизнь, по учению Христа, не будет ли продолжением того же понятия о добре и зле, которое составлено нами в здешней жизни? Но как же в то невещественное наше существование последует за нами понятие, приобретенное вещественно, чрез ощущение? Да мало ли вопросов возбуждает скепсис умственного анализа в деле веры!

Но вера с ее высшим идеалом так сильна, что идет своим путем, не обращаясь к разъедающему анализу. Спасителю никто не мог предложить скептических вопросов; Он учил не в среде греческих софистов и в Своем откровении сообразовался с понятиями народа, которому благовествовал; на вопросы же книжников отвечал или уклончиво, или, по восточному обычаю, притчами, иносказаниями и сентенциями; неверующих же поражал своими делами. Спаситель не вдавался в догматические толкования, предоставлял свободу мысли последователям Своего учения, требуя только чистосердечия, искренней и горячей любви, сочувствия и ревности к распространению душеспасительного учения.

Рассуждения и толки о душе, предполагавшейся у животных, и о душе и духе, предполагавшихся в человеке (апостол Павел) предопределением, присоединены к учению Христа впоследствии апостолами и отцами Церкви. Поэтому я вправе утверждать, что и верящие в предопределение, и основывающие все наши действия, а, следовательно, и свое

спасение на *свободной воле* человека одинаково могут опираться на учение Христа, не нарушая основ веры.

Свобода! Свобода! Прекрасное волшебное слово, волнующее народы, что ты такое?

Опять то же – ощущение, и очень приятное сначала, как и все ощущения на свете, органическое, потом духовное. Пока оно остается первым (т.е. органическим), еще нетрудно найти и его отношения к вещественной подкладке; но как скоро оно теряет эту прочную почву и начинает превращаться в духовную свободу, анализ делается шатким, хотя ощущение этой свободы и остается сходным с тем, которое возбуждает в нас органическая свобода.

Но если свобода есть одно ощущение, то воля есть и ощущение, и действие. Мы, когда чего хотим, то чувствуем свободными не только наше желание, но и следующие за ним действия. Тут, однако же, при анализе является целая масса недоразумений.

Свободна ли воля?

Вопрос собственно неразрешимый; чтобы решить его, надо сделать себя в одно и то же время и субъектом, и объектом; надо самому обстоятельно распотрошить себя, не говоря уже о необходимости и других вспомогательных вивисекций, источниках исследований нервно-центральных элементов и т.п.

Воля как ощущение бывает и сознательная, и бессознательная. Как мыслить, так и хотеть мы можем бессознательно. Это понятно, но на деле выходит так или как будто так; мы во многих случаях и мыслим (правильно) и хотим, и вследствие этого действуем, не сознавая, то есть не чувствуя, не ощущая, что сознаем. Вот тут-то и оказывается, что у нас есть не только сознание, но и ощущение сознания (самосознание) или, пожалуй, сознание сознания, отличающее нас от животных, о чем я уже говорил выше.

Я различаю, может быть, и неосновательно, но для меня внятно: *хотеть, желать*. Хотеть можно и сознательно, и бессознательно, но всегда с действием; желать же можно только сознательно и строго анализируя, всегда без действия. Недаром в царствование Николая Павловича я никогда и ни от одного солдата в госпитале не слыхал слова: «я хочу». «Хочешь есть?» – спросишь, бывало. – «Не желаю, ваше превосходительство», – слышишь ответ.

Не может же быть, чтобы это было случайно. Да, желать можно только сознательно и, собственно, без действия; но переход от *«я желаю»* к *«я хочу»* так может быть быстр, что его не всегда можно уловить, и потому иногда и желание (как хотенье) может быть действующим. Я замечаю мельком яблоко на дереве, и мне приходит желание его сорвать; тотчас вследствие этого желания начинают действовать у меня глаза и руки; это значит – желание мое передалось тем частям мозга, в которых локализуется способность приводить в движение мышцы моих глаз и рук и направлять их на желаемый предмет.

В чем же состоит локализация, если она так несомненна, как это можно полагать, судя по современным исследованиям?

По-моему, локализируется в мозгу не только механизм (в роде гальванического прибора), возбуждающий к действию ту или другую группу мышц, но локализирована еще и самая воля над действием этого механизма. Если так, то желание, как функция сознания, передается локализированной воле, а она, то сознательно, то бессознательно для нас, закрывает или открывает гальванические цепи приборов и приводит в движение мышцы глаз и рук. Движениями же моих глаз, управляемых бессознательною волею и мыслию, я соразмеряю пространство и положение яблока, а сознательными уже движениями рук направляю их к яблоку, чтобы его сорвать.

Но и сознающееся нами действие, так же как и бессознательное, может быть следствием несвободной воли. Я хочу поднять руку, ногу; могу и не хотеть; или могу сейчас же захотеть и тотчас же расхотеть.

Значит, я свободен хотеть.

Да так ли? Вот вопрос. Могу ли я не хотеть именно того, чего хочу? Не обязан ли неминуемо, не должен ли я, прикованный цепью всего предшествовавшего, хотеть именно так, как хочу? Во-вторых, допустив возможность не желать, «иметь желание» остается весьма сомнительным; можно ли, желая чего-нибудь, хотеть или не хотеть этого желания? То есть, может ли сформированное ясно желание быть и не быть перенесенным на локализированный в мозгу прибор воли?

Ведь самое главное – могу ли я не сознавать себя произвольно по собственной воле? Конечно, нет. Сознание для меня обязательно в нормальном состоянии, значит обязательно и все то, что подлежит сознанию, что находится в его ведомстве. Поэтому я и не могу не хотеть, насколько воля моя сознательна. Воля моя, сверх этой зависимости от моего сознания и от внешних условий, влияющих на сознание, а потому и на волю, зависит еще, равно как и мысль, от неуловимого, но несомненно существующего влияния различных органов на центры локализированной в разных частях мозга воли.

Дух свободен, и не может не быть таким, но его орган играет только так, как допускает его устройство и все предшествовавшее этому устройству. Но нам нельзя бы было ни жить, ни действовать по-нашему, без благодетельной иллюзии, заставляющей нас твердо верить, что мы свободны желать, мыслить и даже поступать произвольно, вернее – волесвободно; произвольно – это arbitraire, а spontané freiwillig – это волесвободно. А свобода эта – невидимая и неощущаемая нами цепь.

Как, в самом деле, могло бы быть свободным существо, по устройству своего организма осужденное ощущать и сознавать себя непроизвольно?

Правда, оно может прекратить такое подневольное существование, но свободы ему здесь на земле все-таки это не даст.

Итак, все обязательно предопределено, механизм машины заведен; следует повиноваться и жить в мирном самообольщении.

Что же тогда вера, упование, благодать и молитва?

Ответ: такое же обязательное предопределение. Веруй в любовь и уповай в благодать Высшего Предопределения; молись всеобъемлющему

Духу любви и благодати о благодатном настроении твоего духа. Блаженство, счастье, мир души – все в этом настроении. Ни для тебя, ни для кого другого, ничто не переменится в свете – не стихнут бури, не усмирятся будущие элементы; но ты, но настроение твоего духа может быть изменено полетом души, окрыленной верою в благодать Святого Духа.

Действие молитвы на меня, я полагаю, в центробежных и центростремительных колебаниях души, то увлекающейся куда-то в высь, то с новою силою возвращающейся в себя. И из всех молитв самая благодатная завещана нам Спасителем; произнося ее, я призываю Имя и Царство Божие к себе и молю сообщить мне то настроение души, которое охранило бы меня от искушения и зла.

Но если все предопределено и неизменно, то задняя мысль о несостоятельности молитвы разве не нарушит мира и спокойствия души в то самое время, когда молишься? Нет, и еще раз нет, если проникнешься верою в благодать и ее благодетельное действие на настроение души.

И вот, когда ни одно предопределенное горе, ни одна предопределенная беда не могут быть устранены от тебя, ты все-таки можешь остаться спокойным, если благодать молитвы сделает тебя менее впечатлительным и более твердым к перенесению горестей и бед.

Не безумно ли, не бесчеловечно ли отнимать у себя и у других ведомо целебное средство, потому только, что оно не укладывается в рамки доктрины, еще далеко не раскрывшей правды? Да как бы то ни было точно и неоспоримо учение, основанное на чувственном представлении (опыте) и на анализе ума, мы не можем и не должны, посвящая себя этому учению, оставлять нетронутыми и неразвитыми другие потребности духа; они, попранные и пренебреженные, рано или поздно громко заявят о восстановлении своих прав. Это я испытал на себе и откровенно сознаюсь себе; но знаю много примеров, из которых заключаю, что и несознающиеся не менее моего потерпели фиаско, стараясь оставаться последовательными принятому однажды учению.

Если я спрошу себя теперь: какого я исповедания? то отвечу на это положительно: православного, – того, в котором родился и которое исповедовала вся моя семья.

Но, утверждая это, я не могу не различить два для меня не совсем тождественные понятия. Я полагаю, что каждый гражданин государства, имеющего свою государственную (господствующую) церковь, если он родился в лоне этой церкви, обязан остаться ей верным на целую жизнь, как гражданин; его внутренние убеждения, его сомнения, его мировоззрение, не соответствующее догматам исповедания данного ему при рождении, тут ни причем.

Если вся история и жизнь государства требовали от него признания господствующей церкви, то есть требовали не допускать полнейшей свободы совести и веротерпимости, то, по-моему, не только противозаконен внешне, но и внутренне несправедлив будет изменяющий свое исповедание.

Неполная свобода совести в государстве, какого бы то ни было христианского исповедания, есть только дело времени; она не может не

быть, и если не существует, то только по одним политическим (и обыкновенно неверным) соображениям, противоречащим слишком явно духу учения Христа, и потому временным и преходящим.

Грех ли же это перед Богом, если я отличаю как гражданин и как человек догматическое исповедание учения Христа, принявшее государственную, так сказать, оболочку, от духа, идеала и сути самого учения? Ведь и церковь, и исповедание, к которым я от роду моего принадлежу, не будут отвергать идеал и дух учения Христа, — это всеобъемлющая любовь к Богу и ближнему, вера в благодать Духа Святого, в божественную натуру Спасителя, бессмертие души и загробную жизнь.

Неужели же господствующая церковь, в таком случае, не будет руководствоваться правилом того же учения: «кто не против нас, тот за нас» (т.е. наш)? Не следовать этому правилу — значило бы признать за собою полную неверотерпимость и принуждение совести, ни в чем тут неповинной.

Как я сам, несмотря на мое мировоззрение, отличное от церковного, признаю себя все-таки сыном господствующей церкви, по рождению и подданству, считая несправедливым и противозаконным покидать ее лоно, так и самая церковь, верно, не захотела бы насиловать мою совесть, требуя от меня отречения от моих убеждений и верований, которых я достиг после долговременной и лютой борьбы с самим собою.

Пора убедиться и иерархам, что непогрешимости нет на земле.

Был Один — нравственно непогрешимый и безгрешный, но Его мучительски убили иерархи же прежних времен, и тем доказали, что непогрешимость — не для земли. Оставшийся после того и переданный нам Новый Завет «не от мира сего», основанный Непогрешимым, не требует ни от кого непогрешимости, допуская к себе все искреннее и чистосердечное, хотя бы оно шло от блудных детей и преступных.

Мне останется всегда памятным мнение преосвященного *Иеринарха* (архиепископа Бессарабского) во время моего попечительства в Одессе. «Притчу о блудном сыне, — сказал мне преосвященный, — я считаю самою главною и наиболее поясняющею дух учения Христова». В самом деле, где, когда и каким моралистом и догматиком предпочитался блудный, глубоко падший, сын благонравному брату? Только горячо любящее сердце отца могло поступить так; только всеобъемлющая любовь могла оправдать блудницу и распятого разбойника; а что взамен этой целебной любви могут дать непогрешимость догматических церквей, папы, синоды и иерархи?

Каждому гражданину, от рождения уже причисленному к одному из христианских исповеданий, предстоит едва ли разрешимый когда-нибудь вопрос: как соединить в себе самую полную, самую искреннюю свободу совести, требуемую от него по духу учения Христа, с чистосердечною верою в непогрешимый авторитет догматической церкви?

Правда, при полной веротерпимости протестантства каждому гражданину не запрещен переход в другое исповедание, но, к какой бы церкви он ни причислил себя, авторитет ее, а, следовательно, и исповедуемых ею догм, должно будет признать над собою в целости. Но найдет-

ся ли хотя одно из существенных исповеданий, догмы, обряды и правила которого каждый член церкви мог бы признать чистосердечно непогрешимыми, вполне соответствующими духу учения Христа?

Индивидуальный склад души так бесконечно различен, что и самые близкие к Спасителю ученики понимали учение Его не все одинаково. Мы видим и теперь, какой сумбур верований и убеждений существует между протестантскими духовными; многие из них, усвоив себе точку зрения Штрауса и Ренана или подобную ей, все-таки причисляют себя (конечно, из политических и материальных целей) к христианским законоучителям и служителям алтаря; как ни слабы их мотивы и как ни скаредны их цели, но они правы; прежде всего – чистосердечие и искренность, без которых нет настоящей веры в Христа и Его учение; истина Его не может быть для искренно верующего только внешнею, – она должна быть внутреннею истинною правдою, которой не дает ни одно догматическое исповедание.

Резкие противоречия некоторых догматов, странность обрядов, односторонние обращения то к одному уму, то к одному чувству, отличающие разные христианские исповедания одно от другого, очевидно, не безразличны для разного склада души; но если бы взрослому и культурно развитому гражданину пришлось свободно выбирать одно из существующих христианских исповеданий, то он поставлен бы был в весьма затруднительное положение.

Выбор, конечно, зависел бы от индивидуальности; но будь избиратель человек не черствый, нормально развитой и не односторонний, он, верно, колебался бы между двумя мощными авторитетами: совести и ума. Авторитету ума другого легче покориться. Мы покоряемся ему, доверяя его знаниям, силе мысли, опытности, оставляя, впрочем, и для своего ума лазейку переседлать и перейти в другой лагерь, как скоро явится новый, более убедительный для нас авторитет.

Другое дело – авторитет совести. Чужая совесть – нашей собственной не указ. К чужой можно прибегнуть только в случае, за неимением ничего лучшего; это делается на суде присяжных. Опыт убедил, что совесть, хотя бы и чужая, в делах совести, т.е. внутренней правды, вернее внешнего ученого суда. Но когда человеку надо бывает судиться с самим собою, и только с собою, – тут иное дело. Тут судья – Всевидящее Око, – другого нема.

Исповедание и государственная церковь хотя и ставят себя на место этого судьи, но внушить свободному избирателю веру в свою непогрешимость исповедания и церковь могут не иначе, как путем ума, учения, науки. И вот, сильнейший авторитет, совесть в деле совести, подчиняется слабейшему.

Правда, церковь не государственная, а «единая святая соборная и апостольская» имеет за собою еще и благодать Святого Духа; но, чтобы удостоиться наития благодати, нужно быть избранным (предопределенным) свыше или уже верующим и принятым в лоно церкви; а тут свобода совести ни причем, и вольный избиратель исповедания и церкви остается в прежней нерешимости, что избрать; ум серьезный, рассудоч-

ный, холодный, конечно, остановится прежде всего на протестантстве. Он скоро убедится, что это исповедание легче всех других уживается с свободою совести, научного исследования и критики ума.

Но если ум избирателя не односторонен и допускает нормальное развитие и других способностей и стремлений души, то он также скоро убедится, что протестантство, в сущности, не вера, и даже не вероисповедание, а исповедание более или менее сильных убеждений, основанных на знании и учении, а, открывая свободный путь научному анализу и критике, протестантство неминуемо ведет к чистому рационализму (ультрарационализму), в область чистого разума, замкнутую для чистой веры.

С другой стороны, свободный избиратель нашего времени найдет единую святую соборную и апостольскую церковь уже не единою, а потому и сообщенную свыше благодать уже несомненно прибывающею в той или другой из разделившихся церквей; сверх этого, неполная свобода мысли, чрезмерный, не соответствующий сущности учения Христа догматизм, безграничная обрядность и внешность богопочитания, стесняющие и отвлеченные стремления души, и, наконец, подтверждаемая церковью вера в существование – почти материальное – злого духа, – все это едва ли привлечет свободного избирателя к благодати веры в Христа и Его всеобъемлющую любовь, завещанной церкви Нового Завета.

Испытав колебание и нерешительность в выборе, вольный избиратель, верно, позавидует каждому из нас, с самого рождения принятому в лоно государственной церкви; нам нечего колебаться в выборе. Вопрос совести решен не нами и прежде нас. Остается решить другой.

Можно ли, оставаясь, так сказать, врожденным членом государственной церкви: православной, католической или протестантской, в то же время придерживаться авторитета собственной совести, подчиненной одному Всевидящему Оку?

Вопрос, я полагаю, опять чисто индивидуальный, не научный, не юридический, решаемый не вне нас, не людьми, даже не самими нами, а совестью, верующею в ее верховное начало – Бога. Протестанту, пользующемуся полною свободою совести, мысли и научного расследования, трудно согласиться на это раздвоение духа (двойную бухгалтерию по К.Фохту); ему ничего нет легче, как выписаться из членов своей церкви и приписаться к другой, более соответствующей его мировоззрению. Но самый передовой католик не затруднится, в одно и то же время, быть и свободным, научным мыслителем, и благочестивым прихожанином своего прихода. И я полагаю, что церковь может и должна допускать эту, неизбежную для верующего мыслителя двойственность. Авторитет церкви, пока она останется государственною, этим нисколько не нарушается. Ее главная сила – в христианском же принципе: кто не против нас, тот за нас.

Самая трудная задача для современной государственной церкви – это избежать крайностей консерватизма и прогресса.

Церковь по своему существу – самое консервативное учреждение.

Она обязана сохранять чистоту веры; но, как государственная, главным предметом своих забот она должна иметь не столько *веру*, сколько *религию*.

Есть значительное различие между этими понятиями, обыкновенно принимаемыми за одно и то же: государственная церковь есть представительница государственной религии; церковь общинная – веры. Дело религии – это поддержание и упрочение общественных связей посредством нравственно-духовного начала.

Вера – это чистое отвлечение души; тут нет никаких мирских целей и задач. Вера необходима как самая глубокая потребность души индивидуально, для каждого более чем для общества. В душе каждой человеческой особи есть частичка не от мира сего: ищущая себе и духовной пищи; но как скоро из особей составляется общество, то его главным raison d'étre делается у́же: быть от мира сего. Для государственной религии может быть необходимым не допускать веяния никаких прогрессивных начал, удерживать и освещать самые несвоевременные обычаи, обряды и верования.

Народное верование в материальное существование черта, несмотря на диаметрально противоположные выводы науки, государственная, консервативная церковь не может не поддерживать, основываясь на древнем мировоззрении. Но церкви нет надобности преследовать научное учение о добре и зле как о понятии, основанном на законах органической и психической натуры человека. Какое дело церкви – как я представляю себе дьявола? Так и о других моих понятиях. Если я не стремлюсь выйти из лона государственной церкви, не восстаю против нее, оказываю ей полное уважение, словом – не трогаю *религии* народной и государственной, к которой отношу и себя, и свою семью, то, какое кому дело до моей *индивидуальной веры*, о которой дам отчет не здесь? Здесь же я старался только изложить самому себе то духовное мировоззрение, о котором мне придется некогда дать отчет.

Теперь перейду ко времени моего вступления в Московский университет.

Si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait[1] ... Вот самое приличное мотто[2] для этого вступления.

Я изобразил мой теперешний внутренний быт; каков же он был 56 лет тому назад? Посмотрим, насколько память передаст о нем, сравним; и сходства, и различия, может быть, объяснятся потом описанием того, чем выполнен был 56-летний промежуток жизни.

Я уже говорил о бедствии, нанесенном отцу воровством комиссионера *Иванова*. Описанное в казну имение, долги, семейное горе от потери дочери и сына, все это не могло не подействовать на человека, любившего свою семью и желавшего ей всевозможного счастья. Отец видел ясно, что умри он сегодня – и завтра же мы все пойдем по миру. А время не терпело, и он решился взять меня из пансиона *Кряжева*,

---

1 Если бы молодость знала, если бы старость могла (франц.).
2 Эпиграф (ит.).

платить которому за меня не хватало средств, а испортить карьеру мальчика, по отзывам учителей – способного, не хотелось. В гимназию отдать казалось поздно, да гимназии в Москве тогда как-то не пользовались хорошею репутациею, и вот мой отец вздумал обратиться за советом к Ефр[ему] Осипов[ичу] *Мухину*, уже поставившему одного сына на ноги, – авось поможет и другому.

Непременно предопределено было *Е.О.Мухину* повлиять очень рано на мою судьбу. В глазах моей семьи он был посланником Неба; в глазах 10-летнего ребенка, каким я был в 1820-х годах нашего века, он был благодетельным волшебником, чудесно исцелившим лютые муки брата. Родилось желание подражать; надивившись на доктора Мухина, начал играть в лекаря; когда мне минуло 14 лет, Мухин, профессор, советует отцу послать меня прямо в университет, покровительствует на испытании, а по окончании курса он же приглашает вступить в профессорский институт. И за все это чем же я отблагодарил его? Ничем. Скверная черта, но она не могла не проявиться во мне. Почему, – скажу потом. Si la jeunesse savait! Теперь бы я готов был наказать себя поклоном в ноги Мухину; но его давно и след простыл. Si la vieillesse pouvait! Так на каждом шагу придется восклицать то же самое. Даже не верится – я ли был тогда на моем месте.

Отец, вняв совету Е.О.Мухина, тотчас же взял меня из пансиона и нанял для приготовления меня к университету по рекомендации секретаря правления (кажется, *Кондратьева*, наверное не знаю) студента медицины, кончавшего курс, *Феоктистова*, порядочную дубинку, впрочем доброго и смирного человека. Я расстался с моими школьными товарищами, еще накануне игравшими со мною в саду в солдаты, причем я отличился изумительною храбростью, разорвав несколько сюртуков и наделав немало синяков; прощаясь, я не мог не заметить насмешливой зависти, с которою товарищи слушали мои рассказы о предстоящем поступлении в студенты; заметив же это, чтобы поддразнить завистников, кой-что и прихвастнул. Занятия с Феоктистовым, студентом из семинаристов, поселившимся у нас в доме, ограничивались латинскою грамматикою, переводами с латинского и кое-чем еще.

Что же я был такое за штука за несколько дней до вступительного университетского экзамена? Нравственность моя была не так распущена, как прежде; я сделался сдержаннее, перестал ходить тайком для беседования с писарями и кучерами; но я много знал такого, чего в мои лета не следовало бы знать; чувственность моя была также слишком рано развита.

Знания были менее чем ограниченные для моего возраста; вкус к искусствам мало развит, только любовь к изящному слову и стиху была сильна; с другой стороны, остались неутраченными еще и детская наивность, и детская вера, и любовь к занятию и труду.

Вера была, как и прежде, в первом детстве, чисто обрядная и формальная; наивность детская была еще так велика, что я с наслаждением слушал еще сказки Прасковьи Кирилловны, крепостной служанки матери, плотной, коренастой девки, с толстыми, красными, как гусиные

лапы, руками, с истыканным до невероятности оспою и усеянным веснушками лицом, но мастерской сказочницы, и я как теперь помню ее две сказки: одну – о Воде-Водоге, так названном потому, что родился от какой-то чудесной воды, данной волшебницею его матери, а другую – о трех человечках: белом, черном и красном. Вод-Водог воевал с разными лицами, всегда сопровождаемый целым зверинцем разных животных, пойманных им на охоте; во время опасности он обращался к ним с криком: «Охотушка, не выдай!» и звери бросались опрометью на неприятеля. А три человечка были посланцы старой бабушки (Яги); она лежит, как следует, на печке; к ней приходит маленькая внучка. «Что же ты видела по дороге?» – спрашивает бабушка. – «Видела я, бабушка, видела я, сударыня, – отвечает внучка, – белого мужичка, на беленькой лошадке, в беленьких саночках». – «То мой день, то мой день, – говорит глухим басом бабушка. – А еще что?» – «Видела я, бабушка, видела я, сударыня, черного мужичка, на черненькой лошадке, в черненьких саночках». – «То моя ночь, то моя ночь. Еще что?» – «Видела я, бабушка, видела я, сударыня, красного мужичка, на красненькой лошадке, в красненьких саночках». – «То мой огонь, то мой огонь! – заревела бабушка. – Говори, еще что?» – «Видела я, бабушка, видела я, сударыня, что у вас ворота пальцем заткнуты, кишкою замотаны». – «То мой замок, то мой замок. Ну а еще что»? – рычит уже бабушка. – «Видела я, бабушка, видела я, сударыня, у вас в сенях рука пол метет». – «То моя слуга, то моя слуга. Еще что? Говори скорей!» – огрызнулась бабушка. – «Видела я, бабушка, видела я, сударыня, тут, возле вас, голова чья-то висит у печки». – «То моя колбаса, то моя колбаса!» – заревела и заскрежетала зубами бабушка, схватила внучку, и уже не помню, что сделала: съела ли, или в печь бросила.

Откуда наша Прасковья Кирилловна брала эти побасенки, одному Богу известно; читать она не умела, верно, одною наслышкою; мне потом нигде не приходилось читать слышанные от нее сказки, и, я думаю, что она составляла сама и импровизировала, компилируя из нескольких, слышанных ею прежде. Верно, память у нее была отличная; я помню, от нее слыхал и разные стихи, как, например, сатиру на приезд шведского посланника в Москву:

Солнце к вечеру стремится,
Тьма карет в вокзал катится, и проч.

Часто, часто приходилось мне потом повторять моим и чужим детям сказки Прасковьи о трех мужичках, и даже с тою же интонациею в голосе, с которою Прасковья старалась наглядно мне изобразить свирепую бабушку и наивную внучку. И всегда сказки Прасковьи Кирилловны производили эффект на слушавших меня детей.

Другая черта, свидетельствовавшая о моей детской наивности в ту пору, была привязанность к моей старой няне. Эта замечательная для меня личность называлась Катериною Михайловною; солдатская вдова из крепостных, рано лишившаяся мужа и поступившая еще молодою к

нам в дом, с лишком 30 лет оставалась она нашим домашним человеком, хотя и не все это время жила с нами; горевала вместе с нами и радовалась нашими радостями. Я сохранил мою привязанность, вернее, любовь к ней до моего отъезда из Москвы в Дерпт. Видел ее и потом еще раза два; но в последние годы она начала сильно зашибать; и прежде это добрейшее существо с горя и с радости иногда прибегало к рюмочке, но уже одна рюмка вина сейчас выжимала слезы из глаз. «Михайловна заливается слезами»: это значило, что Михайловна, с горя или с радости, выпила рюмку. Мы – и дети, и взрослые – все это знали и, зная, иногда с нею же плакали, не зная о чем. Все существо этой женщины было пропитано насквозь любовью к нам, детям, вынянченным ею.

Я не слыхал от нее никогда ни одного бранного слова; всегда любовно и ласково останавливала она упрямство и шалость; мораль ее была самая простая и всегда трогательная, потому что выходила из любящей души. «Бог не велит так делать, не делай этого, грешно!» – и ничего более.

Помню, однако же, что она обращала внимание мое и на природу, находя в ней нравственные мотивы. Помню как теперь Успеньев день, храмовый праздник в Андроньевом монастыре; монастырь и шатры с пьяным, шумящим народом, раскинутые на зеленом пригорке, передо мною как на блюдечке, а над головами толпы – черная грозовая туча; блещет молния, слышатся раскаты грома. Я с нянею у открытого окна и смотрим сверху. «Вот, смотри, – слышу, говорит она, – народ шумит, буянит и не слышит, как Бог грозит; тут шум да веселье людское, а там, вверху, у Бога – свое».

Это простое указание на контраст между небом и землею, сделанное кстати любящею душою, запечатлелось навсегда, и всякий раз както заунывно настраивает меня, когда я встречаю грозу на гулянье. Бедная моя нянька, как это нередко случается у нас с чувствительными, простыми людьми, начала пить, и, не перенося много вина, захирела и так, что собралась уже умирать; не знаю уже почему, но решено было поставить промывательное; я был тогда уже студентом и в первый раз в жизни совершил эту операцию над моею нянею; она удивилась моему искусству и после сюрприза тотчас же объявила: «Ну, теперь я выздоровлю». Через три дня она, действительно, поднялась с постели и жила еще несколько лет; прожила бы, может быть, и более, если бы, на свою беду, не нанялась у Авдотьи Егоровны *Драгутиной*, молодой жены пожилого мужа-купца. Был у них сынок, Егоринька; к нему и взяли мою няню, а через няню познакомилась и наша семья с Драгутиными.

O tempora, o mores![1] Цицерон, которого я тогда не читал, кажется, всегда и везде кстати.

Замоскворечье; хорошенькая, веселенькая, красиво меблированная квартира во втором этаже. Хозяйка, лет 25, красивая, всегда наряженная брюнетка, с притязанием на интеллигенцию, с заметною и для меня, подростка, склонностью к мужскому полу, с раннего утра до ночи одна

[1] О времена, о нравы (лат.).

с маленьким сыном, нянею и учителем, кандидатом университета, рослым и видным мужчиною, *Путиловым*. Муж, угрюмый, несколько напоминающий медведя, впрочем не из дюжинных и добропорядочный во всех отношениях, целый день в лавке, в Гостином Дворе; дом как полная чаша; чай пьется раз пять в день, кстати и некстати.

Муж, возвращающийся поздно домой, усталый, идет прямо к себе в комнату, пьет чай, ужинает и ложится спать. Ребенок уходит спать в детскую с нянею. Хозяйка и учитель остаются наедине в двух больших комнатах, пьют чай, запирают и входные, и выходные двери, – и так на целую ночь до рассвета. Ежедневно одна и та же история.

– Да что же они там делают одни? – любопытствовал я узнать от моей няни.

– Да кто же их, батюшка, знает; никого не пускают к себе, – как тут узнаешь?

– Да ведь слышно же что-нибудь чрез двери? – продолжаю я расспрашивать.

– Слышно, что то говорят, то молчат.

– А муж что?

– Муж спит.

Так продолжается целые годы. Я охотно посещал этот дом, забавлялся и с мальчиком, шутил и сплетничал с Авдотьей Егоровною, и всегда в присутствии няни (не упускавшей меня из виду) пил чай, кофе, шоколад, сколько в душу влезало. Однажды прихожу – молчанье, темнота, шторы спущены. Что такое? Авдотья Егоровна что-то нездорова. Смотрю – моя Авдотья Егоровна лежит на полу в одном спальном белье; в комнате чем-то летучим пахнет. Слышу – что-то бормочет; няня около нее и делает мне какие-то знаки, чтобы я вышел. Что за притча! Оказалось, что эта милая дамочка чистит себе зубы табаком и потом упивается гофманскими каплями, бывшими тогда в большом употреблении как домашнее средство против всех лихих болезней. Потом гофманские капли заменились полынною, а, наконец, и простяком.

Учитель кончил курс. Хозяин обрюзг более прежнего и сделался еще неприступнее; а хозяйка, спившись с круга, увлекла в запой и мою добрую, милую няню, Катерину Михайловну.

Кстати уже, говоря о чисто-детской наивности, памятной мне в то время как готовился уже к изучению медицины, не забуду напомнить себе и еще трех занимавших меня тогда и нравившихся мне вследствие этой же самой ребяческой простоты знакомых. Это были Григорий Михайлович *Березкин*, Андрей Михайлович *Клаус* и Яков Иванович *Смирнов*. Первые оба – из врачебного персонала, старые сослуживцы московского воспитательного дома; оба не доктора и не лекари. Березкин, циник, с заметною наклонностью к спиртным напиткам, занимал меня рассказами, очевидно, иностранного (немецкого) происхождения о Петре Первом. «Мы должны, говорят немцы, – так сказывал мне Березкин, – Богу молиться на Петра да свечки ему ставить, – вот что». Из медицины Григорий Михайлович сообщал мне также что-то тогда меня крепко интересовавшее, но уже не припомню, что именно; пода-

рил какой-то писанный на латинском языке сборник с описанием, в алфавитном порядке, растительных веществ, употребляемых в медицине; я много узнал и наизусть запомнил научных терминов: emeticum, drasticum, diureticum, radix ipecacuanhae, jalappae и т.п.

За год и более до вступления на медицинский факультет я уже знал массу названий и терминов, и это мне много пригодилось впоследствии. Но детская привязанность к словоохотливому Березкину у меня основывалась, конечно, не на расчете профитировать[1] и от него что-нибудь, а на потешавших меня шуточках и прибаутках; ими изобиловала наша беседа.

– Ну-те-ка; ну-те, – бормочет скороговоркою Григорий Михайлович, – напишите-ка: во-ро-бей.

Я и пишу, и, написав последний слог, вдруг получаю щелчок по голове.

– Это что?

– Сам же просил: прочти последний слог! – отвечает, заливаясь от смеха, Григорий Михайлович. – А хочешь, спою песенку?

– Какую?

– Ай ду-ду.

Я притворяюсь, будто не знаю значения этой песни, уже не раз испытанного моим лбом.

– Ну-ка, спойте.

– Ай ду-ду, ай ду-ду, – затягивает хриплым голосом Березкин, – сидит баба на дубу.

Полный текст таков: «Ай ду-ду, сидит баба на дубу; прилетела синица – что станем делати? пива что ли нам варити? сына что ли нам женити? Ай, сын мой, отдай бабе голову, ударь бабу по лбу... отдай мою голову, ударь бабу по лбу!..» Я убегаю со смехом. Березкин промахнулся – я не баба, и лоб не получил щелчка.

– А вот, латинист, отгадай-ка, что такое,– и опять стаккато[2]: «Si caput est, currit, ventrem adjunge, volabit; adde pedes, commedes, et sine ventre, bibes»[3].

Отвечаю, не запинаясь: «Mus, musca, muscatum, mustume»[4].

– А, знаешь уже; а от кого узнал?

– Да не от вас (я лгу), – я и прежде знал.

– То-то, прежде знал; отчего же прежде не говорил?

– Да я нарочно.

А всего приятнее моему детски наивному тщеславию было слышать от старика, как он меня хвалил и величал; верно, и я для него был занимателен. «Ну, смотри, брат, из тебя выйдет, пожалуй, и большой человек; ты умник, вон не тому, не Хлопову, чета». *Хлопов* – это был ученик из пансиона Кряжева, живший некоторое время у нас, грубоватый и както свысока обходившийся с Березкиным.

---

[1] Профит (франц. profit) – барыш, прибыль, выгода.

[2] Отрывисто (лат.).

[3] Если есть голова – бежит; присоедините живот – полетит; придать ноги – съешь; без живота – пьешь (лат.).

[4] Мышь, муха, мускатный орех, сусло (лат.).

Андрей Михайлович *Клаус*[1] – оригинальнейшая и многим тогда в Москве известная личность. Это был знаменитый оспопрививатель еще екатерининских времен. Аккуратнейший старикашка, в рыжем парике, с красною добрейшею физиономиею, в коротких штаниках, прикрепленных пряжками выше колен, в мягких плисовых сапогах, не доходивших до колен; между черными штанами и сапогами виднелись белые чулки.

Всей нашей семье в течение многих лет Андрей Михайлович прививал оспу, и потому считал своею обязанностию ежегодно навещать нас в табельные дни, завтракал, с особенным аппетитом кушал бутерброд, зимою – с сыром, а весною (на Святой) – с редиской.

Меня лично он занимал, кроме своей оригинальной наружности, маленьким микроскопом, всегда находившимся при нем в кармане. Раскрывался черный ящичек, вынимался крошечный, блестящий инструмент, брался цветной лепесток с какого-нибудь комнатного растения, отделялся иглою, клался на стеклышко, и все это делалось тихо, чинно, аккуратно, как будто совершалось какое-то священнодействие. Я не сводил глаз с Андрея Михайловича и ждал с замиранием сердца минуты, когда он приглашал взглянуть в его микроскоп.

– Ай, ай, ай, какая прелесть! Отчего это так видно, Андрей Михайлович?

– А это, дружок, тут стекла вставлены, что в 50 раз увеличивают. Вот, смотри-ка. – Следовала демонстрация.

Третий вхожий в наш дом и занимательный для меня знакомый, Яков Иванович *Смирнов*, сослуживец отца, привлекал мою ребяческую наивность собственно глупостью. Не то, чтобы он сам был глуп, но какой-то точно еловый, неповоротливый, высокий, прямой как шест. Когда он, поздоровавшись, садился, я тотчас же являлся возле его стула и приготовлялся смотреть, как Яков Иванович начнет вынимать из кармана свой клетчатый синий платок, складывать его в кругленький комочек, а потом поднесет к носу, утрется и подержит его в руке с полчаса, прежде чем опять положит в карман. Яков Иванович (сын священника, учился когда-то в семинарии) рассказывает матушке, а она крестится от содрогания, что попы частицы вынутых просфор сбирают, сушат и едят со щами.

– Что это, Яков Иванович, вы рассказываете за ужасы, да еще и при детях, как вам это не грех?

– Помилуйте, сударыня, да то ли еще делают наши попы; они греха не знают. А что, вот ты, – обращается Яков Иванович ко мне, – учишься по-латыни, а знаешь ли, что значит: curva culina (читай: Акулина) scit quid perdit, – и, обращаясь к матушке, которая с удивлением слышит сальные слова от Якова Ивановича, думая, не охмелел ли он, Яков Иванович говорит: «Это так по-латыни выходит, сударыня; уж извините, если оно немного того»...

---

[1] А.М.Клаус до Москвы жил в Уфе, где, между прочим, состоял врачом в семье С.Т.Аксакова, у которого оставил хорошие воспоминания. По словам автора знаменитой «Семейной хроники», Клаус был предобрейший, умный, образованный человек, любил детей.

Я разражаюсь смехом и убегаю от стыда, не поняв смысла сказанного.

Потом Яков Иванович объясняет, что он нарочно так произнес, как будто бы это была Акулина, а не латинское culina, сиречь: мельница.

— Напрасно сконфузились, — говорит он матушке и мне, — теперь выходит просто: кривая мельница знает, что теряет. Ну, а вот переведи-ка славную поговорку; за нее нас верно и маменька похвалит: amicus certus in re incerta cernitur[1].

Я перевожу.

Василий Феклистыч *Феклистов* — так звали наши домашние студента Феоктистова — доставлял мне также чисто детскую радость. Я детски радовался, что готовлюсь в университет, и занимался прилежно с Феоктистовым; мне доставлял наслаждение и осмотр его медицинских книг — какой-то старинной анатомии с картинками, какой-то терапии с рецептами, но всего более и с каким-то невыразимо приятным трепетом сердца, — это я как будто еще теперь чувствую, — разбирал я принесенный однажды Феоктистовым каталог университетских лекций.

— Какие лекции буду я слушать? Вот Юст Христиан Лодер — анатомия человеческого тела. Буду?

— Непременно.

— Вот Ефрем Осипович Мухин — физиология по Ленгоссеку. Это что такое? Да Мухин, что бы ни читал, буду, непременно буду слушать. Василий Михайлович Котельницкий — фармакология или врачебное веществословие. Василий Феоктистыч! Это что за наука?

— Да о действии лекарств.

— Ах, вот любопытно-то: как действует рвотное, как слабительное; а я ведь уже знаю, что radix ipecacuanhae emeticum; radix jalappae drasticum.

— А почему это вы знаете? Откуда это вы взяли?

— А вот позвольте, я сейчас принесу вам книжку Григория Михайловича Березкина, — все, все есть, преинтересная.

Приношу и показываю. Феоктистов с важным видом, и презрительно улыбаясь (эту улыбку я воображаю, когда пишу эти строки, диктуемые воспоминанием), перелистывает драгоценный дар Березкина и, отдавая мне назад, говорит:

— Старье! Старье! Будете студентом, так просите папеньку купить вам фармакологию Иовского, перевод с немецкого Шпренгеля.

— А дорого она стоит?

— Да рубля три или четыре.

— Попрошу непременно.

Между тем время идет. Мы сходили к Троице помолиться. Феоктистов с нами; экскурсия продолжалась дня четыре и служила отдыхом, хотя, по правде сказать, ни я, ни Феоктистов не уставали от наших занятий. В этой экскурсии мы не останавливались в Мытищах и Троицкую ризницу не посещали; поэтому все, что я говорил прежде о моих детских воспоминаниях о Троице, относится, несомненно, к прежнему времени (т.е. к моему 7—8-летнему возрасту, к 1817—1818 гг.).

[1] Верный друг познается в беде (лат.).

Наконец, настало время и вступительного экзамена.

Я не помню решительно ничего о том, что я чувствовал, когда ехал с отцом в университет на экзамен; но, верно, ни надежда, ни страх не волновали меня чересчур; я живо помню, например, мой первый экзамен в пансионе Кряжева; волнение, с которым я отвечал тогда на заданные вопросы, как только вспомню о нем, кажется мне неулегшимся еще до сих пор; вижу, как в отдаленном тумане, *Дружинина* (директора гимназии, присутствовавшего на экзамене), сидящего в больших, для него нарочно приготовленных креслах; смотрю на проходящего с подносом толстого пансионного дядьку, плутовски улыбающегося мне мимоходом и подмигивающего одним глазом. Помню живо чью-то добрую усмешку и колкое замечание священника на мое слишком наглядное изложение сновидений фараона. «Ему грезилось», – повторял я несколько раз в моем одушевленном жестами рассказе. «Снилось, снилось, снилось», – замечал, останавливая меня каждый раз на полуслове, законоучитель. И все это было два года ранее моего первого университетского испытания.

Вступление в университет было таким для меня громадным событием, что я, как солдат, идущий в бой на жизнь или смерть, осилил и перемог волнение и шел хладнокровно. Помню только, что на экзамене присутствовал и *Мухин* как декан медицинского факультета, что, конечно, не могло не ободрять меня; помню *Чумакова*, похвалившего меня за воздушное решение теоремы (вместо черчения на доске я размахивал по воздуху руками); помню, что спутался при извлечении какого-то кубического корня, не настолько, однако же, чтобы совсем опозориться.

Знаю только наверное, что я знал гораздо более, чем от меня требовали на экзамене. В приемной меня ожидали после окончания экзамена отец, секретарь правления – *Кондратьев* и рекомендованный им мой приготовитель – *Феоктистов*. Отец повез меня из университета прямо к Иверской и отслужил молебен с коленопреклонением. Помню отчетливо слова его, когда мы выходили из часовни: «Не видимое ли это Божие благословение, Николай, что ты уже вступаешь в университет? Кто мог этого надеяться!»

Затем мы заехали в кондитерскую Педотти, где и последовало угощение меня шоколадом и сладкими пирожками.

Это было в сентябре 1824 г. С этого дня началась новая эра моей жизни. Но странно: ведь я собственно не уверен – было ли это в 1824 году? Справляться не стоит; а странно именно то, что мне кажется теперь, будто отец мой долее жил после вступления моего в Московский университет, чем оказывается по расчету. Наверное, отец мой умер почти за год до смерти государя Александра I, т.е. за год до 1825 г. Не вступил же я в Московский университет в 1823 г., 13-ти лет от роду!

Пережитое время, оставаясь в памяти, кажется то более коротким, то более долгим; но обыкновенно оно укорачивается в памяти. Прожи-

тые мною 70 лет, из коих 64 года, наверное, оставили после себя следы в памяти, кажутся мне иногда очень коротким, а иногда очень долгим промежутком времени. Отчего это? Я высказал уже, какое значение я придаю иллюзиям. Нам суждено и, я полагаю, к нашему счастию, жить в постоянном мираже, не замечая этого.

Можно, пожалуй, утверждать, что еще счастливее тот, кто не только не подозревает, но и не имеет никакого понятия о существовании чувственных и психических миражей.

В сущности же, все равно: выгоды незнания равняются невыгодам. Больному врачу плохо бывает иногда от его знания, а здоровому — это же знание не бесполезно для его здоровья.

Так и убеждение в существовании постоянного, пожизненного миража, с одной стороны, не очень вредно, потому что убеждение это все-таки не уничтожает благодетельной иллюзии, и, убежденные и неубежденные в ней, мы будем продолжать жить по-прежнему, все в том же мираже. Сколько лет прошло уже с тех пор, как нам сделалось известно, что «das Ding an und für sich selbst»[1] для нас навсегда останется terra incognita[2]; так нет же! Мы все-таки продолжаем думать и действовать в жизни так, как будто бы это «das Ding an und fur sich selbst» было нам досконально известно и коротко знакомо.

Так вот и представление наше о прожитом нами времени так же миражно, как и все прочее в жизни.

Когда я обращаю усиленное внимание на какой-нибудь отрывок из прожитого времени, т.е. направляю мою внимательность на память (с чем бы сравнить это? Вот, я делаю это в настоящую минуту, когда пишу эти строки: я как будто внимательно роюсь в моей памяти, не то смотрю в нее, не то силюсь, будто бы, что-то открыть и вынуть... нет, ни с чем не сравнишь), тогда мне представляется этот вынутый из памяти отрывок чрезвычайно близким ко мне, к моему настоящему, как будто все припоминаемое происходило вчера.

Вот живые портреты припоминаемых лиц, их платье, их манеры, голос, усмешка, все как есть... чудеснейший мираж! А начни только действовать, окунись в водоворот жизни — и все куда-то далеко, далеко ушло, исчезло — новый мираж! Существовавшее представляется как будто бы несуществовавшим.

Так, с той минуты, когда мы с отцом вышли из часовни Иверской, — от нее, от этой минуты, остались в памяти только слова отца, — и до того страшного мгновения, когда я увидел его на столе посиневшим трупом, — как будто отца и вовсе не было у меня; едва, едва в густом тумане мелькает предо мною его бледный облик и усталая поступь, виденные мною в последние дни его жизни. А все-таки протекшее между двумя уцелевшими в памяти значками время мне кажется теперь очень долгим, так долгим, что сомневаюсь, было ли это менее двух лет.

---

[1] Вещь в себе и для себя (нем.).
[2] Неведомая земля (лат.).

Началось посещение лекций. Выдали матрикул без всяких церемоний. Приход Троицы в Сыромятниках не близок к университету, – будет с час ходьбы; положено было оставаться в обеденное время у Феоктистова и только в 4–5 часов вечера возвращаться на извозчике.

Феоктистов был казеннокоштный студент и жил вместе с пятью другими студентами в 10-м нумере корпуса квартир для казеннокоштных.

Надо остановиться на воспоминании о 10-м нумере и об извозчике.

Немудрено, что воспоминания эти сохранились. 10-й нумер я посещал ежедневно, несколько лет сряду, а на извозчике ездил, пока нужда не заставила ходить пешком, – и 10-й нумер, и вечерняя езда на извозчике совпадают с первым выходом на поприще жизни; дебюты не забываются.

Вхожу в большую комнату, уставленную по стенам пустыми кроватями со столиками; на каждом столике наложены кучки зеленых, желтых, красных, синих книг и пачки тетрадей; вижу – лежит на одной кровати чья-то фуражка, дном наружу; на дне – надпись; читаю: «Hunc pil... – тут стерто, не разберу. – Fur rapidis manibus tangere noli; possessor cujus fuit semperque erit Tschistof, qui est studiosus quam maxime generosus»[1].

Понимаю. Где же этот г. Чистов? А вот он входит в дверь; испитой, с густыми темными волосами, свинцового цвета лицом, темно-синею, выбритою гладко бородою; за ним приходит с лекции и мой Феоктистов; дверь начинает беспрестанно отворяться и затворяться; являются одно за другим все новые и новые лица, рекомендуются, приветливо обращаются ко мне; вот г. *Лейченко*, самый старший, действительно на вид лет много за 30; вот *Лобачевский*, длинный, рыжий, усеянный, должно быть, веснушками по всему телу, судя по лицу и рукам, и еще человек шесть нумерных и посторонних.

Начинаются беседы, закуривание трубок; говорят все разом – ничего не разберешь; дым поднимается столбом; слышится по временам и брань неприличными словами.

Мой бывший наставник, *Феоктистов*, представляется мне совсем в ином свете, не тем, каким я его знал до сих пор: он тут пред некоторыми просто пас – тише воды, ниже травы.

Вот хоть бы *Чистов*, обладатель фуражки с латинскими стихами, – тот берет со стола книгу, ложится на кровать и, обращаясь ко мне (я стою вблизи его кровати), спрашивает: «С какими римскими авторами вы знакомы?» – Я краснею. – «Что же? Феоктистов, верно, вам немногое сообщил; где же ему: он и сам ничего не понимает в латыни. Садитесь-ка вот здесь, – я вам кое-что прочту из Овидия. Слыхали о “Метаморфозах” Овидия? А? Слыхали?» – «Да, немного слыхал». – «Ну, слушайте же!» – И Чистов начал скандировать плавно и с увлечением, и тут же я научился у него больше, чем во все время моего приготовления к университету от Феоктистова. Оказалось потом, что Чистов был действительно знаток римских классиков; я редко видал его за медицинс-

---

[1] К шапке не смей прикасаться, вор, хищными руками; владельцем ее всегда был и будет Чистов – благороднейший студент (лат.).

кими книгами; всегда, бывало, лежит и читает своего любимого Овидия Назона или Горация.

Родом из духовных, воспитанник семинарии, *Чистов* отличался, однако же, резко от других сотоварищей, по большей части тоже семинаристов; это была мебель из елового, а он из красного дерева, и, должно быть, поэт в душе.

Чего я не насмотрелся и не наслышался в 10-м нумере!

Представляю себе теперь, как все это виденное и слышанное там действовало на мой 14–15-летний ум! Является, например, какой-то гость Чистова, хромой, бледный, с растрепанными волосами, вообще странного вида на мой взгляд, – теперь его можно бы было по наружности причислить к почтенному классу нигилистов, – по тогдашнему это был только вольнодумец.

Говорит он как-то захлебываясь от волнения и обдавая своих собеседников брызгами слюны.

В разговорах быстро, скачками, переходит от одного предмета к другому, не слушая или не дослушивая никаких возражений. «Да что Александр I, – куда ему, – он в сравнение Наполеону не годится. Вот гений, так гений!.. А читали вы Пушкина "Оду на вольность"? А? Это, впрочем, винегрет какой-то. По-нашему не так; revolution, так revolution, как французская – с гильотиною!» И, услыхав, что кто-то из присутствующих говорил другому что-то о браке, либерал 1824–1825 гг. вдруг обращается к разговаривающим: «Да что там толковать о женитьбе! Что за брак! На что его вам? Кто вам сказал, что нельзя попросту спать с любою женщиною, хоть бы с матерью или с сестрою? Ведь это все ваши проклятые предрассудки: натолковали вам с детства ваши маменьки, да бабушки, да нянюшки, а вы и верите. Стыдно, господа, право, стыдно!» – А я-то, я стою и слушаю, ни одного слова не проронив.

Вдруг соскакивает с своей кровати *Катонов*, хватает стул и бац его посредине комнаты! «Слушайте, подлецы! – кричит Катонов, – кто там из вас смеет толковать о Пушкине? Слушайте, говорю!» – вопит он во все горло, потрясая стулом, закатывая глаза, скрежеща зубами:

Тебя, твой род я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
Я с злобной радостию вижу,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле...

Катонов, восторженный обожатель Мочалова, декламируя, выходит из себя, – не кричит уже, а вопит, ревет, шипит, размахивает во все стороны поднятым вверх стулом, у рта пена, жилы на лбу переполнились кровью, глаза выпучились и горят. Исступление полное. А я стою, слушаю с замиранием сердца, с нервною дрожью; не то восхищаюсь, не то совещусь.

Рев и исступление Катонова, наконец, надоедают; на него наскакивает рослый и дюжий *Лобачевский*. «Замолчишь ли ты, наконец, скотина!»

– кричит Лобачевский, стараясь своим криком заглушить рев Катонова. Начинается схватка; у Лобачевского ломается высокий каблук. Падение. Хохот и аплодисменты. Бросаются разнимать борющихся на полу.

Не проходило дня, в который я не услыхал бы или не увидел чего-нибудь новенького, вроде описанной сцены, особенно памятной для меня потому только, что она была для меня первою невидалью; потом все вольнодумное сделалось уже делом привычным.

За исключением одного или двух, обитатели 10-го нумера были все из духовного звания, и от них-то именно я наслышался таких вещей о попах, богослужении, обрядах, таинствах и вообще о религии, что меня на первых порах, с непривычки, мороз по коже подирал, потом это прошло, но осталось навсегда отвращение.

Все запрещенные стихи, вроде «Оды на вольность», «К временщику» *Рылеева*, «Где те, братцы, острова» и т.п., ходили по рукам, читались с жадностью, переписывались и перечитывались сообща при каждом удобном случае.

Читалась и барковщина, но весьма редко, ее заменяла в то время более современная поэзия, подобного же рода, студента Полежаева.

О Боге и церкви сыны церкви из 10-го нумера знать ничего не хотели и относились ко всему божественному с полным пренебрежением.

Понятий о нравственности 10-го нумера, несмотря на мое короткое с ним знакомство, я не вынес ровно никаких. Разгул при наличных средствах, полный индифферентизм к добру и злу при пустом кармане – вот вся мораль 10-го нумера, оставшаяся в моем воспоминании.

Вот настало первое число месяца. Получено жалованье. Нумер накопляется. Дверь то и дело хлопает. Солдат, старик Яков, ветеран, служитель нумера, озабоченно приходит и уходит для исполнения разных поручений. Являются чайники с кипятком и самовар.

Входят разом человека четыре, двое нумерных студентов, один чужой и высокий, здоровенный протодьякон. Шум, крик и гам. Протодьякон что-то басит. Все хохочут. Яков является со штофом под черною печатью за пазухою, в руках несет колбасу и паюсную икру. Печать со штофа срывается с восклицанием: «Ну-ка, отец дьякон, белого панталонного хватим!» – «Весьма охотно», – глухим басом и с расстановкою отвечает протодьякон. Начинается попойка. Приносится Яковом еще штоф и еще, – так до положения риз.

– Знаете ли вы, – говорит мне кто-то из жильцов 10-го нумера, – что у нас есть тайное общество? Я член его, я и масон.

– Что же это такое?

– Да так, надо же положить конец.

– Чему?

– Да правительству, ну его к черту!

И я, после этого открытия, смотрю на господина, сообщившего мне такую любопытную вещь, с каким-то подобострастием.

Масон! Член тайного общества? То-то у него книги все в зеленом переплете. А я уже прежде где-то слыхал, что у масонов есть книги в зеленом переплете.

– А слышали, господа: наши с Полежаевым и хирургами (студентами Московской медико-хирургической академии) разбили вчера ночью бордель на Трубе? Вот молодцы-то!

Начинаются рассказы со всеми сальными подробностями. И это откровение я выслушиваю с тем же наивным любопытством, как и сообщенную мне тайну об обществе и масонстве.

– Ну братцы, угостил сегодня Матвей Яковлевич[1]!

– А что?

– Да надо ручки и ножки его расцеловать за сегодняшнюю лекцию. Недаром сказал: «Запишите себе от слова до слова, что я вам говорил; этого вы нигде не услышите. Я и сам недавно узнал это из Бруссе». И пошел, и пошел...

– Теперь уже, братцы, Франков, и Петра, и Иосифа побоку; теперь подавай Пинеля, Биша, Бруссе[2]!

---

[1] Матвей Яковлевич Мудров (1776–1831) – талантливый профессор Московского университета, занимающий видное место в его истории, «отец русской терапии»; один из основоположников самостоятельной русской национальной медицинской науки, боровшийся за освобождение ее от «опеки» иностранцев. По собственным словам Мудрова, для него не было ничего дороже как польза и честь соотечественников. С широкой образованностью соединял резко выраженные национальные черты и проявлял их в своей научной, преподавательской, практической, общественной деятельности. Мудров прокладывал новый, самостоятельный путь развития русской клинической медицины. Он первые ввел в университете курс военной гигиены и первый составил по этому предмету самостоятельное русское руководство с учетом особенностей русской армии. В некоторых областях он опередил европейские, в частности, немецкие и французские университеты. Настойчиво старался установить тесную связь между клиникой и патологической анатомией, чего на Западе в то время еще не было. Умер Мудров от холеры, с которой самоотверженно боролся во время эпидемии.

Мудров был масоном и одно время руководил ложей. Автор одних из лучших русских мемуаров М.А.Дмитриев вспоминал: «Мудров был человек очень умный и глубоко верующий: вся жизнь его свидетельствовала об этих двух качествах. Как медик он имел кроме знания и опытности тот орлиный взгляд, который разом проникает в причину и седалище болезни, и в то же время он приступал к лечению всегда с внутреннею молитвою. Даже в заголовке своих рецептов он всегда ставил *альфу* и *омегу* как символ имени Божия, признавая, что он начало и конец всего и что от Господа врачевание. В масонстве он, конечно, знал много, ибо имел высокие степени; но в то же время я не мог не заметить впоследствии, что в этом роде его знания ограничивались только тем, что ему открыто, а собственным размышлением, собственною работою ума (что не только дозволяется, но и требуется) он проникал неглубоко. <...> Впрочем, и то надобно сказать, что практическая жизнь врача не оставляла Мудрову времени для умственных работ другого рода. Он много потрудился для страждущего человечества, и память его да будет в благословениях! <...> Как врач, кроме науки и опытности, он отличался еще верностию и простотою взгляда на болезнь; проницательным оком ума он мгновенно определял причину недуга и действовал на нее непосредственно и уверенно. Лекарств многосложных он не любил; все, предписываемые им, были обыкновенно просты и недороги. Он не поражал болезнь, а ограждал натуру больного. Я помню, он говаривал мне о своей методе: "Я на болезнь не нападаю; что мне до ней за дело: пускай идет своим порядком! Я от нее только отстреливаюсь и защищаю больного!" – Вместе с этим его благочестие и твердая воля много действовали к облегчению страждущего. Другого Мудрова не было и не будет!» (Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 341, 348).

[2] Петр (Иван Петрович) Франк (1745–1821) – видный научный деятель в области медицинской полиции и санитарии; один из организаторов Медико-хирургической академии, где учредил кафедры физиологии и патологии.

– А в клинике-то, в клинике как *Мудров* отделал старье! Про тифозного-то что сказал! Вот, говорит, смотрите, он уже почти на ногах после того, как мы поставили слишком 80 пиявиц к животу; а пропиши я ему, по-прежнему, валерияну да арнику, он бы уже давно был на столе.

– Да, Матвей Яковлевич молодец, гений! Чудо, не профессор. Читает божественно!

– Говорят, в академии хорош также *Дядьковский*[1]. Наши ходили его слушать. Да где ему против Мудрова! Он недосягаем.

– Ну, ну! А *Лодер* Юст-Христиан[2]?

– Да, невелика птичка, старичок невеличек, да нос востер. Слышали, как он обер-полицеймейстера отделал? Едет это он на парад в карете, а обер-полицеймейстер подскакал и кричит кучеру во все горло: «Пошел назад, назад!» Лодер-то высунулся из кареты, да машет кучеру – вперед-мол, вперед. Полицеймейстер прямо и к Лодеру. «Не велю, – кричит, – я обер-полицеймейстер». – «А я, – говорит тот, – Юст-Христиан Лодер; вас знает только Москва, а меня – вся Европа». Вчера-то, слышали, как он на лекции спохватился?

– А что?

– Да начал было: «Sapientischissima (Лодер шамкал немного) natura», – да, спохватившись, и прибавил: «aut potius, Creator sapientishissimae naturae voluit»[3].

– Да, ныне, брат, держи ухо востро.

– А что?

– Теперь там в Петербурге, говорят, министр наш *Голицын*[4] такие штуки выкидывает, что на-поди.

И.И.Франк (1771–1842) – профессор патологии, а затем – частной терапии и клиники в Виленском университете.

Ф.Пинель (1745–1826) – французский психиатр, боровшийся с жестоким «усмирением» нервнобольных.

Ф.-Ж.Бруссе (1772–1832) – французский патолог и терапевт; создал теорию происхождения болезней в результате местного раздражения отдельных органов; был ярым сторонником кровопускания.

[1] У.Е.Дядьковский (1784–1841) – один из талантливейших деятелей русской научной медицины. В студенческие годы Пирогова он был профессором московского отделения Медико-хирургической академии, в 1831 г. был избран на кафедру терапии в университете.

[2] Ю.-Х.Лодер (1753–1832) – знаменитый анатом; уроженец Риги, он много путешествовал и учился за границей; с 1794 г. – почетный член Академии наук; с 1806 г. – лейб-медик; в Отечественную войну 1812 г. устроил военные госпитали на 37000 воинских чинов; управлял ими до упразднения после войны. Состоя на службе только в качестве лейб-медика царя, Лодер исполнял и другие поручения правительства. Большое собрание анатомических препаратов, перешедшее от Лодера Московскому университету, было основой первого анатомического музея в России. Желая, чтобы его собрание приносило возможно больше пользы русской научной медицине, Лодер вызвался читать в университете без вознаграждения лекции по анатомии. С 1819 г. он заведовал кафедрой анатомии, которую оставил, ввиду тяжелой болезни, за год до смерти. Кроме университетской кафедры, Лодер много работал по устройству различных лечебных учреждений в Москве.

[3] Мудрейшая природа... вернее, Создатель мудрейшей природы пожелал.

[4] А.Н.Голицын (1773–1844) – министр просвещения и духовных дел в царствование Александра I.

– Что такое?

– Да, говорят, хочет запретить вскрытие трупов.

– Неужели? Что ты!

– Да у нас чего нельзя – ведь деспотизм. Послал, говорят, во все университеты запрос: нельзя ли обойтись без трупов или заменить их чем-нибудь?

– Да чем тут заменишь?

– Известно, ничем, – так ему и ответят.

– Толкуй! А не хочешь картинами или платками?

– Чем это? Что ты врешь, как сивый мерин! – слышу чей-то вопрос.

– Нет, не вру; уже где-то, сказывают, так делается. Профессор по анатомии привяжет один конец платка к лопатке, а другой – к плечевой кости, да и тянет за него; вот, – говорит, – посмотрите: это deltoideus[1].

Дружный хохот; кто-то плюнул с остервенением. Да, нумер 10-й был такою школою для меня, уроки которой, как видно, пережили в моей памяти много других, более важных воспоминаний.

Впоследствии почуялись и в 10-м нумере веяния другого времени; послышались чаще имена Шеллинга, Гегеля, Окена. При ежедневном посещении университетских лекций и 10-го нумера все мое мировоззрение очень скоро изменилось; но не столько от лекций остеологии *Терновского*[2] (в первый год Лодера не слушали) и физиологии *Мухина*, сколько именно от образовательного влияния 10-го нумера.

На первых же порах, после вступления моего в университет, 10-й нумер снабдил меня костями и гербарием; кости конечностей, несколько ребер и позвонков были, по всем вероятиям, краденые из анатомического театра от скелетов, что доказывали проверченные на них дыры,

[1] Общие задачи университетской науке при Голицыне ставились в форме требования, чтобы профессора медицинского факультета «принимали все возможные меры, дабы отвратить то ослепление, которому многие из знатнейших медиков подвергались от удивления превосходству органов и законов животного тела нашего, впадая в гибельный материализм». Во избежание этого профессор анатомии должен был «находить в строении человеческого тела премудрость Творца, создавшего человека по образу и подобию своему». От цензуры требовалось, чтобы она рассматривала медицинские учебники в отношении нравственном: «когда науки математические и даже география несут часто на себе отпечаток неверия, могут ли не подлежать строжайшему надзору творения медицинские, в коих рассуждения о действиях души на органы телесные и о возбуждении в теле различных страстей подают обильные способы к утверждению материализма самым косвенным и тонким образом?» В связи с такой установкой М.Л.Магницкий, ближайший помощник Голицына, поднял вопрос об отказе от «мерзкого и богопротивного употребления человека, созданного по образу и подобию Творца, на анатомические препараты». В высших медицинских школах стали преподавать анатомию без трупов, иллюстрируя учение о мышцах на платках. Развивая это «благочестивое» начинание, непосредственно подчиненные Магницкому казанские профессора «решили предать земле весь анатомический кабинет с подобающей почестью; вследствие сего, рассказывает современник, заказаны были гробы, в них поместили все препараты, сухие и в спирте, и после панихиды, в параде, с процессией, понесли на кладбище».

[2] А.Г.Терновский (1792–1852) – адъюнкт Лодера; читал лекции по анатомии и диететике, производил вскрытия трупов по правилам судебной медицины (за 10 лет – 600 вскрытий); прославился бескорыстным лечением бедных.

а кости черепа, отличавшиеся белизною, были, верно, украдены у Лодера, раздававшего их слушателям на лекциях остеологии.

Когда я привез кулек с костями домой, то мои домашние не без душевной тревоги смотрели, как я опоражнивал кулек и раскладывал драгоценный подарок 10-го нумера по ящикам пустого комода, а моя нянюшка, Катерина Михайловна, случайно пришедшая в это время к нам в гости, увидев у меня человеческие кости, прослезилась почему-то, и когда я стал ей демонстрировать, очень развязно поворачивая в руках лобную кость, бугры, венечный шов и надбровные дуги, то она только качала головою и приговаривала: «Господи, Боже мой, какой ты вышел у меня бесстрашник!»

Что касается до приобретения гербария, то оно не обошлось мне даром. Надо знать, что это был действительно замечательный для того времени травник, хотя Москва и могла считаться истинным отечеством травников всякого рода, только не ботанических, а ерофеечевых; гербарий же 10-го нумера был, очевидно, не соотечественный. Вероятно, его составлял какой-нибудь ученый аптекарь, немец; он собрал около 500 медицинских растений, прекрасно засушил, наклеил каждое на лист бумаги, определил по Линнею и каждый лист с растением вложил в лист пропускной бумаги. Чисто, аккуратно, красиво. Когда студент 10-го нумера *Лобачевский* показал мне в первый раз это, принадлежавшее ему сокровище, я так и ахнул от восхищения. Лобачевский предложил мне купить эту, по моим тогдашним понятиям, драгоценную вещь за 10 рублей, разумеется, ассигнациями, и сверх того привезти ему еще на память шелковый шнурок для часов, вязанный сестрою; Лобачевский был galant homme[1] и где-то видел моих сестер. Я, не возражая, не торгуясь, вне себя от радости приобретения, попросил тотчас же уложить гербарий в какой-то старый лубочный ящик; старый Яков связал ящик веревкою, стащил вниз и положил в сани к извозчику.

В мечтах, наслаждаясь рассматриванием гербария, я и не заметил, как доехал до дому; тут только взяло меня раздумье: а что, как мне денег-то не дадут, что тогда? Да не может быть! – Ну, а если?... Ах, Боже мой, как же это так я и не подумал прежде! Ну, будь, что будет!

– Прасковья! Прасковья! Ульяна! Да подите сюда, помогите вытащить ящик из саней!

Тащат. Вхожу в комнаты уже ни жив, ни мертв от волнения.

– Что это такое? – спрашивают сестры.

– Да это гербарий.

– Что такое гербарий?

– Ботаника.

– Да ведь у тебя есть уже ботаника.

– Какая?

– Да разве ты не помнишь, сколько сушил разных цветов?

– Ах, это совсем не то; это настоящий, как есть ботанический гер-

---

[1] Изящный молодой человек (франц.).

барий, и все медицинские растения. Просто чудо, драгоценнейшая вещь, редкость!

– Да откуда же ты достал?

А я между тем распаковываю ящик, вынимаю пачки пропускной бумаги.

– А вот смотрите-ка сначала, каково, а? Вот смотрите-ка Atropa Belladonna, нездешняя, у нас не растет. Это – красавица, яд страшный; а вот это растет и у нас, видите: Hyoscyamus niger. L.; это значит Линней, по Линнею – белена. Что? Каково?

– Кто же тебе подарил?

– Вот тебе раз: подарил! Прошу покорно! Да где найдешь таких благодетелей, чтобы все дарили вам? Я купил.

– Купил! А деньги где?

– Буду просить.

А о шнурке я ни гу-гу.

Начинаются переговоры и пересуды. Мать узнает и называет мою покупку самоуправством, легкомыслием, расточительностию; угрожает, что отец не даст денег. Я – в слезы, ухожу к себе, ложусь в постель и плачу навзрыд, – и так на целый вечер, нейду ни к чаю, ни к ужину; приходят сестры, уговаривают, утешают. Я угрожаю, что останусь дома и не буду ходить на лекции. Обещают, во что бы то ни стало достать к завтрашнему дню 10 рублей. А про шнурок я все-таки ни гу-гу. Так благодаря ходатайству сестер дело и уладилось. Я принес *Лобачевскому* на другой день 10 рублей, а про шнурок что-то сболтнул, не помню; только Лобачевский его никогда не получал, хотя при каждом удобном случае и напоминал мне о моем обещании; а я в досаде на свою легкомысленность посылал Лобачевского внутренне ко всем чертям.

С этих пор гербарий доставлял мне долго, долго неописанное удовольствие; я перебирал его постоянно, и, не зная ботаники, заучил на память наружный вид многих, особливо медицинских растений; летом ботанические экскурсии были моим главным наслаждением, и я непременно сделался бы порядочным ботаником, если бы нашел какого-нибудь знающего руководителя; но такого не оказалось, и мой драгоценный гербарий, увеличенный мною и долго забавлявший меня, сделался потом снедью моли и мышей; однако же, целых 16 лет он просуществовал, сберегаемый без меня матушкою, пока она решилась подарить его какому-то молодому студентику.

Кроме костей и гербария, я принес еще домой из 10-го нумера и мое новое мировоззрение, удивив и опечалив этим не мало мою благочестивую и богомольную матушку. В церковь к заутреням и даже всенощным я продолжал еще ходить, соблюдал посты и все обряды, но при каждом случае, когда заходила речь с матерью и домашними о святости внешнего богопочитания, о Страшном суде, муках в будущей жизни и т.п., я сильно протестовал, глумился над повествованиями из Четьи-Минеи о дьяволе и его проказах и пр.

– Да рассудите, сделайте милость, маменька, сами, – доказывал я логически, – как же это может быть? Ведь Бог, вы знаете, всеведущ,

всевидящ, правосуден, милосерд; поэтому Он знал, наверное, что мы будем злы, и все-таки накажет нас потом за то, что мы были злы, где же тут справедливость и милосердие?

– Да ведь тебе Бог дал волю; выбирай, не делай зла.

– А, позвольте, к чему же мне эта воля, когда Богу заранее было известно, – ведь Он всеведущ, – что я согрешу и буду грешником?

Так резонировал я с моею старушкою (тогда она не была еще так стара), и замечу кстати, что этим же самым пошленьким резонерством я затыкал не однажды рот православным догматикам из семинаристов.

Я помню, что с старым товарищем по профессорскому институту (он был годами 20-ю старше меня) я целые часы, ночью, болтал на эту тему. И ни ему, ни мне не приходило в башку, что ни о всеведении, ни о правосудии, ни о милосердии творческом нам не суждено знать, и не нам, не нашему человеческому уму судить о свойствах абсолюта.

Когда наше нравственное начало ищет себе опору в Божестве, то мы неминуемо должны остановиться на откровении и верить Христу, разрешавшему подобные моим сомнения тем, что невозможно для человека возможно для Бога.

Справедливо кто-то заметил, что двум мало-мальски образованным русским нельзя сойтись вместе, чтобы не заговорить тотчас же об отвлеченных предметах.

Это, должно быть, признак молодости нашей культуры: все ново, зелено, незрело, не передумано, не перечувствовано, не осмыслено. Так и со мною: лишь только я выскочил из дома на волю и сблизился с университетскою молодежью, тотчас же давай слушать, судить и рядить о материях отвлеченных. Почти с того же давнего времени у меня составилось и крепло верование, и я начал убеждаться в предопределении.

Сначала оно мне представлялось в виде нравственной Немезис, а потом сделалось роковым логическим выводом. При складе моего ума я никогда не мог себе представить ни физического, ни нравственного мира бессвязным и бесцельным; а потому и предопределение я основываю на непрерывной и бесконечной связи зависящих друг от друга причин и следствий.

Немудрено, что при моем складе ума, при моем воспитании, при моем возрасте формация моего мировоззрения тотчас же по вступлении в университет началась не снизу; ломка началась сверху. Сначала я стал потихоньку мести мою лестницу с верхних ступеней; но выбрасывать сор не смел. Обрядность и внешность богопочитания сохранялись мною отчасти по привычке, отчасти из страха. Но если прежнее дело оставалось in statu quo[1], то прежняя мысль уже сильно потрясалась и рушилась.

– Какой, право, Яков Иванович (*Смирнов*, о котором я говорил, кажется) пересудник и зубоскал! – говорит *матушка*, – как можно так отзываться о священнослужителях!

---

[1] В первоначальном состоянии (лат.).

Я. – Да, послушали бы вы, что поповские сынки в университете говорят о своих батюшках, так другое бы и сами подумали о попах; ведь это жрецы.

Матушка. – Что ты, Бог с тобою! Ведь у нас бескровная жертва.

Я. – Да что же, что бескровная? Все-таки и наши попы надувают народ, как жрецы прежде надували.

Матушка. – Как это можно так сравнивать!

Я. – Да отчего же не сравнивать? Ведь религия везде, для всех народов была только уздою (это выражение я слышал накануне разговора от одного старого семинариста на лекции), а попы и жрецы помогали затягивать узду.

Матушка. – Религия – ведь это значит вера; так неужели же теперь, по-вашему, и веры не надо иметь?

Я. – Послушали бы вы, маменька, что говорит вон немецкий философ Шеллинг (я только что слышал о нем в 10-м нумере от одного ярого поклонника – профессора Петербургской медико-хирургической академии *Веланнского*).

Матушка. – Да я читала его «Угроз Световостоков».

Я (с насмешкою). – Да это не Шеллинга, а Штиллинга[1] вы читали. Где же вам, маменька, понять Шеллинга; его и не всякий ученый поймет. Это натурфилософ.

Матушка. – Да ты, Николаша, уже не хочешь ли сделаться масоном?

Я. – А что же такое масон? У нас, там, в университете, между нашими студентами есть и масоны (я намекаю на сделанное мне втайне сообщение из 10-го нумера).

Матушка (крестится). – Ну, Бог с тобою! С тобою теперь не сговоришь. Вот время-то какое настало! Куда это свет идет?

Я. – Да куда же ему идти, и что такое время? Прошедшее невозвратимо; настоящего не существует; его не поймаешь, – оно то было, то будет; а будущее неизвестно.

Эта последняя тирада понравилась матушке, и она долго после напоминала мне всегда: «А помнишь ли, как ты мне говорил, что прошедшее не возвратишь, настоящего нет, а будущее неизвестно. Это так, так».

Десятый нумер остался мне памятным навсегда не только потому, что воспоминание о нем совпадает у меня с развитием первого в жизни мировоззрения, но и потому еще, что слышанное и виданное мною в этом нумере в течение целых трех лет служило мне с тех пор всегда руководною нитью в моих суждениях об университетской молодежи. 10-й нумер 1824 года, перенесенный в наше время, наверное считался бы притоном нигилистов. И тогда почти все отрицалось: Бога не нужно было; религия была вредною уздою; не отрицались только свобода, вольность и даже буйство при получении жалованья. Формы, конечно, изменились. От революции, пожалуй бы, и не прочь на словах, но систематическое осуществление принципов было не по силам. Осу-

[1] И.Г.Юнг-Штиллинг (1740–1817) – немецкий писатель и философ.

ществлять что-либо задуманное и передуманное, действовать, — это не нашего поля ягода; это нечто западное, пришлое к нам вместе с паром и железными колеями.

Но университетское воспитание молодежи, предоставленное до 1824 года почти исключительно силам природы, едва ли не дало, в нравственном отношении, лучшие плоды, чем позднейшее, искусственное.

Что вышло из всех этих энтузиастов вольности, этих отрицателей Божества, веры и поклонников Вольтера, натурфилософии, революций и т.п.? То же самое, что выходит из всех ультрабуршей в германских и в нашем Дерптском университетах. Я встречался не раз в жизни и с прежними обитателями 10-го нумера и с многими другими товарищами по Московскому и Дерптскому университетам, закоснелыми приверженцами всякого рода свободомыслия и вольнодумства, и многих из них видел потом тише воды и ниже травы, на службе, семейных, богомольных и посмеивавшихся над своими школьными (как они называли их) увлечениями. Того господина, например, из 10-го нумера, который горланил во всю ивановскую «Оду на вольность», я видел потом тишайшим штаб-лекарем, женатым, игравшим довольно шибко в карты и служившим отлично в госпитале.

Про германских и дерптских буршей и про наших кутил-студентов и говорить нечего. Известное и переизвестное дело, что этот разряд университетской молодежи дает впоследствии значительный контингент отличных доцентов, чиновников-бюрократов, пасторов, докторов и пр. Перебесятся и людьми станут. Die Jugend muss austoben[1]. Правда, это поговорка немецкая, а что для немца здорово, то русскому, пожалуй, и не впрок. Ведь русские, поступавшие в бытность мою в Дерпт студентами прямо из наших училищ, спивались с кругу нередко, и очень немногие из них вышли в люди. Но молодежь каждой нации должна перебеситься по-своему, и русской надо перебеситься по-своему, по-русски.

Вот, в 1824—1825 годах, мне кажется, так и делалось. Тогда университетская молодежь, предоставленная самой себе, жила, гуляла, училась, бесилась по-своему. Не было ни попечителей, ни инспекторов в современном значении этих званий. Попечителя, князя *Оболенского*, видали мы только на акте, раз в год, и то издали; инспекторы тогдашние были те же профессора и адъюнкты, знавшие студенческий быт потому, что сами были прежде (иные и не так давно) студентами.

Экзаменов, курсовых и полукурсовых не было. Были переклички по спискам на лекциях и репетиции, — у иных профессоров и довольно часто; но все это делалось так себе, для очищения совести. Никто не заботился о результатах. Между тем аудитории были битком набиты и у таких профессоров, у которых и слушать было нечего, и нечему научиться. Проказ было довольно, но чисто студенческих. Болтать, даже и в самых стенах университета, можно было вдоволь, о чем угодно, и вкривь, и вкось. Шпионов и наушников не водилось; университетской поли-

[1] Молодость должна отбушевать (нем.).

ции не существовало; даже и педелей[1] не было; я в первый раз с ними познакомился в Дерпте. Городская полиция не имела права распоряжаться с студентами, и провинившихся должна была доставлять в университет. Мундиров еще не существовало. О каких-нибудь демонстрациях никогда никто не слыхал. А надо заметить, что это было время тайных обществ и недовольства; все грызли зубы на *Аракчеева*; запрещенные цензурою вещи ходили по рукам, читались студентами с жадностью и во всеуслышание; чего-то смутно ожидали.

Правда, общественная жизнь того времени не была еще, как теперь, взбаламученным морем. О меньшей братии не было еще толков. Культурный слой заботился только о себе и смотрел вверх, а не вниз. Буржуазия еще стояла на пьедестале. Но разве все это не было для нас гораздо натуральнее и проще? Тогда, как и теперь, всем известно было, что в сущности, что бы там ни говорилось, всякий заботится исключительно о себе; но тогда люди были, должно быть, откровеннее и, заботясь о себе, не толковали о меньшей братии и не поступали так, как будто бы из кожи лезут для других. Всесветное горе, Weltschmerz , не волновало еще умы людей и не было модным занятием тех, кому нечего было делать. Правда, и тогда знали, что во времена оны Сын Человеческий скорбел этим горем не для Себя; но знали также, что то был Единый, Непогрешимый, Безгрешный, имевший власть отпускать и грехи других; а потому, считая самоотвержение и бескорыстное служение общему благу не делом во грехе рожденных сынов человеческих, подозрительно смотрели на вожаков и агентов вспомоществования всесветному горю.

Конечно, молодежь, как самый чувствительный к веяниям времени барометр, всегда обнаруживает заметнее признаки небывалых стремлений; так, немудрено, что современная молодежь при появлении на свет новых социальных учений тотчас же изъявила готовность донкихотствовать и окунаться в взбаламученное море.

Я убежден, однако же, что, не тяготей над нашими студентами с 1826 года, целых 30 лет, систематический гнет попечительств, инспекторов и т.п., молодежь встретила бы веяния нового времени совсем иным образом. Несмотря на мою незрелость, неопытность и детски наивное равнодушие к общественным делам, я все-таки тотчас же почувствовал начинавшийся с 1825 года гнет в университете.

Гнет этот, как известно, усиливался crescendo[2] и даже до сегодня, с некоторыми перемежками, следовательно, не 30, как я сейчас сказал, позабыв, что делалось в последние 20 лет, а целых 50 лет. Довольно времени, чтобы, исковеркав lege artis[3] молодую натуру и ожесточив нравы, перепортить и погубить многие сотни и тысячи душ.

Вот куда зашел я из 10-го нумера и забыл, что хотел еще говорить о московских извозчиках, возивших меня почти ежедневно с Неглинной (университет, по понятиям тогдашних извозчиков, находился на Не-

[1] Педель (нем. Pedell) – младший служитель при высших учебных заведениях в России, следивший за поведением студентов.
[2] Нарастая (ит.).
[3] По всем правилам искусства (лат.).

глинной) к Троице в Сыромятники. Species[1] моих возниц именовали *волочками*, и я имел удовольствие, в течение целого года, по вечерам ездить из университета домой на волочках.

Этот, теперь не существующий, род возниц перетаскивал человеческие телеса на дровнях. Незатейливый экипаж *волочка* действительно был не что иное, как небольшие дровни, покрытые каким-то подобием подушки; садились на эти дровни сбоку; ноги оставались свешенными на землю, и если были очень длинны, то едва не волочились по земле; когда было грязно, то предлагались для прикрытия колен и голеней дерюга или мешок, нисколько, впрочем, не оправдывавшие возлагавшихся на них надежд.

Как бы современному прогрессу ни казались ненормальными извозчичьи московские волочки 1825 года, но они вполне гармонировали с тогдашним состоянием столичных переулков и моего кармана. За 10 и за 5 копеек, смотря по тому, где я садился на волочки, они везли меня целых 8 верст в темные, осенние вечера по непроходимой грязи различных переулков и закоулков, путешествие пешком по которым было сопряжено с опасностию для жизни, и я это испытал несколько раз, когда мне приходилось отправляться по инфантерии.

Раз, в безлунный, темный, осенний вечер, я, не желая передать извозчику более пятачка, загряз по щиколотки в каком-то глухом закоулке и был атакован собаками; перепугавшись не на шутку, я кричал во все горло, отбивался бросанием грязи и, наконец, кое-как выкарабкался из нее весь испачканный и с потерею калош.

Извозчики и учащаяся молодежь — это два самых верных барометра культурного общества: по ним узнается очень скоро и настроение, и степень культуры общества. Иначе и не могло быть. Чем деятельнее обмен веществ, тем живее и совершеннее организм. Чем деятельнее обмен идей, а с ними и умственных и материальных произведений, тем культурнее и совершеннее общество. А кто, как не школа и молодежь, укажет нам прямо и верно умственную жизнь общества, его стремления, силу и скорость обмена господствующих в нем идей? Кто, как не извозчики и главный их raison d'être — пути сообщения, покажет нам силу и скорость обмена в материальном быте общества?

Прошло менее года, судя по расчету времени, и гораздо более, судя по одним воспоминаниям, с тех пор, как я вступил в Московский университет, и страшное горе-злосчастие разразилось над нашею семьею.

Уже года два тянулась история с покражею казенных денег комиссионером *Ивановым*; дом и имение были уже описаны в казну, были и частные долги; но отец умел вести дела, был поверенным по разным делам и, между прочим, и по имению генерала Николая Мартыновича *Сипягина*, женатого на богатой *Всеволожской*.

[1] Вид, разновидность (лат.).

В течение этого времени, помню, толковали много у нас о приезде в Москву для ревизии комиссариата какого-то грозного *Аббакумова*; называли его аракчеевцем. Он упек многих под суд; отец, однако же, избежал суда и вышел попросту в отставку; мы продолжали жить почти что по-прежнему, как в былые счастливые дни. Я помню еще, как отец, вышед в отставку, в первый раз надел темно-коричневый, с темными пуговицами, фрак и сапоги с кисточками; помню, кажется мне, и то, что он стал как-то задумчивее, неподвижнее; прежде мы только по вечерам его видали дома; теперь мы заставали его нередко посреди дня спящим на диване; он чаще стал жаловаться на головные боли, и характер его, должно быть, изменился; вспыльчивый и горячий по природе, отец сделался равнодушным. Как теперь вижу, он сидит и бреется; входит низенькая, толстая фигура банщика и торговца дровами и начинает тянуть предлинную канитель об уплате денег за купленные у него дрова и, заметив, наконец, равнодушие отца к его доводам, говорит: «Нет, я уже теперь вижу, придется идти мне не к Ивану Ивановичу (моему отцу), а к Александру Алексеевичу» (т.е. к московскому обер-полицеймейстеру *Шульгину* с жалобою на должника). На всю тираду банщика отец не отвечает ни полслова; я стою и слушаю, и, верно, слушал очень внимательно, если до сих пор помню.

В половине апреля отец приходит из бани и выпивает стакан квасу. Ночью в доме тревога. Захватило дух; посылают за лекарем, пускают кровь, затем следует облегчение; отец чрез несколько дней встает с постели, прохаживается по саду, но не выздоравливает; лекарь из воспитательного дома *Кашкадалов* призывает на консилиум все того же Ефр[ема] Осип[овича] *Мухина*, нашего старого знакомого и добродея.

Вспоминаю два рассуждения по поводу этого консилиума. Оканчивавшие курс из 10-го нумера, услыхав от меня, что Ефрем Осипович прописал отцу magnesia sulfurica в растворе, решили с самоуверенностию, что они сделали бы то же самое, что и Мухин; а мой почтенный подлекарь Григ[орий] Мих[айлович] *Березкин*, с нависшими бровями, полузакрытыми глазами, хриплым голосом, скороговоркою и отрывисто, как-то под нос себе, бормотал: «Тут бы, эдак, надо бы amara, amara, roborantia бы, эдак». И я, вспоминая бледно-желтоватый, бескровный облик в последний раз в жизни виденного отца, невольно думаю: старик Березкин прав был...

Настал день 1 мая, гулянье в Сокольниках, день превосходный, солнечный, теплый; мы вздумали вывезти отца за город на несколько часов; условились, чтобы я воротился из университета к часу, и мне помнится, как будто отец, встав поутру в этот день, говорил нам, что во сне кто-то ему сказал очень внятно: «Слышал ли, что Иван Иванович Пирогов умер». Не берусь решить, наверное, слышал ли я это из уст самого отца, как мне кажется, или узнал после из рассказов от домашних.

Радостно я уходил в университет в надежде, возвратившись, тотчас же поехать с отцом за город; грустно было мое возвращение, — и теперь, 56 лет спустя, сердце ноет, когда привожу на память, что я увидел, возвратившись домой.

Что-то зловещее чуялось мне, когда я приближался к дому. У ворот стояло несколько человек и ворота были отперты; слышался шум и беготня. Меня забыли или не могли предупредить. Чуя что-то недоброе, я пробежал чрез двор в сени и переднюю, и лишь только отворил дверь в большую комнату (залу), мне представился стол, а на столе — темно-багровое, раздутое лицо отца, окаймленное воротником мундира; у меня закружилась голова, сердце сжалось, ноги подкосились, и я упал на руки к подбежавшим ко мне сестрам.

Одна из них рассказала потом мне, что не более как за час до моего прихода она подала отцу ложку с лекарством; он сидел на стуле, и лишь только поднес ложку ко рту, как побагровел, захрипел и повалился со стула. Apoplexie foudroyante[1].

Остановлюсь на наследственных характерных чертах нашей семьи. Современный вопрос о влиянии наследственности на организм только тогда решится удовлетворительно, когда соберется достаточный и надежный материал из описаний наследственной характеристики огромного числа семей и особей.

В нашем семействе весьма резко выразились два различных типа; одна часть мужского и женского поколения (братья и сестры) была почти черноволосая, долголицая, с продолговатыми носами, темно-карими глазами, густыми волосами на голове и теле; другая половина, напротив, была круглолица, с черепом более широким, чем высоким, сплюснутым широким носом, несколько выдавшимися скулами, светлыми и голубыми глазами, светло-русыми и жидкими волосами на голове; мужское поколение этого типа плешиво, — плешь начинается со лба, а не с макушки головы, но борода окладистая и густая.

Из шести оставшихся на моей памяти членов нашей семьи (трех братьев и трех сестер) только двое принадлежали к первому типу долголицых (брат и сестра), тогда как наш отец, мать и четверо нас остальных детей (двое братьев и две сестры) были представителями второго типа.

Деда и бабушку мою я не помню, но, судя по рассказам, дед принадлежал также к этому разряду, хотя и был на старости совершенно плешив; находили некоторое сходство между ним и старшим моим братом, Петром.

Рассказывали, что дед Иван Михеевич был высокий, плотный мужчина и жил более ста лет; уверяли даже, что пред смертью у него начали прорезываться новые зубы!?? Он служил прежде в армии и помнил еще многое из времен Петра Первого, потом поселился в Москве, завел какую-то, для того времени новую, пивоварню, женился и был строгим мужем; бабушка в последние годы жизни помешалась, капризничала, бранилась и дралась с мужем.

Помешательство перешло по наследству и на старшую сестру мою, как рассказывали, очень похожую лицом на бабушку. Я наблюдал эту болезнь сестры с самого начала ее развития, с 1841 г., а смерть постигла сестру в 1869 году.

---

[1] Апоплексический молниеносный удар (франц.)

Все наше семейство было характера вспыльчивого и горячего; но вспышки никогда не продолжались долго. Эти черты нрава перешли от деда и бабки к отцу, от отца – к нам. Мать моя принадлежала, как сказано уже, ко второму типу, имела характер сходный с отцовским, но отличалась большею сдержанностью; зато и гнев ее не проходил так скоро, как отцовский, а расположение духа не так быстро менялось, как у отца; она была и расчетливее, и бережливее.

Мне кажется, я многое наследовал от нее и с физической, и с нравственной стороны, и, между прочим, – тонкие руки и ноги, худощавость, наклонность к катарам, шум в ушах, религиозное настроение духа, охоту к занятиям и бережливость.

2 марта.

Сегодняшняя потрясающая новость заставляет придать моей хронике снова прежнюю форму дневника. Нельзя не передать бумаге мысли глубоко-взволнованной души. Только что получил от исправника из Винницы приглашение к панихиде по Александру II-му с извещением, что он умер от ран, нанесенных ему 1-го марта двумя взрывчатыми снарядами. Семь раз было покушение на жизнь государя; едва ли в истории найдется другой пример так часто (в течение 15-ти лет) повторявшихся попыток отнять жизнь у государя, доброго в душе и желавшего, без сомнения, добра государству, конечно, по своему личному убеждению. За что же? За что такая злая ненависть и злодейское упорство? Вопрос не легкий и глубокий по его нравственно-историческому значению. Будь я не русский, а чужеземец, я не затруднился бы тотчас же отвечать следующим соображением: Россия долго ждала с освобождением крестьян; ему надо бы было совершиться еще при Николае; он, с своею энергиею, сумел бы произвести давно реформу, если бы он не сбился с толку своим отвращением ко всему, что имело какой-либо вид народной свободы в государстве. Запоздавшая эманципация пришла поэтому в самое неудобное время; с одной стороны – еще не затертые следы кровавой войны, кончившейся постыдным миром, натянутые донельзя пружины административного произвола, заправлявшего всем в государстве, крайняя потребность для существования государства в радикальных экономических реформах; с другой же – брожение умов во всей Европе, под наплывом новых социальных доктрин, угрожающее уже переходом от идеи к действительному осуществлению на опыте, – и все это при неожиданных, быстро следовавших одно за другим и весьма знаменательных политических событиях (освобождение Италии, польское восстание, освобождение невольников и междоусобные войны Америки).

При таких обстоятельствах нельзя мол было ожидать совершенно мирного и правильного, с соблюдением общих интересов (частных и государственных), исхода эманципации. Та сторона и то сословие, интересы которого наиболее нарушались эманципациею, должна была

оставаться недовольной и, не имея никаких законных средств, для выражения своего недовольства, должна затаить его в себе с тем, чтобы при случае заявить его наглядным образом на эмансипаторе. Вероятно, так и объясняли себе американцы первое покушение на жизнь государя Каракозова, сравнивая его с убийцей президента Линкольна. Конечно, нам русским, такое сравнение кажется уродливым. Но, как угодно, все, даже и самые беспристрастные судьи, всегда ищут причину преступлений там, где существуют или могут существовать какие-либо мотивы к совершению преступлений.

Посторонний судья, узнав о часто случавшихся покушениях на жизнь особы государя, непременно задастся вопросом: да в чьих же интересах было убить его? Кому вредила или чье мщение возбуждала эта столь дорогая для целого государства жизнь? И у постороннего судьи ответ не замедлил бы явиться. Повредила эманципация всего более материальным интересам помещиков и дворян, еще более повредила она их политическим сословным правам и преимуществам. И, если, сократив материальные интересы и уничтожив сословные права и обаяние, государство ничего не дало взамен ущерба, то недовольство и злорадство неминуемо должны проявиться у обиженного и приниженного сословия, и чем более пользовалось оно прежде льготами и преимуществами в стране, тем враждебнее, конечно, будет оно настроено и тем злораднее отнесется в глубине души ко всякой неудаче правительства или главе государства.

Такое соображение, по моему мнению, неизбежно для каждого постороннего судьи, смотрящего на нас со стороны. Мы, без сомнения, приведем весьма веские доводы, отстраняющие всякую тень подозрения на сословие, более всех других участвующее в делах правительства и самое близкое к трону.

Мы, конечно, укажем постороннему судье прямо на шайку крамольников, воспользовавшихся снятием гнета и проявляющих свою пагубную деятельность именно с тех пор, когда главою государства была дана большая свобода мысли и слова. Мы приведем неоспоримые факты, укажем на связь наших крамольников с интерналкою, на значительный контингент евреев, принимающих участие в крамоле, и пр., и пр.

Но все это, я полагаю, не будет, однако, убедительно для чужеземного наблюдателя и оценщика событий в нашем отечестве. И мы, по крайней мере, все беспристрастные из нас, верно, согласимся с ним, что неестественно же, наконец, быть довольным, веселым и т.п. потерпевшему; а что одно влиятельное сословие, очевидно, потерпело при эманципации, этого также мы отвергать не можем. И вот это-то недовольство влиятельного сословия в государстве и не проходит никогда бесследно в его истории; нетрудно найти и в нашей катастрофы и смуты, зависевшие от этой причины.

Приняв же это за историческую аксиому, нужно допустить и возможность такого предположения, что недовольный не может сочувствовать тому, кого он считает главным виновником своего недовольства; в таком случае, если не злорадное, то безразличное отношение к бедствию,

постигающему этого виновника, почти неминуемо. Поэтому крамольники, фактически обличенные в разного рода государственных преступлениях, весьма естественно могли рассчитывать на это недовольство, оно в их глазах есть уже quasi участие, хотя бы их цели и были диаметрально противоположные тем, к которым стремятся недовольные.

Все эти соображения, я полагаю, легко придут на мысль каждому постороннему судье наших дел и во многом нельзя нам не согласиться с ним.

Но мы должны знать еще и многое другое, существенно изменяющее такой взгляд на причины и мотивы нашей современной общественной и государственной неурядицы. Я пишу только для себя, не для света и потому пишу откровенно, как думаю, без всякой задней мысли, а главное, как человек независимый, ничего не ищущий, отживший свой век, но все еще любящий отчизну и желающий ей добра. Я располагал поместить мой взгляд на наши общественные дела в моем дневнике впоследствии; но теперь представился к тому прискорбный случай. Он не дает говорить и думать о чем-нибудь другом. Пожалуй, задохнешься от наплыва взволнованных чувств и мыслей, если не дать им вылиться на бумагу; она, как известно, все терпит, вытерпит и этот напор. Хотя он и временный, и случайный, но наплывшие мысли родились не сейчас.

Погиб от преступной руки самодержавный государь на улице, охраняемый стражею, окруженный толпою народа. Беспристрастная история оценит вполне его заслуги пред Россиею; они были необыкновенные, вековые. И сам цареубийца (если он был не подлый раб и наемник) пред судом своей совести будет оправдываться разве тем только, что государь не делал то, что он сделал для России так, как бы это надо было сделать по мнению единомышленников самого убийцы.

Но венка бессмертия убийство не сорвет с головы Александра II-го. Это должны признать и самые злейшие его враги, если в них осталась хотя одна тень беспристрастия и любви к правде.

Кого же из мыслящих и любящих истину людей не заставит задуматься это упорное подпольное преследование государя, так много сделавшего для своего государства, – и зато в течение 15-ти лет семь раз подвергавшегося покушениям на свою жизнь.

Причина, верно, не одна; как всегда, причину важных событий нужно искать в совпадении различных обстоятельств; они, как рассеянные лучи теплоты, собираются каким-то зажигательным стеклом в фокусе и устремляются на одну предназначенную точку.

Посмотрю с самого начала как мне, незнакомому ни с государственною, ни с закулисною стороною современной жизни, представляется весь ход событий с того, именно, момента, когда новый государь делает первый крупный шаг на пути прогресса.

Но когда речь идет о личном, более или менее субъективном взгляде на дело, то прежде всего нужно уяснить себе, каков глаз, которым смотришь.

Я вот уже смотрю на четвертое царствование. На первое я смотрел детскими глазами и видел только окончание его университетским под-

ростком; второе пришлось мне созерцать и юношею и возмужалым человеком, в самом цвете лет; третье застало меня уже отцом подрастающих детей, уже многое испытавшим, но еще готовым на борьбу и новую жизнь; наконец, четвертое я встречаю одряхлевшим, но не отжившим нравственно стариком. Итак, я обращаю мой старческий взгляд назад, на то, что я видел и что мне казалось в самую пору моей умственной зрелости.

Что вызвало эманципацию крестьян в России, как начало начал нашего прогресса, а вместе с тем и всех современных событий? После печальных дней севастопольского погрома весть об эманципации была первою зарею новой эры и вот потрясающее событие 1-го марта 1881 года может считаться финалом 20-летнего спектакля, разыгрывавшегося пред нашими глазами; спектакль, конечно, не одноактный, но надо молиться и надеяться, что финалы других актов будут более во вкусе честных и здравомыслящих сынов России!

Я был в то время попечителем Одесского учебного округа, когда первая весть об эманципации доставлена была туда брюссельскою газетою «Independance Belge». Студенты лицея достали где-то нумер этой газеты, прочли новость и тотчас же несколько из них отправились в гостиницу пить вино за здоровье государя и крестьян. Жандармский генерал *Черкесов* тотчас же донес о происшествии в Петербург и сообщил мне о случившемся; а я знал это уже прежде от самих студентов и не находил в этом ничего худого; узнав однако же, что *Черкесов* писал в Петербург, принужден был известить министра *Норова* о происшедшем с моим оправдательным комментарием. К счастью, генерал-губернатор *Строганов* посмотрел неожиданно для меня, как-то слегка на происшествие, может быть и потому, что *Черкесов*, которого он не жаловал, слишком поторопился без него с доносом.

«Одесский вестник» того времени был передан генерал-губернатором через меня лицею. Я поручил редакцию проф[ессорам] *Богдановскому* и *Георгиевскому*, и, когда в столичных периодических изданиях начали появляться статейки, затрагивавшие крестьянский вопрос, то и редакция «Одесского вестника» издалека коснулась этого горючего материала. Боже мой, поднялась какая тревога!

Несмотря на самые глухие, самые неопределенные намеки о некоторых выгодах *улучшения* крепостного быта (как называли тогда официально предстоящую эманципацию), полетели на меня в Петербург с разных сторон доносы. Два из них, самые главные, пересланы были потом мне: один из министерства внутренних дел (от *Ланского*), а другой – из министерства народного просвещения (от *Ковалевского*). Первый настрочен был на пяти листах губернским предводителем херсонского дворянства (имя этого почтенного деятеля я уже позабыл, да, по правде, оно и не стоило того, чтобы о нем помнить); там я сравнивался, *буквально*, с Маратом, Прудоном и т.п. Другой донос шел на «Одесский вестник» от самого генерал-губернатора (*Строганова*), т.е. также на меня, как на председателя цензурного комитета, хотя эта газета не могла, по закону, выходить в свет без предварительной цензуры генерал-губернатора.

В Киеве, куда я перешел попечителем из Одессы, другая история: там польские помещики жаловались на студентов, своих соплеменников, за их сближение с народом, на хохломанов, подстрекающих народ против панов.

Киевский генерал-губернатор *Васильчиков* сообщил мне, что один богатый польский помещик (Киевской губернии) – отец – донес ему на своих сыновей за их сближение с крестьянами. А в то же время «Колокол» Герцена звонил во всю ивановскую; запрещенный до того, что цензура не пропускала даже его имени, он читался всеми, не исключая и учеников гимназий, нарасхват; как утаить от детей, что занимало так сильно их отцов и старших братьев!!

Еду в Петербург, призванный на съезд попечителей 1860 г.; глазам и ушам не верю, что вижу и слышу. В Твери, где я остановился по делам моего тверского имения, я нашел вечером у предводителя дворянства собрание дворян человек 50 и более, и что там говорилось почти публично, и в каких выражениях проявлялось недовольство, этого я никогда не забуду; и за что же? Это были не крепостники, а прогрессисты, недовольные прогрессом и называвшие его анархиею.

Приезжаю в самый Петербург. Еще хуже: недовольство еще ярче. Тут является ко мне один из соседей по тверскому имению, застает у меня *Н.Х.Бунге*, назначенного тогда в ректоры киевского университета и участвовавшего в редакционной комиссии. Я не знал, куда деваться, когда помещик напал на члена ненавистной ему комиссии. «Вы хотите крови! – восклицал он, – она польется реками!» и т.п.

Но это был, по крайней мере, крепостник и потому недовольный ex officio[1]. Вечером в тот же день приходит ко мне доктор *Шульц*, имевший вход в банкирские дома, знакомый коротко со многими художниками, вообще, человек довольно сметливый. «Ну, – говорит он мне, – все уверены, что в России должна быть революция; при этом государе, опытные люди полагают, она еще не вспыхнет, но после него непременно». – «Полноте, любезный, молоть чепуху», – отвечаю я. – «Поживите в Петербурге; так увидите сами, какая перемена вышла в 4 года (я выехал из С.-Петербурга, собственно, в 1857 г.)!» – были последние слова Шульца.

И, прожив недели три в Петербурге, действительно было чему удивляться: распущенности ли с одной стороны, или безалаберности с другой; то слышались довольно громко, почти публично, самые ярокрасные бредни и вызовы, то запрещались весьма скромные журнальные статьи. Вообще, предшествовавшее непосредственно эманципации время оставило у меня впечатление чего-то смутного, неопределенного, недозволявшего понять, должно ли радоваться тому, что предстоит, или только рукою махнуть.

Все это я привожу себе на память в доказательство того, что общественное мнение сильно расшевелилось вопросом об эманципации, но из этого, конечно, не следует, что вопрос был расшевелен обществен-

[1] По обязанности (лат.).

ным мнением. Он был поднят, несомненно, сверху. Причин к тому, как все мы знаем, было не мало в то время.

Только три рода людей из культурного класса встречал я, в то время не одобрявших эманципации: во-первых, завзятых и неисправимых крепостников из эгоизма и личных интересов; во-вторых, крепостников по принципу. «Все государство рухнет, – говорили эти, – без крепостных людей».

«Поверьте, Николай Иванович, – говорил мне бессарабский губернатор, – это все придумывают наши враги, французы и англичане; они, пожалуй, вставили такой крючок и в мирный договор, зная, что ничем так не ослабишь Россию, как уничтожив или ослабив связь между простым народом и дворянством». – «Вот увидите, ваше превосходительство, помяните мое слово, увидите, что государство ужасно потерпит, – говорил мне один окружной начальник, – когда сократятся, после эманципации, помещичьи запашки, вывоз зерна уменьшиться так, что на заграничные доходы нечего более рассчитывать».

К третьему роду противников эманципации принадлежали люди, хотя и близорукие, но не так ограниченные; они очень наивно утверждали, что нужно прежде образовать, а потом освобождать. Любопытно, что и между самими крестьянами, по крайней мере, нашей юго-западной окраины, встречались противники эманципации, в том смысле, что, мол, «нехай будет по-прежнему, чтобы еще гирше[1] не было». Это случалось и мне не раз слышать.

За эманципацию были все ученые, учащаяся молодежь, люди, именуемые передовыми 1840-х годов; все крестьяне, не очень забитые, особливо же дворовые, и, наконец, интеллигентная и передовая часть дворянства, надеявшаяся с уничтожением крепостного права получить от главы государства представительное правительство для страны, тем более что сам государь инициативу эманципации клал в руки дворянства; государь же и его правительство, конечно, усматривали в уничтожении крепостного права самое главное и самое современное средство к поднятию экономического быта всего государства, к увеличению его доходов и к сближению с западными государствами, сделавшемуся крайне необходимым для культуры отсталой от Запада во всех отношениях России.

Вопрос об эманципации был, как известно, не новый. Еще при Александре I-м рассказывали, что он хотел, после уничтожения крепостного права в Прибалтийском крае, сделать то же самое на соседней Псковской губернии. И только, будто бы, опасение какого-то покушения на жизнь государя и заговора, открытого рижским генерал-губернатором *Паулуччи*, остановили Александра.

При Николае [I-м] не раз проносились слухи о непременном намерении императора освободить крестьян и в Юго-Западном крае. *Бибиков* введением инвентарей, очевидно, подготавливал акт освобождения.

При Николае [I-м] же происходило не мало возмущений между крестьянами [в конце 1840-х годов]. Одно из них, витебское, я помню,

---

[1] Хуже (укр.).

наделало много шума в Петербурге; рассказывали, что какой-то подрядчик, недовольный помещиками, разъезжал, переодетый в генеральский мундир, выдавая себя за наследника, и объявлял крестьянам, чтобы они шли в Петербург к самому государю, указ которого об освобождении скрыт помещиками и попами; крестьяне, как мне сказывали, в числе 10000, двинулись, не послушав и самого начальника края, и только военною силою были остановлены на полпути.

С каждым годом в конце 1840-х годов все чаще и чаще доставлялись сведения из провинций об уголовных преступлениях крепостных против своих господ и помещиков. Наконец, во время Крымской войны, при формировке ополчений, крестьяне Юго-Западного края изъявили намерение поголовно идти в казаки, т.е. выйти из крепостной зависимости. Понадобились даже местами и пушки для усмирения. А после Крымской войны целые массы крестьян (это я сам видел) устремились из новороссийских и соседних губерний, спеша к какому-то сроку, будто бы назначенному от царя для их освобождения, перейти через Днепр. Только кавалерийскому отряду удалось остановить невдалеке от Днепра уходивших и возвратить на прежние места.

Между тем в волжских провинциях и до Крымской войны ходили прокламации, присланные из-за границы; они призывали народ к топорам, напоминали ему о «вот тебе, бабушка, и Юрьев день» и т.п.

Итак, причин, и причин самых жгучих, для уничтожения крепостного права в России, вскоре после несчастной Крымской войны, было довольно. Это ясно, как Божий день. Но и без того запоздалая эманципация должна была явиться еще в такое зловещее время, когда везде скоплялся горючий материал для решения и других взрывчатых вопросов. Затронув один, можно было поджечь и другие.

При таких обстоятельствах самодержавный русский царь, намереваясь уничтожить крепостное право, не мог упустить из виду и ту сторону этого вопроса, которая касалась прерогатив его самовластия. Рассказывали в 1859 г., что, будто бы, председатель Государственного Совета *Гагарин*, преклонив колени перед царем, сказал ему: «Государь, эманципация крестьян – ведь это конституция».

Государь, толковали, ответил будто бы Гагарину: «Подпишу и ее обеими руками».

Все это, вероятно, выдумки; я полагаю, что на тираду Гагарина можно было бы ответить и так: да, эманципация может ослабить, но она может и укрепить самодержавие. И в самом деле, разве неизвестно из истории, что монархическая власть для своего укрепления всегда искала опоры на низших ступенях общественной лестницы в то время, когда на верхних она чувствовала себя недостаточно сильною.

Как бы гуманно и либерально ни был настроен Александр II в начале своего царствования, а одна высокопоставленная особа сказывала мне не раз, что он именно был гуманен гораздо более сердцем, чем головою, он не мог и не должен был, с точки зрения своей самодержавной власти, не рассчитывать на опору и укрепление этой власти со стороны громадных масс крестьянского населения, освобожденных его держав-

ным словом от крепостной зависимости. Вот тут-то именно, при рассмотрении эманципации, как средства к укреплению самодержавия, и трудно становится найти правду.

Крестьянство, как бы оно по своему существу, ни было консервативно, есть все-таки стихийная сила; освобожденное самодержавной властью от векового гнета, оно, несомненно, получает тягу к освободителю и потому может служить ему опорою; но прочно опираться на одно стихийное начало невозможно. Нелепое представление о каком-то мужицком царе, пущенное в ход, если не ошибаюсь, нашими славянофильскими фантазерами и слышанное мною не раз в начале 1860-х годов, конечно, не могло осуществиться в XIX столетии. Чтобы управлять мужицким государством, не расшатав его в основании и не предоставляя его исторических миссий и задач на произвол стихийных сил народа, самодержавию понадобились бы также другие интеллигентные силы, а где взять их, если между царем и стихийным крестьянством не будет другого сословия, среднего? Его то у нас и недоставало при освобождении крестьян. Надо было, как мне кажется, организовать его.

На нашу беду с 1848 года ненависть французских демагогов к буржуазии вошла и у нас в моду между культурною молодежью; но так как у нас французских буржуа налицо не оказалось, то эта ненависть перешла на кулаков, оставшихся от погрома землевладельцев, и, вообще, зажиточных людей, тем более что большинство нашей культурной и школьной молодежи принадлежит к пролетариату.

Когда на Западе монархическая власть переставала опираться на дворянство и оно после разных реформ и революций переставало играть первенствующую роль, то на смену его являлся уже готовый класс – третье сословие, интеллигентное и деятельное, и если монархизм почему-либо не мог опереться на него, то он слабел и терял из рук власть.

Наше чиновничество, наш ученый и учебный пролетариат, духовенство, мещанство и купечество, все порознь, без всякой солидарности, не имели никаких задатков для управления освобожденною от крепостного гнета страною. До того она управлялась, как сказать, механически; одно колесо, более сильное, ворочало и другое поменьше и послабее; главную роль играли администрация и сословные привилегии, а на случай всегда у них под рукою была военная сила.

Итак, главные опоры самодержавия до уничтожения крепостного права были: администрация, бюрократия, военная сила и привилегированное сословие; а когда понадобилось переместить центр тяжести отнятием и уменьшением прерогатив привилегированного сословия, то опорами остались только бюрократия с администрациею и военная сила. Хотя стихийное крестьянство и может быть в самодержавном государстве организовано и управляемо до известной степени, но тогда пришлось бы уже совсем сойти с пути государственного и общечеловеческого прогресса, а эманципация крестьян в XIX веке не могла не быть прогрессом.

Сверх этого новые западные учения, демократизм и тому подобные стремления нового времени, при прогрессивном почине в известной

степени сверху, не могли не проникнуть и в эти две оставшиеся опоры власти. Мало того: правительство само обратилось к демагогии. Прежде всего она понадобилась администрации. Новое переустройство крестьянства после эманципации и польского восстания в западных губерниях потребовало много новых, свежих сил, достаточно интеллигентных для ведения такого сложного дела. И значительный контингент таких сил доставила, именно, наша доморощенная под гнетом 1840-х годов демагогия разных оттенков. Места посредников, чиновников в новой администрации по крестьянским делам, особливо в западных губерниях после запрещения принимать на службу лиц польского происхождения, потом следователей, мировых судей, чиновников при губернаторах и т.п. были отданы людям, прибывшим частью изнутри России, а частью и туземцам, систематически вооруженным против большого землевладения, неравенства состояния и т.п.

Один, например, из таких председателей съезда мировых посредников на самом съезде весьма наивно и во всеуслышание объявил мне, что право наследственное есть весьма сомнительное право, что земля не есть и не может быть настоящею собственностью, что люди земли и воли необходимы для правительства в Западном крае и т.п.

Кто жил в Западном крае в 60-х годах, тот может порассказать многое о проделках этих деятелей. В Браиловском имении мировой посредник вышел на мост и, показав толпе крестьян помещичью усадьбу, крикнул: «Это все ваше, все должно отойти к вам!» Другой посредник в моем имении, в бытность мою за границею, по свидетельству самих крестьян, предлагал им жаловаться на выкупной, уже за два года утвержденный, акт и помогал им писать в жалобе небывалые вещи. Другой же посредник предлагал мне уладить все это дело, заплатив землемеру мирового съезда за новый план крестьянского надела; и этот самый господин потом, подгуляв за обедом у председателя, заявлял во всеуслышание, что лучшее средство – перерезать всех панов. О таком пассаже нельзя уже было не донести по начальству, и этого посредника прогнали из Винницы, но потом где-то опять дали другое место.

Один из ярых защитников крестьянских интересов, между посредниками, сделался таким демофилом, собрав за год до эманципации с крепостных своей жены (в Херсонской губернии) за один личный выкуп по 150 руб[лей] с души, убедил их приписаться в мещане или наняться в кабалу у купцов и попов; таким образом этот рьяный демагог, получив с своих обезземеленных крестьян (до 100 душ) тысяч 15, продал потом тысячи две десятин пустопорожней земли и переехал в Юго-Западный край благодетельствовать крестьянам на чужой счет.

Были, наконец, между господами посредниками этого края и отъявленные мазурики и даже один уголовный преступник. И то сказать: кто бы из уважающих себя личностей решился подчинять себя полнейшему произволу главного начальника края; сегодня тут, а завтра по шапке и долой. Один из смененных так, par l'ordre de moufri[1], – председатель

[1] По приказу муфтия (франц.).

мирового съезда (некто *Михайлов*) писал ко мне перед отъездом из Винницы, прося моего ходатайства у генерал-губернатора: «Я занял 25 рублей на выезд, а меня оклеветали во взяточничестве. Я отнял у помещиков Винницкого уезда с лишком 15000 десятин в пользу крестьян, и все еще не угодил красным, заседающим в Киеве».

Не помню, этот ли самый или другой демократ, однажды на мое замечание о том, что крестьяне, как соседи помещиков, все-таки предпочтут лучше иметь дело с нами, чем с чиновниками, также весьма наивно объявил мне: «В таком случае для правительства полезнее было бы отдать помещичьи земли нам, а помещиков сделать чиновниками». Это почти так и случилось в западной окраине; имения конфисковывались, помещики административно высылались, а чиновники и начальники края наделялись.

Когда эманципация крестьян повлекла за собою учреждение земств и новых судов, то правительство обратилось, за неимением надежного старого, к новому поколению, и также не могло быть разборчивым; поэтому и в земскую, и в судебные области не могли не проникнуть современные демагогические стремления, хотя проявления их и не могли быть так бесшабашны и грубы, как в мировых учреждениях западных окраин после польского мятежа.

Между тем самодержавная власть не могла же в новых учреждениях создать себе оппозицию, потому она и старалась, сколько можно, ограничить их действия своею администрациею.

И вот являются, с одной стороны, соответствующие современным требованиям преобразования государственной машины, потребовавшие, в свою очередь, и введения в действие новых понятий, новых мировоззрений и новых сил, а с другой стороны, понадобились прежние, задерживающие новый механизм, приборы.

Но и в этот старинный регулятор нашей государственной машины, в администрацию, веяния времени внесли-таки новые элементы, а с тем вместе и недовольство, притворство и ненормальное положение.

Всякому здравомыслящему ясно, что в государстве, выступившем на новый путь, неустроенная смесь новых учреждений с старыми, отжившими – самое вредное и опасное дело. Всякий здравомыслящий видит, конечно, и чрезвычайную трудность регулировать тотчас и точно отношения нового к старому по мере каждого нововведения. Зная это, надо готовиться на встречу с препятствиями и, встретив их, не терять головы, не выходить из себя, не увлекаться в выборе средств для борьбы с препятствиями. Без сомнения, каждый русский, любящий свое отечество, не пожелает ослабления государственной мощи и власти; это было бы равносильно желанию видеть Россию распавшуюся на части; но все средства для усиления этой власти всегда двусмысленны; энергетические на вид, на деле могут произвести эффект, противоположный ожидаемому.

Я полагаю, что главное средство для усиления власти состоит в том, чтобы не сходить ни разу в сторону с предначертанного однажды пути; другими словами, знать хорошо и верно, чего хочешь. И хочется, и колется – это беда для власти.

4 марта.

Третьего дня, второго марта, я взял перо под наплывом разных чувств и мыслей, стараясь уяснить себе, почему *случилось*, – а я отвергаю случай, – что один из наших лучших государей погиб преждевременно от насильственной смерти. Я старался припомнить себе из прожитого теперь 25-летия все, что казалось мне имеющим хотя бы и отдаленную связь с катастрофою. Но, припоминая, я не мог не привести себе на память и предшествовавшего царствованию Александра II-го 25-летия, и что же? Я прихожу невольно к убеждению, что весьма существенная, хотя и отдаленная, причина пагубной катастрофы скрывается в режиме николаевских времен, когда все было шито и крыто.

Эта ненормальная склонность в [нашей] интеллигентной молодежи к насильственным мерам идет оттуда. Вовсе не занимавшись политикою в 1840-х годах, я удивлялся и не понимал ясно мотивов той затаенной странной злобы, которую встречал нередко в откровенных беседах и у молодых людей; помню, что и тогда еще мне случалось слышать шипучие речи о готовности собеседников всадить нож или пулю всякому угнетателю и тирану, нарушающему человеческое достоинство. Я полагал тогда, что это юношеские вспышки, подобные тем, которых я наслышался в 10-м нумере, в 1820-х годах; но тон был уже иной и, очевидно, гнет ощущался сильнее и отчетливее.

К концу 1840-х годов прибавилось к этому еще и новое, небывалое стремление интеллигентной молодежи к сближению с меньшею братиею, проявившееся потом в деле *Петрашевского*.

При вступлении на престол Александра II-го, я, сделавшись попечителем, уже ясно замечал развитие и рост этих стремлений по мере того, как вопрос об эманципации приближался к своему окончанию.

Но кто в то время не увлекался и не волновался? По почину правительства даже и равнодушнейшие чиновные консерваторы считали обязанностью хоть немного да увлечься. Учащаяся молодежь рвалась к сближению с освобождаемым народом, а тут еще речь зашла и об эманципации поляков.

И вот мне живо представляется арена (со всеми аксессуарами) тайной и явной борьбы, возникшей между новыми, вызванными эманципациею на свет, стремлениями и государственною властью, то, по необходимости, поощряющей, то подавляющей вызванные ею на свет стремления.

Арена эта – освобожденное от крепостного права, но еще не свободное крестьянство. На ней борются, с одной стороны, самодержавная власть, по своему естественному праву стремящаяся укрепить и усилить себя освобожденною ею стихийною силою; с другой же стороны – новое, еще недозревшее поколение, с новыми, пришлыми и занесенными стремлениями, ищет в этой же самой стихийной силе почвы и материала для осуществления своих стремлений. Борьба неравная.

Власть располагает администрациею и новыми земскими и судебными учреждениями. Но и администрация, и учреждения оказываются уже не прежними безответно-повинующимися силами; они или ослабели, или проникли сами новыми несподручными элементами.

У власти есть еще и обаяние, и военная сила, но первое сильно при довольстве; ко второй всякая государственная власть прибегает только в крайнем случае, когда надо нанести разом решительный удар, *coup d'état*[1]; в хронической внутренней неурядице оно – опасное средство. Но, с другой стороны, вся сила – в увлечении, настоящем или напускном и вынужденном.

Можно вообразить себе, какую тревогу в свете причинили бы выпущенные из всех домов умалишенные, если б сумасшествие было у всех одно и то же и делало всех этих мономанов солидарными при осуществлении общей им idée fixe!

Можно ли бы было поручиться, что солидарные мономаны не достигнут, наконец, своей фантастической цели или заразят своими галлюцинациями и здоровых? Примеров было немало в истории. Мы все живем под влиянием психических поветрий, охватывающих целые общества и уклоняющих их далеко от прямого пути.

Немало способствует силе этой стороны и то, что она принуждена действовать подземно, подпольно, из-за угла и втихомолку. Никакая государственная власть одна, сама по себе, без содействия всех и каждого, не справится с подпольною крамолою, как скоро она успела хотя несколько организоваться. Дворцовая камарилья разве не такая же крамола, справься с нею, попробуй, административными и законными мерами. Итак, самодержавная государственная власть стремится по праву удержать за собою стихийную силу, и освобожденную ею для своей опоры и мощи на будущее время, а новое поколение пролетариев, авантюристов, недовольных, софтов[2] стремится из увлечения, ненависти к государственной власти, корыстных целей, гоньбы за эффектом и т.п. привлечь к себе эту же самую стихию, усматривая и чуя найти в ней мощное средство, чтобы не допускать до усилия государственную власть; поставить все вверх дном и переделать весь свет по-своему, на свой лад.

На помощь скрытой крамоле является общее недовольство, отчасти ею же самой возбужденное.

Прежде всего, недовольство учащейся молодежи. С самого начала не сумели у нас успокоить возбужденную молодежь. Тогда как она в начале царствования [Александра II] была вообще не худо настроена, но постоянно подстрекаема извне пропагандою эмигрантов, наших и польских, правительство медлило с университетскою реформою.

Прежнее николаевское начальство университетов было сменено, а устав и весь студенческий и профессорский быт оставались долго прежние, потом пошли колебания и частые смены университетского начальства.

[1] Государственный переворот (франц.).
[2] Софт (англ. soft) – неустойчивый, шаткий, непостоянный.

Власть генерал-губернаторов над университетами оставалась та же. Пакостила тем, что подвергала студентов двум полициям – общей и университетской. А генерал-губернаторы не находили ничего лучшего административной высылки для успокоения взволнованных умов молодежи. Попечители и ректоры придумали проповедовать нестройной студенческой толпе, вызывая ее этим на насмешки и грубое обращение.

Университетская полиция продолжала разыгрывать прежнюю роль шпиона, потеряв прежнее значение и силу. В число наказаний было включено закрытие университетов. Изгнанные студенты массами отправлялись в заграничные университеты и там, озлобленные, подчинялись еще более влиянию пропагандистов коммунизма, революций и насилия.

Я видел и слышал эту несчастную молодежь, боготворившую *Герцена* и *Бакунина* за неимением к почитанию ничего лучшего.

Надо было поговорить тогда с каждым из этих невольных изгнанников, чтобы составить себе понятие о той массе горечи и злобы, которая успела накопиться в сердцах несчастных юношей.

Один из них, например, теперь уже важный чиновник, засаженный после университетской демонстрации, со многими другими студентами, в крепость, рассказывал мне потом (в Гейдельберге) о своих страданиях с таким волнением, что голос его дрожал, глаза сверкали и пальцы судорожно сгибались; он, сидя в крепости, занемог тифом, и правительство, несмотря ни на какие просьбы и заступничество его родных и знакомых, не дозволило его перевести в клинику.

Когда наступила реакция после каракозовского покушения, то министерство народного просвещения занялось исключительно травлею молодежи. Стали придумывать всевозможные средства к затруднению входа в университет. Эта несчастная мысль преследует еще до сих пор наших государственных людей; я слышал ее еще в 1860-х годах.

Правительство, видя, с одной стороны, сильный прилив молодежи к университетам, а с другой, встревоженное разными демонстрациями студентов, пришло к убеждению, что надо притворить покрепче двери в университеты, впускать только отборных избранников, а остальных охотников предоставить на волю судеб; куда, в самом деле, им деться? Другие учебные учреждения их не вместят, а если и вместят всех, то почему бы эти заведения были надежнее университетов?

Когда земледельческий, технологический и другие институты стали наполняться, то и в них, конечно, явилось такое же настроение молодежи, как и в университетах. Пора бы, казалось, понять, что дело не в заведении, а в самой молодежи, теперь уже традиционно, из поколения в поколение, подстрекаемой хроническим недовольством и внешнею пропагандою к смутам и беспорядкам, вызывающим строгие меры, которые, в свою очередь, еще более усиливают недовольство, ропот, ненависть, злорадство и жажду мщения.

Но не только университеты, и самые гимназии подверглись таким преобразованиям, которые не могли не возбудить недовольство и ропот не только между учениками, но и между родителями учеников и самими учителями.

Общее недовольство возрастало по мере того, как все более и более убеждались, что все учебные преобразования, по-видимому, клонившиеся к развитию серьезно-научного образования, скрывали в себе заднюю мысль о сокращении границ этого образования и введении наименее вредного для России, в политическом отношении, направления науки.

Вместе с учебными репрессалиями, после усмирения польского мятежа и каракозовского покушения, понадобилось и усиление административной власти; началось так называемое обрусение западных губерний, уничтожение сепаратизма в Прибалтийском крае, в Малороссии и даже на Кавказе. Администрацией пускались в ход и те новые учреждения, которые с самого их начала назначались именно для противодействия невыгодам и злоупотреблениям административной системы управления; поэтому, весь Западный край, отданный вполне в руки администрации, и самой деспотической, и лишен был до самого последнего времени и земских и судебных учреждений. Административные, иногда до крайности произвольные ссылки, особливо из столичных и больших городов, приняли такие размеры, что начали стеснять провинциальных губернаторов.

Один из весьма почтенных начальников менее отдаленной губернии рассказывал мне, как его затрудняли треповские высылки из Петербурга. Приедет молодой человек и является к губернатору: «Я – такой то», далее: «Нечем жить: со мною ничего нет, не знаю, что делать, голоден» и т.п. «У меня для вас нет никаких сумм», – отвечает губернатор. – «Куда же я денусь? Посадите хоть в полицию». – «Ну, оставайтесь пока в гостинице и живите на мелок, а там увидим». До какой степени, наконец, надоели эти треповские распоряжения столичным жителям, показало известное дело Веры Засулич.

Духовенству, в свою очередь, также не посчастливилось от преобразований. По-видимому, новый обер-прокурор Святейшего Синода с 1866 г.[1] весьма старался о коренной реформе быта всего нашего духовенства; но на деле эта реформа отозвалась всего более опять-таки недовольством наших софтов.

Семинаристам запретили вход в университет, намереваясь этим привлечь их в духовную академию. Ничего не бывало; вышло противное; радикального улучшения нравственно-культурного и материального быта духовенства, благодаря всем преобразованиям прокурора, не последовало, а подпольная крамола в это время приобрела, верно, не мало деятельных членов из семинаристов. Самые крестьяне, из всех сословий наиболее облагодетельствованные великою реформою, не оказались довольными и счастливыми в такой мере, как этого следовало бы ожидать. Даже в Юго-Западном крае, где *А.П.Безак* и мировые посредники употребляли все, как законом дозволенные, так и нравственно недозволенные меры для оттягания земель и угодий от помещиков, не только польских, но и русских, в пользу крестьян, даже и в этом, говорю, крае, крестьянин нет, нет, да и скажет: «Ныне гирше, чем прежде».

[1] Д.А.Толстой.

Крестьянину, понятно, главное, как можно менее платить в казну; а тут плати не только в казну, да еще волостному старосте, писарю, на духовенство, на мировые учреждения, на рекрутов. Как же не послушать благодетелей в кабаках, толкующих, что царь скоро даст всю землю крестьянам, а помещиков посадит на жалованье или просто прогонит и велит бить? Чигиринское крестьянское дело[1] доказывает, до какой дерзости могли дойти действия крамольников и как легко поддаются крестьяне Юго-Западного края искушениям.

А недовольство, легковерие, податливость и невежество крестьян всего более на руку той части культурной молодежи, которая ищет, во что бы то ни стало, сближения с меньшею братией.

Да, это веяние времени замечательно и, по моему мнению, заслуживает самого серьезного внимания, и не одной администрации, а истинно государственных людей.

Причину этого курьезного стремления, кроме интернациональной, социалистической пропаганды, я нахожу, главное, в том, что у нас нет настоящего среднего сословия, европейского культурного tiers-état[2]. Наше facsimile[3] среднего сословия — трень-брень: кое-какое чиновничество, кое-какое купечество, кое-какое духовенство, все частичное; есть особи среднего сословия, но самого сословия немà! И вот культурная наша молодежь, которая при вступлении России, после эманципации, на торную дорогу *европейского* прогресса (другого мы в XIX веке не знаем) должна бы представлять самый надежный контингент к образованию настоящего интеллигентного среднего сословия, за неимением кадров этого сословия поворотила в сторону и ищет соединить свои будущие интересы с будущими же крестьянскими.

Для привлечения сбитой с толку молодежи на прямой, надежный, нехимерический путь прогресса недостает двух средств: во-первых, как сказано, нет организованных кадров, а во-вторых, что не менее важно, нет и никаких приманок — гарантий со стороны правительства для привлечения молодежи, хотя в какие ни на есть кадры этого сословия. А для этого, по-моему, не надо бы было слишком затруднять вход в высшие и средние учебные заведения и делать и жизнь, и ученье в них тягостными.

Надо надеяться, что с каждым годом будет увеличиваться контингент культурного среднего сословия, если само правительство обратит наибольшее внимание на развитие и организацию этого необходимого класса общества.

А развитие его требует прежде всего льгот самоуправления и значительных обеспечений самостоятельности, что, в свою очередь, при существующем еще значении и силе административной власти немыслимо.

---

[1] Чигиринское дело состояло в том, что летом 1877 г. в Чигиринском уезде Киевской губернии, был раскрыт обширный заговор, имевший целью восстание крестьян чуть ли не всего уезда. Организатором заговора явился революционер Яков Стефанович, который выдал себя за посланца от царя и представил крестьянам великолепно отпечатанную высочайшую грамоту (конечно поддельную).

[2] Третьего сословия (франц.).

[3] Воспроизведение (лат.).

Наконец, война, которая, казалось бы, могла содействовать к успокоению крамолы, сблизив все сословия; но, именно, тотчас же после окончания последней войны и начали следовать одно за другим crescendo, преступные действия крамолы, поражавшие всех неслыханною дотоле дерзостью предприятий.

Мне кажется, и это объясняется тем, что крамольники рассчитывали на возросшее после войны 1877–1878 годов недовольство в различных классах общества, вследствие упадка курса, неудачного мира, появления чумной заразы, злоупотреблений интендантства и т.п.

Как могла бы шайка злоумышленников причинить столько зла сильному государству, если бы все классы, все сословия были довольны, насколько вообще возможно общественное довольство? Все волновалось только после каждой попытки к преступлению, как будто из одного любопытства, а потом смотрело на происходящее только с боязнью за себя, чтобы как-нибудь не быть вовлеченным в ответственность, или же сетовало, и не без причины, на стеснительные административные меры, аресты, обыски, ссылки и проч. И это недовольство было, очевидно, на руку крамольникам; общество, предоставленное чуть не самовластной администрации, наконец, не знало уже, кого ему более ненавидеть за произвол и насилие: крамолу или администрацию? А крамоле это было как нельзя более на руку.

И вот, дошло до того, что гнусная и нравственно-ненавистная честному обществу крамола оказывалась нравственно же связанною с ним сетью неуловимых впечатлений.

Дело в том, что крамола, как видно из разных судебных расследований есть только последнее слово социальной утопии. А утопия эта имеет столько разных оттенков, что умереннейший из утопистов составляет незаметный переход к простым прогрессистам. С другой стороны и степень недовольства в обществе не могла быть одна и та же. Злоба и ненависть семьи, лишившейся брата, сестры, сына, дочери по распоряжению администрации, отославших их в отдаленные провинции или засадившей в тюрьму, – злоба, говорю, и ненависть той семьи к администрации могла быть так же сильна, как и затаенная злоба утописта-крамольника. Это и есть нравственная связь. Общая злоба и ненависть, хотя бы и от разных причин.

Какой же внутренний смысл ужасного цареубийства 1-го марта?

Или, может быть, оно не имеет никакого смысла и есть просто зверский поступок злодея, рукою которого управляла личная скотская злоба, фанатизм, корысть, безумие? Нет, это злодейство, и как случайное осуществление нескольких покушений на жизнь царя, имеет внутреннее глубокое значение.

Ненависть шайки, основывавшаяся также на недовольстве известной части молодежи, раздутая до ярости ложными утопиями, пропагандою коммунаров и коммунистов, корыстью и т.п., была едва ли личная.

Александр II, как человек, был такою личностью, которую нельзя было ненавидеть; то была скорее ненависть к государству, а следовательно и к его главе. Посягая на жизнь царя, и самые ограниченные из кра-

мольников, верно знали, что они убивают не самодержавие, а только одного из лучших его представителей. Но они рассчитывали, что, возбуждая своими преступлениями смуты, беспорядки и недовольство в обществе, они все-таки содействуют к расстройству и потрясению ненавидимого ими государственного строя, вообще, всякого.

Государство – это разбойник, по их учению; в замену государства придумалось даже, за неимением ничего лучшего, казачество.

Настолько, впрочем, эта ненависть могла быть и личною, что Освободитель не так освободил, как им хотелось, и как будто не исполнил обещанного, то есть того, что им хотелось, что они сами обещали себе.

Мстили, может быть, лично и за возраставшую по мере преступлений строгость кар. Крамольники (по крайней мере, их вожаки), надо полагать, рассчитывали все более, и не без основания, на недовольство, хотя и знали, что оно никогда не было личным против особы царя. Они питали и раздували всеми силами это недовольство, находили себе, верно, не без злорадства, немалую подмогу в произволе и промахах администрации.

Итак, вдумываясь в прожитое прошедшее, я нахожу, что спертый донельзя, в течение многих лет, и выпущенный в последнее 25-летие на свободу дух нашего времени проявил себя у нас тотчас же борьбою с властью. Дух времени, выпущенный на волю, оказался у нас, как и следовало ожидать, похожим на степную, табунную лошадь, спущенную с аркана. Но, разумеется, в XIX столетии дух времени ни в какой стране не может быть вполне оригинальным и национальным; международная психическая связь культурного общества сделала то, что, несмотря на гнет сороковых годов, социальные утопии проникали с Запада и к нам в виде контрабанды, а самые несбыточные из них, провозглашающие ломку всего государственного строя, сделались предметом культа для незрелых умов. Обилие стихийных сил, животных и хищнических инстинктов в нашей стране придавало этому культу с самого начала немалое значение.

И действительно, борьба, хотя и неравная и не всегда явная, но злокачественная и упорная, повелась именно на почве, подверженной наиболее влиянию стихийных сил и животных инстинктов.

Эманципация крестьян служила как бы лозунгом для утопистов и к ним, конечно, не замедлили присоединиться, с целью и бесцельно, и увлеченные величием события, желавшие истинно добра, и злонамеренные корыстолюбцы, и многие недовольные правительством.

Польское восстание 1860-х годов оказало весьма сильную поддержку утопистам; они научились подражать жонду; а война французов-коммунаров с властью научила наших ни перед чем не отступать и ничего, самого родного и близкого сердцу, не щадить для достижения цели.

Закулисная и международная сторона борьбы мне, конечно, неизвестна; но в существовании ее я не могу сомневаться.

Удобства почвы, избранной утопистами для борьбы с властью, очевидны.

Нет ни одного государства в Европе, наименее муниципального, чем

Россия. У нас выдумали даже русского государя называть в похвальном смысле «мужицким царем» и, конечно, Россию, «мужицким царством». «Идти к мужичкам», сближаться с крестьянским людом, изучать деревню во всех отношениях сделалось модным и любимым занятием многих.

Я это говорю, конечно, не в упрек; я сам живу 15 лет безвыездно в деревне и интересуюсь и по воле, и по неволе, крестьянским бытом.

Я указываю на это стремление нашего культурного общества, как на знамение времени. Стремление такое, имеет, как и все на свете, не одну сторону. Оно почтенно, крайне полезно и необходимо для государства, в особенности же для нашего, немуниципального. Но сближение с меньшею братиею имеет в себе, как мне кажется, много дутого, напускного, ненормального. Мне кажется, многие из молодежи ищут сближения с крестьянами без всякой программы и потом уже увлекаются вожаками; многие вербуются ad hoc, а многие только подражают.

Я наблюдал это при первом открытии воскресных школ в Киеве. Это было время, когда *Мирославский*[1] (приехавший сам, разумеется *incognito* и разъезжавший по Юго-Западному краю с русскою подорожною) пустил в ход между польскою молодежью влечение к меньшей братии. Студенты всполошились и начали сближаться по-своему, пошли доносы, аресты и т.п.

Учреждение воскресных школ при таких обстоятельствах казалось мне самым законным и самым надежным средством к устранению и увлечений, и подозрений.

Студенты, именно малороссы, из польских никто, бросились учить в этих школах и учили, под надзором инспектора училищ, дельно.

Тут я и видел, как различны были мотивы стремлений молодежи к сближению с народом.

Известна участь воскресных школ в России: вследствие увлечений, принявших уродливое направление, они были закрыты. Но безобразие и произошло именно оттого, что никто не занялся сначала регулированием новых отношений молодежи и общества к темной массе. А регулирование этих отношений на открытом поле много содействовало бы к укрощению подпольной борьбы.

Несмотря на то, что главные ее проявления сосредоточились в последнее время в наших муниципиях (в подражание Западу), нельзя не видеть, что целью ее служит все-таки почва, на которой легче поднять стихийные силы и разжечь хищнические инстинкты.

А эта почва – крестьянство и, конечно, не одно деревенское, а также мещанское и фабричное. И увлеченные, и злонамеренные, и корыстные утописты не без основания рассчитывают на нищету, темноту, непонимание самых основных начал общества, неуважение к чужой собственности и многие стадные свойства наших, еще не вполне свободных (прикрепленных к земле), крестьян.

---

[1] Людвиг Мирославский (1814–1878) – предводитель польских борцов за независимость, участник восстаний 1830 и 1863 гг. в русской Польше, а в 1848 г. – в прусской Польше.

Понятия наших крестьян, насколько я могу судить по тем из них, с которыми я имел дело прежде, как мировой посредник, и имею теперь, как помещик, весьма оригинальны о царских законах. Все, что нравится, что доставляет в законе материальную выгоду крестьянам, то они считают действительно от царя, и то, впрочем, если приносимая им законом выгода растолкована понятным для них языком; но как только закон им не по шерсти, то и сомнение недалеко: да впрямь ли он царский?

Такое безграничное доверие к благости царской власти, без сомнения, доказывает преданность целого крестьянского сословия самодержавной воле; но оно же имеет для правительства и весьма опасную сторону. Я был однажды свидетелем сцены, поразившей меня до того, что я не знал, верить ли мне моим ушам. Подольский губернатор, *Брауншвейг*, при мне (я был посредником) увещевал собранных в Винницу крестьян и старост принимать уставные грамоты, уверял их, что это непременная царская воля и т.п. Крестьяне, слушая губернатора, одетого в мундир и окруженного исправниками, становыми и т.п., слушали, кланялись, не возражали, соглашались; но как только вышли со двора, где собирались перед губернатором, на улицу, как тут же начали толковать с евреями, что то, пожалуй, был и не губернатор, а переряженный пан, и грамоты потом все-таки не приняли.

С их стороны это было, пожалуй, и неглупо; потом, при обязательном выкупе, им досталось больше от посредников, явно и без зазрения совести грабивших польских панов; но для закона и для законной власти, мне кажется, в этом пассаже нет ничего хорошего.

Этими же полумифическими понятиями крестьянства о царских повелениях объясняется, конечно, и невероятный успех подпольной пропаганды между крестьянами в Чигиринском уезде (дело с золотою грамотою), и много других прежних деяний. И вот мы делаемся свидетелями весьма странного явления.

Борьба утопистов и крамольников с государственною властью ведется, более или менее, во имя крестьянства и меньшей братии, и кем же? Людьми, большая часть которых, по своему положению и образованию, могли бы быть отнесены к среднему сословию, если бы таковое у нас существовало, как сословие; между тем, интересы этого класса людей не имеют ничего общего с крестьянскими интересами.

Из-за чего же добровольные защитники так усердно действуют? Из любви к ближним, евангельской или платонической? Может быть, некоторые из них – высшие натуры; но уже верно не те, которые считают, позволенным всякое средство. Из-за идеала? Да, вера в утопию может быть фанатическая, иступленная, мученическая; но туманный, несформулированный идеал – это не идеал еще, а фантом, призрак. И это может быть; многие из незрелых и необразованных утопистов идут на виселицу из-за фантома.

Невероятно, однако же, чтобы вся крамола состояла из таких и так заблуждающихся личностей, гораздо естественнее принять, что это зловещее для государства общество состоит из разномыслящих и разноха-

рактерных лиц, соединенных между собою разномотивным недовольством и на правительство, и на государство, и на общество.

Меньшая братия для большинства или, по крайней мере, для вожаков – это предлог, избранный по своим удобствам для ведения борьбы.

В современном культурном обществе накопилось теперь довольно взрывчатого материала; он готов воспламениться и от незаметной, неуловимой причины. Из такового материала, вероятно, состоит и ужасающая наше общество крамола. Динамитом, пироксилином и нитроглицерином орудует не менее взрывчатый материал. Он взрывается потому, что это лежит в его натуре. Ему нужно разрушение. Творчество не его дело. Из разрушенного пусть будет, что будет.

Только вожаки и передовые видят цель, но какую? А какую имел «бич Божий», огнем и мечем разрушавший все, встречавшееся на пути.

Культурное общество не боится уже более Божиих бичей, посылавшихся на него с востока; наступает, может быть, время испытания своего собственного бича. Кто проживет – увидит. Но покуда, мне кажется, пришла пора для нашего правительства направить все наличные силы и средства земских, общественных учреждений для прочной организации и культуры низших слоев общества.

Нищета, темнота, недовольство, склонность к водке, смутное понятие о собственности, суеверие, легковерие и к тому стихийная сила, – чего лучше? Но стоило бы только государственной власти собраться во что бы то ни стало со средствами, отдать их в полное распоряжение общественных, самостоятельных учреждений и поручить им всецело образование и просвещение народа и крамола не выдержит борьбы.

Пора обратить внимание на регулирование стихийной силы, оставшейся и после ее освобождения такою же стихийною, как и прежде, а потому и служащей столько времени приманкою для утопистов и злонамеренных людей. Для нее закон – это администрация и самая нелепая администрация прощелыг-писарей, безграмотных и пьяных старост, тунеядцев-посредников, грубых становых, урядников и горлодеров сходок. Это плоды 20-летнего режима провинциальной администрации, начальников края, крестьянских присутствий и т.п.

Александр II закончил свое великое царствование принесением себя в жертву искупления. Он желал до конца жизни нести на себе, на себе одном ответственность за все прошлые и настоящие недостатки, грехи и ошибки верховной власти.

Теперь должна наступить новая эра для России. Недовольство исчезнет, как скоро чрезмерная административная власть будет ослаблена и регулирована судебною властью и представительством всего общества.

Когда одиночная, несоразмерная с силами смертного, ответственность монарха сообщится и верноподданному обществу, то это поднимет значение общества в собственных его глазах и возбудит в нем стремление к самостоятельности и общему благу.

Крамола и подпольная интрига питаются недовольством, недоверием и равнодушием общества. А эти общественные недуги только усиливались от беспрерывных натисков административного гнета.

Широкая гласность в заявлении общественных нужд, интересов и недостатков и общественное представительство с ответственностью пред троном и государством, уничтожив raison d'être недовольства, недоверия и равнодушия, рассеют, как прах, и подпольную интригу.

Как я ни убежден, что высокогуманная личность Александра II не могла быть прямою целью цареубийства, но не могу не допустить, что и личное мщение, род вендетты, за кары, постигавшие крамольников, руководила цареубийц, видевших в царе ответственное лицо за все и за всех!

Хотя цареубийства, как это доказывает история, возможны и в государствах конституционных, но нигде они не угрожают такими бедствиями и потрясениями всего государственного организма, как в стране, управляемой самодержавным монархом.

Только в восточных странах, где гнет деспотизма делает народы (sicuti pecora, quae natura prona atque ventri obedientia fecit[1]) тупыми и равнодушными ко всем проявлениям общественной жизни, цареубийство и дворцовые революции переносятся государством без особенного потрясения.

Этого не может быть в современной автократии, самим монархом выведенной на широкий путь прогресса.

И потому из любви к отечеству, из человеколюбия, из чувства самосохранения, более чем всем нам необходимого для главы обширной империи, все верные сыны отечества должны умолять его об учреждении общественного представительства. Оно одно облегчит для него сверхъестественное бремя личной ответственности и сделает драгоценную для народа и государства жизнь более безопасною под сению закона, свободы и силы общественного строя.

Первым делом такого представительства была бы забота о безопасности главы государства и об искоренении подпольной крамолы.

Как во время эпидемий, общество разделило бы город на мелкие участки, учредило бы попечительства и под их надзором учредило бы контроль над всеми домами и участками. Полиция, как власть исполнительная, подчинялась бы распоряжениям попечительств.

Не менее важною и неотложною обязанностью общественного представительства была бы забота о прочной разработке той почвы, которая до сих пор служила для прозябания разного рода безобразных наростов и была ареною подпольной борьбы с самовластием.

Сверх полного освобождения крестьянства от круговой поруки и других зол, тормозящих общий прогресс, необходимо будет земскому представительству взять в свои руки и налечь всеми силами на распространение благосостояния, грамоты, здравых понятий, уважения к правам собственности и закону в темных массах, предоставленных теперь грубому произволу и увлечениям самых нелепых пропаганд.

Культурное развитие среднего сословия и судьбы молодежи должны быть также одною из главных забот общественного представительства.

---

[1] Следуя четвероногим животным, сам станешь четвероногим (лат.).

Когда просвещенная воля монарха даст стране представительство и свободу мысли, слова и научного расследования, когда крестьянство будет пользоваться настоящим попечением и заботами земского представительства, то у незрелых юношей среднего сословия, взбаламученных нелепою пропагандою, и будет отнят повод к ненормальному и натянутому сближению с меньшею братиею, а потому науськивание крестьян и возбуждение в них сословной вражды, хищничества, жажды крови и т.п. сделается не так удобным и легким для злонамеренных и пропагандистов, как теперь при господстве двух противоположных действий административной власти: произвола и распущенности в одно и то же время.

Я убежден, что все, желающие со мною октроированного[1] представительного правительства в России, желают не ослабления, а упрочения монархической власти. Все, с каждым днем, все более и более убеждаются, что пришло такое время, когда и вызванный самим монархом прогресс принимается и приносит добрые плоды не иначе, как при деятельном и самостоятельном участии общества. Без этого, как мы видим, и самые великие и благие начинания монарха обращаются против его власти, порождая крамолу и потрясая все государство неслыханными преступлениями.

Пронеслись как-то слухи из Петербурга, что, будто бы, сам покойный государь предлагал на обсуждение какому-то совету ad hoc вопрос о конституционной реформе, что будто бы канцлер *Горчаков* высказался против этой реформы, и государь согласился с ним.

Я помню разговор, который я имел лет 6–7 тому назад с гвардейским офицером в вагоне. Зашла речь о конституции и, к моему удивлению, гвардейский офицер и, если не ошибаюсь, преображенец оказался защитником конституции, может быть, и потому, впрочем, что он мне показался родом из южных славян. Помню, что я не был так уверен, как он, в благих результатах конституции для России; я говорил, что, как для упрочения республиканского правления необходимы настоящие республиканцы, так для конституционного необходимы настоящие представители общественных нужд и интересов, а таких представителей у нас пока мало.

«Пожалуй, – говорил я моему собеседнику, – у нас выйдет из конституции такая катавасия, что придется бежать вон из России».

И по правде, я не 20-летний юноша и не могу увлекаться фразами о свободе, равенстве, братстве и тому подобными гремушками. Я в мою жизнь всегда старался следовать мудрому правилу «cuique suum»[2], хотя, как и другие, не всегда исполнял его.

Я принадлежу к тем, которые полагают, что каждый народ может быть управляем только тем правительством, которого он достоин. Поэтому я не отдаю абсолютного преимущества ни одному образу правления и считаю такое преимущество нелепостью.

---

[1] Октроирование (франц. octroi пожалование) – дарование, пожалование монархом каких-либо прав, привилегий.

[2] Каждому свое (лат.).

Самодержавие для обширного государства с разноплеменным населением, и еще к тому не везде оседлым, имеет очевидный raison d'être, а историческое развитие дает этому образу правления у нас еще более прочное основание. Невыгоды самодержавия в наше ультрапрогрессивное время главные в том, что этот образ правления, по своей природе, не может не быть ультраконсервативным.

Этому, по-видимому, противоречит правление таких самодержцев, как Петр I, которого, конечно, никто не назовет консерватором. Но ведь Петр I, пересоздав весь государственный строй прежней России, сделался и сам не прежним царем, а императором вроде римского императора. Он сообразовался так с духом времени, что из прежнего чисто личного, царского самовластия сделал, по существовавшим тогда во всей Европе образцам, административный полицейский штат.

Поэтому Петр, на пути прогресса, дошел до крайних его пределов того времени, поставив Россию с государственной и правительственной точки зрения в уровень со всеми европейскими государствами, не отняв, в сущности, никаких прерогатив у своей самодержавной власти, а, напротив, внутренне укрепив ее еще более прежнего и окружив таким ореолом, которого прежде никто не видел. Потому-то все живое, юное и непрокислое в хламе отживших понятий и предрассудков не могло не рваться и не идти по следам лично вовсе непривлекательного царя.

Екатерина II и Александр I в первую половину царствования также пытались делать коренные преобразования, несоответствующие строго консервативному началу самодержавия. Но Европа была уже не такая, как при Петре.

Автократизм уже колебался в основании, и потому и Екатерина, и Александр I должны были остановиться, чтобы не поколебать еще твердую, девственную почву самодержавия у себя под ногами, и Россия в эти два блистательные царствования была прогрессивною более извне.

Александру II суждено было Богом выступить, подобно Петру I, на широкий путь радикальных внутренних органических и самых существенных преобразований. Главное из них, эманципация, представлялось таким, которое должно было еще более укрепить самодержавную власть царя.

Но новые социальные учения, европейская борьба капитала с трудом, необыкновенное сближение стран и наций новыми путями сообщения, новые политические комбинации и, вообще, господство мировоззрений, совершенно противоположных консерватизму сделали то, что великому преобразователю не оставалось ничего иного, как следовать высокому примеру гениального предшественника и довести свое прогрессивное шествие до тех же пределов, т.е. поставить Россию в уровень с другими европейскими государствами не только в социальном, но и в правительственном отношении.

Надо было остановиться на таком преобразовании правительства и образа правления, которое наиболее бы соответствовало современным общественным потребностям, и как можно настойчивее призывать его к земской и государственной деятельности.

В последние годы царствования Александра II эти соображения с каждым днем убеждали меня все более и более, что как ни мало еще число людей в России, подготовленных к дельному и прочному представительству общественных нужд и интересов, наступило, однако же, время воспользоваться какими бы то ни было наличными силами общества и уполномочить их законом для водворения нарушенного разъяренного крамолою порядка, для успокоения умов и для новой государственной жизни.

Без сомнения, гуманный и просвещенный взгляд Александра II привел бы его к убеждению в необходимости этого окончательного преобразования на избранном им пути, если бы рука убийцы не прекратила для всех нас дорогую жизнь царя-освободителя. Не мог же самодержавный государь-реформатор в наше трудное время тотчас найти наиболее надежные способы к осуществлению своих преобразований, да если бы и находил, то, конечно, не всегда мог найти способных исполнителей.

Нетрудно было ошибиться и в расчете, и в выборе. Отсюда неминуемо являлись колебания, уклонявшие ожидавшиеся следствия задуманных реформ в сторону от прямого пути. А колебания, в свою очередь, поселяли недоверие, недовольство, отчаяние или равнодушие.

Наконец, последнее время и последовавшая за ним катастрофа доказали до очевидности, что должно, наконец, сделать решительное дело.

Понятно, что крамольники, совершившие цареубийство, после нескольких тщетных покушений, не замедлят распустить слухи в толпе о своем могуществе, давшем им средство вырвать священную особу царя из рук хранившего его доселе Провидения и этим устрашить и растревожить робких и темных людей.

Решительных же средств и теперь, как и прежде, только два: или диктатура и осадное положение, или же представительство и самодеятельность всего общества.

Первое из этих средств едва ли теперь возможно в тех размерах, которые необходимы для успеха. Даже и такое полуосадное положение, которое употреблено было в 1863—1864 годах в Варшаве, оказалось бы чрезмерным для Петербурга.

В Варшаве все общество было на стороне жонда, и потому правительству не надо было его щадить. Петербургское и все русское общество неповинно ничем пред правительством. Само правительство не допускало общество к прямому воздействию. Суровые меры не могут оставаться долго in statu quo[1]; их надо или постоянно усиливать, или ослаблять.

Где взять опытного неутомимого и гениального диктатора, умеющего гнуть в меру, но crescendo? Где исполнители? К чему, наконец, повела quasi-диктатура верховной исполнительной комиссии? А когда придется ослабить натянутую слишком рессору, то число недовольных окажется увеличенным, а крамола притаившеюся, но не стертою.

[1] В прежнем состоянии (лат.).

5-го — 6-го марта.

С 2-го марта до сего дня я писал, потому что не мог не писать. Скопившиеся, под влиянием страшного события, и волновавшиеся мои чувства и мысли без удержу лились на бумагу. А я, по обыкновению или, вернее, по зароку не читал потом написанного, и все поправки, помарки и вставки делал в то же самое время, как писал.

Сегодня, в первый раз опомнясь, задаю себе вопрос: моего ли ума дело судить о причинах настоящего смутного состояния России и делать предположения о средствах к выходу из него. Да разве, спрашиваю я теперь себя, ты можешь взглянуть на это дело сверху, с птичьего полета, как великие мира сего? Разве ты имеешь для этого достаточно средств и знаний? Сознаюсь, не имею, а потому сознаюсь, что и все, с 2-го по 4-ое марта, вырвалось из-под пера у меня невольно, и потому есть более сердечное, чем головное убеждение.

Голова доставила только воспоминания прошлого, пережитого мною, и некоторые отрывочные мысли; все остальное есть произведение сильно взволнованного чувства.

Что же: не лучше ли разорвать в куски это произведение? Могут ли соображения о важном деле, вызванные на свет взволнованным чувством, не быть ошибочными и ложными? В клочки, в огонь!.. Нет, стой! Пусть все останется, как есть; ошибка прилична человеку и, мало того, она его элемент.

Мы осуждены, и чувствуя, и умствуя, безвыходно жить в мираже. И бывают минуты в жизни, когда чувство ориентируется вернее мысли в этом мираже.

Это случается в те минуты, когда в душе мыслящего человека внезапно делается прилив и скопление самых разнородных чувств. Это и было со мною 2-го марта. Прилив длился три дня. Анализируя сегодня его элементы, я вижу, что мой анализ опоздал. Из составных начал прилива уже многое улетучилось и прошло. В этой скопившейся в душе массе чувств и представлений теперь не найдешься. Тут были и ужас, и скорбь, и гнев, и отчаяние, и надежда. Если в эти роковые минуты ум не теряет еще способности мыслить, то мы должны, мы обязаны пользоваться ими, не упускать, ловить их налету и, сохранив самообладание, замечать, что принесло оно нам с собою.

Я это и сделал.

И было бы глупою слабостью для 70-летнего старика стыдиться того, рвать и жечь, что он изложил на бумаге в эти дни прилива и взволнованных чувств и мыслей. Пусть остается на память. Если ошибся, так ошибся, — не беда; от этой ошибки никому ни холодно, ни тепло.

Я писал совершенно спокойно мою автобиографию, когда услышал весть о страшном событии 1-го марта. Я сбирался когда-нибудь высказаться в моем дневнике о настоящем положении России, каким я себе его представляю при сравнении с пережитым прошлым.

И вот, внезапная весть о кровавой катастрофе, закончившей поистине величественную эпопею царствования Александра II-го!!. Можно ли было удержать прилив внезапный, приток встревоженных чувств и скопленных, хотя еще и не разработанных мыслей.

Теперь я успокоился, но не настолько, чтобы снова приняться за мое собственное жизнеописание. Психические бури проходят не разом. И что ни начнешь делать, мысленная тревога все тянет думать о том же, что волновало чувства и мысли целых три дня. Невольно обращаюсь опять к своеобразному положению русской земли.

Я не знаю, как современные ученые определяют, что такое государство. Помню, прежде все определения мне казались то странными, то неверными. Но до доктринерства ли теперь, когда почти все – и культурные, и некультурные – государства обретаются не в своей тарелке!?

Антагонистом, более или менее явным, более или менее сильным, государству является теперь само общество. Слышатся уже голоса из толпы, правда, беспорядочной и бестолковой и сумасбродной: «Да ты – разбойник». И это государству-то, считавшемуся главным оплотом общества. Я слыхал эти нарекания мимоходом. Это ли не знамение времени?

Лет 40 тому назад прусские газеты говорили во всеуслышание vom beschränkten Unterthanenverstande, сиречь, об ограниченном понятии или разуме подданных, не смыслящих ничего в делах государственных, не умеющих и не могущих смотреть на эти дела сверху и в общей их связи.

Пожалуй, и теперь еще *Бисмарк* едва ли имеет лучшее мнение о подданных германского императора.

Но кто не видит и не чувствует, что в настоящее время такой взгляд на государство можно проводить только с чрезвычайным напряжением сил.

А натянутая через меру, да еще и с боковыми сотрясениями, рессора может и не выдержать – лопнет.

Общество везде взбаламучено против государства. Там, где государственная власть издавна сумела соединить себя общими интересами с обществом, оно, т.е. общество, держит себя относительно спокойнее; несогласие, ссоры, а по временам и драка, ведутся только между разными классами общества.

Там же, где государство искони считало себя гораздо выше общества во всех отношениях, оно, т.е. государство, и до сих пор еще требует, чтобы общество, как нечто гораздо низшее, жило и действовало для него. Такое требование, хотя и не так эгоистично, как оно кажется, но несовременно и потому непопулярно.

Во времена оны самовластные монархи говорили: «государство – это я». В наше время государство само старается еще выговорить и, казалось бы, с большим правом подданным: «общество – это я». Но современное общество не так доверчиво, как прежнее государство. Издавна общество привыкло отличать свои, т.е. общественные, интересы от государственных или, как прежде их называли, государевых и коронных; выходит, как будто общество само по себе, а государство само по себе. Это с первого взгляда странно, но, в сущности, это должно быть так,

конечно, до известной степени и при условии, что весь строй общества не может быть иным и останется таким, как есть.

Что такое, в самом деле, общество?

Оно само смотрело и привыкло смотреть на себя различно. Самое первобытное воззрение известно – стадо, и тогда государственная власть – пастырь. Интересы обоих общие только в том, что и стадо, по своей природе, влечется к самосохранению, питанию и приплоду, и пастырю это выгодно, но мотивы интересов и тут, и при этом, для первобытных обществ, самом подходящем взгляде, все-таки различны.

Но интересы современного общества так различны, спутаны, сложны, что тот, кому достается разматывать этот клубок, невольно делается как бы антагонистом, то есть разрушителем путаницы.

И интересы его, поэтому не могут быть те же самые, из которых вит клубок. Клубок требует одного: разматывай, но не рви. И если это соблюдается, то и при различных интересах дело идет хорошо.

Но в наше время антагонизм общества с современным государством доходит до того, что явилась уже на свет целая фаланга людей, готовых разорвать клубок и выровнять все спутанные нити. А когда интересы всех и каждого будут одни и те же, то государству нечего будет разматывать; его роль сделается отрицательною, – только не давать, чтобы ровные нити опять спутались и склубились.

Уравнять интересы, уравнять и стремления; сбить маковые головки, выросшие выше других, пьедесталы опрокинуть, почву выровнять. Все человечество должно сделаться одним огромным человеком, ростом до неба. Вот финал современных социальных утопий с их множеством оттенков и вариаций.

Ведь, мне кажется, я не брежу. Мираж существует не только в фантазии, но служил уже мотивом для действий. И я сравниваю, живо представляю себе и обаяние умов, увлекающихся этим миражом, и положение современной России.

Мы странны, национально странны и в нашей оригинальности, и в нашем подражании. В оригинальности мы хотим перещеголять всех других, выдумать разом что-нибудь такое, что другим никак бы не могло придти на ум. В подражании мы или рабски подражаем, или же стараемся попасть, опять-таки разом, на самую последнюю ступень, – и то, чего другие достигали медленно, переходя с одной ступени на другую, мы хотим одолеть разом.

В наше оправдание мы не без основания можем привести: «время не терпит», и это верно, но не везде и не всегда.

И номадам[1] приходится переходить от кременного ружья к шасспо[2] и пибоди[3].

Но, именно, когда необходим такой быстрый переход, мы и пасуем, делаясь осторожными и бережливыми охранителями пустых интересов; начинаем из прежних старых ружей выкраивать новые.

[1] Номады (гр. nomads) – кочевники.
[2] Винтовка системы Шасспо-Гра образца 1866–1874 гг.
[3] Винтовка системы Пибоди-Мартини образца 1869 г.

Зато, где нужно соображение и здравый смысл, чтобы понять, что до многого хорошего у других нельзя достигнуть, не пережив сначала всех фаз его развития, там мы пас.

И после удивляемся, не верим, жалуемся, что у нас не вышло хорошо.

На Западе, положим, идет отлично ассоциация труда и капитала.

Мы сейчас же так соображаем. У нас есть и теперь уже налицо важный задаток – община; она так прямо, целиком, и заткнет за пояс ассоциацию. А то нипочем, что пережило на Западе общество, что перечувствовало, переиспытало прежде, чем дошло до ассоциации?

Так и в погоне за классицизмом. Так и в социальном переустройстве общества и государства.

На Западе, и то не везде, народился целый класс людей, ненавидящих буржуазию и бюргерство.

И нам это нужно, то есть не средний класс нужен, а нужна ненависть к нему, ненависть к тому, чего еще нет, и быть ему не нужно: мы – мужицкое царство.

На Западе есть представительство и преимущественно из среднего класса. Нам не нужны ни этот класс, ни это представительство. Нам нужно что-то другое, более радикальное, свое, оригинальное, и даже не конституция. А что же? Формулы еще нет; она явится впоследствии, а теперь надо только разрушать старое. Новое, лучшее, народится потом само собою. Нужна только земля да воля, да общины. С меньшею братиею надо слиться и имущие должны все раздать неимущим. Тогда заживем на славу!

Неужели не настанет для нас всех время, когда мы поймем всю скудость нашего здравого смысла? И, к сожалению, я не могу отнести этот вопрос только к одному нашему обществу, к утопистам, к незрелой молодежи; он настолько же относится и к правительству.

Ему [т.е. правительству] не может быть неизвестно, как развиты и вдали и вблизи нас, и даже у нас стремления к радикальным решениям социальных вопросов жизни.

С легкой руки *Герцена*, *Огарева*, *Бакунина* еще в николаевские времена положено основание социальной русской пропаганде.

Что же делало тогда и правительство и общество? Припомним. Это прошлое не за горами. Едва не десять целых лет правительство (Николая I-го) игнорировало, т.е. показывало вид, что игнорирует пропаганду; запретило говорить о ней и называть по имени вожаков. Потом (в начале царствования Александра II-го) продолжало подобным же образом игнорировать, с одной стороны, а с другой, дозволило втихомолку восхищаться, и что греха таить, и само исподтишка восхищалось. Кто не читал в это время «Колокола» Герцена? Рассказывали даже, что в Петербурге он перепечатывался для самого государя. Я был в это время попечителем и потом жил в Гейдельберге, куда стекалось много студентов после закрытия Петербургского университета. Я был свидетелем многих курьезных вещей. Лондон сделался Иерусалимом не только для русской молодежи, но и для людей серьезных, чуть не государственных. Многие ехали туда, а многие возвращались оттуда через Гейдельберг;

сам Герцен приезжал нарочно в Гейдельберг, где ему наши давали обед (это было еще до моего приезда). Что рассказывали паломники об их искупителе, то теперь мне кажется чем-то из тысячи и одной ночи. Один из приезжих рассказывал мне, что какой-то хохломан убеждал Герцена: «Александр Иванович, сжальтесь, возьмите себе Малороссию», а Герцен отвечал прехладнокровно: «Подождите, любезнейший, подождите». Только разгар польского мятежа надоумил правительство разрешить, и то одному *Каткову*, критиковать, или вернее, бранить Герцена, печатно, называя по имени и его «Колокол». А я еще за два года перед этим разрешением (когда был попечителем в Одессе и Киеве) умолял двух министров народного просвещения (*Норова* и *Ковалевского*) исходатайствовать для нашей цензуры позволение пропускать критические статьи против «Колокола» и других заграничных запрещенных книг, всем знакомым. Я писал, как теперь помню, именно в таких выражениях: «Правительство знает, что запрещенный яд продается и покупается всеми, а противоядий не дозволяет употреблять».

Но что я? Меня же потом заподозрили в неблагонадежности: ведь в «Колоколе» же поместили обо мне похвальную статью, а потом позвали к раненому *Гарибальди*! Ergo[1], я человек неблагонадежный. Я своими ушами на вокзале в Гейдельберге слышал, как одна русская дама говорила вполголоса другой, подмигивая на меня: «Он тут, для распространения либеральных идей между молодежью».

Да, думал я, ты не ошиблась; мои идеи либеральны, только не по твоему и не по вкусу молодежи.

Несмотря на наставшее после усмирения польского мятежа затишье, приток свежих сил к партии наших эмигрантов во все это время не переставал усиливаться, а распущенный по всему свету польский жонд дал, верно, порядочный контингент опытных и закаленных заговорщиков; от него можно было кое-чему научиться и нашим эмигрантам.

Что делалось в это время в наших университетах, я знаю только по слухам от приезжавших за границу (в Германию), где я жил. Довольных не было; все жаловались, как и прежде на произвол администрации, на гнет и на распущенность в одно и то же время вместе. Это было время преобразования школ министерства *Головнина*.

Я привык уже слышать все эти жалобы и только наполовину им верил. Но что меня в особенности поразило — это речи и жалобы, слышанные мною в самом императорском поезде, когда меня везли из Берлина к больному наследнику в Ниццу; на поезде ехал сам государь. И что же говорилось между его приближенными в нескольких шагах от него? Когда, например, я одному из таких сказал, разговорившись о крестьянском деле, что я, быв мировым посредником, сам слышал, как крестьяне, называя царя земным Богом, не верили его указам только потому, что считали их панскими или барскими, — собеседник мой осерчал не на шутку и утверждал, что этою фальшью именно и сбивают государя с толку.

[1] Следовательно (лат.).

Я подумал, что попал на крепостника. Но через полчаса я услышал от него же, барина, такие рассуждения о самовластии, которые подписал бы каждый ультралиберал. В этом же обществе, только уже не в вагоне, а в отеле за обедом, гласно, преосвященный *Филарет* [митрополит] Московский, именовался подлецом, министр финансов – вором и глупцом, а Наполеон III – молодцом. Общество, весьма близкое к царю, показалось мне с непривычки чем-то странным, неприличным и невысоко поставленным, что я, признаюсь, пожалел о нашем сердечном главе государства. Что-то недоброе, ненормальное, казалось мне, царит вокруг него.

В этом обществе поражало меня не простота в обращении, не благородство и свобода мысли, а что-то нахальное, грубое, неряшливое и почти бессмысленное. Ни одной новой и дельной мысли в течение 5-6 дней моего пребывания в этом отборном обществе мне не пришлось слышать.

Последовавшее за тем проклятое каракозовское покушение еще более заразило социальную атмосферу и побудило правительство к принятию мер, если и не бессмысленных, то, во всяком случае, двусмысленных.

Меры были такого рода, что они и не могли не озлобить молодежь и не увеличить числа недовольных. Само правительство, должно быть, чуяло, что в его распоряжениях не хватает смысла; я это заключаю из слов гр. *Толстого* (назначенного тогда в министры народного просвещения и в прокуроры Св. Синода). Мне передал эти слова один из членов Новороссийского университета, вытребованный гр. Толстым на совещание в С.-Петербург и слышавший от министра на приглашенном обеде (следовательно, не в тайне). Дело в том, что уволенный новым министром народного просвещения, я, возвратившись в 1866 году в мое имение, посетил однажды Одессу, где бывшие мои сослуживцы, профессора и доктора, пригласили меня на обед в одном отеле. Говорились тосты. Я ответил таким: «Господа, вы хвалите меня; не мне судить, заслужил ли я это; но если заслужил и что-нибудь сделал хорошего, то обязан этим здравому смыслу, от которого старался никогда не отступать. Итак, поднимаю бокал в честь здравого смысла; он теперь в особенности всем нужен».

Эти или почти эти слова были напечатаны в одесской газете и перешли в столичные газеты. Гр. *Толстой* на его приглашенном обеде и изволил выразиться, что-де Пирогов бросал камушки в мой огород.

По правде, говоря мой тост, я и не думал о гр. Толстом, а сказал его, находясь под впечатлением тяжелого административного гнета и произвола, царившего тогда в Юго-Западном крае (при Безаке). Но знает кошка, чье мясо съела. Так и гр. Толстой заранее чуял, что он наступил ногою на здравый смысл.

Случалось мне не раз, в течение 15 лет, прожитых в моем имении, встречаться на железных дорогах и в домах с учителями и учениками школ гр. Толстого, говорил и с родителями разных национальностей, и ни от кого, ни однажды, не слыхал доброго слова о школьных поряд-

ках. Только жалобы на гнет и произвол, до того резкие, что я считал гражданским долгом притворяться и защищать перед этой публикой распоряжения, которым не сочувствовал.

Так тянулось до 1870-х годов; тут парижская коммуна подогрела наших эмигрантов и доморощенных коммунистов. Польский жонд и парижская коммуна – две порядочные школы для хороших учеников! Было чему научиться практически. И когда подпольная организация совершилась умелыми руками и свежими силами, готовыми ринуться в борьбу, у нас организовалась в широких размерах административная ссылка и крепчал административный произвол.

Число недовольной молодежи росло. Связи с заграничной пропагандой крепли и организовались. Это видно из разных происшествий, процессов, эмиграций. Наконец, последние войны наши – сербская и турецкая дали окончательный толчок вперед всему механизму.

Я уже записал на днях, как я смотрю на разные партии недовольных и как объясняю себе косвенные (не прямые) связи, иногда весьма отдаленные, неприметные для самих связанных и недовольных административными и другими распоряжениями, с подпольною пропагандою и крамолою.

Пропагандисты и крамольники следуют мудрому правилу: кто не против нас, тот за нас. Конечно, не все, а только не принимающие участия в убийствах, взрывах и т.п. Эти-то и наживают себе, всего более, отдаленные связи с недовольными.

Другие же, самые радикальные, intransigeants[1], действуют по тому же правилу, как и правительственная администрация: кто не за нас, тот против нас.

Выгода и сила, очевидно, на стороне заговорщиков; они действуют по двум противоположным принципам; наша администрация – по одному и то отчаянному и отвратительному для честных, справедливых и добрых граждан.

С подпольною печатью повторилась та же история, как и с «Колоколом»; о ней запрещено было упоминать в печати; приказано было игнорировать эту печать, тогда как она рассылалась и читалась молодежью и всеми любопытствующими.

Странно, чрезвычайно странно, если не бессмысленно, оставаться все при одном и том же средстве, то натягивая его донельзя, то ослабляя, когда приходилось невтерпеж, когда опыт с каждым днем убеждал все более и более, что это средство ненадежно, временно, паллиативно[2] в худом смысле, то есть, облегчавшее со вредом. Никто, как будто, не знал векового правила: погром стерпим и даже благодетелен, когда он, как гроза, очищающая атмосферу, разом, одним ударом прекращает зло.

Но в государстве, не взволнованном революциями и междоусобными войнами, террор только тогда на своем месте, когда правительство

[1] Непримиримые (франц.).

[2] Паллиативный – имеющий характер полумеры, приносящий лишь временное облегчение.

наверное рассчитало, что оно разом вырвет причину смут и крамолу с корнем вон. Это – глубокого ума дело, и у нас в мирное время, по случаю одних административных неудач в истреблении подпольной интриги, предпринять такую революционную меру, по малой вере, не безопасно для будущего спокойствия государства.

Я нарочно нигде не называл пропагандистов и наш жонд или нашу коммуну нигилистами, как величают убийц царя в иностранных газетах. По крайней мере, с нигилистами прежнего времени они мало имеют общего. Русский наш нигилизм в своем начале был, собственно, одно бесплодное отрицание. Какая-то вялая обломовщина в чисто русском вкусе. Сидит, лежит и отрицает. – «Дважды два – четыре». – «А кто мне сказал, что дважды два – четыре?» – «На то Бог ум дал». – «А кто его, этого Бога-то, знает?» – «Это идеал». – «А что такое идеал?» – «Выше того, что видишь и щупаешь, ничего нет», и прочее и прочее в этом роде. Таких, по крайней мере, господ я встречал под названием нигилистов.

Умнейшие, более образованные и талантливые из них, конечно, не были бессмысленны в этом роде. Они серьезно занимались наукою; но их я бы скорее назвал материалистами, чем нигилистами; от прежних материалистов они ничем не отличались, на мой взгляд.

Правда, крайние и более практические из нигилистов прямо напирали отрицанием на нравственность, считая все позволенным, или, вернее, непозволенным.

Но, как известно, понятия о нравственности и в школе материалистов весьма различны. Я полагаю, что люди нигилистического пошиба могли только дать порядочный контингент коммунарам, жонду и другим политическим заговорщикам.

Может быть, я, не имеющий возможности смотреть на происходящее у нас с птичьего полета, и ошибаюсь; но, как честный гражданин, любящий свою родину не менее тех, которые глядят на нее сверху, не могу в ее настоящем смутном состоянии отказаться от права каждого человека высказаться, как я смотрю на все дело.

В одном я уже, верно не ошибусь, это утверждая, что кровь с царского венца смывается или кровью, или слезами благодарности и восторга.

Смыть кровью – это значит террор; без этой крутой и беспощадной меры пролитие крови, отрывочное, равнодушное или хроническое, раздражает только нервы общества и озлобляет еще более недовольных. Смыть слезами радости – это значит поселить в подданных веру, что их царь-освободитель сделался царем-искупителем, принеся себя в жертву за грехи всех, – и народа, и властей

И чем более вдумываюсь я в смысл всего прошедшего, тем более убеждаюсь, что при настоящем положении нельзя возвращаться назад.

Будут ли пролиты кровь или радостные слезы, все – и власти, и народ – должны быть убеждены, что страну нельзя уже свести с пути прогресса, на который она была выведена Александром II. И мне сдается, чем прямее и ровнее будет этот путь, тем вернее будет успех.

7 марта.

Когда мне было лет 17, я вел дневник, потом куда-то завалившийся; от него осталось только несколько листов, я помню, что записал в нем однажды приблизительно следующее: «Сегодня я гулял с Петром Григорьевичем (*Редкин*, – это было в Дерпте); мимо нас проскакала карета и забрызгала нас грязью. Петр Григорьевич как-то осерчал и с досады сказал: “Ненавижу до смерти видеть кого-нибудь едущим в карете, когда я иду пешком”. А я, помолчав немного, ни с того, ни с сего, говорю ему: “А знаешь ли: вчера в темноте я попал в грязь около Дома[1] (в глухой улице); вдруг слышу, скачет во весь опор, прямо на меня, с песнями, извозчик, везет пьяных и сам, видно, пьяный; ну, думаю, как бы не задавил. Не успел я собраться с мыслями, а он уже наскакал и тотчас же круто повернул от меня; значит, в человеческом сердце есть врожденная доброта; зачем извозчику, да еще хмельному, было сворачивать, а не скакать прямо на меня? Никто бы и не пикнул, и я остался бы лежать в грязи”.

“Это, брат, не врожденная доброта, – заметил Петр Григорьевич, — а страх, timor Domini[2], только не Божий, а государев”».

Почему этот пассаж из моего старого дневника приходит мне теперь, через 53 года, на память? A propos des bottes?[3] Почему еще и тогда этот незначащий разговор наш, двух молодых людей, сделал на меня такое впечатление, что я внес его в мой дневник? Мало этого: этот незначащий разговор приходил мне в голову каждый раз, когда я думал, говорил или читал о современных доктринах или социальных утопиях.

Это, может быть, глупо и не стоило бы теперь вносить в мою автобиографию. Но ведь я пишу ее не для печати, а для себя, решившись не скрывать от себя и того, что сам нахожу schwach[4]. Не хочу же я казаться самому себе умнее? Дело в том, что у меня, по странной ассоциации идей, давнишний, гроша не стоящий, разговор сделался каким-то наглядным выражением последствий или действий на человеческую природу двух прав: естественного и государственного (или вообще юридического права). Одно выразилось, конечно, в одном моем представлении, только основанном на словах Петра Григорьевича, – чувством ненависти, другое – чувством страха. С тех пор мне всегда казалось, что знаменитое droit de l’homme[5] возбуждает, и на самом деле, только ненависть, а юридическое право – боязнь. Странно, ненаучно и потому, может быть, нелепо. Но так мне кажется. Кто знает это пресловутое droit de l’homme? На каких скрижалях и кем оно начертано? Сам человек приписывает себе, то есть, изобретает для себя права и, значит, все за-

---

[1] Dom, Domberg – Собор, Соборная гора, где в Дерпте помещался анатомический институт и клиника.

[2] Страх Божий (лат.).

[3] Ни к селу, ни к городу (франц.).

[4] Слабым (нем.).

[5] Право человека (франц.).

висит от того, как он на себя посмотрит снизу, сверху, сбоку, и потом как еще все эти сторонние воззрения соединит и как их комментирует. Даже самое главное, право прав, право на жизнь и смерть, и то он может и присваивать себе, и отвергать у себя. Но, присвоив себе то или другое право, чувство ненависти и неприязни для него делается неизбежным, как скоро этим правом он почему-нибудь не в состоянии будет пользоваться. Так, это право прав, право на жизнь, есть не более как комментарий, наш собственный комментарий факта: мы живем, ergo, имеем право жить.

Но не миражно ли это право, когда самый факт, на котором оно основано, может каждую минуту прекратиться и кончиться? Хорошо право, которое ежеминутно может быть отнято у каждого из нас? И жизнь делается всего скорее ненавистною, когда она рассматривается как наше право. Не ближе ли к правде, не нормальнее ли та жизнь, которою мы пользуемся вовсе не по праву, и не как правом, а попросту, без затей. Живем, потому что живем, и так надо быть, таково наше предопределение, как следствие причины причин. Вольно нам подводить это под категорию прав!

Но если на жизнь нет права, а есть только сама жизнь, как роковой факт, то что же наше право на смерть? Да это право сильного. Воля, как намерение, осуществленное в действии, – продукт жизни, сильнее жизни, и потому может ее прекратить на каждом шагу. Таких прав немало на свете! И человек, с его милою логикою, не задумался назвать и проявление силы правом. Да не потому ли, что каждый мыслитель, толкуя о праве, невольно сознавал суть права в силе?

А правда? А справедливость? А нравственный закон?

Да, на аналитических весах мыслителя эти противовесы сильно опускают одну чашку, но стоит только силе слегка прикоснуться к другой и весы покажут другое.

Что же знают все другие статьи пресловутого droit de l'homme? Если уже права на жизнь никто нам не давал и мы пользуемся ею Dei gratia[1], то что такое право на равенство, свободу, братство? Не чистые ли миражи эти права? Они возбуждают только ненависть, потому что недостижимы, за ними гоняются, а их нет.

Право можем мы себе творить и утверждать только на то, что можем себе дать, и собственно, по Божьи, что можем дать не насильно. Право собственности и право личности, наследственности, – все они искусственны, созданы человеком, но именно потому они и есть права; их можно было дать и признано было за лучшее для человеческого общества их дать ему.

И, дав эти права, было естественно и справедливо требовать, чтобы их никто не нарушал. Нарушитель должен был страшиться. И вот, искусственные права, возбуждающие чувства опасения и страха, оказались благодетельнее тех естественных прав, недостигаемость которых порождает ненависть и злобу. Кто, в самом деле, может нам дать свободу, ра-

[1] С Божьей помощью (лат.).

венство и братство, когда их нет таких, какими они представляются гоняющимся за ними? Странное недоразумение, искони присущее человеческому обществу! Библейское столпотворение – верный символический образ этого рокового недоразумения. Мы, окруженные безысходным, но благодетельным миражем жизни, не можем понять, как наша мысль и наша воля могут быть несвободными, когда мы чувствуем так живо свободу нашей мысли и нашей воли. И, обольщенные этим ощущением, стремимся к полной свободе действий, и, зная и не зная, что ее никогда не достигнем.

Это-то стремление мы и назвали правом, а, дав название, стремимся еще неукротимее.

Если мы произошли от обезьян, то от них мы и получили стадное свойство стремиться сообща к свободе действий.

Но у нас, в прибавок к этому чисто животному свойству, выработалось еще, уже не знаю почему: от естественного подбора или чего другого, резко отличающее нас от животных свойств индивидуальности.

Ни у одного животного эта особенность так не развита, к нашему счастью или несчастью, как у нас. Вот эти два свойства – стадность и индивидуальность – и борются между собою в человеческих обществах. И общества, и государства учреждаются на основании междоусобной борьбы стадных и индивидуальных свойств людей. В стаде неудержимое стремление действовать сообща; человеческая особь неудержимо стремится действовать лично, особняком, по мере своих сил и способностей, или, как принято писать в деловых бумагах, по крайнему своему разумению. Борьба борьбою, а во время ее стадные свойства сообщаются индивидуальным, индивидуальные – стадным.

Стадное свойство требует равенства и братства; индивидуальное хочет свободы и враг равенства. При полном равенстве особь теряет свой raison d'être. Что делать бедному человечеству в этой междоусобице его самых закадычных стремлений и свойств? Оно изобретает разные средства, чтобы кое-как выйти, не погибнуть в борьбе. Я полагаю, что стадные свойства изобрели, на первых порах, те среднеазиатские ханства, которые потом прогуливались по целому свету; горные ханства и бейства такого же, верно, происхождения, только другая местность не позволяла им сливаться в огромные стада. Когда из этих громадных стад образовались громадные государства, то интересы государственных властей не могли быть одними и теми же с их подданными; государственная власть стремилась неминуемо к индивидуальности и развивала ее все более и более вблизи себя; подданные должны были, напротив, стремиться к удержанию стадных свойств, находя в них свою главную силу и крепость. Не могли не существовать [и] общие интересы между властью и народом.

Борьба за существование, во-первых, велась сообща; пастырь направлял стада на тучные пажити силою своих индивидуальных свойств, поселял доверие к себе в пасомом стаде, а доверие это делало его и верховным судьею, и избранником, и распорядителем судеб. Но как скоро индивидуальные свойства в обществе начинали развиваться и брать верх

над стадными, то и общественные интересы, разобщаясь, стали спутываться в клубок, разматывать который делалось не по силам ни стаду, ни пастырю. Очевидно, при таких условиях сделалось необходимо выделиться известной части общества и заняться осторожным разматыванием клубка. Какова могла быть эта выделившаяся часть, более или менее индивидуализированная, зависело от разных исторических условий развития целого общества.

Но какова бы она ни была и каким бы путем она ни выделилась от остального общества (выбором ли или насилием), интересы ее, тотчас же по выделении, не могли оставаться одними и теми же с общественными. Правительственная власть, какова бы ни была форма правления, заключает в себе всегда начало антагонизма с обществом. Не один самовластный монарх, а всякая государственная власть, держащая кормило правления, говорит, если не вслух, то про себя: государство – это я; если же и не говорит, то всегда хотела бы это сказать. В самом деле, ведь государство не есть одна территория с прозябающим на ней народонаселением, прикрепленным к земле.

Государство – отвлеченное понятие, самая характерная, то есть общая всем фактическим государствам, черта которого есть правление, и власть, заведывающая его механизмом, весьма естественно видит в себе квинтэссенцию управляемого ею государства.

Образ правления – это указатель и мерило отношений индивидуализма к стадности общества. Чем более стадных свойств в обществе, тем и индивидуальнее, одноличнее его правительство и тем менее антагонизм общества к правительству. А когда стадные свойства общества доведены культурою до минимума, то начинается, как видно, поворот и в индивидуализированном донельзя обществе рождается, как видно, потребность возврата к стадности.

Мне кажется, мы живем именно в такое время; разве не целая бездна отделяет наше понятие об особи и личности от понятия современных утопистов о будущем их государстве! Зоологическая особь, представляющая еще научную загадку, делается еще загадочнее, когда она является в виде человеческой личности. Из массы этих личностей не найдется и двух одинаковых. Один и тот же основной тип организации и миллиарды оттенков, и каждая личная особь свой особенный, сам в себе заключенный мирок! Все в нем своеобразно. В каждом из этих мирков есть свой Бог, которого попы, к сожалению, игнорируют, навязывая всем миркам своего. Есть и свое мировоззрение и свои интересы.

И чем более развивается эта личная особь, чем более теряет она стадные свойства, тем более разбивается крупное стадо на мелкие группы, сплоченные одинаковыми или сходными интересами, потребностями и стремлениями.

Но все имеет границы, и размельчению наступает конец. Когда путаница интересов делает борьбу за существование губительною, государственная власть, если она успела хорошо организоваться в период индивидуализации еще стадного общества, полагает конец этой междоусобицы индивидуальных интересов, искусною группировкою, уме-

нием сближения и соединения мелких групп в крупные, становясь на сторону то большинства, то более влиятельного, более сильного и крепкого духом меньшинства. Но когда большинство образовалось без пособия власти (силою вещей и обстоятельств), когда оно, к тому же, достаточно индивидуально, т.е. интеллигентно и самостоятельно, то оно стремится само властвовать.

Мелкие группы особей сливаются в большинство только борьбою за существование, видя в ней своим противником более индивидуализированное меньшинство. Выходит нечто странное и зловещее. Это — наше время. Группы людей, пока еще меньшинство, обязанные своим происхождением развитию индивидуальности, восстают против нее и всеми силами индивидуализма стараются образовать новое стадное государство.

Что такое, в самом деле, современное движение утопистов, как не вызов на борьбу с человеческою индивидуальностью? Крайности сходятся. И культурному обществу, в апогее его развития, предстоит перспектива усовершенствования стадного состояния. Разве это не так? Стремление к полной свободе, самое индивидуальное из всех стремлений, должно уступить место, в будущем государстве утопистов, вынужденному действию для общего блага.

Вся забота власти должна будет сосредоточиться на борьбе с индивидуальностью. Нормальный антагонизм общества и государства, искусственно раздуваемый в настоящее время агентами утопий, потом должен прекратиться. И общество, и государство, должны сделаться сообща стадными, лишенными индивидуальности. На место юридического гражданского права, продукта человеческой индивидуальности, должно выступить естественное стадное право равенства и братства. Ни личная, индивидуальная свобода, ни права личной собственности и наследия не должны препятствовать общему благоденствию, определенному стадными законами. Индивидуальный талант должен употребиться на общее благо; ни гений, ни дарование не должны быть личною собственностью. Нивелировка, разумеется должна начаться не с этого, а с более существенного, — с кармана.

Применяя все сказанное к себе, к нам, к нашему государству, я не могу от себя скрыть, что замечаю в нем еще много стадного. Индивидуализм развит у нас, относительно, в миниатюре. И это, конечно, на руку современным нивелировщикам. Еще более заманчив для них наш недостаток буржуазии и вообще муниципального западного элемента и избыток аграрного стадного. Немудрено, что наша государственная власть, перенесшая, в царствование Александра II-го, точку опоры в будущем и на это аграрное сословие, встретилась тотчас же на этой почве с современными утопистами.

Достопамятное царствование Александра II-го, ознаменованное целым рядом великих предприятий, конечно, не могло в 20 лет, считая с 1861 г., каждое из них довести до конца; но существенный недостаток, существенно вредивший благим начинаниям царя, было колебание и переходы одной системы правления к другой в самое переходное время

национальной жизни. Нивелировщики не преминули пользоваться этими недостатками и всегдашнее следствие колебаний – недовольство – раздувать в свою пользу; а правительство, занятое переходами и постоянными колебаниями, не успевало способствовать индивидуализированию стадного общества и группировать мелкие индивидуализированные группы в более крупные. А в этом, именно, и лежит оплот против напора современных утопий.

Если приведенное мною воззрение на историю развития общества справедливо, то задача нашего правительства в настоящее время должна состоять в том, чтобы способствовать всеми силами развитию индивидуализма, еще угнетенного стадными свойствами. Как эти свойства общества ни пригодны и ни выгодны для разных государственных целей, в первобытном или начальном состоянии культурного государства, но потом, в периоды дальнейшего развития, они делаются обоюдоострым орудием и могут оказаться настолько же за, насколько и против него.

Пусть современная утопия, если она осуществима, осуществится на месте своего источника. Там началась уже, пока умственная, борьба труда с капиталом. Надо надеяться, что и перейдя на практическую почву, эта борьба будет все-таки более осмысленная, чем у нас. Индивидуализм на Западе успел развиться и подавить стадные свойства народов гораздо более чем у нас. *Бисмарк* говорит даже, что каждый немец хочет иметь непременно своего короля. Бог у каждого уже другой. Индивидуализм давно уже раздробил общество на мелкие группы, соединяющиеся теперь насущными потребностями существования.

Многое индивидуальное пережито, передумано и перечувствовано. У нас иная почва. И если заговору, пропаганде и крамоле удалось бы своими миражами увлечь неиндивидуализированные массы, то опасность была бы другого рода. Увлечения и другого пошиба, наши собственные, доморощенные мне кажутся небезвредными в настоящее время. Любовь к отечеству, к русскому народу и к славянскому племени вообще, как эти чувства не высоки, не должны туманить наш здравый смысл. Нам не миновать процесса общечеловеческого развития.

Откуда бы такая благодать, да еще и благодать ли? Но всего хуже противодействовать тому, что уже сделано на пути этого развития, хотя бы и ложном, с точки зрения нашей национальной утопии. Ведь это значит бежать с одной, уже избранной, дороги, не имея ни сил, ни средств, ни знаний перейти на другую, более надежную. Какая такая эта другая дорога, кто ее укажет и куда она поведет, когда оставшиеся ее следы указывают более на стадные свойства по ней шедших?

Развитие индивидуальной личности и всех присущих ей свойств – вот, по моему мнению, талисман наш против недугов века, клонящегося к закату. Средств к этому развитию не мало, была бы добрая и твердая воля.

Громада – велик человек! Горланит теперь на мирских сходках стадное свойство крестьян. Пусть каждый из них скажет про самого себя просто: я – человек и знаю мои права и мои обязанности.

Мирское горлодерство, огульная косность и огульно-стадная сила инерции и сопротивления были единственными средствами у темных масс против произвола и насилия. И пока эти стадные свойства масс будут обременять стремление к прогрессивной индивидуализации, они останутся приманками для всех, желающих ловить рыбу в мутной воде. А между тем, после эманципации масс, целые 20 лет ничего не сделано существенного для индивидуализации. Все – и благомыслящие прогрессисты, и влиятельные администраторы, и западники, и славянофилы, и наша молодежь – как будто помешались на каком-то обожании стихийных сил. Все как будто забыли, что на этом коньке ездят и современные утописты. Пусть бы утопии их находили себе на Западе оценку и поддержку; там национальная культура, может быть, и выработает для себя что-нибудь дельное из миража. Но нам, с нашею Азиею на плечах, проводить, хотя бы и с самыми благими намерениями, нечто сходное и как будто бы сочувственное западным современным утопиям, по малой мере, странно. Что поделаешь с стихийными силами племен в стране обширной, малолюдной, на восток азиатской и кочевой, немало еще и везде пропитанной азиатским элементом? Как управлять и организовать управление, если стадные свойства будут находить поддержку со стороны правительства и культурного общества? Возможно ли, не способствуя нисколько развитию индивидуализма, а, напротив, устраняя его, утверждать, что племенные стадные свойства вдруг или незаметно перейдут в какую-то интеллигентную ассоциацию? Не утопия ли это также своего рода?

Зло, достигшее крайних пределов, отрезвляет умы. Хуже этого ничего не может быть – есть такое убеждение, которое и фаталиста проймет. Мы дошли до этого. Нашей гражданственности на пути прогресса нанесен жестокий удар тем, что порядок, один из главных атрибутов гражданственности, потрясен до основания насильственною смертью главы государства, как главнейшего представителя порядка. Не может быть, чтобы не было глубокой органической причины зла внутри самого государства, привлекавшей к себе и зло извне. Великое и мощное извне государство, сильная власть, могущественная, по данным ей правам, администрация и самые крутые ее меры – ничто не помогало. Д-р Санградо[1] сказал бы, пожалуй, на это: «Не помогало потому, что пускали кровь, да мало; следовало бы пускать не останавливаясь». Такие Санградо найдутся и между нами.

Маститый дядя покойного государя сказал известившему его истину, но такую, которую и каждый бы из нас мог сказать про себя: «А я полагаю, что если бы наш государь желал и искал одного самосохранения, а не сохранения всего, что он начал и уже сделал, то жизнь его была бы сохранена. Но наше самодержавие не восточный деспотизм, и император всероссийский не может так жить и ездить в своей столице, как китайский».

[1] Санградо – персонаж из романа Р.А.Лесажа «Жиль Блаз», невежественный доктор, применявший обильное кровопускание при любых болезнях, чья врачебная практика уносила больше жизней, чем повальная эпидемия.

Итак, слова императора Вильгельма только в этом смысле и могут быть отнесены, именно, к одним государям.

Поэтому и взгляд на насильственную смерть Александра II, как на принесенную им жертву искупления, я считаю вполне справедливым. Предпринятые им преобразования были слишком радикальны в своем основании и слишком громадны, чтобы совершиться тихо, плавно и без всякого потрясения. Только тупой идиотизм и слепое пристрастие могли бы сомневаться в величии предприятий и дел покойного; только легкомыслие и излишний скептицизм могут сомневаться в том, что упорство в покушениях на его дорогую жизнь не имело никакой связи с его предприятиями и делами.

По моему мнению, одна из причин, повлиявших сильно на развитие преступной пропаганды и подпольной крамолы, было именно обширное поле, оставленное тотчас после эманципации открытым для их деятельности; оно манило их постоянно, обнадеживая блестящим успехом; а когда эта иллюзия осуществлялась не так быстро и не так успешно, как бы этого хотелось пропагандистам, то явилась, вероятно, и мысль о цареубийстве, как самом надежном средстве к возбуждению стихийных сил и стадных свойств предоставленного себе народа. И такое убеждение не могло не встретить поддержки извне.

И вот три дела кажутся мне самыми существенными в настоящем положении государства. Это: организация народных масс, ослабление недовольства в обществе, раздутого мерами администрации, и поднятие международного вопроса о существующей безнаказанности участия эмигрантов в уголовных государственных преступлениях; земскому представительству следовало прежде всего заняться первым из этих трех дел, не терпящим отлагательства.

Проживая в крае, где нет еще земства, и окруженный крестьянами, я ежедневно убеждаюсь, как ничтожна еще организация этого огромного класса, как он безрассудно предоставлен своим стадным инстинктам, и как мало заботится кто-нибудь о его просвещении и развитии индивидуализма; он проявляется между тем сам, но безобразно, в виде семейных разделов, споров и драк с перепоем. Всякая нелепость может найти легко веру в массе, руководимой инстинктами стяжания, борьбы за существование и поживы чужим добром.

При эманципации все внимание деятелей было обращено на землю. Полагали, как видно, имея в виду, как образец, Францию, что стоит только обеспечить крестьянство мирскою землею, и все пойдет как по маслу; а забыли, что Россия не Франция и даже не прежняя Россия, в которой можно было на каждом шагу вести залежное общинное или отдельное хозяйство. Что земля теперь без капитала? У мужика, скажут, вместо капитала есть руки, ноги, и, пожалуй, кое-какая голова на плечах. Да, это деньги, но такие, которые без желудка не достаются, а желудок, в свою очередь, требует также денег.

Мужику дали землю и, конечно, не даром, — это было бы вопиющим насилием над прежними землевладельцами; дав ее, — благослови-

ли и сказали: ora et labora[1]. Не плати мужик ни за землю, ни подушного, а только молись и трудись, то может быть, и только *может быть*, он зажил бы припеваючи; ковырял бы кое-как свою пашню, кормил бы кое-как на общем выгоне скотину, по временам запускал бы ее и в соседнее поле, потравить его для себя, платил бы попам за разные требы, что и значило бы для счастливца трудиться и молиться.

Может быть, еще лучше, а, может быть, и еще хуже шло бы дело в общинном хозяйстве — Бог его знает! Чтобы понять все его превосходства, надо быть или самому давнишним, исконным общинником, или же глубокомысленным философом. Не быв никогда ни тем, ни другим, я рассматриваю наше общинное хозяйство, как временное, неизбежное pis aller[2], которое нужно пока предоставить силам натуры, не замать.

Что же вышло через 20 лет после эманципации? То, что теперь всякий, знающий деревню не со вчерашнего дня и сам занимающийся полевым хозяйством, предсказал бы наверное.

Где земля еще кое-как родит без особенной тщательной подготовки, где для скотины кое-что еще вырастает на выгонах и выкосах на стерне, где, сверх этого, имеются еще вблизи крестьянских хозяйств заработки (заводы, помещичьи хозяйства и железные дороги), там дело идет до поры до времени, то есть пока не стрясется какая-нибудь беда над полями: град, засуха, жучки или просто неурожай, Бог весть отчего. А приди такая беда, да к тому еще не случись пригодных заработков, так беда неминуема. Положим, эти естественные, неминуемые беды грозят всякому хозяйству, всякому предприятию и человеческой деятельности. Но в хорошо организованном хозяйстве, в котором, кроме почвы, личного труда, ума, принимают главное участие основной и оборотный капиталы, неудача одного года или двух лет вознаграждается избытком урожая других годов.

На этом основании — и весь расчет. Иначе пришлось бы все бросить и капитал перенести туда, где ему лучше везет. Но где же что-нибудь подобное этой гарантии в крестьянском хозяйстве? Современное полевое хозяйство ничем не отличается, в сущности, от фабричного и кустарного промыслов. Пахотные поля — это фабрики без крыш под открытым небом; обработанная и подготовленная почва этих полей огромный резервуар, с разными химическими составами, в котором совершается брожение посева. Наше крестьянское хозяйство, если оно подворное, представляет род кустарного промысла, а общинное ничем другим не может быть, как плохою фабрикою, без оборотного капитала, без предприимчивости, без дальновидного расчета.

Я, конечно, сам первый бы подал голос за освобождение с землею; это было conditio sine qua non[3] в России для благополучного выхода из старого строя; но не надо было нам увлекаться нашим общим незнанием свободного полевого хозяйства; до 1860-х годов никто не имел о нем

[1] Молись и трудись (лат.).
[2] Крайнее средство (франц.).
[3] Необходимое условие (лат.).

ясного, на опыте основанного, представления. Все мечтали: одни – злорадно, другие – ненавистно, третьи – радушно и наивно. А теперь, когда суть дела выступила мало-помалу наружу, все стали сетовать, обвинять и заподазривать друг друга, сентиментальничать и заигрывать с меньшею братией, ругать на чем свет стоит кулаков, кабатчиков, как будто все это не должно было быть силою вещей и как будто тут, в самом деле, кто-нибудь лично виноват! Неужели же можно обвинять когонибудь за то, что он, недобродетелен, не настоящий христианин, эксплуатирует слишком искусно сподручную для его ума почву? Мне кажется, всех более виноваты увлечения высших и передовых деятелей.

Мне кажется, первым делом, при эманципации с землею, должна была быть правильная организация только что вышедшего из крепостной зависимости сословия. На беду, одни на него смотрели с трепетом и нередко с ненавистью, другие – с какими-то розовыми надеждами принялись его кажолировать[1]; и я сам, признаюсь, был из числа последних, хотя и знал про себя, что увлекаюсь. Такое было время – 1861-й год. Нам, современникам Александра II, надо быть снисходительными и беспристрастными и к другим и к себе. Эманципированным дали тотчас же право на выборы (выборное право). Они могли тотчас же выбирать себе непосредственных своих начальников: администраторов, старост, старшин, и даже имели право на выборы своих судей.

Эманципированным дали, до известной степени, самоуправление, тогда как и культурные классы общества не имели еще ни своих выборных судей, ни самоуправления. Для эманципированных же тотчас придумали особенный, также выборный, институт мировых посредников, и на него-то возлагались все надежды организаторов крестьянства. И он-то, именно, и сделал полнейшее фиаско. Выборное начало также не пошло впрок.

Старосты, старшины, писаря, добросовестные и судьи – оказываются вообще порядочною дрянью, обворовывают общество, берут взятки, пьянствуют зачастую. Это я вижу на опыте, слышу весьма часто и нередко читаю о том же в газетах. Неграмотность и незнание своих прав и обязанностей общая черта со стороны старшин и старост.

Давнее наше крючкотворство, мошенничество, взяточничество характерная черта большей части волостных писарей. Тунеядство, безразличное отношение к крестьянскому делу, с оттенком вымогательства, отличают многих коронных (невыборных) посредников, существующих еще у нас в Западном крае.

Странная была, мне кажется, мысль поставить эманципированное крестьянство каким-то особняком, прикрепленным на несколько лет к земле, с своим самоуправлением, с своим вечем (сходками) и даже с своими законами относительно собственности, наследия и т.п. Этот-то 20-миллионный особняк, с его, к тому же еще, и бытовыми особенностями и обычаями, есть что-то в роде status in statu.

Он привык действовать огульно, корпоративно, привык иметь свое отдельное мировоззрение, во многом противоположное общим государ-

---

[1] Ласкать (cajoler франц.).

ственным и культурным воззрениям. Словом, это мир, живущий отдельною и во многом еще нам неизвестною и непонятною для нас жизнью. Недаром он так заманчив, и, к сожалению, не для одних только этнографов, литераторов и экономистов. Все, желающее половить рыбу в мутной воде, свивает легко гнездо в этой удобной для разного рода эксплуатации почве. Не знаю, в каких руках обретается эманципированная громада там, где развилось и пустило корни земское самоуправление; но у нас в Юго-Западном крае, что бы там ни говорили администраторы и разные ревизоры, крестьянство, на мой взгляд, в плохих руках. Коронные его властители, по крайней мере, те, которых я знаю, ненадежны ни в каком отношении. Уже одно то, что они меняются начальством как пешки, не говорит в их пользу.

Впрочем, не они одни, и главным начальникам Юго-Западного края не счастливится. В течение 20 лет переменилось, на моей памяти, 6 генерал-губернаторов (по 3 года и 3 месяца управления на каждого) и 8 губернаторов Подольской губернии (по 2½ года на каждого). На такой важной по своему исключительному положению окраине по 2 или по 3 года управления средним числом на каждого начальника едва ли может дать благие результаты.

Мысль об оставлении нашего крестьянства в его изолированном виде, кажется, еще не оставлена. Правда, в губерниях с земскими учреждениями крестьяне привлекаются и в гласные, и в присяжные; но, во-первых, целых 9 больших губерний исключены из этого, а во-вторых, если земство учреждено всесословным, то почему же волость, как единица земства, не всесословная, а исключительно крестьянская, в-третьих, наконец, всесильная администрация, налагающая свою тяжелую руку и на земство, не может способствовать никакой правильной и стойкой организации ни земства, ни крестьянства. О просвещении темных масс и говорить нечего.

С 1866 года я не решался и прикоснуться к школе в моих имениях и жену отговаривал, чтобы не заподозрили в какой контрабанде; с агентами министра Толстого мне не очень весело было иметь дело. И то немногое, что мы сделали в 1861–1862 годах, прошло бесследно.

Но не одно крестьянство осталось, после эманципации, почти неорганизованным, и среднему сословию не повезло; между тем оно, очевидно, формируется. Средние училища, несмотря на разные скачки с препятствиями, полнеют. Но эта главная основа культурного общества у нас находится также в ненормальном состоянии. Часть этого сословия у нас чистый пролетариат; часть (как, например, еврейство) не пользуется всеми правами, а часть, хотя, по-своему положению и средствам, и должна бы принадлежать к среднему сословию, вовсе некультурна: это многие довольно зажиточные мещане, купцы, кулаки. Правительство, как кажется, немного заботится и о развитии этого класса. Взбаламученная, с одной стороны – пропагандою, с другой – произволом и насилием администрации, наша молодежь, вместо стремления кверху, ищет сближения с крестьянством для распространения современных, социальных доктрин.

Да, я не перестану удивляться и сожалеть, что в такое великое по делам царствование Александра II правительство его, в течение слишком 25 лет, не сумело или не хотело привлечь на свою сторону ни вновь нарастающее среднее сословие, ни учащуюся молодежь. Правительство, с некоторыми колебаниями, но почти систематически, не давало ходу земским учреждениям и нисколько не способствовало развитию земства, а, следовательно, и нашего будущего среднего сословия. И с самого начала царствования успели уже предубедить государя против учащейся молодежи. Впрочем, это было наследие 1848 года. Тогда в правительственных сферах, настроенных враждебно против университетов веяниями Запада, поднялась страшная тревога, результатом которой было ограничение числа студентов. Я слышал от покойного *Калмыкова*[1] (бывшего моего товарища по профессорскому институту), преподававшего в школе правоведения, что попечитель школы, его императорское высочество принц *Ольденбургский*, по случаю революционных движений в Германии 1848 года, всю вину слагал на немецких профессоров и, вероятно, не находя никакой аналогии между ними и нами, сказал своему профессору: «Да это все с... дети – профессора наделали». Как известно, тогда шла даже речь и о закрытии наших университетов. Это враждебное предубеждение слышалось еще и в 1850-х годах, когда реакция успела уже восторжествовать в целой Европе.

Александр II, в самом начале царствования, казалось, довольно благосклонно относился к молодежи, простил, например, по ходатайству генерал-губернатора, корпоративную стычку киевских студентов с одним военным полковником, которого они избили палками при выходе из театра за грубость, оказанную им одному студенту на улице. Государь открыл снова университеты для неограниченного числа учащихся, разрешил студенческие сходки в здании университета, читальни и т.п. Но уже около 1860-х годов, еще за год или за два до появления крупных университетских беспорядков, государь был уже настроен против учащейся молодежи. Попечители и начальники края, желавшие подслужиться и показать свое рвение и искусство в государственном деле, всякий раз, при посещении государем университетских городов, спешили доносить то и другое о строптивом духе, о пропаганде «Колокола», и из мухи делали слона.

Шеф жандармов князь *Долгоруков*, сопровождавший государя в этих поездках, человек, на мой взгляд, недалекий, не упускал, должно быть, случая подливать масло в огонь. Взгляды этого князя на университеты были, как и следовало ожидать, самые тусклые.

– Почему бы вам не ввести в университете такую же дисциплину, как у нас в корпусе? – говорил он мне в Киеве, во время моего попечительства в конце 1859 года.

– Да просто потому, князь, – отвечал я, – что университет не корпус; впрочем, и у вас, в корпусах демонстрируют.

---

[1] П.Д.Калмыков (1808–1860) – профессор энциклопедии, законоведения и русского государственного права в Петербургском университете, училище правоведения и лицее.

– Как? Где?

– А в Полтаве.

– Да-а. Это, знаете, учителя гимназические; ведь теперь все хотят демонстрировать.

И это же, или почти это сказал мне и государь, очевидно, по наговорам и доносам недалекого шефа жандармов.

И всякий раз, когда государь осматривал какое-нибудь учебное учреждение округа, он замечал первым делом: «Дай Бог, чтобы учение впрок пошло».

Эти слова, слышанные мною из уст государя неоднократно, врезались у меня в памяти. Почему, рассуждал я тогда, глава государства прежде всего опасается вреда от учения? Как бы прежде всего ожидает его от нашей учащейся молодежи? Отчего такое недоверие? Да, недоверие это было сильно внушено государю. Я это заключаю еще и из того, что при представлении моем ему в Киеве, когда я сказал ему, что студенты ведут себя безукоризненно, он как-то недоверчиво посмотрел на меня. Между тем, я, по совести, не мог ничего другого донести о студентах. Демонстрации более года после истории с полковником никакой не было, на лекциях и публичных собраниях было всегда спокойно, польская революционная пропаганда еще не кружила заметно головы, да следить за этим было дело тайной полиции, а мне ничего не сообщалось. Без сомнения, потом с каждым годом недоверие и предубеждение правительства к молодежи не могло не увеличиваться. Время с каждым днем делалось туманнее и смутнее, и молодежь все более и более отталкивалась административными распоряжениями от правительства и все более и более попадала в сети подпольных, а нередко и сверхпольных пропагандистов.

В последние же 15 лет, с разными преобразованиями в учебном ведомстве *Толстого*, образовалось уже какое-то озлобление с скрежетом зубовным. Начальство и учащаяся молодежь принялись, как будто взапуски, друг другу солить. Дошло до виселицы. Моралисту и беспристрастному наблюдателю событий, sine ira et studio[1], кинется прежде всего в глаза тот замечательный факт, что именно наша молодежь оказалась наиболее склонною к принятию самых крайних, самых разрушительных и губительных учений. Казалось бы, ей именно и следовало бы довольствоваться тем, не малым, впрочем, прогрессом, на путь которого вывел уже Россию покойный государь. Так нет, сразу давай все переворачивать. La bourse ou la vie[2].

Это явление я объясняю, как я уже говорил, предшествовавшим беспардонным гнетом, мучительно действовавшим в особенности на молодое впечатлительное поколение; из него успели уже образоваться целые группы людей, передававших при каждом удобном случае свою затаенную ненависть к невыносимому, по их убеждению, положению и следующему за ними поколению. Были, например, в царствование

---

[1] Без гнева и пристрастия (лат.).

[2] Кошелек или жизнь (франц.).

Николая достоверные случаи передачи своих затаенных чувств в таком роде. Учитель русской истории читает о царствовании Николая по Устрялову; по окончании урока собравшимся около него старшим ученикам говорит вполголоса: «Не верьте, господа, ничему, что я вам читал, все наврано, приходите ко мне, я вам передам правду-матку». И на такой-то крепко сдавленный горючий материал да коммунарная пропаганда, зовущая переворотить свет вверх дном!

Мудрено ли, что пересушенное под прессом сено легко загорается и горит неудержимо дотла. Мораль та, что человеческую свободу нельзя сушить как сено; особливо осторожно надо обращаться с свободой молодой души; ей неудержимо хочется быть нараспашку; и для нее нужна не регулированная дисциплина, как советовал еще недавно один начальник края при представлении ему университетского начальства, а «регулированная свобода». Но теперь не до морали и не до советов. Не надо ни на минуту забывать, что мы живем во время, когда страшная нравственная миазма успела уже свить гнездо в культурном обществе и грозит сделаться поветрием. Я не верил прежде рассказу одного приближенного к покойному государю Николаю немца (едва ли это не был сам д-р *Мандт*), но теперь, после страшного события 1-го марта, рассказ этот мне сделался почему-то вероятным. Немецкий доктор мне сказывал, что на императора в начале 1850-х годов находили минуты какой-то душевной тревоги и он, смотря на детей, будто бы говорил: «Что-то будет с ними и что им предстоит?» Доктор, я помню, рассказывая, прибавил: «Das ist le mouton noir des Kaisers»[1]. Не было ли это тайное предчувствие о судьбе Александра II?

Да, не даром всех государей заставлял задумываться 1848 год. Уличные битвы июльских дней в Париже были предтечами битв коммуны 1871 года с государственною властью.

Недаром *Бисмарк* не благоволил к правительству *Тьера*[2] и способствовал республике, устранив поэтому и *Арнима*[3].

Бисмарк предвидел, что при республике коммуна рано или поздно выплывет опять наружу и вооружит против Франции все монархии. Но эти расчеты едва ли окажутся верными. Прежде чем все государства согласятся действовать вместе против распространения заразы, деятельная и, как видно, крепнущая коммуна успеет своею пропагандою много испортить внутри всех этих государств.

Про немецких солдат я читал в газетах, а про французских слышал от одного из бывших членов нашего посольства в Париже, что там даже в армиях оказывается влияние пропаганды; лицо, сообщившее мне о парижских делах, рассказывало, что оно слышало от самих офицеров

[1] Это предвестник трагедии императора (нем., франц.).

[2] А.М.Тьер (1797–1877) – французский государственный деятель, в 1871–1873 гг. президент Французской республики.

[3] Г.-К.-К.-Э.Арним (1824–1881) – немецкий дипломат, в 1872–1874 гг. посол во Франции, из-за принципиальных несогласий во мнениях между ним и Бисмарком как по вопросу отношений между Германией и Францией, так и относительно церковной политики, был удален с этого поста.

в Париже, как они боятся, чтобы солдаты их при первых же движениях коммуны не разбежались и сами бы не сделались коммунарами. Relata refero[1].

Правда ли это, нет ли, но очевидно, что самые крайние и разрушительные стремления коммуны, как бы число последователей их ни было пока ограничено, находят подкрепление и в других, менее радикальных доктринах коммунизма, так как коммунары и коммунисты, сколько мне известно, расходятся только в отношении средств, но не в основных принципах. Мне странна и непонятна логика государств, терпящих и отчасти охраняющих самые гибельные, безнравственные и вредные для общечеловеческого прогресса доктрины. Что это – чрезмерное уважение буквы закона, тупое равнодушие или трусость? Откуда взялось такое государственное убеждение, что уголовное преступление, совершенное по почину частных лиц с государственною целью, перестает быть преступлением? Ведь по этой логике никто не безопасен. Я имею другое убеждение; я опасен новой доктрине; я могу повредить ей; я уже вреден по другой версии и тем, что не разделяю убеждения; меня надо убить. К такой логике придти вовсе легко, стоит только опериться и почувствовать себя силою. Можно ли, при существующих неоспоримых фактах, сомневаться в возрастающей силе действий пропаганды и можно ли в таком случае ссылаться на одни собственные государственные интересы странам, терпящим у себя деятелей тлетворной для всего человечества пропаганды? Да разве чуть не все государства не выгоняют иезуитов за неразборчивость, якобы средств, считаемых у них дозволенными для достижения цели? Пусть будет делом ни до кого не касающейся внутренней политики Франции, что она вернула к себе с торжеством коммунаров и прогнала со скандалом попов; тут неодобряющий такой политики может только применить к французскому правительству нашу поговорку: «умен, как поп Семен, – книги продал да карты купил». Но другое дело, когда к среде домашних коммунаров примкнула еще фаланга людей разных «племен, наречий, состояний», не только проповедующих, с торжеством и пением, убийства и всякого рода разрушения, да еще и действительно убивающих тех, которые, по их мнению, препятствуют осуществлению их же доктрины.

Что кто ни говори, но это – безобразнейшее уродство из уродств. Откуда взялись такие принципы международного права, которые допускают, терпят и косвенно прикрывают такое вопиющее нарушение человеческого и нравственного права? Я думаю, что государства с их допотопными политическими принципами сами служили образцами и рассадниками этим уродствам.

Евангелие писано для царств не от мира сего; поэтому христианские царства следуют той же политике, как и языческие. Что считается безнравственным в жизни частного человека, то нисколько не безнравственно в политике. Самый новейший матадор государственной политики провозглашал железо более полноправным, чем самое право. Ко-

[1] Передаю услышанное (лат.).

нечно, нельзя отрицать, что древнее рабство военнопленных – древнее «vae victis»[1] – исчезло под влиянием христианского учения и, как бы взамен древнего бесчеловечия, наше время водрузило красный крест, как символ христианства и в международных отношениях. Но как бы ни была велика эта заслуга нового времени, она все-таки касается более области «соматической», имеет главною целью облегчение и уничтожение телесных страданий; другая же, чисто нравственная, сторона международной политики осталась такою же недоступною для введения начал христианского учения, как и во времена оны. И вот мы видим в наше время, что страна, прославившая себя инициативою учреждений «Красного Креста», так много уже облегчивших людские страдания и муки, вместе с этим, служит притоном и рассадником самого губительного для общечеловеческой нравственности комплота[2] убийц и крамольников. Да, христианские государства с их беззастенчивою внутреннею и международною политикою эгоизма и права сильного не мало сами содействуют к нарождению убийственных для нравственности и постыдных для человечества общественных явлений. Все знают это; все убеждены, что современные отношения государств между собою ненормальны и на каждом шагу угрожают подвластным народам неизмеримыми бедствиями и катастрофами; что же мудреного, если при таком натянутом положении международного дела растет и крепнет противогосударственная и антисоциальная пропаганда с ее разрушительными стремлениями, ее ненавистью к существующему порядку вещей и ее кровожадными пионерами? Громадные капиталы народного богатства и целые массы молодого, цветущего народонаселения употребляются непроизводительно, стоя под ружьем, наготове. Может ли коммунистическая пропаганда не воспользоваться указаниями народам на это ненормальное положение государств и наций, не возбудить в них ненависти и противогосударственных устремлений? А между тем самые армии, собранные для предстоящей борьбы, заражаются от бездействия пропагандою и общим недовольством. Видя все это, конечно, не с птичьего полета, который не предоставлен простым смертным, не одни только пессимисты, как это было в 1848-х годах, усмотрят в будущем средние века с нашествием варваров, не чужих, а доморощенных, и не одни пессимисты упрекнут государства в их близоруком эгоизме, ведущем, в конце концов, к средневековому варварству.

Где, в самом деле, антидоты[3] против распространения социальных миазм? Армии и полиции? Как будто армии и полиции формируются не из людей, или из людей другого закала, нисколько не прикосновенных и не подверженных заразе.

Что, впрочем, толковать о радикальных презервативах и антидотах против будущих, еще не рассвирепевших поветрий, когда пред нашими глазами совершаются уже самые безнравственные дела и неслыханные

---

[1] Горе побежденным (лат.).
[2] Комплот (франц. complot) – заговор.
[3] Антидот (гр. antidoton букв. даваемое против) – противоядие.

преступления, нисколько не изменяющие международных отношений и законов, несмотря на то, что злодеяния совершаются преступниками одной страны против властей другой, по названию дружественной.

К какой нации физиологически принадлежат эти преступники, очевидно, все равно; они – скитальцы, и должны считаться подданными или гражданами той страны, которая их приютила и охраняет, а потому оставлять их участие в уголовных преступлениях, совершенных в другом государстве, не расследованным и не наказанным только потому, что эти преступления не нанесли никакого вреда интересам протектора, безнравственно. Да не говоря уже о нравственности, эта эгоистическая политика и безрассудна, и когда-нибудь вредно отзовется на всем обществе. Зло родит зло; это закон, его же не прейдешь. Между государственным и простым убийством нет никакого различия. Судить, осуждать, низвергать государственную власть, по естественному праву, может только само государство. Все цареубийцы, не исключая и прославленного убийцы Цезаря, берут на себя роль государственных палачей самовольно или от имени никем не признанных людей; чем же, спрашивается, преступление их отличается от простого убийства, и почему какой бы то ни был государственный режим может отказаться у себя от судебного расследования деяний пришельцев, подозреваемых другим государством в участии? Разве только по принципу: vivat justitia, pereat mundus[1]!

Но откуда взялось у нас стремление, по общему почти убеждению, вовсе не свойственное ни истории развития, ни духу нашего общества? С Запада? Но почему эти антисоциальные западные доктрины именно у нас проявились в самом отвратительном виде? Причин тут, конечно, не одна. И как бы ничтожна ни была шайка злоумышленников, нечего себя этим успокаивать; не малочисленность деятелей зла, а размер причиненного им зла обществу обращает на себя внимание всякого мыслящего человека.

Наполеон, запертый на острове Св. Елены, сказал, что «в России самодержавие ограничено цареубийством». Он, разумеется, так выразился из ненависти к России, точно так же, как из ненависти он стращал Россиею: «Через 50 лет во всей Европе – или республика или казаки». Фразе о цареубийстве служили, конечно, основанием наши дворцовые революции после петровского царствования. Но в этих революциях главными участниками были лично заинтересованные особы, царедворцы, сановники и проч.; совершавшиеся преступления тщательно скрывались, и только в последнее время сделалось возможным обсуждать печатно и документально эти государственные тайны в нашей истории.

Современные государственные преступления имеют совершенно другой характер. Они не могли и не могут быть тайнами не только для истории, но и для народа. Без сомнения, с этою именно целью они и совершаются. Деятелями являются не приближенные к трону, не госу-

[1] Да здравствует правосудие, да погибнет мир (лат.).

дарственные сановники, не иностранные интриганы, а разночинцы и даже простолюдины, лично, по-видимому, нисколько не заинтересованные. А, судя по прокламациям и подпольной литературе и судебной хронике, все эти преступления совершаются во имя новой социальной доктрины западного происхождения.

Какие же причины, именно у нас в России и в наше время, привлекли таких ревностных адептов и деятелей к этой доктрине? Упорство, настойчивость, выдержка, самоотвержение и вообще энергия зла замечательны в этих деятелях – в этом надо им отдать полную справедливость. Откуда все это? Совсем не узнаешь своих соотчичей в этих адски энергических деятелях. Чужеземный элемент между ними, по-видимому, незначителен; несколько семитов, еще менее поляков, немного других неславянского племени; но большинство великорусы и малороссы; сословия и состояния также весьма различны; образование, по большей части, школьное и недоконченное; есть между ними и дворяне и крестьяне, богатые и бедные, но последних, верно, больше, чем первых; исповедание, конечно, также в большинстве православное; лета, в большинстве, молодые, не достигающие еще и среднего возраста; занятия весьма различные до вступления в комплот, но потом, конечно, – специальным делом пропаганды, – крамолы и террор.

Что соединяет этих разнохарактерных деятелей, имеющих между собою общее: только возраст и известную степень образования? Убеждения? Да, если бы большинство заговорщиков принадлежало к одному, и именно, неславянскому племени, я бы сказал, что связывающие их убеждения должны быть чрезвычайно глубокие, если возбуждают такую энергию и упорство в действиях.

Но мы до последнего времени не отличались твердостью и глубиною наших убеждений ни в добре, ни в зле. Откуда же у наших юных современников вдруг явилась склонность к глубокомыслию? Именно к глубокомыслию, без которого немыслима глубина убеждения. Справедливость требует, однако же, признать и в нас склонность к фанатичности в наших убеждениях или, правильнее, верованиях. Это доказывают наши раскольники и сектанты. Неужели же наши пропагандисты, нигилисты, анархисты, коммунисты и т.п. принадлежат к классу фанатически верующих в свои доктрины?

Вряд ли это так, по крайней мере, для большинства. Уже одно то, что большинство заговорщиков молодые, и даже очень молодые люди, говорит против этого предположения.

Шекспир, в одном из замечательнейших произведений своего гения – «Бури», изобразил нам наглядно, в лице Калибана, зверскую натуру человека, удерживаемую в постоянном рабстве умом и при малейшем послаблении всегда готовую войти в заговор против своего властелина. Это прирожденное человеку зверство есть одно из стадных его свойств, уступающее и подчиняющееся только одному развитию индивидуализма в обществе. Ум, конечно, различного склада, есть свойство чисто индивидуальное, и потому, именно, он и различен, противен всегда и у всех одинаковому стадному зверству. Правитель-

ство наше 1840-х годов погрешало тем и против общества, и против самого себя, что оно оставляло почти нетронутыми стадные свойства, подавляя развитие личности и индивидуальных свойств. Предержащие власти того времени были убеждены, что одною внешнею силою они справятся с стадным зверством.

Внешняя сила, и в самом деле, так могущественна и была, и есть, что ей, пожалуй, нетрудно справиться с проявлениями стадных свойств в массах. Но на сцену вышло другое, неожиданное дело: это проявление неистовейшего из стадных свойств – зверства, в виде Калибанов, не порабощенных умом и вступивших тотчас же в заговор против индивидуального ума, долго остававшегося под гнетом. Вышло противное тому, что должно быть нормою для правительства и обществ. Вместо свободы личного ума вышла свобода зверства. Зверство не могло быть рабом несвободного и стесненного ума. Калибан почувствовал себя освобожденным и выступил на сцену.

Чем менее значение особи в государственном строе, тем опаснее положение государства в наше время. По-видимому, это не так; все личное в обширном государстве должно исчезать перед величием государственной мощи, все должно преклоняться пред нею и жить для нее. Этому следовали у нас: все для власти, как можно меньше для общества; не то, что принцип неразрывной связи взаимодействия: и государство для общества, и общество для государства, – принцип наиболее верный и благоразумный. Нет! Общество, как будто бы какой-то Калибан, – молчи и повинуйся уму волшебника-гения. Прекрасно, если бы общество и было только Калибаном, а государство – гением, умом. Но в том-то и дело, что вместо Калибана, вместо одних стадных свойств, порабощается, при этой правительственной доктрине, ум общества, его силы, дорогое индивидуальное свойство, необходимое, жизненно необходимое и для гения ума государства.

И как раз с 1848-х годов, с эпохи активного появления на сцене света новых антисоциальных учений, усиливается у нас гнет на свободу ума и личности.

Тогда влиятельный *Бутурлин*, например, доходил до того, что объявлял себя готовым наложить запрещение и на Евангелие, если в нем найдется что-либо противоправительственное. Не прав ли и я думать, что мы гораздо более способны к фанатизму и фанатическому зверству, чем к глубоким убеждениям и глубокомыслию. Нам смешно это качество германской расы. «Немец так глубокомыслен, что провалишься в него», – припеваем мы, смеясь, и сами проваливаемся нередко в безвыходное болото. Много, много, как теперь открывается, нанесли 1840-е годы вреда России.

Наша политика работала для успокоения других, а для себя и для дома увеличивала число внешних и внутренних врагов. В эти годы было заложено основание нашей злосчастной эмиграции, послужившей рассадником современной крамолы. Чуть не вся интеллигентная молодежь и даже более пожилое поколение бросилось во след Герцена и других. С тех пор Лондон, и потом Женева и Цюрих, сделались Меккою и Меди-

ною для наших неофитов и, надо сказать правду, первые основатели доктрин, сделавшихся столь привлекательными для нашей молодежи впоследствии, были люди недюжинные, заманчивые, довольно ловкие, а их доктрины в начале имели более характер более или менее привлекательных для молодежи утопий, чем безнравственных, сумбурных и губительных учений. Это была какая-то, уже именно не глубокомысленная смесь западных социальных утопий на славянофильской канве. Наши община, вече, мирские сходки с общей подачей голосов служили этою канвою, по которой вышивались разные узоры на европейски лад. Я помню, как эти утопии прельщали не одну учащуюся молодежь, и молодые профессора, ездившие за границу, не мало увлекались.

Один из них, возвратившийся в Россию, во время моего попечительства, рассказывая мне о своих занятиях, объявил мне: «*Признаюсь*, я — не коммунист и потому меня занимало более расследование современных ассоциаций». «Признаюсь» этого профессора было для меня так наивно, что я не удержался от смеха. Он признается, что не коммунист, подумал я, верно, у них это считается грешком.

Только после польской революции, и в особенности после 1870—1871 годов, когда выступила на сцену парижская коммуна с огнем и мечем в руках, и пропаганда наших эмигрантов приняла нынешний ее характер, и на первый план выступили вожаки анархизма и зверства. Очевидно, эта партия рассчитывала на поддержку (нравственную) со стороны недовольной интеллигенции и (материальную) со стороны масс. Весьма естественно было рассчитывать на равнодушие и безразличное отношение к общественному делу общества, приученного администрациею не вступаться не в свои дела и действовать по известному правилу: «моя хата с краю, ничего не знаю».

Рассчитывать же на стадные свойства масс было также не так глупо, как кажется с первого взгляда. Эти массы, без сомнения, враги крамольников, обративших всю свою зверскую энергию на особу царя. Но в представлении народных наших масс о царе содержится нечто мифическое, олицетворение земного народного блага, и потому все, что народные массы считают для себя тяжким бременем, идет, по их понятиям, не от царя, а от его неверных и худых слуг.

Этим объясняются самые невероятные проявления стадных свойств народных масс во время разных катастроф. Рассвирепев, народ, проникнутый насквозь убеждением в безграничную царскую благость к нему, перестает верить в личное присутствие царской особы, увещевающей или грозящей взволновавшейся толпе.

Я слышал, например, сам в бытность мою мировым посредником, как крестьяне в Подольской губернии сказывали, что «паны подкупили, и царь не дал всей земли хлопам». Кого подкупили? «Да чуть ли не самого». Разумеется, это было пущено в ход пропагандистами, во время польского мятежа; доказывает, однако же, что массы скорее хотят верить в подкупность, чем в недоброжелательство к ним царской власти.

Но известны случаи и такого рода, как, например, в возмущении поселенцев Старой Руссы, где в присутствии императора Николая, уве-

щевавшего возмущенных, в толпе послышались голоса: «Да сам ли это он (государь), братцы». Не следует ли из этого, что одно из самых лучших свойств народа, – уважение и полное доверие к верховной власти, но еще не индивидуализированное, при других стадных свойствах народных масс, есть все-таки обоюдоострое орудие, которым нетрудно пользоваться и врагам верховной власти. А сверх этого, наша народная стихия, на которую возлагают столько розовых надежд доморощенные наши утописты и славянофилы, представляет возмутителям и анархистам, еще и другую, не менее привлекательную сторону; она с давних времен была не безопасна для государства, устроенного на общеевропейский лад; эманципация должна была уничтожить предстоявшую опасность; но, предпринятая слишком поздно, и потому без предварительной подготовки, она увеличила опасность, хотя и временно.

И вот почему: коммунизм нашего времени берет, я полагаю, свое начало еще с первой французской революции. Известно, как tiers-état сбило с позиции аристократию, подпадало потом само под влияние террора, военного деспотизма, бурбонской реакции, и все-таки и развивалось, и богатело; и вот мы видим, что из этого знаменитого tiers-état, бывшего некогда идеалом прогресса, образовалась ненавистная современным ультрапрогрессистам буржуазия, считаемая самым главным антагонистом нового и коренного преобразования общества в коммуну.

С упадком владетельной аристократии идеалом благополучия для этой буржуазии сделалось владение землею; крестьянство, конечно, по своей натуре, не менее стремилось к землевладению. Крупные владения размельчали. Земля разделилась на самые мелкие участки, а все-таки стремление к обладанию хотя бы крошечным куском землицы продолжается.

Некоторые утверждают даже, что и народонаселение Франции не увеличивается по этой причине: всякий хочет не только сам владеть куском земли, но и оставить еще в наследство; и так как делить миниатюрного земельного наследства более невозможно, то никто будто бы не хочет иметь много детей, женится поздно и т.п.

Может быть, эта страсть к обладанию поземельною собственностью обязана своим происхождением учению физиократов, господствовавшему незадолго до первой революции.

Как бы то ни было, но из Франции, я полагаю, перешло преувеличенное значение земли и к нам. Земля у нас до эманципации была нипочем, ценилась только рабочая сила. По числу душ ценились имения. Это была другая крайность, не менее неверная современной.

Между тем издавна мы привыкли называть наше отечество государством земледельческим, житницею Европы, и вот, узнав, что французы придают огромное социальное значение земельной собственности и что городской пролетариат во Франции точит зубы на своих буржуа и аграров, слишком возлюбивших поземельную собственность, мы взбудоражились при эманципации наших крестьян и задались неразрешимою задачею предотвращать у себя все ожидаемые во Франции и в Европе бедствия от развития пролетариата и его ненависти к имущим и богатым.

Приезжавшие из Парижа, в начале 1860-х годов, наши соотечественники, жившие там несколько лет, рассказывали (я слышал сам один из таких потрясающих рассказов от покойного *Ханыкова*) с ужасом о страшных физиономиях пролетариев, останавливающихся на бульварах перед кофейнями и с зверскою завистью смотревших на напитки, которыми прохлаждались посетители кофеен.

И эта ненависть пролетариата к буржуа, и эта страсть буржуа к обладанию землею понятны в стране многолюдной, муниципальной, мануфактурной, как Франция, с ее благословенным и превосходным для культуры ценных растений климатом, при легкости сбыта всех произведений земли на месте, с отличными водяными и сухими путями сообщения, избытком легко обращающегося капитала, развитою интеллигенциею. Не полный ли это контраст с Россиею?

Какие пространства земли были бы достаточны у нас для благосостояния каждого из крестьян в настоящее время и какие бы пространства понадобились еще для обеспечения каждого из них в будущем, если сделать одну земельную собственность главным условием этого благосостояния.

То, что француз извлекает теперь из одного гектара своей земли своим виноградом, огородом и фруктовым садиком, произведениям которых он тотчас же находит выгодный сбыт, этого каждый из нас не извлечет и из 20 десятин при нашем климате и нашем хозяйстве и сбыте. А кому из крестьян на ум придет рисковать введением других искусственных систем хозяйства?

Правда, земли у нас еще много, хватит, пожалуй, на всех, если разделить поровну; ну, а расстояния, а почва, а климат, требующие, чтобы полгода сидел на печи, а вредные для культуры растения континентальные свойства этого климата, а недостаток рук, а трудность сбыта, а дороговизна и неподвижность капиталов, а хищничество и неуважение к собственности, проявляющиеся на каждом шагу и в стадных свойствах народонаселения, и в плохой администрации, и даже в окружающих нас стихийных силах?

Как же тут основать народное благосостояние на одной земельной собственности?

Предполагалось, кажется, нашими доморощенными физиократами, что земельная собственность у нас без всякого затрачения капитала, с помощью одних рук и кое-какой животины без хороших кормов, должна и прокормить крестьянскую семью, и выкупить себя, и дать еще прибыль для уплаты податей и для сбережения на черный день. Когда же эти воздушные замки улетучились, то начались сетования, скорбь, часто весьма сомнительного свойства, дутая и нередко приторная, о меньшей братии, а затем и сочувствие современным утопиям.

Что это я говорю? Как осмеливаюсь, хотя бы и для самого себя только, писать подобную ересь! Напечатай я это, что будет со мною?! Ведь *Аскоченский*[1], читая мои «Вопросы жизни», находил в них иезуитизм и

[1] В.И.Аскоченский (1820–1879) – создатель и редактор журнала «Домашняя беседа» с 1854 г.

безбожие; *Добролюбов*, боявшийся, верно, инстинктивно розог, узрел в моем регламенте о наказаниях дикое и бессмысленное варварство; а теперь я, верно, попал бы, за мой взгляд на эманципацию, в самые закоренелые крепостники и ретрограды. Но, слава Богу, я пишу для себя и не боюсь крика и брани. Нет, господа, – ответил бы я, может быть, крикунам, – я первый, живя 15 лет безвыездно в деревне, не захотел бы ни за какие коврижки жить в соседстве с обезземеленными крестьянами!

Земли нельзя было не дать нашим крестьянам при эманципации. Посадите кого угодно на привязь, на одно место, на сотни лет, и всякий, если не сам, то его потомки, будут считать это место своим, то есть не себя к нему, а его к себе прикрепленным. Это одно, а другое то, что не в кочевников же превратить оседлых поселян, считавших землю, на которой они сидели, мирскою.

Итак, не в том дело, что крестьяне наши освобождены были с своею мирскою землею, – там, как бы то ни было, тотчас же или потом, – дело в принципе; я восстаю против него и утверждаю, что заботы наших социал-экономистов физиократов о предохранении государства от пролетариата посредством надела крестьян землею ни к чему не ведут. Что бы бюрократы, доктринеры и утописты ни придумывали против этого исконного зла человеческого общества, все повредит только настоящему – это главное; а для отдаленного будущего беспрестанно ломать и перестраивать неустановившиеся еще порядком настоящие преобразования нелепо, да мало что нелепо, преступно.

Эта же ломка, при которой я присутствую почти 20 лет на окраине России, эта неверность и шаткость настоящего положения земельных собственников и соединенного с этим колебания в мероприятии, привели нас в то поистине безотрадное положение, в котором мы теперь находимся.

Мне кажется, какая-то мономания пролетариазма обуяла часть нашего общества и правительственные сферы, и надо бы благодарить Бога, когда бы она была религиозного свойства; богатые стали бы раздавать свое имущество, по-евангельски, нищим, во имя Господне. Так нет: мономания чисто социальная, quasi-научная. Хотят, во что бы то ни стало, сделать Россию на будущее время счастливее всей остальной Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии.

Талисман уже найден – это земля; теперь идет дело только о том, как до него всем и каждому добраться.

Рецепт простой: чем больше каждому придется на долю, тем лучше. У мужика теперь мало земли, да и ту он не может порядочно обработать; чтобы извлечь из нее что можно и что нужно, у него нет ни средств, ни уменья. Следует ему дать вдвое, втрое, вдесятеро больше, – и он справится. Откуда же эта логика? Она, мне кажется, вышла из залежной системы хозяйства, процветавшей еще на юго-восточных окраинах России при введении эманципации. Земля там была нипочем, почва почти девственная, народу мало, скот дешев и кормы в степях даровые. Валяй на просторе! Еще и теперь в Бессарабии и в Болгарии я сам видал, как сеется и отлично родит пшеница и кукуруза без плуга и пахоты.

По стерне, после снятия кукурузы, по оставшимся от нее клочкам, ходит братушка и молдаванин и сеет осенью пшеницу, без всякой подготовки, а потом заралинает каким-то допотопным ралом, парою буйволов, а то так родят и так падающие зерна, при снятии жатв.

Первобытное поверье в неисчерпаемое плодородие залежи служит, мне кажется, основанием и наших современных социальных убеждений. Да, наш народ верит еще в землю, чуть не в божество земли. «Наша земля, – говорил мне один крестьянин в моем имении (Подольской губ[ернии]), – не любит железа: перестанет родить, если ее много железом трогать». – «А навоз?» – «Навоза тоже не хочет, бурьяном порастает. Значит, землю не тревожь, она рассердится». Поверья, очевидно, ведущие свое начало от времен залежного, переходного, полукочевого земледелия. Снял урожая три, четыре, – довольно; земля не очень возлюбляет железо, – ступай на другое, свежее место.

Немцы наши, колонисты, переселившиеся в юго-восточные наши степи из культурной страны, знакомые уже с искусственною системою полеводства, прибывшие к нам с некоторыми денежными средствами, притом народ трезвый, бережливый, грамотный, протестант и даже меннонит[1], да, сверх того, получивший льготы от нашего правительства (освобождение от податей, рекрутской повинности), – колонисты, говорю, несмотря на все эти благоприятные условия, все-таки, как люди опытные и знакомые с делом, не поддались иллюзиям и, несмотря на большие земельные наделы, по несколько десятин девственной почвы на каждого хозяина, чрез несколько лет учредили у себя майораты.

Около Одессы я знал несколько таких колоний (например, Люстдорф). Чтобы не дробить хозяйства на мельчайшие участки в наследство, по смерти отца, поступал весь его земельный надел и инвентарь в наследство меньшему сыну, а другие дети получали от брата-наследника выплату деньгами и движимостью.

Вследствие этих порядков старшие сыновья приготовлялись быть ремесленниками, учителями и т.п. и отрывались от земли. Пролетариат от этого не образовался. Нам столько нужно умелых людей, что всякий, сколько-нибудь ознакомившийся с каким-нибудь делом, долго еще может избегать пролетариата. Следуя же укоренившейся у нас вере в землю, как единственный талисман против нищеты и пролетариата, мы все-таки не предотвратим пагубного раздробления земельных наделов, отнимем у многих тысяч людей нового поколения верный хлеб и средства к наживе ремеслом и ученьем, принудив заниматься земледелием без оборотного капитала при истощенной уже почве и неблагоприятных климатических условиях. Не надо забывать, что земледелие из года в год, по мере истощения почвы, делается все более и более сходным с фабричным или, по крайней мере, кустарным ремеслом и требует все более и более денежных затрат и оборотного капитала.

---

[1] Меннониты (по имени основателя Менно Симонса, Menno Simons) – одно из протестантских течений, выделившихся из анабаптизма в начале XVI века; меннониты проповедуют смирение, непротивление злу насилием, нравственное совершенствование.

Конечно, если бы можно было наделить всех поровну по 500 или 1000 десятин на каждое крестьянское хозяйство, то, вероятно, опасность пролетариата отдалилась бы от нас на целые столетия, хотя тогда, верно, не мало бы явилось охотников продать лишнюю землю, с которою им не под силу было бы справиться.

Теперь в земледелии едва ли уже не дошло, по крайней мере, в некоторых местах, до того, что сбываются слова Евангелия: имущему дастся, а у неимущего отнимется. Что, в самом деле, предпринять бедняку с своим наделом, если у него нет семьи, все померли, или и есть семья, да только со ртами, а не с рабочими руками?

Надел, даже в количестве, определенном в Своде Законов для крепостных, в 8 десятин, не вложив в него, кроме своего личного труда, еще рублей 150–200, не только не выплатит себя, но и не всегда прокормит семью. Поэтому, если хотят предотвратить, хотя бы в ближайшем будущем, пролетариат, основав все настоящее и будущее благосостояние крестьянства на земле, то надо вместе с достаточным наделом землею еще придать и оборотный капитал или, по крайней мере, не брать податей первые годы. Это – по теории; на практике вышло бы, вероятно, другое: и оборотный капитал, розданный по рукам, и прощенные подати не пошли бы в прок так, как бы этого хотелось доктринерам.

Весьма отличительная черта в характере русского народа, отличающего его от западных наций и даже от южных славян, это – совершенное отсутствие бережливости. Встречается иногда скряжничество, циническая скупость, но склонности к сбережению нет.

Пожалуй, скажут на это, что нечего беречь; но это далеко не всегда главная причина: нерасчетливость и чисто восточный фатализм мешают бережливости и там, где есть что беречь. Извинительная отговорка, приписываемая спившемуся с круга мужику, также в восточном вкусе. Он пропивает, будто бы, последнюю копейку потому, что ее не убережешь или беречь не стоит.

В имении моем я знаю одного мужика, *Савву Криворукова*; тот, верно, пьянствует не от нищеты; он однажды, поработав у себя и у меня в поле, решился, по собственным его словам, попытать, какая такая есть свобода на свете, и перестал работать, лежал на печи, ел, пока были харчи, и ходил в кабак. Этот опыт над свободою продолжался чуть ли не полгода, пока [Савва] все пропил и пошел на заработки. Иногда я его встречал лежащего на улице, иногда в рубище, а теперь недавно встретил, что-то везет на паре своих лошадей, верно, покончил свой эксперимент с свободой. Замечательно, что болгары, жившие так долго под игом турецкого фатализма, менее фаталисты, чем наши крестьяне. Эти наши братушки, по всему видно было нам в Болгарии, чрезвычайно бережливы, трезвы, и не прочь при всяком случае надуть своих северных братьев.

Но существует, если верить нашим социалистам и славянофилам, волшебное средство избежать пролетариата и нищеты, основав благосостояние на поземельном наделе и без затраты капитала. Это средство – наша старинная община. Дай, Бог! С этой общиной я не имел ника-

ких дел, и знаю ее только по описанию. Мне не верится, однако же, чтобы она устояла или прямо бы перешла в организованную на западный манер ассоциацию, или коммуну, или во что-нибудь подобное. Мне кажется поэтому, что ее не следовало бы ни уничтожать, где она существует, ни поддерживать искусственными мерами. А где нет общины, как, например, у нас на юго-западе, там ее уже не введешь.

Я незаметно увлекся в объяснение, почему эманципация, предпринятая у нас слишком поздно и потому без подготовки, увеличила опасность волнений, представив для наших анархистов и утопистов весьма заманчивую сторону. Первым из лозунгов после эманципации было: «земля и воля», и мне сдается, что чем более в правительственных сферах будут ковырять на все лады земельный вопрос, тем более он будет делаться растравленным местом, привлекательным для хищных насекомых. Я полагал бы, что гораздо надежнее и существеннее для пользы народа и самого государства, вместо разных искусственных и принудительных мер для снабжения всех и каждого из крестьян земельными наделами, было бы уменьшение тягости прямых налогов, выкупных платежей, свобода обращения и приискание средств к снабжению земледельца оборотным капиталом, регулирование свободы переселения и т.п.

22 марта.

Событие 1 марта еще не дает мне спокойно продолжать мою биографию. До себя ли, до прошедшего ли, когда в государстве и, может быть, вблизи себя творится весьма недоброе и возмутительное?!

Я с детства любил мое отечество, верно служил ему всегда, почитал верховную власть не в виде лица, – лично я не имел счастия знать ни одного государя, – но как главу государства; всегда считал для России жизненно-необходимою сильную верховную власть, всегда имел отвращение от заговора и всякого тайного общества.

Поэтому я, положив руку на сердце, не могу ни в чем против правительства упрекнуть себя, если только не назовут противоправительственным независимый образ мыслей, приводивший меня к анализу и неодобрению разных правительственных мер и распоряжений. Но я всегда был убежден, что ни правительству, ни верховной власти не опасны честные люди с независимым и свободным образом мыслей. Правительство может смотреть на них, как на откровенную добросовестную оппозицию, а такая оппозиция, я полагаю, при всяком образе правления полезна и необходима.

Так и теперь, в настоящее, смутное и тяжелое для всех время, я не считаю подсказываемых мне моим свободомыслием соображений для кого бы то ни было вредными или опасными.

Власть в государстве, очевидно, находится не в нормальном состоянии. Она оказывается бессильною против шайки злоумышленников, как принято выражаться официально.

Глава государства, после нескольких, самых дерзких покушений, убит посреди белого дня и, очевидно, злоумышленником из окружавшей государя (вышедшего из экипажа на улицу) уличной толпы.

Дерзость и энергия зла заговорщиков дошли до неслыханных размеров. Они изготовляют у себя в лабораториях взрывчатые вещества, делают длинные подземные подкопы и т.п.

Разве это – признаки сильной и хорошо организованной власти? И разве надежно подпольный террор уничтожать явным государственным террором? Разве все, что наделала до сих пор власть против подпольной крамолы, не вредило более невинным, чем крамоле? Чтобы изловить нескольких, и то не самых главных, злоумышленников, разве не приходилось причинять недовольство и тревогу тысячам мирных граждан и волновать все народонаселение предпринятыми мерами так же, как его волновали и преступления крамольников?

Можно ли все это отнести к признакам прочно и правильно организованной правительственной власти? И в какое время? Именно, когда Россия, выдвинутая на новый путь, требовала всего более спокойствия для своего развития.

Совпадением государственных преступлений, в новом, неизвестном доселе виде и направлении, с преобразованиями царствования Александра II, очевидна также была и для самой верховной власти необходимость предпринятых ею реформ. Не следует ли из всего этого, что причина совпадения преступлений с реформами кроется в самом способе и механизме, которыми вводились и совершались преобразования.

Не для ослабления же власти самодержавный государь счел необходимым введение таких преобразований, которые наиболее соответствовали современным требованиям культурных государств?!

Почему же эти современные реформы вооружили против себя и против личной, вводившей их власти, такую странную ненависть, злобу и мщение в горсти людей и недовольство в тысячах, пожалуй, и миллионах?

Мне сдается, что была какая-то черта в характере или убеждениях государя, так много сделавшего для России, не вполне соответствовавшая значению предпринятых им реформ. Это мне кажется так потому, что ни одно из преобразований прошлого царствования не было введено в таком духе и направлении, которые сообщены были этим реформам при их появлении на свет. Все они, казалось, обещали нечто другое, отличное от того, чем они сделались впоследствии.

24 марта.

Начав с крестьянского вопроса и доходя, чрез целый ряд реформ, до университетского, везде можно проследить более или менее значительные уклонения от первого, данного вначале этим реформам, направления. Так, крестьянский вопрос, несмотря на прошедший уже 10-летний срок, остается еще неоконченным; часть крестьян, более

миллиона, еще на издельной повинности, и могут еще считаться не свободными, а прикрепленными к земле. Другая часть (в Юго-Западном крае), хотя и совершенно освобождена и снабжена наделами, но не разверстана от помещичьих владений и пользуется еще прежними сервитутами[1].

Винный откуп уничтожен, но злоупотребления едва ли не сильнее прежних, хотя и в другом роде, и один из самых значительных доходов государства основан все-таки на кабаках и пьянстве народа.

В земстве главные принципы, вложенные в него при основании, – внесословное представительство, самоуправление и гласность, – сильно поколеблены вмешательством административной власти и постоянно усиливавшимся антагонизмом этой власти с земским самоуправлением. Вялость, безразличное отношение земских деятелей и общества к земскому делу и бюрократизм были следствиями изменившегося духа и направления земских учреждений.

В судебной реформе понадобилось введение военных судов в гражданское общество и в мирное время для замены присяжных – военными судьями и каторги – смертною казнью.

В общевоенной повинности также потребовалось не предусмотренное законом значительное стеснение и сокращение льгот всего еврейского населения; вообще же эта реформа не оказала на крестьянство и дух народа ожидавшегося от нее благодетельного результата, хотя ею и сократился срок службы в войсках.

Свобода, данная печати, до сих пор остается еще не узаконенною и находится во власти одной администрации.

В университетском вопросе ожидалось с трепетом со дня на день уничтожение самого коренного принципа, уже более 50 лет данного русским университетам верховною властью; я разумею выборное начало.

Конечно, существовали весьма веские и важные причины, побудившие правительство изменить и дух, и первоначальное направление этих великих реформ прошедшего царствования; но в таком случае, не право ли общество предполагать или то, что введение этих преобразований было сделано несвоевременно, или что они не были основаны на точном и положительном, всестороннем знании дела, или же, наконец, что взгляд и образ мыслей верховного реформатора изменились впоследствии. Мне кажется, я не ошибусь, если допущу все три возможности и на первом плане поставлю последнею из трех.

Можно, я думаю, с вероятностью предположить, что врожденные покойному государю высокие дары Божии: гуманный дух, искреннее человеколюбие и сердечный либерализм развились и получили благое направление под руководством и наблюдением его воспитателя-поэта; Василий Андреевич *Жуковский*, известный мне и лично, но еще более чрез его почтеннейшую сестру, Катерину Афанасьевну *Протасову* (урожд[енную] *Бунину*), память о которой для меня всегда останется священною, – В.А.Жуковский, говорю, не мог не сообщить своему царствен-

[1] Сервитут (лат. servitus) – обязанность, обязательство, повинность.

ному воспитаннику высоких, чисто поэтических свойств своей прекрасной души. Это была именно душа, способная влиять благотворно. Поэтому мне представляется весьма естественным, что государь приступил к задуманным им преобразованиям в прекрасном и истинно гуманном настроении духа и с полною надеждою наслаждаться еще во время своего царствования благими результатами. Когда же надежды не осуществились, а возврат к прежнему сделался невозможен, то уклонения с проложенного пути казались единственным средством к восстановлению нарушенного равновесия. Надежды и страх трудно уравновешиваются в душе, глубоко верующей в добро, но принужденной бороться с препятствиями.

Не сердечное, а только добытое умственным анализом добро идет твердо, между страхом и надеждою, на пути к совершенству. Но если мы в праве предположить, что государь-преобразователь и освободитель возлагал на исполнение своих высоких намерений гораздо более надежд, чем сколько их исполнилось на деле, то несомненно, что множество умов из молодого поколения еще более ожидали самых несбыточных результатов от предпринятых государем преобразований.

А ложные и обманутые надежды гораздо более чем всякий гнет и насилие возбуждают недовольство и озлобляют незрелый ум и порочное сердце.

Этим я отчасти и объясняю недовольство молодого поколения и адскую злобу незрелых и развращенных фанатиков; когда же началось энергическое преследование заподозренных и казни преступников, то глубоко вкоренившаяся злоба не замедлила перейти и в мстительное зверство. Мне кажется не мало знаменательным тот факт, что усиление преступной деятельности крамольников совпадает с досадной для нас и без того войною 1877–1878 годов.

Общественное недовольство, политические и экономические неудачи как будто усиливали дерзость крамолы и делали ее предприятия еще более настойчивыми.

Все, испытавшие кой-что на свете, люди поймут, как трудно верховной власти в настоящее время, после события первого марта, оставить вопиющее злодейство не то, что не наказанным, – наказание не месть, – а неотомщенным. Как кодекс нравственности всех правительств в мире ни отличен от общечеловеческого, но в отношении к мщению предержащим властям всего труднее отделаться от общечеловеческой органической страсти мщения. Между тем ничто не требует столько хладнокровной, мудрой рассудительности в политике государств, как события, возбуждающие в обществе жгучее чувство отмщения.

Так и в настоящем случае, я думаю. Тут главная программа для политических действий заключается, очевидно, не в отмщении за позор, причиненный гнусным убийством всему государству, а в приискании наиболее надежных и, притом, таких средств, которые не причинили бы ни вреда, ни насильственного сотрясения всему общественному строю. Этого достигнуть, конечно, труднее в настоящем случае, чем подавить открытое народное возмущение.

Между декабристами были также люди, готовившиеся на цареубийство, но, с тем вместе, заговорщики имели в виду народное или, правильнее, военное возмущение. Достаточно было выставить несколько верных полков, сделать несколько выстрелов картечью, и мятежная толпа была рассеяна; оставалось только переловить рассеявшихся беглецов. Иное дело в настоящее время. Тут, очевидно, одним ударом и спешно ничего не достигнешь. Против подпольной крамолы требуются и подпольные, скрытые, осторожные действия. Чем более будет шума, тем более на руку крамольникам. Им нужен ропот и недовольство. А шум, бряцание сабель и шпор по жилищам граждан, ночные и повальные обыски, без достаточных результатов, не могут не возбудить à la longue[1] ропота и недовольства в обществе.

Je toller, je besser[2] – вот лозунг и крамолы, и террора, какого бы то ни было, – крамольного ли, народного ли, правительственного ли. Мне показалось бы наиболее надежным средством то, если бы полиция и само общество взяли бы за образец для организации своих действий организованный механизм действий самой крамолы и сражались бы с нею ее же оружием.

Борьба должна бы быть не явною, а подпольною, скрытою от большинства общества и известною ему только по слухам и по результатам, которые при искусном ведении дела не замедлили бы обнаружиться. Теперь же все выгоды на стороне подпольной, тайной и скрытой от взоров публики. Я уверен, что в возбужденном предшествовавшими событиями нашем обществе нашлись бы охотники, подобно добровольцам, принять участие в учреждении кружков, подобных кружкам жонда и нынешних заговорщиков, а с тем вместе, и в разных тайных экспедициях. И я думаю, что добровольцы в этом случае, если не из патриотизма, то из охоты к сильным ощущениям, были бы надежнее официальных агентов тайной полиции.

Если в отечественные войны 1612 и 1812 годов находились у нас гениальные и энергичные партизаны, то почему бы теперь в войне, хотя и подпольной, но не менее отечественной, не нашлось своего рода партизанов для борьбы с враждебною обществу и государству крамолою. Принцип современных анархистов – всякое средство дозволено для достижения предположенной цели – должен быть обращен против них самих.

Борьба с крамолою сделалась бы, таким образом, не столько правительственною, сколько общественною. Правительство только наблюдало бы, покровительствовало бы своим партизанам и снабжало их средствами для успешного ведения борьбы.

А относительно доверия правительства я полагаю, что оно ничем не менее не могло бы довериться преданности общественных агентов и партизанов, как столько же, сколько оно доверяется теперь своим полицейским агентам.

---

[1] Продолжительного (франц.).
[2] Чем безумнее, тем лучше (франц.).

Я твердо уверен, что искусному государственному человеку в нынешнем положении можно бы было, хотя и не без труда, но, главное без шума и огласки, образовать тайное общество партизанов для подпольной борьбы с антисоциальною и антигосударственною крамолою. Этот, без сомнения, трудно осуществимый проект я считаю, однако же, не более фантастическим того, который предлагают разные московские газеты. Перенести седалище верховной власти в Москву, переворотить весь Петербург вверх дном, возвратиться к допетровским временам и проч., и проч. Это уж никак не легче организации общества партизанства для борьбы с подпольными учреждениями анархистов, да еще, вдобавок, я фантазирую про себя, а такой фантастический государственный переворот предлагается во всеуслышание в конце XIX столетия и после александровских преобразований России. O tempora, o mores![1] — воскликнул бы Цицерон, если бы его имели.

Впрочем, я право не знаю, почему я сейчас так струсил, назвав мой проект химерным; не потому ли только, что, сидя у себя в деревне, не знаком с духом общества.

Если же интеллигентно-прогрессивная часть нашего общества действительно также глубоко возмущена гнусными преступлениями, как, например, я сам, и хочет искренно, во что бы то ни стало, смыть позор, наложенный зверством своих отверженных соотечественников, то стоит только правительству пригласить под рукою охотников и предоставить им организацию учреждения.

Во времена государственных катастроф, когда отечеству угрожает опасность, всегда народный и общественный дух передовых людей прибегает к такого рода средствам, как партизанство, корсарство, крейсерство и т.п. Это — самый естественный вид реакции.

Но для успеха необходимо, чтобы наиболее предприимчивая часть общества, его молодое культурное поколение искренно сочувствовало бы и доверяло правительству; а новому правительству достигнуть этого, мне кажется, не так трудно, если оно найдет для себя возможным показать, что оно твердо решилось, не колеблясь, идти по пути прогресса.

Тогда вместе с явным и тайным полицейским и общественным преследованием зла необходимо будет приступить тотчас же к новым и более органическим и не терпящим отлагательства реформам.

К таким, по-моему мнению, принадлежит: сообщение более широких прав самоуправления земским учреждениям, слишком подпавшим под влияние бюрократизма и администрации; устранение военных судов из области гражданского права; уравнение прав и отношений к правительственной, административной и судебной власти всех провинций европейской России и всех ее сословий; а главным, как я полагаю, и самым существенным признаком прогресса для общества было бы введение выборного земского представительства в Государственный Совет.

---

[1] О времена, о нравы! (лат.).

Людям, у которых только на языке богопочитание верховной власти, а на уме личные интересы, конечно, будет не по нутру какое бы ни было общественное представительство. Но я полагаю, что пришло действительно время для укрепления государственной власти общественным представительством. Сюда доходят слухи из Петербурга, будто бы сам Александр II, после восточной войны (1877–1878), поднимал этот важный вопрос в каком-то особенном совещании (ad hoc) и что будто бы канцлер *Горчаков*, с мнением которого государь и согласился, отсоветовал приступить к представительству. Не знаю, правда ли это и такого ли же мнения держится канцлер и теперь, но остаюсь убежденным, что значительное большинство и умеренных сторонников преуспеяния России на поприще гражданственности (я нарочно заменил здесь современное и успевшее сделаться двусмысленным слово «прогресс» старинным «преуспеяние») видят теперь в общественном представительстве единственное средство к укреплению верховной власти на избранном царем-освободителем пути прогресса, с которого нет возврата к прошлому.

Правительству почему-то кажется необходимым называть предположения об общественном представительстве, выраженные даже в самой скромной форме, несбыточными иллюзиями и запрещать говорить гласно, вслух о предмете нисколько не предосудительном и совершенно безопасном.

Странное дело! Для наших правительственных лиц отжившая уже свой век канцелярская тайна все еще считается самым мощным орудием для управления людьми и делами. А на поверку выходит всегда, что самое скрытое есть именно то, о чем много и всеми говорится; узнай-ка правду там, где говорят о чем-нибудь и вкривь и вкось.

Запрет говорить гласно только тогда действителен и до известной степени полезен, когда мыслящий элемент общества еще не начал развиваться; но как скоро дали ему хотя сколько-нибудь развиться и хотя немного окрепнуть и познакомиться с тем, что делается вблизи и вдали, то все запреты толковать о предметах, интересующих культурное общество и притом не безнравственных и не преступных, отзовутся рано или поздно с большим вредом и на обществе, и на самом правительстве.

Чем вредны для правительства, например, толки в печати о представительной системе, разбор ее выгод и невыгод, различных видов и способов представительства, которые могли бы найти применение у нас, – почему это – вредные иллюзии? Для чего оставлять общество в вредном заблуждении прошлого времени, что все печатное принято уже и испробовано правительством.

Был же такой генерал-губернатор, как гр. Ал. *Строганов* в Одессе, который мне говорил, что под каждою печатною в России строкою он мысленно читает подпись: Александр II. Неужели же и это уродство генерал-губернаторской фантазии не есть еще для нас ein überwundener Standpunkt[1]!

---

[1] Устаревшая точка зрения (нем.).

Молчать и не сметь пикнуть об общественном представительстве, как о мере к укреплению верховной и правительственной власти, в то время, когда посреди белого дня в столичной улице совершается дерзкое убийство всеми высокочтимого самодержавного государя, едва ли заслуживает одобрения с истинно-государственной (не с полицейской) точки зрения.

Что за беда, если сказанное явно будет несправедливо; пусть несправедливое также явно обсудится и окажется ложным. Что же, наконец, выйдет из того, если подземным силам, причиняющим явную гибель, разрушение и волнение всего общества, не будут противопоставлены другие, организующие, нравственные общественные силы.

Не надо, я полагаю, упускать из виду и того еще, что анархисты после события 1 марта не преминут поднять высоко голову. Удавшееся им, после нескольких покушений, цареубийство могущественнейшего и единственного из представителей самодержавной власти в Европе, при самой эффектной и потрясающей обстановке, убедит многие незрелые и фанатические умы в могуществе доктрины и ее адептов и привлечет их на сторону анархистов.

Если же против этого зла и удастся учреждение европейской конвенции, то корень зла этим все-таки не уничтожится; будут везде преследуемы и выдаваемы агенты доктрины, а сама доктрина останется, и принципы ее останутся не менее прежнего привлекательными для изуверных фанатиков.

При таком положении дела, угрожающего опасностью и нравственною гибелью для общества, нельзя не признать крайней необходимости в регулированном законами участии всего культурного общества в государственном деле.

Антагонизм, существующий теперь между обществом и государством, весьма выгодный для анархистов и крамольников, должен ослабеть и постепенно терять свой raison d'être.

А как антагонизм этот обостряется всего более произволом администрации, то в интересах правительства необходимо заменить, сколько можно, административное распоряжение общественным; вся задача правительства, конечно, не легкая, – вывести наше общество из апатии, из того векового равнодушия, к которому приучила его правительственная власть. Это – одна из невыгодных сторон самодержавного правления. Самодержавный образ правления имеет и весьма важные преимущества, но вместо того, чтобы, пользуясь ими, искать точку опоры в самом обществе, правительства самодержавных государей всегда опираются исключительно на свою администрацию. В прежние времена эта политика не имела больших невыгод, и государства существовали прочно, как административные и военно-полицейские учреждения. Это не мешало ни процветанию торговли и наук, ни довольству и привязанности к своим государям гражданам.

Примером другого образа правления, заслужившего преимущества, по крайней мере, вблизи, не было. Но теперь настали другие времена. И самодержавное государство, как Россия, уже, очевидно, не может идти

прежним путем. Это сознал сам глава государства, уже слишком 25 лет тому назад. Но старые предрассудки тягучи, они тянутся, а не рвутся. К таким предрассудкам, между прочими, я отношу и тот, что самодержавное правление не может существовать без строгой цензуры, канцелярской тайны и административного гнета.

Как будто для того, чтобы дать своим подданным свободу мысли, слова и научного расследования, самоуправление и правый суд, самодержавный государь не может обойтись без листа бумаги. Самодержавие не есть восточный деспотизм, в который оно может перейти только при упадке и неблагоустройстве государства; этого-то перехода, даже его подобия, в интересах самодержавия – избегать как можно тщательнее. Тогда не понадобится и лист бумаги, так противный покойному королю прусскому (брату императора *Вильгельма*). Рассказывали мне, что и император Николай Павлович, в откровенном разговоре с приближенными, говаривал, что он понимает очень хорошо республику, но не понимает конституционного образа правления. Весьма естественно, что государь, родившийся и воспитанный в самодержавии, не может себе усвоить понятие о той роли, которую должен играть монарх при полном ограничении его власти. Но почему он должен при этом запрещать и своим подданным мыслить и рассуждать вслух о преимуществах и невыгодах разных образов правления, следовательно, и самодержавного, и конституционного, и республиканского, применяя это рассуждение к своему отечеству, этого я не понимаю. Для чего тут секрет, что тут тайного, что тут вредного? Только восточный деспотизм может управлять без закона. А самодержавный государь управляет своим государством по закону, т.е. ставит закон выше своей воли. Если же этот принцип признается самодержавным монархом, как самое основное начало его образа правления, то суть дела действительно не в листе бумаги, а в том, как, каким способом будет делан и поставляем закон.

А самый рациональный, самый надежный способ законодательства находится в представительной системе. И почему бы система представительства не была совместима с самодержавием? Разве верховная власть может ослабнуть и выпустить из рук бразды правления оттого только, что закон будет предложен, обсужден, составлен, дан монархом не чрез коронных чиновников, а чрез общественное представительство. А главное для довольства и благоденствия общества, при всяком образе правления, разве не в том состоит, чтобы закон, однажды данный, исполнялся верно и не нарушался произвольно. И разве лист бумаги конституцию охранит от этого вернее, чем законное представительство, основанное на полном доверии монарха к обществу.

Какие судьбы будут предстоять общественному представительству, конечно, никто не предскажет; но в настоящее время это мероприятие, вместе с другими льготами, как-то: с законом о свободе печати от администрации, с упрочением прав и самоуправления земских учреждений, много бы способствовало к сближению культурного общества с правительством, дало бы ему более проницательности и укрепило бы его ослабший от внутренней неурядицы устой.

Для незрелых, но ищущих деятельности умов представительная система могла бы послужить благодетельным отвлечением от непроходимых дебрей, в которых они так часто блуждают в настоящее время.

Распространение образования и просвещения масс, приспособленное более чем это делалось до сих пор к потребностям и нуждам народонаселения, и постепенное введение обязательного учения, вместе с окончательным регулированием поземельных и податных обязанностей и всего крестьянского управления, было бы первою и главною обязанностью общественного представительства.

Долго, долго еще событие 1-го марта будет занимать умы и по своим причинам и по своим следствиям, и вряд ли когда-нибудь удастся истории выяснить всю его закулисную сторону.

Мне причины и следствия этого события представляются так, как я изложил здесь откровенно перед самим собою. Верно, будут пущены в ход различные версии. Американцы, например, не преминут увидеть, как прежде, аналогию между цареубийством Александра II-го и убийством президента *Линкольна*. Подозрениям разного рода не будет конца. Но какова бы ни была закулисная сторона этого страшного дела, оно по существу и по следствиям едва ли не равносильно революциям в других государствах. Конечно, наша еще никогда небывалая катастрофа может быть сравнена с революциею более с нравственной или, лучше, с отвлеченной точки зрения.

Подобно революциям, катастрофа эта показала обществу бессилие правительства в охранении одного из самых главных его интересов, в охранении от насилия и заговора главы государства, а правительству доказала наглядно, что без организационного содействия самого общества оно не может водворить и сохранить прочный порядок и спокойствие в государстве.

Да не только с этой отвлеченной, но и с политической точки зрения событие 1 марта могло бы сделаться, по его следствиям, равносильным революции.

Вероятно, вожаки анархистов, если они не просто мономаны злодейства, и рассчитывали на то, что вслед за уличным цареубийством последуют волнения народных масс, подозрительная чернь бросится на господ, то есть на всех, отличающихся наружным видом от простого народа (которого в столице гораздо более чем господ), пойдет расправа в отместку за убийство царя-освободителя; а в всеобщей катавасии откроется для заговорщиков самое удобное средство для подстрекательства, смут и противодействий водворению порядка. А как и с восшествием на престол нового государя опасность этого рода еще не миновала, то, верно, никто из добросовестных граждан не будет отвергать необходимости чрезвычайных мер для охранения порядка и успокоения взволнованных умов.

Но предпринятые до сих пор (по 25 марта) меры, несмотря на то, что столичное народонаселение отчасти призвано к содействию, мне кажутся мелкими и недостаточно энергическими.

Почему не хотят, как это принято делать при господствовании эпи-

демических зараз, разделить весь город на участки, учредить попечительства над каждым участком по выборам с особыми правами участковых попечителей? Выборные от общества попечители должны иметь в своем распоряжении и известный отдел полиции и других помощников.

Обязанность попечителя была бы, как во время эпидемии, ежедневное посещение домов его участка, ознакомление с его жильцами, посетителями и проч. чрез расспросы и другими законными средствами; в подозрительных случаях обыски и другого рода расследования также относились бы к обязанностям попечителей. На них лежала бы и ответственность пред обществом и правительством за порядок и благочиние вверенного им участка.

Если частная помощь, под эгидою Красного Креста, оказывает в наше время такую существенную пользу в общественных бедствиях, каковы: война, эпидемии, пожары и т.п., то я не вижу, почему государство не должно воспользоваться и в настоящем случае этим настроением всего современного общества, желающего с самопожертвованием деятельно участвовать в борьбе с общею напастью и общим злом.

Один совет 25-ти, под председательством градоначальника, человека нового и неопытного, — эта, по-моему, полумера обнаружила себя мелочностью мероприятий.

Застава, такса на извозчиков — разве это меры, соответствующие тяжести переживаемого времени! Стыдно, право, стыдно за эту неумелость и за эту опрометчивость и всегдашнюю готовность сделать что-нибудь, да еще и как-нибудь!

Теперь, мне кажется, представляется правительству, хотя и весьма печальный, но удобный случай испробовать на деле доверие свое и зрелость общества к представительству и самоуправлению. Все пробы до сегодня были ненадежны. Коли доверять, так доверять вполне, хотя бы и для пробы.

И если общество, облеченное полным доверием, окажется на высоте своего призвания в настоящее время, успеет укрепить власть, водворить порядок и подавить дружным и обдуманным усилием крамолу, то такому обществу можно будет смело доверить представительство и в других важных государственных делах.

Пора, пора государствам принять более радикальные меры против разрастающегося с каждым днем антагонизма общества с государством.

Все прежние, старинные лекарства против этого врожденного обществам зла оказываются несостоятельными.

Главный нерв жизни современных европейских государств — деньги; цветущее состояние финансов немыслимо теперь без народного благосостояния. А все старинные государственные средства против общественного антагонизма трудно уживаются с народным благосостоянием.

Администрации и армии стоят громадных сумм и непроизводительно поглощают доходы страны, особливо, если государству приходится содержать армии и для внешней безопасности. А современные войны страшно потрясают экономический быт народов.

И вот, современные государства, с их старомодными средствами, сделались зрителями, если и неравнодушными, то почти бессильными, разгуливающейся внутри их самих борьбы новых нужд и потребностей обществ с устарелыми основаниями и принципами.

Пока еще внешние, неустановившиеся отношения государств отвлекают внимание обществ; но предвидится время, когда эти отношения, если не установятся окончательно, то потеряют свой острый, столь вредный для общественного благосостояния, характер; народы, по крайней мере, европейские, поймут, что то немногое, что приобретает государство войною, не вознаграждает никогда за понесенные убытки и гибель производительных сил и что самая счастливая война долго, долго еще отзывается по ее следствиям на народном благосостоянии и на самой нравственности народов.

Государственные люди, и самые гениальные, имеют всегда в виду одни ближайшие интересы. Это понятно – для них главное – удержатся и удержать современное правительство на высоте своего, конечно, настоящего, а не будущего, никому неизвестного еще призвания. Все следуют правилу: zeit gewonnen, alles gewonnen[1]. Средств к достижению целей не разбирают; сохраняют только известный decorum. Немудрено, что при таком положении государственного дела, общества сами закопошились и принялись составлять антигосударственные общества, которые и оказываются пока наиболее вредными наиболее отставшим, т.е. наиболее сохранившим прежние, старинные отношения к обществу, государствам. Дойдет, конечно, очередь и до неотсталых; но для них главное, опять-таки, время; zeit gewonnen, alles gewonnen или, пожалуй, и так: après moi le deluge[2]. Одно из этих правил стоит другого; оба практичны – это главное.

Что же заставляет некоторые, скажу лучше прямо, что заставляет наше государство не пользоваться этою выгодною стороною новейших государств, охраняющих их от губительного влияния общественного антагонизма? Причин этого, конечно, найдется не мало для такого государства, как Россия. Но и следующая мне кажется немаловажною. Я полагаю, что и общества и государства, наравне с частными лицами, подвержены чарующему влиянию слов, ими же самими некогда придуманных для обозначения более или менее неопределенных и неправильных представлений и понятий.

Так, в нашем русском государстве, с давних пор, слово самодержавие (автократизм) заключает в себе неправильное понятие о какой-то безграничной, несуществующей на свете власти; и потому всякое понятие об ограничении власти считается почти государственною изменою и строго преследуется цензурою, и система управления, основанная на общественном представительстве, рассматривается как нечто, совершенно несовместное и противное самодержавию.

Между тем, каждый мало-мальски образованный человек очень

[1] Успех – это успеть (нем.).
[2] После меня хоть потоп (франц.).

хорошо понимает, что самодержавная власть в России постоянно ограничивается в ее наиболее благотворных проявлениях множеством различных и, главное, неопределенных условий так, что, пока самодержавная воля монарха дойдет до той цели, куда она была преимущественно направлена с высоты трона, влияние и действия ее оказываются не только ограниченными, но даже совершенно измененными. Да сверх того каждый закон, диктуемый самодержавной властью, получает свой raison d'être из других источников, не всегда доставляющих чистую воду.

Правда, самодержавный монарх может по-своему благоусмотрению менять своих представителей, министров и наместников, но и сам должен более или менее подчиняться их влиянию и их намерениям, нередко вовсе несоответствующим намерениям и воле монарха; а пока это несоответствие успеет обнаружиться проходят иногда годы и целая жизнь одного поколения.

Не помню, кто-то из французских публицистов сравнивал министров и сановников Наполеона III с разными столярными инструментами: пилою, топором, долотом и проч., которыми по произволу и по надобности могла располагать искусная рука императора. Но на деле это не так бывает. Автократизм поручает не инструменту, а руке, владеющей тем или другим орудием; действие же этой руки и воля, управляющая ее действиями, не составляют одно и то же целое с автократическою волею.

Если же на свете не существует ни безгранично добрая, ни безгранично злая воля и власть, и понятие о безграничии самодержавной власти есть только относительное и более формальное, то почему же представительная система правления несовместима с самодержавием? Слова, слова, связанные с неясным и неправильным представлением сути дела, строят и несуществующие препятствия.

Представительство, в сущности, не только не ослабляет, но еще укрепляет самодержавную власть, сообщая проявлениям ее большую целесообразность и, так сказать, проницательность; ограничивает же оно власть не более, как и всякий закон, издаваемый самою же властью. Конечно, представительство, учреждаемое с единственною целью ограничения верховной власти, может ее не только ослабить, но и сделать ничтожною и поддельною. Но никто из честных и благоразумных патриотов не пожелает России ни такого представительства, ни такой власти. Мы – не французы и французское le roi regne, mais ne gouverne pas[1] – не для нас писано. Нам необходимо, чтобы верховная власть у нас была сильною и неограниченно доброю и именно для этого ей и надо иметь твердую и надежную опору в общественном представительстве. Ведь финское представительство сбоку столицы империи не ослабляет же, а укрепляет власть всероссийского императора на границах Швеции; да и новое славянское представительство, им же самим учрежденное, верно, также не ослабило бы его власть, если бы Болгария осталась и за Россиею, после войны 1878 года.

[1] Король царствует, но не правит (франц.).

Если я, а со мною, полагаю, и многие другие, заключаем из потрясающих наше общество событий, что власть ослабла у нас, то это прискорбное явление никто из здравомыслящих граждан не может приписать нашим двум новорожденным и едва прозябающим представительствам (земскому и городскому); не они, а старосветский, тяжелый для общества механизм нашей административной машины, оставленной без всякого изменения после таких двух коренных преобразований в государстве, какими были эманципация и судебная реформа, и потому сделавшейся несовместимым анахронизмом на новом пути, – вот что ослабляет и парализует власть.

Старые, заржавелые административные пружины не годятся более для нового механизма, сообщенного всей государственной машине. И теперь пришла самая крайняя пора подумать о переустройстве. Я очень опасаюсь, что событие 1 марта сильно повлияет на многие незрелые умы и страстные фанатические натуры. Их поражает и увлекает трескучий эффект зла сильнее, чем примеры добродетели.

Не забудем, что мы живем в такое время, когда личности в роде Брутов, Зандов и Равальяков[1] уже успели популяризироваться и сомкнуться под покровительством нового учения. А такой громадный успех зла, какого оно достигло событием 1 марта, должен сильно повлиять на судьбы этой зловещей общины; она нравственно, вернее, злонравственно, окрепнет и привлечет к себе новых сподвижников. И если государства не примут заблаговременно радикальных мер к ослаблению господствующего антагонизма с обществом, то вербовка в ряды недовольных анархистов и коммунаров будет расти все более и более, пока они не сформируют status in statu. На их стороне тот же могущественный своим злонравием принцип, который сделал непобедимым и иезуитов, с тем только отличием, что у иезуитов благая цель оправдывает худые средства, а у новых адептов анархизма и нигилизма и цель и средства сливаются вместе и бьют в одну точку – разрушение существующего порядка.

Как же не соединиться против такого сильного врага государству и обществу, стараясь взаимно ослабить существующий антагонизм? И что другое, как не общественное представительство, дает наиболее надежное средство к этому союзу? Спешите! Dixi[2].

Пора, однако же, перестать. Я высказал все накопившееся в душе и вызванное наружу событием 1 марта. Не знаю, возвращусь ли я еще раз в моем дневнике к этому предмету. А теперь пора возвратиться к биографии.

28 марта.

Но прежде, чем возвращусь к моей биографии, замечу, что прошлого года я в эту пору сильно озабочен был о состоянии моих полей; я вел тогда дневник о погоде и температуре. Нынешний год было не до того.

[1] Ф.Равальяк (1578–1610) – убийца короля Франции Генриха IV.

[2] Я [все] сказал (лат.).

Я покупал новое имение и делал завещание; заметно старею. Прошлого года выпавший в ноябре снег на талую землю угрожал озими большим вредом; все боялись, что густые, как войлок, всходы вымокнут; но в декабре начались сильные морозы, и, хотя снега навалило целые сугробы, земля замерзла под ним на аршин и более. Когда снег, лежавший до конца марта, стаял, то озими оказались нетронутыми и, как осенью, густыми и зелеными. Урожай прошлого, 1880 года, был у меня, однако же, не плохой и, если бы не дожди во время цвета пшеницы, был бы еще лучше; от этих дождей пострадал умолот, но все-таки урожай пшеницы, вообще, у меня был сам-восемь.

Сильные весенние морозы, в марте до 20° с лишком R, погубили множество деревьев в саду; пострадали особливо вишни, сливы, груши; у меня из 2000 погибло до 200. 5-го мая выпал снег и лежал два дня: пострадал виноград; не было ни яблоков, ни груш.

Про нынешний год еще труднее предсказать. Снег не падал на талую землю. Но снега вообще было мало до весны, и он зимою два раза сходил совсем, тогда как прошлого года не сходил ни разу. Отличные осенние всходы озими, густые, как и прошлогодние, стояли по неделям открытые, без снежного покрова. Впрочем, сильных морозов не было. В целую зиму раз или два доходило до 20° с лишком, и то на несколько часов. Зато теперь март необыкновенно холоден и сыр. Падал раза три снег и один раз лежал около двух недель, защитив всходы от мартовских ветров.

Тепла более 10—12° еще не было. Всходы не зеленые, как прошлогодние, а серые, желтоватые, но от дождей и мокрого снега начинают зеленеть; боюсь, не повредили бы им морозы в 2—5° на мокрую землю, не пострадали бы корни всходов.

Что я написал в дни первых чисел марта под впечатлением страшного события, я не перечитывал потом; помарки и поправки я делал только в то время, когда писал я взволнованный, спеша вылить на бумагу поток быстро следовавших одно за другими воспоминаний и мыслей.

Примечание. Замечу еще, что еще не могу отделаться от подозрения об участии в событии 1 марта не одних анархистов, а и лиц из других лагерей, участии, разумеется, не прямом, а чрез десятые руки, а доказательств подозрения ни теперь, ни после и, может быть, никогда не найдется; поэтому я и отношу его голословным, но тем не менее навязчивым.

Перехожу опять к делам давно прошедших дней. Не прошло и месяца после внезапной смерти отца, как мы все, мать, двое сестер и я, должны были предоставить наш дом и все, что в нем находилось, казне и частным кредиторам. Приходилось с кое-какими крохами идти на улицу и думать о следующем дне. В это время явилась неожиданная помощь. Троюродный (если не ошибаюсь) брат отца, Андрей Филимонович *Назарьев*, сам обремененный семейством, у него было на руках три дочери (одна уже взрослая, две подростки), служивший заседателем в каком-то московском суде (помещавшемся близ Иверских ворот), предложил нам переехать к нему. Он с семейством жил у Пресненских пру-

дов, в приходе Покрова в Кудрине, в собственном маленьком домике; внизу, в четырех комнатах, помещалось семейство Назарьевых, а мезонин с тремя комнатами и чердачком предоставлен был нам. Окна одной из комнат выходили на Девичье Поле, виднелись Воробьевы горы, и я, смотря на этот ландшафт, вспоминал подобный же вид из верхнего этажа нашего прежнего дома на Андроньев монастырь. Но вспоминать было нелегко, впрочем, не мне собственно, а старшим. Что я тогда? Разве 14-тилетнему подростку знакома бывает продолжительная грусть и недовольство судьбою?

Жизнь моя пошла по-прежнему, как заведенные часы. Два раза в день я путешествовал в университет по Никитской, что брало более 2 часов времени в день; об извозчиках и даже розвальнях теперь и подумать нельзя было.

Летом, в сухую погоду, куда ни шло, я бегал по Никитской исправно, но в грязь, осенью, ночью, ой, ой, ой, как плохо приходилось мне, бедному мальчику. Мой дядюшка, – так я называл, – Андрей Филимонович, был добрейшее и тишайшее существо тогдашнего чиновничьего мира; небольшого роста от природы, даже еще согнувшийся от постоянного писанья, он был истинный тип небольшого чиновника-муравья. Дома я его никогда иначе не видывал, как за бумагами, целую кипу которых он приносил с собою из суда, а в суде, разумеется, другого дела также не было; весь век свой добрейший Андрей Филимонович писал, писал и писал, за что и награжден был Владимирским крестом; про него не помню, но другой такой же типический чиновник удивлял меня всегда не на шутку вешанием своего Владимирского креста, за 30-летнюю службу, перед образом, по возвращении домой из присутственного места. Андрей Филимонович говорил мало и тихо; все его наслаждения ограничивались слушанием птичьего пения во время письменной работы, покуриванием табаку из длинного чубука с перышком вместо мундштука и чаепитием. Эта добрейшая и тишайшая душа поила иногда и меня чаем в ближайшем трактире, когда я заходил в суд у Иверских ворот, отвозил меня иногда на извозчике из университета домой, и однажды, этого я никогда не забывал, заметив у меня отставшую подошву, купил мне сапоги.

В семействе дядюшки Назарьева с жениной стороны, именно у сестры его жены, водились нечистые духи. Я почти всякий день слыхал рассказы о разных проделках домовых, обитавших, по общему убеждению, в квартире Надежды Осиповны (так звали невестку дяди); я было забыл все слышанные тогда россказни, как небылицы, но, прочитав в «Русском вестнике» статью профессора *Вагнера*[1] о чудесах одного американского спирита, чрез 50 лет вспомнил снова о пресловутых похождениях Надежды Осиповны. Живо вспоминаю теперь, как и она сама, и ее домашние повествовали о том, что у них происходило дома по ночам

[1] Н.П.Вагнер (1829–1907) – прозаик, зоолог, профессор Петербургского университета, увлекался спиритизмом, автор сборника философских сказок и притч «Сказки Кота Мурлыки».

и по вечерам: стук, шум, трескотня разного рода, шорох и ползанье по стенам и за обоями, переставление с места на место мебели по ночам, катание каких-то клубков и темных масс по полу.

Перемена квартиры не помогла, и в этом-то я нахожу сходство Надежды Осиповны с американским спиритом. И он, и она, как медиумы, вызывали одним личным присутствием духов из невидимого мира. И я помню также, что родственники Надежды Осиповны считали ее не то тронувшеюся, не то какою-то чудною, и посмеивались над нею, и как будто побаивались ее. Она была уже очень пожилая женщина, лет за 50, сухощавая, и пересказывала все испытываемое ею и ее домашними по ночам весьма наивно, как будто все это так и должно было быть. Жаль, что я тогда ничего не смыслил о медиумах: я бы подробнее вникнул в странную личность Надежды Осиповны; а то я слушал ее россказни, как интересные сказки, смеялся от души, когда она описывала проделки своих домовых, и только. То верно, что это не была обманщица: не из чего и некого было обманывать. Вероятно также, что она подвергалась галлюцинациям; но вопрос, для меня нерешенный и в отношении к Надежде Осиповне, и в отношении к современным медиумам, тот – не свойственно ли некоторым личностям сообщать свои чисто субъективные галлюцинации и другим восприимчивым особам?

Мы жили в доме дяди, не платя ничего за квартиру более года. После, в 1837 году, сделавшись профессором в Дерпте, я считал себя обязанным отблагодарить доброго Андрея Филимоновича, и, признаюсь, не столько за даровой приют, сколько за сапоги. У дяди к тому времени подрос маленький сынишка, лет 10-ти, и я предложил отпустить его со мною в Дерпт для ученья на мой счет. Мальчик учился у какого-то попа и кое-как мараковал грамоту. Признаюсь, я потом не рад был жизни, что взял на себя такую обузу, не сообразив, насколько я в состоянии был справиться с нею. Я увидел потом, но поздно, что я тогда ничего не понимал в деле воспитания, считая его дюжинным делом. Я сделал из неудавшегося мне воспитания мальчика *Назарьева* одно заключение, которое, я думаю, относится и не ко мне только, а и ко многим другим, а именно: молодому неженатому человеку не нужно браться за воспитание ребенка; это опасное предприятие для нравственности воспитанника.

Я хотел приготовить маленького Николая к гимназии в Дерпте, и, по совету какого-то педагога, поместил его полупансионером в приготовительное училище Лаланда.

Меня не бывало по целым дням дома, и мальчик, приходивший из школы, оставался на руках жившей у меня в услужении очень почтенной и богомольной женщины (латышки и пиетистки[1]). Вскоре узнал я от нее, что мой Николай ворует. Вероятно, он привез [эту привычку] уже с собою из Москвы. Родные, отпуская его со мною, дали несколько денег мне на сохранение, и как мальчик ни в чем не нуждался, то я и запер его деньги в его присутствии вместе с моими в ящик комода.

[1] Пиетизм (лат. pietas благочестие) – строгое благочестие, благочестивое настроение, поведение.

Служанка моя, почтенная Лена, чрез несколько же дней после нашего приезда, уведомила меня, что Николай что-то долго оставался возле комода, и она нашла потом ключ от ящика, где были деньги, на комоде; но могло быть, что я и сам забыл ключ на комоде. Стали наблюдать. Лена ухитрилась всунуть маленькую бумажку в замочную дыру ящика, положила ключ на прежнее место, сочли хорошенько мелкие деньги. На другой же день нашли бумажку вынутою и дефицит. Потом накрыли воришку и au flagrant délit[1].

Лена советовала непременно его высечь на месте преступления, уверив меня, что это очень помогает. Я в первый раз в жизни произвел эту операцию и весьма неловко; Лена была слишком слаба, чтобы хорошенько подержать мальчишку, оравшего во все горло и брыкавшего и руками, и ногами; я горячился, и розга не попадала по назначению. Воровство, впрочем, прекратилось. Но ученье шло, видимо, плохо, и место воровства заступила другая привычка, уже не знаю, привезенная ли также из Москвы или дерптского происхождения.

Однажды Лена уведомила меня, что наш Николай что-то пасмурен и часто уходит в нужное место; посмотрев пристальнее мальчику в лицо, я заметил также что-то нехорошее во взгляде: какую-то тусклость и смущение. «Что с тобою?» – спрашиваю. Вместо ответа – слезы. «Болен?» Ответа нет: слезы. «Он что-то рукою за нижнее место хватает», – говорит мне при нем Лена. – «Спусти штаны; покажи». Открывается paraphymosis и сильная опухоль члена. Я кладу мальчика на постель и сейчас же вправливаю. Услышав, что этого рода занятиям он предавался и в школе Лаланда, я взял его оттуда и отдал в пансион в городе Верро, пользовавшийся большою известностью в то время.

Когда чрез год я, переехав в Петербург, женился и поселился вместе с женою, матерью и сестрами, то Николая я снова привез к себе в дом и поместил полупансионером в гимназию в надежде, что пребывание его в хорошем учебном заведении переменит его к лучшему, а жизнь в семействе окончательно исправит. Бился с ним я тут уже не один: и жена, и мать, и сестры принимали участие. Но ученье не шло на лад, а в голове были постоянные шалости, какое-то тупое упрямство, а потом явилось и желание идти в солдаты. «Гол, да сокол буду», – возражал Николай на все представления. Так, побившись с ним еще год, мы, наконец, принуждены были отправить его опять в Москву. Что из него вышло – не знаю; кто-то, кажется, говорил мне, что мой воспитанник получил место в московской полиции. Мог ли я ожидать, что сделаюсь воспитателем квартальных!

И другой птенец из семейства моего доброго Андрея Филимоновича, сын его старшей дочери, вышедшей замуж за какого-то офицера, по фамилии *Солонина*, и потом овдовевшей, попал ко мне на руки, когда я был уже попечителем в Киеве.

Считая себя все еще в долгу у этой семьи за доброту ее отца, я решился еще раз попробовать счастья в воспитании чужих детей, и при-

[1] С поличным (франц.).

нял маленького Солонину к себе, к своим детям, которые были старше его и могли подготовить несколько дикого и безграмотного ребенка.

Но и на этот раз не было удачи. Солонина, и по наружности очень похожий на Николая Назарьева, не поддавался нашей культуре. Я сам, конечно, не имел досуга заниматься воспитанием Солонины, но жена, сестры и на этот раз еще мои мальчики ничего не могли вдолбить; ученье на дому не шло, а в школу я боялся его отдать, чтобы не испортить еще более. Так и возвратил я и этого питомца обратно на руки его матери, не достигнув никакого результата от моей культуры.

Я включил эти два образчика неудачи в мою биографию потому, что они доказывают, во-первых, как трудно быть истинно благодарным, т.е. принести пользу своею благодарностью тому, кто оказал нам некогда истинное благодеяние; во-вторых, они подтверждают печальную истину, что добрый пример и добрая воля воспитателей не ведут еще к достижению благих результатов в деле воспитания. На деле выходит совершенно противное тому, чего мы хотели достигнуть, подавая пример детям собственною жизнью и собственными делами; об этом я буду иметь случай еще многое сказать впоследствии, а о трудности быть благодарным скажу теперь еще следующее.

Неуважение к заслугам, а еще более неблагодарность, представлялись всегда моему воображению в виде самых отвратительных гадин. В душе я никогда не был неблагодарным, но, увы! на деле я не сумел или даже не захотел (кто доберется до правды, роясь в хламе старого сердца!) быть благодарным именно там, где благодарность была священным долгом.

Правда, во всей моей жизни я нахожу не более трех случаев такого долга. Об одном из них я сейчас рассказал. В другом я имел твердое намерение отблагодарить, и не однажды, но судьба не дала мне этого сделать. Этот случай касается целого периода моей дерптской жизни; здесь скажу только, что я считал себя обязанным благодарностью почтенному семейству дерптского профессора Мойера, и именно его почтеннейшей теще, Екатерине Афанасьевне *Протасовой*, урожденной *Буниной* (сестре по отцу Василия Андреевича Жуковского). Я был принят в этом семействе как родной и, заняв потом профессуру Мойера, мечтал о женитьбе на его дочери, сыновней благодарности и пр., и пр. Мечтам юности не суждено было осуществиться, и я поневоле остался в долгу у незабвенной Екатерины Афанасьевны.

Наконец, третий и самый священный долг, оставшийся не так выполненным, как бы мне теперь (но, увы, поздно!) хотелось это сделать, был долг благодарности к моей матери и двум старшим сестрам. Со смерти отца, с 1824 по 1827 год, эти три женщины содержали меня своими трудами. Кое-какие крохи, оставшиеся после разгрома отцовского состояния, недолго тянулись; и мать, и сестры принялись за мелкие работы; одна из сестер поступила надзирательницею в какое-то благотворительное детское заведение в Москве и своим крохотным жалованием поддерживала существование семьи.

Переехав чрез год из дома дяди Андрея Филимоновича на наемную квартиру, мать решила отдавать одну половину квартиры в наймы на-

хлебникам; один, и очень порядочный, человек скоро нашелся; это был студент математического факультета *Жемчужников* (бывший потом вице-губернатором в Каменец-Подольске, где я его и встретил чрез 37 лет, в 1862 г.). Жемчужников был человек достаточный, и потому мог платить за квартиру в две комнаты, стол, чай и пр. 300 руб[лей] ассигнациями, т.е. 75 р[ублей] сер[ебром] в год, а мать за всю квартиру (и, если не ошибаюсь, с отоплением) платила 300 р[ублей] ассигн[ациями] ежегодно; таковы были цены в то время!

Уроков я не мог давать: одна ходьба в университет с Пресненских прудов брала взад и вперед часа четыре времени, да мать и не хотела, чтобы я на себя работал, и еще менее того, чтобы я сделался стипендиатом или казеннокоштным; куда это – и руками, и ногами против казенных обязательств! Это считалось как будто чем-то унизительным: «Ты будешь, – говорилось, – чужой хлеб заедать; пока хоть какая-нибудь есть возможность, живи на нашем». Так и перебивались, как рыба об лед. К счастью нашему, в то блаженное время не платили за лекции, не носили мундиров, и даже когда введены были мундиры, то мне сшили сестры из старого фрака какую-то мундирную куртку с красным воротником, и я, чтобы не обнаружить несоблюдения формы, сидел на лекциях в шинели, выставляя на вид только светлые пуговицы и красный воротник.

Моя студенческая жизнь в Москве.

Как я или, лучше, мы пронищенствовали в Москве во время моего студенчества, это для меня осталось загадкою. Квартира и отопление были, правда, даровые у дяди (в течение года), а содержание? А платье? Две сестры, мать и две служанки и я на прибавку. Сестры работали; продавались кое-какие остатки, но как этого доставало – не понимаю. Иногда, только иногда, в торжественные праздники, присылались чрез меня или другим путем вспомоществования; помогал иногда мой крестный отец, Семен Андреевич *Лукутин*; помогали кое-какие старые знакомые.

Однажды матушка, узнав, что генерал *Сипягин* женится на второй жене после вдовства, уговорила меня пойти к нему с поздравлением и поднести хлеб-соль на новоселье. Сипягин был одно время патроном отца, заведовавшего некоторое время его делами по имениям; был заказан большой сдобный крендель и [я] явился поутру к генералу, поздравил его, передал хлеб-соль; а он, поблагодарив довольно любезно, приказал своему казначею выдать мне 25 рублей, но не сказал: ассигнациями, а просто: 25 рублей. И каково же было мое изумление, когда этот казначей потребовал с меня 2 рубля (четвертак) сдачи с белой бумажки, ходившей в то время с лажем[1] и стоившей потому не 25, а 27 рублей!..

[1] Лаж (франц. l'agio, ит. l'aggio) – отклонение в сторону превышения рыночного курса денежных знаков, векселей и других ценных бумаг от их нарицательной стоимости.

Чрез год наше положение несколько поправилось тем, что мы наняли квартиру побольше и стали сами держать нахлебников из студентов. Один из них, Жемчужников, прожил в год за триста рублей ассигнациями и имел от матушки за эти деньги одну довольно просторную комнату, стол в 3 перемены и два раза в день чай; правда, местность была довольно отдаленная от университета, Кудрино, но все-таки за 300 четвертаков, то есть за какие-нибудь 75 руб[лей] серебром, порядочное помещение и сытный стол доказывают, что в то благодатное для бедняков время можно было учиться, несмотря на бедность. Зато и ученье было таковское – на медные деньги.

Между тем Московский университет того времени мог похвалиться именами таких ученых, как Юст-Христиан *Лодер* (анатом), *Фишер* (зоолог), *Гофман* (ботаник); таких практиков-врачей, как *М.Я.Мудров*, *Е.О.Мухин*, Федор Андреевич *Гильдебрандт*[1] (хирург); таких знатоков русского слова и русской старины, как *Мерзляков*[2] и *Каченовский*[3].

К сожалению, не все из этих известных профессоров пеклись о полном изложении своего предмета, а главное (за исключением *Лодера*), не владели достаточными научными средствами для преподавания своей науки; а сверх того, несравненно большая часть профессоров Московского университета составляли живой и уморительный контраст с своими знаменитыми коллегами.

Теперь нельзя себе составить и приблизительно понятия о том господстве комического элемента, который я застал еще в университете.

Мы, мальчиками 14–17 лет, ходили на лекции своего и другого факультетов нередко для потехи. И теперь без смеха нельзя себе представить Вас[илия] Мих[айловича] *Котельницкого*[4], идущего в нанко-

---

[1] Г.И.Фишер фон Вальдгейм (1771–1853) – один из образованнейших натуралистов начала XIX в.; занимал кафедру минералогии и геогнозии в Москве с 1804 г. Много занимался ископаемыми России и по своей глубокой учености получил за рубежом прозвище «русский Кювье». Автор первых оригинальных русских учебников зоологии и минералогии, переведенных и на другие европейские языки. Кроме университета преподавал в московском отделении Медико-хирургической академии. Один из основателей знаменитого, действующего (с 1805 г.) поныне, Московского общества испытателей природы и Московского общества сельского хозяйства.

Г.-Ф.Гофман (1766–1826) – профессор ботаники в Москве с 1804 г., выдающийся исследователь в области тайнобрачных растений, основатель московского Ботанического сада; преподавал в Медико-хирургической академии. При Пирогове-студенте читал мало, так как был тяжело болен.

Ф.А.Гильдебрандт (1773–1845) – профессор хирургии в Москве с 1804 г., специалист по литотомии. Преподавал также в Медико-хирургической академии; много работал в военных госпиталях, особенно во время Отечественной войны 1812 г.

[2] А.Ф.Мерзляков (1778–1830) – критик, теоретик литературы, поэт, переводчик, педагог, с 1810 г. ординарный профессор красноречия, стихотворства и языка российского, в 1817–1818 и с 1821 по 1828 гг. был деканом словесного отделения Московского университета.

[3] М.Т.Каченовский (1775–1842) – историк, переводчик, критик, издатель, общественный деятель, с 1811 г. ординарный профессор теории изящных наук и археологии, с 1821 г. занимал кафедру истории, статистики и географии, с 1835 г. – кафедру истории и славянских наречий, с 1837 г. – ректор Московского университета.

[4] В.М.Котельницкий (1770–1844) – преподавал фармакологию и смежные науки с 1804 г., профессор – с 1810 г.; при Пирогове был инспектором студентов и деканом.

вых[1] бланжевых[2] штанах в сапоги (а сапоги с кисточками), с кульком в одной руке и с фармакологиею Шпренгеля, перевод Иовского, под мышкою. Это он, Вас[илий] Мих[айлович] *Котельницкий* (проживавший в университете), идет утром с провизиею из Охотного ряда на лекцию. Он отдает кулек сторожу, сам ранехонько утром отправляется на лекцию, садится, вынимает из кармана очки и табакерку, нюхает звучно, с храпом, табак и, надев очки, раскрывает книгу, ставит свечку прямо перед собою и начинает читать слово в слово и притом с ошибками. Василий Михайлович с помощью очков читает в фармакологии Шпренгеля, перевод Иовского: «Клещевинное масло, oleum ricini, –*китайцы* придают ему горький вкус». Засим кладет книгу, нюхает с вхрапыванием табак и объясняет нам, смиренным его слушателям: «Вот, видишь ли, китайцы придают клещевинному-то маслу горький вкус». Мы между тем, смиренные слушатели, читаем в той же книге вместо «китайцев»: «кожицы придают ему горький вкус». У Василия Михайловича на лекции что ни день, то репетиция. «Ну-те-ка, ты там, Пишэ, – обращается он к одному студенту (сыну немецкого шляпного мастера), – ты приходи; постой-ка, я тебя вот из Тенара жигану. А! Что? Небось, замялся; а еще немец! Ну-те-ка, ты, Пирогов, скажи-ка мне, как французская водка по-латыни?»

– Spiritus gallicus.

– Молодец!

Другой экземпляр, curiosum своего рода, Алекс[ей] Леонтьев[ич] *Ловецкий*[3], адъюнкт знаменитого *Фишера*, проф[ессор] естественной истории на медицинском факультете, делает с нами ботанические экскурсии на Воробьевых горах, то есть гуляет, срывает несколько цветков, называет их по имени, а когда мы приносим ему нашу находку и просим определить растение, мы уже знаем по опыту, что ответ один: «Отдайте их моему кучеру, я потом дома у себя определю». Этот же ученый вдруг возжелал демонстрировать на лекции половые органы петуха и курицы (прежде за ним этого не водилось, – он демонстрировал иногда только картинки). Помощник его приготовляет ему препарат для демонстрации. Препарат лежит на тарелке, обвернутой вокруг салфеткою. Алексей Леонтьевич берет тарелку и, не отнимая салфетки, объясняет своей аудитории устройство половых органов петуха; но на самой средине демонстрации помощник, сконфуженный и изумленный, приближается к нему и говорит вполголоса:

– Алексей Леонтьевич! Ведь это курица.

– Как курица? Разве я не велел вам приготовить петуха?

Со стороны помощника возражения; аудитория чрезвычайно довольна сюрпризом.

---

[1] Нанка (франц. Nankin – название китайского города Нанкин) – прочная хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи буровато-желтого цвета.

[2] Бланжевый (франц. blanche белый) – кремовый оттенок белого цвета.

[3] А.Л.Ловецкий (1787–1840) – воспитывался за счет Е.О.Мухина в московском отделении Медико-хирургической академии, был там профессором с 1815 г., в университете – с 1824 г. Напечатал много работ по зоологии, физиологии, минералогии, патологии, токсикологии.

– Пойдемте, господа, смотреть, как сегодня какой-то или такой-то профессор будет выгонять чужаков из аудитории.

Такого рода чужеедов было несколько и в нашем факультете, и в других. Отправляемся.

Большая аудитория амфитеатром. Входим. Какое зрелище! Профессор сидит на кафедре, а по скамьям аудитории бегают слушатели, гоняясь гурьбою один за другим с восклицаниями: «Чужак, чужак, гони его! А-ту!»

А в другом случае слушатели, зная антипатию профессора к чужим посетителям его аудитории, сначала сидят тихо и дают набраться нескольким чужакам, а в самом разгаре профессорского чтения подсылают к профессору одного из его приближенных сказать:

– Василий Петрович! (или Григорий Васильевич!) есть много чужаков!

Лекция прекращается. Начинается розыск. Нетерпимость и ненависть к чужакам были каким-то поветрием. Комизм, соединенный с преследованием чужаков на лекциях, доходил поистине до чудовищных размеров. Студенты эксплуатировали эту странную антипатию профессоров: к одному совершенно глухому профессору (кажется, если не ошибаюсь, *Гаврилову*) набралась однажды полная аудитория студентов; предвиделась потеха, спектакль; на лекцию был приведен гарнизонный офицер из бурбонов (в мундире серого цвета с желтым воротником) и был посажен на самую заднюю скамью. Как только началась лекция, репетитор (студент, державший список слушателей для переличек) подходит к глухому профессору и кричит ему на ухо: «На лекции есть чужак». Начинается конверсация[1].

– Где? – спрашивает профессор.

В это время задние ряды студентов раздвигаются, и взору изумленного профессора представляется военный чин, сидящий смиренно и прямо на скамье.

– Вставайте, вставайте скорее! – шепчут ему соседи-студенты. Гарнизонный офицер вытягивается в струнку, руки по швам.

– Зачем вы здесь? – спрашивает лектор.

– Говорите, – подсказывают студенты офицеру, – что лекции в университете публичные, и всякий имеет право их посещать.

Офицер бормочет сквозь зубы подсказанное.

Профессор ничего не слышит; репетитор во всеуслышание громко передает ему слова офицера.

– Он говорит, Вас[илий] Гаврил[ович], что лекции публичные.

– Так что же, что публичные, а в аудиториях для порядка не должны быть терпимы чужаки.

Конверсация в таком духе продолжается некоторое время. Наконец, студенты, сидящие около офицера, шепчут ему: «Уходите, уходите, делать нечего».

Ряды сидящих раздвигаются, и гарнизонный офицер марширует чрез всю аудиторию мимо кафедры к выходу, а аудитория, пользуясь абсо-

[1] Разговор, беседа (лат.).

лютною глухотою наставника, сопровождает ретираду офицера громогласным пением: «Изыдите, изыдите, нечестивии!» или чем-то в этом роде. Профессор продолжает читать.

У другого профессора слушатели приводят несколько товарищей, лежавших в клинике и уже выздоравливающих, в больничном костюме; сажают их также в задних рядах и во время лекции объявляют, что какие-то больные забрались на лекции из госпиталя. Опять спектакль. Больные изгоняются с шумом и скандалом.

Элемент смешного, впрочем, свойствен был в то время всем коллегиям не в одной Москве: и в европейских университетах встречались курьезные оригиналы между учеными; но у нас оригинальность была не только смешна, но и глупа, потому что была отставшею от времени и науки. Действительно, отсталость того времени была невообразимая; читали лекции по руководствам 1750-х годов, и это тогда, как у самих студентов, по крайней мере у многих, ходили уже по рукам учебные книги текущего столетия. Правда, были и новаторы, и даже между пожилыми профессорами; но тут, опять на беду, примешивалась к новаторству какая-то не по летам горячность и пристрастность. Так, *М.Я.Мудров* вдруг переседлался, и из броуниста[1] сделался отчаянным бруссеистом[2].

Мало или почти вовсе незнакомый, по его собственному признанию, с патологическою анатомиею, он хотел уверить свою аудиторию, и действительно уверил не хуже самого Бруссе, в существовании воспаления слизистой кишечного канала там, где его вовсе не было.

Но Мудров едва ли был не единственным исключением из профессоров. Потом уже, когда я кончил курс, обуяла нескольких из молодых философия Шеллинга; но она уже не была новостью в Европе, тогда как бруссеизм был действительно еще животрепещущею новизною, и притом философию Шеллинга привозили к нам из Германии посланные туда от университета молодые ученые; а Мудров, сидя дома, и притом в 50-летнем возрасте, напал на бруссеизм.

---

[1] Броунизм – медицинская система, имевшая большой успех особенно в Италии и Германии, названная по имени ее автора Дж. Броуна (1736–1786). По Броуну все жизненные явления находятся в зависимости от одной свойственной всем органическим телам способности, а именно возбуждаемости. Как от усиленного, так и от ослабленного возбуждения возникают болезни, в первом случае – стенические, во втором – астенические. Эти состояния отличаются друг от друга степенью стении или астении и могут быть расположены по шкале в 80 делений. Нормальное состояние соответствует делениям 30–50. Терапия по Броуну заключается в ослаблении возбуждения в стенических и, наоборот, в усилении возбуждения в болезнях астенических.

[2] Бруссеизм – медицинская система, названная по имени ее создателя Франсуа Жозефа Виктора Бруссе (1772–1838). Бруссе считал, что в основе всех заболеваний лежит воспаление, вызываемое раздражением. Воспаление локализуется в пищеварительном канале. Если по Броуну лечение почти всех болезней сводилось к применению возбуждающих средств, в первую очередь вина, то по Бруссе лечение сводилось к борьбе с воспалением путем применения расслабляющих средств, в первую очередь кровопускания. Современники отмечали, что система Бруссе стоила миру больше крови, чем все наполеоновские войны. Большого распространения среди русских врачей обе системы не имели.

Наглядность учения и демонстрацию можно было найти только на лекциях *Лодера*; но и при изучении анатомии от студентов вовсе не требовали обязательного упражнения на трупах. Я, во все время моего пребывания в университете, ни разу не упражнялся на трупах в препаровочной, не вскрыл ни одного трупа, не отпрепарировал ни одного мускула и довольствовался только тем, что видел приготовленным и выставленным после лекций Лодера. И странно: до вступления моего в Дерптский университет я и не чувствовал никакой потребности узнать что-нибудь из собственного опыта, наглядно.

Я довольствовался вполне тем, что изучил из книг, тетрадок, лекций.

Я сказал сейчас, что это странно. Нет, вовсе не странно, когда большая часть моих наставников была того же убеждения. Вот на кафедре стоит Петр Иллар[ионович] *Страхов*[1], проф[ессор] химии медиц[инского] факультета, – человек, очевидно, начитанный и из книг много знающий. Он читает нам, как делают термометры, чертит мелом на доске, распространяется; а у него в аудитории сидит много таких, которые еще и в жизни не имели термометра в руках, а видали его только издали. Идет ли дело об оксигене, Петр Иллар[ионович] опять распространяется целых две лекции, опять чертит мелом, приносит на лекцию французские книги с рисунками, но самого оксигена мы не видим.

И так-то целый курс: ни одного химического препарата в натуре; вся демонстрация состоит в черчении на доске. Только на последнем году курса, с вступлением в университет профессора *Геймана*[2] (молодого, живого и практичного еврея), я первый раз в жизни увидал в натуре оксиген и гидроген.

Но не на одном медицинском факультете химия читалась по книгам, без опытов; и на физико-математическом факультете проф[ессор] *Рейс*[3] читал ее по своим тетрадям, да еще вдобавок читал-то нам и не химию, а какое-то учение о мировом эфире на латинском языке; зато этот ученейший, как полагали, профессор и был самого высокого мнения о себе, такого, что, по его собственному выражению: «Primus – Deus, secundus – Reus, tertius – adjunctus meus»[4].

Физика на математическом факультете преподавалась гораздо нагляднее. На лекциях у *Двигубского*[5] слышалось хлопанье, треск, когда

---

[1] П.И.Страхов (1798–1856) – ученик и ближайший сотрудник М.Я.Мудрова; с 1821 г. – доктор медицины; с 1826 г. – адъюнкт анатомии и физиологии животных, читал химию.

[2] Р.Г.Гейман (1802–1865) – с 1826 г. – адъюнкт химии в университете. Гейман согласился принять эту должность с тем условием, чтобы университет дал ему средства пояснять преподавание показом химических опытов. Затем был профессором в университете и одновременно в Медико-хирургической академии.

[3] Ф.-Ф.Рейс (1778–1852) – профессор химии в Московском университете с 1804 г.; с 1817 г. – по совместительству в Медико-хирургической академии.

[4] Первый – Бог, второй – Рейс; третий – мой помощник (лат.).

[5] И.А.Двигубский (1771–1839) – в 1802 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины и далее учился в Париже. По возвращении в Москву читал в университете технологию, затем физику – до 1827 г. и после этого ботанику. Принадлежал к числу самых деятельных русских ученых.

его лаборант был в хорошем расположении духа и в трезвом состоянии; в медицинском же факультете и физику д-р *Веселовский*[1] читал по тому же способу, как *Страхов* химию; математические формулы и черчение разных машин и приборов исследовались ежедневно на черной доске.

Физиология, ну, она в первую половину текущего столетия излагалась демонстративно только передовыми физиологами Франции и Германии. Физиологи 20-х годов нынешнего столетия во всей Европе, за некоторыми исключениями, кажется, совсем потеряли из виду великого их предшественника – *Галлера*, хотя и ни один из них не мог не отдать ему преимущества пред всеми другими. *Рудольфи*[2] в Берлине в 1828–1830 годах говаривал слушателям: «Если вы спросите у профессоров физиологии, какая физиология лучшая, каждый из них непременно ответит: во-первых, моя, а во-вторых, Галлера; выходит математически верно, что физиология Галлера и есть до сих пор все еще лучшая». Нечего и говорить, что физиология в Московском университете того времени преподавалась по книге; а книга была физиологиста Ленгоссека на латинском языке, перепечатанная в Москве, с прибавлениями и комментариями Е.О.Мухина. Сей ученый муж, которому я, как уже высказал, лично так много обязан, собственно был врач-практик и, сколько мне известно, самоучка (рассказывали в то время, что он участвовал фельдшером в армии Суворова при осаде Очакова); в физиолога же он превратился, вероятно, потому что быв сначала профессором анатомии в Московской медико-хирургической академии, тут он издал свою известную анатомию, конкурировавшую в Москве с петербургскою анатомиею *Загорского*, но отличавшуюся от сей последней тем: 1) что все анатомические термины были переведены на невозможный русский язык; 2) к шести частям анатомии Загорского прибавлена 7-я, вновь изобретенная Ефремом Осиповичем часть: учение о мокротных сумочках; 3) бедренная артерия названа была Ефремом Осиповичем артерией баронета Виллье[3], arter. cruralis, s. femoralis, s. Willie, с примечанием внизу, что баронет Виллье при посещении анатомического театра в Московской медико-хирургической академии называл эту артерию своею любимою или как-то в этом роде. А к физиологии Ленгоссека Е.О.Мухин присоединил кентрологию или учение о стимулах. Лекции же Ефр[ема] Осип[овича] *Мухина* для меня тем достопамятны, что я, посещая их аккуратно в течение 4-х лет, ни разу не усомнился в глубокомыслии наставника, хотя и ни разу не мог

[1] И.С.Веселовский (1796–1867) – учился в Московском университете; с 1823 г. – лектор, а затем профессор математики и физики там же; совмещал это с преподаванием в Медико-хирургической академии.

[2] К.А.Рудольфи (1771–1832) – с 1810 г. занимал кафедру анатомии в Берлинском университете, оставил работы по разным областям естественных и медицинских наук, обладал выдающимся преподавательским талантом.

[3] Я.В.Виллие (1765–1854) – уроженец Шотландии; с 1790 г. – полковой врач в России, с 1795 г. – придворный хирург, с 1799 г. – президент Медико-хирургической академии. При Александре I управлял всей медицинской частью государства. На завещанные им миллионы построены грандиозные здания клиники Медико-хирургической академии в Петербурге.

дать себе отчета, выходя с лекции, о чем собственно читалось; это я приписывал собственному невежеству и слабой подготовке.

Только впоследствии, приехав в Москву на время, после окончания курса в Дерпте, и нарочно сходив на лекцию Мухина, я убедился в моей невинности. Я слушал целую лекцию с большим вниманием, не пропустив ни слова, и к концу ее все-таки потерял нить, так что потом никак не мог дать себе отчета, каким образом Ефрем Осипович, начав лекцию изложением свойств и проявлений жизненной силы, ухитрился перейти под конец «к малине, которую мы с таким аппетитом в летнее время кушаем со сливками». Пропускаю другой приведенный им пример «о букашке, встречаемой иногда нами в кусочке льда, которая, отогревшись на солнце, улетает с хрустального льда, воспевая (т.е. жужжит) хвалу Богу», – пропускаю потому, что догадываюсь о связи жизненной силы с оттаявшею букашкою в этом примере. Мухин, однако же, добросовестно, по-своему, конечно, исполнял обязанности профессора и прочитывал свою физиологию на лекциях от доски до доски, и если что из своих лекций откладывал, то потом не оставался в долгу у слушателей; откладывал же он постоянно чтение о половых женских органах, приходившееся обыкновенно в Великий пост. «Нам следовало бы теперь говорить, – повторял он ежегодно в это время, – о деторождении и половых женских органах; но так как это предмет скоромный, то мы и отлагаем его до более удобного времени».

Не так совестлива и пунктуальна была в изложении своего предмета другая московская знаменитость тогдашего времени – Матвей Яковлевич *Мудров*, хотя мне и сказывали, что прежде, придерживаясь Иосифа *Фриша*, он излагал в течение года (по 3 часа в неделю) полный synopsis[1] терапии; но при мне, когда он переседлался уже в бруссеисты, Матвей Яковлевич читал, что называли, через пень в колоду, останавливаясь исключительно только на новом учении о горячках. Он много мне принес пользы тем, что беспрестанно толковал о необходимости учиться патологической анатомии, о вскрытии трупов, об общей анатомии Биша и тем поселил во мне желание познакомиться с этою terra incognita.

Но сам он, как я и видел однажды при вскрытии тифозного, был белоручкою, очевидно незнакомым с этим делом. Когда один студент начал вскрывать кишку, чтобы найти там inflammatio membranae mucosae gastro-intestinalis[2], мой Матвей Яковлевич убежал на самую верхнюю ступень анатомического амфитеатра и смотрел оттуда, конечно, притворяясь, будто что-нибудь видит, и в извинение своего бегства от патологической анатомии приводил только: «Я-де стар, мне не по силам нюхать вонь» и т.п.

Кроме того, что он не излагал нам, да и не мог изложить всей науки хотя бы в кратких очерках, М[атвей] Я[ковлевич] терял много времени на разные alotria[3], часто приходившие ему ни с того, ни с сего в голову.

[1] Обзор (лат.).
[2] Воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (лат.).
[3] Отступления (лат.).

Так, однажды, большая половина лекции состояла в том, что он какого-то провинившегося кутилу-студента, из семинаристов, заставил читать молитву на Троицын день. Часто пристрастие свое к бруссеизму он обнаруживал тем, что в длинных рапсодиях начинал насмехаться над броунизмом: «Сравните-ка наше теперешнее простое и рациональное лечение тифа с прежним! Теперь пиявки к животу, прохладительное и москательное питье, и больной постепенно поправляется. А прежде? Сначала r. valeriana, потом serpentariae и arnica, камфара, moschus и, наконец, когда все это не помогало, Иверская Божия Матерь».

Чтение о добродетелях врача и истолкование притчи Гиппократа брало от научных лекций также немало времени. Не забудем, что клиника и лекции были не ежедневно, а только три раза в неделю. Иногда же встречались выходки и другого рода, сокращавшие время преподавания. Так, однажды мы сидели в аудитории, дожидаясь приезда Мудрова; наконец, он является и велит всей аудитории идти куда-то за ним, надев шинели (дело было зимою). Мы повинуемся, и Матвей Яковлевич ведет нас из клиники чрез двор в анатомический театр на лекцию к Лодеру. Что за притча такая? Мы вваливаемся целою массою в аудиторию и видим, что Лодер сидит с Анненскою звездою на фраке. Мудров, мы видим, становится пред новым кавалером (*Лодер*, как мы узнали потом, только что получил звезду), вынимает из кармана листок и читает гласом проповедника: «Красуйся светлостию звезды твоея, но подожди еще быть звездою на небесех» и проч., и проч.

Лодер, несколько сконфуженный, принимается, наконец, обнимать Мудрова и что-то, не помню, отвечает ему на приветствие по-латыни.

Мудров не был закоренелым противником немцев, как *Е.О.Мухин*; был большим почитателем Лодера и вместе с ним и некоторыми другими профессорами придерживался, вероятно, только для вида, а может быть, и по своему происхождению из духовных, господствовавшего в то время (при министерстве Голицына) мистицизма.

И в клинике у Мудрова, и в анатомическом театре у Лодера мы видели на стенах надписи и распятия. В клинике при входе был вделан в стену крест с надписью: «Per crucem ad lucem»[1]. Несколько далее стояла на другой стене надпись: «Medice, cura te ipsum»[2]. На стене в окнах анатомического театра красовалось огромными буквами: «Gnothi seauton»[3]. В анатомической аудитории, расположенной полукружным амфитеатром, вверху, у самого потолка, вдоль всей стены надпись огромными золотыми буквами гласила: «Руце Твоя создаста мя и сотвориста мя, вразуми мя, и научуся заповедем Твоим».

Не надо забывать, что все это было во времена оны, когда хоронились на кладбищах с отпеванием анатомические музеи (в Казани, во времена Магницкого) и когда был поднят в министерстве народного просвещения или в министерстве внутренних дел вопрос: нельзя ли

---

[1] С крестом к свету (лат.).
[2] Врачу, исцелись сам (лат.).
[3] Познай самого себя (гр.).

обходиться при чтении анатомических лекций без трупов, и когда в некоторых университетах (в Казани) и действительно читали миологию[1] на платках.

Профессор анатомии, рассказывали мне его слушатели, привяжет один конец платка к acromion[2] и спинке лопатки, а другой – к плечевой кости, и уверяет свою аудиторию, что это musculus deltoideus[3].

Хирургия – предмет, которым я почти вовсе не занимался в Москве, была для меня в то время наукою вовсе неприглядною и непонятною. Об упражнениях в операциях над трупами не было и помину; из операций над живыми мне случилось видеть только несколько раз литотомию у детей и только однажды видел ампутированную голень. Перед лекарским экзаменом нужно было описать на словах или на бумаге какую-нибудь операцию на латинском языке, и только Фед[ор] Андр[еевич] *Гильдебрандт*, искусный и опытный практик, особливо литотомист, умный остряк, как профессор был из рук вон плох. Он так сильно гнусил, что, стоя в двух, трех шагах от него на лекции, я не мог понимать ни слова, тем более что он читал и говорил всегда по-латыни. Вероятно, профессор *Гильдебрандт* страдал хроническим насморком и курил постоянно сигарку. Это был единственный индивидуум в Москве, которому разрешено было курить на улицах. Лекции его и его адъюнкта *Альфонского*[4] состояли в перефразировании изданного Гильдебрандтом краткого, и краткого до nec plus ultra[5] учебника хирургии на латинском языке.

И так я окончил курс; не делал ни одной операции, не исключая кровопускания и выдергивания зубов, и не только на живом, но и на трупе не сделал ни одной и даже не видал ни одной сделанной на трупе операции[6].

Отношения между нами, слушателями, и профессорами ограничивались одними лекциями; только с некоторыми молодыми адъюнктами и нами иногда отношения принимали более интимный характер. Я, например, нередко навещал по вечерам ад[ъюнкта] химии *Иовского*[7],

---

[1] Учение о мышцах.

[2] Отросток (лат.).

[3] Дельтовидная мышца (лат.).

[4] А.А.Альфонский (1796–1869) – воспитанник, ученик и помощник Гильдебрандта. С 1819 г. – адъюнкт, затем профессор хирургии в Московском университете. Не был теоретиком и ничего не печатал; перенял у Гильдебрандта искусство литотомии.

[5] До последней степени (лат.).

[6] Из документов об учении Пирогова в Московском университете видно, что он научился в течение четырех лет очень многому и очень многое узнал. При этом важно отметить, что учился он отлично, лучше огромного большинства его товарищей, и почти совсем не пропускал ни лекций, ни практических занятий. В отличие от Пирогова у многих других студентов того времени числятся пробелы в посещении лекций по целым семестрам.

[7] А.А.Иовский (1796–1857) – окончил Московский университет, где получил серебряную и золотую медали; в 1822 г. – доктор медицины. Затем три года был за границей. С августа 1826 г. преподавал в звании адъюнкта аналитическую химию в приложениях к медицине. Затем профессор химии и фармакологии Московского университета. Печатал исследования и учебники по химии и фармакологии. С 1828 по 1832 г. (исключая

только что возвратившегося из-за границы; он рассказывал мне про университетскую, научную жизнь в Германии и Франции, подтрунивая вместе со мною над отжившими и отсталыми нашими учеными; но потом, как я слышал, и сам попал в эту же колею.

На лекциях же отношения наставников наших, по крайней мере чистокровных русских, были весьма патриархальные; многие из профессоров, как-то: *Мудров*, *Котельницкий*, *Сандунов*[1] и др. говорили студентам «ты», Мудров — с прибавкою: «ты, душа»; допускались на лекциях и патриархальные остроты над отдельными личностями и над целою аудиториею. Так, Мудров однажды на своей лекции о нервной психической болезни учителей и профессоров, обнаруживающейся какой-то непреодолимою боязнью при входе в аудиторию, сказал своим слушателям: «А чего бы вас-то бояться, ведь вы бараны», и аудитория наградила его за эту остроту общим веселым смехом.

Зато и слушатели, как видно из приведенных мною авантюр на лекциях, не церемонились, и с чудаками чудачествовали и проказили на лекциях. Кроме приведенных, приведу и еще два похождения такого же рода.

Один из профессоров-чудаков был так слаб глазами, что без очков не мог ни одной буквы прочесть в своей тетрадке, а вся лекция у него и состояла в прочтении слушателям своей тетрадки.

Ясно было, что лишить его очков, значило сделать лекцию для него вполне невозможною. Слушатели, заметив, что он, приходя на лекцию, прежде всего снимает свои очки и кладет их на кафедру, умудрились устроить так, что положенные очки должны были неминуемо провалиться в пустоту кафедры на самое ее дно. Положение профессора было критическое; он, видимо, потерял голову и не знал, что ему делать. Тогда те же слушатели явились пред ним советниками на помощь; один из них, долго не думая, притащил от сторожа кочергу, запустил ее в провал и начал к ужасу [профессора] ковырять ею во все стороны так безжалостно, что очкам, очевидно, грозила опасность полного разрушения. Вся аудитория между тем собралась около кафедры и злополучного наставника; советам, толкам, сожалениям не было конца, и вот, наконец, общим советом решили, что нет другого, более надежного средства сделать лекцию возможною, то есть достать очки, как перевернуть кафедру верх дном и вытрясти их оттуда. Принялись за дело, увенчавшееся успехом; вытрясли полуразрушенные кочергою очки; когда достигли этого результата и профессор рассматривал уныло нарушение целости своего зрительного инструмента, в аудиторию вошел другой профессор и остолбенел при виде необыкновенного зрелища. Таким образом, лекции, то есть прочтению тетрадки, к удовольствию многих слушателей не суждено было состояться.

1830 г.) издавал журнал «Вестник естественных наук и медицины». Первые научные статьи Н.И.Пирогова напечатаны в этом журнале.

[1] Н.Н.Сандунов (1768–1832) — профессор гражданского и уголовного судопроизводства в Московском университете с 1811 г.

У другого профессора того же (если не ошибаюсь, словесного) факультета было заведено в начале лекции читать протокол прошедшей, и это чтение поручалось им одному репетитору. Все знали, что репетитор этот непременно скажет в начале чтения протокола, и многие из других факультетов являлись из любопытства на лекцию, чтобы услышать заранее известный всем curiosum. Curiosum состоял в том, что репетитор начинал чтение протокола всегда следующими словами: «На прошедшей лекции 182... года, такого-то числа, Василий Григорьевич такой-то, надворный советник и кавалер, излагал своим слушателям то-то и то-то». Профессор же постоянно и непременно всякий раз прерывал чтение репетитора замечанием, что он действительно надворный советник, но вовсе не кавалер. На это замечание в свою очередь репетитор всякий раз отвечал: «Как же, Василий Григорьевич, вы удостоены медали за 1812-й г. на Владимирской ленте».

Но, несмотря на комизм и отсталость, у меня от пребывания моего в Московском университете, вместе с курьезами разного рода, остались впечатления глубоко, на целую жизнь, врезавшиеся в душу и давшие ей известное направление на всю жизнь. Так, лекции *Лодера*, несмотря на мое полное незнакомство с практическою анатомиею, поселили во мне желание заниматься анатомиею, и я зазубривал анатомию по тетрадкам, кое-каким учебникам и кое-каким рисункам. Даже обычные выражения Лодера: «Sapientissima natura, aut potius Creator sapientissimae naturae voluit»[1], не остались без влияния на меня.

Я и теперь еще, чрез 50 с лишком лет, как будто слышу их. Но и самые надписи на стенах анатомического театра и клиники слились у меня как бы в одно целое с начатками моих научных сведений в Москве. Мистического и мистицизма никто не искоренит из глубины человеческого духа. Монотонность и односторонность никогда не будут ему свойственны, и я не верю, чтобы человеческое общество когда-нибудь остановилось на одном избранном им направлении, и всего менее верю, чтобы оно когда-нибудь сделалось позитивистом.

Студенческая жизнь в Московском университете до кончины императора Александра I-го была привольная. Мы не видывали попечителя – кн. *Оболенского*. Я его только раз видел на акте, да и с ректором – *Прокоповичем-Антонским*[2] – встречались вступающие в университет кутилы и забияки. Я его видал также только на акте. Мундиров тогда еще не было у студентов. Несмотря на это, я не помню ничего особенно неприличного или резко выдававшегося в наружном виде студен-

---

[1] Мудрейшая природа, вернее, Создатель мудрейшей природы пожелал (лат.).

[2] А.А.Прокопович-Антонский (1762–1848) – с 1788 г. адъюнкт энциклопедии и натуральной истории, затем – профессор; с 1791 по 1824 г. – директор Благородного пансиона Московского университета, с 1819 по 1826 г. – ректор университета. Прокопович-Антонский был лучшим педагогом своего времени, из стен Благородного пансиона в разное время вышли многие поэты и писатели (среди которых В.А.Жуковский, В.Ф.Одоевский, А.Ф.Воейков, А.С.Грибоедов, М.Ю.Лермонтов), ученые, драматурги, художники, профессора, генералы, наместники, министры, главнокомандующие, дипломаты, сенаторы, губернаторы – лучшие люди России, ее честь и слава.

тов. Скорее выдавалась и поражала нас наружность у профессоров, так как одни из них в своих каретах, запряженных четверкою, с ливрейными лакеями на запятках (как *М.Я.Мудров*, *Лодер* и *Е.О.Мухин*), казались нам важными сановниками, а другие — инфантеристы или ездившие на ваньках во фризовых шинелях — имели вид преследуемых судьбою париев.

Но со вступлением на престол Николая I-го, после декабрьских дней, и мы почувствовали перемену в воздухе.

Слышим, что назначается новый попечитель, военный генерал *Писарев*[1]; слышим, что новый государь, во время пребывания его в Москве, посетив почти инкогнито университет и университетский пансион, рассердился страшно, увидев имя *Кюхельбекера*[2], написанное золотыми буквами на доске в зале университетского пансиона; *Антонский* не догадался снять доску или стереть ненавистное имя бунтовщика, бывшего отличным учеником.

Антонский, говорю, нам сказывали, был сменен за эту недогадливость, а прежний фрачный попечитель был заменен мундирным.

Мы слышали также, что государь, приехав на дрожках в университет и узнанный только сторожем, отставным гвардейским солдатом, пошел прямо в студенческие комнаты, велел при себе переворачивать тюфяки на студенческих кроватях и под одним тюфяком нашел тетрадь стихов *Полежаева*[3].

Полежаев угодил в солдаты.

Вскоре после этого посещения были введены студенческие мундиры, для меня и, верно, для многих других, кое-как перебивавшихся, — новый расход.

Сестры ухитрились смастерить мне из старого фрака какую-то мундирную куртку с красным воротником и светлыми пуговицами, но неопределенного цвета, и я, пользуясь позволением тогдашнего доброго времени, оставался на лекциях в шинели и выставлял напоказ только верхнюю, обмундированную часть тела.

Не замедлил явиться пред нами в аудиториях и мундирный попечитель, тотчас же при своем появлении прозванный, по свойству его речи, *фаготом*. Действительно, речь была отрывистая, резкая. Я видел и слышал этого фагота, благодарение Богу, только два раза на лекциях; один раз на лекции у профессора химии *Геймана*, другой раз у *Мухина*, и оба раза появление было сопровождаемо некоторого рода скандалом.

У Геймана на лекции фагот, высокий, плечистый генерал в военном мундире, входивший всегда с шумом, в сопровождении своих драбантов[4], встретил моего прежнего нахлебника, *Жемчужникова*, в странном

---

[1] А.А.Писарев (1780–1848) – генерал-майор, участник наполеоновских войн, попечителем университета назначен в 1825 г.

[2] В.К.Кюхельбекер (1797–1846) – воспитанник университетского Пансиона, затем Лицея, где был товарищем А.С.Пушкина, талантливый поэт, участник восстания декабристов, приговорен к 20-летней каторге.

[3] А.И.Полежаев (1805–1838) – поэт.

[4] Драбант (нем. drabant) – телохранитель.

для него костюме: студенческий незастегнутый мундир, какие-то уже вовсе немундирные панталоны и с круглою шляпою в руках.

«Это что значит?» – произнес фагот самым резким и пронзительным голосом, нарушившим тишину аудитории и внимание слушателей, прикованное к химическому опыту Геймана. «Таких надо удалять из университета», – продолжал таким же голосом фагот.

Жемчужников встал, сделал шаг вперед и, поднимая свою круглую шляпу, как бы с целью надеть ее себе тотчас же на голову, прехладнокровно сказал: «Да я не дорожу вашим университетом», – поклонился и вышел вон.

Фагот не ожидал такой для него небывалой выходки подчиненного лица и как-то смолк.

В аудиторию Мухина фагот ввалился однажды и сказал уже такую глупость, которая, верно, не прошла ему даром.

Надо знать, что в начале царствования Николая почему-то, а может быть, именно благодаря разным бестактным выходкам фагота, русские наши немцееды, видимо, стали на дыбы, полагая, что пришел на их улицу праздник. Начались разные, не совсем приличные, выходки и против такой высокостоящей во всех отношениях личности, как Юст-Христиан *Лодер*.

Мухин всполошился особенно и каким-то образом достиг на некоторое время того, что даже начал читать лекции в анатомическом амфитеатре, прежде ни для кого, кроме Лодера, недоступном. Это продолжалось, однако же, недолго. Мухин почему-то снова перешел на лекции в прежнюю аудиторию свою, в здании университета, также в довольно пространную (человек на 250), но не так удобную.

Вот в эту-то переполненную аудиторию и ввалился с шумом фагот.

– Почему же вы не читаете там? – спрашивает он Мухина, указывая рукою по направлению анатомического театра.

– Да там, ваше превосходительство, *Лодер* раскладывает кости и препараты пред своими лекциями.

– А! Если так, то я его самого разложу, – отвечает громко, на всю аудиторию, фагот.

Лодеру донесли об этом глупом фарсе. И вскоре мы услыхали, что сам король прусский довел до сведения государя о происках против маститого ученого. С тех пор его оставили в покое, и чрез несколько времени после этого происшествия явилась и Анненская звезда у Лодера, послужившая поводом к сочинению рацеи *М.Я.Мудрова*.

Наконец, наступил и 1827 год, принесший нам на свет высочайше утвержденный проект академика *Паррота*[1]. Первое сообщение, более

---

[1] Г.-Ф.Паррот (1767–1852) – действительный член Академии наук, профессор прикладной математики и физики, первый ректор Дерптского университета (1802–1803). Близкий друг Александра I, он пользовался большим доверием также у Николая I. Когда последний задумал усилить профессорский состав университетов природными русскими, Паррот представил ему проект учреждения при университете в Дерпте Профессорского института (1827–1838). Здесь будущие русские профессора должны были заниматься два года, а затем завершить за границей свою подготовку к профессуре.

метафорическое, чем официальное, мы услышали на лекции Мудрова. Приехав однажды ранее обыкновенного на лекцию, *М.Я.Мудров* вдруг, ни с того, ни с сего, начинает нам повествовать о пользе и удовольствии от путешествий по Европе, описывает восхождение на ледники альпийских гор, рассказывает о бытье-житье в Германии и Франции, о пуховиках, употребляемых вместо одеял немцами, и проч., и проч. «Что за притча такая?» – думаем мы, ума не приложим, к чему все это клонится. И только к концу лекции, проговорив битый час, *М.Я.Мудров* объявляет, что по высочайшей воле призываются желающие из учащихся в русских университетах отправиться для дальнейшего образования за границу.

Я как-то рассеянно прослушал это первое извещение.

Потом я где-то, кажется на репетиции, приглашаюсь уже прямо Мухиным. – Опять Е.О.Мухин!

– Вот, поехал бы! Приглашаются только одни русские; надо пользоваться случаем.

– Да я согласен, Ефрем Осипович, – бухнул я, нисколько не думая и не размышляя.

Как объяснить эту неожиданную для меня самого решительность? Тогда я не наблюдал над собою, а теперь нельзя решить наверное, что было главным мотивом. Но, сколько я себя помню, мне кажется, что главною причиною скорого решения было мое семейное положение.

Как ни был я тогда молод, но помню, что оно нередко меня тяготило. Мне уже 16 лет, скоро будет и 17, а я все на руках бедной матери и бедных сестер. Положим, получу и степень лекаря, а потом что? Нет ни средств, ни связей, не найдешь себе и места. В то же время было и неотступное желание учиться и учиться.

Московская наука, несмотря на свою отсталость и поверхностность, все-таки оставила кое-что, не дававшее покоя и звавшее вперед.

– Выбери предмет занятий, какую-нибудь науку, – говорит *Е.О.Мухин*.

– Да я, разумеется, по медицине, Ефрем Осипович.

– Нет, так нельзя; требуется непременно объявить, которою из медицинских наук желаешь исключительно заняться, – настаивает Ефрем Осипович.

Я, не долго думая, да и брякнул так: «Физиологиею».

Почему я указал на физиологию? – спрашивал я после самого себя.

Ответ был: во-первых, потому, что я в моих ребяческих мечтах представлял себе, будто я с физиологиею знаком более чем со всеми другими науками. А это почему? А потому, что я знал уже о кровообращении; знал, что есть на свете химус[1] и хилус[2]; знал и о существовании грудного протока; знал, наконец, что желчь выделяется в печени, моча – в поч-

[1] Химус (гр. chymos сок) – содержащаяся в желудке или тонком кишечнике пищевая кашица; образуется из пищи под влиянием пищеварительных соков.

[2] Хилус (позднелат. chylus, от гр. chylós – сок) – млечный сок, молочно-белая жидкость, содержащаяся в лимфатических сосудах брыжейки животных и человека; лимфа, обогащенная капельками жира, всосавшимися из содержимого кишечника.

ках, а про селезенку и поджелудочную железу не я один, а и все еще немногие знают; сверх этого, физиология немыслима без анатомии, а анатомию-то уже я знаю, очевидно, лучше всех других наук.

Но все это, во-первых, а во-вторых, кто предлагает мне сделать выбор предмета занятий: разве не Ефрем Осипович, не физиолог? Уже, верно, мой выбор придется ему по вкусу. Но не тут-то было. Ефрем Осипович сделал длинную физиономию и коротко и ясно решил:

– Нет, физиологию нельзя; выбери что-нибудь другое.

– Так позвольте подумать...

– Хорошо, до завтра; тогда мы тебя и запишем.

Дома я ничего не объявил ни матери, ни сестрам, а начал обдумывать все дело, уже почти решенное, то есть действовать по-нашему, по-русски, задним умом, и, право, поступил не худо; действуя передним, я, вероятно, не попал бы в профессорский институт, и жизнь сложилась бы на других началах, и Бог весть каких. На что же, спрашиваю я себя, дал я мое согласие? На то, чтобы ехать за границу учиться. Да на каких же условиях? Ведь, не зная их, попадешь, пожалуй, и в кабалу. Да, впрочем, Бог с ними, с этими условиями, хуже не будет.

Бегу в университет, справляюсь, прислушиваюсь, советуюсь; наконец, кое-что узнаю и решаюсь: так как физиологию мне не позволили выбрать, а другая наука, основанная на анатомии, по моему мнению, есть одна только *хирургия*, я и выбираю ее. А почему не самую *анатомию*? А вот, поди, узнай у самого себя – почему? Наверное не знаю, но мне сдается, что где-то издалека, какой-то внутренний голос подсказал тут хирургию. Кроме анатомии, есть еще и жизнь, и, выбрав хирургию, будешь иметь дело не с одним трупом.

Меня интересовали, однако же, немало и другие науки. Я ужасно любил химию, особливо после геймановских лекций. Фармакология мне представлялась также, несмотря на всю несостоятельность ее представителя в Московском университете *В.М.Котельницкого*, весьма занимательною. Когда я сообщил о моем желании посвятить себя не одной, а нескольким наукам моим товарищам, то они, конечно, трунили надо мною, не подозревая, что я чрез год или два сделаюсь отчаянным, самым отчаянным адептом специализма в науке, а потом, чрез несколько лет, перекочую снова в другой лагерь.

В этот же день я явился в правление, нашел там *Е.О.Мухина* (декана), объявил ему мой выбор и тотчас же был им подвергнут предварительному испытанию, из которого я узнал положительно, что цель отправления нас за границу есть приготовление к профессорской деятельности; а как для профессора прежде всего необходимо иметь громкий голос и хорошие дыхательные органы, то предварительное испытание и должно было решить вопрос: в каком состоянии обретаются мои легкие и дыхательное горло. За неимением в то время спирометров и полного незнакомства экзаменаторов с аускультациею[1] и пер-

[1] Аускультация (лат. auscultation слушание, выслушивание) – метод исследования внутренних органов (легких, сердца) выслушиванием звуковых явлений, возникающих при работе этих органов.

куссиею[1] Ефрем Осипович заставил меня громко и не переводя духа прочесть какой-то длиннейший период в изданной им физиологии Ленгоссека, что я и исполнил вполне удовлетворительно.

Тотчас же имя мое было внесено в список желающих, то есть будущих членов профессорского института. Только покончив все это дело, я возвратился домой и объявил моим домашним торжественно и не без гордости, что «еду путешествовать на казенный счет».

В это время случился тут сосед портной, позванный для исправления моей шинели; услыхав, что я еду путешествовать, он глубокомысленно заметил: «Знаю, знаю, слыхал: значит, едете открывать неизвестные острова и земли».

Я не старался разубеждать его, и был очень рад тому, что и мать, и сестры, хотя и опечаленные неожиданным известием, не оказали никакого противодействия; матушка по обыкновению набожно перекрестилась, поцеловала меня и сказала: «Благослови тебя Бог! Когда же едешь?»

– После лекарского экзамена, месяца через два.

Между тем, по собранным сведениям и слухам, дело настолько выяснилось, что я узнал подробнее о цели и об условиях. Дополним собранные сведения тем, что я узнал впоследствии.

Я представляю себе историю развития профессорского института, в который меня завербовал ex prompto[2] *Е.О.Мухин*, в следующем виде.

Академик *Паррот* был свидетелем в Дерпте и С.-Петербурге смутных и выходящих из ряду вон событий, постигших наши университеты в конце царствования Александра I-го (при министерствах кн. *А.Н.Голицына* и *Шишкова*[3] и попечительстве Магницкого и проч.), а вместе с этим, узнав подробности от известных иностранных профессоров Казанского и друг[их] университетов о печальном состоянии нашей университетской науки, воспользовался своим исключительным положением и намерениями нового государя преобразовать всю учебную часть в государстве. Новому государю было известно, что *Паррот* пользовался особенным расположением и доверием Александра I-го, имея к нему всегда свободный доступ.

Паррот (родом из Эльзаса и сотоварищ знаменитому *Кювье)* был долго профессором физики в Дерптском университете; а после своего перехода из Дерпта в С.-Петербургскую академию наук он был, верно, очень рад назначению князя *Ливена*, бывшего попечителя Дерптского университета, на место *Шишкова*, министром народного просвещения при самом начале царствования Николая.

Это назначение, как я полагаю, много содействовало успеху проек-

---

[1] Перкуссия (лат. percussion постукивание) – выстукивание, метод медицинского исследования состояния и положения внутренних органов при выстукивании исследуемого участка молоточком по особой пластинке (плессиметру) или одним или несколькими пальцами непосредственно по поверхности тела.

[2] Внезапно (лат.).

[3] А.С.Шишков (1754–1841) – адмирал, глава литературного направления первой трети XIX в., министр просвещения в 1824–1828 гг.

та Паррота, главнейшим и самым существенным пунктом которого было подготовление русских молодых людей, кончивших курс в разных университетах, в Дерптском университете для дальнейших занятий наукою за границею.

Дерптский университет в это время, после позорной катастрофы с производством в доктора каких-то темных личностей, достиг небывалой еще научной высоты, и достиг именно при попечительстве князя *Ливена*, тогда как другие русские университеты падали со дня на день все ниже и ниже, благодаря обскурантизму и отсталости разных попечителей.

Число русских, посылаемых для подготовки на два, на три года из наших университетов в Дерптский, определялось 20-ю.

После двухлетнего пребывания в Дерпте они должны были отправляться еще на два года в заграничные университеты и потом прослужить известное число лет профессорами в ведомстве министерства народного просвещения. Содержание в Дерпте назначалось в 1200 руб[лей] ассигн[ациями] ежегодно (несколько более 300 руб[лей] сер[ебром]); на путевые издержки полагалась тоже особая сумма. Молодые люди разных университетов, собранные в С.-Петербурге, должны были по прибытии в С.-Петербург, подвергнуться предварительному еще испытанию в Академии наук.

Я начал готовиться к лекарскому экзамену. Он прошел очень легко для меня, даже легче обыкновенного, весьма поверхностного, может быть, потому, что мое назначение в кандидаты профессорского института считалось уже эквивалентом лекарского испытания.

Что же я вез с собою в Дерпт?

Как видно, весьма ничтожный запас сведений и сведений более книжных, тетрадочных, а не наглядных, не приобретенных под руководством опыта и наблюдения. Да и эти книжные сведения не могли быть сколько-нибудь удовлетворительны, так как я в течение всего университетского курса не прочел ни одной научной книги, ни одного учебника, что называется, от доски до доски, а только урывками, становясь в пень пред непонятными местами; а понять много без руководства я и не мог.

Хорош я был лекарь с моим дипломом, дававшим мне право на жизнь и смерть, не видав ни однажды тифозного больного, не имев ни разу ланцета в руках! Вся моя медицинская практика в клинике ограничивалась тем, что я написал одну историю болезни, видев только однажды моего больного в клинике, и для ясности прибавив в эту историю такую массу вычитанных из книг припадков, что она поневоле из истории превратилась в сказку.

Поликлиники и частной практики для медицинских студентов того времени вовсе не существовало, и меня только однажды случайно пригласили к одному проживавшему в одном с нами доме больному чиновнику. Он лежал уже, должно быть, в агонии, когда мне предлагали вылечить его от последствий жестокого и продолжительного запоя. Видя мою несостоятельность, я, первое дело, счел необходимым послать тот-

час же за цирюльником; он тотчас явился, принеся с собою на всякий случай и клистирную трубку. Собственно я и сам не знал, для чего я пригласил цирюльника; но он знал уже par distance[1], что нужен клистир и, раскусив тотчас же, с кем имеет дело, объявил мне прямо и твердо, что тут без клистира дело не обойдется.

– Пощупайте сами живот хорошенько, если мне не верите, – утверждал он, отведя меня в сторону, – ведь он так вздут, что лопнуть может.

Я, пощупав живот, тотчас же одобрил намерение моего, мною же импровизированного коллеги. Дело было ночью; что произошло потом с клистиром не помню; но помню, что больного к утру не было уже на свете.

В благодарность за мои труды вдова прислала мне черный фрак покойного, в который могли бы влезть двое таких, каков я. Этот незаслуженный гонорар был очень кстати; переделанный портным, полагавшим, что я еду открывать острова и земли, фрак этот поехал со мной и в Дерпт и прожил со мною еще и там целых пять лет.

Второй и последний случай моей частной практической деятельности в Москве был тоже такой, в котором клистир играл главную роль.

Заболела весьма серьезно чем-то, не знаю, моя старая нянька, Катерина Михайловна; помню, лежит, не двигается, стонет, говорит: «Умираю»; не ест, не пьет, не испражняется, не спит, все стонет. Не знаю, что ей там давали из домашних средств, только помощи не было; проходит неделя, другая, – все то же; старуха исхудала, пожелтела, очевидно плохое дело. Мне ее ужасно жалко, хотелось бы помочь, но чем руководствоваться? А вот постой, думаю, ведь она не ходит на низ целых 10–12 дней: дай, поставлю ей клистир.

Предлагаю на обсуждение мой проект моим домашним и самой больной.

– Да, батюшка мой, ведь я ничего не ем, не пью, почти две недели у меня крохи во рту не было.

– Нужды нет, все-таки поставим.

– Да как же это? Да кто же поставит? Да где же взять?

– Не беспокойся.

И вот я достаю трубку, варю ромашку с мылом и постным маслом, надеваю преважно фартук, поворачиваю старуху на левый бок и в первый раз в жизни ставлю клистир самоучкою.

Все обошлось благополучно. Клистир вышел потом не один, и – кто мог думать! – моя старая няня с этого же дня начала поправляться, спать, кушать, а дней через 10 была уже на ногах. Вот что значит искренняя любовь и привязанность, руководившие мной в первый раз в жизни и в диагнозе, и в терапии, и в хирургическом пособии при постели больной!

Моя нравственная сторона ехала из Москвы в Дерпт так же мало культивированною, как и научная.

Моя детская вера была потрясена тем слабым знанием, которое я приобрел в университете. Почему же это могло случиться с таким бед-

[1] На расстоянии (франц.).

ным и малообразованным школьником, каким я был, тогда как величайшие и светлые умы, обогащенные громадными сведениями, нередко соединяли в себе глубокое знание с искреннею верою? То, я полагаю, болезнь нашего века, в котором немного найдется таких исключений, как *Иоганн Мюллер* или *Рудольф Вагнер*; первый – ревностный католик, второй – протестант, и оба знаменитые естествоиспытатели, успевшие и в наше время примирить знание с верою. Эта болезнь нашего века зависит, я полагаю, оттого, что именно в наше время знание, и, конечно, поверхностное, быстро распространилось в массах, недовольно подготовленных к восприятию науки и знания предшествовавшими веками.

Яркий свет современной науки ослепил и вскружил голову ходившим прежде в потемках. Вышедшему быстро из потемок на свет, с первого взгляда, покажется все, конечно, слишком ясным и потому несомненным; а тут являются еще и просветители, которые для эффекта, подпускают все более и более света, хотя бы и искусственного.

Если я, возвращаясь теперь к моему давнопрошедшему, только подумаю, что заставило меня покинуть мои детские верования, что заставило перестать молиться с детским усердием, что внесло в молодую душу разъедающий червь сомнения и способствовало с необыкновенным усердием его дальнейшему развитию, то я не нахожу другой причины, как именно эти две. С одной стороны, меня озарил вдруг свет естествознания, тогда как я не был подготовлен к его принятию никаким другим положительным знанием, а просветителями моими оказались люди, так же, как и я сам, ослепленные слишком быстрым переходом от тьмы неведения к свету науки. Не мучимый никакими сомнениями и при моем обрядно-религиозном воспитании не имевший даже почвы для сомнения, я вдруг выступил на поприще, требовавшее постоянной работы мысли. А все приобретаемое умственным анализом неминуемо проходит чрез целый ряд сомнений. Мог ли же я, мальчишка, не вскружить себе голову, не охмелеть и не перенести тот же самый способ достижения истины и на другую, для него вовсе непригодную почву? Я видел, что так делают все и более опытные меня.

Знание, а тем более научное, делает человека до того самодовольным, что он, приобретая это знание, тотчас старается распространить его на все области своей духовной жизни, отвергая, что между ними есть и некоторые имеющие мало общего с научным, т.е. приобретенным путем анализа, знанием.

Разве тот не живет и не достоин имени человека, кто твердо верит, крепко надеется, горячо любит и просто, т.е. ненаучно, и, так сказать, бессознательно знает? Неужели мы вправе назвать такую жизнь не жизнью только потому, что этой личности недоставало средств и способов развить другую, умственную, сторону своей жизни? Не должны ли мы все стремиться к приведению нашей жизни в гармоническое целое, то есть к равномерному развитию разных сторон нашей умственной и духовной жизни? Такая высокая цель не утопия. Напротив, утопия – то, когда мы полагаем облагодетельствовать человеческое общество, ведя его по одному пути знания к неведомой и недостижимой цели.

Как счастливы были бы мы, если бы наши юноши, выступая на научное поприще, были вполне внутренне убеждены, что нельзя безнаказанно для самого себя пересаживать приобретенное научным анализом на другую сторону нашей духовной почвы! Зная это твердо, многие, очень многие из нас избегли бы жестокого внутреннего погрома, который приходилось им не однажды переживать, мужаясь и старея.

Моя университетская жизнь в Москве показала мне недостатки той обрядной религии, в которой я воспитывался; но разрушенное не было заменено ничем лучшим; в область веры было внесено отрицание, границ которого уже нельзя было определить. Молодой ум с тех пор начал бродить по всем закоулкам отрицания. Полное неверие и атеизм уже охватывали душу. К счастью моему, я не был esprit fort; я не мог не обращать взор на небо в тяжкие минуты жизни, а быть подлецом в отношении к самому себе, отвергать что бы то ни было в счастье и прибегать к его помощи в беде – казалось мне несовместимым с достоинством человека.

Если так шатка была у меня религиозная сторона, то и понятия мои о нравственности в эту эпоху жизни также не были крепки. И какая нравственность возможна без идеала! Те обманывают и себя, и других, которые полагают основы нравственности в взаимных интересах, эгоизме и т.п. Они берут одни внешние проявления, одну, так сказать, обрядную сторону нашего нравственного быта и не дают себе труда заглянуть глубже внутрь самих себя, а может быть, и действительно находят в себе не то, что следовало бы еще отыскивать. Наша беда именно в том и состояла, и состоит, что отцы наши не успели и не сумели вынести на свет какой-либо руководящий идеал, перед которым необходимо было бы остановиться с глубоким уважением.

Теперь этого уже не сделаешь: поздно; а было время, когда реализм не господствовал еще так над умами, как теперь, и идеалы не срывались так насильственно с их пьедесталов.

У меня не было ни положительной религии, ни руководствующего идеала, именно в то опасное время жизни, когда страсти и чувственность начинали заявлять свои права. Но до 18-ти лет я избежал сношения с женщинами. 16-ти лет, незадолго до отъезда моего в Дерпт, я был только платонически влюблен в дочь моего крестного отца, девушку старее меня[1]. В это же самое время я почитывал с одним товарищем купленное на толкучке «Ars amandi»[2] Овидия, понимая его с грехом пополам.

Предмет моей платонической первой любви была стройная блондинка с тонкими чертами, чрезвычайно мелодическим и звучным голосом и голубыми, улыбающимися глазами. Эти глаза и этот голос, сколько я помню, и пленили мое сердце. Чем же обнаруживалась моя любовь? Во-первых, тем, что во всякое свободное время летал, хотя и пешком,

[1] Крестный отец – С.А.Лукутин; его дочь Наталия, родившаяся в 1808 г., была жива еще в 1892 г.

[2] Искусство любви (лат.).

из Кудрина к Илье Пророку, в Басманную; во-вторых, не упускал при этом ни одного удобного случая, чтобы не завить волосы барашками. Как странным кажусь я теперь самому себе, когда представляю себе, что моя плешивая голова некогда могла быть покрытою завитыми пукольками!!. В-третьих, я не упускал также ни одного случая, чтобы не поцеловать тонкую, нежную ручку, как например, играя с нею в мельники, фанты и подавая ей что-нибудь со стола, и однажды, – о, блаженство! – когда я хотел поцеловать ее руку, подававшую мне бутерброд, она загнула ее назад и поцеловала меня в щеку, возле самых губ.

Наконец, когда я оставался ночевать в гостях у моего крестного отца, то любовь будила меня рано утром и выгоняла в сад, конечно, не зимою; тогда я садился против окон спальни, выходивших в сад, мечтал и ожидал с нетерпением, когда она встанет и появится в белой утренней одежде у окна. Предмет моей любви пел очаровательные два французских романса, из которых один: «Vous allez à la gloire»[1], я не мог слушать без слез.

Самые ее недостатки, из которых один делал на меня особенное впечатление, мне нравились; это была необыкновенная и какая-то прозрачная синева под глазами.

Когда я был в Москве теперь на моем юбилее[2], я не знал, ехать ли мне, или нет, навестить мою первую любовь? Брат ее был у меня и сказал мне, что он живет вместе с нею, и что она хромает после перелома ноги. Но ехать я раздумал.

Если мои прежние пукольки на голове и голый череп настоящего времени делают меня для меня каким-то странным, на себя непохожим, двойником, то[3] идти посмотреть на другую развалину равносильно было бы поездке на кладбище.

Но memento mori[4] для старика везде много. О взаимности, конечно, не могло быть и речи. Она была девушка-невеста известной в Москве фамилии почетного гражданина, тогда еще владевшего довольно хорошими средствами (прежнего миллионера); я – мальчишка, только что кончивший курс в университете, без средств и бравший иногда подаяние от ее отца.

Воспоминания этой любви, то есть настоящие любовные воспоминания, продолжались недолго. Новая жизнь, новая обстановка, новые люди скоро внесли в душу целый рой других, более глубоких впечатлений.

В мае месяце нам предписано было отправиться в С.-Петербург.

Выдали от университета по мундиру и шпаге на брата и прогонные. Везти нас, под присмотром, поручено было адъюнкт-профессору математики *Щепкину*. Отправлялись из Москвы: *Шиховский*[5] (Ив[ан] Ос[и-

---

[1] Вы шествуете к славе (франц.).

[2] 50-летний юбилей научной деятельности Пирогова праздновался 24–26 мая 1881 г.

[3] Здесь в рукописи еще: «23-летняя, то, что прежде меня так влекло, так приятно волновало, и то, что мне предстояло» (зачеркнуто).

[4] Напоминаний о смерти (лат.).

[5] И.С.Шиховской (1800–1854) – профессор ботаники в Московском и Петербургском университетах, а также в главном Педагогическом институте в Петербурге.

пович], уже докторант медицины по ботанике), *Сокольский* (также докторант по терапии), *Редкин*[1] (Петр Григорьевич – по римскому праву), *Корнух-Троцкий* (лекарь по акушерству), *Коноплев* (кандидат по восточным языкам), *Шуманский* (по истории) и я.

Собрались все в университетском здании и выехали на перекладных по двое; *Щепкин* – в своем экипаже.

Мне пришлось ехать с Шуманским. Приходится заметить в общих чертах характеристику моих товарищей. Они стоят того.

За исключением Коноплева, оставшегося в С.-Петербурге, я с другими провел целых пять лет вместе в Дерпте и поневоле изучил. Во-первых, *Шуманский*, где то он, жив ли? О нем после Дерпта я уже ничего не слыхал; с тех пор он для меня как в воду канул, был замечательная личность; я потом не встречал ни разу подобной, и едва ли где-нибудь, кроме России, встречаются такого рода особы.

Шуманский был старее меня одним или двумя годами; но лицо и особливо светло-голубые, несколько навыкате глаза были немолодые глаза; рост приземистый; сложение довольно крепкое. Способность к языкам и знание языков отличное. Он говорил и писал на трех новейших языках (французском, немецком и английском) в совершенстве; по-латыни и по-гречески научился в Дерпте в два года. Память необыкновенная; прочитанное он мог передавать иногда теми же словами тотчас по прочтении. К своей науке (истории) показывал много интереса. Профессора в Дерпте оставались чрезвычайно довольными его успехами. И, несмотря на все это, *Шуманский*, пробыв около двух лет в Дерпте, в одно прекрасное утро, ни с того, ни с сего, объявляет, что он более учиться в Дерпте не намерен, профессором быть не хочет и уезжает домой, уплатив в казну за все причиненные им издержки.

И никто, никто не узнал, какая собственно причина так внезапно произвела такой переворот. Он скоро собрался и с тех пор исчез.

Шуманский был сын помещика, получил очень хорошее домашнее воспитание; с своею семьею он, вероятно, был не в ладах, когда учился в Московском университете и поступил в профессорский институт; этим можно объяснить, почему он избрал учебное поприще вовсе не по желанию, а потом, при изменившихся обстоятельствах, тотчас же переседлался. К тому еще он и попивал.

Я, считаясь его приятелем с тех пор, как мы сделали поездку из Москвы в Петербург вместе, не хотел отставать от него, и в первое время нашего пребывания в Дерпте я сходился иногда с ним и пил вместе Kummel, и несколько раз, как я вспоминаю к моему ужасу, до опьянения.

Еще одно поражало меня в Шуманском. Это какая-то особенная религиозность. Не то, чтобы он был набожен, иногда он позволял себе и свободомыслие, но у него был своеобразный культ. Он почему-то имел особое почтение и доверие к храму Вознесения в Москве, на улице (забыл название, хотя приходилось ходить по ней из Кудрина в универси-

[1] П.Г.Редкин (1818–1891) – известный юрист, профессор энциклопедии права в Московском и Петербургском университетах.

тет по четыре раза в день) тогда модной в Москве, славившемуся изящными манерами священнослужителя, про которого рассказывали, что он, проходя во время служения мимо дам, всегда извинялся по-французски: «Excusez, mesdames»[1]. Этому-то храму Вознесения Шуманский воссылал иногда теплые молитвы на французском языке, и я читал у него несколько импровизированных молитв этого рода, записанных потом в тетрадку.

Второй оригинал из моих московских товарищей был Петр Григорьевич *Корнух-Троцкий*[2]. Что-то необычайно угловатое и комическое лежало уже в его наружности. Сутуловатый брюнет, с чертами и цветом лица, делавшими его на вид гораздо старее, чем он был на самом деле, с седлом на носу и резким, гнусливым голосом, Корнух-Троцкий не мог не обращать на себя внимания с первого же взгляда. И действительно, это была личность sui generis[3].

В Москве между студентами, и даже прежде еще между гимназистами, он был известен за хорошего ботаника; и действительно, по рассказам товарищей, занимался ею с увлечением. Но, рассудив, как он сам сознавался, что ботаника не накормит, он выбрал для занятия предмет более прибыльный. К этому, по словам *Троцкого*, много содействовал также знакомый ему и в то время известный в Москве акушер *Карпинский*.

«Посмотри на меня, – говорил ему Карпинский, – у меня, славу Богу, есть что есть, а потому, что мне щипцы накладывать все равно, что орехи щелкать».

И вот Корнух-Троцкий отправляется в Дерпт по акушерству.

Первый месяц ничего; все идет, как надо. Профессор акушерства в Дерпте – старик Дейтш. У него в первый раз в жизни Корнух-Троцкий приглашается тушировать[4] беременных чухонок, нанимавшихся для этой цели от клиники.

Без смеха не могу вспомнить пластические рассказы Корнух-Троцкого, как он приступил к невиданному и совершенно для него незнакомому делу, как палец его заблудился, как он, сколько ни искал, не мог достать маточной шейки; а потому и наговорил какую-то чушь, реферируя Дейтшу о результате своих поисков. Услыхал он также намек профессора о необходимости взять у него privatissimum[5], то есть заплатить вместе с другими несколько десятков рублей. Это был нож острый. Расходоваться Корнух-Троцкий не любил. «Этак, пожалуй, брат, тут без штанов останешься, прежде чем научишься чему-нибудь». К счастию для него, не прошло и месяца после нашего прибытия в Дерпт, как нас потребовали на tentamen[6] по разным предметам и преимущественно по естественным наукам и греческому языку. Делалось это для того, чтобы узнать пробелы в наших сведениях и потом дать нам возможность заместить их.

---

[1] Извините, дамы (франц.).
[2] П.Я.Корнух-Троцкий (1807–1877) – профессор ботаники в Киеве и Казани.
[3] Своеобразная (лат.).
[4] Тушировать – произвести гинекологическое исследование.
[5] Совершенно частные уроки (лат.).
[6] Предварительное испытание (лат.).

И вот акушер мой Корнух-Троцкий экзаменуется у знаменитого профессора ботаники *Ледебура* вместе с нами. Дают нам несколько растений для определения. Мы – ни в зуб толкнуть, а Троцкий удивляет Ледебура точностию своего определения. Ледебур в восхищении и говорит ему несколько лестных слов. И мы узнаем чрез несколько дней, что акушерство заменено у Корнух-Троцкого ботаникою. Странно также, что этот, уже тогда старообразный человек лет 25-ти, через 20 с лишком лет женится на дочери одного из самых младших наших товарищей (*Котельникова*[1], который был только годом или двумя старее меня).

Третий московский оригинал между нами был Григорий Иванович *Сокольский*[2], приобретший между нами известность постоянными сражениями с профессорами и вообще с начальством. От *М.Я.Мудрова* Сокольский получил какую-то особенную привязанность к бруссеизму. Чтение нескольких сочинений Бруссе привело его в восхищение своею наглядностью, простотою и логичностью. Он привез с собою из Москвы диссертацию «De dyssenteria» и возился с нею в Дерпте несколько лет, пока, после разного рода переделок и ограничений бруссеизма, факультет в Дерпте разрешил ее защищение. Стараясь отклонить от себя упрек в пристрастии к Бруссе, Сокольский прибавил мотто из Тацита: «Galba, Otto, Vitellius mihi nec beneficio neque injuria sunt cogniti»[3]. Но за его выходки против немецких профессоров они его сильно прижали и не выслали вместе с нами за границу, а отослали в Петербург для дальнейшего усовершенствования к Карлу Антоновичу *Майеру* в Обуховскую больницу, которому он потом так насолил столкновениями при постели больных, что тот рад был от него отделаться, и через год Сокольский явился к нам в Берлин, а здесь выкинул весьма рискованную для того времени штуку, уехав из Берлина без паспорта в Цюрих к *Шенлейну*[4] и в Париж к *Леру*[5].

Григорий Иванович был человек недюжинный; я его любил за его особенного рода юмор. Он был сын того московского священника, который в 1820 годах вздумал написать опровержение Коперниковой системы; от отца перешла склонность к оригинальности и к сыну. В Москве он также не ужился в университете и вышел в отставку до эмеритуры[6], больно сострив на одном экзамене над попечителем *Голохвастовым*.

Замечательна у этого нашего товарища была охота к изучению механизма часов, который он знал необыкновенно точно, а потому умел довольно верно определять достоинство часов. В Болгарии, в 1877 году,

---

[1] П.И.Котельников (1809–1879) – профессор чистой и прикладной математики в Казани.

[2] Г.И.Сокольский (1807–1886) – профессор патологии, терапии и психиатрии в Московском университете (1836–1848).

[3] Гальба, Оттон и Вителлиус [римские императоры, убиты в течение 69 г. н. эры] мне неизвестны ни своими благодеяниями, ни несправедливостью (лат.).

[4] И.-Л.Шенлейн – профессор внутренних болезней в Вюрцбурге, а затем в Берлине; выдающийся немецкий клиницист.

[5] Ж.Ж.Леру (1749–1832) – профессор клинической терапии. Пирогов допустил ошибку, ко времени приезда Сокольского в Париж в 1834 г. Леру уже умер.

[6] Эмеритура – специальная пенсия за выслугу лет.

я встретился с одним врачом из Московского университета, знавшим *Сокольского*, и услыхал, что и до сего дня эта охота к часам не прошла у Сокольского. По рассказам, в его комнате висит более дюжины часов, механизм которых он так регулировал, что они все бьют в один момент.

Жаль, что на юбилее в Москве мое здоровье и хлопоты не позволили мне навестить *Сокольского*.

Я послал ему мою карточку с стихами Тредьяковского, которые Сокольский любил распевать некогда:

Когда бы мне сто уст и столь же языков,
Столь сильный глас был дан, железо сколько сильный,
То и тогда б всех глупостей родов
Не мог измыслить я обильно.

Судьба моих товарищей, их было 21, собранных по первому призыву в профессорский институт, меня интересует нередко.

Со многими из них я не встречался ни разу с тех пор, как мы поехали за границу; с некоторыми виделся потом в Москве и Петербурге; но в дружестве или товариществе ни с кем из них не был впоследствии.

В живых из 21-го еще, сколько мне известно: *П.Г.Редкин*, *Сокольский*, Мих[аил] *Куторга*[1], *Корнух-Троцкий*, *Котельников*, *Ивановский*[2] и покуда я еще, – шестеро, и то не наверное; значит смерть похитила в течение 53 лет 15, вероятно, и более. Двое умерли еще в Дерпте: *Шкляревский*, чудный парень и поэт (С.-Петербургского университета), – от чахотки и один (ипохондрик довольно ограниченных способностей, из Харькова) – от холеры; остальные потом, и из них один, *Чивилев*[3], бывший наставником у покойного наследника Николая Александровича, сгорел в Царскосельском дворце (по слухам от руки сына).

Измучившись ездою на перекладной, никогда еще не ездивши по дорогам с перекладинами из бревен, которые заменяли в то время во многих местах шоссе, мы остановились сначала в какой-то гостинице, едва ли не «Демут», в С.-Петербурге, а потом для нас отвели пустопорожнее помещение в тогдашнем университетском доме, кажется, у Семеновского моста.

Первый визит был хозяину Щучьего Двора, как его тогда звали, директору департамента народного просвещения (*Д.И.Языкову*), какому-то молчаливому и натянутому бюрократу; приглашены были к нему на обед; обедали скучно и безмолвно, а потом представились и самому министру народного просвещения, князю *Ливену*[4], генералу-немцу, говорившему весьма плохо по-русски, пиетисту по убеждению.

---

[1] М.С.Куторга (1809–1886) – профессор истории в Петербурге.

[2] И.И.Ивановский (1807–1886) – профессор международного права в Петербурге.

[3] А.И.Чивилев (1808–1867) – профессор политической экономии и статистики в Москве; погиб при пожаре запасного Царскосельского дворца, где он жил как руководитель занятиями сыновей Александра II – Владимира и Алексея.

[4] К.А.Ливен (1767–1844) – участник войны со Швецией (1789–1790); с 1819 г. – попечитель дерптского учебного округа; с 1828 по 1838 г. – министр просвещения.

Назначен был, наконец, экзамен в Академии наук.

Для нас, врачей, пригласили экзаменаторов из Медико-хирургической академии, и именно *Велланского* и *Буша*[1].

Буш спросил у меня что-то о грыжах, довольно слегка; я ошибся только per lapsum linguae[2], сказав вместо art. epigastrica – art. hypogastrica. А я, признаться, трусил. Где, думаю, мне выдержать порядочный экзамен из хирургии, которою я в Москве вовсе не занимался! Радость после выдержания экзамена была, конечно, большая. Слава Богу, назад не воротят. Вообще экзамен в Академии для всех наших сошел хорошо с рук, за исключением *Петра Григорьевича Редкина*. Его, несчастного, отделал тогда академик *Грефе*[3] напропалую и дал такой строгий относительно judicium[4], что решили не посылать П.Г.Редкина в Дерпт. Он, однако же, хорошо сделал, что не послушался такого варварского решения и поехал с нами на свой счет. В Дерпте чрез несколько времени решили иначе.

В Дерпт я ехал втроем с *Редкиным* и *Сокольским* на долгих; ночевали в Нарве; впервые в жизни видел водопад и кусок моря и прибыли в заезжий дом к Фрею в Дерпте, за несколько дней до начала осенне-зимнего семестра.

В Дерпте мы все должны были поступить под команду Вас[илия] Мих[айловича] *Перевощикова*[5], профессора русского языка.

Перевощиков перешел в Дерпт из Казани, где он был профессором во времена *Магницкого*, положившего глубокий отпечаток на всю его деятельность и даже на самую физиономию.

Квартиры для нас были уже наняты, и я поместился вместе с *Корнух-Троцким* и *Шиховским* в довольно глухом месте, почти наискосок против дома профессора хирургии *Мойера*.

Вас[илий] Мих[айлович] *Перевощиков* играл некоторую роль в моей жизни, и я должен остановиться на этой личности. С самого начала между нами пробежала черная кошка, и отношения мои к Перевощикову могли бы впоследствии иметь для меня весьма печальные последствия. Перевощиков был тип сухого, безжизненного, скрытного или, по крайней мере, ничего не выражающего бюрократа; самая походка его, плавная, равномерная и как бы предусмотренная, выражала характер идущего. Цвет лица пергаментный; щеки и подбородок гладко выбриты; речь, как и походка, плавная и монотонная, без малейшего повышения или понижения голоса. Перевощиков повел нас гурьбою по профессорам. По-немецки он не говорил почему-то, и краткая беседа велась или на французском, или на смешанном языке. Спрашивали по-французски – отвечали по-немецки; спрашивали по-немецки – отвечали по-французски. Для меня самое отрадное посещение было дома *Мойера*.

---

[1] И.Ф.Буш (1771–1843) – профессор хирургии в Медико-хирургической академии.

[2] Обмолвка (лат.).

[3] Ф.Б.Грефе (1780–1851) – академик по греческой и римской словесности.

[4] Отзыв (лат.).

[5] В.М.Перевощиков (1785–1851) – писатель, профессор истории, географии, русской словесности в Казани, затем – русской словесности в Дерпте.

Иван Филиппович (так его звали по-русски) *Мойер*, эстляндец, но происхождения по отцу голландского, был профессор хирургии в Дерптском университете.

С именем Мойера в памяти у меня сохранились разные чувства. Да, чувства сохраняются в памяти так же, как и знания. И эти чувства – не одинаковые. Я сохраняю к Мойеру, во-первых, чувство беспредельной благодарности и вместе с нею досады и на себя, и на него; досадую и на себя, и на него; почему это глубокое чувство благодарности осталось в душе не вполне чистым и безупречным – это объяснит мой дальнейший рассказ, а теперь пока надо отделаться от *Перевощикова*.

Как теперь его вижу, идущего с нами по улицам; этот сжатый рот, эта кисточка на шапке, эта медленная, в такт, поступь и эта скрытая злость против мальчишки, ему вовсе незнакомого.

Перевощиков имел, конечно, инструкцию следить за нашею нравственностью, и он как формалист полагал, что ничем не может он пред начальством показать так свою заботу о нашей нравственности, как посещая нас в разное время и врасплох. Он это и делал в начале нашего пребывания в Дерпте. Однажды он приходит к нам (в дом Реберга, напротив дома Мойера); я в это время был на лекции. Перевощиков садится в проходной комнате, ведущей в наши спальни, и беседует с моими товарищами (*Шиховским* и *Корнух-Троцким*). Я, не ожидав такого посещения, вхожу прямо со двора по обыкновению в шапке и иду прямо в мою комнату, и, только отворив дверь в нее, примечаю, что в другом углу сидит Перевощиков. Но было поздно. Перевощиков видел, что я вошел в шапке и не скинул ее тотчас же пред ним, и объяснил это себе моим неуважением к начальству. И мало того, что он объяснил так себе, но донес это, как я после узнал, и в Петербург, по начальству. Мне и в голову не могло придти что-нибудь подобное; тем более что я, оправив мой туалет, вышел из моей комнаты в общую и принял участие в общей беседе с Перевощиковым и товарищами; он не показал и виду, что недоволен мною. Но к концу семестра Перевощиков призывает меня к себе в кабинет, тщательно запирает дверь за собою, садится близко меня и таинственно, вполголоса, спрашивает меня по обыкновению медленно, с расстановкою:

– Скажите, г. Пирогов, какую рекомендацию о вашем поведении я должен сделать высшему начальству?

Я остолбенел. Наконец, собравшись с духом, говорю:

– Какую вам угодно, Василий Михайлович; я тут ничего не могу.

– Но после тех знаков неуважения к начальству, которые я имел случай заметить, судите сами, могу ли я вас рекомендовать с хорошей стороны?

Это что же такое? – думаю я, и ума не приложу, к чему это он ведет. Я прошу объяснения. Причина объясняется. Тогда я оправился, и как ни был я еще молод, но, видя, что имею дело или с злым умыслом, или с мономанией, я встаю и смело говорю:

– Василий Михайлович, вы, конечно, можете очернить пред высшим начальством кого вам угодно, но одно, мне кажется, я имею право

требовать от вас, чтобы вы мотивировали вашу рекомендацию обо мне тем фактом, на котором вы основываетесь. – Сказав это, я распрощался, и с тех пор – к Демьяну ни ногой.

В Петербург пошло донесение Перевощикова неизвестно в каком виде. Из Петербурга прислано мне чрез Перевощикова же строгое замечание, но я его не слыхал от него. Обстоятельства переменились. И я с тех пор Перевощикова встречал только иногда на улицах. Не помню даже, отдал ли я ему прощальный визит, когда он был уволен после скандала, сделанного ему студентами на лекции. Он был ими выбарабанен (ausgetrommelt) также вследствие его подозрительности, мелочности и бестактной обидчивости.

Семейство *Мойера*, защитившего меня от наветов нашего аргуса[1], состояло их трех особ: самого профессора, его тещи Екатерины Афанасьевны *Протасовой* (урожденной *Буниной*) и семи-восьмилетней дочери Мойера – Кати. Жены Мойера, старшей дочери Протасовой, уже давно не было на свете, и Мойер остался до конца жизни вдовцом.

Эта была личность замечательная и высокоталантливая. Уже одна наружность была выдающаяся. Высокий ростом, дородный, но не обрюзглый от толстоты, широкоплечий, с крупными чертами лица, умными голубыми глазами, смотревшими из-под густых, несколько нависших бровей, с густыми, уже седыми несколько, щетинистыми волосами, с длинными, красивыми пальцами на руках, Мойер мог служить типом видного мужчины. В молодости он, вероятно, был очень красивым блондином. Речь его была всегда ясна, отчетлива, выразительна. Лекции отличались простотою, ясностью и пластичною наглядностью изложения. Талант к музыке был у Мойера необыкновенный; его игру на фортепиано, и особливо пьес Бетховена, можно было слушать целые часы с наслаждением. Садясь за фортепиано, он так углублялся в игру, что не обращал уже никакого внимания на его окружающих. Несколько близорукий, носил постоянно большие серебряные очки, которые иногда снимал при производстве операции.

Характер Мойера нельзя было определить одним словом; вообще же можно сказать, что это был талантливый ленивец. Леность, или, вернее, квиетизм, Мойера иногда доходил до того, что, начав какой-либо занимательный разговор с знакомым, от откладывал дела, не терпящие отлагательства; переменить свое in statu quo[2], начать какую-нибудь новую работу или заняться разбором давно уже ждавшего его дела – это сущая напасть для Мойера. Он подходил к делу с разных сторон, приближался, опять отходил и снова предавался своему квиетизму. В наше время Мойер имел уже много занятий по имению своей дочери в Орловской губернии, ездил иногда туда в вакационное время и к своей науке уже был довольно холоден; читал мало; операций, особливо трудных и рискованных, не делал; частной практики почти не имел; и в клинике, нередко, большая часть кроватей оставались незамещенными.

---

[1] Аргус (лат. Argus, гр. Argos) – бдительный, неусыпный страж.
[2] Состояние (лат.).

По-видимому, появление на сцене нескольких молодых людей, ревностно занимавшихся хирургиею и анатомиею, к числу которых принадлежали, кроме меня, *Иноземцев*[1], *Даль*[2], *Липгардт*, несколько оживили научный интерес Мойера. Он, к удивлению знавших его прежде, дошел в своем интересе до того, что занимался вместе с нами по целым часам препарированием над трупами в анатомическом театре.

Но, несмотря на охлаждение к науке и его квиетизм, Мойер своим практическим умом и основательным образованием, приобретенным в одной из самых знаменитых школ, доставлял истинную пользу своим ученикам. Он образовался преимущественно в Италии, в Павии, в школе знаменитого Антонио *Скарпы*, и это было во времена апогея славы этого хирурга. Посещение госпиталей Милана и Вены, где в то время находился *Руст*[3], докончило хирургическое образование Мойера.

Возвратясь в Россию, он прямо попал хирургом в военные госпитали, переполненные ранеными в Отечественной войне 1812 года. Как оператор Мойер владел истинно хирургическою ловкостью, несуетливой, неспешной и негрубой. Он делал операции, можно сказать, с чувством, с толком, с расстановкою. Как врач Мойер терпеть не мог ни лечить, ни лечиться, и к лекарствам не имел доверия. И из наружных средств он употреблял в лечении ран почти одни припарки.

Екатерина Афанасьевна *Протасова* была приземистая, сгорбленная старушка, лет 66, но еще с свежим, приятным лицом, умными серыми глазами и тонкими, сложенными в улыбку, губами. Хотя она носила очки, но видела еще так хорошо, что могла вышивать по канве, и была на это мастерица; любила чтение, разговаривала всегда ровным и довольно еще звучным голосом; страдала с давних пор, по крайней мере, раз в месяц мигренями и потому подвязывала голову всегда сверх чепца шелковым платком.

Вот эта-то почтенная особа, заинтересованная, вероятно, моею молодостью и неопытностью, и стала моею покровительницею. Она интересовалась моею прежнею жизнью в Москве, часто расспрашивала меня про житье-бытье моей семьи, оставшейся в Москве, и, узнав от Мойера о замечании, полученном из Петербурга о моем поведении по доносу Перевощикова, заставила меня откровенно рассказать в подробности о случившемся.

Из-за меня, конечно не по моей вине, сделался и некоторый разлад между двумя домами; жена Перевощикова (если не ошибаюсь, урожд[енная] *Княжевич*, Екатер[ина] Матвеевна) и дочь ее, посещавшие прежде нередко Екатерину Афанасьевну, прекратили свои посе-

---

[1] И.Ф.Иноземцев (1802–1869) – заведовал кафедрой хирургии в Московском университете с 1835 по 1854 г.

[2] В.И.Даль (1801–1872) – русский ученый, этнограф, писатель, составитель известного «Толкового словаря живого великорусского языка», врач, участник Пироговского врачебного кружка.

[3] А.Скарпа (1747–1832) – знаменитый итальянский профессор анатомии и хирургии.

И.Руст (1775–1840) – выдающийся немецкий хирург, профессор в Кракове и Берлине; его лекции слушал Пирогов во время своей заграничной командировки.

щения. Когда к концу семестра вышел срок найму моей квартиры в доме Реберга, то Екат[ерина] Афанасьевна предложила мне переехать к ним в дом, где я и жил несколько месяцев, пока не очистилось помещение в клинике, в котором я и оставался вместе с *Иноземцевым* до самого отъезда за границу. Мойер при заступничестве Екат[ерины] Афанасьевны, вероятно, нашел средства оправдать меня; так или нет, но донос Перевощикова не имел для меня никаких худых последствий, тем более что в это же время я принялся серьезно работать над заданною факультетом хирургическою темою о перевязке артерий, награжденной потом золотою медалью[1]. Я торжествовал, и не без причины. Я работал. Дни я просиживал в анатомическом театре над препарированием различных областей, занимаемых артериальными стволами, делал опыты с перевязками артерий на собаках и телятах, много читал, компилировал и писал.

Латынь помогли мне обработать товарищи-филологи (покойные *Крюков*[2] и *Шкляревский*); признаюсь, для красоты слога жертвовал иногда и содержанием; но диссертация в 50 писан[ых] листов, с несколькими рисунками с натуры (с моих препаратов), вышла на славу и заставила о себе заговорить и студентов, и профессоров.

Рисунки с моих препаратов артерий над трупами, снятые с натуры, в натуральной величине, красками, хранятся и до сих пор, я слышал, в анатомическом театре в Дерпте.

Добрейшая Екатерина Афанасьевна пригласила меня обедать постоянно с ними, и я с тех пор был в течение почти пяти лет домашним человеком в доме Мойера. Тут я познакомился и с Василием Андреевичем *Жуковским*. Поэт был незаконный сын (от пленной турчанки) ее отца Бунина, воспитывался у нее в доме, влюбился в свою старшую племянницу, которая вышла потом замуж за Мойера (Екатер[ина] Аф[анасьевна] не дала согласия на брак влюбленных, считая это грехом).

Я живо помню, как однажды *Жуковский* привез манускрипт Пушкина «Борис Годунов» и читал его Екат[ерине] Афанасьевне; помню также хорошо, что у меня пробежала дрожь по спине при словах Годунова: «И мальчики кровавые в глазах».

В воспоминании сохранилось у меня, несмотря на протекшие уже с тех пор 50 с лишком лет, с каким рвением и юношеским пылом принялся я за мою науку; не находя много занятий в маленькой клинике, я почти всецело отдался изучению хирургической анатомии и производству операций над трупами и живыми животными. Я был в то время безжалостен к страданиям.

Однажды, я помню, это равнодушие мое к мукам животных при вивисекциях поразило меня самого так, что я, с ножом в руках, обратившись к ассистировавшему мне товарищу, невольно вскрикнул:

– Ведь так, пожалуй, легко зарезать и человека.

---

[1] Золотую медаль Пирогов получил 12 декабря 1829 г.

[2] Д.Л.Крюков (1809–1845) – талантливый профессор римской словесности и древностей в Московском университете, чрезвычайно популярный, любимый студентами.

Да, о вивисекциях можно многое сказать и за, и против. Несомненно, они важное подспорье науке, и оказали, и окажут ей несомненные и неоцененные услуги. Права человека делать вивисекции также нельзя оспаривать после того, как человек убивает и мучает животных для кулинарных и других целей. Кодекса для этого права нет и не писано. Но наука не восполняет всецело жизни человека: проходит юношеский пыл и мужеская зрелость, наступает другая пора жизни и с нею потребность сосредоточиваться все более и более и углубляться в самого себя; тогда воспоминание о причиненном насилии, муках, страданиях другому живому существу начинает щемить невольно сердце. Так было, кажется, и с великим *Галлером*; так, признаюсь, случалось и со мной, и в последние годы я ни за что бы не решился на те жестокие опыты над животными, которые я некогда производил так усердно и так равнодушно. Это своего рода memento mori.

Приехав в Дерпт без всякой подготовки к экспериментальным научным занятиям, я бросился, очертя голову, экспериментировать и, конечно, был жестоким без нужды и без пользы; и воспоминание мое теперь отравляет еще более то, что, причинив тяжкие муки многим живым существам, я часто не достигал ничего другого, кроме отрицательного результата, т.е. не нашед того, что искал.

Современным экспериментаторам, может быть, не придется испытывать на старости тяжелых воспоминаний от вивисекций. Теперь значительная половина вивисекций производится над лягушками, а эти хладнокровные *рептилии* не внушают того чувства, которое привязывает человека к теплокровному животному. Потом современные опыты над живыми производятся почти все с помощью хлороформа. Но и одно насильственное лишение живого, беззащитного существа жизни, с какою бы то ни было эгоистическою (хотя бы и высокою) целью, не может оставить в нас приятных и успокоительных воспоминаний; немудрено, что то, над чем я некогда смеялся – вегетаризм, теперь кажется мне вовсе не так смешным.

К концу семестра 1828 г. явились и последние члены нашего профессорского института – харьковцы, в числе четырех. Один из них, *Ф.И.Иноземцев*, был, как и я, по хирургии, с тем только различием от меня, что, во-первых, это был уже человек лет под 30, не менее 27-ми, 28-ми, а во-вторых, он был несравненно опытнее меня и более чем я, приготовлен. В Харьковском университете в то время учил весьма дельный профессор хирургии *Н.И.Еллинский*. Иноземцев не только ассистировал ему при разных операциях, но и сам уже делал одну операцию (ампутацию голени). Это разом ставило его головою выше меня и в моих глазах, и в глазах других товарищей.

Иноземцев и с внешней стороны был гораздо представительнее меня. Высокий и довольно ловкий брюнет, с черными блестящими глазами, с безукоризненными баками, одетый всегда чисто и с некоторою претензиею на элегантность, Иноземцев легко делался вхожим в разные общества и везде умел заслужить репутацию любезного и милого человека, доброго товарища и отличного парня.

Немудрено, что я начал ему завидовать. Это скверное чувство особливо выражалось в моем дневнике, который я некоторое время вел тогда очень аккуратно.

Сверх зависти меня возмутило против *Иноземцева* и еще одно: однажды, я жил тогда еще у Мойера, я простудился и заболел. Мойер приходит навестить меня и намекает мне довольно ясно, что я порчу себя питьем водки; после такого намека, я, взволнованный и еще больной, являюсь к Екатерине Афанасьевне *Протасовой* и говорю, что я не могу долее оставаться в их доме, так как я заподозрен в пьянстве.

Старушка ахнула: «Откуда это, батюшка, такое взял?» Я рассказал. Потом вышло, что *Иноземцев* стороною намекнул что-то, где-то, как-то, что я склонен к злоупотреблению спиртными напитками.

Действительно, *Иноземцев* видел меня раза два навеселе вместе с *Шуманским*, от которого я в первый раз и узнал вкус водки. Долго я не мог простить Иноземцеву этой сплетни. Мы жили с ним в течение 4-х слишком лет вместе в одной (довольно просторной) комнате в клинике; но наши лета, взгляды, вкусы, занятия, отношения к товарищам, профессорам и другим лицам были так различны, что, кроме одного помещения и одной и той же науки, избранной обоими нами, не было между нами ничего общего.

Меня досаждало еще то, что вечером к *Иноземцеву* приходили, по крайней мере раз или два в неделю, в гости три или четыре товарища из наших или и других русских, которые все знакомы были коротко с Иноземцевым. При чаепитии, курении табака (которого я тогда не терпел) начиналась игра в вист, продолжавшаяся за полночь и мешавшая мне читать или писать.

Я должен покаяться, вспоминая об Иноземцеве. Я теперь и сам бы себе не поверил или, лучше, не желал бы верить; но что было, то было. Я нередко, по недостатку денег к концу месяца, оставался день или два без сахара, и вот в один из таких дней меня черт попутал взять тайком три, четыре куска сахара из жестянки Иноземцева. Он как-то заметил это, и запер жестянку. О, позор! Дорого бы я дал, чтобы это не было былью. Кстати, повинюсь еще и в воровстве с книгами. Я во всю мою жизнь утаил, т.е., взяв, не отдал три книги; а потом, когда хотел их возвратить, то было некому, или я от стыда откладывал все и откладывал возвращение. Потом большая часть моей библиотеки поступила в пользу студенческой библиотеки[1].

Во время нашего пребывания в Дерпте университет пользовался большою славою в России. И действительно, большая часть кафедр была замещена отличными людьми, с знаменитым ректором *Эверсом* (историк) во главе: *Струве* (астроном), *Ледебур*, *Паррот* (сын академика), *Ратке* (физиолог), *Клоссиус* (юрист), *Эшшольц* (зоолог); между медиками отличались необыкновенною начитанностью и ученостью

---

[1] В начале 1860-х годов, проживая как руководитель занятиями русских профессорских кандидатов в Гейдельберге, Пирогов пожертвовал все свои книги в организованную там русскими студентами библиотеку.

проф[ессор] *Эрдман* прежде бывший в Казани, но изгнанный оттуда вместе с профессором математики *Бартельсом*[1] (сотоварищем короля *Луи-Филиппа*, когда они оба были учителями в Швейцарии). Изгнание немецких ученых из Казанского университета было совершено погромом Магницкого. Во время пребывания профессорского института в Дерпте присылались молодые русские люди и из других ведомств; от Академии наук были присланы *Загорский* (физиолог) и *Шерер*[2] (химик) как элевы[3]. Профессору астрономии *Струве* прислано было человек 10 штабных, или свитских, и морских офицеров для занятий при обсерватории.

Учреждение императрицы Марии прислало из воспитательного дома человек 6 или 7; наконец, и частные лица приезжали для образования или так, понаслышке, по моде; так, в наше время приехали учиться *Карамзины* – три брата, гр. *Соллогуб*, *Муравьев*, графы *Витгенштейны* (два брата), *Тутолмин*, *Матвеев* и еще до нас прибыл певец студенческих попоек и кутежей – *Языков* и другие.

Большая часть из них не окончили университетского курса, но почти все носили студенческий костюм: длинные сапоги – Stiefeln, Kragen, т.е. длинные воротники от шинелей вместо плащей, маленькие фуражки на голове.

Мундир студенческий в Дерпте, может быть, также служил приманкою; это был не то, что паскудный мундир того времени в других русских университетах; у дерптского студента воротник на мундире горел золотом; это был воротник черный, бархатный (на синем мундире) с вышитыми золотом дубовыми ветвями, занимавшими большую половину воротника. И на балах, и в театре мундир этот производил эффект.

Когда император Николай проезжал чрез Дерпт во время турецкой кампании, то ему приготовлена была почетная стража из студентов; одетые в эти свои мундиры, белые штаны в натяжку, ботфорты, рослые

---

[1] И.Ф.А.Эверс (1781–1830) – профессор русской истории и географии в Дерпте с 1811 г.

Ф.Г.В.Струве (1793–1864) – знаменитый астроном, с 1839 по 1864 г. был директором Пулковской обсерватории.

К.Ф.Ледебур (1785–1851) – профессор естественной истории в Дерпте с 1811 по 1836 г. В 1825 г. предпринял научную поездку на Алтай.

Я.Ф.В.Паррот (1791–1841) – занимал в Дерпте с 1821 по 1826 г. кафедру физиологии и с 1826 по 1841 г. кафедру физики.

М.Г.Ратке (1793–1860) – с 1829 по 1835 г. был профессором физиологии и патологии в Дерпте, с 1835 по 1860 г. – профессором зоологии и анатомии в Кенигсберге.

В.Ф.Клоссиус (1795–1838) – с 1824 по 1836 г. был профессором римского права в Дерпте.

И.Ф.Эсшольц (1793–1831) – с 1819 по 1831 г. профессор зоологии в Дерпте.

И.Ф.Эрдман (1778–1846) – профессор патологии и терапии в Дерпте с 1818 по 1822 г. и с 1827 по 1843 г.

И.М.Бартельс (1769–1836) – профессор математики в Рейхенау, Казани и Дерпте.

[2] А.П.Загорский (1807–1888) – профессор Медико-хирургической академии в Петербурге с 1835 г.

А.Шерер (1809–1875) – изучал химию, затем служил по министерству финансов.

[3] Воспитанники (франц. éléves).

и красивые студенты-стражники обратили внимание на себя самого Николая, и так как он ничего не заявил против этой обмундировки, то она и признавалась законною.

За исключением нас, присланных в Дерпт уже по окончании курса в русских университетах, и двух или трех других русских, всем прочим пребывание в Дерпте не пошло впрок. *Карамзины* и *Соллогуб* едва ли вынесли что-нибудь из дерптской научной жизни, кроме знакомства с разными студенческими обычаями; другие, как например, *Языков*, воспитанники из учреждений императрицы Марии и приезжие из Москвы и Петербурга полурусские и полунемцы просто спивались с кругу и уезжали чрез несколько лет в весьма плохом виде; только двое из них, *Федоров* Вас[илий] Фед[орович] и *Кантемиров*, вышли было в люди, но ненадолго. Федоров, весьма дельный астроном-наблюдатель, сделал экспедицию с *Парротом* на Арарат, потом в Сибирь, потом сделался профессором астрономии в Киеве и ректором университета, но не оставил привычки попивать и скоро умер, еще далеко не старый; *Кантемиров* вышел доктором медицины, был за границею, но до крайности бескровный и худосочный, также скоро умер еще в молодых летах.

В Дерпте русская поговорка приходилась наоборот. В России говорят: «что русскому здорово, то немцу – смерть»; а в Дерпте надо было, наоборот, сознаться: «что немцу здорово, то русскому – смерть». Немецкие студенты кутили, вливали в себя пиво, как в бездонную бочку, дрались на дуэлях, целые годы иногда не брали книги в руки, но потом как будто перерождались, начинали работать так же прилежно, как прежде бражничали, и оканчивали блестящим образом свою университетскую карьеру.

Мы, русские, из профессорского института, professeurembryonen[1], как нас звали немецкие студенты, мы все, слава Богу, уцелели; но мы не сходились ни с одним студенческим кружком, не участвовали ни в коммершах[2], ни в других студенческих препровождениях времени; и я, например, несмотря на мою раннюю молодость, даже вовсе и не имел никакой охоты знакомиться с студенческим бытом в Дерпте. Только два раза я из любопытства съездил на коммерш, и то впоследствии, по окончании курса.

Но как ни странен[3] в наше время этот анахронизм, который представляет студенческая жизнь с ее средневековыми обычаями, для постороннего наблюдателя, нельзя не согласиться, что она имеет многое в свою пользу: во-первых, самое вопиющее зло в обычаях этой жизни – дуэль – делает то, что ни в одном из наших университетов взаимные отношения между студентами не достигли такого благочиния, такой вежливости, как между студентами в Дерпте. О драках, заушениях, площадной брани и ругательствах между ними не может быть и речи.

[1] Профессорские зародыши (нем.).
[2] Пирушках (нем.).
[3] В рукописи еще: «Для потусторонних зрителей» (зачеркнуто).

Дуэли стоили жизни нескольким десяткам молодежи; это, без сомнения, очень прискорбно, и родители, потерявшие на дуэли безвременно своих сыновей, имеют полное право восставать против этого варварского обычая. Но что же делать, если в человеческом обществе нередко приходится выпирать клин клином за неимением лучшего средства против зла? А грубость нравов и обращение в студенческой жизни между товарищами портит также жизнь и есть не меньшее зло, чем дуэль. В Московском университете я был свидетелем отвратительных сцен из студенческой жизни, зависевших всецело от грубости и неурядицы взаимных отношений между товарищами. Кулачный бой, синяки и фонари, площадная ругань и матерщина были явлениями незаурядными.

Вот предо мною стоит, вспоминаю, студент из семинаристов, *Марсов*, и действительно – верзило чуть не в сажень, обросший весь, как щетиною, волосами. Я иду мимо в аудиторию, пробираясь сесть на место.

– Ты что тут, поросенок, таскаешься? Знаешь, какого шлепка задам!

Другие хохочут. Что тут поделаешь? Этакой верзило и взаправду хватил бы – все снова засмеялись бы, и дело с концом. Где существует так называемая студенческая Comment[1], там буйство, посрамление человеческого достоинства грубою обидою немыслимы – есть суд товарищей, решающих, что делать; и вот человек смолоду приучается к благородству, уважению личного достоинства и общественного мнения; а это едва ли не стоит нескольких жизней.

Впрочем, студенческие общества всегда старались сделать дуэли наименее опасными для жизни; известно, какие предосторожности берутся в студенческих дуэлях к защищению головы, шеи и т.п. против ударов. Но заметно, что каждый раз, с увеличением строгости против обыкновенных студенческих дуэлей увеличивались более опасные дуэли на пистолетах. В течение пяти лет были только два случая опасных дуэлей между студентами. В одном случае студенческий Schläger (род палаша) попал на третий грудинный хрящ, перерубил его и повредил титечную внутреннюю артерию (art. mammaria interna); собравшийся около раненого факультет, надо признаться, опозорился. Когда образовался плеврит раненой плевры с выпотом и значительным кровотечением из раны, до тех пор некровоточивой, то трое профессоров погрязли в предположениях: один говорил, что тут ранено легкое; другой – что ранена легочная вена; но ни один не узнал плевритического выпота в несколько фунтов весом. В таком-то жалком положении в то время находилось исследование грудных органов в наших университетах.

Другие два случая были пистолетные дуэли; в обеих раны были очень опасные, но исход был благополучный. В одном случае пуля пронизала шею около сонных артерий насквозь, задев горло; кровотечения, однако же, не было, и раненый только долго не мог говорить.

[1] Кодекс, регулирующий поведение студентов в отношении друг к другу и к остальному населению университетского города.

В другом случае пуля засела в лобной кости, у соединения ее с теменною, и была вытрепанирована *Мойером* весьма ловко. Раненый, конечно, выздоровел.

Занятия мои с каждым годом увеличивались; особливо занимался я разработкой фасций[1] и отношений их к артериальным стволам и органам таза. Это предмет был совершенно новый в то время. Обыкновенные анатомы бросали фасции; в Германии занимались ими очень мало, и только у англичан и французов можно было найти описание и изображение некоторых из них.

Я делался с каждым днем все более и более специалистом, предаваясь по временам изучению самостоятельно одной какой-либо ограниченной специальности. Дошло до того, что я перестал посещать лекции по другим наукам, кроме хирургии.

Это было глупо с моей стороны, и я много такого, что могло бы быть очень полезным впоследствии, пропустил и потерял. До *Мойера* начали доходить жалобы других профессоров о моем непосещении лекций. Профессор химии *Гебель* прижал меня и на семестровом экзамене. *Мойер* дельно увещевал меня не пренебрегать другими науками, и был прав.

Но меня смущало то, что, слушая лекции, я неминуемо краду время от занятий моим специальным предметом, который как ни специален, а все-таки заключает в себе, по крайней мере, три науки. А сверх того, я действительно тяготился слушанием лекций, и это неуменье слушать лекции у меня осталось на целую жизнь. Посвятив себя одиночным занятиям в анатомическом театре, в клинике и у себя на дому, я действительно отвык от лекций, приходя на них, дремал или засыпал и терял нить; демонстративных лекций в то время на медицинском факультете, за исключением хирургических и анатомических, вовсе не было; ни физиологические, ни патологические лекции не читались демонстративно. Зачем же, думал я, тратить время в дремоте и сне на лекциях? Наконец, я дошел до такого абсурда, что объявил однажды Мойеру о моем решении не держать окончательного экзамена, т.е. экзамена на докторскую степень, так как в то время от профессоров не требовали еще докторского диплома; а если понадобится, думал я, так дадут и без экзамена дельному человеку.

Мойер, конечно, отговорил меня от такого поступка и уверил, что экзаменаторы примут непременно во внимание мои отличные занятия анатомиею и хирургиею и будут потому весьма снисходительны.

Но я забежал слишком вперед в моем рассказе.

Нас послали в Дерпт только на два или три года, а мы между тем пробыли так целых пять лет. Это сделала для нас польская революция 1830–1831 годов.

Чрез год после нашего прибытия в Дерпт началась турецкая война 1828 года, и нам пришлось распрощаться с некоторыми из наших новых

---

[1] Фасция (лат. fascia повязка, полоса) – тонкая соединительнотканная оболочка, покрывающая отдельные мышцы и группы их, а также сосуды, нервы и некоторые органы.

дерптских знакомых. На эту войну уехал от нас Владимир Иванович *Даль* (впоследствии [писавший под псевдонимом] «Казак Луганский»).

Это был замечательный человек, сначала почему-то не нравившийся мне, но потом мой хороший приятель. Это был прежде человек, что называется, на все руки. За что ни брался Даль, все ему удавалось усвоить. С своим огромным носом, умными серыми глазами, всегда спокойный, слегка улыбающийся, он имел редкое свойство подражания голосу, жестам, мине других лиц; он с необыкновенным спокойствием и самою серьезною миною передавал самые комические сцены. Подражал звукам (жужжанию мухи, комара и проч.) до невероятия верно. В то время он не был еще писателем и литератором, но он читал уже отрывки из своих сказок. Как известно, прежде лейтенант флота, – *Даль* должен был оставить морскую службу отчасти потому, что страдал постоянно на корабле морскою болезнью, а отчасти за памфлет в стихах, написанный им на адмирала *Грейга*. Даль переседлал из моряков в лекаря; менее чем в четыре года выдержал отлично экзамен на лекаря и поступил в военную службу. Находясь в Дерпте, он пристрастился к хирургии и, владея между многими другими способностями необыкновенною ловкостью в механических работах, скоро сделался и ловким оператором; таким он и поехал на войну; потом он сделал и польскую кампанию, где отличился как инженер и пионер; а по окончании вступил ординатором в военно-сухопутный госпиталь и вскоре переседлал из лекарей в литераторы, потом в администраторы и кончил жизнь ученым, посвящавшим много лет составлению своего лексикона, материал к которому в виде пословиц и поговорок он начал собирать еще, кажется, до Дерпта.

В его читанных нам тогда отрывках попадалось уже множество собранных им, очевидно, в разных углах России поговорок, прибауток и пословиц.

Первое наше знакомство с Далем было довольно оригинально. Однажды, вскоре после нашего приезда в Дерпт, мы слышим у нашего окна с улицы какие-то странные, но не незнакомые звуки: русская песнь на каком-то инструменте. Смотрим – стоит студент в вицмундире; всунул он голову чрез открытое окно в комнату, держит что-то во рту и играет: «Здравствуй, милая, хорошая моя», не обращая на нас, пришедших в комнату из любопытства, никакого внимания. Инструмент оказывается органчик (губной), а виртуоз – *В.И.Даль*; он действительно играл отлично на органчике.

После Дерпта я встретился с Далем в 1841 году в С.-Петербурге, когда он служил у министра внутренних дел *Перовского*, и нередко сходился с ним в нашем обществе, составленном из дерптских приятелей[1].

Польская революция шла рука об руку с французскою, после которой Николай Павлович осерчал на французов и запретил русским ездить во Францию. Да мало того: до 1833 года нас никуда за границу не

[1] Имеется в виду кружок врачей, объединившихся вокруг Пирогова – так называемый Пироговский ферейн. Пирогов сделал в нем за 12 лет 140 научных докладов.

хотели пускать. Так мы и просидели в Дерпте сверх положенных еще два года; мне, однако же (впрочем, и другим), зачислили эти годы в пенсию, после моего ходатайства у военного министра в 1850-х годах.

Вместе с польскою революциею явилась и первая холера в России. Мы только слушали и ждали. Наконец, она добралась и до Дерпта. Первый случай встретился между нами; один из нас, некто *Шрамков* из Харьковского университета (фармаколог), странный ипохондрик, чернолицый, с желтоватым оттенком, вдруг, к вечеру, занемог чисто азиатскою холерою, и ночью, чрез шесть часов, Богу душу отдал.

Мы, медики, были неотлучно при постели больного; растирали, грели, делали, что могли; привели двух профессоров: *Замена*[1] (терапии) и *Эрдмана* (фармакологии). Ничего не помогло. *Замен* даже, кажется, струсил немного, и ушел как-то очень скоро, но *Эрдман*, старик, остался вместе с нами. После того холера появилась в инвалидном лазарете в конце города.

Вообще, однако же, она была умеренная и продолжалась не более шести недель (в октябре). Я, пришед домой, поутру, от покойника *Шрамкова*, вдруг как-то внутренне струсил, почувствовав какое-то неприятное ощущение тоски и страха прямо под ложечкою. Мне казалось, что меня скоро начнет рвать или же что я упаду в обморок. Я взял тотчас же теплую ванну, принял несколько опийных капель, напился чаю, согрелся и заснул. Встал здоровым. Уже на другой день я стал ходить в инвалидный лазарет и почти ежедневно вскрывал холерные трупы. В это время прибыли в Дерпт, из Москвы и Петербурга, два французские врача: *Гемир Лорен*, сделавший кругосветное путешествие, и другой еще, имени которого не помню. Оба они присутствовали при моих вскрытиях в лазарете; увидев их (т.е. вскрытия холерных) едва ли не в первый раз, тотчас же принялись записывать найденное и очень были изумлены, когда я, желая отличиться и похвастаться перед иностранцами, принялся препарировать узлы сочувственного нерва, солнечное сплетение и т.п. Французы не ожидали, что русский в состоянии будет легко и скоро обнаружить пред ними для исследования почти все главные узлы груди и живота. Они выразили мне свое удовольствие тем, что начали приглашать в Париж.

Наконец, я решился идти на докторский экзамен, и, полагаясь на уверение *Мойера*, что он (т.е. экзамен) будет для меня снисходителен, я к нему вовсе не приготовлялся. Но, желая по упрямству показать факультету, что иду на экзамен не сам, а меня посылают насильно, я откинул весьма неприличную штуку.

В Дерпте делались тогда экзамены на степень на дому у декана. Докторант присылал на дом к декану обыкновенно чай, сахар, несколько бутылок вина, торт и шоколад для угощения собравшихся экзаменаторов (т.е. факультета, свидетелей и т.п.). Я ничего этого не сделал. Декан *Ратке* принужден был подать экзаменаторам свой чай. Жена профессора *Ратке*, как мне рассказывал потом педель, бранила меня за это на

[1] Г.Ф.Э.Замен (1789–1848) – профессор диететики и терапии в Дерпте с 1826 по 1847 г.

чем свет стоит. Но экзамен сошел благополучно, и оставалось только приняться за диссертацию. Но она взяла времени более года.

Меня уже прежде интересовала, в хирургическом, и в физиологическом отношениях, перевязка брюшной аорты, сделанная тогда только однажды на живом человеке Астлеем Купером[1].

Случай этот окончился смертью. Но оставалось решить, действительно ли эта операция может быть произведена с надеждою на успех. Я стал делать опыты над большими собаками, телятами и баранами. Всех долее после этой перевязки жил у меня один баран в селе Садере (имении Штакельберга, в котором я гостил летом у Мойера, верст 15 от Дерпта).

Результатом всех моих опытов и наблюдений было то, что в большей части случаев перевязка брюшной аорты, замедляя внезапно кровообращение в больших брюшных артериальных стволах, причиняет смерть чрез онеменение спинного мозга (паралич нижних конечностей) и приливами крови к сердцу и легкому. Но кровообращение после перевязки аорты не прекращается в нижних конечностях, и кровь тотчас же после перевязки струится из ран бедренных артерий; а перевязка аорты, сделанная постепенно (чрез постепенное сдавливание артерии с помощью ручного прибора), хотя переносится довольно хорошо, дает, однако же, повод к последовательным кровотечениям.

Диссертация вышла для молодого докторанта не плохая.

Потом, в бытность мою в Берлине, когда я представил ее знаменитому тогда *Опицу*, то он тотчас же велел перевести ее на немецкий язык (она была написана на латинском под именем: «Num vinctura aortae abdominalis in aneurismate inguinali adhibitu facile ac tutum sit remedium»[2]) и напечатал ее в своем журнале («Journal der Chirurgie und der Augenheilkunde» v. Dr. Graefe und Prof. von Walther).

Мойер, чем делался старее, тем более и обленивался. В последний год нашего пребывания в Дерпте он поручал мне делать многие операции. Однажды я перевязал бедренную артерию, вылущил бьющуюся аневризму височной артерии, вылущил ручную кисть, сделал отнятие губного рака. Сам он, видимо, уклонялся в последнее время от больших операций. Но в городе (частной практики), когда случалось, от операции нельзя было отделаться.

Последнею операциею *Мойера* в городе была мне памятная литотомия у дерптского тогдашнего богача *Шульца*. Мойер делал ее, находясь, очевидно, не в своей тарелке. Нас несколько – разумеется, и мы двое (я и *Иноземцев*) – ассистировали Мойеру. Иноземцев меня уверял, что он видел собственными глазами, как Мойер, отойдя куда-то в сторону пред операциею, перекрестился; было это так: Иноземцев рассказал Мойеру, что знаменитый московский литотомист-оператор *Венедиктов* всегда перед операциею крестился и клал земные поклоны.

---

[1] А.-Г.Купер (1768–1841) – английский хирург; случай, упоминаемый Пироговым, он опубликовал в 1818 г.

[2] Является ли перевязка брюшной аорты при аневризме паховой области легко выполнимым и безопасным вмешательством (лат.).

– Что же, это не худо, – заметил Мойер, – отошел и перекрестился.

Операция у Шульца была сделана из рук вон плохо. Мойер оперировал скарповским горжеретом; я держал зонд, и, когда горжерет был введен, показалась моча, я вынул зонд. Мойер повел пальцем по горжерету, в пузырь не попал и рассердился на меня, зачем я вынул зонд рано: «Nun wird es eine Geschichte»[1], но Geschichte никакой не было.

Иноземцев ввел легко зонд опять в пузырь. Мойер полез снова горжеретом. Больной был толстяк, и инструмент для его заплывшей жиром промежности оказался недостаточно длинным, однако же дело все-таки кое-как сладилось; но вот брызнула с шипеньем из глубины струйка артериальной крови.

– Это что еще такое! – воскликнул Мойер; но и эта неожиданность обошлась.

Наконец, извлечены два камня.

Я после операции, не утерпев, сболтнул между товарищами пошлую остроту: «Wenn diese Operation gelingt, so werde ich den Steinschnitt mit einem Stock machen»[2]. Это передали Мойеру, но добряк Мойер не рассердился и смеялся от души; а *Шульц* выздоровел.

Особенно Мойер стал бояться вырезывания наростов; и когда, не помню по какому случаю, я предлагал ему сделать такую операцию, Мойер сказал мне:

– Послушайте, я вам расскажу, что случилось однажды с *Рустом*. Когда я был, – продолжал Мойер, – в Вене у Руста, приехав туда от *Скарпы* из Италии, Руст показал мне в госпитале одного больного с опухолью под коленом (в подколенной яме). – «А что бы тут сделал старик Скарпа?» – спросил у меня Руст. – Я, исследовав опухоль, ответил, что старик Скарпа в этом случае предложил бы больному ампутацию. – «А я вырежу опухоль», – сказал мне Руст. Подлипалы и подпевалы Руста уговаривали его показать прыть пред учеником Скарпы; и Руст, ассистируемый этими прихвостнями, начал делать операцию тут же, в моем присутствии. Нарост оказывается сросшимся с костью, кровь брызжет струею со всех сторон; ассистенты, со страху, один за другим расходятся. Я помогаю оторопевшему Русту перевязывать артерию в глубине; больной истекает кровью. Тогда Руст говорит мне:

– Этих подлецов мне не надо бы было слушать, – они первые же и разбежались; а вы отсоветовали мне и все-таки меня не кинули; я этого никогда не забуду.

Занимаясь диссертациею, я вел в Дерпте приятную жизнь: днем – в клинике и в анатомическом театре, где делал мои опыты над животными, вечером – в кругу нескольких новых знакомых из немцев; я узнавал много нового о студенческой жизни и ее обычаях.

Верно, нигде в России того времени не жилось так привольно, как в Дерпте. Главным начальством города был ректор университета.

Старик полицеймейстер *Яссенский* с десятком оборванных казаков на

---

[1] Ну, будет история (нем.).

[2] Если эта операция кончится удачей, то я сделаю камнесечение палкой (нем.).

тощих лошаденках, которых студенты при нарушении общественного порядка удерживали на месте, цепляясь за хвосты, — полицеймейстер, говорю, этот держал себя как подчиненный перед ректором; жандармский полковник встречался только в обществах за карточным столом. Университет, профессора и студенты господствовали. Студенты по временам, пользуясь своим положением, терроризировали общество и особливо общество бюргеров, известных у студентов под именем *«кнотов»*.

Ни одно собрание в мещанском клубе не обходилось без какого-нибудь смешного скандала. Особливо отличались скандальными выходками студентов маскарады в этих клубах. Впускались только замаскированные; и вот один студент является в красных сапогах, с длинною палочкою красного сургуча во рту, пучком перьев на самой задней части тела и на голове; когда члены клуба не хотят его пустить, то он поднимает шум, врывается в залу и объявляет, что он замаскирован в аиста.

Другой (теперь известный генерал) дошел до того, что является в бюргерский маскарад в костюме Адама, прикрытом черным домино, и, став перед кружком дам в позу, прехладнокровно открывает полы домино; дамы вскрикивают, разбегаются; сзади стоящие мужчины, ничего не видя, кроме черного домино, не понимают в чем дело; наконец, догадываются, и будущий генерал изгоняется mit Pomp heraus[1].

Особливую знаменитость приобрели между студентами несколько проказников и оригиналов. Так, *Анке*, потом профессор фармакологии Московского университета и декан медицинского факультета, славился своими остротами и проказами. Уже одна наружность делала его оригинальным. Чрезвычайно подвижная и вместе с тем старческая, несколько смахивающая на обезьяню физиономию, — какая-то юркость и скорость движений и неистощимый юмор придавали всем проказам и остротам *Анке* оригинальный характер.

Помню, например, такого рода проказу. Жил-был в Дерпте университетский берейтор[2] *Дау*, а у него был сын, видный парень, хорошо объезжавший лошадей, но непозволительно глупый. Чтобы характеризовать его глупость, стоит рассказать только такого рода пассаж. *Дау* услыхал однажды, что студент по имени *Фрей*, влюбившийся в одну девушку, сделал ей предложение в таком виде: «Willst du Frei werden, oder frei bleiben?»[3]. Это очень понравилось Дау, и он, по совету Анке, написал и своей возлюбленной: «Willst du Day werden, oder Day bleiben?»

Вот между этим-то смертным и Анке вспыхивает война, разумеется, придуманная самим же Анке. Подговоренные товарищи убеждают Дау, что он не должен сносить обиды такого проходимца, как Анке, и должен непременно с ним стреляться, если хочет остаться благородным человеком. Наконец, Дау решается на пистолетную дуэль, отдавшись совершенно в распоряжение подговоренных секундантов. Дау, как оби-

---

[1] С шумом вон (нем.).

[2] Берейтор (нем. Bereiter) – специалист, объезжающий верховых лошадей и обучающий верховой езде.

[3] Игра слов: фамилия студента Фрея означает в переводе с немецкого: свобода. Сватавшийся спросил: «Хочешь ты стать женой Фрея или остаться свободной?»

женный, должен стрелять первый. Пистолет его, конечно, зарядили не пулею. Дау стреляет. Анке падает и кричит, что он тяжело ранен. Друзья подбегают, раздевают. О, чудо! Прострелен боковой карман в штанах; в кармане – табакерка Анке с табаком, в табакерке – пуля. Дау так и ахнул от радости, что так счастливо и так метко выстрелил.

В другом роде оригинал между старыми студентами в Дерпте, но так же, как и *Анке*, неудобозабываемый, был *Жако*, или *Иоко*, *Кизерицкий*. Студенческий тип, представлявшийся Кизерицким, уже вымер давно. Даже и в то время этот тип встречался только на сцене. Помню, в Берлине, в одной немецкой пьесе, известный актер *Шнейдер* (фаворит государя Николая Павловича) неподражаемо изобразил этот тип.

В длинных ботфортах (Kanonen-Stiefel)[1] со шпорами, в крагене (студенческий плащ), в студенческой корпорационной шапке на маковке, с длинным чубуком в зубах, студент-романтик прохаживается журавлиным шагом по сцене и декламирует каким-то замогильным голосом из Шекспира: «Sein oder nicht sein»[2].

Иоко Кизерицкий был в этом роде. Это был студенческий Дон-Кихот, хотя и не высокий ростом, как Дон-Кихот, но так же, как он, истощенный, сухой, всегда серьезный и нахмуренный, в крагене, ботфортах, шапочке на маковке; Кизерицкий таял только пред дамами, сочинял им стихи и однажды издал целую книжку своих стихотворений с посвящением: «Rosen und Lilien, gewidmet von Kieseritzky»[3].

Иоко являлся всегда в трауре на улицах в дни кончины *Вашингтона* и *Боливара*. На вопрос, по ком это надел траур, Иоко принимал величественную позу, возводил глаза к небу и торжественно провозглашал: «Сегодня день кончины великого сына свободы!»

В то время в Дерпте не существовал еще 5-летний срок для окончания курса наук в университете, и я застал еще многих, так называемых bemooste Häupter[4], – сиречь, мхом обросших голов. Мне показывали одного, сын крестника которого оканчивал уже курс, а крестный папенька отца все еще числился между студентами.

Другого я знал, предобрейшую душу и вовсе не глупого человека, вступившего в университет года за четыре до нашего прибытия в Дерпт и уехавшего с кучкою детей; он держал уже у меня экзамен на лекаря, когда я поступил на профессорскую кафедру в Дерпте. Между старыми студентами пользовался также известностью и специфик-*Шульц*. Никогда я не видел человека более похожего на птицу, как Шульца-специфика: длинный, заостренный нос, узкий череп, короткое туловище, длинная шея, длиннейшие, как шесты, ноги, походка журавлиная, студенческий костюм.

– Шульц! Сколько вам лет? – был постоянный вопрос знакомых и незнакомых.

---

[1] Сапоги-пушки (нем.).
[2] Быть или не быть (нем.). Слова Гамлета из трагедии Шекспира.
[3] Розам и лилиям, посвятил Кизерицкий (нем.).
[4] Кличка очень старых студентов.

– Тридцать два года, если не считать четыре года, проведенные в приготовлении пилюль и порошков, – был постоянный ответ Шульца-специфика.

Бедненький, сидел, сидел, ходил, ходил по лекциям в университет, да так и не кончил курса; чрез 20 с лишком лет я встретил его учителем немецкого языка в одной школе киевского учебного округа.

Свободная провинциальная жизнь того времени и корпоративное устройство дерптского студенчества придавали ему особое значение. И университетское начальство, и городское общество сознавали это значение, и в своих отношениях к студенчеству держали себя весьма осторожно, соблюдали деликатность в обращении с студентами и не допускали ни малейших экивоков в отношении к чести и достоинству студенчества.

Даже трактирщики и купцы не позволяли себе большой требовательности, в уплате долгов, опасаясь студенческой анафемы – Verschiess'a[1]. Вероятно, незнакомый хорошо с тем настроением или просто слишком понадеявшись на свою наглость, *Фаддей Булгарин* попал однажды в большой просак. Булгарин владел возле самого города мызою (дачею) *Карловом*, и проживал там по целым месяцам с своею женою и знаменитою «тантою». Я нередко встречал его у *Мойера*. Булгарин старался всюду проникнуть и со всеми познакомиться, фраппируя[2] каждого своею развязностью, походившею на наглость. Во время годовой ярмарки он ходил по лавкам заезжих петербургских и московских купцов, и когда они не уступали в цене, то грозил им во всеуслышание, что разругает их в «Северной пчеле».

Сошедшись в первый раз (это было в моем присутствии) с какими-то немцами, он уверял их, что то, что русскому здорово, немцу – смерть, и в доказательство приводил пример, как один объевшийся солдат удивил немцев в Лейпциге. Все думали, что он помрет, объевшись, и все рты разинули от удивления, когда он в их же присутствии испражнился в количестве, по объему и весу никем из присутствовавших невиданном и неслыханном.

Словом, Фаддей Венедиктович и в Дерпте не скрывал своего таланта. Однажды, за приглашенным обедом у помещика *Липгардта*, в присутствии многих гостей и между прочими одного студента, Булгарин, подгуляв, начал подсмеиваться над профессорами и университетскими порядками. Студент передал потом этот разговор, конфузивший его за обедом, своим товарищам. Поднялась буря в стакане воды. Начались корпоративные совещания о том, как защитить поруганное публично Фаддеем достоинство университета и студенчества. Порешили преподнести Булгарину в Карлове кошачий концерт. С лишком 600 студентов с горшками, плошками, тазами и разною посудою потянулись процессиею из города в Карлово, выстроились перед домом и, прежде чем начать концерт, послали депутатов к Булгарину с объяснением всего дела

[1] Бойкота (нем.).
[2] Фраппировать (франц. frapper) – неприятно поражать, изумлять.

и требованием, чтобы он во избежание неприятностей кошачьего концерта вышел к студентам и извинился в своем поступке. Булгарин, как и следовало ожидать от него, не на шутку струсил, но, чтобы уже не совсем замарать польский гонор, вышел к студентам с трубкою в руках и начал говорить, не снимая шапки, не поздровавшись. «Mütze herunter! Шапку долой!» – послышалось из толпы.

Булгарин снял шапку, отложил трубку в сторону и стал извиняться, уверяя и клянясь, что он никакого намерения не имел унизить достоинство высокоуважаемого им Дерптского университета и студенчества.

Тем дело и кончилось; студенты разошлись, но по дороге встретили еще экипаж *Липгардта*, окружили его и тоже потребовали объяснения, которое и было дано с полною готовностью.

Начальство университета, т.е. ректор (в то время *Паррот*), зная, что Булгарин и жандармский полковник не смолчат, тотчас собрал сениоров[1] корпораций, потребовал объяснений, оказавшихся вожаками и распорядителями посадил в карцер, и все дело уладилось без дальнейших последствий.

Да, корпоративное устройство студенчества важное дело в отношении порядка и благочиния. В этом я достаточно убедился в бытность мою в Дерпте учащимся и профессором. С неорганизованною, беспорядочною и разношерстною толпою молодых людей ничего не поделаешь. По-моему, просто безумие со стороны начальников разглагольствовать с собравшеюся толпою студентов. Это значит ввести и себя, и молодежь в беду, без всякой пользы для общего дела.

Учреждение корпораций в наших русских университетах по образцу Дерптского, конечно, немыслимо. В Дерпте, как и в германских университетах, корпоративное дело есть дело традиционное. А у нас нет для него почвы. Но, тем не менее, пока в наших университетах не придумают учредить, тем или другим способом, студенческого представительства, правильно организованного, университетское начальство пусть не рассчитывает на свое влияние и воздействие на учащуюся молодежь.

Тогда ничего не остается иного, как начальство университета, профессора, ректоры сами по себе, а студенты сами по себе, а для порядка и благочиния – городская полиция. Это неминуемо. Но нравственно-научное значение университета многое утратит. А мы, старые студенты, именно дорожим теми воспоминаниями, которые по прошествии целых 50 лет все еще связывают нас с прошлым университетским житьем-бытьем. А воспоминания эти дороги именно потому, что они не были бы для нас такими, если бы мы не чувствовали могучего и живучего влияния университета на весь наш внутренний быт, на все человеческое в нас.

Университеты наши перестают теперь быть университетами в прежнем (и, я полагаю, настоящем) значении этого слова, сбитые с толку политическим сумбуром. Но в 1820-х и даже в начале 1830-х годов студенчество в Германии и в самом Дерпте не было чуждо политических

[1] Старшин (лат.).

тенденций. Правда, тенденции того времени не были такие разрушительные и радикальные, как современные. Tugendbund[1], прельщавший и увлекавший студентов, был нравственным и национальным призванием к прогрессу. Однако же, после Зандовского убийства[2], германские власти не на шутку всполошились, и корпорация студентов – Burschenschaft – была сильно скомпрометирована. Эта корпорация была строго настрого запрещена и в Дерпте; существовала, однако же, довольно явно. Все эти политические теории между студентами того времени, потребовавшие множества арестов, заключений в тюрьмах и даже крепостях, не уничтожили корпораций и не препятствовали им существовать. Правительство убедилось, что занятие корпораций своими студенческими нуждами, потребностями и злобою дня не только не было опасно, но даже отвлекало брожение умов и приковывало их к интересам дня и действительности.

Я полагаю, что и в наше время, если бы кому-нибудь из излюбленных ученых людей удалось при учреждении студенческого представительства положить в основание его вопиющие интересы, нужды и заботы студенческой, труженической жизни, и этим внести в представительство практическую, жизненную деятельность, то большинство учащихся перестало бы беснoваться и бить лбом в стену, теряя безвозвратно и непроизводительно для себя самое золотое время жизни.

Во время пребывания моего в Дерпте я сделал две поездки: одну в Ревель, другую в Москву.

Поездка в Ревель с товарищами *Шиховским* и *Котельниковым*. Для чего? А так, здорово живешь. Вздумали и поехали!

Было летнее, вакационное время и предпоследний год нашего пребывания в Дерпте. Случились также, и это главное, как-то случайно лишние деньги.

Наняли Planwagen, т.е. длинную телегу, крытую парусиною, с входом и выходом сбоку. В Ревеле посмотрели на море, на Катериненталь, несколько раз выкупались в море и познакомились со следующими оригинальными личностями.

Во-первых, с учителем русского языка *Бюргером*, бывшим студентом Московского университета, приобревшим себе громкую, и, увы! печальную известность у ревельцев своим эффектным переходом из протестантства в православие. Это случилось под благодетельным влиянием *Магницкого*, проживавшего тогда (в изгнании) в Ревеле.

– Бюргер, – рассказывали нам ревельские немцы, – шел по улице в сопровождении толпы в православную церковь, надел на себя какую-то белую сорочицу, привязал на шею себе веревку, плевал на запад и т.п. – Весь церемониал выкопали откуда-то из-под спуда времен.

Во-вторых, познакомились у Бюргера с другим русским же учителем, из семинаристов, женившимся с год тому назад на молоденькой,

---

[1] Союз добродетели (нем.).

[2] К.-Л.Занд (1795–1820) – немецкий студент, убил в Мангейме немецкого писателя А. Коцебу со словами: «Вот, изменник отечества», был казнен.

15-летней немочке, до того же еще наивной, что после свадьбы она не хотела ложиться спать с мужем, а потом до того погрузилась в наслаждение медового месяца, что муж чуть не помешался.

Это любопытное происшествие сообщил нам, в первый же день нашего знакомства, сам супруг.

В-третьих, нас пригласили непременно посетить собрание редкостей какого-то стародавнего аптекаря, прославившегося в Ревеле своими археологическими познаниями. Чего только не собрал в своем музее этот знаменитый ревельский археолог! Тут были, между древностями, и чучела животных, и анатомические препараты. Но всего интереснее показалась мне бутылка с невскою водою от петербургского наводнения 1824 года.

В-четвертых, мы узнали или увидали и нескольких немецких, ревельских, оригиналов. Один из них, например, замечателен был тем, что носил для поддержания животной теплоты длинный кусок фланели только на спине, основываясь на том, что и у свиней щетина растет преимущественно на хребте, а не на брюхе.

Другой, вероятно, одержимый галлюцинацией органа осязания, впрочем, совершенно здоровый и светский человек, преследовал постоянно у себя вшей на теле. Иногда он вскакивал со стула, бежал к окну и встряхивался на улице. Ему казалось, что вши гурьбою, без зазрения совести, ползают по нем.

Весьма интересною личностью в Ревеле оказался также доктор *Винклер* (и отец, и сын). Сын Винклера, тогда еще молодой человек, был уже оригинален — в отца. Таким он остался и на целую жизнь.

Он всегда вслух рассуждал сам с собою, не стесняясь присутствием своих пациентов. Расспросив пациента о его болезни, доктор, к изумлению всех и каждого, начинал вслух рассуждать с собою о способе лечения. «Что же я должен вам прописать? — рассуждает доктор вслух. — Если я вам дам теперь, примерно, камфору, то, пожалуй, беду наживу; а если пропишу, напротив, каломель, то, может статься, еще и хуже будет. А? Не так ли, как вы думаете? Подождем-ка лучше, или постойте, попробуем-ка вот это средство, старинное; отец очень любил его».

Пациенты знали особенности своего врача, любили, уважали его, — Винклер был действительно тип честнейшего и добросовестнейшего врача, — доверяли и охотно лечились у него.

Весьма замечательна одна мистическая черта в жизни доктора или, вернее, всей его фамилии.

И отец, и особливо сын, считали огонь неприязненною для них стихиею. И старик, если я не ошибаюсь, и дед умерли от огня; но особливо огня боялся сын-доктор. Я помню, с каким душевным волнением он строил себе дом в Ревеле; первым делом считал он поставить на своем доме, скорее домике, громовые отводы; но, поспешив поставить их несколько, он не успел соединить их с землею, а тем временем поднялась гроза. Мой Винклер был вне себя от ужаса, ожидая ежеминутно разрушения своего дома; все, однако же, обошлось на этот раз благополучно. Но Винклеру готовилось другое, более сердечное горе. От про-

студы или чего другого Винклер почувствовал себя нездоровым и лег в постель, а на другой же день пригласил к себе на совещание приятеля д-ра *Эренбуша* (от него я и узнал эту историю).

– Друг! – обратился больной Винклер к Эренбушу, – со мною происходит что-то неладное, неестественное. Эти слова были сказаны таинственно, шепотом.

– Ну, что еще такое? Дай пульс! Пульс ничего, спокойный, жара нет; что же тут неестественного?

– Да не то. Слушай. Вот уже вторую ночь сряду я вижу во сне дьявола, и не только ночью, а и днем; лишь закрою глаза, он тотчас же мне представляется.

– Да какой же он, дьявол-то твой? – спрашивает Эренбуш.

– Ну, черная, страшная фигура, сидит в огне; но, главное, что меня тревожит, это то, что дьявол держит у себя на коленях моего младшего ребенка.

Эта галлюцинация длилась еще несколько дней, потом прошла. Винклер начал выезжать и уже, казалось, забыл случившееся. И вдруг – ужасное событие. Ребенок Винклера, виденный им на коленях у дьявола, обжегся, сидя у топившейся печки, насмерть; на нем загорелась рубашка, и он прожил после обжога только несколько часов.

Возвращаясь из Ревеля в Дерпт, наш возница заехал по дороге в корчму. Не успел он войти в корчму, как мы услыхали русскую площадную ругань, крик и гвалт. Раскрасневшийся извозчик, видим, бежит к нам опрометью, а за ним гонится какой-то пьяный, босой и оборванный стрекулист; он подбегает к нам, бормочет что-то несвязное и начинает ругать и нас [площадно].

– Да знаешь ли, – кричали мы, сидя в планвагене, – с кем ты имеешь дело?

– С жидами, – отвечает стрекулист и снова принимается за ругань.

– В полицию его представить, связать! Хозяин, давай сюда веревок! Ты видишь, он лезет на драку. Это беспаспортный прощелыга, а может и вор.

– Как! Я – беспаспортный прощелыга! А вот вам, читайте, коль умеете. Знайте-ка, кто я! – и вслед за этим к нам в планваген летит смятый и скомканный диплом Московского университета на звание действительного студента.

Мы узнаем земляка и бывшего сотоварища по университету, казенного студента, отправленного потом в Эстляндию уездным учителем. Он был из семинаристов и спился на дешевой и крепкой картофельной немецкой водке. После этого открытия буян тотчас же стих, залился слезами и побежал в корчму за водкою для угощения земляков. Но мы поспешили уехать, не дожидаясь угощения.

Такая печальная участь ожидала в то время почти каждого казенного учителя русского языка в прибалтийских провинциях.

Потом, когда я был профессором в Дерпте, ко мне не раз являлись за пособием бедствующие русские учителя, без сапог и без задних ног. Причина этого нерадостного явления была та, что университетское начальство высылало в прибалтийские провинции поскребки. Кто из казеннокоштных плохо учился, кутил или пил горькую, и только из сострадания помилован, кое-как окончив курс, тот посылался учителем в Эстляндию или Лифляндию; а тут, незнакомый ни с языком, ни с обычаями, не принятый нигде в обществе сверстников, подвергаемый насмешкам и злым шуткам от мальчиков-учеников, видавших его не раз пьяным, злосчастный педагог окончательно спивался и бедствовал. Кроме позора русскому имени, русские учителя того времени ничего не вносили в край, и русская грамота оставалась в немецких и остзейских школах девственницею.

Заговорив о судьбах русского языка в Прибалтийском крае, кстати скажу и об отношениях немецкого элемента к русскому, эстонскому и латышскому.

В первые годы моего пребывания в Дерпте немцы и все немецкое производили на меня какое-то удручающее впечатление. Мне казались немцы надутыми и натянутыми педантами, свысока, недоброжелательно и с презрением относящимися ко всему русскому, а следовательно и к нам. Они, скучные и бездарные учителя, казалось мне, не могли возбудить в нас ни малейшего сочувствия к своей науке. Напротив того, французы казались народом избранным, даровитым, симпатичным. В моем дневнике, который я вел тогда, беспрестанно встречались порою страстные, лирические возгласы то против моего однокашника *Иноземцева*, то против немецких профессоров. Это предубеждение мы, русские, выносили с собою из дома и из наших университетов. Наши отцы и учителя были такого же мнения, как и мы, о немцах и французах. И, надо сказать правду, немецкая наука того времени, между прочими, конечно, и врачебная, была не очень привлекательна для молодого русского. Мы, не приученные ни в школах, ни в университетах сосредоточивать внимание, следить и заниматься самостоятельно и самодельно научными предметами, – мы, говорю, не могли сочувственно относиться к длинным, переполненным вставками, периодам тогдашней немецкой речи. Все казалось с первого взгляда туманным, сбивчивым, неясным. То ли дело у француза – все ясно, чисто, гладко, наглядно. А тут еще такие имена, как *Биша*, *Desault*, *Depuytren*. Пожалуй, вон, педант немец *Эрдман* и называет *Broussais* мальчишкою в сравнении с немцем же Reil'ем[1]; да ведь это говорит немецкая же зависть и тупоумие.

Так думалось в то время.

И остзейские немцы своими отношениями к русским вообще поддерживали антипатию – не хотели знать ничего русского; покровительствуемые и отличаемые правительством, они и к нему только тогда отно-

[1] П.-Д.Дезо (1744–1795) – выдающийся французский хирург.
Д.Дюпюитрен (1778–1835) – знаменитый французский хирург и крупный ученый.
И.Х.Рейль (1759–1813) – немецкий физиолог и профессор клинической медицины в Галле.

сились сочувственно, когда оно оказывало им явное предпочтение и соблюдало их немецкие интересы.

Современные натянутые отношения русофилов к немцам берут свое начало с того еще времени, когда Прибалтийский край пользовался особым почетом и предпочтением; и в натянутости отношений немало виновата и бестактность остзейцев, искавших только того, чтобы пользоваться своим выгодным положением, и не умевших или не хотевших искать сближения с русскою национальностью.

Но кто отнесется, как опыт и время меня научили относиться, беспристрастно и добросовестно к обеим сторонам, тот, я полагаю, отдаст вместе со мною полную справедливость многим прекрасным, высоким и образцовым свойствам германского духа и германской науки.

Ведь не можем мы, в самом деле, винить нацию, и нацию, очевидно, даровитую и высококультурную, что она предпочитает и старается предпочитать свое – чужому. Когда свое действительно и существенно хорошо, то вопрос: насколько лучше его чужое – трудно решить. Мы не должны судить по себе. Нам нетрудно быть беспристрастными к чужому. У нас свое действительно и существенно хорошее – редкая птица; правда, редкую птицу тоже нелегко оценить беспристрастно, но редко встречающаяся оценка не вредит обиходному беспристрастию.

И мы, по крайней мере, наш культурный слой вообще к своему русскому не пристрастен. Но и наш культурный слой не беспристрастно сравнивает одно чужое с другим чужим.

Французам, например, мы отдаем преимущество, как я убедился на собственном опыте, вовсе несознательно.

Еще с прошедшего столетия французский язык вошел у нас в моду, сделался вывескою образования, хорошего тона; он открывает вход и к сильным мира. Столица Франции считается столицею европейского мира; французы – народ обходительный, ловкий, веселый, остроумный и пр., и пр. все в этом роде. Но, проследив себя и французов глубже, русскому культурному человеку, я полагаю, можно бы было убедиться, что склад русского ума имеет мало общего с французским складом, и скорее склоняется на сторону германского. Недаром из славян вышло немало цельных ученых в немецком духе.

Я думаю даже, что мы именно потому и менее сочувствуем немцам, что с ними сходимся по обычаям, образу жизни в холодных странах. И разве дух германской поэзии не более сроден духу нашей, чем французской?

И вот, чем долее я оставался в Дерпте, чем более знакомился с немцами и духом германской науки, тем более учился уважать и ценить их. Я остался русским в душе, сохранив и хорошие, и худые свойства моей национальности, но с немцами и с культурным духом немецкой нации остался навсегда связанным узами уважения и благодарности, без всякого пристрастия к тому, что в немце действительно нестерпимо для русского, а может быть и вообще для славянина. Неприязненный, нередко высокомерный, иногда презрительный, а иногда завистливый

взгляд немца на Россию и русских и пристрастие ко всему своему немецкому мне не сделались приятнее, но я научился смотреть на этот взгляд равнодушнее и, нисколько не оправдывая его в целом, научился принимать к сведению, не сердясь и без всякого раздражения, справедливую сторону этого взгляда. Перейду к фактам.

В 1830-х годах прибалтийские дворяне, а с ними и все культурное остзейское общество, очень гордились свободою своих крестьян.

– У вас там, в России, есть еще крепостные, – хвастались некоторые студенты, – а у нас уже их давно нет. У нас все свободны; это потому, что наш край – голова России.

– Кто это, господа, выдумал, – слыхал я также в Дерпте, – что будто бы русское правительство заложило остзейские провинции у заграничных банкиров? Какая нелепость! Закладывают имения, земли, но где слыхано, чтобы кто закладывал свою голову и свои глаза!

Гораздо остроумнее и справедливее, хотя и не менее печальный для русского самолюбия, ответ Мойера Фаддею Булгарину по следующему случаю.

Фаддей Венедиктович, по обыкновению подгуляв здорово за одним обедом у дерптского помещика, начал молоть вздор без всякого соображения и такта.

– Вот постойте, – кричал он, – еще увидите, что русские знамена будут развеваться на берегах Рейна!

Все взбудоражились.

– Как! Что? Да это уже слишком нагло!

Шум, крик. Булгарин рад-радешенек, что ему удалось разозлить немцев. Когда шум немного стих, Мойер, присутствовавший на обеде и считавшийся по своему родству и близкому знакомству с русскими как бы полурусским, вдруг обращается тихо и спокойно к шумевшим и к Булгарину.

– Что же, господа, это действительно возможно: русская армия может завоевать Рейн, а знаете ли, Фаддей Венедиктович, что потом будет? – обратился Мойер к Булгарину.

Фаддей Венедиктович уже радовался, что нашел в Мойере еще подпору, несколько замялся.

– Хотите, я вам скажу? – продолжал Мойер, – будет то, что виноградные лозы на Рейне выдернут, а на место их посадят лук.

Не правда ли, что метко? И всякий беспристрастный русский скажет, что верно. Глупое, заносчивое, а главное, поддельное самохвальство упившегося Фаддея не могло быть лучше отделано.

В другой раз Мойер защитил русское правительство против немецко-французского либерализма.

Французская революция 1830-го года вскружила и немцам голову, и вот один из них, в гостях у Мойера, новоприезжий, начал восхвалять новое французское правительство на счет России.

– Что вы мне толкуете! – воскликнул Мойер, – я всегда предпочту быть съеденным лучше львом, чем искусанным до смерти кучею муравьев.

Действительно, Мойер любил и уважал нового государя (Николая Павловича). «Александр I был похож на французского маркиза, – по словам Мойера, – а Николай – это настоящий государь, как надо быть».

В бытность свою в Петербурге Мойер с восхищением рассказывал мне про извозчика, на котором он куда-то ехал.

– Вдруг вижу, – говорил Мойер, – что мой извозчик снял шапку и едет с открытою головою.

– Что ты? – спрашиваю его.

– А тамотко он сам проехал, он сам!

– Вот так ответ; лучшего имени государю не придумаешь!

Но как ни хвастались перед нами прибалтийские культурные люди 1830-х годов свободою своих крестьян, видно было, что это дело свободы не совсем ладное. Нищету сельского люда нельзя было скрыть; да и помещики не очень блаженствовали, и имения то и дело переходили в руки арендаторов (напоминавших мне с виду польских арендаторов Юго-Западного края). Причину приписывали тупости и идиотизму эстонского мужика. Не знаю, как теперь, но в то время было в ходу множество рассказов о врожденной тупости и ограниченности эстов. Передавали, например, за достоверный факт, что один крестьянин, слыхавший о том, что можно деньги класть в рост и получать годовые проценты, закопал скопленные им сто рублей в землю на целый год; по прошествии этого времени, вынув их опять и сосчитав несколько раз, этот предприимчивый эст бежит к сельскому судье, ревет и жалуется, что его обокрали.

– Да что же и сколько у тебя украли? – спрашивает судья.

– А я знаю, – отвечает эст, – я знаю только, что я закопал сто рублей.

– Ну, а сколько же опять вынул? – спрашивают его.

– Да опять только сто.

– Так на что же и на кого же ты жалуешься?

– Да отложенные деньги, меня уверяли, должны расти и прибавляться, а почему же мои целый год пролежали и ничего не выросли?

Неуменье эстов считать и легко соображать действительно бросалось в глаза.

Яйца, раки и т.п. покупались у крестьян на рынке не иначе, как отсчитывая за каждую штуку по одной медной монете. Куплены яйца по копейке за штуку: покупатель берет одно яйцо и кладет копейку, берет потом другое и опять выкладывает копейку. Это я и сам видал.

В клинике встречались также презабавные qui pro quo[1], свидетельствовавшие не в пользу эстонской сообразительности.

Отпущенные больным крестьянам лекарства весьма нередко переменялись, так что наружные употреблялись внутрь и внутренние – снаружи. Рассказывали даже презабавную историю о лечебном действии аптекарских пробок на чухонцев. Один больной крестьянин получил из клинической аптеки какое-то лекарство и после того не являлся. Чрез месяц он приходит опять в клинику и просит того же самого лекарства, по его словам, как рукою снявшего болезнь; а так как она опять воро-

---

[1] Недоразумения (буквально: одно вместо другого) (лат.).

тилась, то он и пришел опять попросить целебного снадобья. Справились в клинических книгах, в аптеке, у практикантов, наконец, у самого аптекаря, который хорошо помнил больного, и лекарство отпустили. Крестьянин после этого является в клинику опять и уверяет, что лекарство отпущено ему не то, не прежнее, сразу его вылечившее; ему отпускают опять то же лекарство, но в усиленном приеме. Все не помогает.

– Да дайте мне, ради Христа, то, что я съел в первом лекарстве! – просит больной, кланяясь низко.

– Как съел? Да ведь лекарство было жидкое!

– Правда, что жидкое, – был ответ, – да в жидком-то плавали какие-то корешки; вот они-то самые мне и помогли, когда я их съел.

– Что за притча!

Рассказ больного заинтересовал клиницистов; началось расследование. Наконец, аптекарь догадался, в чем дело, и сначала как-то мялся и что-то скрывал, но потом не выдержал и признался, что у него было несколько старых больших склянок с оставшимися в них пробками. Вот в одну-то из таких склянок и было налито лекарство, наделавшее столько шума.

Не свидетельствует в пользу чухонского остроумия и колокольчик от дуги, хранившийся в мое время в клиническом кабинете и вытащенный Мойером из заднепроходной кишки эстонца. Он страдал запором и вместо того, чтобы способствовать выходу задержанного наружу, попал на мысль – забить еще клин снаружи. Колокольчик ушел глубоко и не без труда был извлечен чрез несколько дней.

Но, разумеется, все эти свидетельства чухонского тупоумия не доказывали еще, что тупоумие и есть главная причина нищеты сельского люда. Во-первых, уже потому нет, что эст, несмотря на свою неразвитость, не ленив, настойчив и терпелив; это мог каждый из нас заметить, вышед в поле и, наблюдая, с каким настойчивым трудом надо было орать пахарю на почве, усеянной валунами. Потом, Прибалтийский край населен не одними эстами; а другое его население – леты, латыши – уже непохожи на чухон. Недаром язык латыша весьма близок к санскритскому; латыш гораздо ближе и к славянскому племени. Его никто не назовет идиотом.

С первого же дня нашего приезда в Дерпт к нам нанялись в услужение пара супругов; муж – эст, жена – латышка. Муж Иоганн, тип чухонства – нерасторопный, тяжелый, непонятливый, впрочем, очень честный и работящий, годился бы собственно для ношений одних тяжестей; он был сильный, коренастый парень. Смешон до крайности своею неповоротливостью и свойственною всем эстам невозможностью произносить букву «с» перед «т»: стакан выходит «такан»; Stiefel – «Tiefel». Совершенно другое существо была жена Иоганна, латышка Лена: подвижная, всегда чем-нибудь занятая, чистоплотная, аккуратная, всегда в чистом белом чепце и фартуке, Лена могла везде успеть и всюду поспеть в два раза скорее своего мужа; зная хорошо по-немецки, она говорила за мужа; знала хорошо считать и читать. Лена была пиетистка и утреннее время по праздникам проводила в молитвенном доме,

в чтении и пении псалмов; иногда же, оставаясь одна в комнате, она пела вполголоса молитвы. Лена служила мне целых десять лет; пять лет служила мне и *Иноземцеву*, когда мы жили вместе в клинике, и пять лет, когда я был профессором в Дерпте; тогда на ней одной лежало все мое домашнее хозяйство, другого слуги у меня не было; даже и тогда (правда, очень редко), когда собирались у меня на профессорский вечер, Лена успевала всегда и везде одна. Ни разу не было ни пропажи, ни потери; никогда я не ссорился с Леною, и ни я ей, ни она мне ни однажды не сказали ни одного грубого слова. Когда она служила нам вместе с Иноземцевым, то надо было удивляться ее такту и находчивости в присутствии молодых людей, собиравшихся нередко у Иноземцева и позволявших себе говорить разные нескромности. Лена, прислуживая, делала так, как будто не слышит и не обращает никакого внимания; если же кто заходил слишком далеко, обращаясь к ней прямо с болтовнею, того она так ловко и учтиво обрезывала, что он тотчас же прикусывал язык.

Для меня всегда были замечательны отношения эстов и летов к немецкому культурному слою. Как только эст или лет делался горожанином, ремесленником, школьником городского училища, он превращался или старался превратиться в чистокровного немца. И сколько уже дельных и талантливых врачей и мастеров с немецкими и ненемецкими именами перешло из эстов и летов в немецкую интеллигенцию!

Многие из перешедших в мое время забыли и старались хорошо забыть свое происхождение, скрывая его или относясь к своему народу свысока. Теперь, кажется, обнаруживается некоторая реакция. Я же слыхал только от прислуги о розни между господами и народом. Лена сказывала мне, что крестьяне недолюбливают саксов (господ); но о себе она умалчивала, относя себя уже к другому, более культурному слою.

Ненависть или, по крайней мере, неприязнь сельского люда к их саксам начала проявляться к концу 1830-х годов, преимущественно во время голодовки, и тогда же слышнее заговорили и о недостатках, пробелах и промахах в аграрном деле. Русские, знакомые с устройством сельского люда в Прибалтийском крае, заговорили первые, что нищета и недовольство зависят не от лености и тупоумия народа, а оттого, что его обезземелили при эманципации. Это так; но наши народолюбцы забыли, и теперь еще забывают, что за 60 и более лет тому назад у нас иначе и невозможно бы было освободить крестьян от крепостной кабалы, как оставив всю землю за помещиками. Крепостники и крепостничество того времени были не чета нынешним.

В Лифляндии я слыхал от старожилов, что Александр I, освободив крестьян в Прибалтийском крае, хотел было испробовать эту меру и в соседней Псковской губернии; но по приезде в эту губернию был предуведомлен рижским генерал-губернатором *Паулуччи* о заговоре против жизни императора; сбирались будто бы отравить его ядом.

Заговор устрашил будто бы императора, и намерение эманципировать псковских крестьян было оставлено.

Какими бы ни были отношения крестьян к интеллигенции Прибалтийского края в начале и середине 1830-х годов, то верно, что ни

крестьяне, ни горожане, ни интеллигенция остзейских провинций в то время не питали расположения и симпатии ни к чему русскому. По-эстонски русские и татары имели одно и то же название; русский язык в школах был в пренебрежении, и им, конечно, по вине самого правительства, никто не занимался; русское общество, и без того малочисленное, оставалось совершенно изолированным. Только наш профессорский институт как будто намекал на некоторую связь прибалтийской интеллигенции с нашею отечественною. Край управлялся своими провинциальными законами, ландтагами, ландратами и т.п. Даже деньги были провинциальные, sui generis, кожаные и картонные. Нам выдавали жалованье из уездного казначейства пачками кожаных и картонных четырехугольных листков величиною в обыкновенные визитные карточки.

Не знаю, кто – городские или губернские власти и общества имели право выпускать эту монету; но она не была свыше 2-х рублей (четвертаков) и ниже 50-ти копеек (ассигн[ациями]). Немудрено, что о русских законах и русском правосудии имелось в крае весьма нелестное понятие.

Мойер, проходя однажды со мною по улице, увидал чухонца, колотившего напропалую палкою свою лошаденку; она застряла в грязи с возом дров. Смотрю – мой Мойер, всегда спокойный и разумный, вдруг бросается на мужика и дает ему несколько подзатыльников, что-то крича по-чухонски и, очевидно, заступаясь за несчастную лошадь. Я стою на тротуаре и смотрю с удивлением на эту неожиданную сцену.

Мойер, возвратившись ко мне, говорит: «So ist mit Gerechtikeit in Russland»[1].

«Значит, – подумал я, – по-твоему, не тот виноват, кто человека бьет за лошадь, а тот, кто этого не допустить не в силах».

«Herr Doktor Wachter, Sie sind dümmer, als die russischen Gesetze dieses erlauben»[2], – говорил на своих лекциях другой профессор.

Это был оригинал, закоренелый немец, остроумный и даровитый, с необыкновенною памятью (он наизусть почти знал «Оберона» Виланда), но горький пьяница, профессор анатомии *Цихориус*, старый холостяк, день и ночь сидевший у себя в доме с закрытыми ставнями. День и ночь горела свеча. Вместо мебели сложены были в комнатах груды порожних бутылок. Вот этот гений и находил, что его прозектор, австриец д-р *Вахтер*, превзошел ту степень глупости, которая допускается русскими законами.

А д-р Вахтер отвечает ему: «Herr Hofrath, ich kenne die russischen Gesetse nicht»[3].

Вот как жили при Аскольде наши деды и отцы!

---

[1] Таково правосудие в России (нем.).
[2] Господин доктор Вахтер, вы еще глупее, чем это дозволено русскими законами (нем.).
[3] Господин придворный советник, я не знаю русских законов (нем.).

Уже, кстати, о д-ре Вахтере. Он был моим приятелем, насколько 50-60-летний, старого покроя, австрийский подданный мог быть приятелем русского юноши, искавшего прогресса чутьем.

И после, когда я сделался профессором в Дерпте, я был единственный из профессоров, которого навещал и с которым знаком был д-р *Вахтер*. Как кажется, именно австрийское Вахтера происхождение и католическое вероисповедание и были мотивами нашего сближения. Протестанты, северяне, доктринеры смотрели свысока на австрийского лекаря-католика, не учившегося в немецком университете. «Isti prophetі»[1], – называл он их мне на своем латинском диалекте, завидев где-нибудь профессора.

Д-р Вахтер после отставки Цихориуса читал анатомию по найму и был действительно чудак не малой руки. Он выстроил себе какой-то невиданной архитектуры дом, похожий на восточные дома, с плоскою крышею, углубленный в землю, одноэтажный, кирпичный, окнами только на двор, а с улицы представлявшийся проходящим низкою и глухою кирпичною стенкою. В этом жилище д-р *Вахтер* обитал с своею небольшою семьею; вставал очень рано, пил вместо кофе и чая водку, закусывал ячменною кашею, брал в зубы спичку вместо сигары и отправлялся в анатомический театр, где один, без помощников, препарировал и читал лекции громко и внятно, шокируя и смеша слушателей своим австрийским диалектом. Со мною, где и как только можно, Вахтер говорил по-латыни, отпуская при каждом удобном случае какой-нибудь латинский экспромт. Заметит ли доктор, что я остановился, идя с ним по улице, и отхожу за малою нуждою за угол, он также останавливается и, смотря на оставшиеся от исполнения натуральной повинности следы, непременно напомнит мне: «Littere scripte moment»[2]. Увидит ли доктор где-нибудь собравшихся на улице баб, он непременно скажет мне:

Quando conveniunt
Catherina, Rosina, Sybilla,
Sermonen faciunt
Et de hoc, et de hac, et de illa[3].

Д-р Вахтер был и анатом, и врач-практик; делал операции, на которых я ему обыкновенно ассистировал; лечил большею частию в домах кнотов, ремесленников низшего разряда.

Студенты пускали в ход множество забавных анекдотов из практики д-ра Вахтера. Как он, например, уверял своего больного, что у него солитер[4] стал поперек кишки, а прописанное лекарство непременно поворотит глисту и распрямит ее в длину.

---

[1] Это пророки (презрительно) (древнегр.).
[2] Написанное остается (лат.).
[3] Как соберутся Катерина, Розина, Сибила, заводят речь о том, о сем (лат.).
[4] Солитер (франц. solitaire) – цепень, ленточный червь, паразитирующий в кишечнике человека и животных.

Но лекарств из аптеки д-р Вахтер не любил прописывать и предпочитал им, где только можно, домашние; из них любимым для д-ра был ромашковый чай. Рассказывают, что позванный однажды ночью к труднобольному, д-р Вахтер идет прямо к постели, стоявшей во мраке, и прямо дает больному свой обыкновенный совет: «Trinken Sie mal Hamomillenthee, es wird schon gut werden»[1], – а затем щупает пульс и, не нашед его на похолодевшей уже руке, спокойно извиняется: «Ah, so! Verzeihen Sie, Sie sind schon todt»[2].

Таков был Вахтер. Но пусть верят или не верят мне, а я полагаю, что он, Вахтер, принес мне своими анатомическими демонстрациями пользы не менее знаменитого Лодера. Немало из слышанных мною в немецких и французских университетах приватных лекций (privatissimum) не принесли мне столько пользы, как privatissimum у Вахтера: в первый же семестр моего пребывания в Дерпте Вахтер прочел мне одному только вкратце весь курс анатомии на свежих трупах и спиртовых препаратах. С тех пор мы и стали приятелями.

Я уже сказал, что немцы в Дерпте в первое время моего пребывания, за исключением, может быть, одного только *Мойера*, произвели отталкивающее впечатление. И прежде, чем время, опыт и рассудок успели изменить мой ошибочный и пристрастный взгляд, неожиданный случай указал мне на личность, совершенно непохожую на других и сразу же оказавшую на меня привлекательное действие. В Дерпте жил в то время богатый лифляндский помещик *Липгардт*. Сын его, молодой Карл von Liphardt, получил домашнее и, что важно, вовсе не немецкое образование, – он учился у швейцарца. По смерти деда Карл *Липгардт* получил значительное наследство и, сделавшись самостоятельным, захотел усовершенствовать свое образование университетом, но приватно и не поступая в университет студентом. С этой целью он обратился прежде всего к профессору математики *Бартельсу*. Математика интересовала Липгардта, и он ею прилежно занимался. Бартельс, очень занятый высшею математикою, сначала не поверил, чтобы молодой человек домашнего воспитания был в состоянии понимать уроки Бартельса из высшей математики, и, чтобы доказать это молокососу, задал ему для пробы какую-то хитросплетенную задачу. Липгардт тихо и скромно принялся в присутствии же Бартельса за решение. Профессор изумился. У него и студенты, оканчивающие курс, не решали так своеобразно, как это сделал Липгардт.

– Молодой человек, – сказал тогда Бартельс, – я вижу, что у вас есть талант; приходите, я охотно будут давать вам уроки.

Но талант Карла Липгардта был не односторонний; его начинала интересовать не одна математика; он скоро явился и в анатомический театр, таща с собою анатомический атлас *F.Cloguet* (тогда самый новый и самый лучший). Тут-то и было наше первое свидание. *К.Липгардт* принялся с юношеским пылом за анатомию. Препарирование на тру-

[1] Пейте ромашковый чай, станет лучше (нем.).
[2] Ах так! Извините, вы уже умерли (нем.).

пах, чтение Биша, лекции заняли все время. Вот тогда-то и Мойер, познакомившись с Липгардтом, к удивлению его прежних слушателей принял деятельное участие в наших работах.

Я не знал в жизни ни одного человека, имевшего так много разнообразных научных и притом глубоких сведений, как Карл Липгардт. Старик профессор *Эрдман* имел тоже весьма многостороннее образование, говорил по-латыни, как Цицерон, был хороший ботаник и физик; рассказывали, что он ежегодно проходил у себя и для себя курс медицинских и естественных наук; но знания Эрдмана относились все-таки к одной категории наук, тогда как молодой Липгардт, быв математиком и имев, по свидетельству профессора Бартельса, замечательный математический талант, с таким же успехом занимался анатомиею, физиологиею и хирургиею. В Берлине Липгардт очень сблизился с Иоганном *Мюллером*, в Дерпте и Кенигсберге – с профессором *Ратке*, и в то же самое время предавался изучению изящных художеств: живописи и скульптуры; потом, уехав в Италию, посвятил целые годы изучению этих предметов, а возвратясь в Дерпт, начал заниматься, как мне сказывали, изучением теологии и древностей. В последний раз я видел моего старого приятеля, не менее меня постаревшего, в Штутгарте; его интересовало тогда изучение средневековых готических зданий, и он мне с восторгом указывал на некоторые из них в Штутгарте. За политикою Липгардт следил неустанно, еще учась с нами в Дерпте.

Во всем Прибалтийском крае никто не имел такой огромной и многосторонней библиотеки и такого собрания картин, гравюр, статуй и слепков, как Липгардт. При всем этом ни малейшего педантства и чрезвычайная скромность. Мне казалось только, что женитьба на католичке в Бонне несколько изменила его мировоззрение.

Я остановился в моем дневнике на *Липгардте* в особенности потому, что из знакомых мне людей Карл Липгардт всех более доказал мне, как различны между собою две способности человеческого духа: емкость ума и его производительность (Capacität und Productivität)[1], от первой зависит способность приобретать самые разносторонние сведения, от второй – способность извлекать из приобретенных сведений нечто свое самодельное и самостоятельное.

Количество и разнообразие знаний весьма влияют на произведение, но не на самую производительность.

Емкость и производительность не находятся в прямом отношении. Не сведения, не знания, приобретенные емкостью ума, а какая-то, не каждому уму свойственная, vis a tergo[2] толкает его к новой работе, извлечению этого чего-то, своего, из запаса знаний. Так, Липгардт был несравненно образованнее и по емкости ума гораздо умнее меня, умнее и многих ученых, способствовавших ему приобретать многосторонние знания; но Липгардту недоставало этой самой vis a tergo. Люди с умами этой категории родятся для умственных наслаждений приобретаемыми

[1] Возможность и производительность (нем.).
[2] Сила, действующая сзади (лат.).

так легко для них богатствами сведений; но уму, кроме огромной емкости, необходима еще и большая производительная сила, чтобы сделаться гумбольдтовским.

Моя первая поездка из Дерпта в Москву была задумана уже давно. Вместо двух лет я уже пробыл четыре года в Дерпте; предстояла еще поездка за границу – еще два года; а старушка-мать между тем слабела, хирела, нуждалась и ждала с нетерпением. Я утешал, обещал в письмах скорое свидание, а время все шло да шло. Нельзя сказать, чтобы я писал редко. У матушки долго хранился целый пук моих писем того времени. Денег я не мог посылать – собственно, по совести, мог бы и должен бы был посылать. Квартира и отопление были казенные; стол готовый, платье в Дерпте было недорогое и прочное. Но тут явилась на сцену борьба благодарности и сыновнего долга с любознанием и любовью к науке. Почти все жалованье я расходовал на покупку книг и опыты над животными; а книги, особливо французские, да еще с атласами, стоили недешево; покупка и содержание собак и телят сильно били по карману. Но если, по тогдашнему моему образу мыслей, я обязан был жертвовать всем для науки и знания, а потому и оставлять мою старушку и сестер без материальной помощи, то зато ничего не стоившие мне письма были исполнены юношеского лиризма.

Тотчас же по приезде в Дерпт, под влиянием совершенно новых для меня путевых впечатлений, я распространился в моих письмах в описании красот природы, в первый раз виденного моря, Нарвского водопада, освещенного луною, прогулок в лодке по Финскому заливу, характеристики моих новых товарищей, произведенных уже мною в звание друзей, и т.п. Помню, что не забыл при этом тогда же отправить и письмецо туда, где молодое сердце в первый раз зашевелилось при взгляде на улыбавшиеся женские глаза. Как же было не написать и не напомнить о себе, о последнем прощальном дне, когда я явился в кандидатском мундире, при шпаге, и по моей просьбе был спет романс:

Vous allez à la gloire,
Mon triste coeur suivra vos pas;
Allez, volez au temple de mémoire,
Suivez l'honneur, mais ne m'oubliez pas...[1]

Тот, к кому относилось это: «Vous allez à la gloire», – это, конечно, я, я сам.

И вот прошло целых 4 года. Как не повидать мест, где мы «впервые вкусили сладость бытия», и к тому же, как не показать и себя, и свое перерожденное и перестроенное на другой лад «я»! Пусть-ка посмот-

[1] Вы шествуете к славе. Мое опечаленное сердце следует за вами. Идите, летите в храм славы. Следуйте за почестями, но не забывайте меня (франц.).

рят на меня мои старые знакомые и родные и подивятся достигнутому мною прогрессу; пусть воочию на мне убедятся, что значит культурная западная сила!

Экзамен докторский сдан, диссертация наполовину уже готова, и предстоят рождественские праздники; путь санный.

Надо сначала распорядиться, а для этого надобны деньги. Кое-что наберется, за месяц вперед можно взять жалованье, но по расчету все еще не хватает взад и вперед на дорогу, да и в Москве не жить же даром на счет матери. Вот и придумываю средства. У меня есть старые серебряные часы, весьма ненадежные, по свидетельству знатока *Г.И.Сокольского*; есть «Илиада» Гнедича, подаренная Екатериною Афанасьевною; есть и еще ненужные книги, русские и французские, кажется; есть еще и старый самоварчик. Давай-ка, сделаем лотерею. Предложение принято товарищами. Предметов собралось с дюжину; билетов наделано рублей на 70; угощение чаем. С вырученными лотереею деньгами набралось более сотни рублей. Главное есть. Надо теперь приискать самый дешевый способ перемещения своей особы из Дерпта в Москву. Случай решает. Из заезжего дома Фрея является подводчик Московской губернии, привозивший что-то в Лифляндию и отправляющийся на днях порожним опять в Московскую. Лошадей тройка. «А экипаж?» – «Есть кибиточка. Укроем и благополучно доставим», – уверяет подводчик. – «Цена?» – «Двадцать рублей». – «По рукам».

И вот в пасмурный, но не морозный, декабрьский день, в послеобеденное время, я, одетый в нагольный полушубок, прикрытый сверху вывезенною еще из Москвы форменною (серою с красным, университетским, воротником) шинелью на вате и в валенках, сажусь в кибитку и отправляюсь *на долгих* в Москву.

Мой возница спускается на реку, и чрез несколько часов по Эмбаху мы выезжаем на озеро Пейпус, направляясь к Пскову. Между тем стемнело. Месяца не видать. Небо заволокло облаками. Мы все едем и едем. Раздаются пушечные выстрелы, как будто возле нас. Это трескается лед на Пейпусе, и образуются полыньи. Вдруг – стоп. Что такое? Громадная полынья; вывороченные массы льда стоят горою, а возле них широчайшая полоса воды. Слава Богу, что еще не въехали прямо в воду. Что же это такое? Как же тут быть? Вдали ни зги не видать, под ногами вода.

– Да леший пошутил; с съезжей дороги сбился, а я по ней сколько раз езжал, – уверяет мой возница. – Да что теперь-то поделаешь? Сёмка я побегу, да разведаю; дорога-то должна быть тут близко.

Я остаюсь один с лошадьми. Сижу, сижу, делается жутко; в ночной тиши раздаются кругом выстрелы; мне показалось в темноте что-то блестящее, как будто огоньки; думаю, уж не волчьи ли глаза; выскакиваю из кибитки, поднимаю крик и стук палкою о кибитку; бегаю вокруг кибитки, чтобы согреться; начинает пробирать. Ничего не видно и не слышно. Ямщика и след простыл. Просто беда. Прошло, верно, не менее часа, а мне показалось, по крайней мере, часа четыре; наконец, слышу где-то вдали, в стороне, как будто человеческий голос. Я отзываюсь и кричу, что есть мочи. Голос приближается. Показались опять и

как будто прежние огоньки, напугавшие меня. Наконец, является, едва переводя дух от усталости, и мой возница.

– Ну что?

– Да что, дороги-то не нашел; а вот мы повернем назад, да немного в бок; там доедем до деревушки на берегу.

– На каком же это берегу? Значит, мы уже недалеко от Пскова?

– Куда, барин, до Пскова; мы тут все плутали по озеру, а далеко от берега не отъезжали. Вон там я видел деревушку; до рассвета переночуем в ней.

Делать нечего, едем. Проходит еще не менее часа, пока мы доехали до какого-то жилья. Петухи давно уже как пропели; достучались в какой-то лачуге; впустили. Но, Господи, что это было за жилье и что за люди! В Дерпт являлись изредка в клинику какие-то, носившие образ человека, звери, с диким, бессмысленным выражением на желто-смуглом лице, косматые, обвязанные лоскутами и не говорившие ни на каком языке. Это и были обитатели глухих и отдаленных прибрежий Пейпуса, финского племени; полагали, однако же, что между ними встречались и выродившиеся наши раскольники, загнанные полицейским преследованием с давнего времени в самые глухие и непроходимые места.

Все занятия этого заглохшего населения заключались в рыболовстве; они питались только рыбою; понимали только то, что касалось до рыбной ловли, и могли говорить только о рыбе и рыболовстве. Язык их, состоявший из ограниченного числа слов, был помесью финского и испорченного русского. Вот к этому-то племени судьба в виде подводчика Макара и занесла меня на несколько часов. Но эти несколько часов до рассвета показались мне вечностью.

На дворе начинало морозить, а в лачуге непривычному человеку невозможно было оставаться; грязь, чад, смрад; какие-то мефитические испарения делали из лачуги отвратительнейший клоак. Я видел и самые невзрачные курные чухонские и русские избы, но это были дворцы в сравнении с тем, что пришлось мне видеть на прибрежье Пейпуса. Как я провел часа 4 в этом клоаке, я не знаю; помню только, что я беспрестанно ходил из лачуги на двор и дремал, стоя и ходя. Любопытно бы знать, насколько современные веяния изменили жизнь в трущобах того давнего времени?

На другой день, при свете, легко объяснилось наше блуждание по необозримому озеру, на котором зимою, кроме неба и снежной поверхности с огромными трещинами и сугробами, ничего не было видно; только целые стаи ворон с хриплым карканьем носились над прорубями и полыньями, высматривая себе добычу.

Гораздо труднее было бы объяснить незнакомому с русскою натурою, как решился москвитянин Макар переезжать по льду Пейпуса ночью, проехав чрез него, как я узнал потом от самого же Макара, только один раз в жизни, и то в обратном направлении, т.е. от Пскова к Дерпту.

Мудрено ли, что мы ночью сбились, когда и днем мой Макар постоянно у каждого встречного спрашивал о дороге в Псков.

Но земляк мой, москвитянин Макар, ознаменовал нашу поездку не одним только геройским переездом чрез Пейпус.

Избегнув неожиданно гибели в полыньях Пейпуса, Макар ухитрился-таки погрузить нас, то есть меня, кибитку и лошадей, в полынью какой-то речонки. Это было на рассвете, кажется, на пятый день моей одиссеи. Я спал, закутавшись под рогожею кибитки. Вдруг пробуждаюсь, чувствую, что кибитка остановилась; я откидываю рогожу, и что же вижу: лошади стоят по шею в воде, Макара нет, кибитка также в воде, и холодная струя добирается чрез стенки кибитки и к моим ногам.

Не понимая спросонок, что все это значит, я инстинктивно бросаюсь из кибитки вон и попадаю по пояс в воду; в это мгновение являются откуда-то Макар с людьми с берега. Вытаскивают и меня, и кибитку, и лошадей. Пришлось залечь на печь, раздеться донага, вытереться горилкою и сушиться.

Так шло время в путешествии на долгих с Макаром; оно продолжалось чуть не две недели; в эти дни и ночи я насмотрелся на жизнь на постоялых дворах.

Случалось ночевать вместе с подводчиками в том же покое постоялого двора. Всего более удивляла меня необыкновенная емкость желудка этих добрых людей. Ели они напропалую, и еда была на славу. То были рождественские праздники, и на стол подавалась всегда громадная деревянная чаша с жирными, густыми щами из свинины; чаша опростовывалась чуть не залпом, когда принимались из нее черпать 10 или 12 ложек; снова наполнялась, снова опростовывалась; потом являлась не менее жирная свинина, а затем гречневая каша с свиным салом. При этом выпивался штоф сивухи, и все общество, 10, 12 и более дюжих подводчиков, вставало из-за стола, молилось на образа и укладывалось спать по лавкам и на печи. Начиналось громкое и неумолкаемое храпенье, и вместе с ним происходила поочередно, то там, то здесь, шумная эксплуатация газов, заставлявшая меня невольно просыпаться и громко смеяться. На границах Московской губернии Макар предложил мне заехать на ночлег, вместо постоялого двора, к его отцу, церковному старосте одного придорожного села. Я согласился.

На ночь явились к старосте сельский поп, дьячок и еще пара крестьян. Принесен был штоф сивухи. Пили, ели, болтали и пошли все спать. Рано утром уехали поп и дьячок, а потом и гости-крестьяне. Мы с Макаром тоже снарядились в путь; только, вижу, мой Макар что-то суетится и ищет.

– Что пропало?

– Кнут.

– Куда девался?

– Да где ему быть, – вопит Макар, – как не у попа. Уж известно: у попов глаза большие; а кнут был новенький, с иголочки, только что в Торжке купил, и то все приберегал.

Так первое подозрение о краже 20-копеечного кнута мужик, да к тому еще сын церковного старосты, свалил на попа, хотя вместе с попом

угощались и мужики. Меня, отвыкшего в Дерпте от нравов родины, поразила глубоко эта история с кнутом; я принялся увещевать Макара и наставлять его. Но он остался непреклонен.

– Уж я знаю, не миновал мой кнут поповских рук, – повторял Макар, не соглашаясь ни на какие разглагольствования об уважении к старшим и священнослужителям.

Наконец, я – в Москве, у Калужских ворот, на квартире матушки, жившей у отставного комиссариатского чиновника, называвшего себя полковником.

В то время жизни, когда человек, перестав быть ребенком, не достиг еще и полной мужеской зрелости, проявляется нередко в несложившемся еще характере резкая, неприятная черта, портящая много крови и у самого молодого человека, и у других. Обстоятельства, внешняя обстановка, темперамент и т.п. много содействуют развитию этой черты.

Всего неприятнее то, что заносчивость незрелого возраста колет глаза своею бестактностью именно там, где нет никакой, ни малейшей разумной причины ее проявления. У меня она проявилась именно в отношениях моих к матери, после долгой разлуки, из одного только различия в религиозных убеждениях, то есть именно там, где я мог бы и должен бы был требовать от себя сдержанности, терпимости и уважения к убеждениям старых и достойных уважения людей.

Этого не случилось, и я долго, долго и горько упрекал себя за мальчишескую невыдержанность, бестактность и грубость.

Какое мне, молокососу, было дело до самых задушевных убеждений моей богомольной старухи-матери и для чего было затрагивать самую чувствительную струну ее сердца?

Мотив был так же нелеп и странен, как и поступок.

И в самом деле, я не узнал бы самого себя, если бы сравнил то, что я утверждал и отчаянно защищал пред всеми, с моими страстными выходками против немцев, занесенными в мой дневник три года тому назад. Теперь же я явился в Москву самым ревностным защитником всего немецкого, выставляя всякому встречному и поперечному Прибалтийский край образцом культурного и благоустроенного общества. И вот, я превозносил пред архиправославною дряхлою женщиною немецкое протестантство, тогда как эта женщина целую жизнь только и находила утешения, что в своей вере и в своем сыне.

В жизни юношей, да и зрелый возраст не свободен от странностей этого рода, нередко встречаются резкие переходы от одного мировоззрения к другому. Неокрепшие убеждения и увлечения меняются и от настроения, и от разных внешних обстоятельств.

Одна перемена местности и круга знакомых уже способна заменить в незрелом уме один образ мыслей другим, совершенно противоположным. Притом дух противоречия, свойственный каждому незрелому уму, у меня был заметно выражен и склонен к проявлению при всяком удобном случае. Случай и представился.

Москва, то есть знакомая мне среда в Москве, не могла мне не показаться другою.

Ведь я провел четыре года самой впечатлительной поры жизни на окраине, не имевшей ничего общего с Москвою; и вот, что прежде меня привлекало на родине, потому что известно было только с одной привлекательной стороны, то сделалось противным чрез сравнение, открывшее мне глаза.

И пятинедельное мое пребывание в Москве ознаменовалось целым рядом стычек. Куда бы я ни являлся, везде я находил случай осмеять московские предрассудки, прогуляться на счет московской отсталости и косности, сравнять московское с прибалтийским, то есть чисто европейским, и отдать ему явное преимущество.

Матушку я хотел уверить, что немцы-протестанты лучше, что вера их умнее нашей, и как обыкновенно одна глупость рождает другую, то я, споря и горячась, перешагнул от религии к родительской и детской любви, и довел любившую меня горячо старушку до слез.

– Как это ты не боишься Бога – приравнивать материнскую любовь к собачьей и кошачьей! Разве собака и кошка могут любить своих щенят и котят, как мать любит своего ребенка? Значит, у вас теперь мать – все равно, что сука или кошка?

Так пеняла мне мать. Наконец, мне стало жаль и стало совестно. Споры с матерью я прекратил; разгорячившийся дух противоречия не скоро угомонишь, и я начал вымещать его на других, при каждом удобном случае; а случай представлялся на каждом шагу. Сделал я визит экзаменовавшему меня из хирургии на лекаря профессору *Альфонскому* (потом ректору). Он начинает спрашивать про обсерваторию, про знаменитый рефрактор в Дерпте, в то время едва ли не единственный в России. Я с восторгом описываю виденное мною на дерптской обсерватории, а *Альфонский* преравнодушно говорит мне.

– Знаете что: я, признаться, не верю во все эти астрономические забавы; кто их там разберет, все эти небесные тела!

Потом перешли к хирургии и именно затронули мой любимый конек – перевязку больших артерий.

– Знаете что, – говорит опять Альфонский, – я не верю всем этим историям о перевязке подвздошной, наружной или там подключичной артерии; бумага все терпит.

Я чуть не ахнул вслух.

Ну, такой отсталости я себе и вообразить не мог в ученом сословии, у профессоров.

– По-вашему, Аркадий Алексеевич, выходит, – заметил я иронически, – что и Астлей *Купер*, и *Эбернети*, и наш *Арендт* – все лгуны? Да и почему вам кажутся эти операции невозможными? Вот я пишу теперь диссертацию о перевязке брюшной аорты, и несколько раз перевязал ее успешно у собак.

– Да, у собак, – прервал меня Альфонский.

– Пожалуйте кушать! – прервал его вошедший лакей.

От Альфонского я пошел с визитом к Ал[ександру] Ал[ександровичу] *Иовскому*, редактору медицинского журнала, вскоре погибшего преждевременною смертью.

Я послал из Дерпта в этот, тогда чуть ли не единственный, медицинский журнал одну статью – хирургическую анатомию паховой и бедренной грыжи, выработанную мною из монографий *Скарпы*, Ж.Клоке и Астл[ея] Купера.

Иовский, принадлежавший уже к молодому поколению, не обнаружил большой наклонности к прогрессу по возвращении из-за границы; вместо химии принялся за практику, и теперь обнаруживал предо мною равнодушие к науке.

Я начал по-своему возражать, поставил ему тотчас же в пример Дерптский университет.

– Да с нашими подлецами ничего не поделаешь, – был ответ.

Пришел навестить одного старого знакомого, офицера-хохла, бывшего нашего соседа по квартире. Нашел у него других офицеров в гостях. И тут, слово за слово, я перешел к изложению всех преимуществ Прибалтийского края. Прежде всего, конечно, описал слушателям высокое состояние науки, отставшей в Москве, по крайней мере, на четверть века.

– Позвольте вам заметить, – остановил меня толстейший гарнизонный майор, – вот я лечился у разных докторов, везде побывал, советовался с разными знаменитостями, но толку не было; а вот у нас, в Москве, мне один старичок посоветовал принять лекарство Леру. Так, я вам скажу, оно меня так прочистило, что все, что во мне лет десять уже скопилось, наружу вывело; с тех пор, слава Богу, как видите, здравствую.

Возражать было нечего.

Перешли к суждению о семейной и общественной жизни.

Я опять стал распространяться о превосходных сторонах общества и семьи в Прибалтийском крае, коснулся, конечно, и немок.

– Замечу вам, – заговорил опять тот же майор, – я достаточно знаком с женским полом. Имел на своем веку дело и с немками, и с француженками, и с цыганками. Большого различия не нашел: все поперечки.

При этом замечании все общество покатилось со смеху, а я умолк, бросив презрительный взгляд на всю эту, не подходившую для меня компанию.

На другой день меня пригласили также к старому знакомому моего отца, помещику *Матвееву*, человеку с большими средствами и получившему отличное образование. Пригласили же меня в особенности затем, чтобы посоветоваться о сыне Матвеева, подростке лет 16-ти; его воспитывали дома гувернеры-иностранцы, и надо было решить теперь, как и чем закончить домашнее воспитание.

Я застал отца (еще очень моложавого и разбитного) и сына упражняющимися в фехтовальном искусстве.

Молодой Матвеев, изящно одетый, с целым лесом белокурых волос на голове, тщательно завитых и припомаженных, свободный в обращении, украшавший разговор цитатами из русских поэтов, представлял собою что-то искусственное, поддельное, невиданное мною в Дерпте. Отец Матвеев также вставлял в разговоре стихи из «Евгения Онегина», из «Горе от ума», называл предрассудком соблюдение религиозных об-

рядов, и в то же время крестился, садясь за стол; он сказывал, что сын его требует только некоторой подготовки в древних языках для вступления в университет, и восхищался вместе с сыном моими рассказами о жизни в Дерпте, об университетской деятельности и готов был сейчас же лететь в Дерпт. Я радовался, что нашел в Москве хотя одно прогрессивно настроенное семейство, и рад был еще более тому, что мог сам способствовать прогрессу, притянув юношу к серьезному университетскому образованию.

Едва я, однако же, покончил мою беседу с отцом и сыном, как меня позвали на другую половину, к жене и матери.

– Здравствуйте, monsieur Пирогов! Скажите, вы из Дерпта? Вы говорили с мужем? Видели сына? Как вы полагаете? Неужели вы посоветуете отправить сына в Дерпт? Ведь там студенты все – якобинцы. Это ужасно! Он может совсем пропасть.

Все это, сказанное залпом еще не старою, но, очевидно, взбалмошною дамою, меня крайне раздосадовало, и я принялся доказывать ей всю нелепость мнения, составленного ею о Дерпте, и в свою очередь не давал уже ей раскрывать рта до самых тех пор, пока не взялся сам за шапку.

Матвеевы (отец и сын) потом приезжали на своих лошадях в Дерпт. Сын вступил в университет; но много ли из него вынес, не знаю. Что-то тоже российское, замалеванное снаружи, проглядывало в этом выровненном и вытянутом подростке. Отец же его, обольстив какую-то московскую барышню, удрал с нею и с деньгами от жены за границу и возвратился оттуда без денег, без барышни и с раком желудка, через 12 лет в Петербург, где я его и навестил в гостинице, сильно страдавшего. Сын рассорился с ним и не хотел более знать отца.

Каждое посещение моих московских знакомых давало только пищу обуявшему меня духу противоречия. Все в моих глазах оказывалось отсталым, пошлым, смешным.

Я попробовал пойти в гости к незнакомым.

Мой товарищ, *И.О.Шиховский*, просил меня непременно навестить его закадычного приятеля, какого-то университетского бюрократа. Я навестил, и получил приглашение на вечер. Тут все общество и его болтовня показались мне уже до того несносными, что я, не простившись, потихоньку убежал.

Началось с беседы с профессоршею, женой преподавателя *Терновского*, у которого я целый год слушал лекции остеологии[1] и синдесмологии[2]. Это был не последний из категории забавлявших нас чудаков. Чахоточный, сухощавый донельзя, черномазый, весь обросший густыми темными, щетинистыми волосами, с впалыми, желто-бурого цвета, глазами, тоненькими ногами, в штанах в обтяжку в сапоги, в сапогах с кисточками; зимою на лекции всегда в огромной, бурого цвета, медвежьей шубе, крытой истертым и полинялым сукном, *Терновский* являлся

---

[1] Остеология (гр. osteon кость + гр. logos учение) – раздел анатомии, изучающий и описывающий строение скелета.

[2] Синдесмология (гр. syndesmos связка + гр. logos учение) – раздел анатомии, изучающий соединение костей.

на лекцию как-то исподтишка, скрытно, как будто боялся, чтобы его не прогнали, и исчезал вместе с десятком своих слушателей в огромном амфитеатре (на 300–400 мест).

Осматриваясь подозрительно вокруг себя, Терновский таинственно вынимал из-за пазухи лобную или височную кость и, покашливая, потихоньку подходил к каждому из нас, демонстрировал и намекал по временам, как трудно ему доставать кости от лодеровского прозектора.

Вот с супругою этого-то господина я случайно и встретился на вечере и узнал от нее, что муж ее, г. *Терновский*, имени и отчества не помню, есть известный всей Европе ученый.

Я чуть не фыркнул от смеха. Откуда это взяла она? Сам ли он так отрекомендовал себя или она изобрела из любви. Что было отвечать? Чтобы не ляпнуть какую-нибудь дерзость, я прекратил беседу; но, к довершению зла, заметил что-то как бы давно знакомое в физиономии одного претолстейшего господина, сидевшего за картами; справившись, кто это, я узнал моего дядю по матери, *Новикова*, при жизни отца нередко посещавшего наш дом, а по смерти не преминувшего забыть досконально о нашем существовании. И как скоро все это промелькнуло в моем воспоминании, я тотчас же и отретировался, чтобы не встретиться лицом к лицу с почтенным дядюшкою и не быть заключенным в его жирные объятия.

Это был финал моего пребывания в Москве; оно убедило меня окончательно в преимуществе и высоте нравственного и научного уровня в Дерпте.

В Дерпте не водятся профессора, считающие астрономические наблюдения пустою забавою; хирургические операции, давно вошедшие в практику, невозможными; всех своих коллег – подлецами; нет и дам, усматривающих в каждом студенте якобинца, а в своих супругах – европейские знаменитости!

Пред отъездом из Москвы я старался уничтожить тягостное впечатление мое, оставшееся в душе от глупых пререканий с матушкою; но только потом, приехав в Дерпт, я просил искренно прощения в письме к матери и сестрам. Назад возвратился из Москвы на почтовых, уже на второй неделе Великого поста.

Житье-бытье матушки и сестер в Москве я нашел немного лучшим прежнего. Одна сестра нашла себе место надзирательницы в каком-то женском сиротском доме; к другой приходили ученицы на дом; матушке выхлопотала одна знакомая небольшую пенсию; брат мой, не имевший чем заплатить взятые у матушки когда-то деньги, теперь поправился и уплачивал понемногу; я также кое-что прибавил. Матушка занимала небольшую квартиру в три комнаты вместе с одною сестрою и двумя крепостными служанками.

Я, пробыв четыре года в Прибалтийском свободном крае, конечно, не мог равнодушно смотреть на двух рабынь, старую и молодую. Я настоял у матушки, чтобы их отпустили на волю.

– Да я и сама уже давно бы их отпустила, – сказала мне матушка, – если бы не боялась попасть под суд.

– Как? За что?

– Да просто потому, что у меня нет никаких документов на крепость. Бог знает, куда они девались, и где их теперь возьмешь?

И действительно, деловые люди не советовали начинать дела, а предоставить все времени и воле Божьей. Так и случилось. Молодая раба, довольно красивая собою, чуть было не попавшая в руки какого-то московского клубничника, вышла благополучно замуж без всяких документов. Другая, уже старуха, Прасковья Кирилловна, та самая, сказки которой о белом, черном и красном человеке я не забыл еще и теперь, приехала потом с сестрами ко мне в Петербург в 1840 году. И тут только я, с помощью 25 рублей, преподнесенных квартальному надзирателю, успел, наконец, дать вольную этой, столько лет не по найму служившей личности.

Таково было крепостное право, и желавшие горячо от него отделаться не легко этого достигали!

В 1832 году докторская моя диссертация была окончена и защищена. Оставалось только дожидаться решения из министерства о поездке за границу.

Эти несколько месяцев были самыми приятными в жизни. К тому же в то время у *Мойера* или, вернее, у Екатерины Афанасьевны проживали молодые девушки – *Лаврова* и *Воейкова*. Откуда взялась первая не знаю; но Екатерина Афанасьевна интересовалась ею, занималась с нею чтением и женскими работами. Семейство Мойера, а с ним я, жило тогда в деревне (Садорфе, верст 12 от города). Лаврова, лет 16–17-ти, брюнетка, смуглянка, имела что-то странное в выражении глаз, впрочем красивых и черных. Она и в самом деле была какая-то странная, почти всегда восторгавшаяся, торжественно и нараспев говорившая о самых обыкновенных вещах. Она (Лаврова) осталась у меня в памяти потому, что однажды подралась со мною.

Много тогда смеялись видавшие драку, правда, не на кулачки, а скорее борьбу молодого человека с молодою, красивою девушкою.

Дело вышло из-за каких-то пустяков; о чем-то заспорили; я сказал что-то вроде: «Это очень глупо!» – и вдруг Лаврова кидается на меня с особенным, почти безумным выражением своих черных глаз, берет меня за плечи и хочет повалить. Я защищаюсь и, видя, что она не унимается, беру ее за плечи и начинаю, что есть силы, трясти; тогда она – в слезы и навзрыд.

Кое-как ее успокаивают, но она снова бросается на меня.

– Я женщина! – кричит она, – я женщина! Вы должны иметь уважение ко мне.

– Я мужчина! – кричу я в свою очередь, – и вы поступайте так, чтобы я вас мог уважать.

Следует новая схватка, и тогда уже нас разводят.

На другой день, как будто ничего не бывало; но Лаврова делает сно-

ва глупую выходку: бежит в переднюю подавать шинель приезжавшему на прощанье Александру Витгенштейну.

– Что это ты, матушка, твое ли это дело! – замечает ей потом Екатерина Афанасьевна.

– Да почему же не подать шинель сыну такого знаменитого полководца, как князь Витгенштейн! – восклицает восторженно Лаврова.

Другая интересная особа, к которой нельзя было оставаться равнодушным, Катя *Воейкова* была внучка Екатерины Афанасьевны Протасовой, дочь известного не с привлекательной стороны поэта Воейкова-Вулкана (Воейков был хром), уступившего свою очаровательную Венеру воинственному Марсу.

Только что окончившая курс учения в Екатерининском институте, Воейкова переехала на житье к бабушке в Дерпт. Не красавица, но очень милая и интересная, *Воейкова* была всегда весела и смешлива.

До отъезда моего за границу она нередко занимала мое воображение, но не производила глубокого впечатления. Недостатки институтского воспитания и поверхностного мировоззрения не окупались другими внешними достоинствами.

Тем не менее, и я, и многие другие, желали нравиться и угождать милой и интересной девушке. Устраивали домашний театр; играли *«Недоросля»*; я представлял Митрофанушку, и очень был доволен: игрою своею вызывал смех и рукоплескания Воейковой.

В других семействах я не был знаком; женское общество было мне чуждо, и потому появление всякого нового женского лица в знакомом мне доме не могло не производить на меня весьма приятного впечатления.

В Дерпте был в то время обычай между студентами приискивать себе во время университетского курса невесту между дочерьми бюргеров, чиновников, профессоров. Жених и невеста дожидались спокойно несколько лет. Был случай, что жених, казенный стипендиат, выдержав экзамен на лекаря, должен был отправиться куда-то в кавказскую трущобу. Он уведомил невесту о своем местопребывании, и она, 18-летняя девушка, никуда не выезжавшая никогда из дома, села на перекладную и, не боясь ехать вместе с попутчиками, молодыми юнкерами и офицерами, явилась живою и здоровою к жениху в захолустье, где и повенчались.

Зато был и другой случай.

Одна невеста, долго ждавшая и не знавшая, где находится ее жених, не устояла и сделалась невестою другого.

Вдруг является первый жених, узнает об измене и, встретив бывшую свою невесту на бале в клубе, задает ей пощечину и исчезает.

Нас, русских, не соблазнял этот немецкий обычай. Только один *Филомафитский*[1] (профессор физиологии в Москве) вздумал жениться

[1] А.М.Филомафитский (1807–1849) – с 1835 г. профессор физиологии, сравнительной анатомии, общей патологии в Московском университете. Филомафитский является основоположником экспериментальной физиологии, был горячим поборником экспериментального метода. В его учебнике физиологии – первая русская оригинальная сводка в этой области науки; это – один из лучших образцов научной литературы; книга получила Демидовскую премию.

пред поездкою за границу на Марье Петровне, воспетой Языковым:

Да здравствует Марья Петровна,
И ручка, и ножка ее!

– слышалось нередко и на улице, и в сборищах русских студентов как торжественный гимн, воспеваемый в честь русской красавицы, и при словах:

Блажен, кто, законно мечтая,
Зовет ее девой своей!
Блаженней избранника рая –
Бурсак, полюбившийся ей!

Филомафитский, верно, не причислял себя и взаправду к избранникам рая.

Да, я забыл еще *Степана Куторгу*[1], тот влопался в дочку директора училища, в доме которого он квартировал. «Allein kann man nicht sein auf der Erde»[2], – приводил в свое извинение Куторга.

И еще один, мой старый приятель *Загорский* (элев Академии наук), женился в Дерпте на дочери г-жи *Экс* и жил с ней очень долго и счастливо. Итак, из 23 русских (21 из профессорского института и 2 элевов Академии) переженились в Дерпте 3, а умерло только 2.

Не помню, анализировал ли я себя перед отъездом за границу из Дерпта; дневника я тогда уже не вел целый год и более; но мне кажется мой духовный быт того времени, не знаю почему, чрезвычайно ясным по истечении целых 48 лет.

Я убежден даже, что теперь, в настоящее время [1881 г.], мой анализ будет вернее и отчетливее того прежнего, может быть и не существовавшего. Едва ли этот прежний был бы так беспристрастен, как теперешний.

Начну с главного, моего тогдашнего мировоззрения.

Оно, несмотря на идеализм, еще весьма заметно господствовавший и в германской науке, и в германском мировоззрении, сильно склонялось к материализму и, конечно, самому грубому вследствие грубого незнания самой материи. Обрядно-религиозное направление, вывезенное еще из Москвы, потерпело полное фиаско. Полное незнакомство с духом христианского учения и вследствие этого незнание или нежелание знать основ христианства из Евангелия и апостольских посланий; полное отрицание загробной жизни как предрассудка и ни на каком факте не основанной иллюзии. Стоицизм должен быть религией ученого.

А между тем весь этот религиозный радикализм не давал душе твердости и стойкости на самом деле. Это чувствовалось, хотя и не сознавалось. Чувствовалось, что первая же беда, первое серьезное испытание

---

[1] С.С.Куторга (1807–1861) – выдающийся русский зоолог; с 1833 г. – профессор Петербургского университета, один из первых русских дарвинистов.

[2] Невозможно быть одиноким на земле (нем.).

потрясет все это здание до самого основания. Чтобы заглушить в себе это внутреннее противоречие, надо было искать самозабвения в научных занятиях, так как для других чувственных наслаждений организм был слишком слаб, слишком нервен, и потому не терпел пресыщения и с отвращением ощущал всякий избыток в наслаждении.

Желудок, приученный к простой пище, не переносил ни обжорства, ни пьянства. Только два раза в жизни я был настоящим образом пьян, и оба раза страдал несколько дней не на шутку. Мой отец также не переносил спиртных напитков, и получал сильную рвоту от нескольких рюмок вина. Сверх того, в Дерпте я начал периодически страдать поносами (катаром кишок), сделавшимися потом моею постоянною болезнью.

Еще и в Москве был расположен к схваткам в животе, являвшимся без всякой видимой причины. Я помню казус на лекции М.Я.Мудрова. Я сидел на самой верхней ступени амфитеатра и аудитория была переполнена до духоты студентами. Вдруг внимание мое прерывается страшною схваткою, я бегу что есть мочи, протискиваюсь между народом и едва успел выскочить за дверь, как чувствую, что я промок. Все содержимое кишечного канала оказалось в нижнем платье, в чулках и сапогах. Кто испытал такого рода бедствие зимою, вдали от дома, куда приходилось бежать промокшему насквозь, тот поймет, почему воспоминание об этом казусе и до сих пор живо сохранилось в моей памяти.

В Дерпте к развитию моей болезни служило еще одно. Я занемог простудою, и *Иноземцев* вздумал мне прописать какие-то горькие и, сколько помню, металлические пилюли. Я принимал это снадобье полгода, и в одно прекрасное утро пожелтел, как лимон, почувствовал тяжесть в животе, отвращение от пищи. Я продолжал, однако же, выходить и заниматься в анатомическом театре. Дело было зимою. Наконец, пришло невтерпеж: я принужден был остаться дома и начал брать у себя в клинике теплые мыльные ванны, всякий день на ночь, пить чай с клюквенным морсом, и моя желтуха постепенно исчезла. С тех пор кишечный катар начал чаще возвращаться и долее продолжаться, иногда почти целый месяц. Надо заметить, что в Дерпте солитер составляет обыкновенную эпидемическую болезнь; почти не встречается ни одного вскрытого трупа, при котором не нашли бы целые клубки солитера в кишках. Поэтому я полагал сначала, что эта глиста причиняет мне поносы, но ни разу не нашед у себя кусков солитера, я должен был оставить это мнение. Впрочем, и кроме кишечного катара, я страдал еще нередко катаром бронхов, а может быть, и бугорками; тогда, по крайней мере, я был убежден, что страдаю уже началом бугорчатой чахотки. При кашле, длившемся иногда по 5, по 6 недель, я, смотрясь в зеркало, постоянно следил за красным пятном на левой щеке, принимая его за признак изнурительной лихорадки. *Мойер* и товарищи, знавшие о моих подозрениях, насмехались надо мною; но мой дневник того времени ясно свидетельствует (он сохранялся одно время у жены), что убеждения мои были не шуточные. В дневнике я с грустью ни о чем более не мечтал, как прожить еще до 30 лет, а там, говорю, пора костям и на место.

Это было писано в 1831 году.

Этот дневник свидетельствовал еще и о том, что не одни гастрономические наслаждения не шли мне впрок, и половые возбуждали потом отвращение и тоску. В одном месте дневника того времени, после одного меланхолического пассажа, прибавлено: «Omne animal post coitum triste»[1]. Наконец, и табак, как средство к легкому самозабвению, не переносился в то время организмом.

Имея весьма плохое обоняние (я могу пронюхать только острые летучие вещества), я не имел никакой потребности курить при моих занятиях над трупами, и только на 31 году жизни, в первый раз после тяжкой болезни, почувствовал желание выкурить сигарку, и с тех пор стал курить, и по временам очень сильно.

Итак, не имея от природы призвания к чувственным наслаждениям, не перенося пресыщения, я уже по этой одной причине должен был посвящать себя исключительно научным занятиям. А к этому еще влекло и сильно развитое любознание.

Моя, рано развившаяся во мне любовь к науке, имела только ту опасную и худую сторону, что послужила к раннему же развитию и самонадеянности, заносчивости и самомнения.

Приехав, например, в Дерпт совершенным невеждою в офтальмологии, я, прочитав на первых же порах одно только руководство Веллера, вздумал было вступить в спор с *Мойером* об одном глазном больном в клинике. Мне почудилось, что, по Веллеру, надо было назвать болезнь не так, как ее назвал Мойер. Потом я сам крепко смеялся над собою. В другом случае мое самомнение поставило меня в чистые дураки, не допустив меня хорошенько осмыслить и обсудить то, что я предполагал.

Случай этот мне памятен до сегодня и до сих пор еще бросает меня в краску, когда я вспомню о предложенной мною в кругу товарищей и в присутствии Мойера бессмыслице.

Еще в Москве я слышал мельком от кого-то о вырезывании суставов и образовании искусственных суставов. Прибыв в Дерпт с полным незнанием хирургии, я, на первых же порах, нигде ничего не читав о резекциях суставов, вдруг предлагаю у одного больного в клинике вырезать сустав и вставить потом искусственный. Предложение это я делаю одному товарищу.

– Что такое, что такое? – спрашивает Мойер, слышавший наш разговор вполголоса.

Товарищ передал Мойеру, что я видел или слышал в Москве, что вставляют искусственные суставы из слоновой кости на место вырезанных.

Мойер покачал головою и начал трунить надо мною, что я поверил такой нелепице. А нелепицу эту я сам изобрел. Я должен был прикусить язык и смеяться над собственною же нелепостью. Тут играло главную роль не столько невежество и грубое незнание, сколько безрассудность от самомнения, мешавшего рассуждать и всесторонне обдумывать, что хочешь сказать или сделать.

[1] Всякая тварь печальна после соития (лат.).

После пятилетнего пребывания в Дерпте я уже без самонадеянности и без самомнения вправе был считать себя достаточно приготовленным к дальнейшему самостоятельному занятию наукой. Из анатомии я изучил некоторые предметы так основательно, что, например, в изучении о фасциях едва ли кто-нибудь мог быть опытнее меня. В этом убедились потом и в Берлине проф[ессора] *Шлемм*[1] и Иоганн *Мюллер*. Хирургию я изучил по монографиям, и всегда при помощи хирургической анатомии, которую изучал на трупах.

Недостаток трупов в Дерпте был по крайней мере тем полезен, что принуждал пользоваться тщательно наличным материалом. Не мудрено, что, получая в свое распоряжение труп, возились с ним день и ночь, не бросая ничего даром и стараясь сохранить как можно долее.

Трупы получались большею частью из Риги, по почте, зимою почти всегда замерзшие. Вспоминаю при этом забавное происшествие, случившееся с одним из моих товарищей. Он препарировал промежность (perinaeum) на полузамерзшем трупе, загнув его бедро к животу и приподняв ноги кверху. Дело было ночью, и потому на ноги и на живот трупа поставили несколько свеч в низеньких подсвечниках. Препарирующий углубился всецело в свою работу; вдруг он получает от невидимой руки затрещину, свечи падают, потухли, и в комнате делается совершенно темно. Можно себе представить удивление и испуг оставшегося в темноте и с болью в щеке молодого анатома! Он поднимает крик, является аптечный служитель со свечою, и дело разом объясняется. Полузамороженный труп оттаял, и тотчас же поднятые вверх ноги спустились, столкнули свечи и дают плюху сидевшему между ног с нагнутою вниз головою анатому.

В мае 1833 года решено было отправиться нам за границу.

Все медики должны были ехать в Берлин, естествоиспытатели – в Вену; все другие (юристы, филологи, историки) – также в Берлин. Во Францию и почему-то и в Англию никого не пустили.

Я отправился вместе с одним дерптским приятелем (потом служившим врачом в московском воспитательном доме), Самсоном фон *Гиммельштерном*, и с товарищем из профессорского института – *Котельниковым*.

На Котельникове надо остановиться – ведь он немало был предметом моего любопытства.

В нашем профессорском институте было двое чахоточных в последнем периоде болезни: *Шкляревский* и *Котельников*. Первый, на вид здоровый, полный блондин, с хорошо развитою грудью, говоривший всегда громко, начал харкать кровью и умер от скоротечной чахотки.

[1] Ф.Шлемм (1795–1858) – с 1829 по 1859 г. был профессором анатомии в Берлинском университете. Пирогов учился у него во время своей заграничной командировки в 1833–1835 гг.

Это был поэт с прекрасною, высокою душою. В стихотворениях его проглядывал мистический оттенок; в одном из них (на новый год, например) *Шкляревский* говорил собравшимся товарищам:

Было время, одинокою
Каждый шествовал тропой
Сквозь туман и глушь далекою
Увлекаемый звездой;
Но грядой незримо с чадами
Слил пути в единый путь.
Взгляды встретились со взглядами
И к груди прижалась грудь.

Пути наши, казавшиеся восторженному юноше уже слитыми, не слились, как показало время.

Иначе могло ли бы случиться, чтобы об иных из нас не было лет 30 ни слуху, ни духу. Вот о *Котельникове*, например, я 40 л[ет] ничего не знаю. Ошибаюсь, впрочем: слышал, что дочь его (после меня – самого младшего из членов профессорского института) вышла замуж за *Корнух-Троцкого*, который по малой мере лет на 7–8 был старее Котельникова. И еще знаю о них обоих, что они были профессорами в Казани, а если не ошибаюсь, кажется, видал и визитную карточку Котельникова у себя в Берлине.

Этот юноша, таким он был 48 лет тому назад, был тогда каким-то феноменом в моих глазах. Теперь мне стало известно из опыта, что с 17–21-летними юношами совершаются иногда непостижимые перемены и в физическом, и в нравственном отношении; но в 1830-х годах нашего века Котельников, изможденный как скелет, едва переводивший дух, страдавший целые месяцы изнурительной лихорадкою, задыхавшийся от кровохарканья и скоплявшейся в кавернах мокроты, и потом, тот же Котельников, кутивший с нами в Риге и наслаждавшийся потом dolce far niente[1] в Берлине, для меня, говорю, тогда эти два образа не могли уместиться в одном и том же Котельникове. Это с физической стороны; а с духовной – снова два разных лица.

Один Котельников – больной и хилый, но гениальный математик, по уверению профессоров *Струве* и *Бартельса* и по уверению товарищей; он день и ночь сидит над математическими выкладками, он изучил все тонкости небесной механики Лапласа; от Котельникова все ожидают, что он займет высшее место (выше самого *Остроградского*) в ряду русских математиков; об этом намекает и сам *Струве*. Одна беда – расстроенное здоровье. Но вот здоровье неожиданно поправляется. Котельников воскресает из мертвых, и что же – через два года он неузнаваем в нравственно-духовном отношении.

Ежедневно можно было встретить Котельникова в кондитерских, загородных гуляньях или просто на улицах Берлина, или читающим

[1] Приятным бездельем (ит.).

какую-нибудь газету, или же, всего чаще, ничего не делающим; книги, лекции, все оставлено. Я помню, Котельников сознавался мне, что еще ни разу не был на лекции одного из известных тогда математиков.

Женские лица начали действовать на Котельникова обаятельно, но по-прежнему, платонически, и, несомненно, *Котельников*, гуляка и глазейщик, остается девственным.

– Что с тобою приключилось? – часто спрашивал я его, когда он, от нечего делать, заходил ко мне.

– У меня вот тут, – говорил он, показывая на лоб, – что-то лежит вроде камня, а иногда мне душно делается; я ночью растворяю окно, становлюсь в рубашке против ветра или бегу, сломя голову, на улицу.

Разговор об этом не тянулся и переходил на злобу дня. Так прошли два года в Берлине. Я любил добрейшую душу этого чудака-товарища, и с ним же отправился и обратно из Берлина в Россию.

Я потом опишу это путешествие, а теперь скажу только, что в Риге я, несмотря на постигшую меня тяжелую болезнь, не мог удержаться от смеха, глядя на чемодан Котельникова; глядя, я вспоминал о забавной гримасе, виденной мною на лицах немецких почтарей, когда они, перекладывая и перенося чемодан Котельникова, замечали в нем стук от перекатывания какого-то твердого тела из одного угла в другой. В Риге же я узнал, что чемодан ничего более не содержал в себе, как старые, поношенные сапоги Котельникова.

Можно себе представить, как приятен был мне путь из Дерпта в Ригу. Будущее, розовые надежды, новая жизнь в рассадниках наук и цивилизации, приятное общество двух товарищей, прекрасная весенняя погода – все веселило и радовало молодую душу.

Ко многим моим недостаткам и слабостям того времени я отношу еще неуменье и нежеланье вести счет деньгам. Несмотря на мою бедность, несмотря на то, что, живя в семействе, я должен бы был знать цену деньгам, из которых ни одна копейка не проходила и не пропадала даром, я не хотел и не умел считать, когда деньги поступали в полное мое распоряжение.

Получив в начале месяца жалованье, я никогда не мог свести концы с концами, и нередко случалось в Дерпте, что к концу месяца я сидел без чая или без сахара; в таком случае чай заменялся ромашкою, мятою, шалфеем. Когда, при отъезде за границу, нам выдана была вперед довольно значительная для нас сумма, кроме денег на дорожные издержки мы получили вперед за полгода наше заграничное жалованье (800 талеров в год), то с этими деньгами случилось у меня то же самое, что и с месячным жалованьем в Дерпте.

Приехав в прибалтийское Эльдорадо – Ригу, все ощутили какую-то неудержимую потребность покутить; а потом вместо того, чтобы спешить к месту назначению, кто-то предложил ехать в Берлин чрез Копенгаген морем, а потом на Гамбург и Любек. Ни мы, ни наше университетское начальство, ни министерство не знали, что отправляться весною в заграничные университеты для слушания курсов весьма нерасчетливо и непроизводительно.

Летний семестр, начинающийся после Святой, весьма короток и неудобен. Надо отправляться за границу для ученья только осенью, в середине октября.

Продлив время нашего путешествия избранием пути чрез Копенгаген, мы могли приехать в Берлин только в конце мая; семестр же продолжался только до половины августа, а гонорар за лекции мы должны были внести все-таки полный, семестральный. Ехать в Берлин чрез Копенгаген, значило в то время искать случая, то есть искать парусного купеческого судна в Риге.

На это понадобилось еще два дня, что с двумя другими, проведенными в кутеже, хотя и далеко не бесшабашном, составило уже четыре дня, канувших в Лету не только без пользы, но и со вредом для кармана. Нашлось парусное датское судно, отправлявшееся обратно в Копенгаген, сколько помню, почти не нагруженное. Нас отправилось человек восемь, и все в первый раз в жизни делали путешествие морем.

Оно, конечно, началось прежде всего морскою болезнью. На другой день все мы лежали в лежку, проклиная тот час, когда решена была эта поездка. Еще день – и еще хуже. Поднимается шторм и страшная качка; кажется, что вот-вот и наше судно развалится, лопнет, разобьется в щепки. Кто-то из нас выполз на палубу и умоляет капитана воротиться назад куда-нибудь к берегу; другие, несмотря на плачевную обстановку, смеются вместе с капитаном над наивным предложением товарища. Наступает темная, бурная ночь, и мы (кажется, около Борнгольма) – на краю опасности, признаваемой и самим капитаном. Снасти трещат во всю ивановскую; волны играют судном, как мячиком; сверху льет ливмя, вокруг туман и не видать ни зги. Нас заперли внизу, всех в одной большой каюте, вылезать на палубу запретили.

Ужас, да и только! Тянется, тянется и нескончаема кажется ночь, а ночью – треск, вой, свист, плеск волн кажутся еще страшнее и зловещее! Целых три дня длилась буря, а потом целый день был штиль, и только чрез неделю мы приехали в Копенгаген.

Первый раз в жизни в заграничном городе. Какое же первое впечатление? Помню ясно, что меня поразила всего более какая-то невиданная еще мною городская опрятность, а затем высокие цилиндрические тополи, придававшие городу также необычайный для меня вид. Я тотчас же отправился по госпиталям, сделав предварительно визиты директорам госпиталя и клиник. Прием был очень радушный; видно было, что датские профессора еще не скучали от наплыва любознательных иностранцев. Только один, не профессор, а известный в то время в Копенгагене оператор (именно литотомист), видимо изумленный моим посещением, отказал мне присутствовать при его операциях, сказав коротко и ясно, что этого нельзя допустить.

Уже и в то время явно обнаруживалась ненависть датчан к немцам. Очевидно было присутствие двух враждебных лагерей и в ученом сословии. Несколько докторов и прозекторов из датчан, очень любезно отнесшихся ко мне, при первом же удобном случае раскрывали мне душу, полную ненависти к немцам.

– Всех, всех мы готовы принять по-дружески, только не немцев – наших злейших врагов.

Мне живо припомнились эти слова, очень живо, в Берлине, в 1863 году.

Я в почтовой карете еду из Гамбурга в Берлин. Для чего это я, думаю я по дороге, накупил столько фуляров[1] в Гамбурге? Мне нравится утирать нос фуляром, и притом мой *Мойер* всегда носил в кармане фуляр. Да он нюхал табак и потому не употреблял белых носовых платков; а тебе зачем, – ведь ты не нюхаешь? Ну, да, впрочем, что же, разве много истрачено? Однако же, давай-ка считать. И вот, едва ли не в первый раз в жизни, я принялся сводить приход с расходом. Ведь так, пожалуй, не хватит и на полгода того, что осталось в кармане. Ну, это еще что? Давай-ка, сочтем, благо никого нет из пассажиров. Начинаю вынимать из бокового кармана; во-первых, что это? А, датский паспорт! Вот, подлецы: слупили чуть ли не три талера за паспорт, а на черта его! Еще, пожалуй, с ним беды наживешь. Ведь этакое нахальство навязывать проезжим иностранцам свои датские паспорта, чтобы содрать 2–3 лишних талера! Тут, стоп! Остановка; дверцы кареты отворяются, влезает офицер. Милости просим. Счет деньгам приходится отложить. Посмотрим, что за особа. Молчание.

– Вы, верно, русский? – слышу вопрос.

– Да, я из России.

– Я узнал это по запаху.

– Как, неужели от меня пахнет?

– Нет, не от вас, а от ваших сапог и вашего бумажника, который вы держите в руках.

Тут я обращаю внимание на мой бумажник и прячу его скорее в карман.

– Я познакомился недавно со многими русскими из высшего круга, – продолжал офицер, смотря на меня в упор, чтобы не упустить из виду Knalleffect[2], неизбежный, по его мнению, для всякого русского, когда он слышит от немца о знакомстве его с высшим кругом.

– Да, я танцевал также с вашею государынею. Ее императорское величество, дочь нашего короля, была очень благосклонна к нам, прусским офицерам, и изъявила желание протанцевать с каждым из нас.

Сказав это, прусский офицер как-то особенно поднял голову, бросил на меня выразительный взгляд и, предложив мне без результата сигарку, закурил и погрузился в думу.

А я, не успев счесть содержимое в моем пахучем бумажнике, принялся считать в уме и постоянно сбивался в счете, задремал и заснул.

В Берлине мы были поручены нашим министром, князем *Ливеном*, некоему ученому, пиетисту, профессору *Кранихфельду*[3]. Это был окулист,

---

[1] Фуляр (франц. foulard) – тонкая шелковая ткань полотняного переплетения, гладкокрашеная или с набивным рисунком, отличающаяся особой мягкостью; шейный или носовой платок из такой ткани.

[2] Шумный эффект (нем.).

[3] Ф.-В.-Г.Кранихфельд (1789–?) – был директором частной глазной клиники и профессором гигиены Берлинского университета. Вдобавок имел еще звание придворного

заведывающий частною глазною клиникою, и вместе с тем профессор, если не ошибаюсь, гигиены или чего-то в этом роде. Первым делом Кранихфельда было приглашение нас к нему на чай. Мы нашли у него за чайным обществом, кроме жены, трех или четырех дам и еще двух или трех пожилых господ. Тут из разговоров мы узнали, что Кранихфельд придерживается гомеопатии.

– Представьте себе, – говорил он нам, – как случайные факты и наблюдения подтверждают иногда учения, в глазах скептиков и вольнодумцев кажущиеся невероятными. Мы недавно вечером сидели в саду под кустом цветущей бузины, и на другой же день все получили насморк и небольшой катар: similia similibus[1]. По моему опыту, нет более надежного средства против простудных катаров, как бузинный цвет.

Поговорив, напившись чаю, и притом чисто немецкого (русский чай был тогда еще редкостью в Берлине и продавался дорого, вместе с икрою, сладким горошком, в одной только русской лавке), мы принялись, по предложению Кранихфельда, за пение псалмов; нам роздали какие-то брошюрки, одна из дам села за фортепьяно, и все начали подпевать, кто как умел.

Это занятие, с некоторыми паузами, продолжалось без малого часа два и стало нам прискучивать; но делать было нечего, пришлось оставаться до конца. Наконец, мы распростились, с твердым намерением не приходить более на чай к Кранихфельду.

Все, что он для нас сделал, во время своего инспекторства, состояло в том, что он познакомил нас с некоторыми из профессоров. Самый главный [из них] был старик *Гуффеланд*, сроднившийся с нашим известным *Стурдзою*[2].

Я на Стурдзу гляжу библического,
Вокруг Стурдзы хожу монархического.
(Пушкин)

Физиономия всех этих господ уже с первого взгляда обращала на себя внимание выражением какого-то торжественного спокойствия; у иных это выходило с натяжкою и было более продуктом искусственным, а у других шло изнутри. К числу последних принадлежал и *Гуффеланд*. Высокий, седой, несколько бледный, с зеленым зонтиком на глазах, он импонировал своим лбом, видневшимся выше зонтика, и подбородком. Он говорил торжественно и спокойно. Спрашивал кое-что о

врача русского императора. Был гомеопатом. Русскому послу в Берлине графу Рибопьеру было предписано поговорить с Кранихфельдом, выяснить, согласен ли он взять на себя надзор за русскими молодыми учеными. Пока велись переговоры, Ливена сменил на посту министра С.С.Уваров. Он подтвердил поручение своего предшественника. Кранихфельд согласился и прислал подробную программу своей деятельности.

[1] Подобное – подобным [излечивается] (лат.) – основа гомеопатической медицины.

[2] Х.-В.Гуффеланд (1762–1836) – профессор частной патологии и терапии в Берлинском университете с 1810 г.

А.С.Стурдза (1791–1854) – чиновник русского министерства иностранных дел.

Дерпте. Гуфеланд в то время не держал уже клиники и был на покое, в кругу своей семьи.

Кранихфельд водил нас, медиков, также к *Русту*; но этот не принял нас; мы узнали потом, что Кранихфельд был ему не по нутру. Впрочем, жена Руста приняла нас и объявила, что муж после подагрического припадка лежит в истерике и принять нас не может; а мы хотели было испросить у него позволения посещать Charité во время утренних и вечерних визитов ее ординаторов (штаб-лекарей, Stabsärzte), что никому из учащихся не дозволялось.

Вскоре Кранихфельд не преминул отличиться следующими подвигами.

Во-первых, он распорядился втайне у хозяев наших квартир, чтобы они не давали на руки ключей от входных дверей, как это обыкновенно делалось, когда квартирант отлучался вечером и не надеялся возвратиться рано домой. Все ли наши хозяева получили от Кранихфельда эту инструкцию, – не знаю, но один из нас, *Крюков* (потом профессор филологии в Москве), случайно сделал открытие. Хозяйка его на требование Крюкова выдать ему ключ от уличной двери на ночь сказала, что собственно она не должна бы этого делать.

– Это почему? – спросил Крюков.

– Да профессор Кранихфельд запретил, – отвечала она, улыбаясь.

Крюков не утерпел, побежал к Кранихфельду за объяснением.

– Я узнал, – говорил ему Кранихфельд, – что вы часто отлучаетесь из дома ночью, – да потом, слово за слово, встречая противоречия, вдруг и бухни. – Вот такие-то русские, г. Крюков, как вы, и дошли до самого страшного из преступлений: до цареубийства!

– Цареубийства! – восклицает Крюков, – да мы, русские, никогда и не слыхивали у нас о таком преступлении.

– А смерть Павла I? – возражает Кранихфельд.

– Как! Что вы говорите, г. профессор! – горячится Крюков, – да разве это могло быть? Мы об этом ничего не знаем и никогда не слыхали.

Кранихфельд оцепенел, увидев, что попал впросак.

С тех пор он оставил и Крюкова, и всех нас в покое.

Я опасался также встретить в Кранихфельде второго Василия Матвеевича *Перевощикова*, но, напротив, Кранихфельд не мог нахвалиться моим прилежанием в посещении госпиталей, анатомического театра и лекций.

Лекции Кранихфельда даже для того времени, когда еще сильно господствовали в умах разные философские бредни, считались допотопными. Рассказывали, например, о такого рода пассаже.

– Природа, – утверждал Кранихфельд на одной лекции, – представляет нам всюду выражение трех основных христианских добродетелей: веры, надежды и любви. Так, целый класс млекопитающих служит представителем первой из них – веры; земноводные как бы олицетворяют надежду, а птицы – любовь.

Этот мистический сумбур в голове Кранихфельда не препятствовал ему, однако же, быть довольно порядочным окулистом того времени.

Он делал отчетливо и довольно хорошо извлечение катаракты (хрусталика) и круга глазного зрачка и т.п.

Владычество Кранихфельда над нами продолжалось недолго. С отставкою князя *Ливена* и с вступлением в министерство гр. *С.С.Уварова*, уволен был от нас и Кранихфельд. Место его заступил генерал *Мансуров*[1]; при нем мы получили прибавку жалованья и освободились совершенно от нравственной опеки.

Во время нашего пребывания в Берлине приезжал император Николай, остановился у посла *Рибопьера* и велел явиться туда всем русским.

Я занемог в это время простудою, и не мог явиться.

Явилось много других, и между прочими некоторые поляки; на одном из них остановился взор императора.

– Почему это вы носите усы? – спросил строго государь, подойдя близко к сконфуженному усачу.

– Я с Волыни, – ответил он чуть слышно.

– С Волыни или не с Волыни, все равно; вы – русский и должны знать, что в России усы позволено носить только военным, – громким и внушительным голосом произнес государь.

– Обрить! – крикнул он, обратясь к Рибопьеру и показывая рукою на несчастного волынца.

Тотчас же пригласили этого раба Божьего в боковую комнату, посадили и обрили.

Если бы великие мира сего были сердцеведами и могли бы видеть глубокую затаенную злобу молодых людей, присутствовавших при этой возмутительной сцене, то преследователей человеческой свободы булавочными уколами, мне кажется, давно не существовало бы. Да, эти булавочные уколы в виде запретов ношения бороды и усов, курения табака на улицах и т.п. отравляют жизнь не менее административных высылок. Но мне еще не раз придется затронуть этот кошмар русского царства.

В Берлине прежде всего мне надо было распорядиться с домашнею жизнью. Денег оказалось, по моим соображениям, несмотря на излишнюю покупку фуляров в Гамбурге, достаточно до конца семестра, то есть до нового жалованья. Я нанял квартиру на улице Charité, у вдовы какого-то мелкого чиновника. Помещение мое состояло из одной, но весьма просторной комнаты, отделенной наглухо забитою дверью от хозяйского помещения. Семейство вдовы состояло из подростков, одной дочери и мальчика сына, настоящего берлинского Strassenjunge[2], подававшего надежду сделаться впоследствии настоящим Berliner Louis[3].

Мебель моя состояла из кровати, софы, пяти-шести стульев, шкафа, стола и комода, – увы! как оказалось после – плохо запиравшегося. В этот злосчастный комод я и положил вместе с другими вещами бумажник с прусскими ассигнациями, пересчитав их предварительно не

[1] А.П.Мансуров (1788–1860) – был русским военным агентом в Берлине.
[2] Уличного мальчишки (нем.).
[3] Берлинским сутенером (нем.).

один раз. Что касается до пищи и питья, то оказалось, что я гораздо легче мог найти себе приют, чем отыскать хотя сколько-нибудь сносный способ питания моего тела.

В Дерпте, на мойеровском столе, простом и питательном, я отвык от трактирной кухни, и одно воспоминание о рисовой каше с снятым молоком, водянистом супе и твердом, как подошва, жарком, доставлявшихся нам в трех глиняных судках из трактира Гохштетера, в первый семестр нашего пребывания в Дерпте, – уже одно, говорю, воспоминание об этих кулинарных прелестях возбуждало во мне отвращение к пище и тошноту, и я рад был услышать от моей хозяйки, что она бралась приготовлять мне обед.

Вскоре, однако же, оказалось, что Гохштетер в Дерпте был, по крайней мере, в том отношении добросовестен, что он заменял малую питательность отпускавшейся им неудобоваримой пищи по истине огромным количеством съестного материала. Хозяйка же моя в Берлине умудрилась так распорядиться, что, отпуская для моего обеда: a) суп, еще более водянистый, чем гохштетеровский, b) мясо вареное и жареное, еще менее едомое, и c) блинчики, уже вовсе неедомые и иногда заменяемые куском угря (Aal) весьма подозрительного свойства, – вместе с тем и количеству не давала выступать из самых ограниченных размеров.

Промучившись так около двух недель на хозяйском столе, утоляя дефицит питания, чем ни попало, но с двойным ущербом для кармана, я, наконец, решился по совету товарищей абонироваться на месяц в трактире. Предстояла, однако же, трудность выбора. В одном из них, предназначенных исключительно для учащейся братии, абонемент был 3 талера в месяц, то есть по 3 Silbergroschen за обед. В другом, Unter den Linden, абонировались за 5 талеров (по 5 Silbergroschen за обед); и в том, и в другом абонемент имел право выбирать 3 кушанья. После многих колебаний я избрал абонементом Unter den Linden.

От водянистого супа, однако же, я и тут не ушел; только он тут явился под французским наименованием: bouillon clair[1]. И вот, тарелка этого чистейшего водяного раствора, кусок boeuf à la mode или Rindenbrust naturel[2] и порция Mehlspeise[3] с ягодным соком составляли мой обед в течение целого месяца и более.

Так как я был всегда худощав, то не знаю, можно ли было заметить истощение тела от недостаточного питания; я чувствовал, однако же, ежедневно к вечеру, набегавшись от старого анатомического театра (за Garnison-Kirche) и Charité и оттуда в Ziegelstrasse, неудержимую потребность еды, и удовлетворял ее разною дрянью вроде лимбургского сыра, колбасы и т.п., как наименее бившей по карману. Так я рассчитывал пробиться до конца семестра; но суждено было не то.

Однажды я иду в комод за деньгами, вынимаю бумажник, смотрю – не верю глазам: пачка прусских ассигнаций в 5 талеров, еще не так дав-

---

[1] Чистый бульон (франц.).
[2] Кусок мяса или жареной грудины (франц.).
[3] Мучное сладкое блюдо (нем.).

но довольно пузастая и тем поддерживавшая во мне надежду, показалась мне необыкновенно исхудавшею. Я принимаюсь считать, и, Боже мой, что же это такое? Мне так не хватит и на 2 месяца, а до конца августа – еще 3, да, сверх того, я должен еще внести за privatissimum у профессора Шлемма. Как же я мог так ошибиться в расчете? А считал ли я всякий день, что расходовал, поверял ли отложенные в бумажнике деньги, и когда их поверял? Вел ли хоть какую-нибудь приходно-расходную тетрадь? Нет, нет и нет. А между тем я наверное знаю или, лучше, чувствую, что обворован.

Входя нечаянно в свою комнату, я не раз видел, что будущий Berliner Louis шлялся в ней непрошенный и бывал вблизи комода. Замок комода оказался также незапертым хорошо. Я позвал хозяйку и объявил ей о пропаже денег. Она взбудоражилась, раз десять прокричала: «Kreutz Donnerwetter!»[1], отвергала всякое малейшее подозрение на своего сынишку. Объявили полиции. Но где доказательства, что пропажа действительно существовала? Поговорили, покричали, побранились, тем и кончилось. Что тут делать? Я крепко призадумался, начал остаток уцелевших денег носить постоянно с собою, сократил еще более мелочные расходы; но все это, я видел ясно, не даст мне средств к жизни до конца семестра.

Иду к Garnison-Kirche, в анатомический (старый) театр, чтобы уплатить, пока еще есть деньги, профессору *Шлемму* за privatissimum (хирургические операции над трупами). Смотрю и вижу там несколько знакомое лицо, узнавшее и меня.

Это – студент Дерптского университета, сын богатого петербургского аптекаря, старика Штрауха.

Молодой *Штраух*[2], не кончив медицинского курса, должен был оставить университет и бежать за границу. Он опасно ранил на пистолетной дуэли того студента, о ране которого на шее я уже рассказывал прежде. И вот этот Штраух, получивший от отца большое содержание, оставив Россию и с нею невесту, приехал в Берлин доканчивать курс.

– Вот встреча-то как нельзя кстати! – говорит мне Штраух, – знаете ли, мне бы хотелось жить и заниматься вместе с кем-нибудь, кто бы мог быть мне полезным в занятиях; не согласитесь ли вы? Я вам предлагаю квартиру у себя, особую комнату, содержание, удовольствия и развлечения, которыми я сам пользуюсь, а от вас ничего другого не требую, как помочь мне советом или объяснением там, где не хватит своего ума.

Я с радостью дал самое задушевное согласие.

В Провидение я тогда, ко вреду для самого себя, не верил и счел встречу с Штраухом за счастливый случай.

На другой же день я переехал к Штрауху и был ему искренно благодарен. Я жил с ним вместе, кажется, более года. И Штраух, и я сдержали слово. Он мне ни в чем не отказывал; всякое воскресенье водил он

---

[1] Гром и молния! (нем.).

[2] К.-Ф.Штраух (1810–1884) – учился в Дерпте с 1829 по 1833 г.; впоследствии был директором лечебницы по глазным и ушным болезням в Петербурге.

меня в театр. Тогда были в ходу классические пьесы Шекспира, Шиллера, Лессинга, Гете, а Штраух был отъявленный меломан. Мы обыкновенно приносили с собою в театр перевод Шекспира и следили по нем за дикцией актеров, между которыми Лем, Рот, Крелингер были любимцами берлинской публики.

Питание моего тела также несколько исправилось – я пил каждодневно пиво с Штраухом, до которого он был охотник. Хотя мы всего чаще обедали по 3-хталерному абонементу, в чисто студенческом ресторане, но кушанья выбирали получше, приплачивая, да к тому же еще нередко и вечером заходили съесть порцию чего-нибудь.

В этом ресторане все блюда были на подбор воистину студенческие. Главную роль играла свинина с тертым горохом. Это кушанье съедалось студентами в ужасающих размерах, запиваемое берлинской пивною бурдою (так называемое Weissbier или Blonde); немалую роль, но уже как деликатес, играл сельдерейный салат (Sellerysalat).

Этот деликатес мне памятен еще и потому, что он предложен был одним бедным еврейчиком как нежное питательное средство.

Это предложение, о котором и теперь не могу вспомнить без смеха, было сделано в клинике *Грефе*[1].

Знаменитый профессор имел обыкновение иногда спрашивать практикантов в его клинике о диете, необходимой для того или другого больного; при этом он требовал иногда от практиканта и довольно подробного меню для случаев из частной практики. Речь шла о режиме для какой-то слабой и бескровной дамы.

– Какое бы вы предложили нежное и вместе с тем питательное кушанье для этой ослабевшей и деликатной особы? – спрашивал Грефе у практиканта-еврейчика, которого я нередко встречал в нашем ресторане.

– Sellerysalat, – отвечал он в полной уверенности, что более приличного блюда для его больной никто не предложит.

Я, с своей стороны искренно, от души, помогал Штрауху в его занятиях, демонстрируя ему из хирургической анатомии, оперативной хирургии, читал с ним и репетировал, словом, делал, что мог. Через два года Штраух выдержал в Дерпте экзамен на доктора, и я, возвратясь в Дерпт, имел еще удовольствие попотчивать гостей на его докторском банкете черепаховым супом, заставляющим меня не менее сельдерейного салата смеяться при воспоминании о нем.

Я знал слабость Штрауха похвастать и отличиться. А угостить настоящим черепаховым супом в Дерпте большое общество на званом обеде – это чего-нибудь да стоит.

Случилось так, что как нарочно к банкету прислали в анатомический театр из Гамбурга огромную морскую черепаху, уже, конечно, давно отдавшую Богу душу; при раскупорке ящика обнаружился довольно пронзительный запах, и прозектор поспешил очистить скорее мясо от

[1] К.Ф.Грефе (1787–1840) – с 1810 г. занимал кафедру хирургии в Берлинском университете.

костей, назначавшихся для скелета. Отпрепарированное мясо хотели уже, за негодностью, схоронить, как мысль о черепаховом супе для банкета дала этому материалу более высокое назначение.

Повар в ресторане Пашковского сумел придать мифологическим останкам черепахи такой необыкновенный вкус, что все гости на банкете Штрауха, и всего более, конечно, он сам, были восхищены дотоле невиданным в Дерпте деликатесом. Мы, я и прозектор (*Шульц*), знавшие, в какой степени разложения мышцы черепахи служили к изготовлению супа, посматривали только друг на друга, и удивлялись, как это и гости, и мы могли находить вкусною такую дрянь.

1 октября 1881 г.

От 1-го листа до 79-го, то есть университетская жизнь в Москве и Дерпте, писана мною от 12-го сентября по 1-е октября [1881 г.], в дни страданий: «Dies illae, dies irae...»[1]

Благодарю моего Господа Бога, что страдания не лишили меня способности живо вспоминать старое, думать и писать.

Да будет воля святая Твоя!

10 октября 1881 г.

Дотяну ли еще до дня рождения (до ноября 13-го)? Надо спешить с моим дневником.

Наука в Берлине в 1830-х годах была в переходном состоянии. После смерти *Гегеля* германская философия уже не могла найти себе подобных, как он, вожаков, заставившего значительную часть культурного общества в Европе смотреть на мир Божий не иначе, как чрез изобретенные им консервы. Теперь трудно себе и вообразить, до какой степени и в Германии, и у нас веровали, именно, веровали в философию Гегеля.

Ни голос таких гениальных личностей, как *Гумбольдт*, не оправдывавший господствовавшего тогда увлечения, ни пример англичан и французов, следовавших чисто реальному направлению в науке, ничто не помогало против обаяния и увлечения *гегелизмом*.

Медицина того времени стояла в Германии на распутии.

Самая сущность этой науки препятствовала ей отдаться в руки гегелевой философии, но, тем не менее, это философское направление всех наук того времени препятствовало и медицине следовать спокойно и неуклонно путем чистого наблюдения и опыта.

[1] Те дни, дни гнева (лат.).

Трансцендентализм был слишком модным. Даже во Франции и в такой науке, как хирургия, *Лисфранк* кричал во все горло о себе, что у него можно найти «cette chirurgie supréme et transcendentale»[1].

Время моего пребывания в Берлине было именно временем перехода германской медицины, и перехода весьма быстрого, к реализму; начиналось торжественное вступление ее в разряд точных наук, празднуемое фанатиками реализма еще до сих пор.

Но я застал еще в Берлине практическую медицину почти совершенно изолированною от главных реальных ее основ: анатомии и физиологии. Было так, что анатомия и физиология – сами по себе, а медицина – сама по себе. И сама хирургия не имела ничего общего с анатомиею. Ни *Руст*, ни *Грефе*, ни *Диффенбах*[2] не знали анатомии.

Руст, говоря однажды на своей клинической лекции об операции *Шопарта*, сказал весьма наивно: «Я забыл, как там называются эти две кости стопы: одна выпуклая, как кулак, а другая вогнутая в суставе; так вот от этих двух костей и отнимается передняя часть стопы».

Грефе при больших операциях приглашал всегда профессора анатомии *Шлемма* и, оперируя, справлялся постоянно у него: «Не проходит ли тут ствол или ветвь артерии?»

Диффенбах просто игнорировал анатомию и подшучивал над положением разных артерий. Опасение повредить надчревную артерию при грыжах считал праздною выдумкою. «Das ist ein Hirngespenst»[3], – говорил он своим ученикам про надчревную артерию (a. epigastrica).

Мало этого: Диффенбах до такой степени был чужд поверхностных анатомических понятий, что однажды послал Иог[анну] *Мюллеру* кусочек, вырезанный им из языка у заики, прося, чтобы Мюллер определил, какой это мускул?

О профессорах терапии и патологии, о клиницистах по внутренним болезням и говорить нечего.

Объективный экзамен при постели больного почти не существовал у терапевтов; постукивание и послушивание употреблялось более как decorum[4].

Вскрытий трупов сами профессора не делали и не присутствовали при них, да и присутствие их там ни к чему бы не повело при их полном незнании патологической анатомии.

Однажды я увидел в руках студента, вскрывавшего труп, довольно замечательный образец аневризмы[5] легочной артерии, впрочем плохо вырезанной из трупа; я обратил внимание студента на редкость случая и посоветовал ему представить препарат профессору терапии *Горну*

---

[1] Самую благородную хирургию (франц.).

[2] И.Ф.Диффенбах (1792–1847) – с 1824 г. заведовал хирургическим отделением в Charité, а с 1832 г. стал профессором хирургии в Берлинском университете.

[3] Это фантазия, химера (нем.).

[4] Внешнее приличие (лат.).

[5] Аневризма (гр. aneurisma расширение) – расширение просвета кровеносного сосуда или расширение полости сердца, выпячивание их стенки вследствие изменений или повреждений ее.

(Horn), в клинике которого находился пред смертью страдавший аневризмой.

– Да что же тут наш Горн поймет? – отвечал наивно студент.

Из всех занимавшихся стетоскопом был только один молодой человек, д-р *Филипс*, предлагавший себя и для privatissimum, но охотников не являлось.

Патологическая анатомия, в современном смысле и даже в смысле тогдашней французской школы, существовала в Германии только в одном университете – Венском. Во всех других университетах профессора патологической анатомии ограничивались изложением и классификацией разного рода уродств, и сам Иог[анн] *Мюллер* в Берлине, в первое время, читая патологическую анатомию, ограничивался этим изложением.

Впрочем, я застал уже *Фрориепа*[1] в Берлине, недавно сюда приглашенного. При таком научном направлении, о точной и правильной диагностике не могло, конечно, быть и речи. Немцы с пренебрежением отзывались тогда о французских врачах, говоря, что это не врачи, а только диагносты.

Признаюсь, в этом упреке много правды.

Но немцы не предвидели, что чрез несколько лет этот упрек может коснуться и их самих.

И вот, в это время являются на сцену: Иог[анн] *Мюллер* в Берлине, братья *Веберы* в Лейпциге, *Шенлейн*, бежавший по политическим делам из Баварии в Цюрих, и *Рокитанский*[2] в Вене.

Иог[анн] *Мюллер* дает новое, или по крайней мере забытое после *Галлера*, направление физиологии. Микроскопические исследования, история развития, точный физический эксперимент и химический анализ кладутся Мюллером в основы германской физиологии.

Владычество Мюллера в физиологии, обильное богатыми результатами, потом, как царство Александра Македонского, распадается на несколько областей, управляемых его полководцами. Это и не могло быть иначе; но было время, когда Иог[анн] *Мюллер* властвовал почти один в этой области знания. Только братья *Веберы* разделяли с ним власть некоторое время.

Цюрихская клиника *Шенлейна* гремела тогда на всю Германию славою гениального врача, соединившего реальное направление с смелыми теориями, недаром же господствовавшими так долго в умах передовых врачей. Не прошло потом и 2 лет, как *Шенлейн* был уже приглашен из Цюриха в Берлин. Не многие из передовых деятелей этой науки заслуживали себе такое имя, как Шенлейн, не оставив после себя ни одного сочинения, кроме небрежно составленных учениками лекций.

---

[1] Р.Фрориеп (1804–1861) – с 1833 по 1846 г. был профессором хирургической анатомии и прозектором патологического института в Charité.

[2] Э.Г.Вебер (1795–1878) – был профессором анатомии и физиологии в Лейпциге.

В.Э.Вебер (1804–1891) – был профессором физики в Геттингене.

К.Рокитанский (1804–1878) – знаменитый патологоанатом, основатель венской школы, с 1834 по 1875 г. профессор патологической анатомии в Венском университете.

Братья Веберы в Лейпциге избрали самостоятельно тот же самый путь, как и Мюллер. Но труды их едва ли не превосходят точностью результатов и самые работы Мюллера. Особливо гениален был брат физик (потом профессор физики в Геттингене). Никогда я не видал человека, у которого высший ум и необыкновенные научные достоинства вмещались бы в таком невзрачном теле, как у этого брата *Вебера*. Наконец, Вена была в 1830-х годах единственным местом в целой Германии, в котором патологическая анатомия изучалась на деле, т.е. чрез вскрытие трупов, под руководством опытных наставников (*Рокитанского* и *Коллечки*[1]). Но об этом мало знали, или, вернее, этим мало интересовались в Германии, и только иностранцы ехали в Вену для изучения патологической анатомии.

В первом же семестре я записался у Шлемма для упражнений над трупами (privatim) и для упражнения в хирургических операциях над трупами (privatissimum), у *Руста* – на клинические лекции в Charité, у *Грефе* – как практикант в его клинике (Ziegel-Strasse), у Jungken'a – в глазной клинике в Charité и у *Диффенбаха* – privatissimum из оперативной хирургии. Некоторые из этих лекций, как, напр[имер], privatissimum Диффенбаха, я отсрочил до следующего (зимнего) семестра. Эти же самые занятия продолжались и все остальные семестры моего пребывания в Берлине. Только иногда улучал я госпитировать, т.е. быть гостем и на других лекциях.

С первого же раза я, еще молокосос (23 лет), и пожилой проф[ессор] *Шлемм* полюбили друг друга. Он видел во мне иностранца, любившего его любимые занятия и притом знавшего многое из той части анатомии, которою он мало занимался. Он очень хвалил мои работы тазовых и паховых фасций, артериальных влагалищ и проч.

Шлемм был первостепенный техник; его тонкие анатомические препараты (сосудов и нервов) отличались добросовестностью и чистотою отделки. Он мне рассказывал о своем знаменитом споре с *Арнольдом*. Шлемм не верил в открытие ушного узла (gangl. oticum) Арнольда и считал этот узелок за простую клетчатку. Арнольд прислал ему свой препарат с ушным узлом. Шлемм, разбирая этот аппарат, открыл своим косым и острым глазом на месте узелка тоненькую шелковину, связывавшую его с нервною веточкою. Пошли пререкания, и только Иог[анн] *Мюллер*, пользовавшийся полным уважением *Шлемма*, уладил спор, доказав Шлемму микроскопом, что узелок был действительно нервный, а шелковинка была употреблена *Арнольдом* для прикрепления случайно оторвавшейся от узелка нервной веточки.

Шлемм был не только превосходным техником по анатомии, но и отлично оперировал на трупах. На живом он никогда не оперировал, вероятно, следуя галлеровскому: «Ne nocerem veritus»[2]. Ровный, всегда спокойный и положительный, Шлемм был очень любим. Можно бы

[1] Я.Коллечка (1803–1847) – ассистент Рокитанского, затем профессор кафедры судебной медицины в Вене.

[2] Не вредить сознательно (лат.).

было его расцеловать за его спокойное и приветливое: «Sehen Sie wohl», которым он начинал каждую речь. «Sehen Sie wohl, meine Herren»[1], – еще и теперь приятно звучит в моем воспоминании.

Я, несмотря на близкое знакомство с *Шлеммом* и проводя с ним ежедневно по нескольку часов, никогда не видал его взволнованным и сердитым.

Я удивился однажды, с какою неподражаемою флегмою отделал он молодого щелкопера, сына довольно зажиточного торговца вином, приехавшего к Шлемму с письмом от отца из провинции. Шлемм прочитал письмо и, нисколько не стесняясь, преспокойно дал следующий ответ: «Sehen Sie wohl, то, о чем просит ваш отец, я готов исполнить. Он просит, чтобы я допустил вас к слушанию моих лекций без гонорара и, сверх того, попросил еще и моих товарищей, чтобы они дозволили вам слушать у них курсы безденежно. Хорошо, я согласен, но в таком случае попрошу и вашего батюшку, чтобы он мне отпускал вино из своего магазина даром, а сверх того, попросил бы и своих товарищей отпускать даром».

Шлемм и *Мюллер* работали в одном и том же здании (старом анатомическом театре), никуда негодном, впоследствии замененном новым анатомическим театром, под дирекциею моего приятеля *Рейхердта*. Я часто видал там Мюллера и окружавшую его плеяду: *Генле*, *Свана* и других.

Курс физиологии у *Мюллера* мне не удалось выслушать: часы совпадали с клиниками, а я не хотел пожертвовать ни одною. Впрочем, необходимо бы было посетить преимущественно те лекции, на которых Мюллер демонстрировал на животных (преимущественно на лягушках) и под микроскопом; все другое можно было прочесть потом в его физиологии.

Из его опытов над лягушками всего более наделал в то время шума опыт, подтверждавший несомненно открытые Ш.Беля различные функции двух нервных корней (переднего и заднего). По мнению Мюллера, никакой опыт над теплокровными животными (раз это делали до него и другие) не может так ясно показать две различные функции (чувствительную и двигательную) спинных нервных корней, как опыт над лягушкою. Действительно, до Мюллера, по крайней мере в Германии, никто не верил положительно в знаменитое открытие Ш.Беля.

Мюллер был весьма расчетлив на своих лекциях: он никого не допускал посещать их, не внеся гонорара (весьма значительного по тогдашнему времени), и, читая лекцию, зорко следил за каждым входящим в аудиторию. Однажды он вдруг встает с кафедры и, подошед к только что вошедшему посетителю, громко спрашивает его: «А имеете входной билет? Покажите!» Билета не оказалось, и посетитель должен был ретироваться, а служитель у входа, отбиравший билеты, был удален.

Физиономии *Шлемма* и *Мюллера* означали, с первого же взгляда на них, два различных характера: луна и солнце. Круглое, широкое, спокойное лицо *Шлемма* смотрело на вас полною луною. Лицо Иог[анна]

[1] Видите ли, мои господа (нем.).

Мюллера поражало вас своим классическим профилем, высоким челом и двумя межбровными бороздами, придававшими его взгляду суровый вид и делавшими несколько суровым проницательный взгляд его выразительных глаз. Как на солнце, неловко было новичку смотреть прямо в лицо на Мюллера.

Клиники Руста в Charité считались тогда молодыми немецкими врачами едва ли не самыми образцовыми в целой Германии. И действительно, Руст был в известном смысле наиболее реалист между врачами тогдашнего времени. Он хотел основать свою диагностику исключительно на одних объективных признаках болезни и потому требовал в своей клинике от практикантов прежде расспроса больного об анализе и субъективных признаках, исследования того, что можно видеть и осязать собственными чувствами. Принцип превосходный. Расспросы и рассказы больного, особливо необразованного, нередко служат вместо раскрытия истины к ее затемнению. Но медицина, не говоря уже о временах *Руста*, и до сих пор не владеет еще таким запасом надежных физических или органических, т.е. объективных, признаков, на которые можно было бы положиться, не прибегая к расспросам больного и не полагая их в основу распознавания. И вот *Руст*, в своей самонадеянности, при малом запасе верных физических признаков болезней, поневоле допускал целую кучу мечтательных.

Не имея по тогдашнему состоянию патологической анатомии прочной органической почвы под ногами, *Руст* ввел в диагностику весьма сомнительные признаки и различия болезней по дискразиям[1] и помесям дискразий. «Rheumatischer, arthritischer, scrofulöser Natur»[2] – эти эпитеты постоянно слышались при определении болезней в клинике Руста. Мало этого: Руст из привязанности к своему принципу – pro majore (non Dei, sed Rustii) gloria[3] прибегал в своей клинике к шарлатанству. Его ординаторы (Stabsärzte) доносили ему до клинической лекции о свойстве болезней вновь поступивших больных, а он диагностировал потом перед слушателями, как будто бы по одним объективным признакам, и попадал иногда впросак. Однажды ординатор Руста доложил ему о поступлении двух больных в Charité: одного с переломом ключицы, а другого с онемением плеча от удара молнией. Вывели обоих их в аудиторию.

– Что это такое? – спрашивает Руст у практиканта, показывая на одного из больных, придерживающего локоть одной руки другой.

Практикант хочет исследовать.

– Не надо тут исследовать! – восклицает Руст, – тут с первого же взгляда, par distance[4], можно верно определить, в чем дело.

Все напрягли внимание, слушают и смотрят.

– Это перелом ключицы, несомненно, – утверждает Руст, – это видно из положения тела...

---

[1] Дискразия – буквально: дурное смешение; нарушение состава.

[2] Ревматическая, артритическая, золотушная природа (нем.).

[3] Ради вящей (не Божией, а Рустовской) славы (нем.).

[4] На расстоянии (франц.).

В это время тихо подходит к нему его ординатор и что-то шепчет ему на ухо.

– Гм... гм... – спохватился Руст. – Да! Вот это тот больной, другой, а этот парализован от удара молнией.

Если бы в то время было дозволено посещение больных слушателями в самих палатах Charité, то, верно, диагностические промахи всплывали бы гораздо чаще наружу, а то учреждено было так, что вновь поступившего больного присылали в клиническую аудиторию: здесь определяли болезнь, назначали лечение, потом уносили больного, и о нем – ни слуху, ни духу. Но, несмотря на эти предосторожности, случалось все-таки не очень редко, что язва, определенная Рустом по всем правилам его знаменитой гелкологии (Helcologie)[1], т.е. по всем объективным признакам, как несомненно артритическая (ulcus arthriticum), из расспросов больного оказывалась без всяких других признаков артритизма. Это не мешало, однако же, признавать такую язву и лечить ее как артритическую на том основании, что другие припадки подагры могут появиться впоследствии.

Ходит, между прочим, еще один забавный qui pro quo[2] из рустовской клиники, вероятно, выдуманный (é bene trovato)[3].

Сын Руста, молодой докторант, ограниченный до глупости, записанный в практиканты, получил для определения болезни вновь поступившего в Charité старика, страдавшего большою кровоточивою (вероятно, варикозною) язвою на ноге.

По рустовской гелкологии, такая язва непременно должна была быть геморроидальною; между тем молодой Руст ломает себе голову; старый Руст хочет вывести сына из затруднения и помогает ему в диагнозе разными намеками. Ничто не помогает. Наконец, старый Руст говорит сыну:

– Да вспомни, чем твой отец так часто страдал в жизни; по его обычной болезни назови и эту язву на ноге.

– Ulcus syphiliticum[4]! – вдруг выпалил сынок.

– Scháfskopf![5], – пробормотал отец и вызвал другого практиканта.

Несмотря на все эти недостатки, Рустов способ диагноза был в то время так привлекателен своею кажущеюся положительностью и точностью, что принят был и другими клиницистами. Я и сам, признаюсь, в первые годы моей клинической деятельности в Дерпте держался этого способа и увлекал им молодежь. И теперь, когда объективизм в медицине сделался гораздо точнее и надежнее, *предварительный* диагноз по одним объективным признакам, до расспроса больного, я считаю более надежным; никому, однако же, из молодых врачей не посоветую основываться на этом одном предварительном распознавании болезни, считая необходимым после расспроса и рассказов больного снова по-

[1] Учение о язвах (лат.).
[2] Анекдот (лат.).
[3] И хорошо выдумано (ит.).
[4] Сифилитическая язва (лат.).
[5] Баранья башка, болван (нем.).

вторить свой объективный диагноз, нередко после этих расспросов требующий еще и нового расследования.

Руст в помощники себе в Charité выбрал *Диффенбаха* и поручил ему оперативную часть. Едва ли когда сам Руст был хорошим оператором; может быть, он был смелым, но ему недоставало ни ловкости, ни анатомических сведений. В мое время он уже не оперировал; только однажды как-то, в отсутствие *Диффенбаха*, он взял нож в руки для операции большой ущемленной грыжи.

– Я вам покажу, – сказал он слушателям, – как старик Руст оперирует, – и махнул смело ножом по грыжевому мешку.

Предполагал ли он омертвение уже кишки и хотел ли вскрыть ее вместе с грыжевым мешком, – не знаю; этого не знал никто, смотря на всю процедуру издали; но факт тот, что вслед за смелым рустовским надрезом со свистом вылетели ветры и ручьем полились испражнения. О больном по обыкновению не было потом ни слуху, ни духу.

Диффенбах, в то время еще не рассорившийся с Рустом, шел в гору. Его пластические операции приобрели ему уже тогда славу и имя. И действительно, это был гений-самородок для пластических операций.

Изобретательность *Диффенбаха* в этой хирургической специальности была беспредельная.

Каждая из его пластических операций отличалась чем-нибудь новым, импровизированным. И это необыкновенное искусство при весьма ограниченных научных сведениях, при полном незнании анатомии и физиологии! Кроме пластических операций, Диффенбах хорошо и счастливо делал грыжесечения; но прочие операции выходили у него не мастерски сделанными. Рассказывали, что Диффенбах приобрел большую ловкость в сшивании ран, быв долго так называемым фликером (Fliecker)[1] при студенческих дуэлях в Кенигсберге; так же он практиковал и в берейторской школе. Диффенбах отлично ездил верхом.

С виду это был приземистый, широкоплечий мужчина, лет 40, с умным, красивым лицом, высоким лбом, римским носом, небольшими, из глубины смотревшими умными глазами, но очень тонким и слабым, не соответствующим широко сложенной груди голосом. Privatissimum *Диффенбаха*, стоившее дорого (4 больших фридрихсдора с каждого из 7–8 слушателей), было мне только тем полезно, что доставило мне случай видеть несколько замечательных (и тогда еще новых) пластических операций; а все другое, излагавшееся нам Диффенбахом на этом privatissimum, не стоило и выеденного яйца. Он показал несколько своих пластических операций на трупе, мямля по обыкновению и выпуская из горла нам, и то неохотно, одно слово за другим; в ораторы он не годился. Его надо было видеть как оператора-специалиста, но не слушать, что он говорит.

С *Грефе*, а потом и с Рустом, Диффенбах был на ножах.

С *Грефе* потому, что это был человек совершенно другой масти, а с *Рустом* потому, что тот не давал ему хода в Charité; да к тому еще на

[1] Штопальщиком (нем.).

консультации у барона фон *Альтенштейна*, болевшего карбункулом, Руст (сам) переменил, без всяких объяснений с другими врачами, способ лечения, сказав Диффенбаху, как бы в извинение своей неучтивости: «Sie sind doch meine Leute»[1], на что Диффенбах заметил: «Ich bin kein Leibeigener»[2].

После ссоры Диффенбах при нас ругал иногда Charité на чем свет стоит.

– Das ist eine Mordgrube![3], – и он был прав.

Charité во все время нашего пребывания было резервуаром госпитальной нечисти (госпитального антонова огня) и гнойного заражения.

Да и долго спустя после того, в 1864 году, при посещении клиники профессора *Юнгкена* в Charité, госпитальная нечисть не исчезла; *Jungken* для предохранения от нее прижигал еще свежие раны после операций раскаленным железом. При мне после извлечения большого секвестра[4] из бедренной кости он прижег все дупло, из предосторожности, раскаленным железом.

И самому Русту немало тогда доставалось от Диффенбаха. Он не женировался[5] насмехаться над Рустом во всеуслышание, где только мог.

Наружность Руста действительно немногих располагала в его пользу. Это был старый подагрик, приземистый, низенький ростом, с седыми длинными и густыми волосами, резко отделявшимися на красном, как пион, фоне широкого, грубого лица; глаза только не потеряли своего блеска, и умно и бойко смотрели из-под седых нависших бровей и сверху надвинутых на них больших серебряных очков; голову прикрывал зеленый суконный картуз, в котором Руст сидел и в клинической аудитории. На ногах – нередко плисовые сапоги, под ногами – всегда коврик.

Не мудрено, что такая оригинальная наружность подвергалась едким сарказмам неприятелей. Диффенбах на одном многолюдном вечере, где много говорилось о старине, на рассказ одного профессора о том, что еще не очень давно старый Мурзинна называл Руста «Gelbschnabel»[6], Диффенбах заметил, что гораздо приличнее было бы для Руста название «Blauschnabel»[7].

Не один Диффенбах, впрочем, выбирал Руста предметом насмешек. Сам наследный принц, любивший Руста и пожаловавший его в свои лейб-медики, издал на него презабавную карикатуру, долго выставлявшуюся в окнах магазинов Под Липами.

Руст был защитником карантинной системы во время холеры и возбудил этим против себя все народонаселение. Вот поэтому-то случаю и явилась карикатура, изображающая большого воробья с физиономией

---

[1] Вы все-таки мои люди (нем.).

[2] Я не крепостной (нем.).

[3] Это – морильня (нем.).

[4] Секвестр (лат. sequestrum) – омертвевший, отторгшийся участок какого-либо органа (чаще кости).

[5] Стеснялся (франц.).

[6] Молокосос (нем.).

[7] Вьюрок китайский (нем.).

Руста, запертого в клетку с надписью: «Passer rusticus. Der gemeine Landsperling»[1].

Вся острота – в словах rusticus и Sperling.

Landsperre – это карантинная система.

Диффенбах во время нашего пребывания в Берлине ездил в Париж и там дебютировал в клинике Лисфранка, перед парижскою аудиториею, со своею блефаропластикою (искусственное образование нижнего века). Возвратясь, видимо польщенный хорошим приемом у французов, он рассказывал нам, как любезен был с ним *Лисфранк*, *Амюсса*[2] и др., как вся аудитория рукоплескала ему за сделанную им еще не виданную нигде операцию.

Зато Диффенбаху очень не понравились Вельпо[3] и англичане.

– Вельпо, – сказывал нам Диффенбах, – это какой-то anatomicus chirurgicus, – по мнению Диффенбаха, это была самая плохая рекомендация для хирурга, а англичане – это настоящие бифштексы.

– Вообразите, – говорил Диффенбах, – старый Астлей Купер, проезжавший чрез Париж, полагал, что я французский доктор из госпиталя St. Louis; так он и отнесся ко мне, никогда прежде ничего не слыхав обо мне.

Вельпо не остался, впрочем, в долгу у Диффенбаха. Когда я посетил его в 1837 г., в бытность мою в Париже, Вельпо так отнесся о берлинском гении:

– Знакомы ли вы с значением нашего слова: gascon[4] и gasconade?

– Знаю.

– Ну, так m-r Diffenbach показался мне gascon'ом, а его разные подвиги – гасконадами. – В этом замечании Вельпо нельзя не признать значительную долю правды.

Проф[ессор] Юнгкен, окулист и клиницист Charité, принадлежал также к сторонникам Руста; таким он остался, если не ошибаюсь, до конца. Это был настоящий и чистокровный доктринер. Он представлял и своим ученикам, и, как я полагаю, самому себе современное учение, т.е. до чего дошел Руст и он сам, чем-то законченным, не подлежащим сомнению; прогресс мог быть только в том же самом направлении. Так, по крайней мере, выходило из его клинических лекций. Ни малейшего скептицизма не допускалось. Все было ясно и точно, как дважды два – четыре. Глазные бленнореи[5] должны были лечиться только одним противовоспалительным способом.

Разбирая однажды перед нами случай сильнейшей глазной бленнореи, Юнгкен, назначив свое обыкновенное лечение – пиявки и ледяные примочки, с необыкновенною самонадеянностью объявил нам: «Ich breche den Stab über den Kopf desjenigen Arztes, der nicht im Stande ist eine

---

[1] Деревенский (неуклюжий) воробей. Простой (низкий, подлый) воробей (нем.).

[2] Д.З.Амюсса (1796–1856) – один из оригинальных и известных хирургов Франции, его имя тесно связано с целым рядом оперативных способов и технических приемов.

[3] А.Вельпо (1795–1867) – знаменитый французский хирург.

[4] Хвастун (франц.).

[5] Бленнорея (гр. blennos слизь + rheo tēку) – гнойное воспаление слизистой оболочки глаз.

solche Blennorrhoe zu kurieren!»[1] Через три дня оба глаза оказались пропавшими от изъязвления роговой оболочки, и Юнгкен, стоя возле постели несчастного слепца, молча пожимал только плечами. Но Юнгкен был честный и добросовестный врач, он не скрыл от нас этого несчастного случая, хотя и мог бы, как другие, легко это сделать.

Национальность Грефе едва ли можно было определить по его наружности; она свидетельствовала настолько же о немецком, насколько и о славянском происхождении. Противники Грефе распускали даже слух и о семитском его происхождении.

Несомненно только, это признавал и сам Грефе, что он был родом из Польши и там провел свою молодость.

Гораздо характернее физиономии была прическа Грефе – unicum в своем роде: длинные, почти черные, с проседью, волосы гладко на гладко зачесывались и примазывались справа налево и закрывали значительную часть лба, чуть не до густых черных бровей. Круглому, полному лицу эта прическа сообщала какой-то странный, похожий на куклу, вид.

Отличительною чертою Грефе была изысканная учтивость со всеми. К слушателям он обращался не иначе, как с эпитетом: «Meine hochgeschätzte, meine verehrte Herren»[2]; к больным из низших классов: «Mein liebster Freund»[3].

Но когда делалось что-нибудь не по нем, то он легко выходил из себя. Видно было, что учтивость и кажущаяся невозмутимость были искусственные.

Человек был хорошо выдержан. И в этом, и во всем остальном Грефе был полный контраст с Рустом; недаром и жили они, как кошка с собакой. Причесанный, как прилизанный, всегда элегантно одетый или затянутый в синий мундир с толстыми эполетами, Грефе входил тихо и, семеня ногами, походкою табетиков, в аудиторию, раскланивался во все стороны и, обводя всю аудиторию глазами, начинал петь: «Meine hochgeschätzte Herren».

Руст являлся в своем старом зеленом картузе, с висевшими из-под него по плечам растрепанными седыми волосами, с тростью, которою не выпускал из рук, и жестикулировал ею во все время лекций.

– А это что за опухоль? А это что за краснота? – спрашивал Руст, указывая издали своею палкою на больное место пациента.

Вместо сладкопения и деликатного обращения являлись на сцену: «Donnerwetter, sind Sie toll!» etc[4].

В клинику Руста все шли, чтобы слышать оракульское изречение врача-оригинала. Про операции, делавшиеся в Charité, самые неопытные студенты говорили, что там надо учиться, как не делать операции. И Руст имел более самых фанатических приверженцев между молодыми врачами и слушателями.

---

[1] Я сломаю палку об голову того врача, который не в состоянии вылечить такую бленнорею! (нем.).

[2] Высокоуважаемые, высокопочитаемые господа (нем.).

[3] Любезнейший друг (нем.).

[4] Черт побери, вы одурели! и пр. (нем.).

В клинику Грефе ходили, чтобы видеть истинного маэстро, виртуоза-оператора. Операции удивляли всех ловкостью, аккуратностью, чистотою и необыкновенною скоростью производства. Ассистенты Грефе, и именно главный, д-р Ангельштейн, уже пожилой и опытный практик (он имел и в городе значительную практику), знали наизусть все требования и все хирургические замашки и привычки своего знаменитого маэстро.

У Ангельштейна везде были натыканы инструменты Грефе, ему не надо было говорить: «Сделай то или другое», во время операции все делалось само собою, без слов и разговоров. Грефе для каждой операции повыдумывал много разных инструментов, теперь уже почти забытых, но во времена оны расхваленных и всегда употреблявшихся самим изобретателем. Он только сам и умел владеть ими. В клинике Грефе было в особенности то хорошо, что практиканты все могли следить за больными и оперированными и сами допускались к производству операций, но не иначе, как по способу Грефе и инструментами его изобретения.

Мне как практиканту досталось также сделать три операции: вырезать два липома и вылущить большой палец руки из сустава. Грефе был доволен, но он не знал, что все эти операции я сделал бы вдесятеро лучше, если бы не делал их неуклюжими и мне несподручными инструментами.

Грефе был, без сомнения, от природы ловок и сноровист; иначе, без всякого знания анатомии, без упражнений над трупами, которые Грефе считал совершенно неподходящими к операциям на живых, как мог бы он сделаться истинным виртуозом хирургии?

Между тем пальцы его – мясистые, закругленные и короткие – вовсе не свидетельствовали об особенной ловкости.

Ежегодно, в день рождения Грефе, его слушатели и практиканты, большею частью иностранцы, делали складчину, покупали кубок или другую какую вещь с приличною надписью и подносили своему маэстро.

Это был едва ли не единственный способ изъявления признательности и уважения наставнику. Более задушевным сочувствием своих, и именно туземных, учеников маэстро не пользовался. Он задавал обыкновенно банкет в день своего рождения, на котором он угощал своих гостей разными деликатесами и винами, а гости угощали его льстивыми тостами, называя его «Unser deutscher Dupuytren»[1] и т.п.

После одного такого банкета Грефе позвал меня в кабинет, где, оставшись наедине со мною, спросил: не знаком ли мне один окулист в С.-Петербурге, приобретший такую знаменитость, что его император Николай рекомендует настоятельно королю для наследного ганноверского принца? Надо знать, что во время пребывания Николая Павловича в Берлине туда приехал для консультации и лечения глазной болезни наследный ганноверский принц. Грефе как лейб-медик или лейб-хирург прусского короля назначил операцию искусственного зрачка, делая ее без успеха, если не ошибаюсь, два раза у принца, хотел было

[1] Наш немецкий Дюпюитрен (нем.).

делать потом, чрез несколько лет, и в третий раз, поехал с этой целью в Ганновер, но по дороге занемог тифом и умер.

Я очень удивился, услышав от Грефе, что наш император настойчиво предлагает в конкуренты с маэстро Грефе своего верноподданного. В таком случае этот верноподданный действительно уже знаменитость. Кто же это такой был? Ума не приложу. В первый раз слышу. Наконец, я узнал, что сия знаменитость, рекомендованная императором всероссийским королю прусскому, был никто иной, как с.-петербургский мещанин *Орешников*.

В С.-Петербурге, на Васильевском Острове, этот гражданин открыл с разрешения правительства глазную больницу для приходящих.

Орешников прежде всего запасся огромным увеличительным стеклом с длинною рукояткою и объявил себя самым ярым противником известного в то время петербургского окулиста Василия Васильевича *Лерхе*. Экзаменуя своих больных через увеличительное стекло, Орешников спрашивал у каждого, не был ли он на Моховой у Лерхе, и когда больной отвечал утвердительно, то Орешников интересовался знать, как определил болезнь д-р Лерхе. «Да что, сказал, что полуда», – так, примерно, рассказывал пациент. На такой ответ Орешников качал головою, снова наводил на глаза пациента увеличительное стекло, снова качал подозрительно головою и говорил во всеуслышание: «Ай, Василий Васильевич, опять маху дал! Какая же это тут полуда? Это просто бельмо. Не беспокойся, дружок, будешь видеть, вот тебе моя примочка».

Грефе, несколько, как мне казалось, встревоженный настойчивою рекомендациею как будто из земли выросшего конкурента такою особою, как император всероссийский, потом успокоился, когда узнал, что Орешников не был оператор, а в Германии давно и всем уже было слишком известно, что только операциею можно восстановить зрение принца.

Как ни полезны и как ни поучительны были для меня занятия у Шлемма и в клиниках Грефе, Руста и Юнгкена, но всего нагляднее была для меня польза, принесенная мне упражнениями в оперативной хирургии над трупами в Charité.

Однажды я узнал от студентов, что в Charité можно присутствовать иногда при вскрытии трупов; мне показали и место, где производятся эти вскрытия. Я отправился, прихожу и не верю тому, что вижу.

В маленькой комнате, помещавшей в себе два стола, на каждом из них лежало по два-три трупа, и у одного стола вижу, стоит женщина, сухощавая, в чепце, в клеенчатом переднике и таких же зарукавниках, вскрывая чрезвычайно скоро и ловко один труп за другим. Тогда еще не видано и не слыхано было, чтобы женщины посвящали себя анатомическим занятиям; видя, что меня не гонят, и кроме меня никого нет из студентов, я приблизился к интересной даме и весьма учтиво поклонился.

– Wünschen Sie was von mir?[1] – спрашивает она меня.

[1] Угодно вам что-нибудь от меня? (нем.).

– Да, мне хотелось бы чаще присутствовать при вскрытиях, – отвечаю я.

– Что же! Приходите хотя каждый день; кроме меня, до сих пор никто еще не вскрывал. Только недавно назначен профессор Фрориеп.

– А другие клинические профессора Charité?

– Что вы! Да разве они что понимают в этом деле? Вот, еще вчера, никто мне не верил, что при вскрытии одного трупа я найду огромный экссудат[1] в груди, а за милю видно было, что вся половина груди растянута. Я им и показала.

– Позвольте узнать ваше имя?

– Я – madame Vogelsang.

– Так вот что, madame Vogelsang: не можете ли вы доставить мне случай упражняться на трупах?

– Почему не так. Ко мне приходили иногда иностранцы, и я им показывала операции на трупах. У меня для этого есть и хирургические инструменты.

– Так потрудитесь объявить мне ваши условия, – замялся я.

– У меня определено 1 талер за целый труп – тогда вы можете сделать на нем какие вам угодно операции и 15 Silbergroschen за перевязку артерии на конечностях и за вылущение из суставов, но с тем, чтобы не делать никаких лоскутов (т.е. не обрезывать совсем вылущенного из сустава члена)...

Дело решено. Я выдаю задаток 3 талера. Дни и часы назначаются г-жою Фогельзанг всякий раз с вечера; она будет присылать нарочного или скажет сама в клинике Руста.

M-me Vogelsang – эта интересная особа прежде была повивальною бабкою, а потом из любви к искусству, как она уверяла, посвятила себя анатомии и практически знала ее бойко. Вылущить сустав по всем правилам искусства, найти артерию на трупе – это было плевое дело для m-me Vogelsang.

В то время Берлин был экзаменационным, «rendez-vous» для всех врачей прусского королевства, и каждый из них на так называемом государственном экзамене (Staatsexamen) обязан был демонстрировать пред экзаменаторами внутренности груди, живота in situ[2].

Вот этот-то экзамен in situ и заставлял прибегать экзаменующихся к анатомическим знаниям г-жи Фогельзанг.

Она достигла совершенства в разъяснении и наглядном определении положения грудных и брюшных внутренностей, а также мозга и основания черепа.

Никто не был так вхож ко мне, как m-me Vogelsang. И рано утром, и поздно вечером она являлась ко мне с каким-нибудь препаратом в руках или с известием о предстоящем упражнении на трупе в Charité.

---

[1] Экссудат (лат. exsudare потеть) – жидкость, накапливающаяся при воспалениях в тканях и полостях тела вследствие выхождения жидкой части, белков и клеток крови из мелких сосудов.

[2] В положении (в естественном, обычном месте, на месте нахождения) (лат.).

Я не знал ни одного женского лица, менее красивого и более оригинального физиономии г-жи Vogelsang. Уже лет за 40, с волосами на голове, похожими на паклю, с сухим, изрытым глубокими бороздами, но необыкновенно подвижным лицом, m-me Vogelsang очень смахивала на проворную, юркую обезьяну.

Но она доставила мне для упражнений не одну сотню трупов, и потому я ее считал дорогим для себя человеком.

В одно время с нами прибыло в Берлин несколько русских из Москвы и Петербурга, впоследствии занявших должности ординаторов в различных столичных госпиталях; из них всех более сблизился со мною Вл[адимир] Аф[анасьевич] *Караваев*[1] (родом из Вятки).

Караваев окончил курс в Казанском университете. Познакомившись в этом университете только по слухам с хирургиею (профессор хирургии в то время, если не ошибаюсь, Фогель, имел скорченные от предшествовавшей болезни пальцы и не мог держать ножа), он отправился в Петербург и определился ординатором в Мариинский госпиталь, где и видел в первый раз несколько операций, произведенных *Буяльским*[2].

Несмотря на такую слабую подготовку, Караваев чувствовал в себе особое влечение к хирургии; это я заметил при первом же нашем знакомстве. Я посоветовал ему тотчас же заняться анатомиею и отправиться по адресу к m-me Vogelsang.

Целый год он был моим неизменным спутником при упражнениях над трупами, а потом по моему же совету отправился в Геттинген, к Лангенбеку.

В 1837 году Караваев явился в Дерпт, держал еще у меня экзамен, до отъезда моего в этом же году в Париж, делал вместе со мною опыты над животными по вопросу, много меня интересовавшему в то время, о признаке развитии гнойного заражения крови (пиемии).

Этот вопрос я и посоветовал Караваеву выбрать предметом его докторской диссертации. Я могу по праву считать Караваева одним из своих научных питомцев: я направил первые его шаги на поприще хирургии и сообщил ему уже избранное мною направление в изучении хирургии.

Летнею вакациею 1834 года я воспользовался для посещения Геттингена и, чтобы застать еще лекции, отправился из Берлина еще задолго до окончания семестра.

Меня интересовал в Геттингене, разумеется, всего более *Лангенбек*[3]. Ученики его, приезжавшие иногда в Берлин, относились с искренним энтузиазмом о своем знаменитом учителе всей Германии того времени. *Лангенбек* был единственный хирург-анатом. Знания его анатомии были так же обширны, как и хирургии.

---

[1] В.А.Караваев (1811–1892) – с 1840 г. профессор хирургии в Киевском университете.

[2] И.В.Буяльский (1789–1864) – занимал кафедру анатомии в Медико-хирургической академии до 1844 г., с 1831 г. был консультантом по хирургии в Мариинской больнице для бедных.

[3] К.Лангенбек (1776–1851) – с 1803 по 1848 г. был профессором анатомии и хирургии в Геттингене.

Кроме этих двух категорий хирургов-анатомов и хирургов-техников (которых *Лисфранк* в Париже очень метко назвал chirurgicus menuisiers[1]), в 1830-х годах можно было различить и еще две категории, имевшие в то время не менее важное значение. В то время анестезирование и анестезирующие средства еще не были введены в хирургию, и потому немаловажное было дело для страждущего человечества претерпеть как можно меньше мучений от производства операций. Быстротечная, почти скоропостижная смерть постигала иногда оперируемого вследствие нестерпимой боли.

Операция, как и всякий другой прием, могла причинить смертный shok от одной только боли у особ чрезмерно раздражительных. Итак, не мудрено, что значительная часть хирургов поставила себе задачею способствовать всеми силами быстрому производству операций. Но как усовершенствование хирургической техники в этом направлении (т.е. с целью уменьшить сумму страданий быстрым производством операций) весьма трудно, даже невозможно для многих, и, сверх того, скорость производства нередко может сделать операцию неверною, ненадежною и небезопасною, то, понятно, многие из хирургов сильно вооружены были против всякой спешности в производстве, а некоторые дошли до того, что объявили себя защитниками противоположного принципа, утверждая, что чем медленнее будет делана операция, тем более она даст надежды на успех.

Французский хирург *Ру* укорял всех английских хирургов в ненужной и мучительной медленности при производстве операций.

В Германии к категории хирургов, по принципу стоявших за быстрое производство операций, можно было отнести именно двух корифеев – *Грефе* и *Лангенбека*. Первый достигал этого врожденною ловкостью и разными техническими приемами; второй – отчетливым знанием анатомического положения частей и основанными на этом знании, им изобретенными, оперативными способами.

Хотя я и отношу *Лангенбека* и *Грефе* к одной категории, имея в виду только одну сторону их искусства, но в самом производстве операций существовало громадное различие, и это не могло быть иначе, потому что не было двух людей, менее сходных между собою.

Грефе оперировал необыкновенно скоро, ловко и гладко. *Лангенбек* оперировал скоро, научно и оригинально.

Грефе от природы получил ловкость руки; но ни устройство руки, ни строение всего тела не свидетельствовали об этой врожденной ловкости.

Лангенбек, напротив, был от природы так организован, что не мог не быть ловким и подвижным. Атлет ростом и развитием скелета и мышц, он был, вместе с тем, необыкновенно пропорционально сложен. Ни у кого не видал я так хорошо сложенной и притом такой огромной руки. Лангенбек на своих анатомических демонстрациях укладывал целый мозг на ладонь, раздвинув свои длинные пальцы; рука служила ему вместо тарелки, и на ней он с неподражаемою ловкостью расплас-

---

[1] Хирурги-столяры (франц.).

тывал мозг ножом. Поистине, это был хирург-гигант. Ампутируя по своему овальноконическому способу бедро в верхней трети, Лангенбек обхватывал его одною рукою, поворачивался при этом с ловкостью военного человека на одной ноге и приспособлял все свое громадное тело к движению и действию рук.

На его privatissimum я первый раз видел это замечательное искусство приспособления при операциях движения ног и всего туловища к действию оперирующей руки; и это делалось не случайно, не как-нибудь, а по известным правилам, указанным опытом.

Впоследствии мои собственные упражнения на трупах показали мне практическую важность этих приемов.

И *Лангенбек* был не прочь похвалиться своею силою и ловкостью. Но это было не хвастовство фата, не смешное тщеславие.

К Лангенбеку как-то шла похвала себе; так, он рассказывал мне по-своему, отрывисто, с ударением на каждом слове, как он изумил одного английского хирурга во время французской кампании. Этот сын Альбиона никак не хотел верить Лангенбеку, что он по своему способу вылущивает плечо из сустава только в три минуты; представился случай после одной битвы: раненого француза (если не ошибаюсь) посадили на стул. Англичанин стал приготовляться к наблюдению и надевать очки; в это мгновение что-то пролетело перед носом наблюдателя и выбило у него очки из рук; это нечто было вылущенное уже Лангенбеком и пущенное им на воздух, прямо в Фому неверующего, плечо.

Все, что сообщал нам на лекциях и в разговорах Лангенбек, было интересно и оригинально.

Со многим нельзя было согласиться, но, и не соглашаясь, нельзя было не удивляться человеку замечательному и по наружности, и по особенному складу ума, и по знанию дела. Лангенбек был, верно, красавцем в молодости, так приятно выразителен и свеж был весь его облик. За версту можно было уже слышать его громкий и звонкий голос.

К характеристике Лангенбека как хирурга относится еще одна весьма важная и оригинальная черта. Он возводил в принцип при производстве хирургических операций избегать давления рукою на нож и пилу.

– Нож должен быть смычком в руке настоящего хирурга.

– Kein Druck, nur Zug[1].

И это были не пустые слова.

Лангенбек научил меня не держать ножа полною рукою, кулаком, не давить на него, а тянуть, как смычок, по разрезываемой ткани. И я строго соблюдал это правило во все время моей хирургической практики везде, где можно было это сделать. Ампутационный нож Лангенбека был им придуман именно с той целью, чтобы не давить, а скользить тонким, как бритва, и выпуклым, и дугообразно выгнутым лезвием.

На нашем privatissimum случилась однажды беда с этим ножом. Досадно было Лангенбеку, что пред иностранцем, да еще и приехавшим из Берлина, должна была случиться такая неудача. Дело в том, что Лан-

[1] Не нажим, только тяга (нем.).

генбек, одетый в летние бланжевые брюки, башмаки и чулки, делал перед нами свою ампутацию бедра на трупе и по обыкновению приговаривая при этом громко и внушительно: «Nur Zug, kein Druck», вдруг со всего размаха попадает острием ножа себе в икру. Кровь выступает на бланжевых брюках и льет в чулок и на пол. Рана была довольно глубокая, зажила, однако же, без последствий. Лангенбек, верно, угадывал наши мысли по случаю этого происшествия.

Конечно, мы не могли не думать так: уже, если сам маэстро делает со своим ножом такие промахи, так, значит, дело не ладно. И действительно, и *Лангенбек* и *Грефе*, по свойственной всем людям слабости, изобрели немало таких хирургических процедур и инструментов, которые оставались употребительными только в их собственных руках. Но, разумеется, ни *Грефе*, ни *Лангенбек* не отказывались от своих изобретений и продолжали отдавать им преимущество.

Жизнь в маленьком провинциальном германском университете была в то время довольно, а иногда таки и очень, патриархальная. Сближение с профессорами было гораздо легче, чем в столичном университете; поэтому не мудрено, что я скоро и легко познакомился с биографиею, мировоззрениями и даже причудами некоторых из геттингенских профессоров.

Про самого Лангенбека нетрудно было узнать, что он вставал очень рано, занимался почти целый Божий день, то в анатомическом театре, то в клинике, то на дому. Один студент, из курляндцев, живший недалеко от Лангенбека, сказывал мне, что, по его наблюдениям, Лангенбек бывает в веселом расположении духа преимущественно, когда еврей-меняла, являвшийся обыкновенно по утрам, оставался на квартире профессора долгое время.

Молодым, собиравшимся вокруг Лангенбека людям, он любил говорить о встреченных им в жизни трудностях, невзгодах и препятствиях, побежденных энергиею и здравым смыслом. «Frisch in's Leben hinein!»[1], – это было его любимым афоризмом. «Kein Leichtsinn, aber einen leichten Sinn»[2], – также было его правилом жизни.

Про других, более устарелых, профессоров рассказывались разные легенды. Про знаменитого *Блуменбаха*, дожившего, например, едва ли не до 90 лет, говорили, что он не может без вреда для своего организма не читать лекции, и он исполняет эту, сделавшуюся для него уже органическою функцию чрезвычайно добросовестно; приходит в аудиторию, садится на кафедру, вынимает тетрадку и читает по ней не спеша и с расстановкою. Слушатели, не менее профессора привыкшие к его лекциям, нередко, однако же, бывали поражены quasi-заметками маститого ученого, произносимыми с обычною медлительностью и расстановкою: «Hier muss ish ein Witz sagen»[3]. Сначала никто не мог в толк взять, что означали эти отрывочные афористические заметки. Наконец, дело объяс-

[1] Будь добр в жизни (нем.).
[2] Без легкомыслия, но с бодрым духом (нем.).
[3] Здесь я должен рассказать анекдот (нем.).

нилось. Тетрадки существовали еще с того давнего времени, когда знаменитый ученый, во цвете лет и одаренный юмором, острил на своих лекциях и заблаговременно отмечал на полях тетрадки, где и при каком случае острота казалась ему уместною. Пришла старость. Содержание острот исчезло из памяти, а указание на остроту, оставшееся еще на полях тетрадки, передавалось аудитории добросовестным профессором.

Во время моего пребывания в Геттингене я познакомился с племянником *Лангенбека*, тогда еще молодым докторантом, ассистентом дяди, а потом занимавшим место *Диффенбаха* и *Грефе* в Берлине.

Молодой Лангенбек мне памятен не потому только, что я видел его постоянно при дяде, но еще по отрывочным воспоминаниям.

В операционную залу к старому Лангенбеку принесли больного с некрозом бедра; профессор стал отыскивать секвестр и сделал знак племяннику, чтобы он подал что-то (вероятно, зонд или корнцанг[1] и т.п.), и вдруг, к моему удивлению, я вижу, что молодой Лангенбек подает ампутационный нож. «Noch zu früh!»[2], – заметил ему дядя.

Второе воспоминание совпадает с моею болезнью. Я занемог в Геттингене сильною жабою, перешедшею в нарыв. Но прежде, чем нарыв вскрылся, ему суждено было, против моего желания, пройти через руки хирурга. Опухоль была очень сильная, и я, видев уже не раз и в Дерпте, и особливо в Берлине, лечение жабы рвотным, хотел уже принять его, как мой знакомый курляндец, струсив за меня, уведомил о моей болезни Лангенбека. Оба, дядя и племянник, были так любезны, что тотчас же пришли ко мне на квартиру.

Старик Лангенбек, осмотрев мою пасть, тотчас же взял скальпель и всадил его почти на один дюйм в опухоль; вышло несколько крови, но материи не показалось. Ночью на другой день нарыв лопнул сам по себе, и я скоро выздоровел.

Странно: когда в 1864 году, я, по прошествии 30 лет, в первый раз свиделся в Берлине с моим старым знакомым (лангенбековым племянником), то он тотчас же припомнил мне мою болезнь, но при этом настойчиво уверял, что он сам вскрыл мне нарыв и выпустил гной. Мне кажется, что я обязан в этом случае верить более моей, чем чужой, памяти. Воспоминание о причиненной мне бесполезной боли и о брани, которою я внутренне осыпал обоих Лангенбеков и моего знакомого курляндца за их непрошенное вмешательство, сохранилось слишком живо в моей памяти, и я, испытав на себе хирургический промах, старался потом, насколько мог, предохранять других людей от моих промахов.

С тех пор рвотное служило мне гораздо чаще ножа к вскрытию нарывов после жабы. Из оперативных способов, предложенных Лангенбеком, весьма немногие сохранились еще в современной хирургии. Справедливость требует еще заметить, что операции Лангенбека изумляли не только быстротою, но и чрезвычайною, в то время еще неслы-

[1] В хирургии – щипцы, похожие на ножницы, с зазубренными на внутренней стороне ветвями.

[2] Еще рано (нем.).

ханною, вероятностью и точностью производства. *Мойер* сказывал мне, что его учитель, старый *Ант[онио] Скарпа*, услышав про вылущение матки, сделанное успешно (без повреждения брюшины), сказал: «Если это правда, то я готов ползти на коленях в Геттинген к Лангенбеку».

Ко второй категории немецких хирургов, то есть к защитникам медленного, по принципу, производства операций, надо отнести по преимуществу *Текстора*[1] в Вюрцбурге.

У Текстора принцип медленности доведен был до крайних размеров. Его аудитория нередко могла наслаждаться такого рода зрелищем. Больной лежит на операционном столе, приготовлен к отнятию бедра. Профессор, вооруженный длиннейшим скальпелем, вкалывает его, как можно тише и медленнее, насквозь спереди назад чрез мышцы бедра. Вколотый нож оставляется в этой позиции, и профессор начинает объяснять слушателям, какое направление намерен он дать ножу, какую длину разрезу и т.п.

Потом выкроив один из лоскутов по мерке и как можно медленнее, снова начинается суждение об образовании второго лоскута. При этом профессор обращается несколько раз к своей аудитории с наставлением: «So muss mann operieren, meine Herren»[2].

И это все делалось без анестезирования, при воплях и криках мучеников науки или, вернее, мучеников безмозглого доктринерства!

Что касается до меня, то мой темперамент и приобретенная долгим упражнением на трупах верность руки сделали мне, поистине, противною эту злую медленность по принципу.

И впоследствии, когда анестезирование, по-видимому, делало совершенно излишним Цельсово «cito»[3], и тогда, говорю, я остался все-таки того мнения, что напускная медленность может оказаться вредною: продолжительностью анестезирования и травматизма.

Не один механизм в производстве операций, не одна только техническая часть хирургии резко отличали клиники главных представителей германской хирургии.

Мы имели случай наблюдать в этих клиниках и разные способы лечения ран. И именно, операторы по преимуществу: *Лангенбек*, *Грефе* и *Диффенбах* всего более ставили в заслугу свои способы лечения ран.

Лангенбек терпеть не мог, когда иностранные и другие врачи, посещавшие его клинику, объясняли ему, думая сказать ему приятное, что они издалека приехали посмотреть на его операции. Тогда он нарочно ждал и не делал.

«Dei Kerls wollen, – говаривал он потом, – dass er schneidet. Er schneidet aber nicht»[4].

В мое время в клинике Лангенбека почти все раны, и после больших ампутаций, лечились нагноением, и когда вся полость раны была устлана мясными сосочками, края ее сближались и соединялись липкими пластырями.

---

[1] К.Текстор (1782–1860) – профессор хирургии в Вюрцбурге.
[2] Так надо оперировать, мои господа (нем.).
[3] Быстро (лат.).
[4] Парни хотят, чтобы он резал. Он, однако, не режет (нем.).

У *Диффенбаха* можно было более чем где-нибудь видеть превосходные образцы заживления ран первым натяжением. Никто из современных Диффенбаху хирургов не сумел так отлично вести этот способ на деле. Этому способствовали введенный Диффенбахом шов и сноровка в принятии мер предосторожности против сильного натяжения частей. Притом самая рана не завязывалась ни пластырями, ни повязками.

В клинике Грефе, отличавшейся от рустовской счастливыми результатами лечения после больших операций, раны после таких операций лечились своеобразно и за исключением английских хирургов, едва ли кто из современных *Грефе* хирургов в Германии и Франции лечил эти раны так, как он. Можно без преувеличения сказать, что *Грефе* более всех приближался к современным герметическим способам лечения больших ран. Грефе тщательно перевязывал при операции все кровоточащие сосуды, тщательно соединял края раны (то швом, то множеством липких пластырей) наглухо, клал потом на закрытую уже рану корпию и по ширине маленькие крестики и все это тщательно укреплял несколькими бинтами.

Повязки оставались большею частью несколько дней и без нужды никогда не снимались до нагноения.

Ассистент *Грефе*, д-р *Ангельштейн*, отличался искусством в наложении повязки. Он зорко следил за тем, чтобы материя не просачивалась чрез повязку.

Сиделки, две чистокровные немки, знали это, но по неряшеству и лености попадали нередко впросак.

– Komm, Grethe her! – слышалось бывало, – Angelstein macht Spectakl[1].

И действительно, шел спектакль: Ангельштейн визитировал больных и переменял повязки с бранью и криком на растерявшихся сиделок.

– Sau bist du[2], – ругал он, избегая мужского рода: Schwein, так как его ругань была обращена к дамам.

Результат этого лечения ран в клинике Грефе был действительно весьма счастливый.

Тщательное прикрытие и закрытие больших и глубоких ран с методическим давлением на окололежащие части считались весьма важными условиями для усиленного заживления раны. Случай с известным тогда актером (кенигштадтского театра) Бекманом доказал преимущество этого способа лечения ран и тем немало причинил досады *Диффенбаху*.

Диффенбах принял огромную опухоль на бедре Бекмана за злокачественный нарост и побоялся операции, зная из опыта, с какими [опасностями и страхами для больного] соединено обыкновенно лечение глубоких междумышечных ран. Грефе был другого мнения: он определил опухоль как lipomosteatom, вырезал ее и тотчас же после операции тщательно закрыл глубокую рану, наложив методически на всю конечность ad hoc[3] приготовленную компрессивную повязку.

---

[1] Поди, Маргарита, сюда! Ангельштейн устраивает спектакль (нем.).
[2] Ты – свинья (нем.).
[3] Тут же (лат.).

Результат был блестящий: любимец берлинской публики Бекман скоро выздоровел.

Теперь трудно себе вообразить, как мало германские врачи и хирурги того времени были знакомы, а главное, как мало они интересовались ознакомиться с самыми основными патологическими процессами.

Между тем в соседней Франции и Англии в это время известны уже были замечательные результаты анатомо-патологических исследований Крювелье, Тесье, Брейта, Бульо и друг.

Так, самый опасный и убийственный для раненых и оперированных патологический процесс гнойного заражения крови (pyaemia), похищающий еще и до сегодня значительную часть этих больных, был почти вовсе неизвестен германским хирургам того времени. Во все время моего пребывания в Берлине я не слыхал ни слова ни в одной клинике о гнойном заражении и в первый раз узнал о нем из трактата Крювелье.

Из *Крювелье* и оперативной хирургии Вельпо, только из чтения этих книг, я получил понятие о механизме образования метастатических нарывов после операции и при повреждении костей. Правда, Фрике в Гамбурге написал статью о травматической злокачественной перемежающейся лихорадке (febris intermittens perniciosa traumatica), но не разъяснил сущности этой болезни, смешав настоящие травматические пароксизмы с пароксизмами пиемическими.

Из Геттингена я отправился пешком через Гарц в Берлин; побывал на Броккене, не сделавшем на меня особенного впечатления. Гораздо оригинальнее показались мне и более понравились Роостранн и сталактическая пещера Баумана; растительность на Роостранне представляет осенью – и поражает глаз – собрание самых ярких цветов, начиная от ярко-красного до самого темного.

Здоровье мое после геттингенской жабы скоро поправилось, но признаки бескровия были еще так заметны, что проводник мой, весьма разговорчивый старичок, часто повторял мне: «Herr, Sie haben eine schwache Constitution»[1].

Это он говорил каждый раз, когда мы садились, хотя вовсе не я, а он сам предлагал отдых, и я каждый раз опережал его при всходах и спусках.

Я полагаю, что старик часто повторял мне о моей слабости только для того, чтобы показать мне свое знакомство с иностранным словом, которое он произносил на разные лады: «Constation, Constution», но всегда невпопад.

Я не помню уже, доехал ли я или дошел пешком от Гальберштедта до Берлина; знаю только, что возвратился без гроша денег, не рассчитав, как всегда, аккуратно путевых издержек.

В Берлине в то время публика, по-видимому, вместе с королем, сочувственно относилась к России, то есть не к нации, а к русскому государю. Портрет его, сделанный *Крогером* и изображавший в нату-

[1] Вы, сударь, имеете слабое сложение (нем.).

ральной величине государя и всю его свиту верхами, был выставлен напоказ, и вокруг него всегда толпилась публика и слышались хвалебные отзывы об осанке, о мужественной твердости, о семейных его добродетелях и проч.

Своим правительством берлинцы, по крайней мере, молодое поколение, не очень восхищались; впрочем, одни хвалили скромную жизнь старого короля и его двора, а другие возлагали надежды на наследного принца.

Наследный принц, впоследствии король, романтик и ученый, угощал по временам будущих своих подданных остротами, сходными с теми, которыми нас некогда награждал один великий князь Михаил Павлович. Одну из острот наследного принца я запомнил, потому что она касалась косвенно нас, русских.

Когда прусские офицеры, приглашенные по случаю какого-то торжества в С.-Петербург, возвратились в Берлин, украшенные орденами и преимущественно модным тогда орденом Станислава, наследный принц предложил своим придворным вопрос: «Чем отличаются теперь гвардейские офицеры от рядовых? Хотите, вам скажу? – Der gemeine Soldat hat gewohnliche Läuse, aber die Garde-Officieren haben jetzt Stanis-Läuse»[1].

По части острот не оставались в долгу и прусские подданные.

Я помню, как однажды один магазин Под Липами выставил новую картину, имевшую ничем, впрочем, не мотивированное название «Lügner und sein Sohn»[2]. Провисев в витрине дня три, эта картина была заменена новыми эстампами. Выставлены были два новых портрета короля и наследного принца; но их расположили так, что они оба прикрывали прежнюю картину, за исключением только надписи под нею: «Lügner und sein Sohn», красовавшейся теперь под портретами короля и наследника. Это название им присваивалось за то, что еще не дана была обещанная в отечественную войну конституция.

Мы, русские того времени, имели почему-то невысокое мнение о прусском правительстве. Даже наши лифляндцы, эстляндцы и курляндцы, приезжавшие в Германию, не называли себя немцами, а все русскими, разумея, конечно, под этим свое русское подданство. Слышал я нередко и то, как приезжавшие в Дерпт из Германии профессора, обжившись несколько времени в Дерпте, называли в разговоре *наше* русское правительство и русскую армию – «unsere Regierung, unsere Armee»[3]; когда же дело шло о науке, мануфактурах и тому подобное, то «unsere Wissenschaft, unsere Fabric» значило у этих господ: наша *немецкая* наука, наши *немецкие* фабрики.

Как и жившие тогда в Берлине смотрели на прусское правительство можно заключить из следующего случая.

Товарищ мой, Гр[игорий] Ив[анович] *Сокольский*, посланный за границу из Петербурга, долго по прибытии в Берлин не получал из Моск-

---

[1] Непереводимая игра слов. Обычно солдат имеет обыкновенных вшей (Läuse), гвардейские солдаты станиславских (Stanis-Läuse) (нем.).

[2] Лжец и его сын (нем.).

[3] Наше правительство, наша армия (нем.).

вы жалованья; нуждаясь, он обратился, конечно, прежде всего к *Кранихфельду*; тот прочел ему несколько душеспасительных наставлений, но помощи никакой не дал.

Сокольский, узнавший от какого-то немца, что к королю можно отнестись письмом по городской почте, немного думая, взял, да и написал его величеству письмо, в котором он просил обратить внимание на бедственное его положение. Положим, что Гр[игорий] Ив[анович] *Сокольский* был оригинал, но и он, верно, не посмел бы и подумать в России о переписке с главою государства по частному делу.

Я отговаривал Сокольского, но потом чрезвычайно удивился, когда услыхал, что на другой же день получен был чрез статс-секретаря ответ короля: Сокольскому предлагалось обратиться к русскому посланнику, что было испробовано им давно уже, но без успеха.

Сравнивая теперь тогдашний доконституционный режим прусского правительства с нашим, например, начала 1860-х годов, я нахожу, что наш режим того времени в одном отношении стоял уже гораздо выше, чем прусский в 1833-м и 1834-м годах, а в другом оставался по-прежнему далеко позади.

Так, в 1833–1834-м годах правительственные органы уверяли всех пруссаков, что «beschränkter Unterthanenverstand»[1] не может иметь надлежащего понятия о целях и намерениях правительства, а потому и не должен рассуждать об этих делах.

У нас же в начале 1860-х годов разрешено было, в известной мере и в известных границах, говорить о правительственных проектах и обсуждать их. Зато в это же самое время у нас не было еще отменено ни одно из тех местных стеснений свободы, которые я сравниваю с уколами булавок: между тем в 1833 и 1834-м годах в Берлине никому не запрещалось носить бороду, усы, курить на улице табак и жить дома без полицейского надзора.

Не могу еще не упомянуть о неслыханном мною кредите, которым пользовались в то время мы, русские, у немецких купцов и ремесленников. Мне покоя не давал один портной, отпустивший всем нашим нового платья в кредит на несколько тысяч талеров. Этот портной, и вместе содержатель магазина, непременно хотел, чтобы и я у него заказал в долг платья хотя бы сотни на две талеров; книжный продавец отпускал мне также в кредит на несколько сот талеров различных книг и журналов.

Время уплаты долга не определялось; векселя и гарантий никаких не требовалось... Вот было времечко для наших мазуриков.

Приближался срок нашего пребывания за границею. Я, кажется, забыл упомянуть, что вместе с нами (членами профессорского института) присланы были в Берлин и юристы от Сперанского, – все семинаристы; к юристам гр. Сперанского причислялись, впрочем, и двое из наших: *Калмыков* и *Редкин* (не семинаристы)[2].

---

[1] Ограниченный ум поданных (нем.).

[2] Юристы от Сперанского – чиновники, участвовавшие в работе комиссии над составлением Свода Законов, которой руководил М.М.Сперанский (1772–1839).

Из нас (числом 21) были только трое – *Сокольский*, *Скандовский* и *Филомафитский* – лица духовного происхождения, но оба уже несколько шлифованные университетским образованием, тогда как юристы Сперанского (за исключением *Калмыкова* и *Редкина*) были все чистокровные бурсаки; из них наиболее выдающейся личностью был в моих глазах Ник[ита] Ив[анович] *Крылов*[1]. Я любил его угловатую оригинальность, и при случае расскажу о нем кое-что.

За несколько времени до нашего отъезда мы получили от министерства Уварова запрос: в каком университете каждый из нас желал бы получить профессорскую кафедру? Я, конечно, отвечал, не запинаясь: в Москве, на родине; уведомил об этом и матушку, чтобы она заблаговременно распорядилась с квартирою и т.п.

В мае 1835 года я и *Котельников* сели в почтовый прусский дилижанс, отправлявшийся в Кенигсберг и Мемель. На почтовом дворе к нам подошел какой-то господин, весьма порядочный на вид, с молодою девушкою, и, узнав, что мы русские, обратился прямо ко мне с просьбою взять на свое попечение до Кенигсберга молодую швейцарку из Гренобля, отправлявшуюся на место гувернантки в Кенигсберг.

Я принял с охотою предложение. Девушка не говорила по-немецки и была еще почти ребенок, лет 16-ти, чрезвычайно наивная и разговорчивая.

Она всю дорогу развлекала нас своими рассказами и, верно, понравилась бы мне еще более, если бы я дорогою не занемог.

Еще дня два до моего отъезда из Берлина я почувствовал себя не совсем хорошо и взял теплую ванну.

Полагая, что дорога (как это нередко со мною случалось) благодетельно на меня подействует, я сел в дилижанс без всяких опасений.

Но спертый воздух и духота дилижанса, в котором сидело нас шестеро, сильно расстроили меня; я не спал целую ночь, утомился до крайности; сильная жажда мучила меня, и я едва-едва высидел в дилижансе еще одну ночь, а на утро оказался вовсе несостоятельным для продолжения пути. Меня высадили на станции в каком-то, не помню, городке. Все пассажиры засвидетельствовали, что я действительно заболел на пути; это было необходимо для того, чтобы иметь право на бесплатный проезд до места назначения, т.е. за проезд уплаченного уже мною в Берлине пространства. *Котельников* не хотел оставить меня одного на дороге и высадился вместе со мною. На станции для утоления жажды я просил Христом Богом дать мне скорее чаю и в забытьи от утомления и бессонной ночи с нетерпением жаждал промочить чашкою чая засохшее горло.

Принесли, наконец, чайник. Я бросаюсь налить себе чашку, с жадностью пью, но, не успев выпить и половины, как начинаю чувствовать тошноту и отвратительнейший вкус во рту.

Оказалось, что вместо настоящего чая мне подали какое-то снадобье, составленное из разных трав и известное под именем аптекарского чая.

---

[1] Н.И.Крылов (1807–1879) – профессор кафедры римского права в Московском университете, выдающийся лектор.

Хозяйка станции, в целую свою жизнь ни разу не имевшая случая угощать чаем пассажиров и имевшая вообще смутное понятие о чае как напитке, не могла, конечно, вообразить, что больной пассажир может потребовать другого чая, а не аптекарского. Желая быть человеколюбивою, благодетельная хозяйка станции, услышав мое требование, тотчас же и послала в аптеку за чаем. Судя по отвратительному вкусу и по тошнотворному действию, это была смесь ромашки, бузины, липовых цветов, солодкового корня и других, не разгаданных мною веществ.

Прокляв это снадобье и заменив его, насколько позволяли средства и обстоятельства, теплым лимонадом, я, наконец, кое-как успокоился и крепко заснул после двух бессонных ночей. Сон несколько восстановил меня, так что я решился продолжать дорогу на другой же день с проходившим чрез станцию почтовым дилижансом.

Места для меня и Котельникова оказались, и мы добрались до Мемеля и, отдохнув там еще раз, наняли извозчика до Риги. Дорогу до Риги я перенес относительно не худо. Но получил, к несчастию, кашель; я почувствовал утром на рассвете какой-то нестерпимый зуд в одном ограниченном месте гортани с позывом на кашель. С этой минуты кашель, не переставая, начал меня мучить день и ночь, притом сухой и нестерпимый. В таком состоянии я добрался до Риги.

Мы остановились в каком-то заезжем доме за Двиною (за мостом). От слабости я едва передвигал ноги; впрочем, пульс мой не был лихорадочный. Я чувствовал, что далее мне ехать невозможно, а между тем деньги и у меня, и у Котельникова вышли, вышли все до последней копейки. Непредвиденные обстоятельства, как известно, не берутся в соображение в молодости или только на словах берутся. Но в Риге жил попечитель Дерптского университета и он же остзейский генерал-губернатор[1]. Пишу письмо к нему и посылаю с письмом самого Котельникова. Не помню что, но, судя по результату, я, должно быть, в этом письме навалял что-нибудь очень забористое. Не прошло и часа времени, как ко мне прилетел от генерал-губернатора медицинский инспектор, доктор *Леви*[2], с приказанием тотчас принять все меры к облегчению моей участи.

Доктор Леви привез деньги и тотчас же послал за каретою для переезда в большой загородный военный госпиталь. Там велено было отвести для меня особое отдельное помещение, приставив ко мне особого фельдшера и служителей. Доктор Леви был еврейского происхождения и принадлежал к тому высоко классическому типу евреев, который дал образы Леонардо да Винчи для изображения в его «Тайной вечери» одиннадцати верных учеников Спасителя.

Это была душа, редко встречающаяся и между христианами, и между евреями. Холостой и уже пожилой, доктор Леви, посвящая всю свою жизнь добру, помогал всем и каждому, чем только мог. Кто видел хотя

[1] Попечитель и генерал-губернатор – М.И.Пален.

[2] Д.Леви (1786–1855) – с 1812 г. доктор медицины и ординатор военного госпиталя в Риге, занимал крупные должности по военно-медицинской администрации.

однажды этот череп, гладкий, как мрамор и как мрамор сохранивший в себе черты, намеченные врожденною добротою души, тот, верно, не забывал его никогда.

Даже баронет *Виллье*, увидевши однажды доктора Леви при посещении военного госпиталя (в котором Леви служил ординатором), не удержался и невольно повел рукою по гладко вышлифованному и блестящему, как солнце, черепу доктора. Погладить что-нибудь, а не ударить рукою, было у грубого баронета признаком удовольствия и благоволения, и другие ординаторы едва ли не позавидовали тогда классическому черепу.

Меня поместили в бельэтаже громадного госпитального здания, в просторной, светлой и хорошо вентилированной комнате; явились и доктора, и фельдшеры, и служители. Если бы я захотел, то я думаю, мне прописали бы целую сотню рецептов не по госпитальному каталогу. Но я просил только, чтобы меня оставили в покое и дали бы только что-нибудь успокоительное, вроде миндального молока и лавровишневой воды, против мучительного сухого кашля.

Чем был я болен в Риге?

На этот вопрос я так же мало могу сказать что-нибудь положительное, как и на то, чем я болел потом в Петербурге, Киеве и за границею.

Сухой, спазмодический, сильный, с мучительным щекотаньем в горле, кашель; ни малейшей лихорадки; сильная слабость; полное отсутствие аппетита с отвращением и к пище, и к питью; бессонница — целые ночи напролет без сна несколько недель сряду; запоры, продолжавшиеся по целым неделям. Вот припадки. Болезнь длилась около двух месяцев, а облегчение началось тем, что кашель сделался несколько влажнее; в ногах же появились нестерпимые боли, так что малейшее движение ноги отзывалось сильнейшею болью в подошвах; потом показался аппетит к молоку и явились твердые испражнения после простых клистиров, прежде вовсе не действовавших. С каждым днем аппетит к молоку начал все более и более усиливаться и дошел до того, что я ночью вставал и принимался по нескольку раз за молоко; аптекарского, выписываемого по фунтам, уже не хватало; все обитатели госпиталя, ординаторы, смотрители и комиссары начали снабжать меня молоком; к нему я присоединил потом, также инстинктивно, миндальные конфеты; но порой ел их с молоком по целым фунтам. Наконец, дошел черед и до мяса. Мне начали приносить кушанья из городского трактира. А однажды, когда я был уже на ногах, но еще кашлял (с мокротою), посетил меня генерал-губернатор.

Я искренно поблагодарил его; а он успокоил меня уверением, что он обо мне сносился уже с министром, и чтобы я не торопился отъездом; к этому прибавил, и самое главное, ассигновку на получение жалованья, назначенного всем нам впредь до занятия профессорских должностей.

Мой *Котельников* уже тем временем давно уехал, получив также на проезд; а я написал в Дерпт из госпиталя к моей почтеннейшей Екатерине Афанасьевне [Протасовой], уведомив ее, что лежу больной, как

собака (не знаю, почему я написал так). Моя добрая Екатерина Афанасьевна, верно, подумала, что я лежу в госпитале, как собака, и вскоре прислала мне рублей 50 денег и белья.

Как только я оправился, является ко мне в одно прекрасное утро безносый цирюльник и просит меня, чтобы я сдержал данное ему обещание. – «Какое?» – удивился я. И цирюльник припомнил мне, что я обещался сделать ему нос. Дело было так: кто-то в госпитале рекомендовал мне взять из города очень искусного клистирного мастера.

При моей болезненной раздражительности мне действительно не всякий мог угодить в таком щекотливом деле, как клистир, и я терпел по целым неделям, и ни за какие коврижки не соглашался припускать к себе госпитальных фельдшеров.

Прибывший же из города оказался действительно исполнявшим свою обязанность по Цельсу: «tuto, cito et jucunde»[1].

Вот ему-то, по его уверению, я после одного отлично поставленного клистира и обещался сделать нос, когда выздоровею.

Но слабость сил ослабила, верно, и память; я совсем забыл обещание и физиономию.

– Ну, что же? Если обещал, так надо исполнить.

Нос не существует ex toto[2], но лоб превосходный, гладкий, словно мраморный.

Безносый, плотный, здоровый мужчина, лет 40, семейный.

Но мне неясно было, что могло побудить человека женатого и не совсем молодого принять так к сердцу сказанные на ветер и в шутку слова неизвестного больного.

Может быть, предчувствие, но вероятнее то, что этот безносый брадобрей, однако же, был вместе с тем и содержателем публичного дома. А провалившийся нос у хозяина такого заведения не приманка, а потрясающее memento mori[3] для посетителей.

Из прекрасного лба вышел прекрасный нос; долго хранился у меня портрет моего первого и самого удачного носа.

Второй нос, сделанный вскоре после первого, в Риге же, у одной дамы, был гораздо неудачнее и накрывал дефект только отчасти. Затем начали следовать оперативные случаи один за другим: литотомии, вырезывания опухолей, из которых один, вылущение огромного оплотневшего (стеатоматического) жировика, произвел большую сенсацию в городе.

Дама, страдавшая этою опухолью, была многим знакома в городе. Опухоль росла у нее уже десятки лет, и несколько лет тому назад один туземный хирург взялся было за операцию, но убоялся бездны премудрости, возвратился вспять; он остановился с вырезыванием, перевязал кусок опухоли почти посередине и отрезал перевязанный кусок.

Мне представилась застарелая болезнь уже в другом виде. У разжиревшей до громадных размеров женщины опухоль, имевшая несколько

[1] Безопасно, быстро, приятно (лат.).
[2] Совсем (лат.).
[3] Помни о смерти (лат.).

этажей или доль, достигла величины огромной тыквы, занимая всю ягодную область и промежность правой стороны; но очевидно было, что нарост шел далеко в таз, между прямою кишкою, влагалищем и маткою, а старый рубец после недоконченной операции прикреплял к ней кожу и мышцы. Для новичка это был хороший пробный камень, и ни одна операция не радовала меня столько, как эта.

Приступив к ней, я шибко боялся за глубокий рубец, лежавший на дороге; боялся еще более среднего нароста в глубине в тазу с брюшиною.

Но все обошлось как нельзя лучше.

Почти половину опухоли, величиною также с добрую тыкву, надо было вытаскивать из таза. Огромная, глубокая рана зажила еще задолго до отъезда моего из Риги.

В военном госпитале также не оказывалось оператора. При мне встретились два случая: один с камнем мочевого пузыря, а другой – требовавший отнятия бедра в верхней трети. В обоих случаях никто не решался в госпитале делать операцию, и оба предоставлены были в мое распоряжение.

Ординаторы госпиталя, познакомившись со мною, стали просить меня показать им некоторые операции на трупах и прочесть несколько лекций из хирургической анатомии и оперативной хирургии. Один из старых ординаторов, немец, кончивший курс в Иене, сделал мне за мои лекции следующий комплимент, тогда очень польстивший почему-то моему самолюбию и потому оставшийся у меня в памяти.

– Вы нас научили тому, чего и наши учителя не знали.

В сентябре месяце [1835 г.] я собрался, наконец, в дорогу.

Мой добрейший доктор *Леви*, бывший во все время моего пребывания в Риге моим гением-хранителем, и теперь не хотел отпустить меня в дорогу без теплой одежды; вечера уже были очень прохладны, и он притащил мне свою енотовую шубу, хотя и старую, но еще довольно благовидную и для ношения в столице, и требовал от меня, чтобы я ее непременно взял и не обижал его пересылкою назад из Петербурга.

Уговаривая меня, Леви так горячился и так неосмотрительно бегал за мною по комнате, что, наконец, зацепился ногою за что-то и упал, растянувшись предо мною. Это было как-то так и смешно, и трогательно, что я бросился его поднимать, обнимать, целовать, и мы расстались оба со слезами на глазах.

Я отправился в Петербург хотя и на почтовых, но не спеша. Ночевал ночи на станциях и заехал на несколько дней в Дерпт.

Надо было поблагодарить почтеннейшую Екатерину Афанасьевну *Протасову*, повидаться с *Мойером* и с знакомыми.

Первая новость, услышанная мною в Дерпте, была та, что я покуда остался за штатом и прогулял мое место в Москве. Я узнал, что попечитель Московского университета, *Строганов*[1], настоял у министра об определении на кафедру хирургии в Москве *Иноземцева*.

[1] С.Г.Строганов (1794–1882) – попечитель Московского университета (и округа) с 1835 г.

Первое впечатление от этой новости было, сколько помню, очень тяжелое. Недаром же у меня никогда не лежало сердце к моему товарищу по науке. Недаром в моем дневнике разражался я против него разного рода жалобами и упреками и вместе с тем завидовал ему.

Это он назначен был разрушить мои мечты и лишить меня, мою бедную мать и бедных сестер первого счастья в жизни! Сколько счастья доставляло и им, и мне думать о том дне, когда, наконец, я явлюсь к ним, чтобы жить вместе и отблагодарить их за все их попечения обо мне в тяжкое время сиротства и нищенства! И вдруг все надежды, все счастливые мечты, все пошло прахом!

Но чем же тут виноват *Иноземцев*?

Да разве он не знал моих намерений и надежд? Разве он не слыхал от меня, что старуха-мать и две сестры ждут меня с нетерпением в Москву? Разве ему не известно было, что я отвечал на посланный вопрос в Берлин из Москвы?

Но он не мог устоять против требования и желания Строганова? Во-первых, это, верно, не так: *Иноземцев* умел сделать себя приятным и от природы снабжен был средствами для этой цели; а, во-вторых, разве совесть и долг чести не требовали от товарища, чтобы он отказался от предлагаемого, если на это предложение имел гораздо более прав не он, а другой?

И какова заботливость начальства!

Оно само выбирает, само назначает человека, само узнает от него, что он желает действовать именно в том университете, где он получил образование и где он был избран для дальнейшего усовершенствования, и что же: лишь только пришла беда, болезнь, его забывают и спешат его место заменить другим! Да, этот другой понравился, имел счастье понравиться его сиятельству; а кто знает, понравился ли бы еще я? Пожалуй, могло быть и еще хуже – могло быть, что мне, и здоровому, и прибывшему в Петербург, влиятельный граф предпочел бы моего товарища.

«Слава Богу, что еще этого не случилось. Ну, пусть будет, что будет.

Всем управляет слепой случай; утешения искать негде, если не найдешь его в самом себе. Вот сюда, к себе, и обратись».

Так я рассуждал в то время. Провидения для меня тогда не существовало. Идеала Богочеловека, поправшего чрез воплощение юдоль человеческих бедствий, также не существовало.

Оставалось, конечно, одно прибежище – собственное «я». И хорошо еще, что это «я» было, по милости Божией, недюжинное и не слишком высокомерное. Оно знало себе меру.

Теперь спешить было некуда. Одно действие на сцене жизни кончилось, занавес опустился. Отдохнем от испытанных волнений и подождем терпеливо другого.

Я поместился на квартире старого товарища, всегда ассистировавшего мне при опытах над животными, помощника прозектора *Шульца*.

Мойер в это время был ректором и плохо ладил со студентами. Они однажды пустили ему за что-то кирпич в окно и сильно перепугали старушку Екатерину Афанасьевну.

Видно было по всему, что *Мойер* ждал с нетерпением срока 25-тилетия, чтобы уехать из Дерпта в орловское имение; клиники он по служебным занятиям ректора не посещал и предоставил почти всецело своему ассистенту, молодому *Струве*[1] (потом профессору в Харькове).

Я принялся посещать ее, и, как нарочно, к этому времени собрались в клинике четыре интересных случая: мальчик с камнем в пузыре — редкая птица в Дерпте; огромный саркоматозный полип, застилавший всю полость носа и зева; скорбутная опухоль подчелюстной железы, величиною с кулак, и сухая гангрена от обжога всего предплечья у эпилептика.

Мойер поручил мне распорядиться по моему усмотрению с этими больными, а сам должен был решиться на литотомию у одного толстого-претолстого старика-пастора, поместившегося также в клинике.

Операция шла не лучше той у дерптского богача *Шульца*, о которой я уже говорил прежде. Пастор был еще толще Шульца и кричал беспрестанно: «Wenn ich nur harnen könnte!»[2]. Горжерет Скарпы, которым все еще, как и прежде, оперировал Мойер, оказался слишком коротким для толстой (в целую ладонь) промежности; побежали во время операции искать другого инструмента — не нашли; но, наконец, кое-как горжерет прошел-таки в пузырь, и извлечены были три камня (ураты).

Чрез несколько дней была моя операция (литотомия) у мальчика. *Штраух*, мой сожитель в Берлине, приехавший в Дерпт еще до мая для экзаменов, выдержал уж его и писал теперь диссертацию; он успел уже рассказать о наших подвигах в Берлине и, между прочим, о необыкновенной скорости, с которою я делаю литотомию над трупами. Вследствие этого набралось много зрителей смотреть, как и как скоро сделаю я литотомию у живого. А я, подражая знаменитому *Грефе* и его ассистенту в Берлине *Ангельштейну*, поручил ассистенту держать наготове каждый инструмент между пальцами по порядку. Зрители также приготовились, и многие вынули часы. Раз, два, три — не прошло и двух минут, как камень был извлечен.

Все, не исключая и *Мойера*, смотревшего также на мой подвиг, были видимо изумлены.

— In zwei Minuten, nicht einmal zwei Minuten, das ist wunderbar![3] — слышалось со всех сторон.

Я делал операцию литотомом (lithotome caché), и именно тем самым, единственным тогда в Дерпте, который я привез Мойеру из Москвы. Но быстрота операции зависела не от этого инструмента и ни от чего другого, как от формы и положения камня в пузыре. Это был уратофос-

---

[1] А.-Г.Струве (1809—?) — учился медицине в Дерпте. Как ученик и ближайший помощник Мойера, как немец по происхождению, он имел все права на занятие кафедры своего учителя. Но так как Мойер хотел видеть своим преемником Пирогова, Струве пришлось уехать в Харьков, где он занимал кафедру с 1837 по 1862 г.

[2] Если бы я только мог мочиться! (нем.).

[3] В две минуты, даже менее двух минут, это удивительно! (нем.).

фат в виде продолговатой сосульки, лежавшей одним концом прямо в шейке пузыря; камень тотчас же попал всею своею длиною между щечек щипцов и легко извлекся.

Не менее эффекта для посетителей клиники, уже давно не видавших никакой серьезной операции, было извлечение громадного полипа вместе с костями (носовыми раковинами и стеною верхнечелюстной пазухи) чрез большой разрез носа. Диффенбаха шов (Insectennaht), наложенный потом на разрезанный нос, был также новостью.

С этого времени начали почти ежедневно являться в клинику оперативные случаи, всецело поступавшие в мое распоряжение. Клиника, по словам студентов, ожила. Чрез несколько дней *Мойер* приглашает меня к себе и делает мне нечто, никогда недуманное и негаданное мною и потому чрезвычайно меня поразившее.

– Не хотите ли вы, – предлагает мне Мойер, – занять мою кафедру в Дерпте?

Я остолбенел.

– Да как же это может быть? Да это немыслимо, невозможно! – или что-то в этаком роде.

– Я хочу только знать, желаете ли вы? – повторяет Мойер.

– Что же, – говорю я, собравшись с духом, – кафедра в Москве для меня уже потеряна; теперь мне все равно, где я буду профессором.

– Ну, так дело в шляпе. Сегодня я предлагаю вас факультету и извещу потом министра; а когда узнаю, как он посмотрит на это дело, то предложение пойдет и в совет, а вы покуда подождите здесь в Дерпте, а потом поезжайте в Петербург ждать окончательного решения.

В это время дом *Мойера* был очень привлекателен для молодого человека. Две его племянницы (внучки Е.А.Протасовой), Екатерина и Александра *Воейковы,* и несколько русских молодых дам, Мария Николаевна *Рейц* (урожденная *Дирина*), Екатерина Николаевна *Березина* (моя будущая теща) и др., составляли очень приятное общество под эгидою почтенной летами, но чрезвычайно любезной, умной и интересной Екатерины Афанасьевны. Весело было проводить вечера и послеобеденное время в этом привлекательном обществе. Являлись и другие русские и некоторые немцы, и время шло как нельзя лучше.

Я написал о случившемся матушке, стараясь ее утешить; но сам я не получал ни от кого писем, как будто меня уже и на свете не было. Поехал, мол, занемог на дороге, да так и сгинул, и концы в воду. Жалованье, однако же, хотя неаккуратно, а все-таки выдавалось.

Узнаю, наконец, что факультет выбрал меня по предложению Мойера единогласно в экстраординарные профессоры.

Пришло потом извещение от министра народного просвещения, что он не имеет ничего против избрания меня на кафедру хирургии в Дерпте. Надо было теперь отправляться в С.-Петербург, представиться министру и ждать там окончательного решения об избрании меня советом университета.

Я сшил себе на заказ в Дерпте какую-то фантастическую теплую фуражку, с тем намерением, чтобы она служила мне и вместо подушки.

Это было нечто в роде суконного шара, подбитого ватою на шелковой подкладке, с длинным и мягким (суконным же) козырьком и двумя наушниками, так прилаженными, что их можно было ad libitum[1] и опускать вниз на уши, и загибать вверх.

Я распространяюсь об этой шапке потому, что к изобретению ее, как мне кажется теперь (прежде я, верно, не сознался бы в этом и самому себе), послужил поводом зеленый картуз, постоянно красовавшийся на голове *Руста* и почему-то мне нравившийся; теперь, когда мне предстояло избрание в профессора русско-немецкого университета, мне казалось, и шапка, подобная картузу Руста, будет весьма уместна на моей голове. И цвет этой шапки был также зеленый.

Впрочем, это только предположение, пожалуй, и не совсем вероятное; но почему-то мне кажется теперь, что существовало что-то подобное этому предположению в моем воображении.

Уже был настоящий зимний путь, когда я отправился из Дерпта в С.-Петербург. В Петербург приехав ночью, я не знал, куда деваться. Ямщик возил меня по разным заезжим домам и гостиницам часа три, и нигде не находилось порожнего нумера. Я приходил в отчаяние уже, как, наконец, не знаю в каком-то захолустье на Петербургской стороне нашлась одна комната с голою кроватью, прикрытой рогожей. Я, как вошел в этот притон, так и повалился на кровать, не раздеваясь, в енотовой шубе Леви и в моей зеленой оригинальной шапке. Повалился и заснул. На другой день с помощью д-ра *Штрауха* я отыскал себе комнату с маленькою прихожею, вверху, в 3-м этаже, в доме Варварина, у Казанского собора. Помещение было довольно порядочное, но вход с улицы отвратительный: лестница узкая, грязная, залитая замерзлыми помоями и ночью темная.

Министр *Уваров* принял меня утром одного у себя в кабинете и не заставил долго ждать. Он был уж совершенно одет, за исключением фрака, вместо которого был надет шелковый халат. Время моего представления министру совпадало с двумя событиями, составлявшими предмет разговоров и сплетен в Петербурге.

В это время был при смерти болен *Шереметев*, и по рукам ходили стихи *Пушкина*; читая их, всякий узнал в умирающем Лукулле Шереметева, а в жадном наследнике, крадущем дрова и накладывающем печати на наследство, С.С.Уварова.

Второе же событие составляло появление Уварова в доме Фан дер Флита и основанная на этих посещениях связь с красавицею-дочерью. Может быть, поэтому, а может быть и напрасно, мне показался министр чем-то озабоченным и как бы рассеянным. По крайней мере речи его, обращенные ко мне, были несвязны. Не сказав мне ни полслова о том, почему я, воспитанник Московского университета, объявивший, по его же требованию, о своем желании иметь профессуру в Москве, остался за штатом, министр начал хвалить меня, говоря, что слышал обо мне с разных сторон хорошие отзывы. Почему же бы, казалось, ему нельзя

[1] По желанию (лат.).

было несколько повременить и не отдавать мне назначенного места другому? Потом Уваров начал бранить студентов Дерптского университета и превозносить профессоров.

Впоследствии я узнал причину и порицания, и похвалы. Уваров, поступив на место кн. *Ливена*, отправился едва ли не прежде всего в Дерпт, прикинулся другом немцев, говорил, что и университет, и старая библиотека, и все в Дерпте напоминают ему то незабвенное время, когда он штудировал классиков в геттингенском университете. Вероятно, восхищению его не было бы конца и он с ним так и уехал бы в С.-Петербург, если бы не приключился ночью того же дня студенческий скандал, впрочем, весьма невинного содержания.

Уваров остановился в квартире, назначенной для попечителя (которого еще тогда не было), на рынке. Ночью не спалось министру, и на рассвете, услышав шум на улице, он вышел на балкон. В то время проходило по рынку несколько подгулявших на коммерше[1] студентов, и двое из них, увидевши стоявшего на балконе господина в ночной одежде с лорнетом в руке, вынули ключи от дверей своих квартир, навели их и стали смотреть на балкон чрез кольцо ключа, заменив им лорнет. Это ужасно не понравилось Уварову, полагавшему, что его приезд и расточаемые им похвалы должны были привлечь к нему все сердца Dorpatenser'ов[2].

Вот и причина, почему Уварову не нравились именно студенты.

А теперь вот и причина, почему он так возлюбил профессоров.

Этот рассказ сообщил мне впоследствии (в 1838 г.) *Мойер*.

Астроном *Струве*, знаменитый не по одним своим наблюдениям и открытиям в области астрономии, но и своими необыкновенно чуткими житейскими способностями, хлопотал в начале министерства Уварова об обсерватории в Пулкове. Надо было во что бы то ни стало расположить Уварова в свою пользу. Струве воспользовался для этого приездом министра в Дерпт. Уваров посетил утром, по приглашению Струве, дерптскую обсерваторию. Главным делом был, конечно, знаменитый в то время рефрактор дерптской обсерватории.

– К сожалению, – говорит ему Струве, – все это время стоит погода плохая, и потому я не осмелился утруждать вас посмотреть в наш рефрактор ночью; теперь же взглянуть в него можно разве только для того, чтобы составить себе понятие о чрезвычайной чувствительности инструмента к малейшему движению.

Уваров остановился и смотрит.

– Позвольте, однако же, – говорит, он, – я что-то вижу; мне кажется, звезду.

– Не может быть, Hohe Excellenz[3]! – восклицает Струве.

– Да, вот посмотрите сами, – возражает Уваров.

Струве в свою очередь смотрит, молчит, еще смотрит, и, приняв изумленный и восторженный вид, громко взывает:

---

[1] Пирушка.

[2] Обитателей Дерпта (нем.).

[3] Ваше высокопревосходительство (нем.).

– Позвольте принести вам мое поздравление, Hohe Excellenz: вы сделали открытие. Необыкновенно, непостижимо, как это случилось, что вам суждено было увидеть в первый раз одну из неизвестных еще неподвижных звезд; отныне она будет включена в список новооткрытых неподвижных звезд.

И в этот же вечер, в собрании профессоров на ученом вечере, куда был приглашен и министр, Струве читал о новооткрытой его высокопревосходительством неподвижной новой звезде.

Не знаю только, окрестил ли ее Струве именем Уварова, как окрещен этим именем один минерал (уваровик), или новая звезда осталась безымянною. Уваров, конечно, был на седьмом небе и не воображал, да и не хотел воображать, что он вовсе не был случайным открывателем, а звезда была уже прежде подмечена тонким дипломатическим гением Струве.

После разных прелюдий о необходимости исправления нравственного быта дерптских студентов, оказавшихся в последнее время образцами нравственности для других русских студентов, Уваров ни с того, ни с сего обращается ко мне с следующей напутственной речью: «Знайте, молодой человек, при вступлении вашем на новое поприще, что министр народного просвещения в России не я, не Серг[ей] Сем[енович] Уваров, а император Николай Павлович. Знайте это и помните. До свидания!»

Вот тебе на! Не он, а государь – министр народного просвещения! Что бы это значило? К чему это он мне такую штуку всучил?

Однако же, сидеть сложа руки в С.-Петербурге скучно, а придется немало сидеть у моря и ждать погоды, и я отправляюсь посещать петербургские госпитали.

Всего более я слыхал об Обуховской больнице.

Беру ваньку и еду туда.

Вдруг проезжая по Сенной площади, чувствую, что кто-то меня хватил преисправно кулаком по голове, то есть по моей шаровидной зеленой шапке a la Rust. Я был закутан в поднятый воротник енотовой шубы *Леви*. Невольно вскрикиваю и оглядываюсь; вижу уже вдали бегущего по тротуару мастерового парня в затрепанном халате и без шапки. На бегу, я видел, он, подпрыгивая, делал разные трели ногами и задевал прохожих. Что же, спрашиваю себя, заставило этого сорванца ударить по голове, и довольно внушительно, проезжего незнакомца? А то же самое, я полагаю, что заставило некогда баронета *Виллье* погладить ладонью лоснившуюся на солнце и кругло выпяченную плешь д-ра, статского советника *Леви*. Внешний вид, круглость, цвет, блеск и т.п. привлекли и обратили на себя глаз баронета, а от глаза непроизвольно и бессознательно перешло рефлективное движение и на руку. А так как «рукам воли не давай», «oculis, non manibus»[1] Лодера и «руки прочь» Гладстона были неизвестными для баронета правилами нравственного кодекса, то рука, побуждаемая рефлексом, и дотронулась до соблазнительной плеши.

---

[1] Глазами, а не руками (лат.).

То же самое было причиною и нанесенного мне удара кулаком. Выбежавший из мастерской парень, как вырвавшийся из клетки зверь, пришед в соприкосновение с мнимою свободою, собственно же почувствовав на себе действие одной только уличной (и то петербургской) свободы, заржал, запрыгал и, завидев на бегу шаровидный зеленый купол на голове проезжего, непроизвольно и рефлективно сжал кулак и ударил им по куполу. «Не давай воли рукам» мастеровому, конечно, было так же мало известно, как и баронету.

В Обуховской больнице я радушно был встречен ординаторами, особливо же бывшими студентами Дерптского университета. Из них доктор *Гете*, уже довольно известный практик того времени, занимавшийся в хирургическом отделении госпиталя, сблизился со мною, познакомил меня с главным доктором Карлом Антоновичем *Майером* (семитического происхождения), а потом и с главным консультантом госпиталя *Н.Ф.Арендтом*.

С каждым днем новые знакомства с врачами и профессорами. Во-первых, ex officio[1] надо было познакомиться с Ив[аном] Тим[офеевичем] *Спасским*[2], он уже играл некоторую роль у министра *Уварова*, впоследствии же был членом от министерства по медицинской части в медицинском совете. Добрейшая душа, расположенный ко мне и ценивший меня, Иван Тимофеевич не имел твердых убеждений и был притом рассеян. О нем придется мне еще говорить впоследствии.

Медицина и хирургия того времени в С.-Петербурге имели весьма дельных представителей: *Буш*, *Арендт*, *Саломон*[3], *Буяльский*, *Зейдлиц*[4], *Раух*[5], *Спасский* пользовались заслуженною репутациею и в публике, и между врачами того времени.

Конечно, в полном смысле *научными* врачами, то есть знакомыми с современною медицинскою литературою и современным направлением науки, были только немногие из них. Но в то время следить за современным направлением науки не так легко было не только у нас, но и на Западе. Я уже сказал об отсталости медицины этого времени в самой Германии. Поэтому я ужасно удивился, когда узнал, что в С.-Петербург приглашен был ко двору ее императорского высочества Елены Павловны профессор (одного небольшого университета) доктор *Мандт*.

Надо не забыть того, что год тому назад профессор *Шлемм* в Берлине привел на мою квартиру в Dorotheen Strasse неизвестного мне высо-

---

[1] По обязанности (лат.).

[2] И.Т.Спасский (1795–1859 или 1861) – профессор зоологии и минералогии в Медико-хирургической академии, преподавал судебную медицину в училище правоведения. Был постоянным домашним врачом А.С.Пушкина, оставил описание предсмертных страданий поэта в 1837 г.

[3] Х.Х.Саломон (1797–1851) – профессор хирургии Петербургской медико-хирургической академии.

[4] К.К.Зейдлиц (1798–1885) – крупный русский терапевт, с 1836 по 1846 г. ординарный профессор терапевтической клиники Петербургской медико-хирургической академии, автор обширного труда «Жизнь и поэзия В.А.Жуковского».

[5] Г.А.Раух (1789–1864) – ординатор Обуховской больницы, затем военный врач, лейб-медик.

кого и худощавого господина и, назвав его профессором доктором Мандтом, объявил мне, что этот господин, получив приглашение ехать в Россию, желает познакомиться со мною и просит меня сообщить ему некоторые сведения о России.

У меня в это время был какой-то анатомический препарат под руками; я извинился пред незнакомцем, вымыл руки и предложил себя к услугам. *Мандт* вынул записную книжку, и первый его вопрос ко мне был о чинах в России. Я мог ему перечислить классное значение только некоторых чинов. Мандт записал.

– Мне предлагают чин Hofrath'a[1], – спросил он, – имеет ли он значение в России?

– Как вам сказать? – отвечал я, – конечно, статский советник выше и почета больше.

– Ну, а касательно содержания?

– Жизнь в Петербурге мне совсем незнакома, и я ничего не могу вам сообщить положительного об этом деле.

Потом рассказав мне несколько о своей хирургической деятельности в Грейфсвальде, *Мандт* раскланялся и ушел.

Не прошло и года с тех пор, как я неожиданно для меня встречаю Мандта за обедом у аптекаря Штрауха (брата доктора Штрауха). Мандт познакомил меня с своею красивою женою, быв уже объявлен лейбмедиком ее высочества великой княгини Елены Павловны, и за обедом, сидя возле меня, имел бесстыдство сказать во всеуслышание, что врачи в России гонятся за чинами; о своей записной книжечке он уже забыл, о нашем знакомстве в Dorotheen Strasse ни слова.

– Представьте, – разглагольствовал он за обедом, – я сегодня приезжаю к доктору Арендту, спрашиваю у швейцара, дома ли доктор, а он мне в ответ: «Генерала нет дома». Ха, ха, ха, генерала!

Скоро после того о подвигах Мандта узнал Петербург. Еще не раз придется говорить и об этой, впрочем, недюжинной личности.

Н.Ф.Арендт был человек другого разбора. Образование Арендта было весьма недалекое. Он, кроме Медико-хирургической академии еще павловских времен, не посещал никакого другого высшего научно-медицинского учреждения; почтительный, но как немец (собственно финляндец) нелюбимый вздорным баронетом Виллье, молодой Арендт прокладывал сам себе дорогу на военно-медицинском поприще, во времена наполеоновских войн в России, 1812–1814 гг. В молодости и средних летах он был предприимчивым и смелым хирургом, но искусство его, не основанное на прочном анатомическом базисе, не выдерживало борьбы с временем.

Стремления не научного свойства еще задолго до старости взяли верх, и во время моего пребывания в Петербурге Н.Ф.Арендта уже никак нельзя было назвать научным деятелем. Это был очень занятый практик, действовавший на лету и любимый за доброту души. Что касается до меня, то я ни тогда, ни после ни разу не слыхал от *Н.Ф.Арендта* научно дельного совета при постели больного.

---

[1] Надворного советника (нем.).

По всему видно было, что Арендт не получил серьезного научного образования, и мысль всегда оставалась на поверхности. Иной раз, видя его действия при постели больных и выслушав несколько его мнений, невольно приходило в голову, что Арендт есть представитель врачебного легкомыслия.

Когда я был ему представлен в первый раз в Обуховской больнице, то он пользовался еще доверием государя как лейб-медик.

Известно было, что этого доверия Арендт достиг кровопусканием, но недостаточно был хитер и пронырлив, чтобы удержать до конца нравственную власть в своих руках. *Мандт* показал всем лейб-медикам, как они должны поступать, чтобы иметь прочное и мощное влияние на коронованных пациентов и их царедворцев.

В Петербурге, как и в Риге, госпитальные врачи при первом же нашем знакомстве изъявили желание выслушать у меня курс хирургической анатомии. Наука эта у нас и в Германии, была еще так нова, что многие из врачей не знали даже ее названия.

– Что это такое хирургическая анатомия? – спрашивает один старый профессор Медико-хирургической академии своего коллегу, – никогда-с не слыхал-с, не знаю-с.

Но в русском царстве нельзя, бывало, прочесть и курса анатомии при госпитале, не доведя об этом до сведения главы государства, и *Н.Ф.Арендт* взялся испросить разрешение государя.

Оно было дано с тем, чтобы употреблять для демонстрации трупы только тех больных, к которым при жизни не являлись никакие родственники в больницу. Это, конечно, разумелось само собою.

Лекции мои продолжались недель шесть.

Слушателями были, кроме врачей Обуховской больницы, сам Н.Ф.Арендт, не пропускавший, к моему удивлению, буквально ни одной лекции, профессор Медико-хирургической академии *Саломон*, многие практики-врачи. Обстановка была самая жалкая.

Покойницкая Обуховской больницы состояла из одной небольшой комнаты, плохо вентилированной и довольно грязной. Освещение состояло из нескольких сальных свечей. Слушателей набиралось всегда более двадцати. Я днем изготовлял препараты, обыкновенно на нескольких трупах, демонстрировал на них положение частей какой-либо области и тут же делал на другом трупе все операции, производящиеся на этой области, с соблюдением требуемых хирургическою анатомиею правил. Этот наглядный способ особливо заинтересовал слушателей; он для всех них был нов, хотя почти все слушали курсы и в заграничных университетах.

Из чистокровных русских врачей никто не являлся на мой курс. И я читал по-немецки. Да в то время в с.-петербургских больницах между ординаторами редко встречался русский: все были или петербургские, или остзейские немцы. Да и откуда было взяться русским? Русские студенты Медико-хирургической академии того времени (единственного, как и теперь, высшего учебно-медицинского учреждения) были почти все казеннокоштные, бедняки и поповичи; окончив курс, они поступали тотчас на службу, в полки, уездные города и т.п. В Петербурге же

оставались только сыновья петербургских обывателей, а из петербургских обывателей только немцы посылали сыновей своих учиться в академию, и это были дети докторов, чиновников, учителей, ремесленников, вообще из более культурных классов.

И между практиками-врачами в С.-Петербурге того времени нельзя было насчитать более дюжины известных русских имен, включая сюда и имена некоторых профессоров-практиков Медико-хирургической академии.

Время мое все уходило на посещение госпиталей и приготовления к лекциям. Немало операций в госпиталях Обуховском и Марии Магдалины было сделано мною в это время, и я, как это всегда случается с молодыми хирургами, был слишком ревностным оператором, чтобы отказываться от сомнительных и безнадежных случаев. Меня, как и всякого молодого оператора, [занимал] не столько сам случай, то есть сам больной, сколько акт операции, – акт, несомненно, деятельного и энергичного пособия, но взятый слишком отдельно от следствий.

Мне казалось в то время несправедливым и вредным для научного прогресса судить о достоинстве и значении операции и хирургов по числу счастливых, благополучных исходов и счастливых результатов.

Что делать, когда суждениям молодых людей суждено быть иными и отличными от суждений зрелого возраста и стариков!

Несмотря на усиленную деятельность с раннего утра до поздней ночи, меня не тяготила эта жизнь; мне жилось привольно в своем элементе. Целое утро в госпиталях – операции и перевязки оперированных, потом в покойницкой Обуховской больницы – изготовление препаратов для вечерних лекций.

Лишь только темнело (в Петербурге зимою между 3–4 час[ами]) бегу в трактир на углу Сенной и ем пироги с подливкой. Вечером, в 7, – опять в покойницкую и там до 9-ти; оттуда позовут куда-нибудь на чай, и там до 12-ти. Так изо дня в день.

Однажды кто-то из докторов (кажется, *Задлер*) пригласил меня посетить большой сухопутный военный госпиталь на Выборгской. И госпиталь, и в особенности заведовавший им главный доктор представились мне чем-то фантастическим, из «Тысячи и одной ночи».

Старое здание госпиталя показалось мне целым городом; тут были и огромные каменные постройки, и деревянные дома, и домики, занимавшие целые улицы, и все это было переполнено больными, фельдшерами, служителями; по коридорам каменных зданий и из одного дома в другой шмыгал беспрестанно этот многочисленный персонал, носил, приносил, переносил, шумел, бранился.

Но главный curiosum был сам главный доктор. Откуда у нас выкопали такое допотопное, нет, не допотопное, а просто невозможное животное, каким представлялся мне доктор *Флорио*, едва ли кто решит путем исторического дознания.

Мне известно было только, что Флорио, родом итальянец, принят на русскую службу, вероятно, еще в 1812–1813 гг., любимец баронета *Виллье*, действительный статский советник и кавалер.

Посторонние лица, входившие во время докторского визита в одну из огромных палат сухопутного госпиталя, нередко могли быть свидетелями следующей сцены.

Между рядами коек с больными идет задом наперед фельдшер, немного останавливается перед каждою койкою и скороговоркою, нараспев, рапортует название болезни и лекарство, в таком роде, например: «Pleuritis-Tartarus emeticus gr. jjj, infus... Unc. sex; febris catarrhalis – Sles ammoniaci drach. unam, decocti altheae unc. sex» и т.п.

Обращенный лицом к лицу фельдшера (идущему, как сказано, задом наперед) идет главный доктор; он держит в руке палку; на палке надета его форменная фуражка; доктор вертит палкою, с которою вертится и фуражка, ногою притопывает в такт и припевает громким голосом с итальянским акцентом: «Сею, вею, Катерина! Сею, вею, Катерина!»

При каждой встрече с ординаторами и с посторонними доктор пускается в рассказы разных сальностей на ломаном русском языке, с постоянным повторением крепкого русского словца.

К нам, новым посетителям, доктор *Флорио* был, по-своему, очень любезен и беспрестанно старался выказать свои научные знания. «C'est une fiévre, une inflammation de la membrane gastrointestinale»[1]. Это «inflammation de la membrane gastrointestinale», долженствовавшее свидетельствовать о принадлежности доктора *Флорио* к *бруссеистам*, повторялось на каждом шагу, и на каждом шагу слышалась ординация: «Venaesectio... ad libram unam[2], десять пиявиц».

Проходит мимо старик-ординатор, в мундире и без носа.

– Остановитесь! – кричит Флорио. – Вот рекомендую вам, господа, – обращается он к нам, – статский советник Сим...; думает еще жениться и уверен, что в первую ночь исполнит свои обязанности; но это он, уверяю вас, напрасно так думает. А! Кстати, вот и другой, как видите, молодой, красивый человек, господин К...; этот ничего лучшего не знает, как проводить все время в Большой Мещанской с прекрасным полом.

И все это скороговоркою на ломаном русском языке.

Приходит в женское отделение *Флорио*, подходит прямо к одной женщине, солдатке.

– Что, еще не выздоровела? А? – и затем, обращаясь к палатному дежурному (унтер-офицеру). – А зачем ты с нею ночью не спишь, а?.. Сейчас выздоровеет!

Ничего подобного я, верно, не увижу никогда и видел только раз в жизни; поэтому и считаю необходимым сохранить воспоминание о таком чуде-юде в моем дневнике.

Петербургский климат и мои занятия не преминули-таки повлиять на мой организм. И я опять занемог, но, слава Богу, другою, не рижскою, болезнью и не надолго. Это была, наверное, потаенная перемежающаяся лихорадка, продержавшая меня дня четыре в постели.

И.Т.Спасский, навещавший меня с другими врачами во время болез-

[1] Это лихорадка, воспаление желудочно-кишечной мембраны (франц.).
[2] Кровопускание до одного фунта крови (лат.).

ни, известил меня от министерства, что чрез неделю назначено мне чтение пробной лекции в Академии наук; я должен был сам выбрать тему. Я выбрал ринопластику; купил у парикмахера старый болван из papier maché, отрезал у него нос, обтянул лоб куском старой резиновой галоши и отправился с этим сокровищем в академическую залу, чтобы демонстрировать ринопластику по индейскому способу, модифицированному Диффенбахом.

Искусственный нос был выкроен мною из резины на лбу и пришит lege artis[1]. Я цитировал мои случаи в Риге и Дерпте и ссылался на Диффенбаха.

Впечатление, произведенное моею лекциею на молодых и старых посетителей, было, по-видимому, различное. Молодые все отзывались с большим сочувствием и похвалою; некоторые же из старых отнеслись, как мне казалось, недоверчиво к сообщенным мною фактам.

Решения из Дерпта о выборе меня в совете все еще не было. Я начал терять терпение и написал к Мойеру. *Мойер* долго не отвечал, а потом с обычною своею флегмою объявил мне, что «Gutes Ding will Weile haben»[2], и извещал, что скоро сам приедет в Петербург. Он действительно вскоре приехал, но этим дело не ускорилось.

Уваровым Мойер остался очень недоволен, и, странно, почему-то ему более пришелся по сердцу *Ширинский-Шихматов*[3], тогдашний директор департамента министерства народного просвещения.

Впоследствии я слышал, что и государь Николай Павлович был очень доволен направлением *Ширинского-Шихматова* и за это сделал его министром.

И Мойер сказал мне однажды в Петербурге, что Уваров «ist ein Katzen-Schwanz, mann kann sich nicht auf ihn verlassen»[4], а про Ширинского сказал: «Das ist ein positiver Mann, er ist reel»[5].

Прошло еще два месяца, и я начал уже бомбардировать Мойера письмами, объявив ему, наконец, что решаюсь принять кафедру в Харькове, предложенную мне через *Арендта* попечителем гр. *Головкиным*.

Около этого времени (это было на масленице) разыгралась в Петербурге известная катастрофа с балаганом Лемана; я побежал в Обуховскую больницу, куда свезли до 150 обгорелых большею частию уже трупов. Из них сделали выставку в покойницкой и на дворе госпиталя для родственников погибших. Привезенные в больницу живыми были в страшном виде. Ни прежде, ни после мне не приходилось видеть у живых еще людей ожоги, достигшие такой степени разрушения. Некоторые, с совершенно обуглившейся от огня головою, жили еще по целым неделям. У некоторых вся голова, до самой шеи, представляла громадный кусок угля; от него можно было отнимать целые пласты обугленных

---

[1] По всем правилам искусства (лат.).

[2] Доброе (важное) дело требует времени [для осуществления] (нем.).

[3] П.А.Ширинский-Шихматов (1790–1853) – министр просвещения с 1850 г., будучи на этом посту, упразднил преподавание философии в университетах.

[4] Это кошачий хвост [он виляет], на него нельзя положиться (нем.).

[5] Это человек положительный, человек дела (нем.).

тканей, и странно было слышать голос и произносимые слова, выходившие из куска угля.

Между тем до меня доходили слухи, что выбор меня в совете был бурею в стакане воды.

Против меня восстали преимущественно теологи. Говорили, что дерптские богословы открыли какой-то закон первого основателя Дерптского университета, *Густава-Адольфа* шведского, по которому одни только протестанты могли быть профессорами университета.

Существовал ли такой закон или нет, Бог его знает; но при Николае Павловиче на него нельзя было ссылаться. Это понимали, вероятно, не хуже других и дерптские богословы.

Тем не менее, однако же, яблоко раздора было кинуто, и советские споры длились до конца февраля [1836 г.] Наконец, в марте я получил известие о моем избрании в экстраординарные профессоры.

Матушку и сестер я не решался перевезти из Москвы в Дерпт. Такой переход, мне казалось, был бы для них впоследствии неприятен. И язык, и нравы, и вся обстановка были слишком отличны, а мать и сестры слишком стары, а главное, слишком москвички, чтобы привыкнуть и освоиться.

Святую 1836 г. я уже встречал в Дерпте. Незадолго до моего прибытия прибыл туда и вновь назначенный из Петербурга попечитель, гвардейский генерал-майор *Крафтштрем*. Я предстал пред очами этого сына Марса и был им очень любезно принят. Он приветствовал меня как первого русского, избранного университетом в профессоры чисто научного предмета. До сих пор русские профессоры в Дерпте избираемы были только для одного русского языка, и то за неимением немцев, знакомых хорошо с русскою литературою.

На этом указании, что я первый из русских и что этот первый начнет служить во время попечительства его, *Крафтштрема*, все это и было предметом нашего разговора в течение добрых получаса. Не надо было более получаса, чтобы узнать, какого духа новый дерптский попечитель...

Очевидно, что фронтовик до мозга костей, *Крафтштрем* вообще как попечитель оказался не худым человеком; мог бы быть гораздо хуже, поступив с седла на попечительство.

Он был поэтому и предметом постоянных насмешек, в виде юмористических анекдотов, изобретавшихся на его счет студентами и отчасти и профессорами. Мировоззрение *Крафтштрема* было действительно невозможное. Наука в его воззрении была трех сортов: полезная до известной степени, вредная, если не унять, то, пожалуй, и очень вредная, и годная, и даже необходимая, для препровождения времени и для забавы людей со средствами.

Вот как однажды Крафтштрем отнесся, с глазу на глаз, об астрономии. Это было по дороге из Дерпта в Петербург; Крафтштрем ехал вместе с профессором русского языка *Росбергом*, к которому имел особое доверие в то время. Лунная, прекрасная ночь; Росберг смотрит на луну, припоминает виденное им чрез рефрактор в дерптской обсерватории и начинает объяснять Крафтштрему виденные им горы и пропасти на луне.

Слушал, слушал его Крафтштрем, да потом и говорит:

– Послушайте, любезный друг, неужели вы верите всем этим бредням?

– Как! – восклицает удивленный Росберг, – да ведь это все неоспоримые факты, дознанные наукою!

– Полноте, пожалуйста, – успокаивает Крафтштрем, – какие там факты, когда никто еще не бывал на небе, и никто поэтому ничего и знать не может.

Росберг, видя, что с научной стороны Крафтштрема не проймешь, начал с другого бока.

– Да как же это, ваше превосходительство, стал бы сам государь так заботиться о постройке Пулковской обсерватории и отпускать такие громадные суммы, если бы он не был уверен, что астрономы действительно сделали чрезвычайно важные открытия?

– Э, любезнейший! – заметил на это Крафтштрем, – разве вы не знаете, что у государей, как и у нас всех, есть свои забавы? У нас небольшие, по средствам, а у царей, конечно, не по-нашему, дорогие. Почему же и нашему царю не потешить себя громадною, дорого стоящею обсерваториею?

Обстановка моя в Дерпте продолжалась недолго и обошлась мне дешево. Рублей 200 за квартиру в 4 комнаты в год и по 10–12 рублей в месяц за стол. Можно было за стол платить и дороже, и я это делал, но за увеличенную плату увеличивалось только количество отпускаемой пищи, а не качество. Для прислуги явилась ко мне опять моя добрая латышка Лена, прослужившая мне целых 5 лет.

Вот я, наконец, профессор хирургии и теоретической, и оперативной, и клинической. Один, нет другого.

Это значило, что я один должен был: 1) держать клинику и поликлинику по малой мере 2½–3 часа в день; 2) читать полный курс теоретической хирургии – 1 час в день; 3) оперативную хирургию и упражнения на трупах – 1 час в день; 4) офтальмологию и глазную клинику – 1 час в день; итого – 6 часов в день.

Но 6 часов почти никогда не хватало; клиника и поликлиника брали гораздо более времени, и приходилось 8 час[ов] в день. Положив столько же часов на отдых, оставалось еще от суток 8 час[ов], и вот они-то, все эти 8 часов, и употреблялись на приготовления к лекциям, на эксперименты над животными, на анатомические исследования для задуманной мною монографии и, наконец, на небольшую хирургическую практику в городе.

В течение пяти лет моей профессуры в Дерпте я издал:

1) Хирургическую анатомию артериальных стволов и фасций (на латинском и немецком).

2) Два тома клинических анналов (на немецком).

3) Монографию о перерезании ахиллесова сухожилия (на немецком).

И сверх этого – целый ряд опытов над живыми животными, произведенных мною и под моим руководством, доставил материал для нескольких диссертаций, изданных во время моей профессуры, а именно:

1) О скручивании артерий.
2) О ранах кишок.
3) О пересаживании животных тканей в серозные полости.
4) О вхождении воздуха в венозную систему.
5) Об ушибах и ранах головы.

Диссертации на последние две темы при мне не были еще окончены.

Справедливость требует заметить, что все сказанное совершено не в 5 лет собственно, а в 4 года, потому что я целых 9 месяцев оставался (в 1837–1838 гг.) в Париже и потом в Москве и целых 3 месяца проболтался, так что не мог ничем серьезно заняться.

Итак, неоспоримо существуют доказательства моей научной деятельности с самого же начала вступления моего на учебно-практическое поприще.

Но другое дело – вопрос: был ли я тогда действительно тем, кем казался, или, вернее, кем должен был быть, то есть, был ли я настоящим, действительным, не кажущимся, профессором хирургии?

У нас, в России, кандидатами на кафедру бывают только два сорта ученых: во-первых, заслуженные профессоры, то есть большею частию старые или очень пожилые люди; во-вторых, молодые люди, только что окончившие курс наук. Людей, подготовлявшихся довольно продолжительное время к занятию кафедр, у нас или вовсе нет, или они так редки, что почти никогда не являются конкурентами на занятие кафедр.

О первом сорте кандидатов на кафедры нечего распространяться; из 10-ти случаев в 9-ти заслуженный профессор, остающийся на новое пятилетие, делает это вовсе не из любви и не из привязанности к науке, а для получения увеличенного вдвое оклада. Другой же сорт кандидатов, к которому принадлежал и я, грешный, при вступлении моем на кафедру хирургии в Дерпте поистине не соответствует, да и не может соответствовать, своему призванию.

Откуда могла взяться та опытность, которая необходима для клинического учителя хирургии? Правда, я за 4 года до вступления на кафедру перешел за хирургический Рубикон, сделав мои две первые операции в клинике *Мойера*: вылущение руки и перевязку бедренной артерии (в одно и то же время). Но ловко сделанная хирургическая операция еще не дает права на звание опытного клинициста, которым должен быть каждый профессор хирургии. Мало того, что молодой человек, как бы он даровит ни был, не может иметь достаточных знаний, ему еще труднее приобрести добросовестную опытность.

Молодость, и именно даровитая, еще более чем посредственная, заносчива, самолюбива, а еще чаще тщеславна.

Она, выступая на практическое поприще жизни, заботится всего более о своей репутации, и это естественно и даже похвально, но она заботится не так, как следует: не хлопочет приобрести имя и почет внутренними своими, настоящими достоинствами, а только внешним образом, лишь бы хвалили и удивлялись, а за что – это не главное.

Вот этот зуд похвалы и тщеславия и портит все в молодости.

Служение науке, вообще всякой, не иное что, как служение истине.

Но в науках прикладных служить истине не так легко.

Тут доступ к правде затруднен [для нас] не одними только научными препятствиями, то есть такими, которые могут быть и удалены с помощью науки. Нет, в прикладной науке сверх этих препятствий, человеческие страсти, предрассудки и слабости с разных сторон влияют на доступ к истине и делают ее нередко и вовсе недоступною.

Бороться за истину с предрассудками, страстями и слабостями людей невозможно. Можно только лавировать; но не менее трудно бороться и с собственными страстями и слабостями, если мы в юности, с самого детства, не развили в себе способности владеть собою, а владеть собою иначе нельзя, как чрез познание самого себя.

Итак, для учителя такой прикладной науки, как медицина, имеющей дело прямо со всеми атрибутами человеческой натуры (как своего собственного, так и другого, чужого «я»), – для учителя, говорю, такой науки необходима, кроме научных сведений и опытности, еще добросовестность, приобретаемая только трудным искусством самосознания, самообладания и знания человеческой натуры.

Дело ли это молодости? «Chirurgus debet esse adolescens»[1], по словам Цельса.

Конечно, старость, притупляющая чувства, делает хирурга неспособным.

И ничто не препятствует молодым людям быть хирургами, но не учителями хирургии. Это не одно и то же, и напрасно думать, что всякий ловкий и искусный хирург может быть и хорошим наставником хирургии.

Есть время для любви;
Для мудрости – другое.

Как самоед я не мог не видеть и не чувствовать, как много мне недостает знания, опытности и самообладания, чтобы быть настоящим наставником хирургии. Я не был так недобросовестлив, чтобы не понимать, какую громадную ответственность пред обществом и пред самим собою (Бога и Христа у меня тогда не было) [принимает на себя] тот, кто, получив с дипломом врача некоторое право на жизнь и смерть другого, получает еще и обязанность передавать это право другим.

Но молодость легко устраняет нравственные затруднения и мирит противоречия в себе.

Я сознавал свои недостатки, но не мог их сознавать так, как теперь, когда я пережил их и все их следствия.

Да и теперь, анализируя, я сознаюсь, как трудно решить, что было в том или другом случае главным мотивом моих действий: суетность или истинное желание помочь и облегчить страдание.

Ах, как это трудно решить для человека, преданного своему искусству всею душою, когда вся цель этого искусства состоит в лечении и облегчении людских страданий!

[1] Хирургом должен быть молодой [человек] (лат.).

Как ни мало вероятен успех операции, как ни опасно для жизни ее производство, если оно вас интересует как искусство, вы уже не можете совершенно беспристрастно взвесить шансы и определить, что вероятнее в данном случае: успех или гибель.

И чем моложе, чем ревностнее деятель, чем более привержен он к своему искусству, тем легче он упускает из виду цель искусства и тем более расположен действовать искусством для одного искусства.

Да, да «ne nocerem veritus»[1] *Галлера*, запрещавшее ему, опытнейшему анатому и физиологу, делать операции на живых людях, – это есть выражение воочию нравственного чувства.

Каждый хирург должен бы был со своим «ne nocerem veritus» приступать к операции.

Но это значило бы подчинить интерес науки и искусства всецело высшему нравственному чувству.

Да, так должно бы быть; но тут являются другие соображения, делающие невозможным решение вопроса: как поступить в сомнительном случае; а таких случаев не десятки, а сотни.

Старикашка *Рюль*[2] был прав, когда он требовал от госпитальных хирургов, чтобы они не иначе предпринимали операции, как с согласия больных. Он раздосадовал меня однажды, явившись в Обуховскую больницу в тот самый момент, когда я приступал к операции аневризмы, и спросил больного, желает ли он операции.

– Нет, – отвечал он.

– В таком случае, – решил Рюль, – нельзя оперировать против желания.

Все мы, молодые врачи, смеялись над пуританством Рюля, называли его козодоем, caprimulgus[3] europensis, на которого он был действительно похож, hosentrompetr'ом[4]; говорили также про него, что он приобрел себе почет в петербургском медицинском мире только тем, что умел ловко ставить промывательные высоким особам; все это говорилось и болталось только потому, что отживший старик осмеливается вмешиваться в дела науки и искусства и вредить научным интересам.

– Так, – говорили, – дойдет, пожалуй, до того, что у больных в госпиталях надо будет испрашивать согласия на кровопускание, ставление банок и мушек.

Но все понимали, однако же, что никто бы из нас не захотел, чтобы его без спроса подвергли какой-либо опасной процедуре, хотя бы и с целью спасти жизнь. А с другой стороны, разве кто-нибудь был бы в претензии за то, что спасли ему жизнь без его спроса, подвергнув его опасной процедуре?

Я предвижу, что больной непременно, не нынче – завтра, изойдет

---

[1] Да не поврежу сознательно (лат.).

[2] И.Рюль (1764–1846) – медицинский инспектор петербургских больниц, в которых Пирогов работал после переезда в Петербург.

[3] Европейский козодой (лат.).

[4] Трубач в штанах (лат.).

от кровотечения из аневризмы, подвергаю его, не спрося его согласия, операции и спасаю.

Так я и рассуждал, приступая к операции, отмененной Рюлем за то, что не спросил сначала согласия больного.

Кто прав, кто виноват?

В таких случаях только голос собственной совести может решить вопрос для каждого, и, конечно, для каждого решить по-своему.

Рюль был несомненно прав, ибо действовал несомненно по глубокому убеждению в том, что никто, больше самого больного, не имеет права на его здоровье.

Я, может быть, также прав был. *Может быть*, говорю, потому что не знаю теперь, был ли я тогда убежден в неминуемой опасности для больного потерять жизнь от кровотечения, и притом был ли я убежден, что опасность для жизни больного от кровотечения из аневризмы превышает опасность от операции.

Да, собственная совесть, другого средства нет, должна решать для истинно честного хирурга вопрос об операции, когда опасность, с ней соединенная, для жизни кажется ему столько же значительною, как и опасность от болезни, против которой назначена операция. Но хирург в этом случае не всегда может полагаться и на собственную совесть.

Научные, не имеющие ничего общего с нравственностью, занятия, пристрастие и любовь к своему искусству действуют и на совесть, склоняя ее так сказать, на свою сторону. И совесть в таком случае, решая вопрос о степени опасности, становится на сторону научного предубеждения. Совесть играет тут роль судьи или присяжного, основывающего свое суждение на мнении эксперта, а эксперт тут – научные сведения того же самого лица, совесть которого призвана быть судьею. Тут предубеждению дорога открыта с разных сторон.

С одной стороны, предубеждение легко проникнет в запас сведений; с другой стороны, чрез это и самая совесть легко предубеждается.

Современная наука нашла, как будто, более надежное средство против предубеждений в практической медицине – это медицинская статистика, основанная на цифре. И совести хирурга как будто сделалось легче решать без предубеждений.

Вот болезнь; от нее умирают, по статистике, 60 проц[ентов]; вот операция, уничтожающая болезнь; от нее умирают только 50 проц[ентов].

Совести не трудно, значит, решить *по совести*, что опаснее: болезнь, предоставленная самой себе, или операция.

Но вот загвоздка.

Во-первых, эта статистика не есть еще нечто вполне определенное и не подлежащее ни сомнению, ни колебанию; а во-вторых, почем же я буду знать, что в данном случае мой больной принадлежит именно к числу 60, умирающих из 100, а не к числу 40, остающихся в живых? И кто мне сказал, что в случае операции мой больной будет относиться к числу 50 проц[ентов] выздоравливающих, а не к 50 [процентам] умирающих?

В конце концов, нетрудно убедиться, что и эта, по-видимому, такая верная, цифра только тогда будет иметь важное практическое значение, когда ей на помощь явится индивидуализирование – новая, еще не початая отрасль знания.

Когда изучение человеческих особей настолько подвинется вперед, что каждую особь можно по надежным признакам отнести к той или другой резко обозначенной категории, а свойства каждой категории противостоять внешним и органическим (внутренним) влияниям будут известны, тогда и статистика с ее цифровыми данными получит иное значение.

Мог ли же я, молодой, малоопытный человек, быть настоящим наставником хирургии?!

Конечно, нет, и я чувствовал это.

Но раз поставленный судьбою на это поприще, что я мог сделать?

Отказаться? Да для этого я был слишком молод, слишком самолюбив и слишком самонадеян.

Я избрал другое средство, чтобы приблизиться, сколько можно, к тому идеалу, который я составил себе об обязанностях профессора хирургии.

В бытность мою за границей я достаточно убедился, что научная истина далеко не есть главная цель знаменитых клиницистов и хирургов.

Я убедился достаточно, что нередко принимались меры в знаменитых клинических заведениях не для открытия, а для затемнения научной истины.

Было везде заметно старание продать товар лицом. И это было еще ничего. Но с тем вместе товар худой и недоброкачественный продавался за хороший, и кому? Молодежи – неопытной, незнакомой с делом, но инстинктивно ищущей научной правды.

Видев все это, я положил себе за правило при первом моем вступлении на кафедру ничего не скрывать от моих учеников, и если не сейчас же, то потом и немедля открывать пред ними сделанную мною ошибку, будет ли она в диагнозе или в лечении болезни.

В этом духе я и написал мои клинические анналы, с изданием которых я нарочно спешил, чтобы не дать повода моим ученикам упрекать меня в намерении выиграть время для скрытия правды.

Описав в подробности все мои промахи и ошибки, сделанные при постели больных, я не щадил себя и, конечно, не предполагал, что найдутся охотники воспользоваться моим положением и в критическом разборе выставить снова на вид выставленные уже мною грехи мои. Охотники, однако же, нашлись. Мой хороший петербургский приятель, д-р *Задлер*, написал огромную критическую статью в одном немецком журнале.

В этой большой статье нашлось для меня одно полезное замечание – это русская пословица, приведенная *Задлером* в конце его критики: «терпи, казак, атаманом будешь».

Старик *Хелиус* в 1862 году напоминал мне об этой пословице, переведенной *Задлером* для немцев так: «geduld, Kosak, wirst Ataman werden».

Чрез год, вскоре после выхода первых выпусков моей «Хирургической анатомии», я был уже избран в ординарные профессоры.

Для издания этого труда мне нужны были: издатель-книгопродавец, художник-рисовальщик с натуры и хороший литограф.

Не легко было тотчас же найти в Дерпте трех таких лиц.

К счастью, как нарочно к тому времени, явился в Дерпт весьма предприимчивый (даже слишком, и после обанкротившийся) книгопродавец *Клуге*. Ему, конечно, безденежно, я передал все право издания, с тем лишь, чтобы рисунки были именно такими, какие я желал иметь. Художник-рисовальщик – этот рисовальщик был тот же г. *Шлатер*, которого некогда я отыскал случайно для рисунков моей диссертации на золотую медаль. Это был не гений, но трудолюбивый, добросовестный рисовальщик с натуры. Он же, самоучкою, работая без устали и с самоотвержением, сделался и очень порядочным литографом. А для того времени это была не шутка. Тогда литографов и в Петербурге был только один, и то незавидный. Первые опыты литографского искусства Шлатера и были рисунки моей «Хирургической анатомии». Они удались вполне.

С попечителем Крафтштремом, вначале ко мне весьма благоволившим, я не долго жил в ладу, впрочем, не по моей вине.

То было время дуэлей в Дерпте. Периодические дуэли то усиливались (и едва ли не тогда, когда их преследовали), то уменьшались.

Крафтштрему и ректору дуэли, разумеется, были не по сердцу, особливо случившиеся вскоре одна после другой: одна – мнимая, другая – действительная.

Русский студент, сорвиголова, *Хитрово* безнадежно вляпался в одну приезжую замужнюю женщину. Желая всеми силами обратить на себя внимание этой дамы, Хитрово придумал такую штуку: увидев предмет своей любви на одном концерте, он бросился стремглав к ректору с донесением, что убил одного студента на дуэли в лесу и предает себя произвольно в руки правосудия.

Ректор отправил Хитрово в карцер, а сам с фонарями, педелями и полицией отправился в лес отыскивать труп убитого.

Проискали целую ночь, и ничего не нашли.

На другой же день оказалось, что вся эта история – выдумка взбалмошного влюбленного.

Другая же, действительная, даже наделала много хлопот Крафтштрему.

Нашли действительно убитого студента в лесу и, несомненно, убитого на пистолетной дуэли. Разыскивали немало, но все оставалось шитым и крытым.

В это самое время ехал чрез Дерпт за границу государь Николай Павлович. Можно себе представить, как струсил Крафтштрем! Он явился с докладом к государю на почтовую станцию; государь не выходил из кареты, и когда Крафтштрем донес ему о случившемся, то государь прямо объявил ему: «Ну, что же; так разгони факультет».

Вот тебе раз! Что тут поделаешь? Разгони факультет! Да какой, – их целых четыре, – и как его разгонишь?

Вот в это-то тревожное время и случилась еще одна дуэль на студенческих геберах.

Рана была грудная и опасная. Меня позвали на третий день, когда уже развилось сильное воспаление плевры. Я дня два посещал раненого, вскоре затем отдавшего Богу душу.

Меня призывают к Крафтштрему.

– Вы лечили раненого на дуэли? – спрашивает он меня.

– Я.

– Вы знали, что он был ранен на дуэли?

– Я мог бы вам ответить, что не знал, так как никто мне не докажет, что я знал; но я не хочу вам лгать и потому говорю: знал.

– А когда знали, то почему не донесли по закону? Вы будете отвечать... Назначается суд, не университетский, не домашний, а уголовный. Затем, прощайте! – прибавил он.

Суд действительно начался, и меня притянули к нему.

На суде я сказал то же самое, что мне никто не докажет, что я знал о дуэли, но я сознаюсь, что знал; а не донес потому, что, во-первых, твердо был уверен в существовании доноса о дуэли и помимо меня; а во-вторых, считал для раненого вредным судебное дознание, неизбежное, если бы я донес при жизни больного, находившегося в опасности; по смерти же я действительно доносил по начальству о приключившейся от грудной раны смерти вследствие воспаления в плевре.

Итак, эта дуэль расстроила меня с Крафтштремом. Я перестал посещать его. Встречаясь на улице, мы не кланялись друг другу. Я получил через совет выговор от министра.

Натянутые мои отношения к попечителю продолжались несколько месяцев.

Появление на свет 1-й части моих клинических анналов доставило мне, почти в одно и то же время, приятность и выгоду. Приятны, чрезвычайно приятны были для меня привет и дружеское пожатие руки профессора *Энгельгардта*.

Энгельгардт (профессор минералогии), цензор и ревностный пиетист, неожиданно является ко мне, вынимает из кармана один лист моих анналов, читает вслух, взволнованным голосом и со слезами на глазах, мое откровенное признание в грубейшей ошибке диагноза, в одном случае причинившей смерть больному; а за признанием следовал упрек своему тщеславию и самомнению. Прочитав, Энгельгардт жмет мою руку, обнимает меня и, растроганный донельзя, уходит.

Этой сцены я никогда не забуду; она была слишком отрадна для меня.

Выгода, доставленная мне анналами, получена с другой, почти противоположной, стороны.

В то время, когда я писал свои анналы, в Дерпте был распространен сифилис в значительных размерах между студентами и бюргерскою молодежью.

Полицейских санитарных мер не существовало. Я в статье о сифилисе настаивал на безотлагательном введении этих мер, говоря, что если нельзя предохранить слабых детей от падения, то надо, по крайней мере, сделать падение это как можно менее вредным.

Пошли толки, и я услышал, что Крафтштрем читал эту статью некоторым из влиятельных городских людей, причем хвалил меня за правду и нелицемерие.

Это случилось именно в то время, когда я намеревался воспользоваться университетскою суммою, назначенною для ученых экспедиций, – поехать в Париж для осмотра госпиталей. Это дело должно было идти через попечителя. Я и отправился к нему, обнадеженный слухами о расположении его ко мне.

Прием был действительно очень радушный; Крафтштрем обещал мне полное содействие в министерстве.

В январе 1837 г. я и отправился в Париж, получив пособие от университета на путевые издержки.

Тринадцать дней и ночей я ехал, не отдыхая ни разу, из Дерпта до Парижа на Поланген, Франкфурт-на-Майне, Саарбрюкен и Мец. И, несмотря на 13 ночей, проведенных в экипаже, я по приезде в Париж тотчас же отправился осматривать город.

Париж не сделал на меня особенно благоприятного впечатления в хирургическом отношении. Госпитали смотрели угрюмо; смертность в госпиталях была значительная.

Самое приятное впечатление произвел на меня из всех парижских хирургов *Вельпо*. Может быть, нравился он мне и потому, что на первых же порах сильно пощекотал мое авторское самолюбие. Когда я пришел к нему в первый раз, то застал его читающим два первых выпуска моей «Хирургической анатомии артерий и фасций». Когда я ему рекомендовался глухо: «Je suis un médecin russe»[1], то он тотчас же спросил меня, не знаком ли я le professeur de Dorpat, m-r Pirogoff, и когда я ему объявил, что я сам и есть *Пирогов*, то Вельпо принялся расхваливать мое направление в хирургии, мои исследования фасций, рисунки и т.д., и тогда же познакомил меня с английским специалистом в науке о фасциях и, по мнению Вельпо, весьма компетентным в этом деле. Это был некто *Томсон*, участвовавший в заговорах чартистов и бежавший из Англии в Париж.

Действительно, весьма дельный анатом, он называл себя по своей специальности «fascia Tom», но чудак преоригинальнейший. Всю жизнь свою в Париже он посвятил двум специальностям: исследованию фасций с изготовлением превосходных препаратов и преследованию профессоров. Для этой последней цели он предпринял публикование разных брошюр, выходивших почти ежедневно в свет с литографского станка. Брошюры были составляемы самим *Томсоном* и некоторыми весельчаками-студентами и разносились ими же самими по знакомым.

Мне он надавал их целую груду, одну забористей другой: «L'art d'engraisser les professeurs», «Soi pour soi et chacun pour soi» etc., etc[2]. В каждой из них было собрание скандалов, случившихся с профессора-

[1] Я русский врач (франц.).

[2] Искусство откармливать профессоров. Сам за себя и каждый за себя и т.д., и т.д. (франц.).

ми. Тут фигурировали особенно Бретгардт, анатом Бреше, молодой Шассеньяк, получивший однажды пощечину от Томсона и судившийся с ним в police correctionelle[1].

После Вельпо несколько молодых хирургов (учеников Дюпюитрена) могли считаться настоящими представителями современной хирургии: Бланден – Hôtel Dieu, Жобер – Hôpital St. Louis, Robert[2]. Специалисты по литотрипсии – Амюсса, Сивиаль и Леруа d'Etoile – составляли истинную славу тогдашней французской хирургии (Heureteloup фигурировал в то время в Лондоне). Амюсса пригласил меня на свои домашние хирургические беседы. Они были весьма интересны, но на французский лад, как все курсы в Париже: привлекательны, но фразисты и нередко пустопорожни.

Услыхав на этих беседах, куда приглашались Амюсса все приезжавшие в Париж иностранные врачи (между прочими Астл[ей] Купер, Диффенбах), что Амюсса все еще поддерживает свое ложное мнение о совершенно прямом направлении мочевого канала (у мужчин), я заявил ему о результате моего исследования направления мочевого канала на замороженных трупах, совершенно противоречащих мнению его; и когда он голословно отверг результаты моих исследований, то я предложил ему состязание на следующей лекции, для которой я взялся и изготовить препараты, которые должны доказать справедливость моего убеждения. Я и притащил на следующую лекцию разрезы таза, которыми я доказывал Амюсса нелепость его воззрений на отношение мочевого канала к предстательной железе.

Конечно, Амюсса, несмотря на всю наглядность моих доказательств, не соглашался. Люди, а особливо ученые и еще особливее тщеславные французы, с предвзятым мнением никогда не сознаются в ошибках и заблуждениях. Но для меня довольно было и того, что я видел, как нов был для Амюсса мой способ исследования. Я доволен был еще и тем, что остальная часть присутствовавших на этом состязании молодых врачей не была на стороне Амюсса.

Не отрадное впечатление произвели на меня и две другие хирургические знаменитости – *Ру* и *Лисфранк*.

Лисфранк как профессор был в полном смысле французский нахал и благер-крикун, рослый, плечистый, одаренный голосом таким, который можно слышать за версту. *Лисфранк* тем только и привлекал на свои клинические лекции, что кричал во все горло, в самых грубых выражениях, против всех своих товарищей по ремеслу.

– Ces per-r-roquets de la médecine, – раздавалось беспрестанно в его аудитории, когда он говорил не о себе, а о других. – «Ce brigand du bord de l'eau» – это было прозвание, данное им некогда Дюпюитрену. – «Ce chirurgien menuisier» – это был Ру; Velpeau назывался на языке *Лисфранка* «vilpeau»[3] и т.п.

---

[1] В суде исправительной полиции (франц.).
[2] Названия больниц в Париже.
[3] Эти попугаи медицины; этот береговой разбойник; этот хирург-столяр; подлая шкура (франц.).

Несмотря на все это, Лисфранк был действительно замечательный хирург и клиницист своего времени, хотя и скрывавший зачастую свои промахи и ошибки.

Что касается до Ру, данное ему Лисфранком прозвище «столяра» было, надо сознаться, весьма метко. Огромная, полувековая опытность не сообщала знаменитому оператору никакого строго научного авторитета.

Гораздо выше стояла в то время научная деятельность французских диагностов и клиницистов по внутренним болезням: *Андраль*, *Луи*, *Шомель*, *Русте*, *Крювелье* и даже увлекавшийся до крайности *Бульо* – были истинными представителями научной медицины того времени.

Все privatissima, взятые мною у парижских специалистов, не стоили выеденного яйца, и я понапрасну только потерял мои луидоры.

Лица, дававшие privatissima, большею частию agrégés[1] не имели никакого права на доставление своим слушателям разных демонстративных пособий – трупов, препаратов, клинических случаев, и все лекции их заключались в одном говореньи или нелепых упражнениях на каком-нибудь импровизированном фантоме, как, например, у *литотритера* Labut на сухом бычачьем пузыре со вложенным в него куском мела; а один из этих господ (m-r Beaux) ухитрился читать мне свое privatissimum о стетоскопии у себя на квартире пред пылающим камином. Я не докончил слушания ни одного privatissimum и не имел терпения выдержать более половины назначенного числа лекций.

Мои занятия в Париже состояли исключительно в посещении госпиталей, анатомического театра и бойни для вивисекций над больными животными (лошадьми).

Это был единственный privatissimum Амюсса с демонстрациями на живых животных. Но сам Амюсса редко являлся на живодерню. И вот, чтобы воспользоваться редким у нас случаем вивисекции на больных животных, я и несколько молодых американских врачей устроили между собою маленькое общество, с тем, чтобы производить вивисекции в живодерне на общий счет.

Тут я имел случай в первый раз в жизни присмотреться к разным, для нас неведомым и чуждым, свойствам американцев.

Едем мы, например, вместе на живодерню мимо какой-нибудь мясной лавки. «Стой!» – кричат извозчику американцы, и выскакивают смотреть на сегодняшнюю таксу на мясо, начинают торговаться, спорить с мясником. Приехали мы на бойню, начинается спор из-за таксы с извозчиком, и мне никак не позволялось уплатить что-нибудь лишнее, лишь бы отделаться поскорее от извозчика.

А вот однажды так и со мной заводит историю один американец из-за кровавого пятна, которое я нечаянно сделал на рукаве его байкового пиджака. Едва я мог укротить взбешенного моею неосторожностью янки, клянясь ему, что не имел ни малейшего намерения его оскорбить или причинить ему изъян и готов тотчас же вознаградить его за причи-

[1] Адъюнкт-профессора (франц.).

ненный ему убыток, так называл я кровавое пятно на рукаве поношенного темно-бурого байкового пиджака.

Кроме Парижа, я делал несколько раз экскурсии из Дерпта в Москву (три раза), Ригу и Ревель.

Побывав в Москве, я имел случай сравнить мое дерптское житье-бытье с житьем в Москве старых товарищей.

Разумеется, всего более интересовала меня жизнь моего прежнего товарища по хирургии, Иноземцева, тем более что ему суждено было занять назначенное для меня место. Оказалось, что *Иноземцев* пошел в гору по практике и делался одним из первых врачей-практиков Белокаменной. Рассказывали потом, что он учредил у себя на Никитской (где он жил) товарищество из молодых врачей, разделявших с ним практику в городе; а по случаю этого товарищества сказывали, как относилась к нему публика Гостиного Двора и Охотного ряда. Один гостинодворец, повествовали мне, страдавший весьма упорною язвою на ноге, обратился в клинику профессора *Овера*, который и отнесся с вопросом к больному, где он до сих пор и как лечился, на что и получил весьма характерный ответ: «Да были у меня раз несколько молодцов с Никитской, а потом и хозяин сам был».

Иноземцев не был научно-рациональный врач в современном значении, хотя он и толковал постоянно о рационализме, мыслящих врачах и т.п.

Но Иноземцев от природы был хороший практик, имел такт, сноровку и смекалку. Иноземцев был терапевтический диагност; я после когда-нибудь скажу, что под этим названием разумею я.

Особливо один, действительно замечательный случай возвысил Иноземцева в медицинском практическом мире. Это было всем известное лицо, прошедшее через руки всех петербургских и большей части московских врачей. Больной страдал кровавою рвотою с болями под ложечкою и слабостью.

Профессор Буш и другие врачи в Петербурге считали болезнь за рак желудка. *Иноземцев* узнал из тщательного анамнеза, что больной страдал прежде болями и припухлостью большого пальца ноги, принял болезнь за arthritis[1], поставил мушку на большой палец ноги, прежде болевший, и хроническая рвота прекратилась; больной выздоровел.

Второй случай, доказавший способность Иноземцева находить правильные показания к употреблению того или другого способа лечения, встретился у него в клинике и описан был в некоторых журналах.

Это был громадный медуллярный сарком глаза, постепенно атрофировавшийся при употреблении амигдалина (внутрь) в течение нескольких месяцев. Гипсовый слепок с этого больного я видел при посещении мною клиники Иноземцева.

В первое время своей профессуры в Москве Иноземцев не был счастлив. Спустя два года после занятия этой кафедры Иноземцев проезжал за границу через Петербург, где мы и встретились; он до такой сте-

[1] Артрит – воспаление сустава.

пени показался мне тогда жалким и убитым, что я искренно пожалел о нем, хотя в глубине души невольно думалось: «Вот, ништо тебе, это за то, что отбил место и пошел не на свое!»

Право, мне казалось тогда, что Иноземцев был не в своем уме, – до того странны были его рассказы о причиняемых ему каверзах; оперированные у него умирали в клинике оттого, что ассистенты нарочно портили раны и отравляли больных, и т.п. Потом вся эта мономания прошла бесследно, но он остался таким, каким и прежде был, – фанатиком разных предположений, и этот-то фанатизм он и считал медицинским рационализмом. Этот фанатический рационализм и заставил Иноземцева быть периодическим приверженцем различнейших способов лечения. Одно время он восторженно превозносил lapis haemostriticus против всех возможных кровотечений; а другое время – amygdalin делался панацеею против раков; а во время холеры нашлись капли, известные и до сих пор под именем «Иноземцевских», которыми он, по его мнению, спасал всех больных от холеры, если только успевал вовремя захватить болезнь.

Этими знаменитыми каплями снабдил он и меня при нашем последнем свидании в Москве в 1854 году.

Я заехал тогда к Иноземцеву проездом через Москву в Севастополь; обедал у него, после обеда почувствовал схватки в животе, вследствие чего и получил на дорогу драгоценную панацею с наставлением, как ее употреблять против холеры. Иноземцева с тех пор я не видал уже более ни разу, а бутылку с его каплями привез нетронутою из-под стен Севастополя.

Однажды, в бытность мою в Москве, товарищи посоветовали мне сделать визит попечителю *Строганову*, уверив меня, что это будет ему очень приятно. Я решился; но Строганов принял меня, профессора другого университета, так, как будто он стоял предо мною на высоте трона, – стоя, не пригласив сесть, за что я и сам стал на дыбы, отвечал отрывисто, прекратил разговор почти на середине, раскланялся и ушел.

Наш дерптский Крафтштрем, хотя и неотесанный фронтовик, не приучил нас к такому приему.

О моих ежегодных экскурсиях в вакационное время в Ригу и Ревель я должен упомянуть, что они оставили у меня много разного рода воспоминаний. Один из моих приятелей называл эти экспедиции, по множеству проливавшейся в них крови, чингисханскими нашествиями. Но оставшиеся у меня воспоминания вовсе не кровавые, – кровавые помещались в хирургических анналах, – а тихие и приятные.

Впрочем, поездка в Ригу могла бы сделаться памятною на целую жизнь; но тихою ли и приятною, это одному Богу известно.

Дело в том, что в Риге, в 1837 г., я чуть было не сделал предложения одной девушке, вовсе еще не расположенный так рано жениться. Тотчас по приезде в Ригу я познакомился с семейством главного доктора военного госпиталя (родом серба). Семейство его состояло из жены доктора, очень умной и образованной немки, и трех дочерей.

Однажды, подгуляв за обедом, данном мне рижскими врачами, мы с главным доктором отправились к нему в госпиталь; расположенный

после шампанского к болтовне, я вдруг задаю моему спутнику вопрос: как он думает, хорошо ли я поступлю, сделав предложение одной мне знакомой и ему известной барышне?

Конечно, он не мог не заметить, о ком шла речь. Но отвечал весьма уклончиво, в таком роде, что, мол, так чрез год, когда вы опять сюда приедете, будет удобнее.

Я прикусил язык и тотчас же переменил разговор.

С той минуты не было и помину о предложении.

На другой год, проезжая через Ригу в Париж, я сделал визит этому семейству, и отец, старый доктор, заметно употреблял разные маневры, чтобы снова возбудить во мне охоту сделать предложение. Но было поздно; я притворился, что ничего не замечаю, отобедав, распростился и уехал. Бог знает, кто из нас двоих был глупее: отец невесты или я.

Мои летние экспедиции в Ревель продолжались и тогда, когда я переехал из Дерпта в Петербург. Я любил Ревель; в нем и после Дерпта, и после Петербурга я отдыхал и телом, и душою.

Я целых 30 лет, не пропуская почти ни одного года, купался в море (прежде в Балтийском, потом в Черном и, наконец, в Средиземном) и чувствовал себя всегда укрепленным и поздоровевшим после купаний; только в Сорренто, около Неаполя, морские купания подействовали на меня неладно и взволновали мой кишечный катар, может быть, и оттого, что они были соединены с непривычным режимом (горячительным вином, пищею на прованском масле с разными итальянскими приправами).

Но, кроме купаний, Ревель оставил во мне приятные воспоминания на целую жизнь тем, что я проводил в нем время и как жених с невестою при первой женитьбе, и с молодою женою и детьми после моего второго брака.

В Ревеле жило семейство моего хорошего приятеля по университету, д-ра *Эренбуша*. Мы проводили приятно время вместе в его загородном доме (в Екатеринентале); в Ревеле знакомился я ежегодно с интересными личностями, приезжавшими из Петербурга.

Так, однажды я познакомился в Ревеле с графиней Растопчиною (поэтом), и у нее же узнал князя Вяземского и Толстого (Американца).

Эго был весьма замечательный год наплывом разных знаменитостей из Петербурга, между прочими одного богача-откупщика, страшно безобразного, с каким-то жирным, лоснящимся, отвратительным лицом, и г-на Ш..., директора или инспектора одного из военных учебных заведений и любимца Ростовцева, также приезжавшего в тот год в Ревель.

Растопчина весьма изумила меня своею привычкою жевать бумагу. Перед нею на столе ставилась всегда коробка с длинными полосками тонкой почтовой бумаги, и графиня, никем и ничем не стесняясь, постоянно несла одну бумажку в рот вслед за другою. Мы разговорились за столом об этой оригинальной страсти жевать бумагу, и каждый стал предлагать средства против этой страсти.

– Я вам скажу самое верное, – заметил Толстой, – попросите откупщика NN, чтобы он вашею бумагою вытер себе лицо, и я уверен, что тотчас же отвыкнете жевать ее.

Ш... с откупщиком не ладили; после объяснилась причина: и Ш..., и откупщик были очень уродливы. И тот, и другой, взятые вместе, составили бы одного порядочного Квазимоду. Но Ш... – урод на ноги, с коленами внутрь под углом в 45° и большою плешивою головою.

Уроженец Кавказа, Ш... усвоил себе там нежное обращение с мальчиками, и потому не любил женского пола. Откупщик, напротив, как телец упитанный, живущий себе всласть, постоянно болтал о женском поле и позволял себе всякого рода сальности. Ему не могло не казаться странным это отвращение от женщин, и он, верно, догадывался о причине. С другой стороны, и Ш... была не по нутру догадливость откупщика.

Мог ли я, находясь ежедневно в обществе этих двух господ и проводя с Ш... целые часы в прогулках, подозревать, что этот умный, талантливый и весьма образованный урод чрез несколько месяцев будет уличен в самом безнравственном уголовном преступлении!

Любимец Ростовцева, любимец вел[икого] кн[язя] Михаила Павловича, Ш... в одно прекрасное утро попался en flagrant délit[1] и был уличен своими питомцами в половых сношениях с ними, систематически им организованных. Итак, родители будущих сынов Марса узнали в одно прекрасное утро, что архипедагог учебных заведений, фаворит великих мира сего, посвящал в течение многих лет целые поколения своих питомцев в мистерии греческой любви.

И как обворожителен, остроумен, любезен он был в обществе – только не дам; о чем вам угодно, о всех возвышенных предметах говорил умно, отчетливо и горячо этот замечательный рахитик. У Ш.., кроме искривления колен, и голова, и позвоночный столб носили на себе явные следы английской болезни.

Дело Ш..., наделавшее столь много шума, вскоре замолкло.

При Николае Павловиче не любили долго распространяться о скандалах с участием лиц от правительства. Я долго после этой истории вспоминал загадочные цинические усмешки и подмигивания откупщика при взгляде на Ш..., так злившие его в Ревеле.

Говоря о моих знакомствах в Ревеле, я забегаю вперед и кстати уже говорю и о тех, которые я делал потом, приезжая в Ревель из Петербурга. К таким я отношу одно интересное знакомство с семейством *Моллера* и *Глазенапа*.

Федор *Моллер*[2] (сын бывшего морского министра), сначала военный (адъютант Паскевича), потом художник (живописец), замечателен был для меня тем, что правая [рука], владевшая так прекрасно кистью, была поражена давно костяным наростом (osteide), занявшим все запястье и всю пясть этой руки. Сверх этого, Моллер, впрочем крепкий на вид, здоровый и красивый мужчина, приехав из Италии на север, схватил сильную невралгию седалищного нерва (ischias); я помог ему холодными душами, после того как он перепробовал без пользы множество других средств.

---

[1] На месте преступления (франц.).

[2] Ф.А.Моллер (1812–1875) – исторический живописец и портретист.

При этом-то случае я познакомился и с сестрою Моллера, Эмилиею Амосовною *Глазенап*. В этот год скончался старик *Моллер*, министр, и Эмилия Амосовна, очень любившая отца, впала в нервно-истерическое состояние, заставлявшее ее поминутно, без всякой видимой причины, плакать; сверх этого, это была особа от роду необыкновенно впечатлительная и притом увлекающаяся донельзя и рассеянная. Примеры ее увлечений и рассеянности встречались на каждом шагу. То вдруг, при самом обыкновенном разговоре, она вскакивала и вскрикивала: «Нет, нет, c'est impossible, c'est plus qu'impossible»[1], то восхищалась также неожиданно каким-нибудь выражением.

Э.А.Глазенап страстно любила музыку, сама играла и пела, но в пение она вкладывала, увлекаясь, столько чувства, что искусство ее казалось для постороннего человека чем-то напускным, неестественным, пересоленным.

Так во всем. Брат ее мне рассказывал, что Эмилия Амосовна однажды, на большом домашнем концерте, стоя за стулом пианиста, до того увлеклась гармониею, что, забывшись, начала пальцами водить по голове артиста, потом зацепилась чем-то за длинные его волосы и, к ужасу всех присутствующих, обнажила его плешивую голову. Приподнятый с головы парик висел на крючке платья Эмилии Амосовны.

Прибыв вместе с больным еще братом в Ревель, Эмилия Амосовна хотела полечить и себя от несносной истерической тоски; муж, капитан-лейтенант Богдан Александрович *Глазенап*, был где-то при флоте за границею. Я ей посоветовал морские купания и как можно более движения на чистом воздухе. А между приезжими я считался знатоком по части ревельских прогулок, и действительно я исходил пешком все ближние окрестности и знал все хотя сколько-нибудь живописные места. Таким образом мы и составляли ежедневно trio (Э.А.Глазенап, Федор Моллер и я) для прогулок за городом. К нам присоединялся иногда и доктор *Н.Ф.Здекауер*.

Прогулки приносили очевидную пользу: истерические припадки и грустное настроение духа прошли; а между тем ревельские и петербургские сплетники и сплетницы посмеивались над нашими прогулками, называя их в насмешку «ботаническими экскурсиями доктора Пирогова и m-me Глазенап». Это глупое хихиканье дошло и до двора. В то время проезжала чрез Ревель великая княгиня Ольга Николаевна (замужем за наследником вюртембергского престола); встретив Богдана Александровича на пароходе, она обратилась с усмешкою к нему и спрашивала: слышал ли он, что его жена занимается ботаническими экскурсиями с доктором Пироговым? Хорошо, что Богдан Александрович знал отлично нравы и обычаи жены, и потому, нисколько не сконфузясь, отвечал какою-то шуткою.

Семейство *Глазенап* (муж и жена) оставались долго нашими добрыми приятелями все время, пока мы жили в Петербурге; потом пространство разделило нас. Архангельск (где Глазепан был губернатором) и

[1] Это невозможно, это более чем невозможно (франц.).

Одесса или Киев (где я был попечителем, потом Германия, где я жил четыре года), Николаев, где Глазенап был военным губернатором; наконец, Подольская губерния (мое имение) и Петербург, где Глазенап и теперь еще [октябрь 1881 г.] служит, – это все такая даль, такие расстояния, что давно уже, лет 15, мы не видались.

В Ревеле же, наконец, возобновил я старое знакомство с моим товарищем по Берлину и вместе с ним завел новое с лицом не менее интересным, как и мой старый товарищ, но крайне подозрительным.

Как-то нечаянно я встречаю в морских купаниях знакомое лицо; всматриваюсь и узнаю, что это Н[иколай] Ив[анович] *Крылов*, профессор римского права в Московском университете.

– Ба, ба, ба! Ты зачем здесь очутился? – спрашиваю я его.

– Да, вот, проездом из Петербурга, хочу попробовать выкупаться в море. Я чай, вода-то тут у вас холодная, прехолодная? А? (Эта частица «а» прибавлялась Крыловым к каждому периоду).

– А, вот, рекомендую моего друга, главного врача при морских купальнях и ваннах, доктора *Эренбуша*. Познакомьтесь, господа: мой старый товарищ – профессор Крылов.

– Очень рады.

– Ну что, Эренбуш, сегодня вода в море, – спросил я, подмигнув Эренбушу, – холодна?

– О, нет! – отвечает Эренбуш, – очень приятная, в самую пору.

Мы раздеваемся и идем купаться. Первый входит в воду Крылов; но как только окунулся, так сейчас же благим матом назад; трясясь, как осиновый лист, посинев, Крылов бежит из воды, крича дрожащим голосом:

– Подлецы – немцы!

Мы хохотали до упаду при этой сцене. Это было так по-русски, и именно по-московски: «немцы – подлецы – зачем вода холодна!» – немцы – подлецы, жиды – подлецы, все – подлецы, потому что я глуп, потому что я неосторожен и легковерен.

Потеха продолжалась целый день потом.

С Крыловым нельзя было не смеяться. Он стал рассказывать нам свое похождение с генералом *Дубельтом*[1]. Крылов был цензором, и пришлось им в этот год цензировать какой-то роман, наделавший много шума. Роман был запрещен главным управлением цензуры, а Крылов вызван к петербургскому шефу жандармов Орлову. Вот об этом-то деле и надо было подсунуть представление. Крылов приезжает в Петербург, разумеется, в самом мрачном настроении духа и является прежде всего к Дубельту, а затем вместе с Дубельтом отправляются к Орлову. Время было сырое, холодное, мрачное.

– Проезжая по Исаакиевской площади, мимо монумента Петра Великого, Дубельт, закутанный в шинель и прижавшись к углу коляски, как будто про себя, – так рассказывал Крылов, – говорит: «Вот бы

[1] Л.В.Дубельт (1792–1862) – начальник штаба корпуса жандармов с 1835 г., управляющий III Отделением с 1839 г.

кого надо было высечь, это Петра Великого, за его глупую выходку: Петербург построить на болоте».

Крылов слушает и думает про себя: «Понимаю, понимаю, любезный, не надуешь нашего брата, ничего не отвечу».

И еще не раз пробовал Дубельт по дороге возобновить разговор, но Крылов оставался нем, яко рыба. Приезжают, наконец, к Орлову. Прием очень любезный.

Дубельт, повертевшись несколько, оставляет Крылова с глазу на глаз с Орловым.

– Извините, г. Крылов, – говорит шеф жандармов, – что мы вас побеспокоили почти понапрасну. Садитесь, сделайте одолжение, поговорим.

– А я, – повествовал нам Крылов, – стою ни жив, ни мертв, и думаю себе, что тут делать: не сесть – нельзя, коли приглашает; а сядь у шефа жандармов, так, пожалуй, еще и высечен будешь. Наконец, делать нечего, Орлов снова приглашает и указывает на стоящее возле него кресло. Вот я, – рассказывал Крылов, – потихоньку и осторожно сажусь себе на самый краешек кресла. Вся душа ушла в пятки. Вот, вот, так и жду, что у меня под сиденьем подушка опустится и – известно что...[1] И Орлов, верно, заметил, слегка улыбается и уверяет, что я могу быть совершенно спокоен, что в цензурном промахе виноват не я. Что уж он мне там говорил, я от страха и трепета забыл. Слава Богу, однако же, дело тем и кончилось. Черт с ним, с цензорством! – это не жизнь, а ад.

В этот же день познакомил нас мой приятель *Эренбуш* и еще с двумя личностями, оставшимися у меня в памяти. Почему?

Одна из этих личностей, германского происхождения, обязана горошине тем, что я ее еще помню, хотя другие, более меня интересующиеся классицизмом и царедворством, вспоминают о профессоре д-ре Гримме по его, некогда весьма известной у нас, учебно-придворной деятельности. *Гримм* был учителем вел[икого] кн[язя] Константина Николаевича, а потом и наследника вел[икого] кн[язя] Николая Александровича; этот знаток древних языков и биограф покойной императрицы Александры Феодоровны, глухой на одно ухо от роду (как он сам полагал), приехав с государынею в Ревель, обратился к доктору Эренбушу, боясь, чтобы не оглохнуть на другое ухо.

Но как же и *Гримм*, и все мы были удивлены, когда после нескольких спринцовок теплою водою из глухого от роду уха выскочила горошина! А с появлением горошины на свет Гримм тотчас же вспомнил, как он, еще неразумный ребенок, играя в горох, засадил себе одну горошину в ухо.

Другая личность, также более или менее патологическая, только в другом роде, был граф *Гуровский*[2], присланный тогда в Ревель из С.-Петербурга по распоряжению шефа жандармов, чего мы, однако же, тогда

---

[1] Крылов, по рассказу Пирогова, имел в виду слухи о том, что в III Отделении наказывают провинившихся «по-отечески» – подвергают порке независимо от общественного положения.

[2] А.Гуровский принимал деятельное участие в польском восстании 1830–1831 гг., много писал против России. Затем раскаялся и в виду близости его сестры к императрице

еще не знали. Гуровский с жадностью, можно сказать, принял знакомство с нами и, частью на французском, частью на ломаном русском языке, затянул с нами нескончаемую канитель о могуществе России, ее богатствах, открытых соплеменником Гуровского, *Тенгоборским*[1] и т.п.

При этом он утверждал, что правительство наше не должно допускать слишком интимного сближения русской молодежи с польскою. Были случаи, впоследствии напомнившие мне это правило *Гуровского*.

После диареи[2] слов, продолжавшейся несколько часов сряду, мы разошлись, и первое, что мне и Крылову пришло в голову, что с Гуровским нам надо быть осторожным. Одно только нас озадачивало: как поляк Гуровский, замешанный в революционной пропаганде, мог сделаться нашим русским пресмыкающимся?

Впоследствии это объяснилось: Гуровский имел родственницу, чуть ли не сестру, замужем за шталмейстером *Фридрихсом*, очень приближенную к государыне императрице Александре Федоровне и очень ею любимую.

Ревель, вместо или под видом ссылки, послужил Гуровскому местом службы, да еще какой – основанной на обширной доверенности к верноподданническим чувствам и патриотизму служащего. Гуровский, по-свойски, по-польски, позволял себе иногда зазнаваться.

Мне, например, и Крылову он прямо объявил, что писал уже о нас, куда следует, в Петербург и очень рад был найти в нас людей вполне благонадежных.

«Вот шельма-то! – думаю я. – Едва только сам с виселицы сорвался, а берет уже на себя смелость быть судьею других, ничем не провинившихся пред правительством».

И что же? К моему удивлению, Гуровский получил предлинное послание от одного из главных рептилий, в котором, сверх благодарности Гуровскому, заключались еще отеческие наставления разного рода. Письмо это Гуровский показывал, и не оставалось никакого сомнения у меня, что кривой, никогда не скидающий своих синих очков, польский аристократ-революционер (впоследствии родственник, если не ошибаюсь, испанской королевской фамилии) принадлежал, по воле судеб, к классу пресмыкающихся нашего обширного государства.

А граф Гуровский покончил свое пребывание в Ревеле тем, что набрал разных вещей в лавках за поручительством *Эренбуша* и в одно прекрасное утро без вести исчез.

Потом, как слышно было, этот высокорожденный авантюрист и рептилия появился в Испании.

Александре Федоровне рассчитывал на хорошую административную карьеру. Путь к этому проложил себе брошюрой в духе III Отделения.

[1] Л.В.Тенгоборский (1793–1857) – автор книги «О производительных силах России» (1854–1858).

[2] Диарея (гр. diarrheō) – понос.

В мою последнюю экскурсию в Ревель я вдруг занемог тогда непонятною еще для меня болезнью.

Однажды, сидя за обедом в Екатеринентале, я вдруг почувствовал какую-то страшную, никогда небывалую боль в левой чревной области. Сначала это была скорее какая-то неловкость при движении всего тела, чем боль; но потом неприятное чувство делалось все сильнее и сильнее и превратилось в нестерпимую боль, не позволявшую мне разогнуться; кое-как я встал из-за стола и в сопровождении *Эренбуша* поехал к нему на квартиру; по дороге мы заехали в заведение ванн, поставили мне сухие банки и положили на больное место горячие компрессы.

На квартире у Эренбуша я почувствовал тошноту, потом и рвоту; принял рицинное масло, положил теплую припарку, заснул и встал совершенно здоровый.

Но по приезде в Дерпт боль по временам стала навещать меня и не давала мне покоя тем, что я никогда не мог быть уверен, что не почувствую внезапно боли и не буду принужден бежать домой. Это мешало моим занятиям месяца два и более, пока я не слег от слабости.

Однажды ночью я просыпаюсь и чувствую, что боль прошла и в то же самое время показался corpus delicti[1]: чрезвычайно острый, величиною с ячменное зерно, почечный камешек и, как показал анализ, чистый оксалат.

Образование его я приписал тогда постоянному употреблению сквернейшего поддельного французского вина. Воды эмбахской я не переносил, колодезная расстраивала также мой желудок, к пиву я никогда не мог привыкнуть и поневоле пил прокислое, дешевое вино.

Не прошло и двух месяцев после моего выздоровления, как началась другая напасть: это мой прежний кишечный катар, уже несколько лет оставивший меня в покое.

Оттого ли, что я, опасаясь вина, начал опять пить воду, или же от патологической связи страданий двух органов — почек и кишечного канала, только никогда еще поносы не обнаруживались у меня с такою силою и упорством, как после страдания почек. Я перестал лечиться и держать диету: ни вина, ни пива, ни водки.

Научные занятия мои продолжались по-прежнему; им суждено было, однако же, принять другое направление и другие размеры.

Отдаленною тому причиною был случившийся в С.-Петербургской медико-хирургической академии казус, заставивший ее перевернуться вверх дном.

Положение этого единственного в С.-Петербурге учебно-медицинского высшего учреждения было весьма странное: оно состояло в ведомстве министерства внутренних дел; президентом его был главный военно-медицинский инспектор, баронет *Виллье*, а главное назначение заключалось преимущественно в приготовлении военных врачей. Вследствие этого назначения президент академии *Виллье* счел даже ненужным учреждение женской и акушерской клиник.

[1] Доказательство вины (причины болезни) (лат.).

«Солдаты не беременеют и не родят, — говорил баронет, — и потому военным врачам нет надобности учиться акушерству на практике».

Все профессоры Медико-хирургической академии были из воспитанников этой же академии, что, конечно, не могло не способствовать развитию непотизма[1] между профессорами, и, как это нередко случается, непотизм дошел до таких размеров, что в профессоры начали избираться исключительно почти малороссы и семинаристы одной губернии.

За исключением нескольких немногих профессоров, приобретших себе почетное имя в русской науке, остальная, большая часть, ни в научном, ни в нравственном отношении, ничем не опережала золотую посредственность.

В последнее время, однако же, небольшая немецкая партия профессоров Медико-хирургической академии, поддерживаемая немногими русскими, причислила в профессоры терапевтической клиники заведовавшего морским госпиталем доктора *Зейдлица*, ученика Дерптского университета и бывшего ассистента *Мойера*, сделавшего себя уже известным в науке весьма дельным описанием первой холеры в Астрахани, монографией о скорбутном воспалении околосердечной сумки и приобретшего себе известность в медицинской петербургской публике своими глубокими практическими сведениями (*Зейдлиц* первый в России начал применять перкуссию и аускультацию в госпитальной и частной практике).

Но одна, — а я полагаю, и две, и три, — ласточка еще не делает весны.

Научный и нравственный уровень Петербургской медико-хирургической академии в конце 1830-х годов был, очевидно, в упадке.

Надо было потрясающему событию произвести переполох для того, чтобы произошел потом поворот к лучшему.

Какой-то фармацевт из поляков, провалившийся на экзамене и приписывавший свою неудачу на экзамене притеснению профессоров, приняв предварительно яд (а по другой версии — напившись допьяна), вбежал с ножом (перочинным) в руках в заседание конференции и нанес рану в живот одному из профессоров[2].

---

[1] Непотизм (лат. nepos (nepotis) внук, потомок) — замещение по протекции видных должностей родственниками, кумовство, семейственность.

[2] Переполох в Медико-хирургической академии произошел в сентябре 1838 г. и заключался в следующем. Поляк Иван (Ян Павлович) Сочинский был в 1828 г. сдан из помещичьих крестьян в солдаты в лейб-гвардии уланский полк. В 1831 г. он принимал какое-то участие в польском восстании. В 1833 г. был принят из аптекарских учеников в студенты фельдшерского отделения Медико-хирургической академии. Здесь Сочинский подвергался преследованиям в связи с польским происхождением. Доведенный однажды до отчаяния профессором Нечаевым, издевательски провалившим его на экзамене («Вы мне не нравитесь, и я не допущу вас докончить курс в академии», — сказал профессор), Сочинский бросился на обидчика с раскрытым перочинным ножом. Нечаев увернулся, и удар пришелся другому профессору, Калинскому, получившему легкую рану в живот. На шум прибежали служители, но впавший в исступление Сочинский поранил двух из них, пытавшихся его связать. Так как Сочинский перед нападением на профессора принял яд и после учиненного им впал в бессознательное состояние, то профессор И.В.Буяльский вскрыл ему вену и влил противоядие. Сочинского возвратили к жизни. Николай I наградил Нечаева орденом, а Сочинского велел прогнать три раза сквозь строй в 500 шпицрутенов, т.е. дать ему 1500 ударов длинными гибкими палка-

Началось следствие, суд; приговор вышел такого рода: собрать всех студентов и профессоров Медико-хирургической академии и в их присутствии прогнать виновного сквозь строй, а академию для исправления нарушенного порядка передать в руки дежурного генерала *Клейнмихеля*.

Вот этот-то генерал, по понятиям тогдашнего времени всемогущий визирь, и вздумал переделать академию по-своему.

Как ученик и бывший сподвижник *Аракчеева*, *Клейнмихель* не любил откладывать осуществления своих намерений в долгий ящик, долго умствовать и совещаться.

Несмотря на это, одна мысль в преобразовании академии Клейнмихелем была весьма здравая. Он непременно захотел внести новый и прежде неизвестный элемент в состав профессоров академии и заместить все вакантные и вновь открывающиеся кафедры профессорами, получившими образование в университетах.

Подсказал ли кто Клейнмихелю эту мысль, или она сама, как Миневра из головы Юпитера, вышла в полном вооружении из головы могущественного визиря, – это осталось мне неизвестным. Только в скором времени в конференцию вместо одного профессора, получившего университетское образование, явилось целых восемь, и это я считаю важною заслугою Клейнмихеля.

Без него академия и до сих пор, может быть, считала бы вредным для себя доступ чужаков в состав конференции.

Но к здравым понятиям такой начальнической головы учебного учреждения, как Клейнмихеля, не могло не присоединиться и бессмыслие. Клейнмихель объявил, что в самом цветущем состоянии академия будет находиться тогда под его начальством, когда он сделает всех студентов казеннокоштными; чтобы ни одного своекоштного не было в академии. Задавшись этою мыслью, Клейнмихель разослал по всем семинариям империи приглашение выслать желающих вступить в академию семинаристов на казенный счет, с тем, чтобы они подвергались при академии пробному экзамену, а которые не выдержат его, то будут отсылаться, на счет же академии, обратно.

Можно себе представить, из каких элементов состоял этот материал для казеннокоштных студентов. Все, что только было плохого в семинариях, монахи и попы сбывали с рук в академию благодаря казенным прогонам и суточным. Мало этого: когда начальство академии, как оно дрябло ни было, наконец, убедилось, что из наплыва семинарской дряни ничего не выйдет, если ее хотя сколько-нибудь не подготовят к принятию человеческого образа, то решено было учредить в академии приготовительный класс для обучения семинарских новобранцев грамматике, арифметике и, если не ошибаюсь, даже и Закону Божию.

Для такого нового попечителя академии, каким был сделан Клейнмихель, конечно, нужен был и другой президент. Профессор *Буш*, бывший вице-президентом, вышел в отставку; на место его, хотя и с име-

---

ми по обнаженной спине. Это было равносильно смертной казни. В целях «назидания» Николай велел произвести казнь в присутствии всех учащихся академии.

нем президента (которое носил Виллье), назначен был самим государем *И.Б.Шлегель*; а на кафедру хирургии, сделавшуюся свободною по выходе в отставку профессора Буша, *Зейдлиц* пригласил меня.

Я не согласился занять кафедру хирургии без хирургической клиники, которою заведовал не Буш, а профессор *Саломон*. Но, отказываясь, я в то же время предложил новую комбинацию, с помощью которой я мог бы иметь соответствующую моим желаниям кафедру в академии. Комбинацию эту я предложил в виде проекта самому Клейнмихелю.

Я указал в моем проекте на необходимость учреждения при академии новой кафедры: *госпитальной хирургии*.

Молодые врачи, говорил я в моем проекте, выходящие из наших учебных учреждений, почти совсем не имеют практического медицинского образования, так как наши клиники обязаны давать им только главные основные понятия о распознавании, ходе и лечении болезней. Поэтому наши молодые врачи, вступая на службу и делаясь самостоятельными, при постели больных в больницах, военных лазаретах и частной практике приходят в весьма затруднительное положение, не приносят ожидаемой от них пользы и не достигают цели своего назначения. Имея в виду устранить этот важный пробел в наших учебно-медицинских учреждениях, я и предлагал, сверх обыкновенных клиник, учредить еще госпитальные.

Для казеннокоштных воспитанников, поступающих потом на военную службу, учреждение госпитальной клиники я считал уже совершенно необходимым.

В С.-Петербургской медико-хирургической академии я видел возможность тотчас же приступить к этому нововведению, так как при академии, почти в одной и той же местности, находится 2-й Военно-сухопутный госпиталь, и оба заведения – и Медико-хирургическая академия, и 2-й Военно-сухопутный госпиталь – принадлежат одному и тому же военному ведомству. Весь госпиталь с его 2000 кроватями мог бы, таким образом, обратиться в госпитальные клиники (терапевтическую, хирургическую, сифилитическую, сыпную, ets.).

Проект, как меня известили, был принят Клейнмихелем.

Между тем наступали рождественские вакации, и я решился воспользоваться ими и отправиться чрез Петербург в Москву навестить матушку.

Приехав в Петербург, я первым делом отправился на поклон к новому президенту академии Шлегелю.

Иван Богданович *Шлегель* был человек немецкого происхождения, вступивший в русскую военную службу во времена наполеоновских войн. Когда я был в Риге, то русский военный госпиталь был еще полон воспоминаниями об энергической деятельности Ивана Богдановича. В Москве, куда он был переведен из Риги, повторилось то же самое, и в московских госпиталях он оставил по себе также хорошую память. Ему бы и оставаться там главным доктором большого военного госпиталя. Это было истинное призвание Ивана Богдановича.

Он достиг его вероятно по протекции князя Витгенштейна, при сыновьях которого (Алексее и Николае) он когда-то состоял врачом и

гувернером; Шлегель и привез обоих Витгенштейнов и Тутолмина в Дерпт, когда мы были студентами профессорского института.

К несчастью для себя, И.Б.Шлегель переменил свое призвание и попал в военно-учено-учебное болото. Аккуратнейший из самых аккуратных немцев, плохо говоривший по-русски, И[ван] Б[огданович] всегда был навытяжку. Как бы рано кто ни приходил к Шлегелю, всегда находил его в военном вицмундире, застегнутом на все пуговицы, с Владимиром на шее. В таком наряде и я застал его. Он и подействовал на меня всего более своею чисто внешнею оригинальностью, военною выправкою, аккуратною прическою волос, еще мало поседевших, огромным носом и глазами, более наблюдавшими, чем говорившими.

Шлегель был довольно сдержан со мною и посоветовал непременно представиться Клейнмихелю, что я и сделал.

Клейнмихель был очень любезен со мною, уже слишком, что к нему не шло; сквозь ласковую улыбку на лице, оловянные глаза так и говорили смотрящему на них: «Ты, мол, смотри, да помни, не забывайся!»

Клейнмихель пригласил меня к себе в кабинет, посадил и очень хвалил мой проект. Потом прямо объявил, что все будет сделано; препятствие может встретиться только в министерстве Уварова, которое он, Клейнмихель, надеется, однако же, уладить.

Я откланялся, вполне довольный, и поехал к Ив[ану] Тимоф[еевичу] *Спасскому*, в это время весьма доверенному лицу у С.С.Уварова.

От Спасского я узнал, что мои намерения уже известны в министерстве народного просвещения и что Уваров ни за что на свете не отпустит меня. Я просил Ив[ана] Тимофеевича содействовать моему плану, объяснил ему мои главные мотивы и, казалось, довольно убедил его; но я узнал, что эти убеждения непрочны. Между тем Спасский, узнав, что я на другой день отправляюсь в Москву, предложил мне поехать оттуда в Тульскую губернию, в одно имение, адрес которого он мне сообщит, для операции у одной девочки. Я согласился; мы уговорились о времени и поездке.

Пробыв в Москве около 9—10 дней, я отправился на сдаточных в имение, имени помещика теперь не помню, наверное: Нацепина, Еропина или Полуэхтова, которого-то из столбовых; имение находилось на границах Тульской губернии с Орловскою. После разных проделок сдаточных ямщиков я к вечеру на другой день въехал в огромное, барское поместье.

Великолепный старинный дворец в огромном парке. В доме, где мне отвели помещение, было 150 нумеров, в каждом не менее 2-х комнат, и одна из них с большущею 2-хспальною кроватью из красного дерева, с золотыми украшениями.

Над кроватью — широкая кисейная розово-зеленоватого цвета палатка; вместо досок в головах и ногах у кровати — по большому зеркалу.

Пара, ложившаяся в постель, могла созерцать свои телеса в разных положениях отраженными на зеркальных поверхностях и притом отсвеченными зеленовато-розовым колером.

Можно представить себе, что творилось во времена оны в этих 150 нумерах, когда съезжались сюда на охоту и на барские оргии разного рода пары. Теперь, т.е. не теперь, когда пишу, а когда посещал этот дом, остались только нумера и кровати, но пары уже не съезжались более.

Я провел ночь в этой, никогда еще не испытанной мною, обстановке; признаюсь, мне вовсе не было приятно видеть себя поутру отраженным в двух зеркалах.

В этот же день операция, вырезывание миндалевидных желез у 8-летней девочки, была сделана, и я остался еще на одну ночь у гг...

Вечером за чайным столом нас было только трое: хозяин (еще довольно бодрый господин), хозяйка (очень милая и приятная дама, лет около 40) и я. Зашла речь о старине, о том, что бывало и чего не стало. И тут услыхал я от хозяина два рассказа, памятные мне и до сих пор, – так были необыкновенны для меня тогда события, составляющие предмет этих рассказов.

В обоих действующим лицом был сам рассказчик, и потому надо было ему верить на слово, что я и сделал[1].

«У меня не было и ни у кого не будет такого верного друга, каков был *Толстой* (Американец), – передавал мне рассказчик-хозяин. – Однажды, подгуляв, я поссорился у него за обедом с одним товарищем, дуэлистом и забиякою: ссора кончилась вызовом. Толстой взялся быть нашим секундантом на другой день рано утром.

Я не спал целую ночь и, встав с постели чем свет, пошел пройтись; а в назначенный час отправился звать Толстого по уговору.

К удивлению, нахожу ставни и двери его квартиры запертыми, стучусь, вхожу, бужу моего секунданта. Насилу он просыпается.

– Что тебе?

– Как что мне! Разве забыл? А дуэль?

– Какой вздор! – отвечает Толстой. – Разве я мог бы как честный хозяин позволить тебе драться с этим забиякою и ярыжником! Я вчера же, как ты ушел, сам вызвал его на дуэль, и вчера же вечером мы дрались. Дело поконченное.

С этими словами Толстой повернулся от меня на другой бок и заснул.

Таких людей, как Толстой, немного на свете».

Затем последовал, уже не помню, à propos de quoi[2], второй рассказ.

«Мы стояли в Персии. Скука была смертная, а денег было много; придумывали разные забавы. Я жил у одного персиянина, отца семейства, и, узнав, что у него есть дочь-невеста, вздумал посвататься. Сначала, разумеется, отец и слышать не хотел; но когда он проведал через одного армянина, что я обладатель целой груды червонцев, то мало-помалу начал сдаваться и торговаться.

Наконец, дело сладили: уговорились, что я женюсь формально, по русскому обряду, при свидетелях, и что невеста снимет свое покрывало

[1] Дальнейший текст – карандашом; носит следы предсмертной слабости Пирогова; строки тянутся вкривь и вкось.

[2] По какому поводу (франц.).

перед венчанием. На этом в особенности я настаивал, надеясь покончить все дело вздором, если окажется рожа. Я пригласил товарищей всего полка на свадьбу. Был между ними и подставной поп, и подставные дьячки. Когда невеста сняла покрывало, то оказалась такою восточною красавицею, какою никто из присутствующих никогда еще не видывал. Все так и ахнули. После импровизированной свадьбы я зажил с моею красавицею женою в доме тестя. Жили мы не более года, прижили ребенка. Вдруг – поход. Жена моя собралась было со мною, и ни за что на свете не хотела оставаться у отца. Но я и товарищи, знакомые принялись так сильно ее уговаривать, что она, наконец, решилась остаться дома и ждать, пока я сам приеду за нею».

В это время рассказа я невольно посмотрел пристально на хозяйку, жену повествователя. Смотрю, кажется, не похожа на персиянку, чисто русский тип. Повествователь заметил мой пристальный взгляд и сейчас же обратился ко мне с объяснением: «Это не она, не она; та далеко, Бог ее знает где; с тех пор о ней – ни слуху, ни духу!»

А наша хозяйка в это время продолжала спокойно разливать нам чай.

Через сутки я был уже в орловском имении *Мойера*. Уже давно думал я, что мне следовало бы жениться на дочери моего почтенного учителя; я знал его дочь еще девочкою; я был принят в семействе Мойера как родной. Теперь же положение мое довольно упрочено, – почему бы не сделать предложение?

В имении Мойера я пробыл дней десять. Екатерину Ивановну (дочь Мойера) нашел уже взрослою невестою, и решился по возвращении в Москву отнестись с предложением письмом к Екатерине Афанасьевне, всегда мне благоволившей. Прощаясь со мною, и Екатерина Афанасьевна, и все семейство Мойера просили меня заехать в Москве к племяннице Екатерины Афанасьевны, г-же Елагиной[1].

Приехав в Москву и запасшись письмом к Екатерине Афанасьевне (письмо было длинное, сентиментальное и, как я теперь думаю, довольно глупое), я отправился к *Елагиной*. Дом ее был известен всей образованной и ученой Москве. Я был принят очень любезно. Начались расспросы и рассказы о семействе Мойера, Буниной, Воейковых и Жуковском, и при этих-то рассказах я услышал от самой Елагиной ее чудное свидание с женою Мойера. И Елагина, и жена Мойера (урожденная Протасова, дочь Екат[ерины] Аф[анасьевны]) были подругами детства, необыкновенно привязанными друг к другу. Обе они вышли почти в одно время замуж. У Елагиной был грудной ребенок, и она только что успела покормить его грудью и сдать на руки кормилице, как увидала вошедшую к ней жену Мойера. Елагина бросилась в объятия нежданной гостьи и тут же почувствовала, что падает в обморок. Придя в себя,

[1] А.П.Елагина (1789–1877) – племянница В.А.Жуковского, мать славянофилов И.В. и П.В.Киреевских (от первого мужа).

она узнала, что никто не приезжал и никто в комнату не входил, а чрез несколько дней узнала также, что жена Мойера на днях скончалась, и, как оказалось по справкам Жуковского, скончалась именно в этот день и час, когда ее видела у себя Елагина.

Прощаясь, я попросил Елагину на минуту переговорить со мною одним, без свидетелей, и тут же вручил ей мое письмо к Екатерине Афанасьевне, объяснив притом и его содержание. Я заметил, что Елагина, принимая мое послание, улыбнулась, и улыбка ее мне показалась почему-то сомнительною.

Через месяц я получил в Дерпте ответ от Екатерины Афанасьевны и от самого Мойера.

И отец, и бабушка Екатерины Ивановны весьма сожалели, что должны отказать мне.

Катя их, объяснили они оба мне, уже обещана давно сыну Елагиной. Все обстоятельства и родственные связи благоприятствовали этому браку.

Прочитав отказ, я вспомнил про улыбку Елагиной.

Через год после этого отказа одна мною высокочтимая дама (Екат[ерина] Ник[олаевна] *Догановская*), никогда не лгавшая, рассказывала мне о разговоре, который она имела с Екат[ериной] Иван[овной] Мойер на пароходе, при отъезде за границу.

«Жене Пирогова, – говорила Е.И.Мойер, ехавшая за границу вместе с Елагиной, – надо опасаться, что он будет делать эксперименты над нею».

Говоря это, Е.И.Мойер, конечно, не знала, что через год придется ей писать в лестных выражениях поздравительное письмо к подруге своего детства, Екатерине Дмитриевне Березиной, не побоявшейся мучителя дерптских собак и кошек и выходившей за него бестрепетно замуж.

Месяцев десять прошло в переписке между министерствами военным и народного просвещения и между департаментами военного министерства о моем перемещении и об учреждении новой должности при военном госпитале.

Я между тем переписывался с министром Уваровым и директором Спасским. Наконец, наша взяла. Уваров должен был уступить Клейнмихелю.

Тем временем произошло и еще новое преобразование в министерстве внутренних дел и в министерстве народного просвещения.

В первом из них произошло перерождение медицинского совета, а во втором – учреждение особой комиссии по делам, касающимся медицинских факультетов.

Прежний медицинский совет министерства внутренних дел был такое странное учреждение, что члены его имели право делать докторами медицины без экзамена друг друга и других лиц, им нравившихся.

Говорят, что при учреждении этого совета, когда его председателю удалось выхлопотать новые права, происходил in pleno[1] следующий наивный обмен мыслей:

[1] В общем собрании (лат.).

– Василий Васильевич, честь имею вас поздравить со степенью доктора медицины!

– А вам, Федор Федорович (примерно), желательно быть медико-хирургом?

– Нет, если бы угодно было вашему превосходительству выхлопотать мне *землицы*, то я предпочел бы это награждение награде ученою степенью и т.п.

В начале же 1840-х годов все переменилось под нашим зодиаком.

Лейб-медик государыни императрицы стал председателем медицинского совета (Мерк[урий] Алекс[еевич] *Маркус*), а совет, лишась прежнего своего права дарить (без экзамена) ученые степени, сделался чисто лишь административно- и судебно-врачебным учреждением.

В это время и я был выбран в члены медицинского совета.

Медицинская комиссия при министерстве народного просвещения состояла, под председательством также Маркуса, из четырех членов: Спасского, лейб-медика Рауха, профессора Зейдлица и меня.

Все дела и даже выборы медицинского факультета всех русских университетов проходили чрез наши руки. Особливо же вновь учреждавшийся в то время медицинский факультет Киевского университета (св. Владимира) почти всецело учреждался и избирался в нашей комиссии. Наконец, самым важным делом нашей комиссии был пересмотр статута об экзамене на медицинские степени.

В старом экзаменационном статуте допускались целых шесть медицинских степеней: три степени лекаря (лекарь 1-го, 2-го и 3-го отделения), доктор медицины, доктор медицины и хирургии и медико-хирург.

Я предложил сокращение на две степени: лекаря и доктора медицины; но мой проект не прошел, и вместо двух приняты были три степени (лекарь, доктор медицины, доктор медицины и хирургии).

Я настаивал, чтобы при факультетских экзаменах на степень требовались от экзаменующихся вместо разных дробей или отметок вроде: «удовлетворительно», «посредственно», «хорошо», «отлично» и т.п. – только две отметки или две поправки: ответа «да» и «нет» на вопросы по каждому предмету: достоин степени, на которую экзаменуется, или недостоин?

Введение демонстративных испытаний из анатомии, терапии и хирургии предложено было также мною, и принято единогласно.

Новая кафедра *госпитальной хирургии и терапии*, учрежденная по моему проекту в С.-Петербургской медико-хирургической академии, была принята нашею комиссиею и утверждена министерством народного просвещения для всех русских университетов.

Вот мои заслуги по делам медицинской комиссии министерства народного просвещения.

Время моего отъезда из Дерпта в Петербург мне памятно.

Я не могу назвать себя робким, но есть случаи, по-видимому, весьма маловажные, которые могут привести в сильнейшее волнение мои не-

рвы, до того сильное, что я невольно начинаю трусить чего-то, сам не понимая, чего. Это случалось со мною вообще редко. Но два случая я живо помню.

Один из них был в Дерпте. Когда я приготовился совсем к отъезду и опорожнил мою квартиру (4 комнаты) от всей подвижной собственности и остался совершенно один, от скуки, предстоявшей мне в течение 2-3 дней, я начал читать романы Гофмана; и лишь только начинался вечер, невыразимый страх овладевал мною, и до того сильно, что я не мог преодолеть себя, чтобы выйти в другую комнату. Мне все казалось, что там кто-то сидит или стоит. Между тем, я уже не раз читал романы Гофмана и другие повести в этом роде и никогда не замечал над собою ничего подобного.

Во второй раз я заметил над собою невыразимый страх однажды при путешествии по Швейцарии. Я шел ночью, часов в 10, в Интерлакен.

Ночь была превосходная, лунная, тихая. На шоссе, по которому я шел, мне не повстречался ни один человек; все было тихо и уединенно. Слышался только шелест листьев и журчанье ручейков. Сначала я шел бодро и весело, но мало-помалу меня начал одолевать страх; мне начало мерещиться, что кто-то идет сзади меня в некотором расстоянии. Это казалось мне до того ясно, что я невольно останавливался и ворочался назад. Наконец, не вытерпев, от страха почти побежал бегом, так что в Интерлакен пришел запыхавшись и весь в поту.

Приехав после Рождества (1841 г.) в Петербург, я должен был представиться, уже как подчиненный, *Клейнмихелю*.

Теперь он уже считал себя не вправе быть любезным со мною попрежнему и принял меня уже не в кабинете, а в общей приемной зале, вместе со многими другими лицами. Оловянные глаза уже смотрели иначе, и когда я имел глупость напомнить им об обещанной мне якобы квартире, то они посмотрели на меня не по-прежнему. С этого дня я уже не видал более ни разу оловянных глаз моего начальника и, конечно, ни мало не сожалею об этом.

По присланной мне инструкции я назначался заведовать самостоятельно всем хирургическим отделением 2-го Военно-сухопутного госпиталя с званием главного врача хирургического отделения.

Врачебные и учебные мои действия по этому отделению госпиталя, заключавшему в себе до 1000 кроватей, были совершенно независимы от госпитального начальства, и только по делам госпитальной администрации я обязан был сноситься с главным доктором госпиталя.

Вместе с этим я назначался профессором госпитальной хирургии и прикладной анатомии при Медико-хирургической академии.

Осмотрев все хирургическое отделение госпиталя, я убедился в его поистине ужас наводящем положении.

Вся вентиляция огромных палат (на 60—100 кроватей) в главном каменном корпусе основывалась на длинном коридоре, а вентиляция коридора — на ретирадниках. Действительно, в коридор несло постоянно из ватерклозетов. Другие отделения госпиталя, в некотором отношении еще лучшие, помещались в деревянных отдельных домах, в каждом до 70

и более кроватей. Вентиляция в них была натуральная, без коридоров; сырость неисправимая. В гангренозном отделении, содержавшем в себе еще больных, оставшихся после лечений доктора *Флорио* громадными меркуриальными втираниями, сердце надрывалось видом молодых, здоровых гвардейцев с гангренозными бубонами, разрушавшими всю брюшную стенку. Палаты госпиталя были переполнены больными с рожистыми воспалениями, острогнойными отеками и гнойным диатезом.

Для операционных не было ни одного, хотя плохого, помещения.

Тряпки под припарки и компрессы переносились фельдшерами без зазрения совести от ран одного больного к другому. Лекарства, отпускавшиеся из госпитальной аптеки, были похожи на что угодно, только не на лекарства. Вместо хинина, например, сплошь да рядом отпускалась бычачья желчь, вместо рыбьего жира – какое-то иноземное масло. Хлеб и вся вообще провизия, отпускавшиеся на госпитальных, были ниже всякой критики.

Воровство было не ночное, а дневное. Смотрители и комиссары проигрывали по нескольку сот рублей в карты ежедневно. Мясной подрядчик на виду у всех развозил мясо по домам членов госпитальной конторы. Аптекарь продавал на сторону свои запасы уксуса, разных трав и т.п. В последнее время дошло и до того, что госпитальное начальство начало продавать подержанные и снятые с ран: корпию, повязки, компрессы и проч., и для этой торговой операции складывало вонючие тряпки, снятые с ран, в особые камеры, расположенные возле палат с больными.

Главный доктор госпиталя был ст[атский] сов[етник] *Лоссиевский*, именуемый у своих товарищей *Буцефалом* или *Букефалом*. Хотя известная французская поговорка: «grande tête, grande bête»[1] – и грешит против физиологии, но нет правил, даже и физиологических, без исключения. В отношении к голове Лоссиевского физиология оказалась действительно неправою, как это окажется впоследствии.

Так как госпиталь вследствие новых учреждений подчинился теперь в учебном отношении Медико-хирургической академии, то и Лоссиевский очутился между двух начальников: президентом Медико-хирургической академии (*Шлегелем*) и директором военно-медицинского департамента (Дм[итрием] Клем[ентьевичем] *Тарасовым*).

По осмотре госпиталя я нашел множество больных, требовавших разных операций, особенно ампутаций и резекций, вскрытия глубоких фистул, извлечения секвестров и т.п.

Это были все застарелые, залежавшиеся в худом госпитале больные, зараженные уже пиемией[2] или пораженные цингою от худого содержания.

Я сделал огромный промах и грубую ошибку, сильно отразившуюся потом на моей практической деятельности. Еще более чем промах, был проступок против нравственности. И промах, и проступок состояли в

---

[1] Большая голова – большой глупец (франц.).

[2] Пиемия (гр. pyon гной + haima кровь) – форма сепсиса, характеризующаяся образованием множеством вторичных гнойных очагов.

моем приступе к энергическим хирургическим производствам, не рассмотренным и не анализированным достаточно ни с научной, ни с нравственной стороны множества из случаев, подвергнутых мною операции. С научной стороны был большой промах то, что я сообразил приняться с немецким усердием за этих больных, не обратив внимания на ту неблагоприятную обстановку госпитальной конституции, при которой я подвергал больных операции.

22 октября.

Ой, скорее, скорее! Худо, худо! Так, пожалуй, не успею и половины петербургской жизни описать...

Начну с Букефаловой глупости. Это не по порядку.

Прошло уже года два моей госпитальной службы, как вдруг однажды Букефал *Лоссиевский* призывает моего ассистента и ординатора госпиталя *Неммерта* и спрашивает его: не заметил ли он чего особенного в моем поведении?

Неммерт говорит, что нет.

– А почему же он (т.е. я) прописывает в таких больших приемах наркотические средства; он однажды прописал: extract. Hyosciami до 5 гр. pro dosi?

– Я не знаю, – отвечает Неммерт, – спросите сами у г. профессора.

Тогда *Лоссиевский* призывает Неммерта в госпитальную контору и приказывает ему как подчиненному расписаться в принятии запечатанного пакета с надписью: *«секретно»*, под №...

Неммерт берет. В секретной бумаге значится: «Заметив в поведении г. *Пирогова* некоторые действия, свидетельствующие об его умопомешательстве, предписываю вам следить за его действиями и доносить об оных мне. Гл. д-р *Лоссиевский*».

Но прежде, чем вся эта история произошла, я получил от Лоссиевского однажды бумагу, в которой он мне писал следующее: «Заметив, что в Вашем отделении издерживается огромное количество йодовой настойки, которою Вы смазываете напрасно кожу лица и головы, *я предписываю Вам* приостановить употребление столь дорогого лекарства и заменить его более дешевыми. *Лоссиевский*».

Я взял эту бумагу, да и отправил ее назад Лоссиевскому с следующим объяснением: «На Ваше отношение №... честь имею уведомить Ваше высокородие, что Вы не вправе делать мне никаких предписаний относительно моих действий при постели больных.

Если же Вы находите, что я расходую лекарства не по госпитальному каталогу, то Вам следует обратиться с извещением о том к нашему общему начальнику, г. президенту Медико-хирургической академии».

Вот эта-то бумага, а не экстракт белены, и была причина секретного предписания Неммерту. А про extractum Hyosciami я сказал Лоссиевскому: «Велите-ка ваши экстракты приготовлять действительно из наркотических средств, а не из золы разных растений».

Когда Неммерт получил бумагу, то он принес ее ко мне и спрашивал: что делать? Я отвечал: «Ступайте к президенту Шлегелю и спросите его».

Шлегель же, по словам Неммерта, спросил его, улыбаясь: «Ведь вы, однако, ничего не заметили? Ну, любезнейший, так оставьте бумагу при вас и никому не показывайте».

Когда я узнал этот ответ, то я просил Неммерта одолжить мне бумагу на один час времени, обещаясь ему, что это нисколько не повредит его служебной деятельности.

Неммерт мне дал, и я с этою бумагою в руках тотчас же отправился к нашему попечителю, дежурному генералу *Веймарну*, объявив ему, что я подаю сейчас просьбу об отставке, если всему этому вопиющему делу не будет дано хода.

Веймарн был, видимо, смущен, но успокоил меня обещанием, что завтра же будет им все дело улажено, и если я и тогда останусь недоволен, то могут дать всему законный ход.

Сейчас за моим уходом Веймарн послал фельдъегеря за Лоссиевским, и его, раба Божия, привез фельдъегерь с собою в штаб. На другой день в госпитале получена бумага, в которой предписывалось Лоссиевскому в присутствии президента Шлегеля, ординатора Неммерта, писаря, писавшего бумагу, и всех видевших ее членов госпитальной конторы просить у меня прощения в убедительнейших выражениях, и если я (Пирогов) не соглашусь извинить дерзкий поступок Лоссиевского, то всему делу будет дан законный ход.

На другой день, утром, меня пригласили в контору госпиталя, и там разыгралась истинно позорная, и притом детски позорная, сцена.

Лоссиевский, в парадной форме, со слезами на глазах, дрожащим голосом и с поднятием рук к небу, просил у меня извинения за свою необдуманность и дерзость, уверяя, что впредь он мне никогда не даст ни малейшего повода к неудовольствию.

Тут же, в присутствии президента, я ему показал на мерзейший хлеб, розданный больным, и заметил, что это его прямая обязанность в госпитале – наблюдение за порядком, пищею и всею служебною администрациею.

Тем дело о моем умопомешательстве и кончилось.

С тех пор Лоссиевский сделался тише воды, ниже травы, да, впрочем, чрез несколько месяцев он был перемещен в Варшаву.

Друзья Лоссиевского, такие же, как и он, protégés барона *Виллье*, упросили этого медицинского сановника замолвить слово о Лоссиевском у фельдмаршала Паскевича.

Когда Паскевич приехал в Петербург, то ему выслали напоказ двух главных докторов для Варшавы. Паскевич, проходя чрез приемный покой, мимоходом указал на Лоссиевского, сказав: «Вот этого».

Лоссиевский угостил за это своих протекторов хорошим обедом, на который позван был и баронет. За обедом Виллье сидел возле Лоссиевского и во время медицинской беседы о трудности в прощупывании зыбления подставил свою заднюю часть тела Лоссиевскому с громким вызовом: «Ну-ка, ты, прощупай-ка здесь зыбление».

Все, разумеется, засмеялись остроте баронета, а Лоссиевский уехал на лучшее место в Варшаву.

В Варшаве, однако же, не посчастливилось Буцефалу. Верно, он слишком разворовался.

Император Николай, раз наехав в варшавский госпиталь ненароком, разом открыл целую массу злоупотреблений и дневного воровства. Лоссиевского засадили на гауптвахту и отдали под суд. Потом он, разжалованный в ординаторы, окончил жизнь в Киеве, как я слышал, от запоя.

Моему ассистенту *Неммерту* пригрозил было при мне Шлегель, после того как Лоссиевский извинился. Но я остановил президента словами: «Профессор *Неммерт* поступил тут как честный и благородный человек, и я не вижу, за что вы так несправедливо относитесь с выговором к Неммерту; я мог бы принять ваш неуместный выговор на мой счет и не согласиться в таком случае на извинение Лоссиевского».

Шлегель прикусил язык, и с тех пор я не замечал никаких притеснений по службе.

Неммерта Лоссиевский звал даже ехать в Варшаву!

Кстати скажу несколько слов о моем свидании, единственном и непродолжительном, с баронетом Виллье.

По случаю издания моей прикладной анатомии (на русском и на немецком языках – издание *Ольхина*, не окончившееся по причине его банкротства) я в один и тот же день посетил двух нужных людей: министра *Канкрина*, у которого надо было испросить разрешение на ввоз беспошлинно веленевой бумаги для литографии, и *Виллье*, который мог способствовать распространению издания в военных библиотеках[1].

Для обоих этих господ я принес иллюминованные экземпляры атласа.

Граф Канкрин, поглядев на них, тотчас же разрешил беспошлинный провоз бумаги, заметив только о моих анатомических рисунках: «Es sind sehr schöne, aber auch sehr traurige Dinge»[2].

Это замечание было если и не умно, то, по крайней мере, не глупо.

Виллье же, посмотрев на мои рисунки, начал что-то тараторить скороговоркою, чего я никак понять не мог; слышал только на ломаном русском языке слова: «оксиген, артериальная и венозная кровь» и т.д.

Что хотел выразить своим странным диалогом баронет, того я ни тогда, ни после никак не мог себе объяснить. Тем дело и кончилось.

Я, видя, что конца не будет этой болтовне, поблагодарил баронета за его приветствие и ушел.

Согласие на покупку атласа для военных библиотек последовало.

А о баронете самое последнее известие, полученное мною, состояло в том, что кто бы к нему в последнее время ни являлся, все заставали

---

[1] «Полный курс прикладной анатомии» издан в 1843–1845 гг., с атласом в 34 таблицы. За этот труд Пирогову присуждена Академией наук полная Демидовская премия в 1844 г.

Пирогов получил четыре Демидовские премии: 1 – в 1840 г. за «Хирургическую анатомию»; 2 – в 1844 г. за «Полный курс»; 3 – в 1851 г. за «Патологическую анатомию холеры»; 4 – в 1860 г. за «Топографическую анатомию».

[2] Это очень красивые, но и очень печальные вещи (нем.).

его вместе с одним старым ординатором, читающим послужной список баронета, причем всякий раз при прочтении какой-либо награды Виллье заставлял это место прочесть еще несколько раз, приговаривая при этом: «Это удивительно! Как, например, Анну второй степени за сражение под Аустерлицем? Прочитай-ка мне еще раз. Это удивительно!»

Что старики удивляются и хотят удивить других полученными ими орденами, это вовсе не удивительно. Когда, в 1838 г., я навестил (вместе с доктором Амюсса) старого Ларрея в Париже, то он нам также тотчас показал свой орден с золотом вышитыми на ленте словами: «Bataille d'Austerlitz»[1].

Но Ларрей скрыл по крайней мере свое удивление, а сказал только: «Vous voyez, m-r, ce n'est pas dans les antichambres que j'ai recu mes décorations»[2], намекая этим, разумеется, на современные гражданские ордена Франции.

В течение целого года по прибытии моем в Петербург я занимался изо дня в день в страшных помещениях 2-го Военно-сухопутного госпиталя с больными и оперированными и в отвратительных до невозможности старых банях этого же госпиталя; в них, за неимением других помещений, я производил вскрытия трупов, иногда по 20 в день, в летние жары; а зимою, во время ледохода (ноябрь, декабрь), переезжал ежедневно по два раза на Выборгскую, пробиваясь иногда часа по два между льдинами.

В конце лета я начал замечать небывалые прежде явления после каждого госпитального визита. Я стал чувствовать то головокружение или легкую лихорадочную дрожь, то схватки в животе с желчным, жидким испражнением.

Так длилось до февраля [1842 г.]. В этом месяце я вдруг так ослабел, что должен был слечь в постель.

Что ни делали д-ра *Лерхе*, *Раух* и *Зейдлиц*, – ничто не помогало. Никто из них не мог определить мою болезнь. Один *Раух* еще более других, должно быть, угадал, приписав ее моим госпитальным и анатомическим занятиям. Трудно, в самом деле, сказать, что это было за страдание и какого органа.

Жара почти не было. Пульс был скорее медленный, чем учащенный; полное отвращение к пище и питью; продолжительные запоры, бессонница, продолжавшаяся целый месяц, слабость.

Вся болезнь продолжалась ровно шесть недель. Я лежал не двигаясь, без всяких лекарств, потеряв к ним всякое доверие.

Наконец, хотя не имея бреда, но с головою не совершенно свободною, я потребовал теплую ароматическую ванну. Мои домашние не посмели мне отказать, а дело было уже вечером.

После ванны со мною сделалась какая-то пертурбация во всем организме; бреда настоящего не появилось, но мне казалось, что я летал и что-то постоянно говорил. Через несколько часов у меня сделался

---

[1] Сражение при Аустерлице (франц.).
[2] Вы видите, не в передних [влиятельных лиц] я получил свои награды (франц.).

необыкновенно сильный озноб. Я чувствовал, как меня во время сотрясательной дрожи всего приподнимало с кровати. Затем вдруг и сердце начало замирать; я почувствовал, что обмираю, и закричал, что есть силы, чтобы на меня лили холодную воду. Вылили ведра три и очень скоро. Обморок прошел и с тем вместе последовало непроизвольное и чрезвычайно сильное желчное испражнение, после которого явился пот, продолжавшийся целых 12 часов. Тогда наступило быстрое выздоровление при помощи хинина и хереса.

Несколько времени после этой болезни, когда я купался уже для укрепления в море (в Ревеле), у меня появился мой прежний (дерптский) черно-желчный понос, причем ни аппетит, ни общее здоровье нисколько не были нарушены.

Как только наступило выздоровление, так появился вдруг позыв к курению табаку. До 30-ти лет я ни разу ничего не курил; целые часы проводил в анатомическом театре, и ни разу не чувствовал позыва к курению. А тут, вдруг, захотелось; и я начал курить тотчас же довольно крепкие сигары.

Во время моей болезни мне в первый раз в жизни пришла мысль об уповании в Промысел.

Что-то вдруг, во время ночных бессонниц, как будто озарило сознание, и это слово *«упование»* беспрестанно у меня вертелось на языке.

И вместе с упованием зародилась в душе какая-то сладкая потребность семейной любви и семейного счастья. И все это при конце моей болезни.

Я счел это за призыв свыше, и как только совсем оправился, то и поспешил осведомиться, где живет теперь приятельница детства Екатерины Мойер, ее однолетка Екатерина *Березина*. В Дерпте я видел семью Березиных – мать, дочь и сына (Сережу) – почти еженедельно у Мойера. Дети приходили играть, взрослые – говорить. Потом, через несколько лет, я встретил Екатерину Николаевну (мать) с дочерью в С.-Петербурге. Они жили уединенно на Васильевском острове и потом уехали в деревню. С тех пор прошло уже несколько месяцев. Я узнал, наконец, что они обе в деревне у брата Екатерины Николаевны, графа *Татищева*.

Я сделал письменное предложение. Получил согласие, но с тем, чтобы я испросил также согласие отца, Дмитрия Сергеевича. Его я вовсе не знал. Это был человек особенной породы. Вышед в отставку гусарским ротмистром после Отечественной войны, Дмитрий Березин страстно влюбился в свою кузину, графиню Екатерину Николаевну *Татищеву*, и женился на ней тайно и незаконно. Страстная любовь продолжалась, пока не вышло на свет двое детей (Катя и Сережа). После этого началась какая-то уродливая борьба с любовью. Березин стал сильно ревновать жену и вместе с тем вести жизнь игрока.

Он просадил в течение нескольких лет три больших имения: 2000 душ, доставшихся ему от отца, и 4000 душ, доставшихся от двух братьев. (Куда девалось все это состояние?) Кроме картежных, имел он еще и другие долги, но сам жил менее чем роскошно, а жену и детей содержал

менее чем пристойно. Жена и дочь занимали квартиру в три комнаты с одною служанкою. Правда, сыну, когда он подрос и учился в школе, Березин позволял делать долги у пирожников, пряничников и другого люда, навещавшего с своим товаром школу; но это делалось из какого-то странного тщеславия и именно когда последнее, третье, имение не было еще прокучено. И это все делалось человеком вовсе не худым и не злым в сущности. Жену же он имел какую-то манию преследовать и прижимать без всякой к тому причины.

Екатерина Николаевна *Березина* была женщина добрая, любившая сына более дочери; а между тем муж ее полагал, напротив, что она, назло ему, любит дочь более сына.

От этого терпела всего более дочь, особливо в последнее время, когда здоровье матери сильно расстроилось и раздражительность доходила до того, что она толкала и пихала бедную девушку, считая ее причиною, почему отец не дает им приличного содержания. Дочь же, напротив, не хотела оставлять мать.

Существовали забавные рассказы про разные выходки ревнивца. Жил-был в Дерпте Александр Дмитриевич *Хрипков*[1]. Кто из живших в наше время в Дерпте не знал Хрипкова? Это был человек в известном отношении не от мира сего. Он – орловский помещик, роздал свое имение родственникам, сделался артистом; уехал в Дерпт на несколько времени и оставался тут 20 лет; доходил иногда до того, что нуждался в мелочах, но был со всеми знаком, всеми любим, хотя ни у кого не заискивал и всем за взятое отплачивал или своими артистическими произведениями, или своею дружескою компаниею.

Правда, все это не удержало такого свинятника, каким был *Фаддей Булгарин*, показывать на улице пальцем на Хрипкова, говоря: «Посмотрите, вот идет господин, которого я, начиная с шапки, всего экипировал, а он и ту шапку, которую я ему сшил, снимать не хочет».

Но все знали, что это булгаринские враки и что Булгарин даром ничего не сделает. Но всего страннее было в низком, некрасивом и калмыкообразном Хрипкове то, что он влюблялся поголовно во всех ему знакомых дам. Любовь же эта была выше платонической, какая-то уже совершенно отвлеченная, даже не артистическая.

Иногда Хрипков был влюблен и в нескольких в одно и то же время; а когда из города большая часть ему знакомых уезжала, то говорили, что за неимением других он снова влюблен в Екатерину Николаевну.

Вот с этим-то невинным любовником всех дам вообще и суждено было сразиться Дм[итрию] Сер[геевичу] Березину.

Екатерина Николаевна поехала с детьми к одной из родственниц своих гостить в губернию (кажется, Псковскую); туда же отправился и Хрипков и застал там самого Березина. Это уже было для последнего неприятно.

А за ужином маленький Сережа, почти всегда сонный к вечеру, вышед из-за стола, простился сначала с матерью, а потом с Хрипковым.

---

[1] А.Д.Хрипков – художник; имеется портрет Пирогова работы Хрипкова.

Это был нож острый для Дм[итрия] Серг[еевича]. Он рассвирепел, велел сыну сначала проститься с ним самим, и началась баталия. Она могла бы, пожалуй, кончиться и дуэлью, но, к счастью, благоразумная родственница-хозяйка облила Дмитр[ия] Сергеевича водою, а Хрипкова увели в другую комнату, и тем покончили войну.

К этому-то господину, отцу моей будущей невесты, я должен был ехать, испрашивать его согласия. Он жил у себя в Лужском имении, заложенном и перезаложенном.

Принял он меня очень любезно, потому что не ожидал от меня приезда, а думал, что только напишу. Он упросил меня ночевать, для того, говорил он, чтобы «я мог распорядиться по денежным делам, касающимся вашего брака».

Это было время, когда Дмитрию Сергеевичу следовало получить остальные деньги от братнина наследства из банка.

На другой день мой будущий тесть, давший полное свое согласие на брак с его дочерью, сверх того преподнес мне еще роспись следующего за нею приданого и деньгами.

Выходило более 150 тысяч рублей, с условием, однако же, чтобы мать невесты отказалась от следуемой ей части из мужнина капитала.

Это, очевидно, была пика против жены; с какой стати ей, слабой, хилой и постоянно больной женщине, ожидать, что муж умрет прежде?!

Невеста моя и мать проживали в деревне у дяди, верст за двадцать. Послан был нарочный, чтобы они ехали в имение Березина и чтобы на средине дороги встретились в одной корчме с нами.

А мы выехали утром к ним навстречу и застали их в корчме.

Я по настоянию Березина должен был прочесть вслух роспись, услышав которую, Екатерина Николаевна ахнула от удивления, а может быть, и неверия. Березин определил, что жена и дочь останутся с ним до свадьбы дочери. Но все знали, что не пройдет и двух дней без ссоры.

Я предложил отправиться моей невесте с матерью в Ревель, на морские купания, куда и я должен был прибыть через месяц. Березин согласился.

Этот месяц разлуки был для меня тем замечателен, что я в первый раз в жизни почувствовал *грусть о жизни*. В первый раз я пожелал бессмертия – загробной жизни. Это сделала любовь. Захотелось, чтобы любовь была вечна, – так она была сладка. Умереть в то время, когда любишь, и умереть навеки, безвозвратно, мне показалось тогда в первый раз в жизни чем-то необыкновенно страшным. Потом это грустное чувство, это желание беспредельной жизни, жизни за гробом, постепенно исчезло, несмотря на то, что я продолжал любить жену и детей. Со временем я узнал по опыту, что не одна только любовь составляет причину желания вечно жить.

Вера в бессмертие основана на чем-то еще более высшем, чем самая любовь. Теперь я верю, или, вернее, желаю верить, в бессмертие не потому только, что люблю жизнь за любовь мою – и истинную любовь – ко второй жене и детям (от первой); нет, моя вера в бессмертие основана теперь на другом нравственном начале, на другом идеале.

Шесть-семь недель, проведенных нами в Ревеле, скоро пролетели. Но Березин так распорядился, что моя невеста с матерью остались в летней маленькой квартире до поздней осени, отчего Екатерина Николаевна еще более ослабела и заболела, чем...

СОДЕРЖАНИЕ